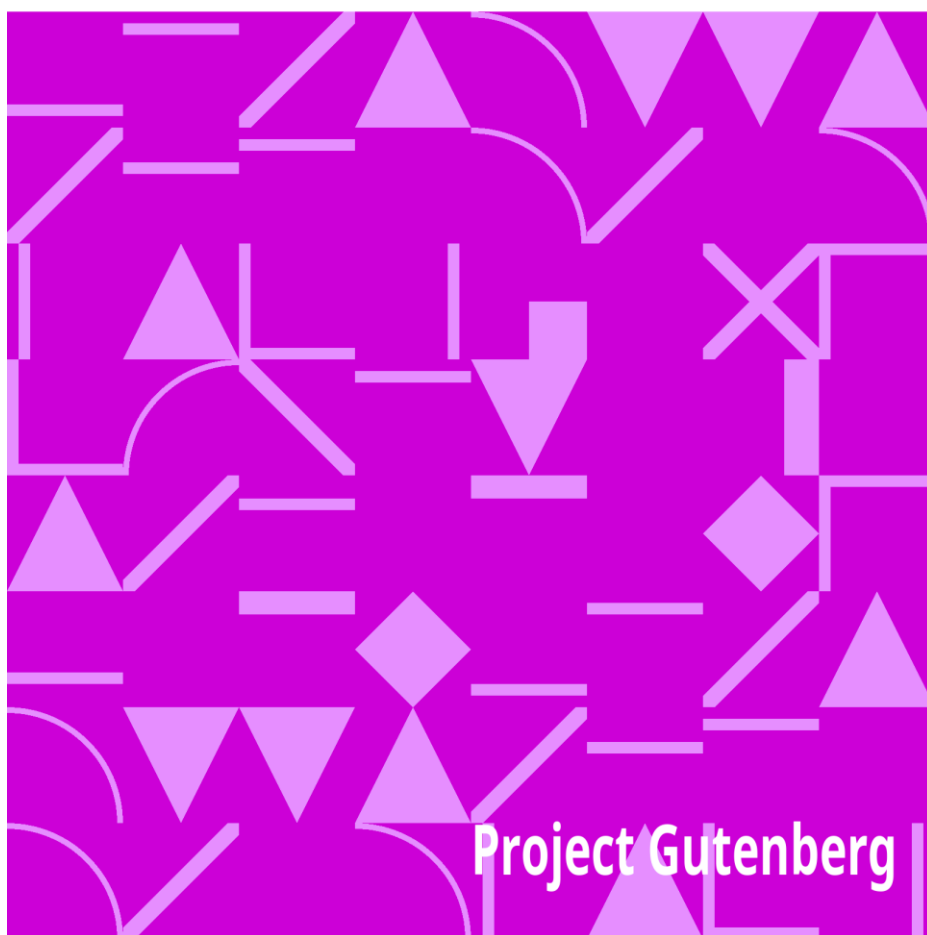


Возрождение в Италии, Тома 6 и 7 (из 7). Католическая реакция

Джон Аддингтон Саймондс

Renaissance in Italy, Volumes 6 and 7 (of 7)

John Addington Symonds



Электронная книга проекта "Гутенберг" о Возрождении в Италии, тома 6 и 7 (из 7)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Возрождение в Италии, Тома 6 и 7 (из 7)

Автор: Джон Аддингтон Саймондс

Дата выхода: 10 августа 2005 г. [Электронная книга № 16504]

Последнее обновление: 12 декабря 2020 г.

Язык: Английский

Титры: Подготовлено Тедом Гарвином, Чаком Грейфом и командой онлайн-корректоров по адресу <https://www.pgdp.net>

HTML-файл отредактирован Дэвидом Уиджером

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ", ТОМА 6 И 7 (ИЗ 7) ***

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

В двух частях

АВТОР ДЖОН АДДИНГТОН САЙМОНДС

НЬЮ-ЙОРК, ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ, 1887 г. АВТОРСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСТЬ I

ПРЕДИСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА.

ГЛАВА I

ГЛАВА II

ГЛАВА III

ГЛАВА IV

ГЛАВА V

ЧАСТЬ II

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА

ГЛАВА VII ,
ГЛАВА VIII ,
ГЛАВА IX ,
ГЛАВА X,
ГЛАВА XI,
ГЛАВА XII,
ГЛАВА XIII,
ГЛАВА XIV,
УКАЗАТЕЛЬ
СНОСКИ

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

ГЛАВА I

ИСПАНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ

Италия в эпоху Возрождения —Пять великих держав—Неаполитанское королевство—Папство—Миланское герцогство—Венеция—Флорентийская Республика—Захватнические войны, завершившиеся разграблением Рима в 1527 году—Конкордат между Климентом VII. и Карл V.—Барселонский мирный договор и Мир Дам—Карл высаживается в Генуе—Его путешествие в Болонью—Въезд в Болонью и прием Климентом—Сбор итальянских принцев—Франческо Сфорца заменен в Миланском герцогстве—Венецианское посольство—Итальянская лига, подписанная в канун Рождества 1529 года—Исключена только Флоренция—Осада Флоренции принцем Оранским—Коронация Карла в качестве короля Италии и императора Священной Римской Империи—Значение этой церемонии в Болонье—Церемония в Сан—Петронио—Заселение герцогства Феррара—Литераторы и искусствоведы в Болонье—История создания Итальянской лиги. Использование императором испанского обычая—Карл и Климент покидают Болонью в марте 1530 г.—Обзор урегулирования Италии, затронутого императором и папой Римским—Исчезновение республик—Последующее поглощение Феррары и Урбино Папскими владениями—Савойя становится итальянской державой—Период между коронацией Карла и Като—Камбрезийским миром в 1559 г.—Экономическое и социальное положение итальянцев под испанской гегемонией—Нация все еще существует отдельными сообществами—Интеллектуальные условия—Преобладание Испании и Рима—Обеих космополитических держав—Нивелирование составляющих частей нации в общей системе. Рабство - Пороки испанского правления

ГЛАВА II

ПАПСТВО И ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР

Контрреформация -Ее интеллектуальный и моральный характер—Причины постепенного угасания энергии Возрождения—Переход от Ренессанса к католическому возрождению—Новый религиозный дух в Италии—Отношение итальянцев к немецкой реформации—Ораторское искусство Божественной любви—Гаспаро Контарини и умеренные реформаторы—Новые религиозные ордена—Павел III.—Его ранняя история и образование—Политические отношения между Францией и Испанией—Создание герцогства Пармского—Неизбежность Генерального Собора—Пересмотр предыдущих Соборов—Беспокойство Павла—Открытие Собора в Тренте в 1542 году—Протестанты практически исключены, и католические догмы подтверждены на первых заседаниях—Смерть Павла в 1549 году—Юлий III.—Павел IV.—Характер и правящие страсти Г. П. Караффы—Его тщетное противодействие Испании—Тирания Его племянников—Их падение—Павел посвящает себя церковной реформе и инквизиции—Пий IV.—Его министр Мороне—Дипломатический характер этого папы—Его руководство Собором—Помощь, оказанная его племянником Карло Борromeо—Тревожное состояние Северной Европы—Собор вновь открылся в Тренте в 1562 году—Последующая история Собора — Это завершается полным папским триумфом в 1563 году — Восшествием на престол Пия IV. в истории—Пий V.—Папа—инквизитор—Население Рима—Социальная коррупция—Продажа должностей и правосудия—Тридентские реформы снижают богатство—Аскетическая чистота нравов становится модной—Католическая реакция порождает Контрреформацию—Битва при Лепанто—Григорий XIII.—Его родственники—Политика обогащения Церкви за счет баронов—Разбой в государствах Церкви—Сикст V.—Его суровое правосудие—Жесткая экономика—Великие общественные работы—Налогообложение—Город Рим принимает свой нынешний вид—Кумовство в период Контрреформации—Различные оценки богатства, накопленного папскими племянниками — Возвышение знатных римских семей

ГЛАВА III

ИНКВИЗИЦИЯ И ИНДЕКС

Иной дух в Святой Канцелярии и Обществе Иисуса — Оба необходимы Контрреформации—Ересь в ранней Церкви—Первые истоки инквизиции в 1203 году—S. Доминик—Святая инквизиция становится Доминиканским учреждением—признание со стороны Империи—ранней организация—испанская инквизиция—основана в 1484—как она отличалась от ранее Апостольских инквизиторов—евреи, мавры, Новые христиане—организация и истории Святого престола в Испании—Торквемада и его преемников—испанская инквизиция никогда не внесена в Италию—как римская инквизиция организована Караффа отличалась от нее—*авто-да-фе* в Рим—объявление подозревали лютеране—Калабрии вальденсы—протестантов в Локарно и Венеции—отступление на Венецианском Святой инквизиция—гонения на свободомыслие в литературе—индекс *Librorum Prohibitorum*—санкцию дал ему совет Трент—Римской Конгрегации индекса—Окончательная форма цензуры книг под Климент VIII.—Анализ его положений—запрет еретических книг—коррекция текстов—очищение кишечника и кастрация—следственной и епископской лицензий—работы в системе цензуры, в Италии—его долгой задержки—неприязнь к звуку обучения—невежество цензоров—взаимодействие с учеными в своей работе—терроризм книготорговцев—Ватиканская схема для восстановления христианских эрудиция—разочарование от произвола индекса—непорядочность Ватикана

ученых—исследования Библии считаются недействительной на создание краткого Тридентского указ о Вульгате—снижение обучения в вузах—Жалкое рабство профессоров—греков погибает из—Muretus и Manutius в Риме—индекса и его лечение политической строительство—Макиавелли—*коэффициент состояния*—поощрение литературы на папский абсолютизм—Сарпи—это отношение относительного безразличия Рима книг непристойного или безнравственной тенденция—Банделло и Боккаччо—Папская попытки контролировать сношения итальянцев с еретиками

ГЛАВА IV

ОБЩЕСТВО ИИСУСА

Огромное значение иезуитов в Контрреформации—Игнатий Лойола—Его юность—Убежище в Манресе—Путешествие в Иерусалим—Учеба в Испании и Париже—Первое образование его Ордена в Сент—Барбе—Пребывание в Венеции—Поселение в Риме—Признание Папой Ордена—Его военный характер—Абсолютизм генералов—Преданность Римской церкви—Выбор членов—Практические и позитивные цели Основателя—Исключение аскетов, принятие мирского Духа—Обзор быстрого распространения Ордена по Европе—Позиция Лойолы Отношения со своими главными помощниками—Пропаганда—Добродетель послушания—*Духовные упражнения*—Материалистическое воображение—Интенсивность и поверхностность религиозного обучения—Статус послушника—Временные помощники—Схоластика—Исповедовал Три обета—Исповедовал Четыре обета—Генерал—Контроль, осуществляемый над ним его Помощниками—Его отношение к Генеральной Конгрегации—Шпионаж как часть иезуитской системы—Выгодное положение довольного собой иезуита—Обет бедности—Дома исповедуемых и колледжи—Духовенство Конституции и декларации—Проблема *Тайного банка*—Взаимоотношения Рима и Компании—Особенности иезуитского образования—Направление совести—Моральная распущенность—Критика Сарпи—Казуистика—Вмешательство в государственные дела—Подстрекательство к цареубийству и политический заговор—Теории превосходства Церкви—Восстание европейских народов против Компании

ГЛАВА V

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ I, ЧАСТЬ I

Как католическое возрождение повлияло на итальянское общество?—Сложность ответа на этот вопрос—Частота частных насильственных преступлений—Убийства и бандиты—Жестокое уголовное правосудие—Наемные убийцы—Терпимость к преступникам—Благородное убийство—Пример армии Луккезе—Состояние монастырей—История Вирджинии де Лейва—Лукреция Буонвизи—Правдивая история Ченчи—Братья из Дома Массимо—Виттория Аккорамбони—Герцогиня Паллиано—Убийства жен—Семья Медичи

ГЛАВА VI

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ: ЧАСТЬ II

Рассказы о Брави и бандитах—Чекко Биббони—Амброджо Тремацци—Лодовико Далл'Арми—Разбойничество—Пиратство—Эпидемии—Эпидемии в Милане, Венеции, Пьемонте—Преследование унтори—Моральное состояние пролетариата—Колдовство—Его итальянские особенности—История Джакомо Чентини

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА

ГЛАВА VII

TORQUATO TASSO

Отношение Тассо к своему возрасту—Бальби об этом периоде—Жизнь Бернардо Тассо—Отрочество Торквато—Сорренто, Неаполь, Рим, Урбино—Его первое знакомство с придворными—Студенческая жизнь в Падуе и Болонье—*Ринальдо*—Диалоги об эпической поэзии—Поступает на службу к кардиналу д'Эсте—Феррарский двор—Альфонсо II. и принцессы—Проблема любви Тассо—Едет во Францию с кардиналом д'Эсте—Поступает на службу к герцогу Альфонсо—*Аминта*—Тассо в Урбино—Возвращение в Феррару—Пересмотр *Иерусалима*—Зависть при дворе—Чувство собственной значимости Тассо—Планирует переезд из Феррары во Флоренцию—Первые симптомы психического расстройства—Преследования придворных Феррарезе—Тассо заключен в тюрьму как полусумасшедший—Отправляется с герцогом Альфонсо в Бельригардо—Летит в Переодевается из Феррары в Сорренто—Возвращается к придворной жизни в Ферраре—Проблема его безумия—Снова улетает—Мантуя, Венеция, Урбино, Турин—Снова возвращается в Феррару—Третий брак Альфонсо—Недовольство Тассо—Заключен на семь лет в Сумасшедший дом в С. Анна—Персонаж Тассо—Персонаж герцога Альфонсо—Природа болезни поэта—Его жизнь в тюрьме—Освобожден по ходатайству Винченцо Гонзаги—Отправляется в Мантию—*Торрисмондо*—Девятилетняя одиссея—Смерть в Сан—Онофрио в Риме—Сонет Константини

ГЛАВА VIII

"ИЕРУСАЛИМ ОСВОБОЖДЕНИЯ"

Проблема создания героической поэзии—Предисловие к *Ринальдо*—Тема *Ринальдо*—Смешение романтических мотивов с героическим стилем—Подражание Вергилию—Мелодия и сентиментальность—Выбор темы для *Иерусалима*—В конце концов, это становится романтической поэмой—Танкреди настоящий Герой—Благородство тона—Подражание Вергилиану—Заимствования у Данте—Сложная дикция—Использование звучных многосложных слов—Качество религиозной эмоции в этом стихотворении—Риторика—Сравнения—Величественный стиль пафоса—Словесная музыка—Любовное пение—Армида—Любимая фраза Тассо, *Un non so che*—Его власть над мелодией и нежным чувством—Критика более поздних стихотворений Тассо—Общий обзор его характера

ГЛАВА IX

GIORDANO BRUNO

Научная предвзятость итальянцев, проверенная католическим возрождением—Отрочество Бруно—Вступает в орден Святого Доминика в Неаполе—Ранние обвинения в ереси—Сбегает в

Рим—Преполагает Сферу в Ноли—Посещает Венецию—Женеву—Тулузу—Париж—Его общение с Генрихом III.—Посещает Англию—Французский посол в Лондоне—Оксфорд—Литературная работа Бруно в Англии—Возвращается в Париж—Поездки в Германию—Виттенберг, Хельмштедт, Франкфурт—Приглашение в Венецию от Джованни Мочениго—Его жизнь в Венеции—Мочениго обвиняет его в инквизиция—Суд над ним в Венеции—Переезд в Рим—Смерть через сожжение в 1600 году—Отношение Бруно к мысли своего времени и к мысли современной Европы—Очерки его философии

ГЛАВА X

FRA PAOLO SARPI

Положение Сарпи в истории Венеции—Родители и детство—Вступление в Орден сервитов—Его личные качества—Достижения как ученого и человека науки—Его жизнь среди сервитов—В Риме дурно пахнет—Павел V. наложил интердикт на Венецию—Сарпи избран теологом и советником Республики—Его полемические труды—Взгляды на Церковь и государство—Интердикт снят—Месть римлян—На Сарпи напал Брави—Его раны, болезнь, выздоровление—Последующая история ассасинов—Дальнейшие покушения на жизнь Сарпи—Политические и исторические работы Сарпи—История Тридентского собора—Отношение Сарпи к протестантизму, Его суждение об иезуитах—Смерть Сарпи—Христианский стоик

ГЛАВА XI

GUARINI, MARINO, CHIABRERA, TASSONI

Нехватка великих людей—Гуарини Связующее звено между Тассо и Семнадцатым веком—Его биография—*Пастор Фицо*—Качества Гуарини как поэта—Марино Диктатор писем—Его Буйная юность в Неаполе—Жизнь в Риме, Турине, Париже—Публикует *Адоне*—Эпос сладострастия—Характер и поступки Адониса—Лицемерие Марино—Сентиментальная сладость—Жестокое насилие—Нарушение художественного вкуса—Великие способности поэта—Структура *Адоне*—Музыкальный Беглость речи—Маринизм—Патриотические стихи Марино—Контраст между Кьябрерой и Марино—Учеником Пиндара—Биография Кьябреры—Его придворная жизнь—Попытки поэтов семнадцатого века достичь новизны—Неудача Кьябреры—Жизнь Тассони—Его жажда инноваций—Происхождение *Secchia Rapita*—Пародийно-Героическая поэзия—Сюжет этого стихотворения—Его Своеобразный юмор—Ирония и сатира—Новизна вида—Лирические переплетения—Устойчивый контраст пародии и пафоса—Поэт Тести

ГЛАВА XII

ПАЛЕСТРИНА И ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Италия эпохи Возрождения не создала Национальной музыкальной школы—Фламандские композиторы в Риме—Певцы и оркестр—Хаотичность, Непристойность этого контрапунктического стиля—Рождение Палестрины и ранняя история—Постановления Тридентского собора о церковной музыке—Месса папы Марчелло—Палестрина удовлетворяет кардиналов своим Новым стилем духовной музыки—Пий IV. и его пристрастие к музыке—Палестрина и Филиппо Нери—Его мотеты—Мелодия Песни Песней Соломона—Палестрина, Спаситель музыки—Основатель современного стиля—Флорентийские эссе в оратории

ГЛАВА XIII

БОЛОНСКАЯ ШКОЛА ХУДОЖНИКОВ

Упадок пластического искусства—Даты мастеров эклектики—Маньеристы—Бароччо—Реакция, начатая Лодовико Караччи—Его двоюродные братья Аннибале и Агостино—Их учеба—Их Академия в Болонье—Их художественные цели—Дионисий Кальварт—Гвидо Рени—Человек и его искусство—Доменикино—Критика Рескина—Отношение Доменикино к благочестию его эпохи—Караваджо и реалисты—Рибера—Испания—Гверчино—Его качества колориста—Его Ужас—Личная жизнь—Отступление от критики—Причины, по которым болонскими художниками сейчас справедливо пренебрегают

ГЛАВА XIV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные события европейской истории—Италия в эпоху Возрождения—Германия и реформация—Католическая реакция—Ее антагонизм Ренессансу и Реформации—Глубокая идентичность Ренессанса и Реформации—Место Италии в европейской цивилизации—Отсутствие симпатии между латинской и тевтонской расами—Отношение Рима к Италии—Маколей о Римской церкви—О протестантизме—Ранний упадок энтузиазма эпохи Возрождения—Настоящее и будущее Италии

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

В двух частях

АВТОР ДЖОН АДДИНГТОН САЙМОНДС

- Дех! per Dio, donna,
Se romper si potria quelle grandi ale?

Tu piangi e taci; e questo meglio parmi'

SAVONAROLA: *De Ruina Ecclesia*

ЧАСТЬ I

НЬЮ-ЙОРК, ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ, 1887 г. АВТОРСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

ГЛАВА I

ГЛАВА II

ГЛАВА III

ГЛАВА IV

ГЛАВА V

ГЛАВА VI

ПРИМЕЧАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце второго тома моего "Возрождения в Италии" я тешил себя надеждой, что доживу до того, чтобы описать этап развития культуры, завершивший ту блестящую эпоху. По правде говоря, требовалось, чтобы произведение, претендующее на отображение многообразной деятельности итальянского гения в 15 веке и первой четверти 16 века, также касалось причин, которые прервали его дальнейшее развитие в том же направлении.

Это исследование, являющееся логически необходимым дополнением к пяти предыдущим томам "Возрождения в Италии", мне было разрешено завершить. Результаты теперь предлагаются общественности в этих двух частях.

Насколько это было возможно, я проводил свое исследование католического Возрождения по методу, аналогичному тому, который был принят для эпохи Возрождения. Однако я счел необходимым более подробно остановиться на фактах и институтах, связанных с главной темой национальной культуры.

Католическое возрождение было по своей природе реакционным. Чтобы объяснить их влияние, я был вынужден проанализировать положение Испании на итальянском полуострове, поведение Тридентского собора, специфическую организацию Святой Канцелярии и Общества Иисуса, а также состояние общества, в котором эти силы были задействованы.

В списке книг, который следует за этими вступительными замечаниями, я указал наиболее важные из использованных мной источников. В соответствующих местах будут сделаны специальные ссылки на работы второстепенной ценности для целей моего исследования.

DAVOS PLATZ: *July* 1886.

РАБОТЫ, НА КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ССЫЛАЮТСЯ В ДВУХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ТОМАХ ЭТОЙ КНИГИ

SISMONDI.—Histoire des Republiques Italiennes du Moyen Age.

РАНКЕ.—История римских пап. 3 тома. Английское издание: Бон.

КРЕЙТОН.—История папства в период Реформации. 2 тома. Макмиллан.

БОТТА. История Италии. Continuata da quella del Guicciardini sino al 1789.

FERRARI.—Rivoluzioni d'Italia. 3 тома.

КИНЕ.—Итальянские революции.

GALLUZZI.—Storia del Granducato di Toscana.

PALLAVICINI.—Storia del Concilio Tridentino.

SARPI.—Storia del Concilio. Тома. 1 и 2 из оперы Сарпи.

"Герцоги Урбино" ДЕННИСТОУНА. 3 тома.

ALBERI.—Relazioni degli Ambasciatori Veneti.

МУТИНЕЛЛИ. — Тайная история Италии. Raccontata dai Veneti Ambasciatori. 4 тома. Венеция. 1858.

MUTINELLI.—Annali Urbani di Venezia.

LITTA.—Famiglie Celebri Italiane.

PHIUPPSON.—La Contre-Révolution Religieuse au XVI^{me} Siècle Bruxelles. 1884.

DEJOB.—De l'Influence du Concile de Trente. Paris. 1884.

GIORDANI.—Delia Venuta e Dimora in Bologna del Sommo Pontefice Clemente VII. per la Coronazione di Carlo V., Imperatore. Bologna. 1832.

BALBI.—Sommario della Storia d'Italia.

CANTÙ.—Gli Eretici d'Italia. 3 тома. Torino. 1866.

LLORENTE.—Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne. 4 тома. Paris. 1818.

LAVALLÉE.—Histoire des Inquisitions Religieuses. 2 тома. Париж. 1808.

МАККРИ.—История реформации в Италии. Эдинбург. 1827.

TIRABOSCHI.—Storia della Letteratura Italiana.

DE SANCTIS.—Storia della Letteratura Italiana. в 2 т.

SETTEMBRINI.—Storia della Letteratura Italiana. 3 тома.

CANTÙ.—Storia della Letteratura Italiana. Decreta, etc., Societatis Jesu. Avignon. 1827.

CANTÙ.—Storia della Diocesi di Como. в 2 т.

DANDOLO.—La Signora di Monza e le Streghe del Tirolo. Milano. 1855.

BONGHI.—Storia di Lucrezia Buonvisi. Lucca. 1864.

Archivio Storico Italiano.

BANDI LUCCHESI.—Bologna: Romagnoli. 1863.

BERTOLOTI.—Francesco Cenci e la sua Famiglia. Firenze. 1877.

GNOLI.—Vittoria Accoramboni. Firenze: Le Monnier. 1870.

ДАЭЛЛИ.—Лоренцино де'Медичи. Milano. 1862.

DE STENDHAL.—Chroniques et Nouvelles. Париж. 1855.

ДЖОРДАНО БРУНО.—Итальянская опера (Вагнер). в 2 т. Leipzig. 1830.

JORDANUS BRUNUS.—Opera Latina. 2 тома. Неаполи. 1879.

БРУНО. —Латинская скрипка (Gförer). Stuttgart. 1836.
BERTI.—Vita di Giordano Bruno. Firenze, Torino, Milano. 1868.
BRUNNHOFER.—Giordano Bruno's Weltanschauung und Verhangniss.
Leipzig. 1882.
PAOLO SARPI.—Opere. 6 томов. Helmstat. 1765.
FRA FULGENZIO MICANZI—Vita del Sarpi.
BIANCHI GIOVINI.—Biografia di Fra Paolo Sarpi. 2 тома. Bruxelles. 1836.
Lettere di Fra Paolo Sarpi. 2 тома. Флоренция. 1863.
КЭМПБЕЛЛ.—Жизнь фра Паоло Сарпи. Лондон: Молини и Грин. 1869 г.
РАБОТА.—Марк-Антуан Мюре. Париж: Торин. 1881.
КРИСТИ.—Этьен Доле. Лондон: Макмиллан. 1880.
RENOUARD.—Imprimerie des Aides.
ТОРКВАТО ТАССО.—Опера. Ред. Розини. 33 тома. Пиза. 1822 г.
и далее.

РАБОТЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ЭТОЙ КНИГЕ

TASSO.—Le Lettere. Ред. Гуасти. В 5 т. Firenze. 1855.
SECCHI.—T. Tasso e la Vita Italiana. Firenze. 1877.
SECCHI.—T. Tasso. Il Pensiero e le Belle Lettere, etc. Firenze. 1877.
D'OVIDIO.—Saggi Critici. Неаполь. 1878.
МАНСО.—Жизнь Т. Тассо, в издании Розини, том. 33.
РОЗИНИ. —Саджио сугли Амори ди Т. Тассо, в издании, цитируемом
выше, vol. 33.
ГУАРИНИ.—Il Pastor Fido. Под ред. Казеллы. Флоренция: Барбера. 1866.
МАРИНО.—Адоне и др. Napoli. 1861.
КЪЯБРЕРА. — Изд. Polidori. Firenze: Barbèra. 1865.
TASSONI.—La Secchia Rapita. Эд. Кардуччи. Firenze: Barbèra 1861.
Il Parnaso Italiano.
BAINI.—Vita di G. P. L. Palestrina.
ФЕЛЬСИНА ПИТТРИС.-2 тома. Болонья. 1841.
ЛАНЦИ.—История живописи в Италии. Английское издание.
Лондон. Бон. Том 3.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

ГЛАВА I

ИСПАНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ

Италия в эпоху Возрождения —Пять великих держав—Неаполитанское королевство—Папство-
Миланское герцогство—Венеция-Флорентийская Республика—Захватнические войны,
завершившиеся разграблением Рима в 1527 году—Конкордат между Климентом VII. и Карл V.—

Барселонский мирный договор и Мир Дам—Карл высаживается в Генуе—Его путешествие в Болонью—Въезд в Болонью и прием Климентом—Сбор итальянских принцев—Франческо Сфорца заменен в Миланском герцогстве—Венецианское посольство—Итальянская лига, подписанная в канун Рождества 1529 года—Исключена только Флоренция—Осада Флоренции принцем Оранским—Коронация Карла в качестве короля Италии и императора Священной Римской Империи—Значение этой церемонии в Болонье—Церемония в Сан—Петронио—Заселение герцогства Феррара—Литераторы и искусствоведы в Болонье—История создания Итальянской лиги. Использование императором испанского обычая—Карл и Климент покидают Болонью в марте 1530 г.—Обзор урегулирования Италии, затронутого императором и папой Римским—Исчезновение республик—Последующее поглощение Феррары и Урбино Папской областью—Савойя становится итальянской державой—Период между коронацией Карла и Като—Камбрезийским миром в 1559 г.—Экономическое и социальное положение итальянцев под испанской гегемонией—Нация все еще существует отдельными сообществами—Интеллектуальные условия—Преобладание Испании и Рима —Обеих космополитических держав—Выравнивание составляющих частей нации в условиях глобализации. Обычное рабство - пороки испанского правления

ГЛАВА II

ПАПСТВО И ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР

Контрреформация -Ее интеллектуальный и моральный характер—Причины постепенного угасания энергии Возрождения—Переход от Ренессанса к католическому возрождению—Новый религиозный дух в Италии—Отношение итальянцев к немецкой реформации—Ораторское искусство Божественной любви—Гаспаро Контарини и умеренные реформаторы—Новые религиозные ордена—Павел III.—Его ранняя история и образование—Политические отношения между Францией и Испанией—Создание герцогства Пармского—Неизбежность Генерального Собора—Пересмотр предыдущих Соборов—Беспокойство Павла—Открытие Собора в Тренте в 1542 году—Протестанты практически исключены, и католические догмы подтверждены на первых заседаниях—Смерть Павла в 1549 году—Юлий III.—Павел IV.—Характер и правящие страсти Г. П. Караффы—Его тщетное противодействие Испании—Тирания Его племянников—Их падение—Павел посвящает себя церковной реформе и инквизиции—Пий IV.—Его министр Мороне—Дипломатический характер этого папы—Его руководство Собором—Помощь, оказанная его племянником Карло Борромео—Тревожное состояние Северной Европы—Собор вновь открылся в Тренте в 1562 году—Последующая история Собора — Это завершается полным папским триумфом в 1563 году — Восшествием на престол Пия IV. в истории—Пий V.—Папа—инквизитор—Население Рима—Социальная коррупция—Продажа должностей и правосудия—Тридентские реформы снижают богатство—Аскетическая чистота нравов становится модной—Католическая реакция порождает Контрреформацию—Битва при Лепанто—Григорий XIII.—Его родственники—Политика обогащения Церкви за счет баронов—Разбой в государствах Церкви—Сикст V.—Его суровое правосудие—Жесткая экономика—Великие общественные работы—Налогообложение—Город Рим принимает свой нынешний вид—Кумовство в период Контрреформации—Различные оценки богатства, накопленного папскими племянниками — Возвышение знатных римских семей

ГЛАВА III

ИНКВИЗИЦИЯ И ИНДЕКС

Иной дух в Святой Канцелярии и Обществе Иисуса — Оба необходимы Контрреформации— Ересь в ранней Церкви—Первые истоки инквизиции в 1203 году—S. Доминик—Святая инквизиция становится Доминиканская учреждение—признание со стороны Империи—ранней организация—испанская инквизиция—основан в 1484—как он отличался от ранее Апостолических инквизиторов—евреи, мавры, Новые христиане—организация и истории Святого престола в Испании—Торквемада и его преемников—испанская инквизиция никогда не внесен в Италию—как римская инквизиция организовала Караффа отличалась от нее—*авто-да-Фе* в Рим—объявление подозревали лютеране—Калабрии вальденсы—протестантов в Локарно и Венеции—отступление на Венецианском Святая инквизиция—гонения на свободомыслие в литературе—индекс *Librorum Prohibitorum*—санкцию дал ему совет Трент—Римской Конгрегации индекса—Окончательная форма цензуры книг под Климент VIII.—Анализ его положений—запрет еретических книг—коррекция текстов—очищение кишечника и кастрация—следственной и епископской лицензий—работы в системе цензуры, в Италии—его долгой задержки—неприязнь к звуку обучения—невежество цензоров—взаимодействие с учеными в своей работе—терроризм книготорговцев—Ватикан схема для восстановления христианских эрудиция—разочарование от произвола индекс—непорядочность Ватикан ученых—исследования Библии считаться недействительной на создание краткого Тридентского указ о Вульгате—снижение обучения в вузах—Жалкое рабство профессоров—греков погибает из—Muretus и Manutius в Риме—индекса и его лечение политической строительство—Макиавелли—*коэффициент состояния*—поощрение литературы на папский абсолютизм—Сарпи-это отношение относительного безразличия Рима книг непристойного или безнравственного тенденция—Банделло и Боккаччо—Папская попытки контролировать сношения итальянцев с еретиками

ГЛАВА IV

ОБЩЕСТВО ИИСУСА

Огромное значение иезуитов в Контрреформации-Игнатий Лойола—Его юность—Уединение в Манресе—Путешествие в Иерусалим—Учеба в Испании и Париже—Первое образование его Ордена в Сент—Барбе—Пребывание в Венеции—Поселение в Риме—Признание Папой Ордена—Его военный характер—Абсолютизм генералов—Преданность Римской церкви—Выбор членов—Практические и позитивные цели Основателя—Исключение аскетов, принятие мирского Духа—Обзор быстрого распространения Ордена по Европе—Позиция Лойолы Отношения со своими главными помощниками—Пропаганда—Добродетель послушания—*Духовные упражнения*—Материалистическое воображение—Интенсивность и поверхностность религиозного обучения—Статус послушника—Временные помощники—Схоластика—Исповедующий Три обета—Исповедующий Четыре обета—Генерал—Контроль, осуществляемый над ним его Помощниками—Его отношение к Генеральной Конгрегации—Шпионаж как часть иезуитской системы—Выгодное положение довольного собой иезуита—Обет бедности—Дома исповедуемых и колледжи—Духовенство Конституции и декларации—Проблема *Тайного банка*—Взаимоотношения Рима и Компании—Особенности иезуитского образования—Направление совести—Моральная распущенность—Критика Сарпи—Казуистика—Вмешательство в государственные дела—Подстрекательство к цареубийству и

политический заговор—Теории превосходства Церкви—Восстание европейских народов против Компании

ГЛАВА V

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ I, ЧАСТЬ I

Как католическое возрождение повлияло на итальянское общество?—Сложность ответа на этот вопрос—Частота частных насильственных преступлений—Убийства и бандиты—Жестокое уголовное правосудие—Наемные убийцы—Терпимость к преступникам—Благородное убийство—Пример армии Луккезе—Состояние монастырей—История Вирджинии де Лейва—Лукреция Буонвизи—Правдивая история Ченчи—Братья из Дома Массимо—Виттория Аккорамбони—Герцогиня Паллиано—Убийства жен-Семья Медичи

ГЛАВА VI

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ: ЧАСТЬ II

Рассказы о Брави и бандитах—Чекко Биббони—Амброджо Тремацци—Лодовико Далл'Арми—Разбойничество—Пиратство—Эпидемии—Эпидемии в Милане, Венеции, Пьемонте—Преследование унтори—Моральное состояние пролетариата—Колдовство—Его итальянские особенности—История Джакомо Чентини

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

ИСПАНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ

Италия в эпоху Возрождения —Пять великих держав—Неаполитанское королевство—Папство—Миланское герцогство—Венеция—Флорентийская Республика—Захватнические войны, завершившиеся разграблением Рима в 1527 году—Конкордат между Климентом VII. и Карл V.—Барселонский мирный договор и Мир дам—Карл высаживается в Генуе—Его путешествие в Болонью—Въезд в Болонью и прием Климентом—Сбор итальянских принцев—Франческо Сфорца заменен в Миланском герцогстве—Венецианское посольство—Итальянская лига, подписанная в канун Рождества 1529 года—Исключена только Флоренция—Осада Флоренции принцем Оранским—Коронация Карла в качестве короля Италии и императора Священной Римской Империи—Значение этой церемонии в Болонье—Церемония в Сан—Петронио—Заселение герцогства Феррара—Литераторы и деятели искусств в Болонье—История создания Итальянской лиги. Использование императором испанского обычая—Карл и Климент покидают Болонью в марте 1530 г.—Обзор урегулирования Италии, осуществленного императором и

папой Римским—Исчезновение республик—Последующее поглощение Феррары и Урбино Папскими владениями—Савойя становится итальянской державой—Период между коронацией Карла и Като—Камбрезийским миром в 1559 г.—Экономическое и социальное положение итальянцев под испанской гегемонией—Нация все еще существует отдельными сообществами—Интеллектуальные условия—Преобладание Испании и Рима—Обеих космополитических держав—Нивелирование составляющих частей нации в общей системе. Рабство - зло испанского правления.

В первом томе моей книги о *Ренессансе в Италии* я попытался описать политические и социальные фазы, через которые прошли итальянцы, прежде чем их основные государства попали в руки деспотов, и объяснить условия взаимной зависти и военной слабости, которые подвергли эти государства нападениям иностранных армий в конце XV века.

В 1494 году, когда король Франции Карл VIII по приглашению Лодовико Сфорца пересек Альпы, чтобы подтвердить свои притязания на Неаполь, полуостров был Независимым. Внутренний мир царил почти пятьдесят лет. Между пятью великими местными державами установилось равновесие, которое обеспечило преимущества конфедерации и дипломатического взаимодействия.

Используя слово "конфедерация", я, конечно, не подразумеваю, что в Италии существовало что-либо похожее на федеральный союз Швейцарии или Северной Америки. Факты доказывают обратное. В миниатюрном масштабе Италия тогда демонстрировала политические условия, аналогичные тем, которые сейчас преобладают в Европе. Отдельные части нации принимали различные формы самоуправления, стремились к различным иностранным союзам и не были обязаны подчиняться какому-либо центральному законодательному или административному органу. Поэтому я говорю об итальянской конфедерации только в том смысле, в каком Европу теперь можно назвать конфедерацией родственных рас.

В 1630 году, когда Карл V (король Австрии и Испании) был коронован императором в Болонье, эта национальная независимость была безвозвратно утрачена итальянцами. Теперь эта конфедерация равномерно распределенных сил была обменена на рабство под властью иностранной монархии и на подчинение космополитическому выборному духовенству.

История социальных, интеллектуальных и моральных условий в Италии в течение семидесяти лет шестнадцатого века, последовавших за коронацией Карла в Болонье, составляет предмет этой работы; но прежде чем перейти к этим темам, будет полезно посвятить одну главу рассмотрению с должной краткостью раздела Италии на пять государств в 1494 году, нарушения этого порядка войнами между Испанией и Францией за господство, положения, в котором оказались те же государства соответственно по окончании этих войн в 1527 году, и нового заселения полуострова Карлом V в 1529-30 годах.

Пятью членами итальянской федерации в 1494 году были Неаполитанское королевство, папство, Миланское герцогство и Республики Венеция и Флоренция. Вокруг них, в различных дружеских или враждебных отношениях, группировались эти второстепенные державы: республики Генуя, Лукка, Сиена; герцогство Феррара, включая Модену и Реджо; маркизаты Мантуя и Монферрат; и герцогство Урбино. Для нашей непосредственной цели не стоит отдельно рассматривать Пизанскую республику, которая была практически, хотя и не полностью, поработана Флоренцией; или деспотов в городах Романьи, Марша. Умбрия и

вотчина Святого Петра, которые постепенно переходили под папский суверенитет. В настоящее время нам также нет необходимости упоминать Савойю, Пьемонт и Салуццо. Хотя эти северо-западные провинции имели первостепенное значение в период франко-испанских войн, поскольку они открыли ворота Италии для французских армий и предоставили этим армиям базу для военных операций, герцогство Савойское еще не стало исключительно итальянской державой.

Неаполитанское королевство после смерти Альфонсо Великодушного в 1458 году было отделено от Сицилии и по завещанию перешло к его незаконному сыну Фердинанду. Незаконнорожденная династия Арагонцев была итальянской по своим вкусам и интересам, хотя и непопулярной как среди баронов королевства, так и среди народа, который в своем беспокойстве был готов приветствовать любого иностранного освободителя от своего деспотического ига. Это состояние всеобщего недовольства сделало возрождение старой анжуйской партии и обращение к французской помощи источником опасности для монархии. Это также служило удобной точкой опоры для амбициозных завоевательных планов, которые начали вынашивать принцы Арагонского дома в Испании. В территориальном отношении Неаполитанское королевство было самой значительной частью итальянского сообщества. Оно охватывало всю Калабрию, Апулию, Абруцци и Терра-ди-Лаворо; располагался на северной границе с Папской областью и не имел других соседей. Но хотя Неаполь был таким большим и компактным государством, полуфеодальная система правления, сложившаяся в Неаполе со времени первого завоевания страны норманнами, характер его населения и жестокие династические войны, которым он постоянно подвергался, сделали его более отсталым в цивилизации, чем северные и центральные провинции.

Папство, после окончания раскола и поселения Николая V в Риме в 1447 году, постепенно переходило под суверенитет Италии. Во время пребывания пап в Авиньоне и слабости Папского престола, последовавшей за периодом Соборов (Пизанского, Констанцского и Базельского), он утратил свою власть не только над непосредственными окрестностями Рима, но и над своими отдаленными владениями в Умбрии, Пограничных районах Анконы и Равеннском экзархате. Великие дома Колонна и Орсини отстаивали независимость в своих княжествах. Болонья и Перуджа претендовали на республиканское правление в тени знатных семей: Бентивольи, Браччи, Бальони. Имола, Фаэнца, Форли, Римини, Пезаро, Урбино, Камерино, Читта-ди-Кастелло подчинились правлению тиранов, которые были практически лордами этих городов, хотя и носили титулы папских викариев, и которые поддерживали свое богатство и власть, занимаясь профессией *кондотьеров*. Главной целью пап, после того как они освободились от насущных опасностей Генеральных соборов и снова обосновались в своей столице и были признаны европейскими державами суверенами, было подчинить своих вассалов и объединить свои провинции в однородное королевство. Этот план был задуман и осуществлен чередой энергичных и беспринципных понтификов — Сикстом IV, Александром VI, Юлием II и Львом X. — на протяжении всего периода отвлекающих внешних войн, которые сотрясали Италию. По большей части они придерживались одной линии политики, которая заключалась в том, чтобы предоставить богатство и авторитет Святого Престола в распоряжение своих родственников Риарио, Делии Роверес, Борджиа и Медичи. Их военные делегаты, среди которых самым умелым военачальником был ужасный Чезаре Борджиа, обладали всей полнотой власти, чтобы подавлять свободы городов, истреблять династии деспотов и подчинять непокорные районы папской власти. За эти заслуги они были вознаграждены герцогскими и княжескими титулами, управлением своими завоеваниями и пожалованием феодальных владений в качестве вассалов

Церкви. Система имела свои очевидные недостатки. Это приводило к неприличному кумовству; и поскольку папа сменял Папу с интервалом в несколько лет, каждый стремился возвеличить свою собственную семью за счет своих предшественников и Церкви, церковные государства находились в постоянном брожении экспроприации и внутренней революции. И все же трудно представить, как такая духовная держава, как папство, могла решить поставленную перед ней задачу обретения существенного светского суверенитета, не прибегая к этому разрушительному методу. Папа, одинокий человек на ненадежном троне, окруженный соперниками, которых разочаровало его возвышение, был вынужден полагаться на сильную руку авантюристов, с интересами которых его собственные были неразрывно связаны. Прибыль от всех этих эгоистичных прожорливых схем в конечном итоге досталась не родственникам понтификов, ни один из которых, за исключением Делии Роверес в Урбино, в тот период не основал постоянную династию, а Святому Престолу. Юлий II, например, после своего избрания в 1503 году вступил во владение всем, что Чезаре Борджиа пытался использовать в своих целях. Он нашел Орсини и Колонну униженными, Романью доведенной до подчинения; и он продолжил завоевательную политику, попирая свободы Болоньи и Перуджи, возвращая себе города, удерживаемые Венецией на побережье Равенны, и распространяя свою власть на Эмилию. Воинственная энергия Юлия присоединила Парму и Пьяченцу к государствам Церкви и отделила Модену и Реджо от герцогства Феррара. Эти новые города были захвачены силой, но Юлий притворился, что они составляют часть Равеннского экзархата, который был пожалован его предшественникам Пипином и Карлом Великим. Он проводил папскую линию завоеваний в более благородном духе, чем его предшественники, стремясь не столько продвинуть своих родственников, сколько восстановить Церковь в ее владениях. Но он был безрассуден в средствах, использованных для достижения этой цели. Италия была опустошена развязанными войнами и введенными иностранными армиями для того, чтобы папа мог выиграть очко в великой игре по церковному возвышению. То, что его преемник Лев X вернулся к прежнему плану выделения княжеств для своих родственников из владений их соседей и Церкви, можно считать одной из важнейших причин окончательного краха независимости Италии.

О Миланском герцогстве нет необходимости говорить сколь-нибудь подробно, хотя войны между Францией и Испанией велись главным образом за его обладание. Он был образован в компактное владение сравнительно небольшой площади, но с огромными коммерческими и сельскохозяйственными ресурсами двумя династиями Висконти и Сфорца. В 1494 году Лодовико Сфорца по прозвищу Иль Моро правил Миланом от имени своего племянника, титулованного герцога, которого он держал в позолоченном плену и которого в конце концов убил. Чтобы закрепить свою узурпированную власть, этот будущий Макиавелли счел разумным пригласить Карла VIII в Италию. Карл должен был утвердить свое право на неаполитанский трон. Лодовико должен был утвердиться в Миланском герцогстве. Все его последующие неприятности возникли из-за этой сделки. Карл пришел, завоевал и вернулся во Францию, нарушив политическое равновесие итальянских государств и создав катастрофический прецедент для будущего иностранного вмешательства. Его преемник во французском королевстве, Людовик XII, считал, что у него есть титул на миланское герцогство через его бабушку Валентину, дочь Джана Галеаццо Висконти. Это требование не было законным, поскольку при инвеституре герцогства женщины были исключены. Однако этого было достаточно, чтобы разжечь алчность Людовика; и пока он был всего лишь герцогом Орлеанским, без определенной перспективы унаследовать корону Франции, он, по-видимому, потворствовал фантазии аннексировать Милан. Не успел он взойти на французский трон, как

начал действовать в соответствии с этим честолюбием. Он спустился в Ломбардию, захватил Милан, отправил Лодовико Сфорцу умирать во французской тюрьме и инициировал поединок между Испанией и Францией за господство, который закончился пленением Франциска I в Павии и его окончательной уступкой всех прав на Италию Карлу V. по Камбре.

Из всех республик, которые придавали Италии блеск в период ее средневекового процветания, только Венеция оставалась независимой. Она никогда не подчинялась тирану; и ее правительство, хотя с каждым годом становилось все более олигархическим, было признано справедливым и либеральным. В течение столетий своего величайшего могущества Венеция едва ли входила в число итальянских государств. Ее политика заключалась в том, чтобы ограничиться лагунами и расширить свое господство над Левантом. Однако в пятнадцатом веке от этой политики отказались. Венеция первой овладела Падуей, уничтожив деспотический дом Каррара; затем Вероной, уничтожив династию Скала. Впоследствии, во время долгого правления Франческо Фоскари (1423-1457), она всерьез посвятила себя приобретению территории на материке. Затем она вошла как Сила первой величины в систему чисто итальянской политики. Республика Сан-Марко владела морским побережьем Адриатики от Аквилеи до устьев По, а ее ломбардские владения простирались на запад до Бергамо. Таким образом, ее итальянскими соседями были миланское герцогство, маленький маркизат Мантуя и герцогство Феррара. Когда в 1453 году пал Константинополь, у Венеции появилось еще большее искушение продолжить эту новую политику усиления Италии. Тем временем ее растущая империя, казалось, угрожала независимости менее богатых соседей. Возникшая таким образом ревность и алчность, которые привели ее к столкновению с Юлием II. в 1508 году Венеция подверглась сокрушительному удару, нанесенному ее могуществу объединенными силами Европы в войне Камбрейской лиги. От этого удара, а также от одновременного упадка их восточной и левантийской торговли венецианцы так и не оправались.

Когда мы обращаемся к флорентийцам, мы обнаруживаем, что в ту же эпоху, в 1494 году, их древняя республиканская конституция была фатально подорвана стремлением семьи Медичи к деспотизму. Недавно умер Лоренцо де Медичи, которому принадлежала заслуга в поддержании равновесия в Италии с помощью мудрой дипломатии. Он оставил своего сына Пьеро, горячего и опрометчивого молодого человека, управлять делами содружества, как он управлял ими ранее, демонстрируя бюргерское равенство, но с реальностью княжеской власти. Другой из его сыновей, Джованни, удостоился чести стать кардиналом. Одному было суждено поставить под угрозу господство его семьи во Флоренции на восемнадцать лет, другому было суждено восстановить это господство на новой и более деспотической основе. Пьеро не обладал благоразумием своего отца и не мог удержаться в деликатном положении коммерческого и гражданского тирана. Во время беспорядков, вызванных вторжением Карла VIII. он был изгнан вместе со всеми своими родственниками в изгнание. Род Медичи был восстановлен в 1512 году, после битвы при Равенне, испанскими войсками по ходатайству кардинала Джованни. Возведение этого человека на папский престол в 1513 году позволило ему сделать двух своих племянников правителями Флоренции и проложить путь, по которому третий в конечном итоге получил достоинство тиары. Климент VII. в конце концов ему удалось подчинить Флоренцию Медичи, погасив последние искры республиканской оппозиции и настолько изменив династический протекторат своей семьи, что она была легко преобразована в титульное Великое герцогство.

Федерация этих пяти держав искусственно поддерживалась в течение полувека наивысшей интеллектуальной активности Италии. Это была эпоха, когда итальянцы почти достигли единства как нация благодаря общим интересам в искусстве и гуманизме, а также сложному механизму дипломатических отношений. Федерация погибла, когда иностранные державы выбрали Ломбардию и Неаполь в качестве своих полей сражений. Бедствия в течение последующих тридцати трех лет (1494-1527) началась в тот день, когда Людовик XII. утверждал, Милан и Рейно. Он совершил свою первую ошибку, пригласив Фердинанда католика принять участие в разделе Неаполя. Эта провинция была легко завоевана, но Фердинанд сохранил всю добычу за собой, обеспечив большую итальянскую зависимость и великолепную базу операций для испанской короны. Затем Людовик совершил вторую ошибку, предложив дальновидному императору Максимилиану помочь Франции в покорении Венеции. У нас есть несколько известных примеров недальновидной дипломатии, сравнимых с Гранадским и Блуа мирными договорами (1501 и 1504), посредством которых этот монарх, действуя скорее как герцог Миланский, чем как король Франции, усложнил свои итальянские планы привлечением двух таких опасных союзников, как австрийский император и испанский суверен, в то время как наследник обоих находился в колыбели - это роковое дитя фортуны Карл.

Сцена Италии была теперь подготовлена к конфликту, который никоим образом не интересовал ее процветающие города и трудолюбивое население. Испания, Франция, Германия со своими швейцарскими союзниками были вызваны под различными предлогами, чтобы отвратить богатой добычи, которую она предлагала. Патриоты, подобные Макиавелли, слишком поздно осознали самоубийственное потворство своим желаниям, которое, заменив национальное ополчение наемными войсками и приучив эгоистичных тиранов полагаться на иностранную помощь, сделало итальянцев беззащитными перед вторжениями их воинственных соседей. Какую бы роль ни играли итальянские державы, на самом деле игра была в руках французских, испанских и немецких захватчиков. Между тем взаимная зависть и ненависть этих держав, сдерживаемая лишь дипломатией, не позволяла им выработать какой-либо план совместных действий. Одна огромная провинция (Неаполь) попала в руки Испании; другая (Милан) была открыта для перехода через Альпийские перевалы во Францию. Папство, находящееся в центре, манипулировало этими двумя враждебными иностранными силами с некоторой выгодой для себя, но со все углубляющейся катастрофой для расы. Как во времена гвельфов и Гибеллинов, так и сейчас нация снова была разделена пополам. Соперничество между французской и испанской фракциями стало жестоким. Личные интересы были заменены принципами; перекрестные комбинации усложнили реальные проблемы спора; в то время как один-единственный факт стал очевиден — что бы ни случилось, Италия должна стать добычей победившего дуэлянта.

Практический конец такому положению вещей был положен в битве при Павии, когда Франциск был отправлен в качестве пленника в Мадрид, и при разграблении Рима, когда папа был заключен в тюрьму в замке С. Анджело. Затем выяснилось, что лавры и прибыль от кровавого состязания остались за королем Испании. О том, что люди страдали от маршей и контрмаршей армий, от военной оккупации городов, от опустошения сельских округов, от разорительных кампаний и кровопролитных сражений, от разграбления городов и резни их жителей, лучше всего можно прочитать в *"Хронике Милана" Буригоццо*, в подробностях осады Брешии и разрушения Павии, в *"Хронике Прато"* и в нескольких *"Анналах разграбления Рима"*. Истощение страны казалось полным; дух народа был сломлен. Но что вскоре стало очевидным и что в 1527 году могло показаться невероятным, так это то, что единственным членом

итальянского союза, который извлек выгоду из этих апокалиптических страданий нации, было папство. Климент VII, заточенный в замке С. Анджело, вынужденный день и ночь смотреть на свою охваченную пламенем столицу и слышать стоны замученных римлян, оказался единственным выжившим из пяти великих держав, на согласии которых была основана независимость Италии. Положение папства не только не ухудшилось, но и неизмеримо улучшилось. Из-за упадка Италии теперь не было сопротивления светскому господству папы в пределах его санкционированного владычества. Поражение Франции и воцарение испанского монарха в Империи гарантировали мир. Никакая иностранная сила не могла набирать войска или разжигать восстания во имя независимости. Венеция была ошеломлена и изуродована Камбрейской лигой. Флоренция была поработана после битвы при Равенне. Милан был отдан, изношенный и обезлюдивший, номинальному господству импотента Сфорцы. Неаполь был провинцией испанской монархии. Феодалные вассалы и подвластные Святому Престолу города были перемолоты и перемешаны в результате серии революций, не имевших аналогов даже в средневековой истории итальянских коммун. Таким образом, если бы папе удалось договориться с королем Испании о разделе верховной власти на полуострове, они могли бы отныне мирно делить искалеченные остатки итальянской добычи. Это именно то, что они решили сделать. Основа их соглашения была заложена в Барселонском договоре 1529 года. Он был ратифицирован и закреплен Камбрейским договором в том же году. В первом из этих договоров Карл и Климент поклялись в дружбе. Климент обещал императорскую корону и инвеституру Неаполя королю Испании. Карл согласился восстановить папу римского в Эмилии, отнятой у Феррары Юлием II; добиться восстановления венецианцами Равенны и Червии; подчинить Флоренцию дому Медичи; и отдать руку своей внебрачной дочери Маргариты Австрийской внебрачному племяннику Климента Алессандро, который уже был назначен правителем города. По Камбрейскому мирному договору Франциск I отказался от своих притязаний на Италию и отказался от своих итальянских сторонников без каких-либо условий, получив взамен владение Бургундией. Союзники Франции, которые были принесены в жертву по этому случаю самым христианским Самым католическим монархом, состояли из Венецианской и Флорентийской республик, герцогов Милана и Феррары, княжеских домов Орсини и Фрегози в Риме и Генуе, а также анжуйской знати в Неаполитанском королевстве. "Мир дам", как назывался этот акт о капитуляции (поскольку он был составлен на частном совете Луизой Савойской и Маргаритой Австрийской, матерью и тетей двух подписавших), был фактическим признанием того факта, что французскому влиянию в Италии пришел конец.^[1]

Капитуляция Италии Франциском сделала необходимым, чтобы Карл V привел в порядок обширные владения, которыми он теперь наследовал как единоличный хозяин. Более того, он был избранным императором и счел этот случай подходящим для принятия двух корон в соответствии с древним обычаем. Соответственно, в июле 1529 года он назначил Андреа Дориа встречу в Барселоне, пересек Средиземное море за четырнадцать дней, высадился в Генуе 12 августа и проследовал через Пьяченцу, Парму и Модену в Болонью, где находился Климент VII. она уже ждала его. Встреча Карла и Климента в Болонье была настолько торжественным событием в истории Италии, а ее результаты были настолько важны для нескольких провинций полуострова, что я могу быть извинен за то, что несколько подробно останавливаюсь на этом эпизоде.

С помпой и зрелищем она завершила эпоху непревзойденного интеллектуального великолепия и беспримерных страданий во время войны. С помощью дипломатии и дебатов он предписал законы для новой эпохи неожиданной церковной энергии и национального мира, добытого

ценой рабства. Знаменитые люди, пережившие период языческого Возрождения, встретились здесь с молодыми людьми, которым суждено было положить начало католическому возрождению. Соглашение, заключенное между императором и папой на частных совещаниях, заложило основу для того прочного союза между Испанией и Римом, который серьезно повлиял на судьбы Европы. Наконец, это был последний случай, когда современный цезарь получил железную и золотую короны в Италии из рук римского понтифика. Счастливый наследник Испании, Двух Сицилий, Австрии и Нидерландов, который затем принял их обе в возрасте двадцати девяти лет, был не только последним, кто носил императорские знаки отличия с императорской властью, но и был гораздо более грозным властителем в Италии, чем любой из его предшественников со времен Карла Великого.[2]

То, что Карлу следовало использовать галеры Дориа для перевозки своей особы, свиты и военного эскорта из Барселоны, заслуживает отдельного комментария. Андреа Дориа вырос на службе французской короне, от которой в юности зависела Генуя. Он сформировал военно-морской флот с решающим перевесом в западном Средиземноморье и в обмен на услуги, оказанные Франциску в Неаполитанской кампании 1528 года, потребовал освобождения своего родного города. Когда в этом было отказано, Дориа присягнул испанцу, застал Геную врасплох и восстановил республику, великодушно отказавшись закрепить за собой ее тиранию или даже надеть на голову герцогскую шапку. Карл пожаловал ему княжество Мельфи и сделал грандом Испании. Благодаря этой серии событий Генуя была готова принять иго испанского влияния и обычаев, которые в последующем столетии так сильно давили на Италию.

У Карла был отряд из 2000 испанцев, уже расквартированный в Генуе, а также сильные гарнизоны в Милане и силы численностью около 7000 человек, собранные принцем Оранским из обломков армии, разграбившей Рим. Пока он был в пути из Генуи в Болонью, эти силы уже двигались на Флоренцию. Он привел с собой в качестве эскорта около 10 000 человек, считая конницу и пехоту. Общее количество войск, подчинившихся его слову в Италии, можно оценить примерно в 27 000 человек, включая испанскую кавалерию и пехоту, немецких ланскнехтов и итальянских наемников. Этой большой армии, частично размещенной на важных оборонительных постах, частично находящейся в движении, было достаточно, чтобы каждое его слово стало законом. Французы были не в том положении, чтобы вмешиваться в его планы. Его брат Ферди Нанд, король Богемии и Венгрии, был вовлечен в сомнительное состязание с Солиманом перед воротами Вены. Сам он был самым значительным правителем Германии, но затем был отвлечен борьбой Реформации. Италия лежала раздавленная и поверженная, растоптанная армиями, измученная самозванством и поборами, запуганная жестоким насилием. То, что Чарльз пришел, чтобы высказать свою волю и добиться повиновения, было очевидно.

Чтобы поприветствовать короля по прибытии в Геную, Климент направил двух послов, кардиналов Эрколе Гонзагу и монсеньора Джанматтео Гиберти, епископа Вероны. Гонзаге было суждено сыграть важнейшую роль в Тридентском совете. Гиберти прославился в Церкви благодаря управлению своей епархией по системе, которая предвосхищала грядущие церковные реформы, и уже был известен в мире литературы своим щедрым знакомством со студентами.[3] Трое других выдающихся людей с судьбоносным будущим ждали своего императорского повелителя. Первым из них был кардинал Алессандро Фарнезе, сменивший Климента на папском престоле, открывший Тридентский собор и присоединивший к итальянским принцам новую царствующую семью. Остальными были племянники папы,

Алессандро де'Медичи, назначенный герцог Флоренции, и его двоюродный брат кардинал Ипполито де'Медичи. Шесть лет спустя Ипполито умер в Итри, отравленный своим двоюродным братом Алессандро, который сам был убит во Флоренции в 1537 году другим двоюродным братом, Лоренцино де'Медичи.

Предполагалось, что Карл отправится в Болонью из Пармы через Мантую, где маркиз Федерико Гонзага тщательно подготовился к его приему. Но путь через Реджо и Модену был более прямым, и, уступив просьбам Альфонсо, герцога Феррарского, он выбрал этот путь. Следует помнить, что одним из условий Барселонского мирного договора было то, что император должен был вернуть Эмилию, то есть города и территории Модена, Реджо и Руббьера, папскому престолу. Климент считал Альфонсо непокорным вассалом, хотя его собственное право на эту провинцию основывалось только на силе оружия, с помощью которого Юлий II. отделил ее от герцогства Феррара. Поэтому Чарльзу было несколько трудно принять гостеприимство герцога. Но однажды Альфонсо сумел настолько втереться в доверие к итальянскому арбитру, что, прощаясь со своим гостем в окрестностях Болоньи, он уже обеспечил успех своего дела.

Тем временем в Болонье велись большие приготовления. Нищета в стране привела к нехватке денег и навела уныние на людей. Было замечено, что, когда Климент вошел в город 24 октября, никто из простых людей не отреагировал на крики его слуг: *Да здравствует папа Клементе!* Папа римский и его двор тоже были в трауре. Они лишь недавно избежали ужасов разграбления Рима и дали обет носить нестриженные бороды в память о своих прошлых страданиях. Тем не менее, муниципалитет и знать Болоньи в эти тяжелые времена приложили все усилия, чтобы прием императора был достоин того блеска, который придадут им его резиденция и коронация. В город начали стекаться галантные гости. Среди них можно упомянуть блистательную Изабеллу д'Эсте, сестру герцога Альфонсо и мать правящего маркиза Мантуи. Она прибыла 1 ноября в сопровождении сверкающей свиты красивых женщин и поселилась в Палаццо Манцолои. В последующие месяцы ее покои не снискали хорошей славы, поскольку дамы из ее свиты были щедры на милости. Рыцарские поединки, маскарады, уличные драки и дуэли часто происходили под ее окнами — испанцы и итальянцы оспаривали честь этих легких любовных утех. 3 ноября приехал Андреа Дориа со своим родственником, кардиналом Джироламо с таким именем. Примерно в то же время кардинал Лоренцо Кампеджи, епископ Болоньи, вернулся из своей дипломатической миссии в Англию, где (как хорошо известно изучающим нашу историю) он занимался вопросом о разводе Генриха VIII с Екатериной Арагонской. На следующий день Чарльз прибыл за ворота и поселился в богатом монастыре Чертоза, который сейчас образует Кампо Санто.

Его окружало множество послов и делегатов болонской магистратуры, кардиналы и духовные лица всех рангов, некоторые из которых сопровождали его с границы, в то время как другие выстроились, чтобы встретить его. 5 ноября была пятница, и Чарльз считал этот день счастливым. Поэтому он провел ночь на 4-е в Чертозе, а на следующее утро торжественно въехал в город. Перед ним стояла телохранительница из немцев, бургундцев, испанцев, алебардщиков, ланскнехтов, латников и канониров. Высоко над ними возвышался генерал-капитан императорских войск в Италии, свирепый Антонио де Лейва, под гнетом которого стонал Милан. Этот безжалостный тиран был мучеником от подагры и ревматизма. Он не мог ездить верхом или ходить; и хотя он сохранил всю силу своего интеллекта и воли, ему было трудно двигать руками или головой. Он приближался в носилках из пурпурного бархата, которые несли на плечах его рабы. Среди великолепной толпы испанских грандов, следовавших за

войсками, достаточно упомянуть великого маршала дона Альваро Осорио, маркиза Асторги, который высоко поднял обнаженный меч. Он был вооружен, верхом на коне, и его мантия из золотой ткани сверкала дельфинами, вышитыми жемчугом и драгоценными камнями. Следующим ехал Карл верхом на гнедой кобыле, вооруженный во всеоружии и держащий в руке скипетр. Двадцать четыре пажа, выбранные из болонской знати, прислуживали ему у уздечки и стремян. Поезд был составлен множеством светских и церковных князей, слишком многочисленных, чтобы описывать их подробно. Среди них заметными для историка были граф Нассау, Альберт Бранденбургский и маркиз Бонифацио Монферратский, отпрыск восточных палеологов. Когда эта процессия дефилировала по улицам Болоньи, было замечено, что Карл с истинно испанской надменностью никак не отреагировал на приветствия народа, за исключением одного раза, когда, проходя под балконом знатных дам, он ответил на их приветствие снятием шапки с головы.

Климент, окруженный толпой прелатов, восседал, чтобы встретить его, на возвышении перед церковью Сан-Петронио на большой площади. Король спешился напротив папского трона, поднялся по ступеням под своим золотисто-малиновым балдахином и преклонил колени, чтобы поцеловать ноги понтифика. Когда их глаза впервые встретились, было заметно, что оба побледнели; ибо воспоминание о разгневанном Риме было в умах обоих; и Цезарь, отдавая дань уважения Наместнику Христа, нес на своей совести груз тех долгих месяцев страданий и оскорблений. Клемент наклонился и со слезящимися глазами поцеловал его в щеку. Затем, когда Чарльз все еще стоял на коленях, они обменялись несколькими фразами, касающимися цели их встречи и их общего стремления к умиротворению христианского мира. После этого избранный император встал, посидел некоторое время рядом с папой, а затем, по его приглашению, сопровождал его к большому portalу церкви. По дороге он осведомился о здоровье Климента, на что папа многозначительно ответил, что после отъезда из Рима оно неуклонно улучшалось. Однако он смягчил этот намек на свое пленение, добавив, что его стремление приветствовать его Величество придало ему более чем заслуженную силу и мужество. У дверей они расстались, и император, поклонившись Причастию и поцеловав алтарь, был препровожден в приготовленные для него покои во дворце Пабблико. Они располагались рядом с резиденцией папы в том же дворце и были устроены так, что два властелина могли в любое время совещаться наедине. Следует отметить, что переговоры по урегулированию в Италии, которые проходили в течение следующих шести месяцев в этих помещениях, проводились лично высокими договаривающимися сторонами, и что ни одно из их обсуждений не проводилось до тех пор, пока результат каждого из них не был обнародован.

Весь день 5 ноября был занят этими церемониями. Был поздний вечер, когда император добрался до своих апартаментов. Несколько следующих дней были якобы заняты приемом посетителей. Среди первых из них была несчастная бывшая королева Неаполя Изабелла, вдова Фридриха Арагонского, последнего короля из незаконнорожденной династии, основанной Альфонсо. Она жила в бедности в Ферраре, под защитой своих родственников, семьи Эсте, 13-го числа прибыли принц Оранский и дон Ферранте Гонзага из лагеря перед Флоренцией. Осада началась, но еще не велась со всей строгостью. Следует иметь в виду, что в течение всего времени пребывания Карла в Болонье осада Флоренции продолжалась. Лишние войска, отстраненные от несения гарнизонной службы в ломбардских городах, были переброшены через холмы в Тоскану. Что бы еще император ни решил для своих итальянских подданных, в

этом, по крайней мере, можно было быть уверенным: Флоренция должна быть возвращена тиранам-Медичи в качестве компенсации папе за страдания Рима. Принц Оранский приехал, чтобы объяснить положение вещей во Флоренции, где правительство и народ, казалось, были готовы сопротивляться насмерть. У Гонзаги были свои личные дела, касавшиеся его помолвки с подопечной папы римского, Изабеллой, дочерью и наследницей богатого Веспасиано Колонны.

Тем временем в Болонью стекались послы всех государств и сеньорий Италии. Знатные люди с Юга — Асканио Колонна, главный констебль Неаполя; Альфонсо д'Авалос, маркиз Васто; Джованни Луиджи Караффа, принц Стильяно — занимали свои квартиры в соседних домах или на верхнем этаже Общественного дворца. Маркиз Васто на мгновение останавливает нашу охоту. Он был племянником маркиза Пескары (мужа Виттории Колонна), который прославился тем, что взял Франциска в плен в Павии, а затем позором того, что предал несчастного Джироламо Мороне и его хозяина, герцога Миланского, к негодованию испанского монарха. Какую роль Пескара на самом деле сыграл в этой темной череде заговоров и контрзаговоров, остается неясным. Но нет сомнений, что он использовал предательство, одиночное, если не двойное, для своей собственной выгоды. Его высокомерие и открытая враждебность к итальянцам привели к тому, что само его имя было опорочено; и его племянник, маркиз Васто, ничем не отличался в этих отношениях от более известного главы своего дома. Этому человеку также было суждено приобрести дурную репутацию, когда в 1532 году он стал преемником правительства Милана. Здесь также можно отметить присутствие в Болонье сына Джироламо Мороне, который был назначен епископом Модены в 1529 году. Его ждала замечательная судьба. Осужденный Павлом IV в застенках инквизиции как еретик, спасенный Пием IV и снискавший высочайшее расположение при дворе этого понтифика, он успешно манипулировал закрытием Тридентского собора в интересах Папского престола.

Переговоры по урегулированию итальянских дел в течение этого месяца проходили без шума, но с постоянным прогрессом. Апартаменты послов и вельмож были так устроены в Палаццо Пабблико, что они, как и их императорские и папские хозяева, могли совещаться в любое время года. Каждый день приносил какого-нибудь нового знаменитого посетителя. 22-го прибыл Федерико Гонзага, маркиз Мантуанский, который поселился в непосредственной близости от Чарльза и Клемента. Его бизнес требовал небольшого руководства. Дом Гонзага уже был хорошо связан с испанским делом и насчитывал несколько капитанов в императорской армии. Карл проявил свою благосклонность, возведя Мантую в ранг герцогства. С Венецианской республикой и герцогом Миланским все было по-другому. У избранного императора были причины испытывать сильное предубеждение против них обоих — против Венеции как самого грозного из союзников Франции в последней войне; против Франческо Марии Сфорца, как замешанного, хотя и неясно, в заговоре Мороне с целью изгнать испанцев из Италии и возложить корону Неаполя на голову Пескары. Клемент взял обоих под свою защиту. У него было достаточно оснований полагать, что венецианцы купят мир, уступив свои недавние приобретения на Адриатическом побережье, и он знал, что умиротворение Италии не могло быть достигнуто без их помощи. Фактически Республика согласилась уступить Червию и Равенну папе римскому, а их апулийские порты Карлу, обязавшись в то же время выплатить сумму в 300 000 дукатов и предусмотреть амнистию всем своим агентам и издивенцам. Не совсем ясно, почему Климент горячо поддержал дело Сфорца. То, что он это сделал, несомненно. Он добился охранной грамоты для герцога и сделал своим личным одолжением то, что тот должен быть принят в милость императора. Это условие, по-видимому, было принято во внимание, когда дела Феррары позднее решались вопреки папским интересам.

Франческо Мария Сфорца появился в Болонье 22-го числа. Этот несчастный обладатель одного из самых желанных титулов в Европе еще недавно жил пленником в своем собственном замке, в то время как город у его дверей и плодородная местность вокруг него подвергались жесточайшему насилию и притеснению со стороны испанских, французских, швейцарских и немецких наемников. Он был человеком, подорвавшим как здоровье, так и состояние. За шесть лет до этой даты один из его камергеров, Бонифацио Висконти, нанес ему легкое ранение в плечо отравленным кинжалом. От этой раны он так и не оправился; и было жалко видеть сломленного человека, неспособного двигаться или стоять без опоры, ползущего на коленях к скамеечке для ног Цезаря. Чарльз, похоже, понял, что ему нечего бояться и он многое может выиграть, если проявит милосердие к столь беспомощному поклоннику. Франческо был последним в своем роду. Его здоровье не позволяло ему ожидать наследников, и хотя впоследствии он женился на принцессе Датского дома, осенью 1535 года он умер бездетным. Поэтому было решено, в соответствии с просьбой папы римского, утвердить Сфорцу в Миланском герцогстве. Павия, однако, была отделена и отдана ужасному Антонио де Лейва на всю его жизнь. Гарнизоны Милана и Комо остались в руках Испании; и герцог пообещал выжать 400 000 дукатов в качестве платы за свое посвящение, а также дополнительную сумму в размере 500 000 дукатов, которая должна была выплачиваться десятью ежегодными платежами со своего и без того обескровленного народа. Следует отметить, что во всех этих крупных политических сделках в основном фигурировали деньги. Чарльз, хотя и был лордом многих земель, даже на этом раннем этапе своей карьеры испытывал нехватку наличных. Он редко платил своим войскам, но поручал военачальникам, состоявшим у него на службе, взимать контрибуцию с провинций, которые они оккупировали. Собранные таким образом средства не всегда попадали в карманы солдат, которые, насколько могли, выживали за счет мародерства. Выдвинув эти условия, Франческо Мария Сфорца был принят в распоряжение императора. Он вернулся в Милан ничуть не меньшим пленником, чем был раньше, и с душераздирающей необходимостью вымогать деньги у своих подданных под угрозой испанских мечей. Таким образом, в обмен на герцогский титул он превратил себя в сборщика налогов для своих естественных врагов. Уединенный в мрачных покоях своего замка, осаждаемый проклятиями миланцев, он вполне мог стонать, как Эдвард Марлоу—

Но что такое короли, когда полка нет,
Как не идеальные тени в солнечный день?
Мои враги правят; я ношу имя короля;
Я ношу корону; но они мной управляют.

Умирая, он завещал свое герцогство короне Испании. Он был отделен от империи и стал частной собственностью Карла и его сына Филиппа II.

В течение декабря переговоры об условиях мира в Италии продвигались быстро. Со стороны Венеции прибыли два человека с высшими наградами в качестве ораторов. Это были Пьетро Бембо и Гаспаро Контарини, оба они получили почести кардинала от Павла III. при его восшествии на престол. О месте Бембо в итальянском обществе как диктатора литературы той эпохи я уже достаточно говорил в другой части моей работы о Ренессансе. Контарини не раз привлечет наше внимание в ходе этой книги. Из всех итальянцев того времени он был, возможно, самым великим, мудрым и отзывчивым. Если бы было возможно предотвратить разрыв между католицизмом и протестантизмом, обуздать нетерпимость инквизиторов и

амбиции иезуитов, а также руководить реформированием Церкви на основе принципов умеренности и либерального благочестия, Контарини был тем человеком, который мог бы восстановить единство Церкви в Европе. Действительно, однажды, в Регенсбурге в 1541 году, он, казалось, был близок к тому, чтобы добиться примирения между партиями, которые раздирали христианский мир на части. Но его неудача была даже более заметной, чем его мимолетное подобие успеха. Не в духе времени было соглашаться с Конкордатом, основанным на сколь угодно философских, сколь угодно политических соображениях. Контарини запомнится как "прекрасная душа", рожденная в нужный момент и никоим образом не способная справиться с яростными страстями, которые бушевали вокруг него. Среди протестантов он был католиком, и они относились к его полумерам с презрением. Среди католиков он считался подозреваемым в лютеранстве, и к его писаниям относились терпимо только после того, как они были подвергнуты строгой кастрации от рук папских инквизиторов.[4]

В канун Рождества послы и представители итальянских держав собрались в покоях кардинала Гаттинари, великого канцлера империи, чтобы подписать условия конфедерации и бессрочной лиги для поддержания мира. Из этого важного документа флорентийцы были исключены как открытые противники воли Карла и Климента. В строгости, с которой теперь обращались с Флоренцией, не было справедливости. Ее республиканская независимость до сих пор признавалась, хотя ее собственные внутренние разногласия подвергали ее фактическому деспотизму. Но Климент оговорил, и Карл согласился, как *непременное* условие в проекте умиротворения, что Флоренция должна быть преобразована в герцогство Медичи. Для герцога Феррарского, которого папа считал непокорным вассалом и дела которого все еще были предметом споров, в договоре было специально отведено особое место. Он, как я уже отмечал, был взят под покровительство Императора, и удовлетворительное урегулирование его претензий было теперь лишь вопросом времени. Вечером того же дня папа вручил Карлу Меч Духа, которым по обычаю Рима на этом празднике награждали самого любимого из своих светских сыновей. Мир был публично провозглашен под всеобщие аплодисменты в последний день 1529 года.

Главными делами, которые предстояло решить в новом году, были подчинение Флоренции и коронация императора. Январь прошел в рыцарских турнирах и забавах; Болонскому университету были предоставлены церемониальные привилегии; были приняты великолепные посольства Республики Святой Марки, блиставшие в сенаторских мантиях из малинового шелка; и необычная депутация от африканского двора пресвитера Иоанна добилась аудиенции у римского понтифика. В разгар этих торжеств 16 января прибыли три делегата из Флоренции, которые провели несколько недель в бесплодных попытках добиться слушания дела арбитрами Италии. Климент отказался иметь с ними дело, потому что их содружество все еще было непокорным. Карл оттолкнул их, потому что хотел угодить папе и знал, что Флоренция остается непоколебимой в своей преданности французской короне. Старая пословица "Лилии с лилиями", белая лилия Флоренции, соединенная с золотым флер-де-лили Франции, все еще имела политическое значение в наши дни упадка Италии. Тем временем Франциск I относился к своим верным союзникам с вялой терпимостью. Мелкая сошка итальянских властителей, почитатели восходящего солнца Испании, добивалась расположения своих хозяев, оскорбляя представителей республики. По возвращении во Флоренцию послам пришлось сообщить о полном дипломатическом провале. Но это, отнюдь не сломив неукротимый дух синьории и народа, побудило их в феврале к новым усилиям сопротивления и к указам о объявлении вне закона граждан, которых они считали государственными изменниками. Среди запрещенных

были Франческо Гвиччардини, Роберто Аччиуоли, Франческо Веттори и Баччо Валори. Из этих людей Франческо Гвиччардини, Франческо Веттори и Баччо Валори были сопровождающими папы в Болонье. Все они были преданы партии Медичи в этот критический момент судьбы своей страны, и все дорого заплатили за свою лояльность. Когда Козимо I их усилиями утвердился в герцогстве, одной из первых своих забот он сделал избавление от этих слишком преданных слуг. Баччо Валори был обезглавлен после битвы при Монтемурло в 1537 году за тренировку с изгнанниками из отряда Филиппо Строцци. Франческо Гвиччардини, Франческо Веттори и Роберто Аччиуоли умерли с позором до 1543 года — их единственное преступление заключалось в том, что они сами соорудили лестницу, по которой Медичи взобрался на свой трон, и опрокинуть которую было его обязанностью, когда он прочно сидел. Героизму Флоренции в этот момент было бы трудно найти подходящие слова для панегирика. Республика стояла в одиночестве, брошенная Францией на произвол горячей ярости Климента и холодного презрения Карла, покинутая итальянскими державами, преданная лживыми военачальниками, со всех сторон окруженная отбросами армий, хлынувшими в Тоскану из ломбардского столпотворения войны. Ситуация была крайне сложной. Флоренция не могла не пасть. И все же каждое великодушное сердце затрепещет от сочувствия, читая историю той последней борьбы за независимость, в которой горстка бюргеров выстояла, хотя собравшиеся князья лизали пыль со стоп императора и понтифика.

Карл принял железную и золотую короны в Италии. Ему следовало отправиться в Монцу или к Сан-Амброджо в Милане для первого посвящения, а для второго - в Латеранский собор в Риме. Император Швабского дома был бы вынужден из-за прецедента и суеверия соблюдать эту форму. Это правда, что коронация немецкого принца как преемника ломбардских королей и римских августов всегда была скорее символической церемонией, чем обрядом, подтверждающим подлинную императорскую власть. Тем не менее, церемония ассоциировалась со многими средневековыми устремлениями. Это был внешний признак теорий, которые когда-то оказывали идеальное влияние. Отделять двойное таинство от Милана и от Рима было равносильно лишению его главной добродетели - добродетели мистической концепции. Это было равносильно демонстрации того, что вера во Всемирную монархию ушла в прошлое. Нарушив старые правила своего вступления в должность, Карл объявил об исчезновении средневекового порядка и провозгласил миру новые политические идеалы. Когда его спросили, не последует ли он обычаю и не будет ли добиваться ломбардской короны в Монце, он грубо ответил, что не привык гоняться за коронами, а хотел, чтобы короны гонялись за ним. В не меньшей степени он попирает то еще более почтенное *religio loci*, которое закрепляло за Римом императорские права. Вместе с этим древним благочестием он превратил Священную Римскую империю в кучу архаичных диковинок. Объявив о своей воле короноваться там, где он пожелает, он подчеркнул современный государственный девиз - *Государство, это мое*, и подготовил почву для закрытия папой Генерального собора словом *L'Eglise, это мое*. У Чарльза было достаточно причин действовать именно так. Священная Римская империя с момента первого события коронации Карла Великого, когда она оправдала себя как дипломатический прием для объединения Западного христианского мира, существовала более или менее как тень. Карл нарушил обязанности, которые сами по себе придавали подобие реальности этой тени. Будучи королем Италии, он опустошил Ломбардское королевство, титул которого добивался. Как избранный император, он изнасиловал свою невесту, Вечный город. Как претендент на обе ожидаемые короны папы римского, он нес ответственность за многочисленные оскорбления, которым Климент подвергся так недавно. Со времен Карла

Великого не было более могущественного императора, чем этот Карл V. Последний, кто принял свою корону в Италии. Знаменательно, что человек, во имя которого Рим подвергся оскорблению и который собирался отделить Ломбардию от империи, был по собственной воле облечен властью в Болонье. Соответственно, жителям Монцы было предложено отправить железную корону в Болонью. Она прибыла 20 февраля, а 22-го Карл получил ее из рук Климента в часовне дворца. Кардиналом, совершившим церемонию помазания, был фламандец Уильям Хенченор, который при разграблении Рима купил свою свободу за крупную сумму в 40 000 крон. По этому знаменательному случаю он отрезал половину бороды, которую все еще носил в знак траура!

Герцог и герцогиня Урбинские прибыли в Болонью в один и тот же день. Франческо Мария делла Ровере, герцог Урбино, префект Рима и генерал-капитан армий Церкви, был одним из самых выдающихся воинов того времени. И все же победы редко увенчивали его чело лаврами. Подражая осторожной тактике Браччо и подражая славе Фабия Кунктатора, он свел военное искусство к системе маневров и редко рисковал своим состоянием на поле боя. Главным образом из-за его медлительности не удалось предотвратить катастрофу с разграблением Рима. Он был изгнан Львом X из своего герцогства, чтобы освободить место для Лоренцо де Медичи, и ходили слухи, что тайное желание стать свидетелем унижения понтифика-медичи заставило его воздержаться от нападения на мятежные войска Бурбонов. Франческо Мария был человеком вспыльчивого характера; девятнадцать лет назад он убил папского легата, кардинала Франческо Алидози, своим кинжалом на улицах Болоньи. Его жена, Элеонора Ипполита Гонзага, с изяществом руководила тем блестящим и образованным Двором, который Кастильоне прославил своим *Кортегуано*. Герцог и герцогиня сохранились для потомков в двух шедеврах портретной живописи кисти Тициана, которые сейчас украшают Галерею Уффици.

24 февраля, в годовщину дня рождения Карла, была назначена его коронация в качестве императора в Сан-Петронио. Эта церковь является одним из крупнейших готических зданий в Италии. Его фасад занимает южную сторону площади. Западную сторону, слева от церкви, занимает Палаццо Пабблико. Чтобы облегчить проход папы и императора с их Дворами и свитой принцев из дворца в собор, через отверстие в Зале Древних был сооружен деревянный мост, достаточно широкий, чтобы могли пройти шесть человек в ряд. Мост постепенно спускался к площади Пьяцца, расширялся, превращаясь в платформу перед фасадом Сан-Петронио, а затем снова поднимался через неф к главному алтарю. Он был занавешен голубыми драпировками и устроен так, что огромное множество людей, собравшихся на площади и в церкви, чтобы посмотреть на церемонию, имели свободный доступ к нему со всех сторон. Утром 24-го торжественная процессия вышла из дворца и в определенном порядке прошествовала по трапу. Папские грумы в красных ливреях несли Климента наверх. На нем были тиара и парадная мантия, скрепленные знаменитой запонкой Челлини, в которой сверкал бургундский бриллиант Карла Смелого. Карл шел в королевских одеждах в сопровождении графа Нассау и дона Пьетро ди Толедо, вице-короля Неаполя, который впоследствии дал свое имя главной улице этого города. Перед ним шли маркиз Монферратский со скипетром; Филипп, герцог Баварский, с золотой державой; герцог Урбинский с мечом; и герцог Савойский с императорской диадемой. Этот герцог Савойский приходился дядей Франциску I и шурином Карлу; его жена Беатриса была сестрой императрицы, а его сестра Луиза - матерью французского короля. Эти двойные отношения сделали его положение во время последних войн трудным. Тем не менее, его территория считалась нейтральной, и при умиротворении Италии он счел разумным безоговорочно подчиниться победоносному королю Испании. Было

замечено, что Ферранте ди Сансеверино, принц Салерно, хотя и был известен своим пребыванием в Болонье, не занимал никакого почетного поста в императорской свите. Он был близким родственником императора по линии своей матери, Марии Арагонской, и сослужил хорошую службу в недавних кампаниях против Лотрека. Причина такого пренебрежения не указана. Но можно упомянуть, что несколько лет спустя он встал на сторону Франции и был лишен своих обширных наследственных владений. В его гибели был замешан поэт Бернардо, отец Торквато Тассо.

Перечислять всю знать Испании, Италии и Германии, а также послов Англии, Франции, Шотландии, Венгрии, Богемии и Португалии, которые составляли императорский *кортеж*; описывать серию церемоний, посредством которых Карл был впервые посвящен в сан диакона, помазан, одет и раздет и, наконец, препровожден к папе на коронацию; рассказывать о разрушении моста в одном месте и о ссорах между генуэзскими и сиенскими делегатами за первенство, было бы излишне утомительно. День был уже почти на исходе, когда Карл наконец получил императорские знаки отличия из рук папы римского. *Accipe gladium sanctum, Accipe virgam, Accipe potum, Accipe signum gloriae!* Произнося эти приговоры, Климент передал меч, скипетр, глобус и диадему по очереди императору, который преклонил перед ним колени. Карл склонился и поцеловал папские ноги. Затем он встал и занял свой трон рядом с папой. Он был расположен на две ступени ниже трона Климента. Церемония коронации и возведения на престол была завершена, и Карл был провозглашен: *Romanorum Imperator semper augustus, mundi totius Dominus, universis Dominis, universis Principibus et Populis semper venerandus*. Когда месса закончилась, папа и император пожали друг другу руки. У дверей церкви Карл придержал Клименту стремя, а когда папа сел в седло, он отвел своего коня на несколько шагов в знак сыновней покорности.

Март месяц ознаменовался прибытием выдающихся гостей. Герцогиня Савойская в сопровождении восемнадцати прелестных фрейлин торжественно въехала 4-го числа и поселилась в Палаццо Пеполи. 6-го прибыл герцог Феррарский, для которого Карл добился охранной грамоты от папы римского. Во время пребывания императора в Болонье Альфонсо д'Эсте усердно оказывал ему и его двору небольшие знаки внимания, присылал отличные припасы для домочадцев и сервировал королевский стол дичью и всевозможными деликатесами. Урегулирование его спора со Святым Престолом было единственным важным делом, которое еще предстояло решить. Карл убедил Климента и Альфонсо изложить свои дела в письменной форме и передать их в руки юристов для отчета. Нет никаких сомнений в том, что его собственное решение уже было принято в пользу герцога; но он вынес приговор только в декабре следующего года, и решение не было опубликовано до апреля 1531 года. Суть окончательного соглашения заключалась в следующем. Модена, Реджо и Руббьера были объявлены феодальными владениями империи, поскольку они не были включены в дар Пипина Экзархату. Карл подтвердил их инвеституру Альфонсо в обмен на значительную выплату императорской канцелярии. Ранее он передал герцогу город Карпи, отнятый Альберто Пио как сторонник Франции. Феррара оставалась вотчиной Церкви, и Климент согласился признать правление Альфонсо после выплаты им 100 000 дукатов. Это решение спасло Модену для незаконнорожденной линии Эсте, когда папа Климент VIII в 1598 году захватил Феррару как утративший силу феодал. В течение шестидесяти семи лет, прошедших между датой коронации Карла и исчезновением герцогства, Феррара пользовалась славой самого блестящего двора в Италии и сияла блеском, которым ее наделили такие люди, как Тассо и Гуарини.

Те несколько недель, которые оставались до отъезда Чарльза из Болоньи, были потрачены по большей части на рыцарские поединки и турниры, посещения церквей и светские развлечения. Вероника Гамбара распахнула двери своих апартаментов для многочисленных литераторов, которые съехались со всех концов Италии, чтобы стать свидетелями церемонии коронации Карла. Эта дама была вдовой покойного лорда Корреджо и одной из двух самых выдающихся женщин своего времени.^[5] Она жила с царственным видом во дворце Марсили; и здесь можно было увидеть поэтов Бембо, Мауро и Мольцу в беседе с остроумным Берни, ученой Вайдой, величественным Триссино и благородным сердцем Маркантонио Фламинио. Паоло Джовио и Франческо Гвиччардини, ведущие историки своего времени, также были там вместе с множеством литературных и дипломатических деятелей, прикрепленных ко дворам Урбино и Феррары или сопровождавших кардиналов, которые, подобно Ипполито де Медичи, демонстрировали культуру. Тем временем вдовствующая маркиза Мантуанская и герцогиня Савойская развлекали итальянскую и испанскую знать балами-маскарадами и карнавальными шествиями во дворцах Манцоли и Пеполи. Частые ссоры между пылкими юношами соперничающих наций придавали остроту рыцарской романтики любовным приключениям, в которых придворные дамы играли слишком заметную роль. Все, что еще оставалось в Италии от ренессансного великолепия, остроумия и моды после разграбления Рима и падения ниц ее богатейших городов, было сосредоточено в этом закатном блеске роскошного праздника в Болонье. Не обошлось и без выдающихся представителей искусства. Франческо Маццола по прозвищу Пармиджанино, перед чьим алтарем в его римской мастерской, как говорили, недавно преклоняли колени в восхищении грубые солдаты армии Бурбонов, почтил память юбиляра картиной Карла, окруженного Славой, венчавшей его чело, и младенцем Геркулесом, вручившим ему земной шар. Тициан тоже был там и удостоился чести присутствовать на нескольких сеансах от императора. Его портрет Карла в натуральную величину, изображающий Карла в полном вооружении, восседающего на белом боевом коне, погиб. Но в тот момент это доставляло такое удовлетворение, что удачливый мастер был произведен в рыцари и графы палатина и назначен художником императора с фиксированной пенсией. Тициан также написал портреты Антонио де Лейвы и Альфонсо д'Авалоса, но точно неизвестно, по этому ли случаю или в 1532 году, когда он снова был вызван к императорскому двору в Болонье. Среди этого сближения выдающихся личностей мы замечаем отсутствие Пьетро Аретино. В тот момент он был в немилости у Климента VII. Но независимо от этого препятствия он вполне мог счесть неблагодарным покидать свое венецианское убежище и подвергать себя негоднованию стольких принцев, которых он попеременно осыпал фальшивыми похвалами и поносил отвратительной клеветой.

Люди заметили, что император во время своих прогулок по улицам Болоньи обычно носил испанскую одежду. Он был одет в черный бархат, черные шелковые чулки, черные туфли и черную бархатную шапочку, украшенную черными перьями. Этот мрачный костюм несколько смягчался драгоценными камнями, использованными для пуговиц, а воротник из Золотого руна сиял на груди монарха. Столь незначительное обстоятельство вряд ли заслуживало бы внимания, если бы за короткий промежуток времени по всей Италии не вошло в моду перенимать приглушенные тона испанской одежды. Высшие классы согласились обменять разнообразные и блестящие наряды, которые придавали веселье раннему Возрождению, на мрачную строгость, бросающуюся в глаза в шедеврах Мороне, в великолепном мраке гентуэзских Бриньоли и в портретах римских инквизиторов. Это похоже на то, как если бы вся раса надела траур по поводу своей потери свободы, своего рабства иностранным тиранам и

церковным лицемерам. Также не удивительно обнаружить нотку моральной печали и умственной подавленности, соответствующую этим черным одеждам, на лицах того более позднего поколения. Как отличается меланхоличная грация Тассо от мягкой жизнерадостности Ариосто; суховатая точность Франческо Марии делла Ровере Бароччо от жизнерадостности первого герцога с таким именем на картине Тициана! Один из наиболее критически настроенных современных поэтов почувствовал перемену, на которую я указал, и приписал ее той же причине. Кампанелла писал следующее:

Черные одежды подобают нашему возрасту. Когда-то они были белыми;
Затем разноцветными; теперь темные, как Африканские вересковые пустоши,
Черные, как ночь, адские, предательские, неясные,
Ужасные от невежества и больные от страха.
От стыда мы избегаем всех ярких красок,
Кто оплакивает наш конец — тиранов, которых мы терпим,
Цепи, петлю, поводок, ловушки, приманку —
Наших мрачных героев, наши души, погруженные в ночь.

В разгар этого веселья 20 марта прибыло посольство из Англии, объявившее о решении Генриха VIII развестись любой ценой с Екатериной Арагонской. Это вполне могло напомнить и папе, и императору о серьезности европейских дел. Теперь раскол Англии был неизбежен. Германия была отвлечена протестантской революцией. Армии Цезаря в основном состояли из мятежных лютеран. Некоторые из этих солдат даже осмелились свергнуть колоссальную статую Климента VII. и растереть его в порошок в Болонье; и это безобразие, как оказалось, осталось безнаказанным. Теми самими войсками, которые были задействованы в усмирении мятежной Флоренции, командовал лютеранский генерал; и Климент начал опасаться, что после отъезда Карла принц Оранский может пересечь Апеннины и подвергнуть папскую особу оскорблениям из-за очередного пленения в Болонье. И не только собирающиеся силы революционных протестантов были зловещими. Хотя Сулейман был отброшен под Веной, турки все еще продвигались к восточным границам империи. Их флоты бороздили воды Левантии, в то время как пиратские династии Туниса и Алжира угрожали разорением всему средиземноморскому побережью. Чарльз, все еще не уверенный в том, какую роль ему следует принять в спорах Германии, 23 марта уехал из Болоньи в Тироль. Климент в последний день месяца отправился через Лорето в Рим.

На данном этапе будет полезно резюмировать чистые результаты управления Карлом итальянскими делами в 1530 году. Королевство двух Сицилий вместе с островом Сардиния и Миланским герцогством стали испанскими провинциями, и отныне ими управляли вице-короли. Дом Эсте был утвержден в герцогстве Феррара, включая Модену и Реджо. Герцогства Савойское и Мантуанское, а также маркизат Монферрат, которые поддерживали испанское дело, были спокойны. Генуя и Сиена, обе они были признанными союзниками Испании, первая находилась под защитой Испании, вторая подвергалась испанскому принуждению, оставаясь с названием и пустыми привилегиями республик. Венеция заключила мир с Испанией, и хотя она все еще была достаточно сильна, чтобы проводить независимую политику, она пока не проявляла склонности и, более того, не имела никакой власти настраивать врагов против испанского самодержца. Герцогству Урбино, признанному Римом и подчиненному испанскому влиянию, было разрешено существовать. Папство вновь взяло надменный тон, полагаясь на прочный

союз, заключенный с Испанией. Этой лиге с годами было суждено стать еще ближе, добиваясь еще более плодотворных результатов.

Только Флоренция была исключена из условий мирного соглашения. Она все еще переживала ужасы памятной осады, когда Климент в конце мая покинул Болонью. Последний герой республики, Франческо Ферруччи, пал в бою при Гавиньяне 2 августа. Их генерал Малатеста Бальони нарушил доверие граждан. Наконец, 12 августа город капитулировал. Алессандро де'Медичи, получивший титул герцога Флоренции от Карла в Болонье, обосновался там в июле 1531 года и управлял государством с помощью испанских наемников под командованием Алессандро Вителли. Когда он был убит своим двоюродным братом в 1537 году, Козимо де'Медичи, отпрыск другой ветви правящей семьи, был назначен герцогом. Карл V признал его титул, и Козимо вскоре показал, что он полон решимости быть хозяином в своем собственном герцогстве. Он разгромил партию изгнанника Филиппо Строцци, который пытался совершить государственный переворот, истребил ее лидеров и ухитрился избавиться от могущественных сторонников, которые возвели его на трон. Но он оставался послушным, хотя и не очень добровольным союзником Испании; и когда он изгнал Алессандро Вителли из крепости, которая командовала Флоренцией, он принял вместо него испанца, дону Хуана де Луна. Во время мелких войн 1552-56 годов, которые Генрих II вел с Карлом V. в Италии, Сиена попыталась сбросить иго испанского гарнизона, установленного там в 1547 году под командованием дона Уртадо де Мендосы. Граждане обратились к Франции, которая прислала им великого маршала Пьеро Строцци, брата побежденного врага Козимо Филиппо. Козимо все эти годы поддерживал испанское дело войсками и деньгами, надеясь направлять события в своих собственных интересах. Наконец, с помощью Джан Джакомо Медичи, выходца из малоизвестной миланской семьи, обученного испанским методам ведения войны, ему удалось подчинить Сиену. Теперь он пожинал плоды своей испанской политики. В 1557 году Филипп II уступил сиенскую территорию, сохранив только ее форты, герцогу Флоренции, который в 1569 году получил титул великого герцога Тосканы от папы Пия V. Этот титул был подтвержден империей в 1575 году его сыну Франческо.

Таким образом, Флорентийская и Сиенская республики были ликвидированы. Было создано Великое герцогство Тосканское. Она стала итальянской державой первой величины, приверженной абсолютистским принципам испанского и папского суверенитета. Дальнейшие изменения, произошедшие в Италии после 1530 года, в равной степени пошли на пользу Испании и Риму. В основном это было создание Пармского герцогства для Фарнези (1545-1559), о котором я расскажу в следующей главе; восстановление Феррары папством в 1597 году, в результате чего у дома Эсте остались лишь более мелкие феодалы Модена и Реджо; приобретение Монферрата Мантуей в 1536 году; передача Салуццо Савойе в 1598 году и присоединение Урбино к папским владениям в 1631 году.

Когда Карл и Климент провозгласили умиротворение Италии в Болонье в последний день 1529 года, была надежда, что полуостров больше не будет театром войн за господство между французами и испанцами. Это ожидание оказалось обманчивым, поскольку вскоре борьба вспыхнула снова. Народ, однако, пострадал не так сильно, как в прежние годы, потому что испанская партия, поддерживаемая папской властью, была решительно преобладающей. Итальянские князья, нравилось им это или нет, были вынуждены в основном следовать политике Испании. Наконец, в 1559 году по Като-Камбрезийскому миру, подписанному между Генрихом II. при Филиппе II французские претензии были окончательно отвергнуты, и испанская

гегемония была официально признана. Более поздний Вервинский мирный договор 1598 года уступил Салуццо герцогству Савойскому и закрыл ворота Италии для французского вмешательства.

Хотя в период между 1630 и 1600 годами народ терпел гораздо меньше страданий от иностранных армий, чем в период с 1494 по 1527 год, тем не менее состояние страны становилось все более и более плачевным. В первую очередь это было связано с безумными методами налогообложения, принятыми испанскими вице-королями, которые держали в своих руках монополию на зерно и другие необходимые товары и которые изобрели пошлины на самые незначительные предметы потребления. Их примеру последовали папа и мелкие князья. Альфонсо II Феррарский, например, взимал десятую часть со всей продукции, которая проходила через ворота его города, и со столицы, участвующей в каждом контракте. Он монополизировал продажу соли, муки, хлеба и ввел высокий налог на нефть. Сикст V. путем поборов подобного рода и продажи бесчисленных должностей скопил огромную сумму денег, большая часть которых приносила большие проценты. Он был настолько несведущ в первом принципе политической экономии, что запер накопившиеся сокровища в замке Сан-Анджело. Анджело. Восстание Мазаньелло в Неаполе произошло просто из-за раздражения простых людей из-за того, что даже фрукты и овощи были обложены налогом. В дополнение к таким финансовым промахам, мы должны принять во внимание политику, проводимую всеми монархами в эту эпоху, направленную на противодействие торговле и мануфактуре. Таким образом, Козимо I Тосканский побудил старые флорентийские семьи вывести свои капиталы из торговли, вложить их в землю, создать пожизненное наследство для старших сыновей и украсить себя дурацкими титулами, которыми он щедро снабдил их. Даже Венеция проявляла в ту эпоху презрение к коммерции, которая привела ее к непревзойденному великолепию. Этот преднамеренный спад промышленности был отчасти результатом испанских аристократических привычек, которые теперь вторглись в итальянское общество. Но это также было намеренно выбрано в качестве средства подавления свободы. Наконец, если война оказалась теперь менее обременительной, то истощение Италии и упадок воинского духа сделали народ подверженным бедствию пиратства. Все морское побережье систематически разграблялось флотами Барбароссы и Драгута. Жители портов и внутренних деревень были угнаны в рабство, и многие итальянцы сами вели бойкую торговлю по продаже своих соотечественников. Разбой, последовавший за спадом в сельском хозяйстве и чрезмерным налогообложением, привел к опустошению центральных провинций. Все эти бедствия усугублялись частыми вспышками эпидемий и голода.

Характерно для всего течения итальянской истории то, что, несмотря на фактическую гегемонию, которую испанцы теперь осуществляли на полуострове, нация продолжала существовать отдельными участками, каждый из которых сохранял определенную индивидуальность. То, что испанский автократ не мог относиться к Италии как к единой провинции, станет очевидным, если мы рассмотрим европейскую ревность, которую вызвала бы столь кратковременная демонстрация силы. Также несомненно, что папство, которое следовало уважать, оказало бы сопротивление открыто провозглашенному испанскому деспотизму. Но более весомым, я думаю, чем все эти соображения вместе взятые, был прошлый престиж итальянских государств. Европа не была готова рассматривать это блестящее и до сих пор уважаемое созвездие государств, из которого распространились вся интеллектуальная культура, жизненные искусства, методы торговли и теории политического существования, как единую провинцию испанской монархии. . Сами испанцы едва ли были в состоянии допустить

мысль о том, чтобы превратить полуостров в рабство *vi u armis*. И если бы они предприняли какие-либо меры, направленные на достижение этого результата, им, несомненно, оказал бы сопротивление союз европейских держав. То, к чему они стремились и чего добились, было преобладающим влиянием в каждой из областей, которые они признавали номинально независимыми.

Таким образом, интеллектуальная и общественная жизнь итальянцев, хотя и значительно поубавившаяся, все еще, как и прежде, была сосредоточена в городах, отличавшихся ярко выраженными местными особенностями и хваставшихся своей древней славой. Дворы Феррары и Урбино продолжали формировать центры литературных и художественных кружков. Венеция оставалась оплотом умственной необузданности и моральной распущенности, где мыслители высказывали свои мысли с приемлемой свободой, а распутники беспрепятственно потакали своим вкусам. Рим рано приобрел новый вид благочестия, и внешнее соответствие строгим образцам стало здесь модой. И все же папская столица не полностью перестала быть курортом студентов и художников. Университеты занимали respectable положение, действительно, сильно отличающееся от того, которое они занимали в прошлом столетии, но все же не позорное. Многие были изучены по многим направлениям, отличным от тех, которые предписывались более ранними гуманистами. Падуя, в частности, отличилась медицинскими исследованиями. Более того, это было время расцвета академий, в которых, несмотря на болтовню о глупостях и потакание глупым вкусам, была проделана солидная работа для литературы и науки. Названия Чименто, Делии Круска и Палаццо Вернио во Флоренции напоминают нам о немаловажных трудах в области физики, анализа языка и формирования нового драматического стиля музыки. В то же время особого внимания заслуживает возрождение популярной литературы и создание популярных театральных типажей. Как будто итальянская нация в ту эпоху, задушенная испанским этикетом и отравленная иезуитским лицемерием, стремилась расширить здоровые легкие на свободном воздухе, предаваясь диалектическим тонкостям и увековечивая уличные шутки гением комедии масок.

Эта древнейшая и чрезвычайно жизнерадостная раса дала Европе Римскую республику, Римскую империю, систему римского права, романские языки, латинское христианство, папство, и, наконец, все, что включено в искусство и культуру Возрождения. Возможно, пришло время отдохнуть столетие или около того и понаблюдать, как восставшие нации — испанцы, англичане, французы и так далее — шевелят своими крепкими конечностями в общей борьбе и прокладывают новые пути развития новаторской промышленности.

Таким образом, давайте, если мы сможем это сделать, рассмотрим итальянцев во время их подчинения Церкви и Австрии. Если бы не эти утешительные размышления и нынешнее возрождение нации в новой и ранее непостижимой форме единства, история периода Контрреформации была бы почти слишком болезненной для исследования. Того, чего итальянцы на самом деле достигли за этот период в искусстве, образовании, науке и литературе, действительно было более чем достаточно, чтобы придать неувядающий блеск таким расам, как голландцы или немцы в ту же эпоху. Но было бы нелепо сравнивать итальянцев с голландцами или немцами в то время, когда Италия все еще была столь неизмеримо выше. По сравнению с их собственным уровнем, по сравнению с тем, чего они могли бы достичь при более благоприятных условиях национальной независимости, результаты этого века удручают. Трагические элементы моей нынешней темы суммируются в том факте, что Италия времен

Контрреформации была ниже Италии эпохи Возрождения, и что эта неполноценность была вызвана нарушением жизненно важных и органических процессов реакционными силами.

Было бы несправедливо осуждать Испанию и папство за то, что, будучи реакционными державами, они на три столетия погасили светлый свет Италии. Скорее мы должны иметь в виду, что и Испания, и папство были в то время космополитическими факторами первой величины, перед которыми стояли сложные мировые проблемы. Карл взвалил на свои плечи заботы Империи, бремя немецкой революции и отвлекающую тревогу дуэли с исламом. Когда его сын склонился под ярмо правительства, ему пришлось столкнуться с теми же трудностями, осложненными восстанием в Нидерландах, антагонизмом в Англии и сомнительным брожением во Франции. Череду пап мешали болезненные европейские вопросы, которые инстинкт самосохранения научил их считать первостепенными. Они боролись за существование; за католическое вероучение; за свой собственный теократический суверенитет. У них были сильные карты. Но против них были сформированы батальоны ереси, свободомыслия, политического мятежа в современном мире. *Дух времени*, который сделал нас такими, какие мы есть, начал организовывать жесткую оппозицию Церкви. Было вполне естественно, что и испанский автократ, и преемник Святого Петра в этот кризис рассматривали итальянские дела как второстепенные по важности по сравнению с более широкими делами, которые требовали их внимания. И все же, если мы изменим нашу точку зрения с этого высокого наблюдательного пункта императорских и папских забот и разместимся в центре Италии в качестве нашего наблюдательного пункта, станет очевидно, что ничего более разрушительного для процветания итальянского народа нельзя было придумать, чем совместное самодержавие, предоставленное в Болонье двум космополитическим, но вненациональным силам в их среде. Чужеродная монархия, жадная до золота, охваченная паникой иерархия, опасаящаяся за свою жизнь, исказила тенденции и задушила энергию самой чувствительной к искусству, самой героически изобретательной из существующих рас. Как бы мы ни судили о достоинствах испанцев, они, несомненно, не были теми, кто вывел Италию в первый ряд европейских наций. События одного столетия доказали, что Испания была далека от того, чтобы управлять другими народами, она была неспособна к самоуправлению на основе каких-либо рациональных принципов. Какой бы ни была политика, навязанная главе латинского христианства в отчаянной борьбе с воинствующим рационализмом, репрессивные меры, которые оно считало необходимым принять, были в высшей степени пагубны для такой расы, как итальянцы, которые не проявляли склонности к религиозному возрождению и которые все же были повсюду подчинены тирании церковной дисциплины и интеллектуальной нетерпимости.

Соглашение, заключенное Карлом V. в 1530 году, и различные изменения, произошедшие в герцогствах между этой датой и концом столетия, привели к тому, что папство и Испания стали всемогущими в Италии. Эти родственные автократы были объединены в прочный союз, за исключением короткого периода французской политики Павла IV, который закончился полным поражением папы Альвой в 1557 году. Они использовали свои объединенные силы для сковывания современного мира духовными, политическими и социальными цепями. То, чего они лишь частично добились в Европе в целом, посредством резни Святого Варфоломея, истребления евреев в Толедо и мусульман в Гранаде, холокостов в Нидерландах, войн против французских гугенотов и немецких лютеран, военно-морских экспедиций и заговоров против государства Англия, убийств принцев-еретиков и, время от времени, сожжений свободомыслящих, они достигли с полным успехом в Италии. Центр полуострова, от Феррары до Террачины, находился в ведении папы римского. Две Сицилии, Сардиния и Миланское

герцогство, находились в абсолютной зависимости от испанской короны. Тоскана была связана узами интересов и более сильными узами терроризма с Испанией. Незначительные княжества Мантуя, Модена, Парма не могли поступить иначе, как подчиниться той же преобладающей власти. Не стоит принимать во внимание крошечные республики Генуя и Лукка. Их история в этот период, хотя и не столь богата событиями, едва ли менее незначительна, чем история Сан-Марино. Только Венеция оставалась независимой, все еще достаточно могущественной, чтобы молча подавить испанский заговор Бедмара, все еще достаточно гордой, чтобы мужественно противостоять посягательствам Павла V. Однако она сознавала свой упадок и тратила последние силы на войну с турками.

В конце столетия Вервинским миром 1598 года и двумя последующими договорами Испания и Франция урегулировали свой давний спор. Франция была окончательно исключена из Италии из-за уступки Салуццо Савойе, в то время как Савойя в тот же момент, из-за потери своих бургундских провинций, стала итальянской державой. Старый антагонизм, который, восходя к раздорам гвельфов и гибеллинов в XIII веке, принял новую форму после вступления Карла Анжуйского на папский престол с королевствами Сицилия и Неаполь, теперь прекратился. Этот старинный антагонизм партий, чуждый внутренним интересам Италии, обострился в результате соперничества анжуйских и арагонских принцев; приобрел огромную силу после вторжения Карла VIII в 1494 году; и расширился при правлении Людовика XII. и Франциска I. в открытую борьбу между Францией и Испанией за господство в Италии. Теперь она была окончательно прекращена изгнанием французов и признанным господством испанца. Но хотя казалось, что мир был обеспечен нации, измученной столькими опустошительными войнами иностранных армий, итальянцы отнеслись к уступке Салуццо с унынием. Сторонники национальной независимости и политической свободы, как это ни нелогично, привыкли считать Францию своим союзником.^[6] Теперь они увидели, что ворота Италии закрыты перед французами; они увидели исчезновение своей древней политики гвельфов по привлечению французского оружия в Италию. Они чувствовали, что отдых от раздоров был дорого куплен ценой бесправного рабства у испанских и австрийских Габсбургов, испанских бурбонов и беспородных принцев, выведенных путем скрещивания этих пород с разлагающимися отпрысками итальянской знати. Собственно говоря, такова была судьба, которая ждала их в течение почти двух столетий после подписания Вервинского мира.

Однако уступка Салуццо действительно стала первым проблеском надежды для Италии. Это определило Савойский дом как итальянскую династию и впервые ввело в сферу чисто итальянских интересов ту провинцию, из которой должно было исходить будущее спасение нации. С 1598 по 1870 год судьбы Италии были связаны с превращением Савойи из герцогства в королевство, с ростом ее богатства, военных ресурсов и политического самосознания, а также с окончательным принятием ею выполненной в наши дни задачи освобождения Италии от иностранной тирании и формирования единой нации из множества составных элементов. Эти составляющие элементы своим разнообразием придавали блеск расе в Средние века, своей завистью подорвали ее независимость в эпоху Возрождения, а своей слабостью сделали ее в период Контрреформации беспомощной добычей папского и испанского деспотизма.

Нивелирование составляющих элементов итальянской расы общим деспотизмом, начавшееся в период, который я выбрал для этой работы, было, возможно, необходимо до того, как Италия смогла занять свое место в качестве объединенной нации, наделенной конституционным самоуправлением и независимостью. Следовательно, за исключением страданий и унижений,

причиненных ее народу; за исключением их рабства самым унижительным формам церковной и мирской тирании; за исключением уничтожения их прекрасной культуры эпохи Возрождения; за исключением упадка искусств, образования, науки и литературы вместе с ослаблением политической энергии и домашней морали; за исключением отвратительного господства лицемеров, преследователей и доносчиков; за исключением иезуитского поощрения каждого тайного порока и каждого рабского суеверия, которые могли бы выхолостить расу и сделать ее несчастной. оно подчинено власти; — за исключением этих ужасающих зол, мы, возможно, не имеем права сожалеть о заселении Италии Карлом V в 1530 году или о ходе последующих событий. Ибо вполне очевидно, что некоторое такое выравнивание, которое тогда началось, было необходимо для приведения составных штатов Италии к согласию; и несомненно, как я уже имел случай указать, что политическая сила, которая в конечном итоге ввела Италию в европейскую систему федеративных наций, была определена по своему характеру, если не создана, то. Тем не менее, история этого периода (1530-1600) в Италии представляет собой продолжительную, торжественную, невыразимо душераздирающую трагедию.

Это трагическая история старейшей и прекраснейшей, благороднейшей и достопочтеннейшей, свободнейшей и наиболее одаренной из дочерей Европы, отданной на растерзание дьяволу, исходящему от самого некомпетентного и высокомерно глупого европейского сестринства, и жестокости, вдохновленной паникой, нечестивой теократии. Когда мы используем эти термины для обозначения папства Контрреформации, это не значит, что мы забываем, сколько из этих пап были людьми безупречной личной жизни и серьезных взглядов на католический христианский мир. Когда мы используем эти термины для обозначения испанской расы в шестнадцатом веке, это не значит, что мы ничего не знаем об испанском рыцарстве и колонизаторской предприимчивости, об испанских романах или о том факте, что Испания произвела на свет великих художников, великих драматургов и одного великого романиста в краткий период своей славы. Однако мы используем их намеренно в обоих случаях; потому что папство в тот период проводило политику аморального, ретроградного и трусливого подавления самых благородных человеческих порывов под давлением эгоистичного террора; потому что испанцы отдались на милость темного дьявола религиозного фанатизма; потому что они были безжалостны в своих завоеваниях и неразумны в управлении поработоченными провинциями; потому что они насыщали свою похоть алчности и ненависти трудолюбивыми людьми других вероисповеданий в пределах своих границ; потому что они культивировали бесплодную гордыню и себялюбие. - тщеславие в общественной жизни; потому что в великую эпоху пробуждения Европы они выбрали не ту сторону и придерживались ее с фатальным упрямством. Это упрямство было губительным для их соседей и губительным для них самих. За короткий период трех царствований (между 1598 и 1700 годами) они опустились с первой на третью ступень в Европе и увидели, как скипетр переходит в Новом Свете из их рук в руки более нормально устроенных рас. То, что самоотречение от стерилизирующих страстей и постыдных преследований, которые привели Испанию к упадку во второй половине шестнадцатого века и сделали ее проклятием своих зависимостей, может быть частично приписано энтузиазму, вызванному у предыдущих поколений героическим конфликтом с наступающим исламом, является тезисом, который можно продемонстрировать. Тем не менее, верно и то, что ее действия в тот период были пагубны для нее самой и чуть ли не разрушительны для Италии.

После 1530 года семь испанских дьяволов вторглись в Италию. Это были дьявол инквизиции с колами и пыточными камерами и войной, объявленной против воли, души, сердца и интеллекта человека; дьявол иезуитизма с его фальшивой ученостью, бесстыдной ложью и казуистической

экономией грехов; дьявол вице-королевского правления с его истощающими жизнь монополиями и вопиющей неспособностью управлять; дьявол наглой солдатчины, расквартированной за счет народа, требующей платы, возмутительной в своих похотях и насилии; дьявол фантастического налогообложения, взимающего пошлины с населения. насущные потребности и иссушающий источники национального благосостояния у их истоков; дьявол мелкого княжества, погрязающий в лени и жестокости на щепетильном троне; дьявол женоподобного идадьгоизма, разорительный в расходах, подлый и алчный, развращенный в частной жизни, на публике напыщенный, тщеславящийся титулами, раболепствующий перед своими хозяевами, высокомерный по отношению к подчиненным. В своей свите они привели с собой семь других дьяволов, своих пагубных порождений: праздность, болезни, разбой, нужду, невежество, суеверия, лицемерно одобряемый порок. Эти четырнадцать дьяволов были радушно приняты, их развлекали и с наслаждением поселили во всех прекраснейших провинциях Италии. Папы широко распахнули перед ними ворота разгневанного и обезлюдившего Рима. Герцоги и маркизы падали ниц и поклонялись золотому истукану испанского Велиала — Молоху - этому отвратительному идолу, чье лицо было почерневшим от сажи от сжигания человеческой плоти, а юбки были забрызганы кровью тысяч людей, убитых в войнах преследования. После нескольких лет спокойного пребывания в Италии эти дьяволы повсюду сеяли запустение и коррупцию. Обширные области, подобные Вотчине Святого Петра и Калабрии, были отданы мародерствующим бандитам; обширные плодородные земли, подобные Сиенской Маремме, были преданы малярии; волки рыскали по опустевшим деревням вокруг Милана; в каждом городе чума уносила сотни жизней ежедневно; мануфактуры, торговля, сельское хозяйство, промышленные предприятия городов и сельских округов прекратились; дворы кишели мелкими дворянами, которые кичились ничтожными титулами; и отдали своих жен чичисбее, а сыновей - лени; искусство и ученость пришли в упадок; не было человека, который бы любил их. осмелился высказать свою мысль или написать правду; и по Мертвому морю социального разложения поплыло тошнотворное масло иезуитского лицемерия.

ГЛАВА II

ПАПСТВО И ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР

Контрреформация -Ее интеллектуальный и моральный характер—Причины постепенного угасания энергии Возрождения—Переход от Ренессанса к католическому возрождению—Новый религиозный дух в Италии—Отношение итальянцев к немецкой реформации—Ораторское искусство Божественной любви—Гаспаро Контарини и умеренные реформаторы—Новые религиозные ордена—Павел III.—Его ранняя история и образование—Политические отношения между Францией и Испанией—Создание герцогства Пармского—Неизбежность Генерального Собора—Пересмотр предыдущих Соборов—Беспокойство Павла—Открытие Собора в Тренте в 1542 году—Протестанты практически исключены, и католические догмы подтверждены на первых заседаниях—Смерть Павла в 1549 году—Юлий III.—Павел IV.—Характер и правящие страсти Г.П. Караффы—Его тщетное противодействие Испании—Тиранья

его племянников—Их падение—Павел посвящает себя церковной реформе и инквизиции—Пий IV.—Его министр Мороне—Дипломатический характер этого папы—Его руководство Собором—Помощь, оказанная его племянником Карло Борromeо—Тревожное состояние Северной Европы—Собор вновь открылся в Тренте в 1562 году—Последующая история Собора — Это завершается полным папским триумфом в 1563 году — Восшествием на престол Пия IV. в истории—Пий V.—Папа—инквизитор—Население Рима—Социальная коррупция—Продажа должностей и правосудия—Тридентские реформы снижают богатство—Аскетическая чистота нравов становится модной- Благочестие—Католическая реакция порождает Контрреформацию—Битва при Лепанто—Григорий XIII.—Его родственники—Политика обогащения Церкви за счет баронов—Разбой в государствах Церкви—Сикст V.—Его суровое правосудие—Жесткая экономика—Великие общественные работы—Налогообложение—Город Рим принимает свой нынешний вид-Кумовство в период контрреформации —Различные оценки богатства, накопленного папскими племянниками —Возвышение знатных римских семей.

Нелегко определить интеллектуальные и моральные изменения, произошедшие в Италии в период Контрреформации[7]; еще труднее объяснить эти изменения отдельными причинами. И все же от писателя, взявшегося исследовать итальянскую культуру и нравы в период с 1530 по 1600 год, требуется некоторый анализ, ведущий к такому определению.

В последней главе я попытался описать глубину рабства, до которого были доведены отдельные государства Италии в конце войн между Францией и Испанией. Опустошение страны, потеря национальной независимости и господство чуждой расы могут быть причислены к наиболее важным из тех влияний, которые вызвали рассматриваемые изменения. Какого бы мнения мы ни придерживались относительно связи между политической автономией и умственной силой народа, вряд ли можно оспаривать тот факт, что внезапное и всеобщее прекращение свободы должно нанести ущерб искусствам и наукам, выросшим в условиях свободных институтов.

Но действовали и другие причины. Среди них заметное место следует отвести изменению интеллектуальных интересов самих итальянцев. Первоначальные импульсы Возрождения в науке, живописи, скульптуре, архитектуре и народной поэзии были исчерпаны.

Гуманизм, восстановив классику и сформировав новый идеал культуры, скатывался к педантизму и академической эрудиции. Живопись и скульптура, достигшие кульминации в великой работе Микеланджело, тяготели к своего рода пустому маньеризму. Архитектура сводилась к типам, установленным Палладио и Бароцци. Поэзия, по-видимому, достигла высшей точки своего развития у Ариосто. Были выработаны основные мотивы, привнесенные в искусство средневековыми традициями игуманистическим энтузиазмом. И это еще не все. Эпоха Возрождения создала критический дух, который проник во все отрасли искусства и литературы. Продвинуться дальше по старым линиям было невозможно, и все же художники, скульпторы, архитекторы и поэты подрастающего поколения имели перед глазами шедевры своих предшественников, в их умах - заветы ученых. Все они в равной степени испытывали неловкость и смущение из-за ощущения, что работают в невыгодном положении, и из-за страха академической цензуры.

По правде говоря, этот критический дух, который был конечным продуктом Возрождения в Италии, способствовал развитию новых сил в нации: он мешал работникам старых сфер искусства, литературы и науки; но он направлял мыслителей на путь тех исследований, которые мы называем научными. В одной из будущих глав я попытаюсь показать, как итальянцы были

готовы перенести пыл Возрождения на новые поля физических открытий и спекуляций, когда их развитие было приостановлено католической реакцией. Но здесь достаточно отметить, что формализм пришел на смену силе и изобретательности национального гения в основных областях литературы и изобразительного искусства благодаря действию естественных влияний.

Если мы изучим развитие других европейских рас, то обнаружим, что каждая из них, в свою очередь, в свое время проходила через сходные фазы. Средневековый период заканчивается расцветом новой восхитительной энергии, которая дарит миру Рабле, Шекспира, Сервантеса. Ренессанс бунтует в маринизме, гонгоризме, эвфуизме и вычурности отеля Рамбуйе. На смену этому веку приходит более холодный, более критичный, более формальный век подчинения установленным канонам, в течение которого предпринимаются научные усилия по очищению стиля и навязыванию законов вкуса. Последующий период развития *sense* также отмечен более глубокими исследованиями природы и более точным анализом ментальных операций. Правильная школа поэтов, кульминацией которой являются Драйден и Поуп, господствует в Англии; в то время как Ньютон, Локк и Бентли расширяют сферу науки. Во Франции эпоха Рабле и Монтеня уступает место эпохе Расина и Декарта. Германия была настолько поглощена религиозными войнами, Испания была настолько подавлена инквизицией, что они не предлагают столь ярких примеров.^[8] Можно добавить, что во всех этих странах конец восемнадцатого и начало девятнадцатого веков отмечены подобным восстанием против формальностей и здравого смысла, которому мы даем название романтического движения.

Оставляя эту сферу спекуляций, мы можем далее указать на то, что европейская система претерпела неисчислимый процесс трансформации. Существовали могущественные национальности, которые, получив образование в Италии, теперь начинали думать и выражать свои мысли с заметной оригинальностью. Итальянцы больше не обладали неоспоримым интеллектуальным превосходством по отношению к этим народам, в то время как они сталкивались с ними в решительных невыгодных условиях во всех аспектах политической эффективности. Средиземноморье перестало быть главной дорогой коммерческого предпринимательства и военно-морской энергии. Знаменитое устройство Карла V. из двух колонн с его девизом *Plus Ultra* указывало на то, что открылись безграничные горизонты, что началась эпоха, в которой Испания, Англия и Голландия должны оспаривать суверенитет над Атлантическим и Тихим океанами. Италии с уменьшившимися силами сопротивления пришлось нести на себе основную тяжесть турецких и арабских набегов. Точка притяжения в цивилизованном мире сместилась. Западные нации больше не обращали внимания на Юг Европы.

Пока действовали эти различные причины, католическое христианство проявляло признаки возрождения. Реформация пробудила новый и искренний дух в латинской Церкви; возникли новые противоречия, и папская иерархия должна была предпринять новые усилия для самосохранения. Центром всемирного движения, получившего название Контрреформации, естественно, был Рим. События вновь вывели Святой Престол на видное положение. Сейчас, благодаря поддержке Испании и угасанию национальной независимости, это было более могущественное итальянское государство, чем в любой предыдущий период истории. В католическом христианском мире его престиж был чрезвычайно повышен Тридентским собором. В ту же эпоху иностранцы, господствовавшие в Италии, с энтузиазмом фанатизма бросились в это Возрождение. Испания предоставила Риму ополчение иезуитов и орудия инквизиции. Таким образом, папство смогло добиться успехов в Италии, которые в других

местах были достигнуты лишь частично. Из этого следовало, что моральная, социальная, политическая и интеллектуальная деятельность итальянцев в этот период контролировалась и окрашивалась влияниями, враждебными раннему Возрождению. Италия претерпела метаморфозу, предписанную папством и приведенную в исполнение испанским правлением. В процессе этого преобразования народ подчинился жесткой церковной дисциплине и перенял, не ассимилируя, обычаи иностранного отряда деспотов.

На первый взгляд мы можем удивиться, что раса, которая блистала таким несравненным блеском от Данте до Ариосто и которая так много сделала для создания современной культуры в Европе, так спокойно приняла регрессивную революцию. Однако, если присмотреться повнимательнее, это неудивительно. Итальянцы были утомлены творчеством, сбиты с толку сложностью своих открытий, неуверенны в том, что им предстоит сделать в ближайшее время. Эпоха Возрождения была в основном делом рук немногих избранных. Она преобразовала общество, не затронув массы людей. Было ли странным, что большинство задумалось о том, что, в конце концов, старые пути - лучшие? Это привело их к одобрению католического возрождения. Было ли странным, что после долгих отвлекающих бесцельных войн они приветствовали мир любой ценой? Это придало испанскому гегемонизму народную поддержку, несмотря на его очевидные недостатки.

Таковы основные условия, которые придавали особый, но нелегко поддающийся определению оттенок вялости, меланхолии и угасающей жизненной силы почти каждому проявлению итальянского гения во второй половине шестнадцатого века и которые практически стерилизовали этот гений в течение двух последующих столетий. Как и вся остальная Европа, в результате неизбежного изменения своих ментальных пристрастий, они утратили беспечную непосредственность эпохи Возрождения. Но в то же время они страдали от тяжелого истощения, были унижены тиранией иностранного деспотизма и терроризированы церковной нетерпимостью. Поэтому в их случае постепенно все более и более заметной становится своего рода моральная и интеллектуальная атрофия. Ясное художественное чувство правильности и красоты уступает место сомнительному вкусу. Откровенная дерзость эпохи Возрождения сменяется раболепной робостью, неуклюжей тупостью, сонным и косным согласием с общепринятыми формулами. Поначалу лучшие умы нации волнуются и бунтуют, и в награду за упорство их ждет темница или кол. В конце концов, все кажутся безразличными, удовлетворенными пустотой, очарованными безвкусицей. Самым ярким эпизодом в этот унылый период является появление современной музыки, обладающей ни с чем не сравнимой сладостью и ясностью.

Не следует предполагать, что перемена, о которой я упомянул, быстро затронула итальянский дух. Когда Павел III. сменивший Климента на папском престоле в 1534 году, некоторые из гигантов эпохи Возрождения все еще оставались в живых, и большая часть их великой работы была еще не завершена. Микеланджело не рисовал "Страшный суд" и не планировал купол, венчающий собор Святого Петра. Челлини не создавал своего Персея для Лоджии де Ланци, и Палладио не воздвигал Сан-Джорджо из моря в Венеции. Пьетро Аретино все еще кичился своей барской наглостью; и хотя Макиавелли был мертв, "серебряные истории" Гвиччардини еще предстояло написать. Банделло, Джиральди и Илья Ласка не опубликовали свою Новеллу, а Чекки не придал последнего штриха флорентийской комедии. Величественный стиль Возрождения продолжал процветать главным образом в Венеции, сохранившей древние формы своей олигархической независимости. Тициан был в расцвете сил; звезды Тинторетто и

Веронезе едва взошли над горизонтом. Сансовино все еще создавал шедевры живописной архитектуры.

Чтобы понять переход Италии от эпохи Возрождения к контрреформации, будет полезно сосредоточить внимание на истории папства в течение восьми царствований Павла III., Юлия III., Павла IV., Пия IV., Пия V., Григория XIII., Сикста V. и Климента VIII.^[9] В первое из этих царствований мы едва замечаем, что эпоха Возрождения ушла в прошлое. В последнем мы видим полностью изменившуюся Италию. И мы понимаем, что это изменение произошло главным образом из-за церковной политики, которая привела Тридентский собор к успешному завершению в правление Пия IV.

Прежде чем приступить к этому обзору папской истории, я должен дать краткий отчет о более серьезном религиозном духе, который был развит в итальянской церкви; поскольку стремление этого духа к жесткому католицизму во второй половине шестнадцатого века определило характер итальянских нравов и культуры. Протестантизм в строгом смысле этого слова мало повлиял на итальянское общество. Верно, что умы некоторых студентов-философов были глубоко взволнованы смелым обсуждением теологических принципов в Германии. Таких людей сделали восприимчивыми к новым впечатлениям платонизирующие рассуждения Фичино и Пико делла Мирандолы, а также критика Библии на языках оригинала, которая составляла второстепенную ветвь гуманистического образования. Более того, на них сильно повлияли невзгоды Рима во времена оккупации Бурбонами, и они стали рассматривать их как божественное наказание, наложенное на Церковь за ее испорченность и нечестие.

Лютеранство настолько сильно повлияло на их взгляды, что они убедились в необходимости возвращения к более простым элементам христианства в вероучении и поведении. Они считали необходимой тщательную реформу иерархии и всех католических институтов. Более того, они пристрастно придерживались некоторых основных догматов Реформации, в частности доктрин оправдания верой и спасения заслугами Христа, а также принципа, согласно которому Священное Писание является единственным авторитетом в вопросах веры и дисциплины. Таким образом, и кардиналы Мороне, и Контарини, и поэт Фламинио, и неаполитанская знать Колонна, усвоившие учение Вальдеса, попали под подозрение в неортодоксальности по этим пунктам. Но характерным для членов этой школы было то, что у них не было желания отказываться в верности папе как главе христианского мира. Они с ужасом содрогались при мысли о том, чтобы поощрять раскол или отлучать себя от общения с католиками. Существенное различие между итальянскими и тевтонскими мыслителями по таким вопросам в ту эпоху, по-видимому, заключалось в следующем: итальянцы не могли перестать быть католиками, не переставая в то же время быть христианами. Они не могли приспособить свою веру ни к одному из компромиссов, предложенных Реформацией. Даже когда они покинули свою страну в духе восстания, они чувствовали себя неловко как с лютеранами, так и с кальвинистами. Подобно Бернардино Очино и антитринитариям социнианской секты, они беспокойно скитались по Европе, неспособные установить контакт ни с одной из устоявшихся форм протестантизма. Кальвин в Женеве начал настоящий крестовый поход против итальянских мыслителей, которые расходились с его взглядами. Он довел Валентино Джентиле до смерти на эшафоте и изгнал Грибальди, Симоне, Бьяндрату, Альчиати, Негро. Большинство из этих людей нашли убежище в Польше, Трансильвании и даже Турции.^[10]

В Италии было достаточно смелых спекулянтов, практически отказавшихся от католической веры. Но большинство из них не считали нужным открыто разрывать отношения с Церковью.

Богословское расщепление волос напоминало им только о средневековой схоластике, от которой они были освобождены классической культурой. Их меньше интересовали вопросы, касающиеся спасения личности или точной природы таинств, чем метафизические проблемы, предложенные исследованиями античных философов, или новые теории материальной вселенной.

Безразличие этих людей к религии облегчало им во всем внешнем подчиняться обычаю. Их фундаментальной аксиомой было то, что научный мыслитель может придерживаться одного набора мнений как философ, а другого - как христианин. Их девизом был знаменитый *Foris ut moris, intus ut libet*.^[11] И церковные власти не были недовольны таким отношением во время господства гуманистической культуры. Это действительно было отношение пап, таких как Лео, кардиналов, таких как Бембо. И это проявило свою сущностную слабость только тогда, когда волна общего мнения под напором тевтонских революционных идей резко повернулась в пользу формальной ортодоксии. Тогда действительно стало опасно занимать позицию Помпонаццо.

Ментальный настрой таких людей настолько хорошо иллюстрируется письмом, написанным Челио Кальканьини Перегрино Морато, что я без колебаний приведу его здесь. Похоже, что Морато послал своему корреспонденту какой-то трактат по богословским вопросам, которые тогда были предметом спора; и Кальканьини отвечает:

"Я прочитал книгу, касающуюся споров, столь волнующих в настоящее время. Я обдумал ее содержание и взвесил его на весах разума. Я не нахожу в нем ничего, что нельзя было бы одобрить и защитить, но некоторые вещи, которые, как тайны, безопаснее подавлять и скрывать, чем доводить до сведения простых людей, поскольку они относились к примитивному и младенческому состоянию Церкви. Теперь, когда постановления отцов церкви и давний обычай ввели другие способы, какая необходимость в возрождении устаревших обычаев, которые давно пришли в негодность, тем более что ни благочестие, ни спасение души их не касаются? Давайте же, прошу вас, оставим все это в покое. Не то чтобы я осуждал то, что их используют ученые и любители старины; но я бы не хотел, чтобы они доводились до сведения простых людей и тех, кто любит новшества, чтобы они не дали повода для раздоров и мятежа. Есть необразованные и неквалифицированные люди, которые, после долгого невежества, прочитав или услышав определенные новые мнения относительно крещения, брака духовенства, рукоположения, различия в днях и пище, а также публичного покаяния, сразу же понимают, что эти вещи следует неукоснительно поддерживать и соблюдать. Поэтому, по моему мнению, обсуждение этих вопросов должно быть ограничено посвященными, чтобы бесшовное одеяние нашего Господа не было разорвано.... Видя, что опасно говорить о таких вещах перед толпой и в публичных выступлениях, я должен посчитать самым безопасным "говорить со многими и думать с немногими" и помнить совет Павла: "Имеешь ли ты веру? Имей это при себе перед Богом".^[12]

Новый религиозный дух, который я попытался охарактеризовать как пропитанный протестантскими взглядами, но не склонный к разрыву с Римом, проявился примерно в одно и то же время в нескольких группах. Одно из них было в Риме, где общество под названием Оратория Божественной Любви, включавшее от пятидесяти до шестидесяти членов, начало собираться еще во времена правления Льва X в Трастевере. В это благочестивое общество входили люди самого разного склада. Садолето, Гиберто и Контарини были здесь в тесном

общении с Газтано ди Тьене, святым основателем театинцев, и с его другом Карафтой, основателем римской инквизиции. Венеция была центром другой группы, среди которых можно упомянуть Реджинальда Поула, Гаспаро Контарини, Луиджи Приули и Антонио Бруччоли, переводчика Библии с языков оригинала на итальянский. Поэт Маркантонио Фламинио стал членом обоих обществ; более того, он был личным другом геновских кардиналов Саули и Фрегозо, которых мы по праву причисляем к мыслителям того же класса. Фламинио, хотя он и умер в католическом общении, до сих пор подозревался в ереси, что его работы были внесены в Индекс 1559 года. В Неаполе Хуан Вальдес стал лидером аналогичной группы людей. Его взгляды, воплощенные в "Труде ученика" и пересмотренные Маркантонио Фламинио, *О пользе смерти Христа*, выявили сильные лютеранские тенденции, которые в более поздний период, несомненно, обрекли бы его на вечное заключение или изгнание. Эта книга имела широкое распространение в Италии и оказала влияние на то, чтобы направить умы вдумчивых христиан к проблемам оправдания. Это приписывалось Аонио Палеарио, который принял мученическую смерть в Риме за то, что придерживался доктрин, сходных с доктринами Вальдеса.^[13] Вокруг него собрались несколько членов великой семьи Колонна, в частности Веспасиано, герцог Паллиано, и его жена, звезда итальянской красоты Джулия Гонзага. Виттория Колонна, маркиза Пескара, впитала новые доктрины в том же кругу; то же самое сделал и Бернардино Очино. Модена могла похвастаться еще одним объединением, собравшимся в доме Грилленцоне; в то время как Феррара стала штаб-квартирой еще более ярко выраженной партии реформаторов под покровительством герцогини Французской Рене, дочери Людовика XII. Эти различные общества и кружки были связаны узами дружбы и литературной переписки и были косвенно связаны с менее удачливыми богословами-реформаторами; с Аонио Палеарио, Бернардино Очино, Антонио деи Пальярриччи, Карнесекки и другими, чья трагическая история станет частью моей главы об инквизиции.

В компетенцию этой главы не входит описание того, что не совсем уместно было бы назвать Реформацией в Италии. Моя цель в настоящей книге - не следовать за традициями протестантизма, а проследить продолжение эпохи Возрождения, слияние ее импульса с новыми фазами европейского развития. Поэтому я ограничусь указанием на то, что в начале правления Павла III по главным городам Италии был широко распространен новый дух религиозной серьезности и энтузиазма, который до сих пор не имел определенного направления. Этот дух сильнее всего горел в Гаспаро Контарини, который в 1541 году по поручению папы римского посетил конференцию в Рехенсбурге для обсуждения условий примирения с лютеранами. Ему удалось составить удовлетворительные статьи по основным теологическим вопросам, касающимся природы человека, первородного греха, искупления и оправдания. Они были приняты протестантскими теологами в Рехенсбурге и, возможно, были бы ратифицированы в Риме, если бы Конгресс не был сорван из-за полной неспособности Контарини учесть разногласия, касающиеся верховенства папы и соборного принципа.^[14] Он пошел на уступки реформаторам, что вызвало ярость Римской курии. В то же время во Франции и Германии были развернуты политические интриги, направленные на предотвращение примирения, которое неизмеримо укрепило бы позиции императора. Умеренные части обеих партий, лютеранской и католической, потерпели поражение в Рехенсбурге. Действительно, их неудача была неизбежна, поскольку разрыв между Римской церковью и Реформацией не был такого характера, чтобы его можно было залечить в то время. Речь шла о принципах, которые в настоящее время не могли быть согласованы, и обе стороны в споре были близки к тому, чтобы придать своим собственным силам новую внутреннюю энергию.

Итальянцы, желавшие реформы Церкви, теперь были отброшены от попыток сохранить эту цель в лоне католицизма. По просьбе Павла III. они представили мемориал о церковных злоупотреблениях, который подписали Контарини, Караффа, Садолето, Поул, Фрегозо, Гиберто, Кортесе и Алеандр. Эти кардиналы не жалели прямых речей на животрепещущую проблему плохого управления папой.

Тем временем новый дух начал проявляться в основании орденов и учреждений, стремящихся к очищению церковной дисциплины. Наиболее заметным из них был орден театинов, основанный Тиене и Караффой. Его целью было улучшение положения светского священства, с целью чего были открыты семинарии для обучения священников, которые приняли монашеские обеты и посвятили себя особому соблюдению своих духовных обязанностей в качестве проповедников, распорядителей таинств, посетителей бедных и больных.

Венецианец Джироламо Миани в тот же период основал конгрегацию под названием Сомаскан, занимающуюся образованием обездоленных и осиротевших, а также приемом больных и немощных в больницы. Ужасное состояние, в котором оказалась Ломбардия в результате войны, сделало этот институт чрезвычайно ценным. Подобным типом был орден варнавитов, который впервые был учрежден в Милане и на который возлагались обязанности по совершению актов милосердия, образованию, проповеди и другим формам христианского служения. Наконец, можно добавить, что камальдозеский и францисканский ордена были частично реформированы в результате спонтанного движения внутри их организаций.

Если мы сравним дух, проявленный этими усилиями в первой половине XVI века, с духом раннего Возрождения, станет очевидно, что итальянцы были готовы к религиозным переменам. Однако они становятся незначительными по сравнению с двумя испанскими институтами, которые примерно в тот же период добавили свой вес и влияние католическому возрождению. Я имею в виду, конечно, инквизицию и орден иезуитов. Павел III. уполномочил Караффу в 1542 году восстановить инквизицию в Риме на новой основе, напоминающей Святую канцелярию Испании. Тот же папа санкционировал и утвердил Общество Иисуса в период с 1540 по 1543 год. Учреждение инквизиции дало Церкви огромные дисциплинарные полномочия в тот момент, когда Тридентский собор установил ее догмы и провозгласил абсолютную власть пап. В то же время иезуиты, преданные своим основателем в слепом повиновении — *perinde ac cadaver* — на службу папству, проникли в Италию, Испанию, Францию, Германию и заокеанские колонии.

Папа, сменивший Климента VII в 1534 году, во всех отношениях соответствовал тому переходному периоду, на который я указал. Алессандро Фарнезе происходил из древней, но пришедшей в упадок семьи по соседству с Больсеной, несколько членов которой сыграли выдающуюся роль в средневековых революциях в Орвието. Будучи еще двадцатипятилетним молодым человеком, Александр VI возвел его в сан кардинала. Этим продвижением он был обязан влиянию своей сестры Джулии по прозвищу Ла Белла, которая в то время была любовницей Борджиа. Характерно для эпохи, в течение которой все еще сохранялись смелые традиции пятнадцатого века, что обнаженная статуя этой Джулии (олицетворяющая Тщеславие) была вырезана для цоколя памятника Павлу III на хорах церкви Святого Петра. Старый род Фарнези, некогда посаженный в почву папской коррупции в самый разгул ее, пустил прочные корни и процветал. Алессандро родился в 1468 году и получил гуманистическое образование в соответствии с методами раннего Возрождения. Он изучал литературу у Помпония Летуса в

Римской академии и часто посещал сады Лоренцо де Медичи во Флоренции. Таким образом, его характер и интеллект сформировались под влиянием классического возрождения и Папской курии, в то время, когда языческая мораль и светская политика стерли идеал католического христианства. Его сестра была Дю Барри при Борджинском дворе. Он сам был отцом нескольких незаконнорожденных детей, которых он признавал и на продвижение которых по службе с помощью старой системы папского кумовства потратил лучшие годы своего правления. Будучи покровителем искусств и блестящим знатоком латинского и итальянского языков, Алессандро на протяжении всей своей жизни демонстрировал результаты этого раннего обучения. Он хвалился выбором выражений всякий раз, когда его просили поработать пером над изучаемыми документами или ответить послам на публичных аудиенциях. Его вкусу и любви к великолепию Рим обязан дворцом Фарнезе. Он нанял Челлини и заставил Микеланджело написать "Страшный суд". Взойдя на папский престол, он пожаловался, что этот могущественный гений слишком долго был занят Делией Роверес и Медичи. Когда фреска была закончена, он поручил старому художнику выполнить его последнюю великую задачу - завершить картину Святого Петра.

До сих пор не было ничего, что отличало бы Алессандро Фарнезе от других священнослужителей эпохи Возрождения. Как кардиналу ему, казалось, было суждено, если он когда-нибудь достигнет папского сана, сочетать в себе качества понтификов Борджини и Медичи. Но прежде чем подняться на эту высочайшую высоту, он пережил правления Юлиуса II, Льва X, Адриана VI и Климента VII. В этом заключается особенность его положения как Павла III. Ученик Помпония Летуса, креатура Родриго Борджини, представитель итальянских нравов и культуры до того, как эпоха иностранного вторжения изменила облик Италии, Павел III. был призван в возрасте шестидесяти шести лет вести корабль Церкви по беспокойным водам и в очень изменившихся обстоятельствах. Он был свидетелем возникновения и развития протестантского восстания в Германии. Он наблюдал зарождение нового и искреннего духа религиозной серьезности, искреннего стремления к церковной реформе в своей собственной стране. Он наблюдал за поединком между Францией и Испанией, в ходе которого его предшественники Александр V и Юлий II. восстановили светскую власть Рима. Он был свидетелем того, как этот авторитет был повержен в прах в 1527 году и чудесным образом восстановлен в Болонье в 1530 году. На примере Борджини он узнал, как трудно любой папской семье основать значительное княжество, а превратности Флоренции и Урбино подтвердили этот урок. Наконец, он присутствовал при коронации Карла V. и когда он взял бразды правления в свои руки, он хорошо понимал, с какой огромной силой ему приходится справляться в лице великого императора.

Павел III. знал, что старая папская игра по натравливанию Франции на Испанию на полуострове не может вестись с таким размахом, как раньше. Юлий проводил эту политику с результатами, губительными для Италии, но благоприятными для Церкви. Это позволило Льву и Клименту продвигать свои семьи, рискуя более важными интересами. Но в правление последнего папы это едва не вовлекло само папство во всеобщую неразбериху и запустение страны. Более того, Франция больше не была эффективным соперником Испании; и хотя их борьба возобновилась, исход вряд ли вызывал сомнения. Испания слишком крепко держалась за эту землю, чтобы ее можно было бросить.

Однако Павел был человеком старшего поколения. Нельзя было ожидать, что папа эпохи Возрождения внезапно откажется от средневековой политики папской враждебности к

Империи, особенно когда Империя находилась в руках такого всемогущего повелителя, как Карл. Нельзя было ожидать, что он признает мудрость ограничения папских амбиций церковными интересами и заключения оборонительного и наступательного союза с католическими монархами для поддержания абсолютизма. Нельзя было ожидать, что он откажется от удовольствий и очевидной выгоды от создания герцогств для своих бастардов, чтобы возвысить достоинство своей семьи и укрепить свой личный авторитет как временного суверена. Верно, что опыт последних пятидесяти лет указал направление всем этим изменениям; и несомненно, что череда событий, связанных с Тридентским собором, начавшаяся в царствование Павла III, сделала их естественными и необходимыми. Тем не менее Павел, как человек старшего поколения, занимавший папский престол в течение пятнадцати лет в переходный период, в основном придерживался политики своих предшественников. К счастью для него и для Святого Престола, основой его характера была осторожность в сочетании с жесткой целеустремленностью, способностью к медлительным действиям, дипломатической изворотливостью и политической универсальностью, которую лучше всего можно описать словом "уравновешенность". Эти качества позволили ему безопасно пройти через опасности, которые могли погубить более смелого, поспешного или откровенного папу, и достичь цели своего сердца там, где более сильные люди потерпели неудачу, основав прочное герцогство для своих наследников.

Ревность Павла к господству Испании в итальянских делах заставляла его колебаться между папской и императорской партиями, партиями гвельфов и гибеллинов. Эти названия в значительной степени утратили свое значение; но привычка разделяться на два лагеря настолько укоренилась в итальянских нравах, что в каждом городе существовали свои антагонистические группировки, поддерживаемые различными формами местной организации и возглавляемые ведущими семьями.^[15] Буригоццо под 1517 годом рассказывает, как все население Милана было разделено между гвельфами и гибеллинами, одетыми в разные костюмы; и нередко можно прочесть о мелких дворянах в стране в этот период, которые назывались капитанами той или иной партии.

Войны между Францией и Испанией возродили почти устаревший спор, который деспоты пятнадцатого века и дипломатическая конфедерация пяти великих держав стремились в значительной степени стереть. Гвельфы и гибеллины теперь были сторонниками Франции и Испании соответственно. Таким образом, освященным веками фракциям было возвращено истинное политическое значение; и в расстроенном состоянии Италии они еще больше усилились из-за антагонизма между изгнанниками и правящими семьями в городах. Если Козимо де'Медичи, например, был гибеллином или испанским партизаном, то из этого само собой следовало, что Филиппо Строцци был гвельфом и выступал за Францию. Павлу III удавалось сохранять самообладание, манипулируя этими фракциями и поддерживая баланс между ними в интересах своей семьи и Церкви.

Таким образом, ему удалось создать герцогство Парма и Пьяченца для своего сына, Пьера Луиджи Фарнезе, этого возмутительного представителя худших пороков и жестокости эпохи Возрождения. Следует помнить, что Юлий отделил эти два города от Миланского герцогства и присоединил их к Папской области под предлогом того, что они составляли часть старого Равеннского экзархата. Когда Карл отклонил это ходатайство по делу Модены и Реджо, он покинул Церковь, оккупировав Парму и Пьяченцу. Павел сделал своего сына герцогом Неви и Кастро в 1537 году, а затем передал герцогство Камерино своему внуку Оттавио, который тогда

был женат на Маргарите Австрийской, дочери Карла V. И вдове убитого Алессандро де Медичи. Обычная система массовых убийств, изгнаний и конфискаций довела синьорию Варани в Камерино до крайности. Поместье вернулось к Церкви, и Павел убедил кардиналов санкционировать наделение Оттавио Фарнезе его правами и почестями. Впоследствии он объяснил им, что Святому Престолу было бы выгоднее сохранить Камерино и в обмен уступить Фарнези Парму и Пьяченцу. В таком устройстве был смысл, поскольку Камерино составлял неотъемлемую часть Папской области, в то время как Парма и Пьяченца находились под более чем сомнительным титулом. Пьер Луиджи недолго пережил свое восшествие на престол пармского герцогства. Он был убит своими разъяренными подданными в 1547 году. Его сын Оттавио с некоторым трудом сохранял свою власть над этим княжеством, пока в 1559 году он сам и его наследники, с одобрения Филиппа II, не получили его в постоянное пользование. Фарнези оплатил за испанское покровительство постоянной службой Алессандро, принцу Пармскому и сыну Оттавио, прославившемуся в анналах Нидерландов. Не стоило бы распространяться об этом основании герцогства Пармского, если бы оно не служило прекрасным примером моей темы. Этим поступком Павел III показал себя истинным и способным наследником тех политических традиций, с помощью которых все понтифики от Сикста IV. до Климента VII. стремились утвердить своих родственников в светских княжествах. Это было последнее выдающееся проявление такой политики, последнее и самое блестящее проявление кумовских амбиций у папы римского. Открылась новая эпоха, в которой подобные схемы стали невозможны — когда папы больше не могли осмеливаться признавать и узаконивать своих бастардов и когда им приходилось управлять своими владениями исключительно ради мирского и церковного возвеличивания тиары.

Тем не менее, Павел жил в условиях, которые воплотили эту современную позицию папства в действенную реальность. Его окружали интеллектуальные и моральные силы недавнего роста, но неисчислимого могущества. Одним из первых актов его правления было выдвижение шести членов умеренной партии реформаторов — Садолето, Поля, Гиберто, Федерико, Фрегозо, Гаспаро Контарини и Г.М. Караффы — на кардиналь-ский пост. Этим проявлением власти он продемонстрировал свою готовность признать новые элементы самых разных качеств в католической иерархии. Пятеро из этих людей представляли мнения, которые на момент их возведения в сан имели неплохую перспективу окончательного успеха. Проникнутые глубоким чувством необходимости церковной реформы и более или менее глубоко проникнутые так называемыми протестантскими взглядами, они ничего так сильно не желали, как воссоздания Католической церкви на основе, которая могла бы сделать практически возможным примирение с лютеранами. У них была такая возможность во время понтификата Павла III. Это была великолепная возможность; и, как я уже показал, Конференция в Рехенсбурге только что потерпела неудачу в достижении цели, которой они так страстно желали. Но папство не было готово уступить столько, сколько стремилось предоставить: немецкие реформаторы оказались несговорчивыми; им самим мешала их верность древним католическим традициям и их страх перед расколом; наконец, воинствующая экспансивная сила испанской ортодоксии, уже выразившаяся в концентрированной энергии ордена иезуитов, сделала попытки слияния невозможными. Победа в Риме осталась за фракцией *непримиримых* католиков; и это было представлено в первом создании Павлом III кардиналов Карафтой. Караффе было суждено сыграть исключительную роль в переходный период папской истории, который я рассматриваю. Он принадлежал будущему так же, как Алессандро Фарнезе принадлежал прошлому. Он воплощал дух инквизиции и отстаивал принципы церковной реформы на узкой

основе папского абсолютизма. Он открыто выражал свое неодобрение кумовству Пола; и когда пришло его время править, он проявил безжалостный дух справедливости без пощады в обращении со своей собственной семьей. И все же он ненавидел испанское господство ненавистью гораздо более яростной, чем ненависть Павла III. Его безрезультатные попытки сбросить иго Филиппа II. это был последний спазм старой папской политики сопротивления светским суверенам, последнее обращение итальянского понтифика к Франции в поддержку этой политики.[16]

Цель этого экскурса в грядущий период - показать, насколько глубок в чувствах Павел III. его можно рассматривать как зачинателя новой эры, в то время как он был в то же время последним продолжателем старой. Кардиналы, которых он продвигал по службе после своего восшествия на престол, включали в себя вождя тех людей, которые тщетно боролись за конкордат между Римом и Реформацией; в него также входил человек, наложивший на Рим отпечаток Контрреформации. И все же у Караффы не было бы точки опоры, необходимой для такого решительного проявления власти, если бы не другое деяние правления Павла. Это был созыв Собора в Тренте. Отношение Павла к Собору, который он созвал с неохотой, который он расстроил, насколько это было в его силах, и конечный результат, которого он отнюдь не ожидал, самым решительным образом иллюстрирует его судьбу как папы переходного периода.

Само название Собора было отвратительным для папства. Это станет очевидным, если мы рассмотрим предыдущую историю Церкви в первой половине пятнадцатого века, когда соборная власть снова была призвана регулировать Папский престол и сдерживать папские посягательства на королевства и Церкви западных стран. Перемещение папского двора в Авиньон, великий раскол, возникший в результате этой меры, и инакомыслие, распространившееся из Англии в Богемию в конце четырнадцатого века, сделали необходимым объединение представительных полномочий *Chris tendom* с целью восстановления порядка в Церкви. Четыре основных вопроса стояли перед державами Европы, которые, таким образом, впервые собрались в совещательном конгрессе конфедерации для решения вопросов, жизненно их касавшихся. Самой неотложной задачей было прекращение раскола и назначение единого папы, который должен был представлять средневековую идею церковности лицом к лицу с имперским единством. Вторым было определение неопределенной и постоянно расширяющейся власти, которую папы утверждали над королевствами и Церквями Запада. Третьим было искоренение ересей, которые раздирали христианский мир на части и угрожали разрушить тот идеал единства в вероучении, за который Средние века цеплялись с небезрассудной страстью. Четвертой была реформа Церкви, которая рассматривалась как жизненно важный элемент Западного христианского мира, как в ее главе, так и в ее членах.

Программа, очень расплывчато сформулированная самыми передовыми мыслителями того времени и лишь постепенно претворявшаяся практикой в жизнь, была обширной. Это привело к обострению национальной зависти, подчеркиванию национальных особенностей и усложнению антагонистических принципов в отношении светского и церковного управления, что сделало полное и удовлетворительное решение практически невыполнимым. Усилия по решению этих проблем оказали, однако, важное влияние на создание условий, в которых велась политико-религиозная борьба шестнадцатого и семнадцатого веков.[17]

Первый собор, открывшийся в Пизе в 1409 году, был съездом прелатов, созданных кардиналами для завершения раскола. Он низложил двух пап, которые все еще продолжали

отстаивать свои титулы; он избрал третьего, Александра V., который не имел реальной власти. В остальном она не произвела никаких реформ, и нельзя сказать, что она сделала гораздо больше, чем воплотила в жизнь те устремления к церковному управлению посредством Соборов, которые медленно формировались во время продолжения раскола.

Второй Собор, открывшийся в Констанце в 1414 году, был Собором, созданным не кардиналами, а по всеобщему требованию Европы остановить продвижение папства к тирании и реформировать бесчисленные злоупотребления Церкви и Папской курии. Он приобрел иной облик, чем Пиза, благодаря президентству императора и присутствию представителей ведущих наций. В Констанце папство и Римская курия стояли вместе, подвергаясь враждебной критике со стороны Европы. После острого конфликта авторитет Генерального собора был провозглашен выше авторитета римского епископа. Трое пап были вынуждены отречься от престола, и был избран четвертый, Мартин V.

Далее Собор обязался разобраться с ересью и реформой Церкви. Он выполнил первую из этих функций, приговорив Гуса и Иеронима Пражских к сожжению на костре. Это оставило второе практически нетронутым. Тем не менее, вопрос о реформе был серьезно поднят, широко обсуждался и фундаментально исследован. В Констанце были предложены два метода для дальнейшего рассмотрения серьезными мыслителями по всей Европе. Одним из них был путь, предложенный Джоном Гусом; Церковь должна быть воссоздана после тщательного анализа реальных основ христианского поведения, обращения к Писанию как окончательному авторитету и верноподданнических усилий по удовлетворению духовных потребностей индивидуальных душ и совести. Второй план заключался в исследовании существующего порядка Церкви и подробном исправлении его вопиющих недостатков с сохранением основной системы. Совет не принял удовлетворительных мер по реформированию ни по одному из этих методов. Он довольствовался оговорками и конкордатами, гарантировавшими особые привилегии Церквям нескольких наций. Но в следующем столетии стало очевидно, что тевтонские расы высказались за метод, предложенный Гусом; в то время как латинские расы на Тридентском соборе предприняли очищение Церкви по второму из двух планов. Реформация была видимым результатом одного, Контрреформация - другого метода.

Таким образом, Констанцкий собор сыграл важную роль в том, что привел к признанию единого папы и развеял расходящиеся теории, на основе которых впоследствии был обсужден вопрос о реформе. Но, возможно, самым значительным фактом, который это проявило, была новая фаза политического существования, в которую вступили европейские расы. Национальность, как главный принцип современной истории, теперь была установлена; и было показано, что дипломатические отношения государей как представителей народов имеют подавляющее значение. Призрачная средневековая политика императора и папы поблекла перед яркой реальностью полностью сформировавшихся отдельных наций, связанных федеративно, управляемых общими, но взаимно враждебными интересами.^[18]

Базельский собор, открытый в 1431 году, внешне был продолжением Констанцкого собора. Но его метод процедуры противоречил новому направлению, которое было доведено до сведения европейской федерации решением Констанцкого конгресса. Там голоса отдавались нациями. В Базеле они были приняты мужчинами после того, как вопросы, подлежащие решению, были предварительно обсуждены специальными конгрегациями и комитетами, уполномоченными для предварительного обсуждения. Вскоре выяснилось, что отцы Базельского собора

стремились противостоять законно избранному папе и стремились взять управление Церковью в свои руки.

Их борьба с Евгением IV, избрание ими антипапы Феликса V. и их явная тенденция заменить папскую тиранию в Церкви олигархической привели к тому, что сам соборный принцип оказался в немилости у европейских держав. Первым симптомом этого отказа Европы от Совета стал провозглашенный Германией нейтралитет. Позиция других Дворов и наций доказала, что западные народы на данный момент были готовы оставить папский вопрос открытым на основании Констанцкого собора.

Результатом этого провала соборного принципа в Базеле стало то, что Николай V. положил начало новой эпохе папства в Риме. Я уже описывал основные черты папского правления с момента его избрания до смерти Климента VII. Это был период беспрецедентного величия Святого Престола и значительных временных завоеваний. Второй Пизанский собор, который начал свои заседания в 1511 году с санкции и поддержки Франции, не оказал пагубного влияния на восстановленную власть и престиж папства. Напротив, это дало повод для контрсобора, состоявшегося в Латеране под эгидой Юлия II. и Льва X., на котором папы установили несколько пунктов церковной дисциплины, которые не были бесполезны для их преемников. Но закваска, которую разбросали Уиклиф и Гус, о которой узнал Констанцкий собор, но которая не была искоренена, распространялась в Германии на протяжении всего этого периода. Сами папы делали все, что было в их силах, для пропаганды инакомыслия и недовольства. Хорошо осознавая, какой яркий свет проливает новое учение, которое они помогли распространить, на темные места их собственной церковной администрации, они все еще продолжали собирать деньги, продавая помилования и индульгенции, обескровливая свою христианскую паству чудовищными механизмами налогообложения и оскорблять совесть интеллигентного поколения своим примером нечестивой жизни. Реформация, подобно лесному пожару, прокатилась по Северу. С каждым днем становилось все более очевидным, что необходимо созвать новый Собор для проведения внутренних реформ и для борьбы с силами воинствующего протестантизма. Когда дело дошло до этого, Карл V. заявил о своем искреннем желании, чтобы папа созвал Всеобщий собор. Павел III. теперь он показал, в каком истинном смысле он был человеком переходной эпохи. Он сопротивлялся так долго, как только было возможно, помня, в какое тяжелое положение были поставлены его предшественники предыдущими Соборами, и глубоко осознавая скандалы в своих собственных внутренних делах, которые могли бы обречь его на судьбу Иоанна XXIII. Просматривая всю серию событий, которые будут записаны далее, мы понимаем, что у Павла не было особых причин для волнения. Совету, которого он так боялся, было суждено возвысить его должность и вновь объединить силы католического христианского мира под абсолютным главенством его преемников. Инквизиция и Общество Иисуса, которые он санкционировал на данном этапе, должны были охранять, расширять и подтверждать эту высшую власть. Но это ни в коем случае не было очевидно в 1540 году. Характерно для всех переходных периодов, что в них осторожные люди рассматривают прошлые прецеденты опасности, а не оптимистичные ожидания, основанные на нынешних шансах. Герой в таких ситуациях идет навстречу опасности, вооруженный собственным делом и мужеством. Гений предсказывает будущее, интерпретирует его и с помощью интерпретации пытается управлять им. Пол не был ни героем, ни гениальным человеком. И все же он сделал столько, сколько мог бы сделать любой из них; и он сделал это с темпераментом, который, возможно, не под силу герою и гению. Он послал легатов опубликовать сообщение об открытии Собора в Тренте весной 1545 года; и он решил работать

на этом Соборе на принципах дипломатического консерватизма, оставив за собой право наблюдать за событиями и расширять или ограничивать его эффективность по своему усмотрению.[19]

Удивительно, что Павел III столь неохотно признал решение Собора. должно было во время его первых сессий и пока он еще правил, подтвердить догматические основы современного католицизма, сделать невозможным примирение с тевтонскими реформаторами и обязать светские власти, поддерживавшие Рим, проводить политику, которая делала папское превосходство неоспоримым.[20] Оказавшись лицом к лицу с животрепещущим вопросом протестантского восстания, тридентские отцы поспешили подтвердить следующие статьи. Во—первых, они заявили, что божественное откровение было непрерывным в Церкви, главой которой был Папа; и что главное письменное хранилище этого откровения, а именно Священное Писание, не имело никакого авторитета, кроме версии Вульгаты.

Во-вторых, они осудили доктрину оправдания верой, добавив такие богословские оговорки, которые нет необходимости скрупулезно учитывать по прошествии времени и по вопросу, лишенному актуальности в настоящее время. В-третьих, они подтвердили действенность и обязательный авторитет Семи Таинств. Таким образом, ясно, что по догматическим вопросам Собор, созданный папой и императором, обязал латинское христианство решительно отказаться от основных статей, за которые боролся Лютер. Каждую из этих точек они последовательно пересекали, перекрывая все лазейки для побега в жилые помещения. Эти результаты были достигнуты во многом благодаря энергии и способностям Караффы.

Метод процедуры, принятый Собором, и характер, в котором велись его дела, были не менее благоприятны для папства, чем авторитетная санкция, которую он давал догмам. С самого начала председательство и право инициативы на его заседаниях были переданы папским легатам; и вскоре вошло в обычай направлять указы до их обнародования его Святейшеству в Рим для утверждения. Сами декреты разрабатывались в трех конгрегациях, одна из которых была назначена для решения богословских вопросов, вторая - для проведения реформ, третья - для надзора и ратификации. Затем они были предложены для обсуждения и принятия на общих заседаниях Совета. Здесь решал каждый голос; и поскольку итальянские прелаты составляли абсолютное большинство, требовалось совсем немного ловкости, чтобы добиться принятия любой меры, на которой настаивал Римский суд. Наиболее серьезное противодействие папским прерогативам во время этих маневров исходило от испанских епископов, которые настаивали на проведении реформ, обеспечивающих независимость епископства.

Мы находим замечательную демонстрацию трудностей Павла III как папы переходного периода в том факте, что, пока Тридентский собор вел бескомпромиссную войну против реформаторов, его страх перед Карлом V. он вынудил его приостановить его заседания, перенести их в Болонью и объявить себя политическим союзником немецких протестантов. Этот перенос произошел в 1547 году. Его легаты получили приказ изобрести какой-нибудь приличный предлог для шага, которому, несомненно, будет оказано сопротивление, поскольку Болонья была городом, полностью подчинявшимся Святому Престолу. Легатам, при попустительстве врачей в Тренте, удалось посеять панику, грозящую заразной эпидемией.[21] Карл одержал победы, которые, казалось, предоставили Германию в его распоряжение. Таким образом, его превосходство в Италии опасно возросло. Павел, следуя прецедентам политики, в которой он был воспитан, считал, что в этот кризис необходимо подчинить церковные интересы мирским.

Он прервал работу Собора, чтобы помешать императору в Германии. Он поощрял северных протестантов, чтобы сохранить открытым вопрос о чреслах своего испанского соперника. Ничто не могло бы более тонко проиллюстрировать сложности европейской политики, чем перевернутая позиция римского понтифика в его отношениях с католическим императором в этот момент времени.[22]

Противодействие Фарнези плану Павла по возвращению Пармы Святому Престолу в 1549 году подорвало здоровье и настроение Павла III. Он умер 10 ноября, и ему наследовал кардинал Джованни Мария дель Монте, о правлении которого мало что нужно говорить. Юлий III. перевел Собор из Болоньи в Трент в 1551 году, где он добился некоторого прогресса в вопросах, касающихся Евхаристии и управления епископальными кафедрами; но в следующем году его заседания были приостановлены из-за беспокойного состояния Южной Германии и присутствия протестантской армии под командованием Морица Саксонского в Тироле.[23] Этот папа приятно и достаточно невинно проводил время на вилле, которую он построил недалеко от Порто дель Пополо. Его родственники были наделены несколькими мелкими поместьями — на месте их рождения, Монте-Сансовино, Козимо де Медичи; Новара - императором, а Камерино - церковью. Старые методы папского кумовства еще не были оставлены. Его преемник, Марчелло II, пережил свое возвышение всего на три недели; и в мае 1555 года был избран Джованни Пьетро Караффа с титулом Павла IV. Мы уже познакомились с этим папой как с членом Оратории Божественной Любви, как с соучредителем театинцев, как с организатором Римской инквизиции и как с руководителем первых сессий Тридентского собора. Павел IV. происходил из знатной и могущественной неаполитанской семьи. Это был человек свирепого, импульсивного и бескомпромиссного нрава, движимый двумя господствующими страстями — жгучей ненавистью к испанцам, которые топтали его родную землю, и церковными амбициями, усиленными жесткой католической ортодоксальностью. Первым актом его правления была тщетная попытка изгнать испанцев из Италии, прибегнув к старому способу французской помощи. Отречение Карла V. поставило Филиппа II на место. на троне Испании и соглашение, по которому императорская корона перешла к его брату Фердинанду, заменили могущественного императора слабым. Но отстранение Филиппа от забот Германии предоставило ему больше свободы для сохранения своего превосходства в Южной Европе. Павлу IV повезло. что Филипп был фанатичным католиком и суеверно послушным сыном Церкви. Этим двум властителям, начавшим править в один и тот же год, было суждено, после урегулирования их ранней ссоры, возглавить и организовать католическую контрреформацию. Герцог Гиз по просьбе папы Римского ввел французскую армию в Италию. Павел собрал отряд наемников, которые были в основном немецкими протестантами[24]; и начал переговоры с Солиманом, умоляя турка высадиться на Сицилии морем. В такое фантастически ложное положение был поставлен Глава Церкви, самый католик из всех ее понтификов, движимый своим ревнивым патриотизмом. Кажется, мы перенеслись во времена Сикста IV. или Александр VI. И, по правде говоря, возврат Павла к устаревшей политике гвельфов его предшественников был анахронизмом. Эта политика перестала быть эффективной, когда Франциск I подписал Камбрейский мирный договор; Церковь тоже постепенно заняла такую позицию, что вооруженное вмешательство в дела светских государей было равносильно самоубийству. Это стало настолько очевидным, что тщетную атаку Павла на Филиппа в 1556 году можно считать последней войной, развязанной папой. С этого момента мы датируем начало новой системы сотрудничества Папы с католическими державами.

Герцог Альва привел в движение имевшиеся в его распоряжении войска в Обеих Сицилиях и двинулся навстречу герцогу де Гизу. Но пока кампания затягивалась, Филипп выиграл решающую битву при Сан-Квентине. Гиз поспешил вернуться во Францию, а Альва без сопротивления двинулся на Рим. Не было никаких причин, по которым Вечный город не подвергся бы еще одной осаде и разграблению. В завещании Алва, конечно же, не хотел унижить папу римского, который никогда не говорил об испанцах иначе, как о евреях-ренегатах, маррани, еретиках и олицетворении гордыни. Филипп, однако, в письме напомнил своему генералу, что дата его рождения (1527 год) была датой бедствия Рима, и поклялся, что он не ознаменует первый год своего правления новыми бедствиями для столицы христианского мира. Альве было приказано заключить мир на условиях, почетных и выгодных для его Святейшества, поскольку король Испании предпочел потерять права своей собственной короны, чем хотя бы в малейшей степени ущемить права Святого Престола. Следовательно, когда Альва с мирной помпой въехал в Рим, он засвидетельствовал почтение к своему учителю папе римскому, который великодушно согласился отпустить ему грехи за его прошлые проступки. Павел IV. публично ликовал по поводу унижения своих завоевателей, заявляя, что это научит королей в будущем повиновению, которое они обязаны соблюдать Главе Церкви. Но Альва не скрывал своего недовольства. По его словам, было бы лучше отправить папу римского просить мира и помилования в Брюссель, чем позволить ему получить одно и предоставить другое на таких условиях.

Стремление Павла изгнать испанцев из Италии подвергло его худшим злоупотреблениям папского кумовства, которое он осуждал в других. Он счел необходимым окружить себя надежными и могущественными агентами из числа своих сородичей.^[25]

С этой целью он возвел одного из своих племянников, Карло, в кардиналы, а двум другим даровал главные поместья семьи Колонна. Колонны по традиции были гибеллинскими. Этого было достаточно, чтобы лишить их Паллиано и Монтебелло. Карло Караффа, получивший алый орден, вел жизнь с сомнительной репутацией, которая, как известно, не соответствовала его никакому церковному достоинству. Во времена Сикста и Александра это не стало бы препятствием для его продвижения по службе. Но Церковь быстро претерпевала изменения, и Карло, повинувшись лицемерному духу своего времени, счел удобным произвести основательную реформу и открыто продемонстрировать покаяние. Рим теперь представлял собой необычное зрелище папы-инквизитора, безупречного в моральном поведении и ревностного сторонника церковной реформы, окруженного племянниками, которые были немногим лучше Борджиа. Караффы начали мечтать о княжествах и скипетрах. Их честолюбивым замыслом было завладеть Флоренцией, где Козимо де Медичи, будучи явным союзником Испании, заслужил лютую ненависть их дяди. Но их различные проступки, акты насилия и угнетения, алчность и чувственность постепенно достигли ушей папы. На собрании инквизиции, состоявшемся в январе 1559 года, он громко воскликнул: "Реформа! реформа! реформа!" Кардинал Пачеко, решительный враг Караффески, повысил голос и сказал: "Святой отец! реформа должна сначала начаться с нас". Паллавичини добавляет замечание о том, что Павел хорошо понимал, кого имели в виду *мы*. Он немедленно удалился в свои покои, провел тщательное расследование поведения своих племянников и, не прошло и месяца, лишил их всех занимаемых должностей и почестей и изгнал из Рима. Он не пожелал выслушать ни слова в их защиту; и когда кардинал Фарнезе попытался добиться смягчения приговора, он грубо ответил: "Если Павел III. прояви он такую же справедливость, ваш отец не был бы убит и изувечен на улицах Пьяченцы. "На открытой консистории, перед кардиналами и высшими должностными

лицами своего королевства, со слезами на глазах он разоблачил порочную жизнь своих родственников, заявил о своем отвращении к ним и заявил, что до этого времени пребывал в совершенном неведении об их преступлениях. Эта сцена напоминает аналогичный случай, когда Александр VI громко оплакивал себя перед своими кардиналами после убийства герцога Гандийского Чезаре. Но раскаяние Александра было кратковременным; его скорбь была отцовской по Авессалому; его негодование уступило место отцовской слабости к братоубийце. Павел, хотя его любовь к своим родственникам, по-видимому, была пылкой, никогда не ослаблял своей прежней суровости по отношению к ним. Они были преданы забвению; никто не произносил их имен в присутствии папы. Вся светская администрация Папских государств была изменена; ни один чиновник не сохранил своего места. Впервые Римом управляли министры, никоим образом не связанные со Святым Отцом.

Теперь Павел с присущей ему пламенной страстью обратил свое внимание на исправление церковных злоупотреблений. При вступлении на престол он издал Буллу, в которой объявил, что это будет главной целью его правления. И при этом он, занятый другими делами, не забыл о своем обязательстве. Была создана Конгрегация, специально назначенная для изучения, классификации и исправления подобных злоупотреблений. Она была разделена на три комитета, состоящие из восьми кардиналов, пятнадцати прелатов и пятидесяти ученых мужей. В то же время инквизиция поддерживалась в строгом порядке. Павел расширил его юрисдикцию, уполномочил применять пытки и постоянно присутствовал на его заседаниях и *самовыдвижениях*.^[26] Но теперь, когда его планы по изгнанию испанцев провалились, а его племянники были низвергнуты со своего высокого положения в прах, не осталось других интересов, которые могли бы отвлечь его разум. Каждый день мы были свидетелями обнародования какого-нибудь нового указа, касающегося монашеской дисциплины, симонии, продажи должностей, выплаты пособий, церковных ритуалов, исполнения канцелярских обязанностей и назначения на церковные должности. Это было его любимое хвастовство, что для восстановления чистоты Церкви не понадобится Собор, поскольку он сам это делает.^[27] И действительно, его меры легли в основу тридентских указов по этой теме на заключительных сессиях Совета. При этом правительстве Рим напустил на себя вид образцового поведения, которое повергало иностранцев в немое изумление. Кардиналы были вынуждены проповедовать в своих базиликах. Проповедовал сам папа, тщеславившийся своим красноречием. Серьезность манер, внешние признаки благочестия, сдержанное и раскисающееся лицо, демонстрация ортодоксальности посредством частой исповеди и посещения мессы вошли в моду; и Двор избрал своим девизом *Si non caste tamen caute* Контрреформации.^[28] Аретино, со своей обычной черносотенной заостренностью выражения, дал намек на то, что подразумевал новый режим в следующих сатирических строках:—

Carafra, ipocrita infingardo,
Che tien per coscienza spirituale
Quando si mette del pepe in sul cardo.

Павел IV положил конец первому переходному периоду. Не было никаких попыток свергнуть испанца, никаких папских войн, никакой тирании папских племянников, превратившихся после его смерти в феодальных князей. Он наложил отпечаток на римское общество своей

собственной суровой и фанатичной религией. О том, что он был в каком-либо смысле лицемером, не может быть и речи. Но он сделал Рим лицемерным и, установив инквизицию на прочной основе, ввел в Италии царство духовного террора.

После его смерти народ поднял восстание, ворвался в застенки инквизиции, освободил заключенных и уничтожил архивы. Однако Святая канцелярия была восстановлена, и ее высшие доверенные должности вскоре стали рассматриваться как ступеньки к папскому достоинству.

Преемник Павла IV. был человеком совершенно иного качества и происхождения. Джованни Анджело Медичи происходил не из флорентийского дома Медичи, а из малоизвестной ломбардской ветви. Его отец разбогател, управляя таможней в Милане, а его старший брат, Джан Джакомо, проложил себе путь к славе, богатству и титулу, пиратствуя на озере Комо.^[29] Джан Джакомо настолько надежно обосновался в своей разбойничьей крепости Муссо, что вскоре стал силой, с которой приходилось считаться. Затем он поступил на императорскую службу, герцог Миланский присвоил ему титул маркиза Мариньяно и женился на даме из дома Орсини, сестре герцогини Пармской. В последующий период ему удалось подчинить Сиену власти Козимо де'Медичи, который затем признал мнимое кровное родство между двумя семьями.^[30] Младший брат, Джованни Анджело, тем временем изучал юриспруденцию, практиковал как юрист и служил при римском дворе в протонотарии, который, как тогда было принято, он купил в 1527 году. Павел III. наблюдал за ним, рано завоевал его расположение и после женитьбы Джан Джакомо выдвинул его в кардиналы. Это был человек, принявший титул Пия IV. о его избрании на папский престол в 1559 году.

Павел IV. возненавидел кардинала Медичи и изгнал его из Рима. Вполне вероятно, что эта антипатия способствовала возвышению Джованни Анджело. Скромный ломбардец, юрист и светский человек, миролюбивый в своей политике, преданный интересам Испании, осторожный и уступчивый в ведении дел, несведущий в теологии и равнодушный к тонкостям дисциплины, Пий IV. был во всех отношениях полной противоположностью пламенному неаполитанскому дворянину, инквизитору и фанатику, надменному попирателю королей, вооруженному противнику Альвы, бесцеремонному, импульсивному автократу, стороннику ортодоксии, который предшествовал ему на папском престоле.^[31] Его доверенным советником был кардинал Мороне, которого Павел бросил в темницы инквизиции по обвинению в поддержке лютеранских взглядов и который был освобожден толпой в их ярости.^[32]

Это само по себе было знаменательно для нового *режима*, который теперь начался в Риме. Мороун, как и его учитель, понимал, что Церковь лучше всего может руководствоваться дипломатией и искусством мира. Эти двое вместе привели Тридентский собор к тому заключению, которое оставило папству неоспоримый суверенитет в богословских и церковных делах. Человеку такого склада, как Караффа, было бы невозможно добиться того, чего добились эти пронизательные посредники и ловкие менеджеры.

Не выдвигая таких же высокомерных претензий на духовное превосходство, как Павел, Пий ни в коем случае не был слабым понтификом. Он знал, что веяния времени требовали мудрых уступок; но он также знал, как с помощью этих уступок добиться признания реальности власти. Именно он инициировал политику союза между папством и католическими монархами и твердо следовал ей.^[33] Вместо того, чтобы отстаивать интересы Церкви в антагонизме со светскими властителями, он взялся доказать, что их интересы идентичны. Воинствующий протестантизм

угрожал гражданскому порядку не меньше, чем церковному. Епископство пыталось освободиться как от монархической, так и от папской власти. Пий предложил автократам Европы соглашение о взаимной обороне, лишаящее Святой Престол некоторых его привилегий, но требующее взамен признания его церковного абсолютизма. Во всех трудных переговорах он привык полагаться на себя, обращаясь со своими советниками как с агентами, а не как с равными, и держал нити дипломатии в своих собственных руках. Таким образом, он мог вести дела как суверен с суверенами и договаривался с ними посредством личной переписки. Восстановление католического христианского мира, которое приобрело зримые очертания в постановлениях Тридентского собора, фактически было урегулировано в судах Испании, Австрии, Франции и Рима. Отцы Собора были рупорами королевского и папского кабинетов. Святой Дух, цитируя нечестивую сатиру того времени, достиг Трента в почтовых мешках курьеров, в запечатанных инструкциях, выданных послам и легатам.

На протяжении всех переговоров, увенчавших успехом политику этого папы, мы наблюдаем действия не только миролюбивого и дальновидного характера, но и характера юриста. Пий составлял тридентские указы, как умелый инвестор составляет сложный документ, включающий множество трастов, признающий противоречивые права, предусматривающий отдаленные непредвиденные обстоятельства. Фактически это был брачный контракт церковного и светского абсолютизма, по которому поместья католического христианского мира передавались в доверительное управление для потомков. Формулируя свои условия, папа выделил пункты, под которыми упрямый или воинственный предшественник, Юлий II. или Павел IV., никогда бы не поставил свою подпись. В чисто богословских вопросах, таких как передача чаши мирянам и женитьба духовенства, он был даже готов уступить ради мира больше, чем согласились бы его Двор и духовенство. Но за каждое очко, которое он давал, он требовал существенный эквивалент и проявлял такую ловкость в переговорах, что Рим получал гораздо больше, чем уступал. Когда контракт был составлен, он ратифицировал его полным и готовым признанием и, как юрист, был пунктуален в выполнении всех условий, на которые он взял обязательство.

Мы должны отдать должное Пию IV. Он хорошо понимал новые условия католической Европы и признать его настоящим основателем нового времени в отличие от средневекового папства. Этот переход, который я описывал в настоящей главе, оставался неопределенным в своем исходе вплоть до его понтификата. Перед его смертью спасение католицизма, целостность католической церкви, незыблемость римской иерархии и возможность энергичной контрреформации были поставлены вне всякого сомнения.

Примечательно, что эти существенные успехи были достигнуты не религиозным фанатиком, а юристом; не святым, а добродушным светским человеком; не силой интеллекта и воли, а ловкостью; не властным авторитетом, а гибкой дипломатией; не принуждением, а следованием течению событий. Со времен Григория VII ни один папа не сделал так много, как Пий IV. для укрепления древней структуры Церкви и подтверждения папской прерогативы. Но какая разница между Гильдебрандом и Джованни Анджело Медичи! Как изменилась Европа, когда человек такого склада оказался подходящим инструментом судьбы для того, чтобы направить потрепанный непогодами корабль Церкви в новое и благополучное плавание.

Пию IV. в его работе большую помощь оказали обстоятельства, которыми он знал, как воспользоваться. Если бы не возобновившаяся духовная активность католицизма, о которой я

упоминал в этой главе, он, возможно, не смог бы довести эту работу до конца. Он не интересовался теологией и не испытывал симпатии к инквизиции.^[34] Но он благоразумно оставил это учреждение в покое, чтобы оно выполняло свою функцию по надзору за церковной сферой. Иезуиты оказали ему важную помощь, распространяя свою доктрину пассивного повиновения Риму. Испания поддерживала его огромной силой нации, католической до мозга костей; и когда испанские прелаты доставляли ему неприятности, он мог рассчитывать на помощь испанской короны. Его собственная независимость, как благоразумного делового человека, не подверженного влиянию фанатичных предрассудков или пристрастия к какой-либо секте, позволяла ему манипулировать всеми имеющимися в его распоряжении ресурсами для достижения главной цели объединения католицизма и обеспечения папского превосходства. Ему также повезло в семейных отношениях, и у него не было повода усложнять свою политику кумовством. Одним из первых актов его правления было осуждение четырех Караффески — кардинала Караффе, герцога Паллиано, графа Алиффе и Леонардо ди Кардине — на смерть; и этот акт правосудия навсегда покончил со старыми формами семейных амбиций, которые мешали папам эпохи Возрождения в их церковных замыслах. Его брат, маркиз Мариньяно, умер в 1555 году; и это событие открыло ему путь к папству, которого он никогда бы не достиг при жизни столь алчного и амбициозного человека.^[35] К своему следующему брату, Аугусто, который унаследовал маркизат, он не испытывал симпатии.^[36] Его племянник Федерико Борромео умер в молодости. Другой его племянник, Карло Борромео, святой архиепископ Милана, оставался близким к нему человеком в Риме.^[37] Но Карло Борромео был человеком, олицетворявшим новый дух католицизма. Искренне набожный, ревностный к вере, безупречный в поведении, неутомимый в исполнении епархиальных обязанностей, милосердный к бедным, преданный больным, он суммировал все добродетели контрреформации. Не обладал он и ни одной из добродетелей эпохи Возрождения. Венецианский посол описал его как человека с холодным политическим темпераментом, мало сведущего в мирских делах и сбиваемого с толку, когда он пытался решать важные вопросы.^[38] Его присутствие при папском дворе, отнюдь не опасное, каким было бы присутствие амбициозного кардинала Нипоте, или скандальное, каким, несомненно, было присутствие бывших Риарио, Борджиа и Караффаса, было источником силы для Пия. Это привнесло в его ближайшее окружение как раз то, чего не хватало ему самому, и спасло его от обвинений в мирской суетности, которые в изменившихся настроениях Церкви могли оказаться неудобными.^[39] Действительно, среди всех понтификов, занимавших кафедру Святого Петра, Пий IV. к концу своей жизни он заслужил, чтобы его называли счастливчиком. Он поднялся из неизвестности, вступил в Рим на скромной должности в момент глубочайшего упадка Рима. Он пережил смутные времена и в течение нескольких лет ощущал на своих плечах всю тяжесть католических забот. Наконец, он осознал, что открыл новую эру для Церкви и что может передать скипетр неоспоримой власти своим преемникам. На смертном одре его не беспокоили ни угрызения совести, ни неблагодарность родственников, ни политические осложнения, вызванные семейными амбициями или принесением служебных обязанностей в жертву личному возвышению.

Вскоре после избрания папы Пия IV. состояние Европы сделало необходимым созыв Генерального собора. Бестактные претензии Павла окончательно оттолкнули Англию от Римской церкви. Шотландия была на грани того, чтобы объявить себя протестантской. Гугеноты с каждым годом становились сильнее во Франции, королева-мать Екатерина Медичи в то время была склонна благоволить к ним. Аугсбургское исповедание давно было признано в Германии.

Вся Скандинавия вместе с Данией была потеряна для католицизма. Нидерланды, несмотря на Филиппа, Альву и инквизицию, оставались неподатливыми. Богемия, Венгрия и Польша были отчуждены, созрели для открытого раскола. Догматы Цвингли пустили корни в немецкой Швейцарии. Кальвин завоевывал позиции во французских кантонах. Женева превратилась в стационарную крепость, оплот воинствующих реформаторов, откуда ересь посылала своих миссионеров и пропагандировала подрывные доктрины через постоянно активную прессу. Преобразованный Кальвином из своего прежнего состояния города, любящего развлечения и торговлю, он теперь был тем, чем Децелея при спартанской дисциплине была для Афин во время пелопоннесской войны - постоянным *эпитейхизмом*, постоянно стоящим гарнизоном и охраняющим фланги католиков. Верными Римскому престолу в строгом смысле этого слова остались только Испания, Португалия и Италия. Как показали события следующего столетия, недовольные нации все еще были оплотом католического дела, от которого волна завоеваний была отброшена Реформацией. Но в 1559 году перспективы Церкви были очень мрачными; никто не мог предсказать, не увеличит ли Генеральный собор ее трудности, ослабив папскую власть и посеяв новые семена раздора среди ее немногочисленных верных приверженцев. И все же Пий, после попытки объединить католические нации в крестовом походе против Женева, которая была сорвана ревностью Испании, внутренней слабостью Франции и уважением, внушаемым Швейцарией, [\[40\]](#) решил доверить свою судьбу Собору. У него было несколько сильных сторон в его пользу. Правящий император Фердинанд обладал властью, незначительной по сравнению с властью Карла V. Протестанты, хотя и были официально приглашены, были уверены, что не придут на Собор, который уже осудил статьи их Исповедания. Кардинальные догмы католицизма были подтверждены на заседаниях 1545-1552 годов. Оставалось надеяться, что при умелом управлении существующие разногласия относительно доктрины, церковного управления и исправления злоупотреблений могут быть урегулированы к удовлетворению католических властей.

Соответственно, папа направил четырех легатов, кардиналов Гонзагу, Серипандо, Симонету, Хосиуса, и Путео, в Трент, которые открыли Собор 15 января 1562 года. [\[41\]](#) Как и ожидалось, протестанты проявили сильное нежелание присутствовать. Французские прелаты не смогли прибыть в ожидании переговоров с гугенотами в Пуасси и Понтуазе. Немецкие прелаты намеревались на свое нежелание принимать участие в разбирательстве. Французский суд потребовал, чтобы была разрешена чаша для мирян и использование вульгарного языка в религиозных службах. Император также настаивал на этих пунктах, выдвигая дополнительное требование о вступлении духовенства в брак. Обстоятельства как во Франции, так и в Германии, казалось, делали эти условия обязательными для сдерживания быстрого распространения протестантского инакомыслия и удержания остатков католического населения в повиновении. Из священнослужителей в Тренте были только испанцы и итальянцы, причем последние составляли подавляющее большинство. Суды других стран были представлены послами, которые не принимали участия в обсуждениях Совета. [\[42\]](#)

Несмотря на это неблагоприятное начало, Пий объявил Собор Генеральным советом и далее постановил, что он должен быть признан продолжением того Собора, который начался в Тренте в 1545 году. Это делало сотрудничество протестантов невозможным, поскольку они были бы вынуждены принять более ранние догматические постановления Отцов Церкви. Было решено, что никакие доверенные лица не должны допускаться к отсутствующим; что вопросы доктрины и реформы должны быть подготовлены для обсуждения в двух отдельных конгрегациях и рассматриваться одновременно на полных заседаниях; наконец, что только папские легаты

должны иметь привилегию предлагать решения отцам церкви. Этот последний пункт, посредством которого Римский суд оставлял за собой контроль над всеми разбирательствами в Совете, был реализован с помощью хитроумной уловки. Слишком поздно испанские прелаты, похоже, не осознавали, какой огромной властью они наделили Рим, передав слова *Legatis proponentibus*.^[43] Принцип, заключенный в этой фразе, продолжал горячо оспариваться на протяжении всех сессий Совета. Но Пий знал, что до тех пор, пока он твердо придерживается этого, у него всегда на руках козырной туз, и ничто не заставит его отказаться от него.

Укрепившись в этом превосходстве, Пий теперь приступил к организации своих сил и демонстрации своей тактики. На протяжении всех заседаний Собора они оставались неизменными; и поскольку метод привел к его окончательной победе, он заслуживает краткого описания. Он решил любой ценой обеспечить численное большинство в Синоде. Это было достигнуто путем призыва итальянских прелатов, по мере необходимости, в Трент. Многие из более бедных слоев населения получали субсидии и находились под наблюдением кардинала Симонеты, который давал им указания, как голосовать. Небольшому отряду остроумных епископов было приказано высмеивать неудобных ораторов сатирическими вставками или затруднять их софистическими аргументами. В противоположные лагеря были внедрены шпионы, которые держали легатов в курсе того, что французы или испанцы обсуждали на своих частных встречах. Тем временем легаты учредили ежедневную почту курьеров, которые доставляли в Ватикан мельчайшие подробности о Соборе. Когда были составлены резолюции конгрегаций, на основе которых должны были быть составлены указы, они направили их его Святейшеству. Без его санкции они не предлагали их на общем собрании. Таким образом, благодаря своему постоянному большинству, исключительному праву своих легатов предлагать резолюции и предварительной ссылке этих резолюций на себя, Пий получил возможность руководить делами Совета. Вскоре стало очевидно, что, пока отцы говорили в Тренте, их окончательные решения принимались в Риме. Это, естественно, вызвало большое недовольство. Начали поговаривать, что Святой Дух был отправлен из Рима в Трент в ковриках. Человек с более властной натурой, чем Пий, мог бы, ограничив свои прерогативы, вызвать непримиримый разрыв. Но он понимал, что само существование папства зависело от осмотрительности. Поэтому он использовал все свои преимущества с осторожностью и решил выиграть день дипломатическим путем. С этой целью он ввел дальнейшую систему ведения переговоров с католическими судами через специальных агентов. Вместо того чтобы основывать указы на информации, предоставленной его легатами, он, в свою очередь, представил их Филиппу, Екатерине Медичи и Фердинанду, договорился об условиях взаимной уступки, убедил принцев в том, что их интересы совпадают с его собственными, а затем вернул Совету те меры, которые можно было безопасно принять. Со временем Святой Дух не был упакован в Риме для Трента в коврики до того, как он объехал Европу и поклонился во всех шкафах.

Однако не следует думать, что поначалу дела у папы шли гладко или что такой новый метод, как тот, который я описал, посредством которого вера и дисциплина христианского мира устанавливались путем переговоров между суверенами, появился внезапно. На своих первых заседаниях Собор, по словам самого Папы, напоминал скорее Вавилонскую башню, чем Синод Отцов Церкви. Испанские прелаты яростно отстаивали два принципа, касающихся епископства: первый заключался в том, что пребывание епископов в их епархиях было заповедано Богом; другой - что их власть исходит непосредственно от Христа. Первый удар был нанесен по власти папы отказаться от обязанности проживать в стране; и если бы она была

установлена, это разрушило бы его столицу. Второй способ сделал бы епископство независимым от Рима и сделал бы Святого Отца одним из многочисленной олигархии, а не абсолютным главой иерархии. Пий смог показать Филиппу, что независимость епископов должна нанести серьезный ущерб короне Испании. Поэтому Филипп написал, чтобы запретить настаивать на этом пункте. Но испанские прелаты, хотя и были принуждены, не замолчали, и поднятая ими буря продолжалась.

Трудности не менее серьезного характера возникли, когда весной в Трент прибыли послы Франции и Империи. Они требовали, как я уже говорил, чтобы чаша была передана мирянам; и при этом нелегко понять, почему этот пункт не мог быть удовлетворен. Сам Пий был готов пойти на уступку, и единственным веским аргументом против этого было то, что это ставило под угрозу единообразие ритуала во всех католических странах. Немцы также предусматривали вступление духовенства в брак, что папа также был склонен одобрять, пока он не сообразил, что только безбрачие сохраняет духовенство верным его интересам, независимо от интересов их собственной нации. На данном этапе Римский двор, который был решительно настроен против обеих уступок, получил материальную помощь от разногласий в Совете. Испанцы ничего не хотели слышать о Евхаристии в обеих формах. Против брака духовенства выступали как французы, так и испанцы. По вопросу о независимости копала французы поддерживали испанцев; но Пий использовал во Франции те же аргументы, которые он использовал в Испании, с таким же успехом. Таким образом, между испанцами, французами и немцами не было согласия ни по одному из спорных вопросов; и поскольку послы не могли ни предлагать, ни голосовать, а итальянские прелаты составляли постоянное большинство, Пий мог на досуге тянуть время.

Тем не менее, он начал осознавать серьезность ситуации. Он увидел, что посольства представляли собой опасные центры интриг и национальной организации в Тренте. Он был не совсем доволен своим собственным легатом, кардиналом Гонзагой, который поддерживал божественное право епископства, и поссорился со своими коллегами. Испанцы, взбешенные тем, что они пожертвовали правом предлагать меры, начали открыто говорить о реформе папства. Неприятные послания приходили в Рим из Франции, Испании и Германии, в них жаловались на папский абсолютизм в Совете и требовали, чтобы реформа Церкви была принята к серьезному и немедленному рассмотрению. Его преданный сторонник Лайнез, генерал ордена иезуитов, озлобил оппозицию, страстно проповедуя доктрину пассивного повиновения. Перед ним стояли две опасности. Один из них заключался в том, что Собор должен был распасться в замешательстве, с дискредитацией Рима и анархией для Католической церкви. Другой заключался в том, что князья должны были продлить его раздоры с целью ослабления папской власти. Другие неисчислимые опасности угрожали ему в связи с объявленным приближением могущественного кардинала Лотарингии, брата герцога де Гиза, со свитой французских епископов, освобожденных с Конференции в Пуасси. Хотя он продолжал пополнять Совет новыми представителями итальянцев, можно было опасаться, что они могут оказаться неспособными противостоять коалиции между французскими и испанскими прелатами, если это произойдет сейчас.

Пий в этот кризис остановился на двух важных направлениях политики, энергичное проведение которых быстро привело Тридентский собор к мирному завершению. Первый состоял в том, чтобы с радостным молчаливым согласием удовлетворить требование о тщательном реформировании Церкви; но выступить против встречного требования о том, чтобы светские государства во всех их церковных отношениях в то же время были реформированы. Это

подразумевало угрозу лишения принцев покровительства и доходов; это также ясно указывало на то, что у тиары и корон были общие интересы. Вторая заключалась в развитии дипломатической системы, к которой он уже предварительно присоединился.

События весны 1563 года ускорили принятие папой этих мер. Кардинал Лотарингский прибыл со своими французскими епископами[44]; и папские легаты однажды оказались вовлеченными в запутанные споры по вопросам, затрагивающим гугенотов и интересы Галликанской церкви. Итальянцы в отчаянии сочиняли эпиграммы: *Далла скаби, Спагнуола, сиамо кадуги, нель мал Франчезе*. Несколько позже император отправил объемистое и подробное письмо, в котором объявлял о своем намерении сыграть ту роль, которую Сигизмунд взял на себя на Констанцском соборе. Он открыто жаловался на зло, вызванное ссылкой всех постановлений на Рим, исключительными правами легатов предлагать декреты и интригами итальянского большинства в Синоде. В заключение он заявил, что реформация Церкви должна быть совершена в Тренте, а не на усмотрение Папской курии; и пригрозил прибыть из Инсбрука с Бреннером. Хотя Фердинанд находился в положении церковной и политической слабости, такой императорский рескрипт нельзя было полностью игнорировать, тем более что кардинал Лотарингский вскоре после своего прибытия специально отправился в Инсбрук, чтобы посоветоваться с императором. Поэтому папе римскому надлежало действовать решительно, и в первые дни марта произошло важное событие, которое существенно помогло ему в этом. Это была смерть кардинала Гонзаги, которого Пий решил заменить умеренным и осмотрительным Мороне.[45]

Через Ипполито д'Эсте, кардинала Феррарского, он начал переговоры с французским двором, показав, что пожелания прелатов Собора по вопросу епископства были не менее противоположны короне, чем его собственным интересам. Кардинал Симонета настаивал на том же маркизе Пескаре, который управлял Миланом от имени Филиппа и был склонен к папской партии. Кардинал Мороне был отправлен со специальным посольством к императору.[46] Благодаря мудрым уступкам, в результате которых были значительно расширены прерогативы имперских послов в Тренте и была обещана тщательная реформация Церкви, Морону удалось создать хорошую рабочую основу для будущего. Стало понятно, что, хотя папа и не допустит дальнейшей свободы епископам, он был благосклонен к тому, чтобы позволить своим легатам посвящать посланцев католических держав в свои советы. С этого времени Синод, можно сказать, существовал только как рупор для озвучивания условий, согласованных папой и властями. Морон вернулся в Трент, а император отступил из Инсбрука на север.

Трудность в отношении Франции и Германии заключалась в том, что политика заставляла и короля и императора учитывать позицию своих протестантских подданных. Однако оба они в равной степени были неспособны сохранить свое положение католических монархов, если бы пошли на открытый разрыв с папством. Фердинанд, как мы только что видели, выразил удовлетворение положением дел в Тренте. Но французские прелаты все еще оставались в оппозиции, а французский двор пребывал в нерешительности. Кардинал Морон по прибытии в Трент начал льстить кардиналу Лотарингскому, делая вид, что не принимает никаких важных мер, не посоветовавшись с ним. Такое поведение, наряду со своевременными комплиментами нескольким влиятельным французам, проложило путь к будущему соглашению; в то время как курьеры, прибывшие из Франции, принесли уверенность в том, что заявления Ипполито д'Эсте не были бесплодными. Тем временем Пий вел ту же примирительную игру в Риме, куда дон Луиджи д'Авила прибыл в качестве специального посланника Филиппа. Посол получил жилье в

Ватикане и был замечен в ежедневном общении с его Святейшеством.^[47] Но кульминация этой политики была достигнута, когда Лотарингия приняла приглашение папы Римского и предприняла путешествие в Рим. Это произошло в сентябре. Французский кардинал был помпезно принят, развлекался во дворце и удостоен личного визита в свои апартаменты папы римского. Устав от Трента и утомительных интриг Совета, этот беспринципный прелат еще больше склонился к переговорам после убийства своего брата, герцога де Гиза. Следует помнить, что Гизы во Франции, в конце концов, были всего лишь могущественной группировкой полукоролевских авантюристов, которые достигли возвышения благодаря союзу с Дианой де Пуатье. Убийство герцога потрясло основы их власти, и кардиналу, естественно, не терпелось снова оказаться во Франции. Какое-то время он наслаждался праздной атмосферой Рима, окруженный теми сокровищами античной и ренессансной роскоши, которые все еще оставались после Разграбления 1527 года. Пий излагал лестные видения наследования папства и убедительно доказал, что ничто не может поддержать Дом Гизов или утвердить католическую веру во Франции, кроме союза с Папским престолом. Лоррен, который, вероятно, достаточно насмотрелся на епископальную *канализацию* в Совете и почувствовал, как его внутреннее "я" расширилось в богатом климате папского Рима, позволил удовлетворить свои амбиции, признался, что убедился, и вернулся в Трент, опьяненный своим визитом, как преданный друг Рима.

Угрозы, тем временем, были искусно перемешаны с обольщением. Французский и императорский дворы все больше беспокоились по поводу реформы светских учреждений. Пий пригрозил поднять весь вопрос о национальных Церквях и праве монарха вмешиваться в их управление. Это было равносильно тому, чтобы бросить горящий факел в пороховой погреб недовольства гугенотов и лютеран. Чтобы спастись от катастрофы взрыва, они призвали своих посланников к согласованным действиям с папством. Испанский двор через Пескару, Де Луну и Д'Авалоса отправил депеши аналогичного содержания. Теперь обсуждался вопрос о том, не следует ли созвать съезд коронованных особ, чтобы распустить Собор в соответствии с папской программой. Это устроило бы Пия. Именно к этому привела его политика. Однако ни к какой такой мере нельзя было относиться легкомысленно. Съезд, когда Собор еще заседал, был бы слишком явным и циничным проявлением папской игры. Как показали события, в этом даже не было необходимости. Когда Лоррейн вернулась в Трент, французскому сопротивлению пришел конец. Испанцы уже были нейтрализованы твердым и настойчивым проявлением воли Филиппа работать на благо римского абсолютизма.^[48] Не оставалось ничего, кроме как урегулировать детали, сформулировать условия церковной реформы и завершить Тридентский собор единогласным вотумом доверия его Святейшеству. Были быстро очерчены основные контуры догмы и дисциплины. Многочисленные детали были переданы папе для уточнения. Собор завершился в декабре актом о подчинении, согласно которому все его постановления зависели от папской санкции. Пий был достаточно мудр, чтобы принять и ратифицировать указы тридентских отцов Буллой от 26 декабря 1563 года, оставляя за папским сувереном исключительное право толковать их в сомнительных или спорных случаях. Это он вполне мог себе позволить, ибо ни одна статья не была написана без его согласия, и ни одно условие не было сделано без предварительной договоренности с католическими державами. Более того, сами условия, которыми была передана его ратификация, обеспечили его верховенство и даровали его преемникам и ему самому привилегии апелляционного суда высшей инстанции. Ни в один предыдущий период истории Церкви Римскому престолу не была предоставлена столь широкая, столь неопределенная и столь неограниченная власть. Таким образом, Пий IV.

был триумфатором в получении соборной санкции папского абсолютизма и в поддержании структуры римской иерархии в неприкосновенности, основных догм латинского христианства в неприкосновенности и после формальной инквизиции подтвержденных в точных определениях. Грозный арсенал был предоставлен в распоряжение пап, которые были полностью уполномочены им пользоваться и у которых были наготове два мощных орудия для его применения в Священной Канцелярии и Обществе Иисуса.[49]

После окончания Собора Пию ничего не оставалось, как умереть. Он стоял на вершине, которая вполне могла заставить его нервничать — как бы солонианская максима "Не называй человека удачливым до его смерти" не подтвердилась на его примере. В течение двух лет мира и уединения, которые ему еще предстояло провести, неудачный заговор Бенедетто Акколти и Антонио Каноссы против его жизни подтвердил правильность этого предупреждения. Но в остальном, отстраненный от государственных забот, которые он передал своему племяннику Карло Борромео, он наслаждался спокойствием, которое следует за успешным трудом, и с неизменным престижем сошел в могилу в конце 1565 года. Те, кто верит во властных и могущественных лидеров человечества, могут быть озадачены, пытаясь объяснить триумф, достигнутый этим заурядным вершителем судеб. Не силой, а гибкостью характера он осуществил переход от средневековой эпохи католицизма к современной эпохе. Он не был Кромвелем, Фридрихом Великим или Бисмарком; всего лишь политическим стариком, ухитрившимся с помощью искусных уклонений провести корабль Церкви сквозь бесчисленные опасности. Этот отпрыск итальянского среднего класса, эта моральная посредственность посадила своих преемников в кресле Святого Петра на трон такого превосходства, что они немедленно начали претендовать на юрисдикцию над королями и нациями. Тридцать восемь лет до его смерти, когда Климент VII. был заперт в с. Анджело, казалось, что папская власть может быть отменена. Через сорок пять лет после своей смерти Сарпи в письме другу в 1610 году выразил свое твердое мнение, что единственным животрепещущим вопросом для Европы является папская власть.[50] Благодаря ему, бедному продукту обычных итальянских обстоятельств, избранному папой из-за его покладистой мягкости прелатами, измотанными до смерти во время правления пламенного Караффы, случилось так, что волна католической реакции прокатилась по Европе. Поэтому в определенном смысле мы можем рассматривать его как настоящий *Жгутик Божий*, управляемый непостижимой судьбой. Кажется, что в знаменательные эпохи мировой истории не требуется героя, чтобы осуществить замысел Духа Времени. Джан Анджело Медичи, приятного, дипломатичного, доброжелательного и любящего удовольствия человека, было достаточно, чтобы инициировать серию событий, которые на протяжении двух столетий приводили западные расы в смятение.

В период понтификата Пия IV был сделан большой шаг вперед. Реформа Церкви, которую успех протестантизма сделал необходимой и которой требовали католические власти, была провозглашена Тридентским собором. Пий не выказывал нежелания выполнять постановления Собора, и эту задачу ему облегчили его племянник Карло Борромео и иезуиты. Однако все еще оставалось неясным, не сможет ли новый папа обратить вспять политику, на которой была основана Контрреформация, и воспрепятствовать благотворному внутреннему движению, которое вело римскую иерархию по пути трезвости. Если бы это произошло, для романизма было бы невозможно занять воинственную позицию сопротивления протестантам в Европе или сплотить свои собственные духовные силы. Таким образом, следующие выборы были вопросом серьезной важности.

Нет ничего более примечательного в истории папства в эту эпоху, чем исключительный контраст, который каждый понтифик последовательно представлял своему предшественнику. Конклав практически не контролировался в своем выборе какой-либо внешней силой первой величины. Хотя герцог Флоренции мог теперь путем интриг определить кандидатуру Пия IV, ни один властный император или король Франции, как во времена Оттона Великого или Филиппа Красивого, не мог назначить своего собственного кандидата. Не было столь открытой вражды, как в эпоху Возрождения, между кардиналами, субсидируемыми Испанией, Австрией или Францией.^[51] Результатом стало то, что обсуждения конклава определялись мотивами мелких интересов, личной зависти и местными соображениями до такой степени, что выборы, казалось, в конечном итоге были результатом случая или вдохновения. Мы находим самых маловероятных кандидатов, Караффу и Перетти, приписывающих свое возвышение прямому влиянию Святого Духа, в сознании, что они проскользнули в С. Кресло Питера из-за неумелости конфликтующих фракций. Однако результатом этих выборов, не оказавших влияния, в целом стало выдвижение человека, настроенного враждебно по отношению к своему предшественнику. Столкновение партий и численное большинство независимых кардиналов исключили представителей последнего царствования и выбрали для продвижения по службе того, кто был обязан своим положением благосклонности предыдущего понтифика. Этот результат был дополнительно обеспечен естественным желанием всех участников выборов выдвинуть кандидатуру пожилого человека, поскольку для общего блага срок понтификата, по возможности, не должен был превышать пяти лет.

Личные качества Карло Борромео имели огромное значение при избрании преемника его дяде. Он правил Церковью в последние годы правления Пия IV.; и вновь назначенные кардиналы были его иждивенцами. Если бы он попытался использовать свою власть для собственного избрания, он мог бы столкнуться с оппозицией. Он решил использовать это для того, что считал глубочайшими католическими интересами. Это бескорыстие привело к выбору человека, Микеле Гислиери, чье прошлое делало его грозным для все еще коррумпированных членов римской иерархии, но чей характер был именно тем, что требовалось для придания прочности новому этапу, в который вступила Церковь. Как Пий IV. был полной противоположностью Павлу IV., так и Пий V. был полной противоположностью Пию IV. Он провел лучшие годы своей жизни в качестве главы инквизиции. Преданный богословию и религиозным упражнениям, он не обладал юридическими и мирскими способностями своего предшественника. Но в них больше не было необходимости. Они выполнили свой долг, приведя Собор к благоприятному завершению и установив католический конкордат. Теперь требовался папа, который личным примером и жесткой дисциплиной должен был внушить Риму принципы ортодоксальности и реформ. Карло Борромео, возможно, признававший свою политическую несостоятельность, которую другие замечали в нем, и горячо ревновавший к католическому возрождению, возложил эту обязанность на Микеле Гислиери, который завершил работу двух своих предшественников.

Павел IV. заложил основу современной Римской церкви, укрепив инквизицию и начав внутренние реформы. Пий IV, внешне, своим решением Тридентского собора и учреждением католического конкордата, построил на этой основе здание, которое еще не было массивным. Карло Борромео и иезуиты во время последнего понтификата подготовили путь для папы, который должен был зацементировать и опоясать это здание, чтобы оно могло противостоять нашествию времени и служить крепостью для нападения на ересь. Этим папой был Микеле Гизлиери, принявший титул Пия V. в 1566 году.

Прежде чем перейти к вопросу о его правлении, необходимо будет рассмотреть состояние Рима на данный момент, в переходную эпоху, когда фазы средневековья и Возрождения быстро переходили в фазу Контрреформации. Старые злоупотребления, которые когда-то пустили глубокие корни в любом учреждении, медленно отмирают. Поэтому желательно рассмотреть положение, в котором находился папский суверен Святого города, учрежденный Тридентским собором.

Численность населения Рима была необычайно непостоянной. Будучи в основном состоящим из священнослужителей со своими семьями и иждивенцами; иностранцев, проживающих в городе в качестве женихов или послов; купцов, ремесленников и художников, привлеченных надеждой на наживу; оно поднималось или падало в зависимости от качеств правящего папы и большего или меньшего уклада жизни, который оказывался модным. Знатные семейства бросались в глаза скорее своим отсутствием, чем присутствием, ибо представители первого ранга, Колонна и Орсини, жили в своих поместьях и посещали столицу только по случаю. Мелкая аристократия, придававшая прочность общественным отношениям в таких городах, как Флоренция и Болонья, никогда не достигала ранга значительной олигархии в Риме. Не существовало также устоявшейся династии, вокруг которой мог бы собраться круг пэров в постоянном союзе с двором. С другой стороны, частая смена понтификов, избираемых из разных округов, способствовала росту эфемерной знати, которая некоторое время пользовалась благосклонностью своих папских родственников, наводнила город вассалами из своей провинции и исчезла после избрания нового папы, чтобы освободить место для еще одного летучего эскадрона. Вместо группы древних Домов, вступавших в смешанные браки и передававших наследственные права и почести своим потомкам, Рим представлял собой зрелище многочисленных заведений, соблюдающих celibat, правда, демонстрирующих большую пышность, но рассеивающихся и исчезающих после смерти покровителей, которые их собирали. Семьи богатых кардиналов формировались в масштабе княжеских дворов. И все же никто, независимо от того, зависел ли он от самого могущественного или самого слабого прелата, не мог рассчитывать на то, что он останется на своем посту дольше жизни своего хозяина. Опять же, по многим причинам, к числу которых можно отнести враждебность правящих понтификов к созданиям своих предшественников или к их старым соперникам по конклаву, резиденция главных священнослужителей в Риме была ненадежной. Таким образом, высший слой общества всегда находился в состоянии постоянного изменения, его элементы менялись в соответствии с законами хронической неопределенности. Под ним расплодилось толпа низших и сомнительных дворян, живущих в праздности за счет благосклонности двора, служащих кардиналам и епископам на аморальных и бесчестных должностях, продающих своих жен, дочерей и самих себя, и все они стремились косвенным путем подняться до высокого положения.[52] Ниже существовала *буржуазия* художников, банкиров, строителей, владельцев магазинов и ремесленников; а в нижней части шкалы находились орды нищих. Рим, как и все Священные города, принимал множество благотворительных нищих. Григорий XIII. его хвалят за то, что он тратил более 200 000 крон в год на благотворительность и за то, что он отдал район Сан-Систо (в окрестностях Тринита-дель-Монте, одного из лучших кварталов нынешнего города) нищим.[53]

Учитывая социальные условия Рима, неудивительно узнать, что во время правления такого сурового понтифика, как Павел IV, численность населения сократилась до 40 000-50000 человек. Оно быстро выросло до 70 000 и достигло 80 000 в правление Пия IV. Впоследствии оно постепенно поднялось до 90 000, а во время популярного понтификата Григория XIII. говорят, что

он достиг высокой цифры в 140 000 человек. Эти расчеты основаны на отчетах венецианских послов и могут считаться беспристрастными, хотя и не могут быть статистически точными.[54]

Что сделало римское общество прогнившим насквозь, так это всеобщая денежная коррупция. В Риме ничего нельзя было получить бесплатно; но люди с деньгами в кошельке получали все, что хотели. Одно только бюро сбора данных приносило в папскую казну в 1560 году от десяти до четырнадцати тысяч крон в месяц.[55] Эта крупная сумма поступила от составления пособий и продажи вакантных офисов. Апостольская камера, или Палата правосудия, была не менее продажной. За каждое преступление была установлена цена, наказание за которую могло быть заменено выплатой наличными. Даже такой суровый папа, как Павел IV, своим опубликованным эдиктом предоставил своему племяннику привилегию расправляться с преступниками посредством штрафов.[56] Одним из последствий этой мерзкой системы, справедливо названной венецианским посланником "самой странной, которую можно было наблюдать или слышать о подобных делах", было то, что богатые грешники потворствовали своим аппетитам за счет своих семей, а невинные люди становились добычей шулеров и доносчиков.[57] В Риме была организована обширная система *песнопений*. Другим следствием стало то, что акты насилия стали ужасно распространенным явлением. Для совершения убийств можно было нанять людей за суммы, варьирующиеся от десяти до четырех скуди; и после смерти Павла IV, когда в Риме на короткое время воцарилась анархия, очевидец утверждает, что за несколько дней в его стенах было совершено несколько сотен убийств.[58]

Нельзя было ожидать, что столь коррумпированное население, привыкшее на протяжении поколений наживаться на продажности и пороках иерархии, должно приветствовать те радикальные реформы, которые были лучшими плодами Тридентского собора. Им особенно не нравились декреты, которые устанавливали резиденцию прелатов и ограничение пособий, которыми обладал один священнослужитель. Эти правила подразумевали уход богатых покровителей из Рима вместе с неисчислимым сокращением количества расходов там иностранных денег. Не стали менее непопулярными и меры по отмене продажи должностей по принципу симониака и растущее требование порядочности при отправлении правосудия. Тот подорвал на корню частную спекуляцию прибыльными должностями и лишил Двор доходов, которые пришлось заменить налогами. Другой уничтожил искусство доносчиков, пресек беззаконие и распущенность среди богатых и имел тот же плачевный эффект в виде обнищания папской казны. По мере того, как Курия перестала существовать на доходы от симонии, суеверие и грех, он был вынужден основать Тайну себя импостов на людей, и, возобновив, как Григорий XIII, пытался это сделать, его устаревшие права на феодалы и земли предоставлялись на льготных условиях или удерживались сомнительными титулами. Между тем сокращение расходов, ставшее необходимым во всех семьях иерархии, и введение более суровых нравов угрожали исчезновением многим второстепенным отраслям промышленности.

Эти изменения начали проявляться во время понтификата Пия IV. Сам папа был склонен к либеральному и радостному образу жизни. Но он не отличался великодушием; и новая строгость манер дала о себе знать на примере его племянника Карло Борромео — человека, который, живя в пурпуре, практиковал аскетизм, который был очевиден на его изможденном лице. Им правили иезуиты, и через него их влияние ощущалось в каждом квартале города.[59] "Римский двор, - говорит венецианский посланник в 1565 году, - уже не тот, что раньше, ни по качеству, ни по численности придворных. Это происходит главным образом из-за бедности кардиналов и скупости пап. В старые времена, когда раздавали более щедро, способные люди

стекались сюда со всех сторон. Это сокращение Двора датируется Собором; поскольку епископы и облагодетельствованное духовенство теперь вынуждены удалиться в свои резиденции, большая часть Двора покинула Рим. Той же причине можно приписать уменьшение числа тех, кто служит понтифику, учитывая, что, поскольку теперь может быть оказана только одна льгота, и это включает проживание, мало кто желает следовать за Двором за свой счет и с неудобствами без надежды на большее вознаграждение. Бедность кардиналов проистекает из двух причин. Первое заключается в том, что теперь они не могут получать пособия первого класса, как это было, когда Англия, Германия и другие провинции подчинялись Святому Престолу, и когда, более того, они могли владеть тремя или четырьмя епископствами на каждого вместе с другими местами получения дохода, тогда как сейчас они могут иметь только по одному на каждого. Вторая причина заключается в том, что число кардиналов было увеличено до семидесяти пяти и что иностранные державы перестали осыпать их большими подарками и бенефициями, как это было принято при Карле V. и французской короне". В последнем из этих пунктов мы находим четкое указание на один из главных результатов конкордата, установленного между папством и католическими монархами политикой Пия IV. Это обеспечило папский абсолютизм за счет колледжа. Соранцо продолжает описывать изменения, заметные в римском обществе. Таким образом, жизнь при дворе скудна, отчасти из-за бедности, но также благодаря хорошему примеру кардинала Борромео, который видел, что люди привыкли следовать манерам своих принцев. Кардинал держит в своих руках все нити управления; и, живя благочестиво в уединении, которое я заметил, не потворствуя никому, кроме людей его круга, ни кардинал, ни придворный не могут ожидать от него никакой благосклонности, если он фактически или внешне не соответствует его образу жизни. Следовательно, можно заметить, что они полностью отказались, по крайней мере на публике, от всякого рода удовольствий. Кардиналов больше не увидишь ни в маскараде, ни верхом на лошади, ни разъезжающими с женщинами по Риму для развлечения, как это было принято в последнее время; но максимум, что они делают, - это ездят одни в тесных каретах. Банкеты, увеселения, охотничьи сборища, великолепные ливреи и все другие признаки внешней роскоши были отменены; тем более что теперь при Дворе нет светских людей высокого ранга, как раньше, когда вокруг папы было много его родственников или иждивенцев. Духовенство всегда носит свои одежды, так что реформа Церкви проявляется в их внешнем виде. С другой стороны, такое положение вещей привело к разорению ремесленников и торговцев, поскольку деньги не циркулируют. И хотя все должности и магистратуры находятся в руках миланцев, алчных и нелиберальных личностей, очень немногих действительно можно назвать довольными нынешним правлением".[60]

Одним из главных недостатков Пия IV, если судить по стандартам новой партии в Церкви, была его холодность в религиозных упражнениях. Паоло Тьеполо отмечает, что за последние семь месяцев своей жизни он ни разу не присутствовал на службе в своей часовне.[61]

Это безразличие сочеталось с вялостью в проведении реформ. Хранилище данных по-прежнему обогащалось составом пособий, а Камера - составом преступлений. Пий V, напротив, воплощал в себе те аскетические добродетели, которые Карло Борромео и иезуиты были полны решимости распространять по всему католическому миру. Он ни разу не пропустил ни одного дня, посещая предписанные церковные службы, часто служил мессы, постился через равные промежутки времени и продолжал носить грубую шерстяную рубашку, которая была частью его монашеского костюма. В его благочестии не было лицемерия. Люди видели потоки слез, льющиеся из глаз понтифика, склонившегося в экстазе перед Воинством. Жесткая реформация

церквей, монастырей и духовенства была немедленно начата по всей Папской области. Монахи и монахини не без основания жаловались, что от них ожидали аскетизма, который не входил в правила, которым они поклялись повиноваться. Суровость инквизиции усилилась, и Index Expurgatorius начал осуществлять более строгую юрисдикцию в отношении книг. Папа проводил половину своего времени в Святой канцелярии, расследуя дела о ереси десятилетней или двадцатилетней давности. Из Флоренции он приказал отвезти Карнесекки в Рим и сжечь; из Венеции беженец Гвидо Дзанетти из Фано был передан в его нежные руки; а превосходный Карранса, архиепископ Толедский, был выслан из Испании, чтобы римский трибунал приговорил его к смертной казни. Уголовное правосудие, тем временем, осуществлялось с большей чистотой, а состав преступлений за деньги, если и не был полностью отменен, то был смягчен. В распределении епископств и других бенефиций проявился тот же дух справедливости, поскольку Пий скрупулезно интересовался характером и пригодностью претендентов на должность.

Рвение, проявленное Пием V к основательной реформе нравов, может быть проиллюстрировано любопытным обстоятельством, о котором рассказал венецианский посол в первый год понтификата.^[62] 26 июля 1566 года был издан указ, обязывающий всех проституток покинуть Рим в течение шести дней и покинуть Церковные владения в течение двенадцати дней. Начался массовый исход. Но было подсчитано, что около 25 000 человек, включая самих женщин с их прихлебателями и иждивенцев, должны были бы покинуть город, если бы указ был приведен в исполнение.^[63] Фермеры таможни подсчитали, что в результате они потеряют около 20 000 дукатов в год, и молили папу римского о компенсации. Тем временем дороги через Кампанию начали запруживаться караванами, которые подвергались нападениям разбойников. Неразбериха стала настолько сильной, а общественное недовольство выражалось так открыто, что 17 августа Пий отменил свой указ и разрешил проституткам проживать в определенных кварталах города.

Пий IV. большую часть своей дальнейшей жизни провел в постели, пренебрегая делами, развлекая досуг с шутами и хорошими товарищами, много ел и еще больше пил. Пий V, напротив, привез с собой в Ватикан монастырские обычаи и посвящал время, которое он уделял благочестию, ведению дел. У него был холерический цвет лица, сухой, худощавый, изможденный, с запавшими глазами и белоснежными волосами, выглядевший на десять лет старше, чем был на самом деле.

Такой папа изменил облик Рима, или, скорее, закрепил стереотипные изменения, которые были инициированы кардиналом Борромео. "Люди, даже если они на самом деле не лучше, по крайней мере кажутся такими", - говорит венецианский посланник, который снабдил меня подробностями, которые я сжал.^[64] В папском истеблишменте были введены сокращения; денег не хватало; двор становился все более скупым на вид; и можно сказать, что кумовство исчезло во времена Пия V. Он действительно выдвинул одного племянника, Микеле Бонелли, на кардинала; но он не проявлял склонности обогащать или благоволить ему сверх должной меры. Изможденный человек без ушей, отмеченный знаком бастинадо, часто бывал во дворце и стоял рядом с папой в качестве капитана гвардии. Это был Паоло Гислиери, несколько дальний родственник Пия, который провел свою жизнь в рабстве у барских барских корсаров и был выкуплен купцом по выбору своего родственника. Никто другой из членов папской семьи не был приглашен в Рим.

Пий V, ведя образцовую монашескую жизнь на папском престоле, правил католическим христианским миром более безраздельно, чем кто-либо из его предшественников. Как папство признавало свою зависимость от государей, так и монархи, в свою очередь, понимали, что религиозное подчинение является лучшей гарантией их светской власти. Поэтому католические государства одно за другим присоединились к Трехстороннему исповеданию Веры и приняли единую систему в вопросах церковной дисциплины. С санкции папы были опубликованы новый требник и новый молитвенник. Для обучения духовенства были созданы семинарии, и иезуиты занимались своей пропагандой. Инквизиция и Конгрегация Индекса удвоили свои усилия по искоренению ереси огнем и железом, а также путем уничтожения или искажения книг. Католицизму было свойственно строгое единообразие. Папа, которому Собор передал такую власть, стоял во главе каждой секции и департамента новой организации. С его одобрения принимались все меры в Церкви, и иезуиты выполняли его указания со скрупулезной точностью.

Поэтому не стоит удивляться, что Пий V положил начало эре активных боевых действий против протестантизма. Будучи в прочном союзе с Филиппом II, он выступал за нападения на гугенотов во Франции, протестантов во Фландрии и английскую корону. Нет никаких свидетельств того, что он принимал активное участие в организации Резни Святого Варфоломея, которая произошла через три месяца после его смерти; и экспедиция Непобедимой армады против Англии не снаряжалась до тех пор, пока не истек еще один пятнадцатилетний период. Тем не менее переговоры, в которые он был вовлечен с Испанией, включая предприятия в ущерб английскому королевству и французской реформации, не оставляют сомнений в том, что и Святой Варфоломей, и Армада встретили бы его искреннее одобрение. Одна славная победа придала блеск правлению Пия V. В 1571 году военно-морские силы Испании, Венеции и Рима нанесли парализующий удар турецкой мощи при Лепанто; и этот успех способствовал раздуванию пламени католического энтузиазма.

Понтификаты Павла IV, Пия IV и Пия V. Отличаясь друг от друга в очень важных деталях, они добились солидного триумфа реформированного католицизма, которым стремились воспользоваться как дипломатические, так и аскетические партии в Церкви, иезуиты и театинцы. В римском государственном устройстве возобладал новый дух, от реальности которого зависела его будущая сила; и люди, воплощавшие этот дух, не собирались ослаблять свою власть над его управлением. После смерти Пия V. им пришлось иметь дело с папой, который больше походил на своего предпоследнего предшественника, Пия IV., чем на последнего понтифика. Уго Буонкомпаньо, отпрыск буржуазной семьи, обосновавшейся в Болонье, начал свою карьеру юриста. Он принял орден в зрелом возрасте, был произведен в кардиналы и в 1572 году удостоился высшей чести Святого Престола. Мужчина отзывался на свое имя. Он был хорошим собеседником, легким в общении, добродушным в манерах, замечательным той легкостью, с которой он отбрасывал опеку и предавался оптимистичным ожиданиям.^[65] В более ранний период истории Церкви он мог бы воспроизвести папство Павла II. или Иннокентия VIII. Как бы то ни было, Григорий XIII. сразу попал под сильное влияние руководителей-иезуитов. Его духовник, испанец Франческо да Толедо, внушил ему необходимость следовать по стопам Павла IV. и Пия V. Было ясно, что он должен соответствовать новым тенденциям католической церкви; и в своем рвении неопита он решил превзойти своих предшественников. Примеру Пия V. не только подражали, но и превзошли. Григорий XIII. служил три мессы в неделю, строил церкви и насаждал приходское послушание по всей своей столице. Иезуиты в его правление достигли максимума своего богатства и

влияния. Рим, "отказавшись от своей древней распущенности, продемонстрировал умеренный и христианский образ жизни: и в том, что касалось внешнего соблюдения религии, он показал себя недалеким от такого совершенства, какое позволяют человеческие слабости".[66]

Еще будучи мирянином, Григори стал отцом единственного сына, Джакомо. Рожденный вне брака, он все же был признан членом семьи Буонкомпаньо и под этим именем допущен к венецианской знати.[67] Папа проявил отцовскую слабость в пользу своего отпрыска. Он привез молодого человека в Рим и назначил его губернатором Санта-Къезы с жалованьем в 10 000 дукатов. Иезуиты и другие духовные лица почуяли опасность. Они убедили Святого отца, что совесть и честь требуют изгнать его незаконнорожденного сына из священного города. Джакомо был отправлен в почетную ссылку в Анконе. Но он так сильно пострадал от этого отпора, что условия соглашения были согласованы. Джакомо женился на даме из семьи Сфорца и утвердился при папском дворе с доходом в размере около 25 000 крон.[68] Церковная партия, ныне господствующая в Риме, позаботилась о том, чтобы он не приобрел в правительстве ничего, кроме почетного значения. Двое племянников папы были возведены в сан кардиналов с выделением около 10 000 крон каждому. Его старший брат жил в уединении в Болонье, получив строгий приказ не искать счастья и не ставить под сомнение чистоту папского правления в Риме.[69]

Я представил этот очерк отношений Григория, чтобы показать, как папа с его прежними привычками и личными склонностями теперь был вынужден следовать новому порядку Церкви. Было замечено, что образ жизни в Риме во время его правления обеспечивал справедливый баланс между вседозволенностью и аскетизмом, и что общее удовлетворение пронизывало общество.[70] За пределами города это спокойствие не преобладало. Григорий привел свои Государства в беспорядок, возродив устаревшие права Церкви на земли, заложенные или дарованные с неясными титулами. Мелкие бароны подняли восстание, вооружили своих крестьян, разжигали мятежи в провинциальных городах и наполнили страну разбойниками. Под руководством таких людей, как Альфонсо Пикколомини и Роберто Малатеста, эти банды мародеров приняли форму армий. Соседние итальянские государства —Тоскана, Венеция, Неаполь, Парма, все из которых сочли папу деспотичным и агрессивным в своих отношениях с ними, — поощряли бандитов, предлагая им убежище и отказываясь сотрудничать с Григорием в их борьбе.

Его преемник, Сикст V., обнаружил, что все папское владычество в смятении. Собирать налоги было невозможно. Жизнь и имущество нигде не были в безопасности. Серией жестоких постановлений и суровых актов правосудия Сикст изгнал разбойников из своих Государств. Затем он применил свою могущественную волю к сбору денег и благоустройству своих провинций. За четыре года, последовавшие за его избранием, ему удалось накопить круглую сумму в четыре миллиона крон, которую он хранил в замке Сан-Анджело. Анджело. Общие доходы папства в ту эпоху примерно оценивались в 750 000 крон, которые при прежних правлениях были покрыты текущими расходами и папским истеблишментом. Путем строгой экономии и всевозможных сокращений Сикст сократил эти ежегодные расходы до суммы в 250 000 крон, получив таким образом чистую прибыль в размере 500 000 крон.[71] В то же время он уже потратил около полутора миллионов на коммунальные работы, в том числе на знаменитую "Аква Феличе", которая доставляла в Рим превосходную воду. Были отремонтированы дороги и мосты во всех штатах Церкви, осушены Кьяна Орвието и Понтийское болото. Поддержка была распространена не только на сельское хозяйство, но и на промышленность и мануфактуры.

Провинциальные города получили разумные финансовые уступки, и непопулярное восстановление утраченных земель и феодальных владений было прекращено. Рим тем временем начал приобретать свой нынешний облик города благодаря обширным архитектурным начинаниям, начатым Сикстом. Он любил строить, но не был любителем древности. Для языческих памятников искусства он показал монастырский вражды, диспергирования или изуродованные статуи Ватикана и Капитолия; обернувшись, Минерва в образе Веры, поставив крест в руке; преодоление колонны Траяна и Антонина с фигурами Петр и Павел; уничтожив Septizonium Северуса, и желая заложить четыре духовные пьесы legious руки Цецилии Метеллы гробница. К средневековым реликвиям он был едва ли менее равнодушен. Старые здания Латерана были снесены, чтобы освободить место для массивного современного дворца. Но, чтобы в какой-то мере искупить эти акты вандализма, Сикст установил купол собора Святого Петра и обелиск на большой площади, которой было суждено быть окруженной колоннадами Бернини. Он постучал крестом по этому обелиску. Христианские надписи, свидетельствующие о триумфе понтифика над императорами-неверными, о победе Голгофы над Олимпом, о превосходстве римских святых и мучеников над древними божествами и героями Рима, не оставляли сомнений в том, что то, что осталось от имперского города, было покорено Христу и очищено от язычества. Бродя по Риму в настоящее время, мы повсюду ощущаем дух католического Возрождения и бормочем про себя строки Клафа:

О вы, могущественные и странные, вы, древние божественные существа Эллады!
Вы тоже христиане? Чтобы обратить, искупить и обновить вас,
Достаточно ли будет краткой формы, что папа воссел на вершине
египетского камня, который возвышается над вами, христианского символа?
И вы, безмолвные, возвышенные в безмятежном и победоносном мраморе,
вы, окружающие стены величественных ватиканских палат,
Вы тоже крещены; принадлежите ли вы Царству Небесному?
Произнеси, о кто-нибудь, слово, которое примирит Древнее и Современное.

Ничто так не упускалось из виду Сикстом, как любая попытка примирить Древнее и современное. Он был склонен провозгласить окончательную победу католицизма не только над античностью, но и над Возрождением. Его надписи, кресты и изображения святых являются непреходящими знаками рабства, установленными на памятниках древней и возрождающейся Италии, носить которые им разрешил теперь уже абсолютный понтифик, как свидетельства его власти.

Одного сокращения расходов было бы недостаточно для накопления такого большого количества незадействованного капитала и для столь значительных расходов на работы общественного назначения. Поэтому Сикстус прибегнул к новому налогообложению, новым займам и созданию новых офисов для продажи. Венецианский посланник упоминает восемнадцать налогов, взимаемых в его правление; сумму в 600 000 крон, поступившую в казну Камеры от продажи мест; и обширные займы, или монти, которые в основном финансировались генуэзцами.^[72] Теперь, когда папство отказалось от большей части своих доходов, получаемых из Европы, ему было необходимо жить за счет доходов Папской области. Сложные финансовые приемы, на которые опирались сменявшие друг друга папы для развития своей казны, были

подробно объяснены Ранке.[73] Новая система кумовства, которая теперь начала преобладать, оказала им материальную помощь в их усилиях по поддержанию папского достоинства за счет ресурсов их королевства. Со времен Тридентского собора папа не мог признавать своих сыновей, и мало кто, если вообще кто-либо, из пап после Пия IV. признавал сыновей.[74]

Тенденции Церкви также сделали несовместимым с позицией Папы то, что ближайшие родственники понтифика должны быть возведены, как и прежде, в достоинство независимых князей. Обычай состоял в том, чтобы назначить кардиналом одного племянника с таким богатством, полученным от должности, которое должно было позволить ему приносить пользу папской семье в целом. Другой племянник обычно получал дворянство, наделялся капиталом в государственных фондах для покупки земель и обеспечивался прибыльными местами в светской администрации. Затем он женился на представительнице богатой римской семьи и основал один из аристократических домов Римского государства. У нас есть некоторые подробности, касающиеся доходов папских племянников в этот период, которые могут представлять интерес.[75] Обоснованно полагали, что доходы Карло Борromeо составляли 50 000 скуди. Все состояние Джакомо Буонкомпаньо оценивалось в 120 000 скудо; в то время как два кардинальных племянника Григория XIII. имели каждый около 10 000 скудо в год. В ту же эпоху Паоло Джордано Орсини, герцог Браччано, имел доход около 25 000 долларов, его поместье стоило 60 000 долларов, но было сильно обременено. Эти цифры взяты из Отчетов венецианских посланников. Если мы можем считать их точными, то при сравнении их с деталями, приведенными Ранке, окажется, что преемники Грегори относились к своим родственникам с большей щедростью.[76] Сикст V. обогатил кардинала Монтальто церковным доходом в 100 000 скуди. Климент VIII в 1599 году пожаловал двум племянникам — одному кардиналу, другому мирянину — доходы в размере около 60 000 долларов каждому. Подсчитано, что в общей сложности он скопил для своей семьи круглую сумму в 1 000 000 скуди. Считалось, что Павел V. передал своим родственникам Боргезе почти 700 000 скуди наличными, 24 600 скуди денежными средствами и 268 000 скуди на содержание офисов.[77] Предполагаемый доход кардинала Людовико Людовизи, племянника Григория XV, составлял 200 000 скуди; а семья Людовизи получила 800 000 в *луоги ди монте* или фондах. Говорили, что три племянника Урбана VIII, братья Барберини, совместно получали доход в полмиллиона скуди, а их общая прибыль от понтификата достигла огромной суммы в 105 000 000. Это семьи, вышедшие из безвестности или посредственного положения, чьи дворцы и виллы украшают Рим, и которые сейчас, несмотря на столь недавнее происхождение, стоят в одном ряду с аристократией Европы.

Сикст V. умер в 1590 году. Для целей этой книги было бы излишним следить за историей его преемников. Перемены в Церкви, начавшиеся в правление Павла III. был завершен в его понтификат. Около полувека, охватывающего семь сроков пребывания на Святой кафедре, было достаточно для развития новой фазы папства как абсолютного владычества, представляющего современный европейский принцип абсолютизма, как признанного главы католического христианского мира, так и мелкой итальянской державы.

ГЛАВА III

ИНКВИЗИЦИЯ И ИНДЕКС

Иной дух в Святой Канцелярии и Обществе Иисуса — Оба необходимы Контрреформации— Ересь в ранней Церкви—Первые истоки инквизиции в 1203 году—S. Доминик—Святая

инквизиция становится Доминиканская учреждение—признание со стороны Империи—ранней организация—испанская инквизиция—основан в 1484—как он отличался от ранее Апостолических инквизиторов—евреи, мавры, Новые христиане—организация и истории Святого престола в Испании—Торквемада и его преемников—испанская инквизиция никогда не внесен в Италии—как римская инквизиция организовала Караффа отличалась от нее—*авто-да-Фе* в Рим—объявление подозревали лютеране—Калабрии вальденсы—протестантов в Локарно и Венеции—отступление на Венецианском Святая инквизиция—гонения на свободомыслие в литературе—индекс *Librorum Prohibitorum*—санкцию дал ему совет Трент—Римской Конгрегации индекса—Окончательная форма цензуры книг под Климент VIII.—Анализ его положений—запрет еретических книг—коррекция текстов—очищение кишечника и кастрация—следственной и епископской лицензий—работы в системе цензуры, в Италии—его долгой задержки—неприязнь к звуку обучения—невежество цензоров—взаимодействие с учеными в своей работе—терроризм книготорговцев—Ватикан схема для восстановления христианских эрудиция—разочарование от произвола индекс—непорядочность Ватикан ученых—исследования Библии считаться недействительной на создание краткого Тридентского указ о Вульгате—снижение обучения в вузах—Жалкое рабство профессоров—греков погибает из—Muretus и Manutius в Риме—индекса и его лечение политической строительство—Макиавелли—*коэффициент состояния*—поощрение литературы на папский абсолютизм—Сарпи—это отношение относительного безразличия Рима книг непристойного или безнравственного тенденция—Банделло и Боккаччо—Папская попытки контролировать сношения итальянцев с еретиками.

Следуя плану этой книги, цель которой - показать, как дух католического возрождения проник во все сферы интеллектуальной деятельности в Италии, теперь необходимо рассмотреть двух агентов, оба испанского происхождения, на помощь которых Церковь полагалась в своем крестовом походе против свободы мысли, слова и действия. Это были инквизиция и Общество Иисуса. Первая действовала путем искоренения и насильственных репрессий; другая - путем умственного ослабления и морального разложения. Тот, кто использовал огонь, пытки, тюремное заключение, конфискацию товаров, запрет на обучение, уничтожение или выхолащивание книг. Другой использовал тонкие средства, чтобы заполнить образовавшийся таким образом вакуум ложной эрудицией, софизмами, казуистическими мерзостями и ложными доктринами, выгодными папскому абсолютизму. Противоположные по характеру и методам, один свирепый и непреклонный, другой слащавый и податливый, эти два злых ангела Рима внесли почти равный вклад в триумф католицизма.

В ранние века существования Церкви определение ереси было передано епископальной власти. Но выявление еретиков и определение их наказания оставались в руках светских магистратов. В конце XII века широкое распространение альбигойской неортодоксальности по Лангедоку и Северной Италии встревожило глав христианского мира и дало папству хороший предлог для расширения своих прерогатив. Иннокентий III в 1203 году уполномочил двух французских цистерцианцев, Пьера де Кастельно и Рауля, проповедовать против еретиков Прованса. В следующем году он утвердил это поручение Буллой, в которой порицал небрежность и холодность епископов, назначил аббата Сито папским делегатом по делам ереси и наделил его полномочиями судить и наказывать неверующих. Это был первый зародыш Священной канцелярии как отдельного Трибунала. Чтобы понять, с какой легкостью папа учредил столь аномальный институт, мы должны иметь в виду сильный ужас, который внушала ересь в средние века. Будучи явным посягательством папства на епископскую юрисдикцию и

прерогативы, инквизиция поначалу встретила некоторое противодействие со стороны епископов. Люди, для преследования которых он был создан и за чей счет осуществлял свою работу, подняли восстание; первые годы его существования прославились убийством одного из его основателей, Пьера де Кастельно. Он был канонизирован и стал первым святым инквизиции. Двое других святых Петра удостоились подобной чести благодаря своему рвению к католической вере: Петр Веронский, обычно называемый Петром Мучеником, итальянский святой доминиканского ордена; и Петр Арбуэс, испанский святой, скрепивший своей кровью хартию Святой канцелярии в Арагоне.

Несмотря на противодействие, папский институт пустил корни и процветал. Филипп Август откликнулся на призывы Иннокентия, и начался крестовый поход против альбигойцев, в ходе которого Симон де Монфор завоевал свою зловещую известность. Во время этих кровопролитных войн инквизиция превратилась в силу огромной экспансивной энергии. Материальную помощь этому делу оказал испанский монах ордена августинцев, который поселился в Провансе на обратном пути из Рима в 1206 году. Домениго де Гусман, известный во всемирной истории как Святой Доминик, организовал новое ополчение для службы православной церкви между 1215 и 1219 годами. Его орден, называемый Орденом проповедников, изначально был создан для подавления ереси и утверждения веры путем распространения католической доктрины и поддержания символа веры в его чистоте. Она состояла из трех секций: монахов-проповедников; монахинь, живущих в монастырском уединении; и мирян, называемых Третьим орденом покаяния или Ополчением Христа, которые в последующие годы были объединены с конгрегацией Святого Петра Мученика и соответствовали фамильярам инквизиции. Поскольку доминиканцы были основаны в пылу крестового похода против ереси суровым испанцем, который использовал свою энергию для преследования неверующих, они с самого начала заняли воинственную и инквизиторскую позицию. И все же не совсем точно представлять самого Святого Доминика первым Великим инквизитором. Папство с осторожностью приступило к созданию трибунала, зависящего от Святого Престола и независимого от епископов. В Лангедок были отправлены папские легаты с полномочными полномочиями, и были изданы указы против еретиков, в которых инквизиция скорее подразумевалась, чем упоминалась прямо; я также не могу найти, чтобы святой Доминик, хотя и оставался душой нового института до своей смерти в 1221 году, получил титул инквизитора.

Несмотря на эту расплывчатость, можно сказать, что Святая канцелярия была основана святым Домиником; и вскоре стало очевидно, что созданному им ордену суждено было монополизировать свои функции. Император Фридрих II. на своей коронации в 1221 году заявил о своей готовности поддержать отдельный апостольский трибунал для подавления ереси. Он санкционировал смертную казнь на костре для упрямых еретиков и бессрочное заключение для кающихся — формы наказания, которые стали стереотипными в деятельности Святой Канцелярии.[78] Трибунал, ныне признанный доминиканским учреждением, получил свои полномочия от папы Римского. Епископам было позволено заседать вместе с инквизиторами, но только в таком подчиненном качестве, которое оставляло им лишь голый титул власти.[79] Светскую магистратуру представлял ассессор, который, будучи назначенным инквизитором, становился его рабским инструментом. Судебные расходы по преследованию, наказанию и заключению в тюрьму еретиков, а также содержание инквизиторов и их охраны ложились на коммуны, которые они посещали. Такова была организация, которую папам с помощью святого Доминика и воспользовавшись фанатическими страстями, вызванными провансальскими

войнами, удалось создать для собственного возвеличивания. Странно думать, что его ратификация высшей светской властью была получена от императора, который умер в раздоре, отлученный от церкви и преследуемый как архиеретик священниками, которых он поддерживал.

Эта Апостольская инквизиция была немедленно введена в Ломбардии, Романье и Пограничных районах Тревизо. Чрезвычайная строгость его процедур, поборы монахов и яростное сопротивление, оказываемое коммунами, привели к некоторому ослаблению его первоначального устройства. Епископам пришлось уступить больше полномочий, и право инквизиторов взимать налоги с народа было изменено. Тем не менее, он сохранил свою истинную форму папского органа, вытеснив епископские прерогативы и взяв верх над светскими магистратами, которые были обязаны выполнять его распоряжения. Как таковой он был принят в Тоскану и основан в Арагоне. Венеция получила его в 1289 году с определенными оговорками, которые поставили его деятельность под контроль дожа и Совета. В Лангедоке, стране своего зарождения, она оставалась укоренившейся в Тулузе и Каркассоне; но Инквизиция не распространила свою власть на центральную и северную Францию.^[80] В Париже его функции выполняла Сорбонна. Не получила она опоры и в Англии, хотя статут "De Haeretico Comburendo", принятый в 1401 году по просьбе высшего духовенства, санкционировал принципы, на которых она существовала.

Широкое и готовое признание столь ужасного механизма угнетения позволяет нам оценить глубокий ужас, который внушала ересь в средние века.^[81] В целом инквизиция выполнила работу, для которой она была учреждена. Эти распространяющиеся секты, известные как вальденсы, альбигойцы, катары и патерины, которых было поручено искоренить, канули в безвестность в четырнадцатом веке; и в период Возрождения у инквизиции было мало возможностей для проявления энергии в Италии. Однако, хотя она и находилась в состоянии покоя, она ни в коем случае не исчезла; и духу, создавшему ее, нужны были только внешние причины и обстоятельства, чтобы снова привести ее в мощное действие. Между тем папы на протяжении всего Возрождения использовали обвинение в ереси, которое никогда не теряло своего позорного клейма, для преследования своих светских амбиций. Как указал Сарпи, было мало итальянских князей, с которыми они вступали в политическое столкновение, которые не становились объектом подобного обвинения.

Возрождение Священной канцелярии на новой и гораздо более смертоносной основе произошло в 1484 году. Мы видели, что до сих пор существовало два типа инквизиции по борьбе с ересью. Первый, который оставался в силе до 1203 года, можно назвать епископальным. Вторым был Апостольский, или доминиканский: он передал эту юрисдикцию от епископов папству, которое использовало орден Святого Доминика для особого служения трибуналу, учрежденному императорскими указами Фридриха II. Третий язык не заслуживает иного названия, кроме испанского, хотя после того, как он сформировался в Испании, он был перенесен в Португалию, применялся во всех испанских и португальских колониях и с некоторыми изменениями был передан Италии и Нидерландам.^[82] Как второй, так и третий типы инквизиции в отношении ереси были испанскими изобретениями, запатентованными римскими понтификами и монополизированными доминиканским орденом. Но третья и последняя форма Святой Канцелярии в Испании отличалась освобождением от папского и королевского контроля и особой организацией, которая сделала ее самым грозным из безответственных механизмов в анналах религиозных институтов.

Преступления, которые были признаны второй, или доминиканской, инквизицией, обозначались общим названием "ересь". Еретики были либо явными приверженцами какого-либо неортодоксального культа или доктрины, либо их подозревали. Среди подозреваемых были ведьмы, колдуны и богохульники, призывавшие на помощь дьявола; католики, воздерживающиеся от исповеди и отпущения грехов; укрыватели признанных еретиков; законные защитники дела еретиков; священники, которые хоронили еретиков по-христиански; судьи, которые проявляли равнодушие к преследованию еретиков; трупы мертвых еретиков и книги, которые могли быть обвинены в еретических мнениях. Все ранги в социальной иерархии, за исключением папы римского, его легатов и нунциев, а также епископов, подлежали этой инквизиции. Инквизиторы могли быть привлечены к ответственности и осуждены только равными себе. Для приведения в действие механизма тюремного заключения, пыток и окончательного приговора было необходимо, чтобы полномочия инквизитора были одобрены сувереном и чтобы его процедура была признана епископом. Эти ограничения инквизиторской власти защищали корону и епископат в юридическом смысле. Но поскольку и корона, и епископство были единодушны в цели, для которой папство учредило трибунал, инквизитор практически не испытывал препятствий в выполнении своих функций. Снабженный королевскими или княжескими грамотами, он путешествовал из города в город в сопровождении своей охраны и нотариусов, покрывая текущие расходы за счет провинций и городов, через которые он проезжал. Там, где он разбил свой лагерь, он созвал местных судей, привел их к присяге и получил заверения в их готовности привести в исполнение любые приговоры, которые он может произнести. Вокруг него собрались шпионы и осведомители, поклявшиеся хранить тайну и гарантированные обещаниями государственной защиты. Суд открылся; свидетели были допрошены; обвиняемые были оправданы или осуждены. Затем выносился приговор, на который епископ или его представитель, часто инквизитор, давал официальную санкцию. Наконец, еретик передавался светским властям для свершения правосудия. Чрезвычайные расходы трибунала были покрыты за счет конфискации имущества, определенная часть была выплачена округу, в котором произошло преступление, остальное было зарезервировано для содержания Священной канцелярии.

Таков, грубо говоря, был метод инквизиции до 1484 года; и он существенно не отличался в Италии и Испании. Кастилия до сих пор была свободна от чумы. Но условия этого королевства предоставили хороший повод для ее введения в названную мной дату. В средние века евреи Кастилии приобрели огромное богатство и влияние. Лишь немногие семьи ощущали бремя своих облигаций и закладных. Религиозный фанатизм, социальная зависть и денежные затруднения привели христианское население в ярость; и уже в 1391 году более 5000 евреев были убиты в ходе одного народного восстания. Евреи в страхе приняли христианство. Говорят, что в пятнадцатом веке население насчитывало около миллиона новообращенных, которых называли Новыми христианами, или, в качестве презрения, марранос: слово, которое, вероятно, происходит от еврейского Maranatha. Эти обращенные евреи, благодаря своим способностям и богатству, пробрались на высокие государственные посты, получили аристократические титулы и основали благородные дома. Их дочери были выданы замуж с большим приданым в лучшие испанские семьи, а их младшие сыновья стремились к почестям Церкви. Кастильское общество было пронизано евреями, многие из которых, несомненно, соответствовали христианству только внешне. Между тем значительная часть еврейской расы оставалась верной своим старым традициям; и выросло смешанное потомство, которое едва ли знало, христианин оно или еврей, и имело возможность присоединиться к любой из сторон.

Теперь открылась благодатная почва для инквизиторской энергии. Ортодоксальный доминиканец увидел, что стадо Христово осквернено. Не без причины ревностные католики опасались, что церковь в Кастилии пострадает от этого смешения еврейской породы с испанской. Но у них был пламенный католический энтузиазм, на который можно было положиться в основной массе нации. А в короне знали, что существуют страсти страха и алчности, которые можно использовать с подавляющим эффектом. Достаточно было указать Фердинанду на то, что преследование новых христиан наполнит его казну золотом, вымогаемым у подозреваемых в неверии. Среди обширных земель и дорогих товаров этих несовершенных обращенных в веру было не просто легендарное Эльдорадо. Достаточно было настаивать на опасности для государства, если бы элементу, столь плохо ассимилированному нацией, было позволено бесконтрольно расти. В то же время папство было готово помочь им в их начинании. Сикст V, один из худших понтификов, восседал тогда на троне Святого Петра. Он с готовностью понял, что значительная часть добычи может быть косвенно переведена в его казну; и он знал, что любое учреждение инквизиции на энергичной основе укрепит папство в его борьбе с национальными и епископскими прерогативами. Доминиканцам, со своей стороны, вряд ли можно приписать чистое рвение к вере. У них были личные интересы, которым они должны были служить путем духовного возвеличивания, возвышения своего ордена и осуществления безграничного господства.

Это был сицилийский инквизитор Филипп Барберис, который предложил католику Фердинанду преимущество, которое он мог бы получить, распространив Святую Канцелярию на Кастилию. Фердинанд подтвердил свою готовность; и Сикст IV одобрил проект в 1478 году. Но он встретил противодействие со стороны более мягкой по натуре Изабеллы. Сначала она отказалась санкционировать внедрение столь зловещей машины в свои наследственные владения. Теперь духовенство ухитрилось поднять народную агитацию против евреев, возродив старую клевету о невероятных преступлениях и обвинив их в измене. Тогда Изабелла уступила, и в 1481 году в Севилье была основана Святая канцелярия. Оно начало свою работу с опубликования всеобъемлющего эдикта против всех новых христиан, подозреваемых в иудаизации, преступление было составлено таким образом, чтобы прикрыть самое невинное соблюдение национальных обычаев. Отдых от работы в субботу; совершение омовений в установленное время; отказ от употребления свинины или кровавых пудингов; и воздержание от вина - этого было достаточно, чтобы оправдать обвинения в ереси. Мужчины, которые присоединились к католическому общению после того, как у них сформировались привычки на всю жизнь, таким образом, оказались под угрозой смерти из-за соблюдения простых санитарных правил.^[83]

После опубликования этого указа произошел массовый исход евреев во владения независимых вассалов короны — герцога Медина-Сидония, маркиза Кадиса и графа Аркос. Все эмигранты были *ipso facto* объявлены Святой канцелярией еретиками. За первый год после своего основания Севилья стала свидетелем сожжения заживо 298 человек и 79 приговоренных к пожизненному заключению. Большая квадратная каменная сцена, называемая Кемадеро, была возведена для казни тех множества людей, которым было суждено умереть через повешение или пламя. В том же году 2000 человек были сожжены и 17 000 приговорены к публичному покаянию, в то время как еще большее число было сожжено в виде чучел в других частях королевства.

Оценивая важность этих наказаний, мы должны помнить, что они подразумевали конфискацию имущества. Таким образом, целые семьи становились сиротами и были обречены на нищету.

Публичное покаяние влекло за собой социальный позор, потерю гражданских прав и почестей, невыносимые условия церковного надзора и крупные денежные штрафы. Кающиеся, которые были примирены, возвращались в общество в гораздо более униженном состоянии, чем осужденные, освобожденные под подписку о невыезде. Клеймо, навечно наложенное на потомство осужденных, чьи имена были явно выбиты на стенах церковью как враги Христа и государства.

Неудивительно, что Новые христиане, какими бы богатыми они ни были и в союзе с некоторыми представителями лучшей крови Испании, попытались предотвратить надвигающуюся на них бурю, обратившись к Риму. Лично или через прокураторов они направляли свои жалобы в Папскую курию, умоляя о частном примирении с Церковью, особом освобождении от юрисдикции Святой Канцелярии, реабилитации после потери гражданских прав и почестей, освобождении от унижительных епитимий и передаче дел, рассмотренных инквизицией, менее предвзятым судам. Целью этих петиций было избежать вечного позора, восстановить социальный статус и добиться беспристрастного слушания сомнительных дел. Папская курия предвидела прибыль, которую можно было извлечь из таких апелляций. Сикст IV. был либеральнее в вопросах индульгенций, отпущения грехов и изъятий для всех желающих, которые платили в основном. Но когда его поклонники вернулись в Испанию, они обнаружили, что их дорого купленные пергаменты представляют не большую ценность, чем макулатура. Святая канцелярия высмеяла папские буллы о привилегиях, а папа был слишком безразличен, чтобы пользоваться такой властью, какой он мог бы обладать.

Тем временем инквизиция быстро набирала форму. В 1483 году Томас Торквемада был назначен генеральным инквизитором Кастилии и Арагона. При его правлении был создан Верховный совет, которым он руководил пожизненно. Корона направила в эту коллегия трех ассессоров, а инквизиторы были усилены в своих функциях советом юристов. Севилья, Кордова, Хаэн, Толедо стали четырьмя подчиненными центрами Святой Канцелярии, каждый со своим собственным трибуналом и собственным правом совершать *самовольные действия*. Всем доминиканцам было разослано поручение, предписывающее им выполнять свою работу в каждой епархии.

В 1484 году был проведен Генеральный совет, и конституция инквизиции была утверждена статьями. В этих статьях, по-видимому, учитывались четыре основных момента. Первый касался системы конфискации, штрафов, гражданской нетрудоспособности, потери должности, имущества, почестей, прав, наследования, которые составляли часть пенитенциарной процедуры и с помощью которых корона и Святая канцелярия получали денежную выгоду. Второе обеспечило секретность действий трибунала, в результате чего была открыта дверь для разбирательства, а обвиняемые оказались неспособными к рациональной защите. Третий разработал судебный метод таким образом, чтобы не оставлять лазейки для побега даже для тех, кто изъявил желание обратиться в христианство, разрешив применение пыток, лишив обвиняемых возможности самостоятельно выбирать защитника и исключив епископов из активного участия в вынесении приговора. Четвертый увеличил число обвинений, по которым предполагаемые еретики даже после их смерти могли рассматриваться как нераскаившиеся или рецидивирующие, чтобы увеличить число жертв и увеличить добычу.

Двумя наиболее грозными чертами инквизиции в том виде, в каком она была создана таким образом, были исключение епископов из состава ее трибунала и секретность ее процедуры. Обвиняемый был передан суду, в котором не было ни милосердия, ни общечеловеческих

симпатий, ни административной заинтересованности в населении. Он ничего не знал о своих обвинителях, и когда он умер или исчез из поля зрения, ни одна запись о его деле не пережила его.

Инквизиция опиралась на двойную основу - церковный фанатизм и защищаемое заблуждение. Суд был *изначально* враждебен обвиняемому; и обвиняемый никогда не мог надеяться встретиться лицом к лицу с детективами, на основании показаний которых ему было предъявлено обвинение. Таким образом, жизни и репутации зависели от профессиональных осведомителей, личных врагов, злонамеренных клеветников. Донос иногда был анонимным, иногда подписанным именами двух свидетелей, подтверждающих его слова. Эти свидетели были допрошены инквизиторами под строгим грифом секретности, которые составили форму обвинения, которую они представили теологам, называемым Квалификаторами. Квалификаторы не были проинформированы об именах обвиняемого, доносчика или свидетелей. В их обязанности входило квалифицировать дело о ереси как легкое, тяжелое или насильственное. Поместив его в одну из этих категорий, они вернули его инквизиторам, которые теперь арестовали обвиняемого и бросили его в тайные тюрьмы Святой Канцелярии. По прошествии некоторого времени он был вызван на предварительный допрос. После того как его сначала предупредили говорить правду, он должен был зачитать Патерностер, Кредо, Десять заповедей и что-то вроде катехизиса. Его родословная также была исследована в расчете на то, что какие-то следы еврейского или мавританского происхождения могут послужить для его обвинения. Если ему не удавалось повторить христианские шибболеты, или если обнаруживалось, что у него неверующие предки, уже существовал веский повод для продолжения. Наконец, он был допрошен по нескольким пунктам обвинения, изложенным в первом изложении и показаниях свидетелей. Если в этот момент возникала необходимость, его подвергали пыткам снова и снова.^[84] Он никогда не слышал имен своих обвинителей, и ему не был представлен полный список выдвинутых против него обвинений в письменной форме. На этом этапе его обычно заключали под стражу, а судебное разбирательство намеренно затягивалось с целью сокрушить его дух и привести к полной покорности. Для своей защиты он мог выбрать одного адвоката, но только из списка, предоставленного его судьями; и этот адвокат ни в коем случае не видел оригиналов документов об импичменте. При таком одностороннем методе судебного разбирательства редко случалось, чтобы обвиняемый был полностью оправдан. Если он избегал сожжения или вечного заключения, его почти наверняка подвергали публичной церемонии покаяния с сопутствующим позором, штрафами, гражданскими ограничениями и будущей дисциплиной. Приговор осужденным не выносился до тех пор, пока они не появлялись на месте наказания, одетые в Сан-Бенито. Этот костюм представлял собой нечто вроде мешка, пародирующего монашеское одеяние, сшитое из грубой желтой материи и украшенное крестами, языками пламени и дьяволами ярко-красного цвета. Они различались в деталях в зависимости от назначения жертвы: для одних орнаменты символизировали вечный ад, а для других - более мягкий огонь чистилища. Если бы приговоренный был достаточно сведущ в адской геральдике Святой Канцелярии, он мог бы прочитать о своем приговоре еще до того, как достиг платформы *авто*. Там он услышал, приговорен ли он к смягчению наказания — другими словами, к сожжению от рук палача - или к примирению посредством покаяния. В последний момент он мог путем признания *in extremis* добиться замены смертного приговора пожизненным заключением или быть задушенным перед сожжением. Однако отпавший еретик, то есть тот, кто после примирения в очередной раз отступил, никогда не освобождался от наказания в виде сожжения. Чтобы сделать эти массовые убийства людей более ужасными, зрелище было

дополнено процессиями с эксгумированными трупами и изображениями еретиков. Искусственных кукол и разложившиеся тела с оскаленными губами и заплесневелыми лбами тащили к огромному костру бок о бок с живыми мужчинами, женщинами и детьми. Все они были похожи друг на друга — *фанточчини*, скелеты и квик фолк — окружены одним и тем же гротескно-жутким Сан-Бенито, с одинаковыми отвратительными желтыми митрами на картонных, изъеденных червями или трепещущих лбах. Процессия представляла собой остроумно живописный диссонанс уродливых форм, художественно отвратительный диссонанс красных и желтых оттенков, когда она дефилировала под адскую музыку рычащих псалмов, криков и стонов под палящим испанским солнцем.

Испанцы — таково варварство латинизированной иберийской природы - восхищались этими зрелищами, как они восхищались и восхищаются боями быков. Массовые убийства еретиков были самым изысканным зрелищем на королевских крестинах и свадьбах.

В Севилье Кемадеро был украшен четырьмя колоссальными статуями пророков, к которым были привязаны некоторые из приговоренных, чтобы они могли сгореть заживо в пламени, возникшем в результате человеческих жертвоприношений между ними.

Осенью 1484 года инквизиция была введена в Арагоне, и Сарагоса стала ее штаб-квартирой в этом государстве. Хотя арагонцы привыкли к этому институту в его более ранней и мягкой форме, они относились к новой Священной канцелярии с неподдельным ужасом. В ту эпоху Марраны насчитывали среди своих членов министра внутренних дел, главного казначея, протонотария и вице-канцлера королевства; и они были связаны брачными узами с самой чистой аристократией. Поэтому нет ничего удивительного в том, что был составлен заговор с целью убийства главного инквизитора Питера Арбуэса. Несмотря на кольчугу и железную тюбетейку, которые он носил под монашеским одеянием, Арбуз был убит однажды вечером во время молитвы в церкви. Но восстание, несмотря на это убийство, вспыхнуло, как плохо заряженный пистолет, на сковороде. Зависть между старыми и новыми христианами препятствовала каким-либо совместным действиям, и инквизиция осуществила кровавую месть всем, кого это касалось. Он даже поднял руку на дона Джеймса Наваррского, инфанта из Туделы.

Испанская инквизиция теперь имела прочные основания. Направляемая Торквемадой, она начала посягать на корону, оскорблять епископат, бросать вызов папству, перемалывать народ и возмущать своей наглостью аристократию. Алчность Фердинанда перешла все границы, создав церковную власть, опасную для наилучших интересов королевства, но которая очаровывала фанатично набожный народ и иго которой невозможно было сбросить. Святая канцелярия с каждым годом росла в гордыне, притязаниях и требованиях. Он вынес на рассмотрение своего трибунала такие преступления, как ростовщичество, двоеженство, богохульная брань и противоестественный порок, которые по праву принадлежали светским судам. Она обезлюдела Испанию путем истребления и изгнания по меньшей мере трех миллионов трудолюбивых подданных в течение первых 139 лет своего существования. Он атаковал принцев крови,[85] архиепископы, отцы Тридентского собора. Он наполнил шпионами каждый город королевства, монастыри монахов и дворцы знати. Фамильяры, или братья-миряне, преданные его служению, жили за счет общин и разлагали общество преступлениями грабежа, похоти и насилия.[86] Невежественные и кровожадные монахи составляли провинциальные трибуналы, которые, подобно ужасному Лусеро эль Тенеброзо в Кордове,

парализовали целые провинции настоящим царством террора.[87] Ненавидимые и почитаемые, их офицеры пронесли по королевству под видом могущественных *кондотьеров*. Великий инквизитор содержал телохранителей из пятидесяти конных фамильяров и двухсот пехотинцев; его подчиненным разрешалось иметь по десять всадников и пятьдесят лучников каждому. Там, где появлялись эти черные стражники, открывались городские ворота; магистраты присягали на верность хозяевам более могущественным, чем король; ресурсы процветающих районов предоставлялись в их распоряжение. Их произвольные действия оставались неоспоримыми, их таинственные приговоры необратимыми. Окутанные тайной, неподвластные никакой юрисдикции, кроме их собственной, они упивались вседозволенностью безответственного господства. Испания постепенно подпадала под обаяние их мрачного очарования. Храбрый, хотя и жестокий народ пил бред из чаши с ядом этих мерзких знахарей, чье поклонение Молоху вызвало бы отвращение у каннибалов.

Торквемада был гением зла, который создал это отвратительное орудие человеческих преступлений и безумия и руководил им. За восемнадцать лет своего правления, считая с 1480 по 1498 год, он принес в жертву, по подсчетам Льоренте, более 114 000 жертв, из которых 10 220 были сожжены заживо, 6860 сожжены в виде чучела и 97 000 приговорены к пожизненному заключению или публичному покаянию.[88] Именно он в 1492 году вынудил Фердинанда изгнать евреев из своих владений. Они предложили 30 000 дукатов за войну против Гранады и пообещали остаться в Испании с тяжелыми социальными ограничениями, если только их избавят от этого акта национального истребления. Тогда Торквемада предстал перед королем и, высоко подняв свое распятие, воскликнул: "Иуда продал Христа за тридцать сребреников. Смотрите, если вы поступите подобным образом!" Указ об изгнании был издан в конце марта. До конца июля всем евреям было приказано уехать, не взяв с собой ни золота, ни серебра. Они отдавали свои земли, дома и имущество практически за бесценок и тысячами отправлялись умирать на берегах Африки и Италии. Двенадцать человек, которых нашли спрятавшимися в Малаге в августе, были приговорены к тому, чтобы их до смерти проткнули заостренными тростинками.[89]

За исходом евреев в 1502 году последовал аналогичный исход мавров из Кастилии, а в 1524 году - исход мавров из Арагона. Подсчитать потери богатства и населения, нанесенные Испании этими безумными эдиктами, было бы невозможно. Мы можем задаться вопросом, не вспоминали ли последователи Кортеса, когда они ступали по теокаллису Мексики и с отвращением смотрели на окровавленные эльфийские локоны ацтекских жрецов, о Торквемаде, которого они оставили дома. Его жестокость стала настолько невыносимой, что даже Александр VI. пришел в ужас. В 1494 году Борджиа назначил четырех заседателей с равными полномочиями, чтобы обуздать жажду крови фанатика.

После Торквемады Диего Деза правил в качестве второго генерального инквизитора с 1498 по 1507 год. За эти годы, согласно тем же подсчетам, 2592 человека были сожжены заживо, 896 сожженных чучел, 34 952 приговоренных к тюремному заключению или публичному покаянию.[90] Кардинал Хименес де Сиснерос следовал между 1507 и 1517 годами. Жертвами этого десятилетия стали 3564 сожженных заживо, 1232 сожженных чучела, 48 059 приговоренных к тюремному заключению или публичному покаянию.[91] Адриан, епископ Тортозы, наставник Карла V., а затем папа римский, был генеральным инквизитором между 1516 и 1525 годами. Кастилия, Арагон и Каталония в ту эпоху одновременно потребовали от своего юного монарха реформы Священной канцелярии. Но Карл отказался, и история правления

Адриана насчитывает 1620 сожженных заживо, 560 сожженных чучел, 21 845 осужденных на тюремное заключение или публичное покаяние.^[92] Общее число за сорок три года, с 1481 по 1525 год, составило 234 526 человек, включая все описания осужденных еретиков.^[93] Эти цифры по необходимости расплывчаты, поскольку Святая канцелярия оставила лишь скудные отчеты о своей работе. Огромное количество дел, переданных инквизиторам, сделало их метод судопроизводства почти таким же кратким, как у Фукье Тинвиля, в то время как политика побудила их предать память о своих жертвах забвению.^[94]

Иногда, читая историю Святой Канцелярии в Испании, мы испытываем искушение представить, что все это - всего лишь мрачный нездоровый кошмар или басня о злобной клевете. Однако то, что это не так, подтверждается ликующей надписью на дворце Святой Канцелярии в Севилье, в которой рассказывается о триумфах Торквемады. В последние годы и сама земля раскрыла некоторые секреты инквизиции. "В высшей степени любопытное открытие, - пишет лорд Малмсбери в своих мемуарах,^[95] "было сделано в Мадриде. Как раз в то время, когда в кортесах обсуждался вопрос о свободе вероисповедания, Серрано приказал разровнять участок земли, чтобы строить на нем; и рабочие наткнулись на большое количество человеческих костей, черепов, ошметков почерневшей плоти, обрывков цепей и косичек волос. Затем вспомнили, что в былые дни на этом месте проходили *авто да фе*. Толпы людей устремились к месту, и расследование было продолжено. Они находили слой за слоем человеческие останки, свидетельствующие о том, что сотни людей были бесчеловечно принесены в жертву. Волнение и возмущение, которые это вызвало в народе, были огромными, и партия за свободу вероисповедания воспользовалась этим, и законопроект по этому вопросу был принят огромным большинством голосов." Пусть современная Испания помнит, что подобная Асельдама спрятана в окрестностях каждого из ее главных городов!

Я подробно остановился на испанской инквизиции по двум причинам. Во-первых, это поразительно иллюстрирует характер людей, которые теперь взяли верх в Италии. Во-вторых, его успех побудил Павла III, действуя по совету Джованни. Паоло Караффа, реконструировать римский офис аналогичного типа в 1542 году. Можно сразу сказать, что настоящая испанская инквизиция так и не была введена в Италии.^[96] Такой институт, претендующий на независимую юрисдикцию и выставляющий напоказ свои жестокости при свете дня, не соответствовал бы политике папы. Как светские и духовные автократы, папы не могли допустить создания трибунала, верховной властью в котором они не были. В их интересах было руководствоваться своей материальной выгодой, а не потворствовать безумному фанатизму; подавлять свободу мысли осторожным наблюдением, а не публичным терроризмом и открытыми актами жестокости. Более того, итальянский темперамент был более гуманным, чем испанский; утонченная культура Возрождения также не оставила следов в нации. Более того, не ощущалось необходимости в столь драконовском учреждении. Католицизму в Италии не приходилось бороться с евреями и маврами, маррано и мориско. Оно действительно было встревожено распространением лютеранских взглядов. Караффа пожаловался Павлу III. что "вся Италия заражена лютеранской ересью, которую приняли не только государственные деятели, но и многие священнослужители".^[97] Пий V. был настолько охвачен паникой из-за распространения ереси в Фаэнце, что всерьез подумывал о разрушении города и рассеянии его жителей.^[98] Однако после нескольких лет активных преследований эта опасность оказалась нереальной. Реформация не пустила в Италии столь глубоких и широких корней, чтобы ее нельзя было искоренить. Поэтому, когда испанские вице-короли попытались учредить свою национальную инквизицию в Неаполе и Милане, мятежный народ получил защиту и поддержку от папства; и

Святая канцелярия, преобразованная в Риме, стала гораздо менее ужасным орудием угнетения, чем севильская.

Однако это было достаточно серьезно. "В Риме, - пишет местный житель в 1568 году, - некоторых ежедневно сжигают, вешают или обезглавливают; тюрьмы и места заключения заполнены, и они вынуждены строить новые".^[99] Это общее утверждение может быть проверено выдержками из депеш венецианских послов в Риме, которые, хотя и не являются непрерывными и нельзя предположить, что они дают исчерпывающий список жертв инквизиции, позволяют нам с некоторой степенью точности судить о частоте казней.^[100]

27 сентября 1567 года в церкви Святой Марии сопри Минервы состоялось заседание Священной канцелярии. Семнадцать еретиков были осуждены. Пятнадцать из них были приговорены к бессрочному заключению, пожизненным галерам, штрафам или временному тюремному заключению, в зависимости от характера их правонарушений. Двое были приговорены к высшей мере наказания, а именно Карнесекки и монах из Чивидале-ди-Беллуно. Они были обезглавлены и сожжены на мосту С. Анджело 4 октября. 28 мая 1569 года в Минерве состоялся Акт инквизиции, на котором присутствовали двадцать кардиналов. Четверо нераскаявшихся еретиков были приговорены к сожжению. Десять кающихся были приговорены к различным наказаниям меньшей строгости. 2 августа 1578 года произошел необычный скандал, затронувший некоторых испанцев и португальцев с дурными манерами, все они были сожжены, за исключением тех, кто вовремя ухитрился сбежать. 5 августа 1581 года английский протестант был сожжен за грубое оскорбление Хозяина. 20 февраля 1582 года, после соответствующего Акта инквизиции, семнадцать еретиков были приговорены, трое к смертной казни, остальные к тюремному заключению и т.д. Мы должны иметь в виду, что Мутиnellи, опубликовавший выдержки из венецианских депеш, содержащие эти подробности, не претендует на полноту. Между документами одного посланника и документами его преемника возникают промежутки в несколько лет. Не похоже также, что сами авторы обращали внимание на что-то большее, чем торжественные разбирательства, на которых Акты инквизиции публиковались с папской и куриальной помпой.^[101] Тем не менее, когда эти соображения будут взвешены, окажется, что жертв инквизиции в Риме можно было пересчитать не сотнями, а единицами. После выдающихся примеров, таких как Аонио Палеарио, Пьетро Карнесекки, Джордано Бруно, которые были сожжены за протестантские или атеистические убеждения, имен выдающихся страдальцев немного. Осторожные еретики, Челио Секундо Курио, Галеаццо Караччоло, Бернардино Очино, Пьетро Мартире Вермилли, Пьетро Паоло Верджерио, Лелио Социно, заблаговременно бежали в Швейцарию и вели свою войну с Церковью посредством писаний.^[102] Другим, запятнанным ересью, таким как Марко Антонио Фламинио, удалось удовлетворить инквизицию своевременными уступками. Протестантские церкви, возникшие в Венеции, Лукке, Модене, Ферраре, Фаэнце, Виченце, Болонье, Неаполе и Сиене, были легко рассеяны.^[103] Их пасторы бежали или покорились. Паства приняла католическую ортодоксальность. Лишь в нескольких случаях была проявлена крайняя строгость. Памятная резня произошла в 1561 году в Калабрии, в провинции Козенца.^[104] Здесь в конце четырнадцатого века в нескольких деревнях на побережье обосновалась колония вальденсов. Они сохранили свои своеобразные верования и ритуалы, и по прошествии трех столетий насчитывали около 4000 душ. Почти все они, по-видимому, были истреблены мечом, огнем, голодом, пытками, отвратительным тюремным заключением и сбрасыванием с вершин высоких утесов. Несколько выживших отправили работать на испанские галеры. Несколько женщин и детей были проданы в рабство. В Локарно, на озере Маджоре, протестантская община

численностью около 300 человек была отправлена в изгнание в 1555 году; а в Венеции в 1560-7 годах небольшая секта, придерживавшаяся реформатских взглядов, подверглась своеобразному наказанию. Мы читаем о пяти людях поименно, которые после того, как были осуждены Святой Канцелярией, были ночью доставлены из темниц в Порто-дель-Лидо за Герцогом Кастелли и там посажены на доску между двумя гондолами. Гондолы разлетелись в стороны, и один за другим мученики падали и погибали в воде.[105]

Положение Святой канцелярии в Венеции было настолько своеобразным, что оправдывало отступление от ее особого устава. Всегда ревниво относившаяся к церковному вмешательству, Республика настаивала на том, чтобы инквизиция была поставлена в зависимость от государства. Трое дворян сенаторского ранга были выбраны в качестве ассессоров Священной канцелярии в столице; а в подчиненных городах эта функция была возложена на ректоров, или лейтенантов Святого Марка. Долгом этих мирян было следить за тем, чтобы церковный трибунал беспристрастно вершил правосудие, защищать государство от клерикальных посягательств и передавать сомнительные дела дожу в Совете. Им было запрещено приносить клятвы верности Святой канцелярии или хранить тайну, и они были обязаны присутствовать на всех судебных процессах, даже в случае церковных правонарушителей. Никакие доводы не могли быть переданы Риму, и никакие преступления, кроме ереси, не считались подпадающими под юрисдикцию суда. Государство оставило за собой колдовство, нецензурную брань, двоеженство и ростовщичество; не допускало вмешательства в дела евреев, неверных и греков; запретило конфискацию имущества, в котором были заинтересованы наследники осужденных лиц; и сделало отдельные положения в отношении Индекса запрещенных книг. Это запрещало инквизиции каким-либо образом, прямо или косвенно, распространять свою власть на профессии, искусства, гильдии, магистратов и общественных чиновников.[106] Суть этой системы заключалась в подавлении церковных посягательств на государственные прерогативы и обеспечении справедливости в деятельности Священной канцелярии. Если бы практика венецианской инквизиции соответствовала теории, безусловно, худших злоупотреблений этого института удалось бы избежать. Но на самом деле причины нередко переносились в Рим; были разрешены конфискации; и списки осужденных включают мусульман, ведьм, фокусников, скандальных людей и т.д., Показывая, что юрисдикция Святой Канцелярии простиралась за пределы ереси в Венеции.[107]

Правда в том, что венецианцы, хотя и были готовы рискнуть на открытый разрыв с Римом, в глубине души оставались здравомыслящими церковниками, преданными принципам католической реакции. Республика признала факт инквизиционной власти, но сохранила за собой букву государственного надзора. Венецианский декаданс был отмечен этим лицемерием гордыни; и до тех пор, пока сохранялась видимость, Святая канцелярия свободно выполняла свои функции. Дворяне, выступавшие в качестве заседателей, не сочувствовали религиозной терпимости, поскольку сами находились под влиянием духовников и директоров.

Насколько мало подданные Святого Марка в ту эпоху доверяли добросовестности законов, гарантирующих свободу мысли в Венеции, можно понять из того, что произошло сразу после публикации "Индекса Экспургаториуса" в 1596 году. Из официального отчета о спаде книгопечатания в Венеции следует, что в течение нескольких месяцев количество типографий сократилось со 125 до 40.[108] Печатники боялись браться за старые или новые работы, и торговля застопорилась из-за нехватки книг для публикации. Однако был издан эдикт, объявляющий, что по условиям Конкордата с Климентом VIII венецианская пресса будет

подчиняться только государственному контролю, а не римским трибуналам.[109] Правда заключается в том, что как в отношении Святой Канцелярии, так и в отношении Индекса Венеция никогда не была достаточно сильна, чтобы сохранить независимость, которой она хвасталась. Хитро используя исповедальню и беспринципно контролируя общественное мнение, Церковь преуспела в том, что сделала там почти то же самое, что и в любом другом итальянском городе. Сменявшие друг друга папы действительно демонстрировали уважение к свободам Республики. В материальных вопросах, касающихся доходов и государственного управления, они сочли разумным уступить даже больше, чем бесплатные привилегии; и когда Павел V посягнул на эти привилегии, венецианцы были готовы оказать ему сопротивление. Однако, в конце концов, ссоры между Ватиканом и Сан-Марко были всего лишь семейными разногласиями. Венецианцы в конце шестнадцатого века показали себя не лучшими сторонниками духовной свободы, чем великие герцоги Тосканы. Их политическая зависть, коммерческие тревоги и попытки сохранить власть, которая быстро приходила в упадок, не свидетельствовали о пристрастии к противникам Рима — если только, подобно Сарпи, они не носили ливрею государства и не защищали пером его светские прерогативы. Поэтому, когда синьория опубликовала Указатель Климента VIII, когда копии этого Указателя были распространены по радио, в то время как Конкордату было предоставлено всего шестьдесят экземпляров, авторы и издатели почувствовали, и чувствовали справедливо, что их день прошел. Полиграфическое искусство сразу же упало менее чем на треть своей производительности. Город, где она процветала так долго и где она внесла так много непреходящего значения в европейскую культуру, был заткнут ртом едва ли в меньшей степени, чем Рим. Мы имеем полное право настаивать на этих фактах и делать из них строгие выводы. Если Венеция позволила торговле книгами, которая в прошлом приносила ей столько прибыли и такой почет, быть парализованной Указателем Клемента, то что же должно было произойти в других итальянских городах? Удар, который искалечил венецианскую литературу, был смертельным и в других местах; и лучшие гениальные произведения первой половины семнадцатого века должны были найти своих издателей в Париже.[110] Но эти размышления заставили меня предвосхитить надлежащее развитие темы этой главы.

В Италии в целом силы инквизиции были направлены не против массовых еретиков, как в Испании, а против лидеров еретического мнения; и не столько против личностей, сколько против идей. Италия в эпоху Возрождения была мастерской идей для Европы. Задачей Контрреформации было остановить распространение этого *officina scientiarum*, заглушить нервные центры, которые ранее излучали мысли, имеющие большое значение для современного мира, и предотвратить повторное распространение идей, разработанных северными расами в свежих формах, на интеллект, который их развил. Сделать это сейчас было сравнительно легко. Требовалось только привести движок Index Librorum Prohibitorum в рабочее состояние совместно с Инквизицией.

На протяжении всего средневековья было принято сжигать еретические писания. Епископы, университеты и доминиканские инквизиторы пользовались этой привилегией, и с их помощью в век рукописей жизнь книги вскоре прекратилась. Иногда целые библиотеки приносились в жертву одним махом, как в случае с 6000 томами, уничтоженными в Саламанке в 1490 году Торквемадой по обвинению в колдовстве.[111] После изобретения книгопечатания вести эту войну против литературы стало труднее, в то время как быстрое распространение протестантских мнений через прессу сделало настоятельной необходимостью их уничтожения. Сикст IV. заложил основу для Индекса, запретив публикацию любых книг, которые ранее не

были лицензированы церковными властями. Александр VI. сводкой 1501 эта мера была подтверждена, и книги были помещены под цензуру епископата и инквизиции. Наконец, Латеранский собор на своей десятой сессии, проходившей под эгидой Льва X, дал торжественную экуменическую санкцию этим правилам.

Таким образом, цензура была установлена, и следующим шагом стало составление списка книг, запрещенных инквизиторами, назначенными для этой цели. Парижская Сорбонна подготовила один из них для собственного использования и даже подала петицию Франциску I. о том, что публикация через прессу должна быть полностью запрещена.^[112] Королевский указ на этот счет был фактически обнародован в 1535 году. Карл V в 1539 году поручил Лувенскому университету подготовить аналогичный каталог, одновременно провозгласив смертную казнь для всех, кто читал труды Лютера в его владениях.^[113] Университет напечатал свой каталог с одобрения Папы в 1549 году.

Эти списки Сорбонны и Лувена составили ядро Апостольского указателя, который после закрытия Тридентского собора стал обязательным для католиков. Когда в Риме была учреждена инквизиция, Караффа, который тогда возглавлял ее, получил санкцию Павла III. за передачу всех книг, старых или новых, напечатанных или в рукописи, под надзор Священной канцелярии. Он также ухитрился подчинить книготорговцев, государственные и частные библиотеки, кольтпортеров и сотрудников таможни тем же полномочиям; так что с 1543 года было уголовным преступлением печатать, продавать, владеть, перевозить или импортировать любую литературу, о которой инквизиция не была предварительно проинформирована и на распространение или владение которой она не давала своего разрешения. Джованни делла Каза, отправленный в 1546 году в Венецию с поручением привлечь к ответственности П. Паоло Верджеро за ересь, составил список примерно из семидесяти запрещенных томов, который был напечатан в этом городе.^[114] Другие списки появились во Флоренции в 1552 году и в Милане в 1554 году. Филипп II. наконец, в 1558 году издал королевский указ, предписывающий опубликовать единый каталог, который должен стать стандартом для таких индексов во всех его государствах.^[115] Эти списки, пересмотренные, сопоставленные и подтвержденные папской властью, были перепечатаны в той форме, которая была впоследствии получена, в Риме по приказу Павла IV в 1559 году.

Тридентский собор ратифицировал постановления инквизиции и Индекс запрещенных книг и подробно передал их исполнение папству. В Риме была создана конгрегация, которая, хотя и была технически независима от Священной канцелярии, работала согласованно с ней. Эта Конгрегация Индекса привела тридентские указы в соответствие с практикой, разработанной Карафтой в качестве инквизитора и папы римского. Их список был опубликован в 1564 году с разрешения Пия IV. Наконец, в 1595 году декреты, воплощающие устав Церкви по этому вопросу, были опубликованы в печати вместе со значительно дополненным каталогом запрещенных книг. Этот документ ляжет в основу того, что я должен сказать относительно католического крестового похода против литературы.

Недаром Аонио Палеарио назвал этот движок Индекса "кинжалом, извлеченным из ножен, чтобы убивать буквы" — *sica districta in omnes scriptores*.^[116] Сарпи недаром описал это как "величайший секрет, который когда-либо был открыт для применения религии с целью превращения людей в идиотов".^[117]

Index Expurgatorius называет шестьдесят одну типографию по названию, все публикации которой были запрещены без исключения, добавляя аналогичный запрет для книг, отредактированных любым печатником, опубликовавшим труды любого еретика; так что в итоге, как говорит Сарпи, "не осталось ни одной книги для чтения". Действительно, он вполне мог бы воскликнуть в другом отрывке, что Церковь делает все возможное, чтобы полностью уничтожить здоровое обучение.^[118]

Чтобы получить четкое представление о войне, которую ведет Рим против свободной литературы, будет полезно сначала рассмотреть правила составления Индекса запрещенных книг, набросанные отцами церкви, делегированными Тридентским собором, опубликованные Пием IV, дополненные Сикстом V и доведенные до окончательной формы Климентом VIII в 1595 году.^[119] После этого я продолжу объяснять работу системы и подробно проиллюстрирую ущерб, наносимый обучению и просветлению.

В преамбулах к настоящему документу перечисляются обстоятельства, при которых возникла необходимость в составлении Указателя или Каталога запрещенных книг. Это было распространение еретических мнений в эпоху лютеранского раскола и их распространение через прессу. Тридентский собор постановил составить список сочинений, "еретических или подозреваемых в еретической правоте, или наносящих ущерб нравам и благочестию",. Это поручение они возложили на прелатов, выбранных из всех наций, которые, когда каталог был завершен, передали его для утверждения папе римскому. Он назначил конгрегацию выдающихся священнослужителей, чьей заботой был доработан каталог и сформулированы правила, определяющие, как следует использовать его в будущем. Как я уже говорил, в 1564 году, на пятый год понтификата Пия IV, он был официально издан с предупреждением для всех университетов, гражданских и церковных властей, что любое лицо любого ранга или состояния, будь то клерк или мирянин, которое прочтет или завладеет одним или несколькими запрещенными томами, будет считаться *ipso jure* отлученным от церкви и подлежащим судебному преследованию инквизицией по обвинению в ереси.^[120] Книготорговцы, типографы, торговцы и чиновники таможни получили предупреждение о том, что угроза отлучения от церкви и судебного преследования касается их особо.

Первые правила касаются признанных трудов протестантских ересиархов. Труды Лютера, Цвингли и Кальвина, будь то на языках оригинала или в переводе, осуждаются абсолютно и без исключений. Далее следуют правила обеспечения монополии на Вульгату, которая считается единственной авторизованной версией Священного Писания. Переводы частей Библии, сделанные учеными мужами на латыни, могут использоваться учеными с разрешения епископа, при условии, что к ним никогда не обращаются как к богодухновенному тексту. Переводы на любые местные идиомы строго исключены из публичного использования и хождения, но могут, при исключительных обстоятельствах, быть разрешены студентам, получившим лицензию от епископа или инквизитора по рекомендации своего приходского священника или духовника. Компиляции, сделанные еретиками в форме словарей, созвучий и т.д., должны быть запрещены до тех пор, пока они не будут вычищены и переработаны цензурой печати. То же правило распространяется на полемические и противоречивые произведения, затрагивающие вопросы доктрины, о которых спорят католики и протестанты. Далее следуют правила, касающиеся книг, содержащих похотливые или непристойные материалы, которые подлежат строгому пресечению. Исключение сделано в пользу классики из-за ее стиля; с оговоркой, что ее ни в коем случае нельзя давать читать мальчикам. Трактаты, открыто посвященные оккультным

искусствам, магии, колдовству, предсказаниям будущих событий, заклинанию духов и так далее, подлежат запрещению; при этом делается соответствующая оговорка в пользу научных наблюдений, касающихся навигации, сельского хозяйства и искусства врачевания, в которых прогностика может быть полезна человечеству. Таким образом, после широкого определения литературы, которая должна быть запрещена или подвергнута надзору, устанавливаются правила осуществления порицания. Книги, общая тенденция которых хороша, но которые содержат отрывки, отдающие ересью, суеверием или гаданием, должны быть зарезервированы для рассмотрения католическими теологами, назначенными инквизицией; это должно касаться также предисловий, резюме или аннотаций. Все произведения, напечатанные в Риме, должны быть представлены на суд викария папы Римского, магистра Священного Дворца или лица, назначенного понтификом. В других городах епископ или его представитель и окружной инквизитор несут ответственность за проверку печатных или рукописных произведений перед публикацией; и без их лицензии их распространение считается незаконным. По указанию епископа и Святой Канцелярии время от времени должны совершаться инквизиторские визиты в книжные магазины или типографии для изъятия и уничтожения запрещенных произведений. Зарубежные поставщики книг, наследники и душеприказчики, ставшие книгохранилищами, коллекционеры частных библиотек, а также редакторы и книготорговцы несут ответственность перед той же юрисдикцией, обязаны декларировать свою собственность по каталогу и предъявлять лицензию на ее использование, передачу, продажу или владение ею.

Что касается исправления книг, то предусмотрено, что эта обязанность ложится совместно на епископов и инквизиторов, которые должны назначить трех человек, отличающихся ученостью и благочестием, для изучения текста и внесения в него необходимых изменений. По докладу этих цензоров епископы и инквизиторы должны выдать разрешение на публикацию, при условии, что они удовлетворены тем, что работа по исправлению была должным образом выполнена. Цензор должен подвергнуть скрупулезному анализу не только основную часть книги; но он также должен изучить примечания, резюме, пометки на полях, указатели, предисловия и послания-посвящения, чтобы, возможно, там не притаились в засаде пагубные мнения. Он должен внимательно следить за еретическими положениями и аргументами, отдающими ересью; инсинуациями против установленного порядка таинств, церемоний, обычаев и ритуалов Римской Церкви; новыми оборотами речи, коварно используемыми еретиками, с сомнительными и двусмысленными выражениями, которые могут ввести в заблуждение неосторожных; правдоподобными цитатами из Священного Писания или отрывками из священного писания, извлеченными из еретических переводов; цитатами из авторизованного текста, которые были приведены в неортодоксальном смысле; эпитетами в честь еретиков и всем, что может привести к восхвалению таких людей; мнения, отдающие колдовством и суевериями; теории, предполагающие подчинение человеческой воли судьбе, везению и ложным предзнаменованиям, или подразумевающие язычество; клеветы на духовенство и князей; оспаривание свобод, иммунитетов и юрисдикции Церкви; политические доктрины в пользу древних добродетелей, деспотического правления и так называемого Разума государства, которые противоречат евангельскому и христианскому законодательству; сатиры на церковные обряды, религиозные ордена, а также состояние, достоинство и личности духовенства; непристойности или истории, оскорбительные и наносящие ущерб славе и оценке ближних, вместе с похотливыми знаками, непристойными картинками и заглавными буквами, украшенными непристойными изображениями. Все подобные порочащие пассажи должны

быть вычеркнуты, стерты, удалены или радикально изменены, прежде чем ординарий выдаст лицензию на публикацию.

Ни одна книга не должна печататься без указания полного имени автора вместе с указанием его национальности на титульном листе. Если есть достаточные основания для распространения анонимного произведения по всему миру, имя цензора должно соответствовать имени автора. Подборки слов, предложений, отрывков и т.д. должны передаваться под именем составителя. Издатели и книготорговцы должны позаботиться о том, чтобы печатное произведение соответствовало лицензированному экземпляру MS. сору, а также проследить за соблюдением всех правил, касающихся имени автора и его полномочий на публикацию. Более того, они должны принести клятву перед Хозяином Священного Дворца в Риме или перед епископом и инквизитором в других местах, что они будут скрупулезно следовать предписаниям Указателя. Епископы и инквизиторы несут ответственность за выбор в качестве цензоров людей признанного благочестия и учености, чью добросовестность и неподкупность они должны гарантировать, и которые не будут повиноваться побуждениям личной ненависти или благосклонности, но будут делать все во славу Божию и на благо верующих. Одобрение таких цензоров вместе с разрешением епископа и инквизитора должно быть напечатано при открытии каждой опубликованной книги. Наконец, если какое-либо произведение, написанное осужденным автором, будет лицензировано после надлежащей очистки и кастрации, на титульном листе должно быть указано его имя вместе с пометкой об осуждении, с тем, чтобы, хотя сама книга была принята, автор считался отвергнутым. Так, например, заголовок должен звучать следующим образом: "Библиотека Конрада Геснера, писателя, осужденного за свои взгляды, произведение которого ранее было опубликовано и запрещено, но теперь изъято и лицензировано вышестоящими властями".

Фактически Священная канцелярия была возложена на цензуру книг. Но, как я уже говорил, в Риме существовала Конгрегация прелатов, за которыми оставалось окончательное решение по этому вопросу. Если автор в каком-нибудь провинциальном городке сочинял книгу, он был обязан в первую очередь передать рукопись цензору, назначенному епископом и инквизитором своего округа. Этому человеку потребовалось время, чтобы взвесить общую суть лежащей перед ним работы, тщательно изучить ее положения, выверить цитаты и обдумать ее направленность. Когда лицензия ординарца была получена, она была передана Римской конгрегации Индекса, которая могла отказать в выдаче своей санкции или предоставить ее. Механизм был настолько сложным, и такое огромное давление оказывалось на должностных лиц, которые считались ответственными за изъятие каждой книги, напечатанной или перепечатанной во всех католических издательствах, что даже писателям, исповедующим ортодоксальность, приходилось терпеть серьезные задержки. Архиепископ пишет кардиналу Сирлето о книге, которая была рассмотрена трижды, в Риме, в Венеции и снова в Риме, и получила одобрение папы Римского, и все же лицензия на ее перепечатку так и не была выдана.^[121] Цензорам не платили; и в дополнение к тому, что они были перегружены работой и ответственностью, они редко были достаточно образованными людьми. В письме Бартоломео де Вальверде, капеллана Филиппа II, датированном 1584 годом, мы читаем откровенные жалобы на этих подчиненных.^[122] "Не знакомые с литературой, они выполняют функцию осуждения книг, которые они не могут понять. Не зная греческого или иврита и движимые предвзятой враждебностью к авторам, они легко запрещают то, что, по их мнению, они не в состоянии оценить. Таким образом, были уничтожены произведения многих святых писателей и полезные комментарии, сделанные евреями. Мемориал Сирлето, представленный кардиналом Габриэле

Палеотти, указывает на небрежность составителей Индексов и их поверхностное выполнение обременительных обязанностей, молясь о том, чтобы в будущем на работу были наняты образованные и честные люди и чтобы они получали оплату за свой труд.^[123] Это увещевания, адресованные верующими католиками, занимающимися литературной работой по требованию Ватикана, кардиналу, который был душой и вдохновителем Конгрегации. Они не ставят под сомнение благотворный характер Индекса, а лишь обращают внимание на некомпетентность и невежество его неоплачиваемых сотрудников.

Между тем, было нелегко назначить ответственных и образованных ученых на этот пост. Неэффективные цензоры продолжали свою работу по разрушению и подавлению. Комментатор "Греческого отца" или Псалмов был исправлен невеждой, который не знал ни греческого, ни иврита, стремящимся обнаружить мелкие противоречия с Вульгатой и стремящимся досадить автору. Латино Латини, один из студентов, нанятых Ватиканом, отказался указывать свое имя в издании "Киприана", которое он тщательно подготовил с эрудицией, превышающей среднюю, потому что оно было изменено путем замены плохих прочтений хорошими вопреки мнению МИСС авторитет с целью сохранения буквального соответствия Вульгате.^[124] Сигониусу, другому студенту Ватикана, кардинал Палеотти поручил подготовить определенные учебники. Это были "Церковная история", трактат о Еврейском государстве и издание Сульпиция Севера. Рукописи были возвращены ему, обвиненные в необоснованности доктрины и испещренные такими замечаниями, как "ложь", "абсурд".^[125]

В дополнение к невыносимым задержкам с вынесением Приговора и высокомерной неадекватности его должностных лиц, ученые мужи страдали от самых мелких преследований со стороны доносчиков. Сами инквизиторы часто были шпионами и лицами низкого происхождения. "Римский суд, - говорит Сарпи, - желая, чтобы служба инквизиции не пострадала из-за небрежности своих слуг, доверил эти дела лицам, не имеющим профессии, чье скромное состояние позволяет им гордиться своим официальным положением".^[126] Нельзя было ожидать, что такие люди будут выполнять свои обязанности с умом и скрупулезной справедливостью. Пий V., сам неподкупный инквизитор, был вынужден осудить одного из своих помощников за коррупцию или вымогательство денег путем угроз.^[127] Был еще один источник опасности и раздражения, которому подвергались ученые. Их товарищи, занимавшиеся подобными занятиями, нередко сеяли личную злобу, донося на них Прихожанам.^[128] Ван Линден указал на ереси в Осориусе, Джовиусе, Альберте Пигиусе. Иезуит Франческо Торрес обвинил Мааса и угрожал Латини. Сигониус получил лицензию на свою *Историю Болоньи*, но не смог ее напечатать из-за интриг тайных врагов. Барониус, когда закончил свой Мартиролог, обнаружил, что тайная организация воздвигла непреодолимые препятствия на пути его публикации. Я был осторожен, отбирая только примеры известных католических авторов, людей, которым платил Ватикан и которые находились под особым покровительством. Как обстояли дела с менее привилегированными учеными, можно оставить воображению. Мы не удивлены, обнаружив, что такой человек, как Латини, пишет таким образом из Рима в Маас во время понтификата Павла IV.^[129]

- Разве вы не слышали об опасности, которая угрожает самому существованию книг? О чем вы мечтаете, когда теперь, когда почти каждая опубликованная книга запрещена, вы все еще думаете о создании новых? Здесь, как я себе представляю, нет никого, кто на долгие годы вперед осмелится писать разве что по делам или дальним друзьям. Был издан Указатель произведений, которыми никто не может владеть под страхом отлучения от церкви; и число их

настолько велико, что нам действительно осталось очень мало, особенно тех, которые были опубликованы в Германии. Это кораблекрушение, эта книжная катастрофа остановит их производство и в вашей стране, если я не ошибаюсь, и научит редакторов быть настороже. Поскольку вы любите меня и себя, сядьте и смотрите на свои книжные шкафы, не открывая их дверцы, и остерегайтесь, чтобы даже сквозь щели к вам не проникли эманации этих запретных плодов познания". Это письмо было написано в 1559 году, когда Павел наложил запрет на шестьдесят один печатный станок и запретил чтение любых работ, вышедших из них. Впоследствии он снял этот запрет. Но Индекс не прекратил свою работу по искоренению.

Другим затруднением, от которого страдали ученые люди, была опасность владения книгами еретиками и трудность их приобретения.^[130] Тем не менее, они не могли продолжать свои библейские исследования без ссылок на таких авторов, как, например, Эразм или Рейхлин. Университеты громко требовали, чтобы книги, написанные еретиками, отличающиеся хорошей эрудицией, были, по крайней мере, изъяты и переизданы. Однако процесс искажения их аргументации, стирания имен авторов, исключения восхвалений еретиков, изменения цитат и их полной ретуши потребовал такого большого труда, что спрос так и не был удовлетворен. Строгий досмотр, установленный на границах, остановил ввоз книг,^[131] и перевозчики отказались их передавать. В своем страхе перед инквизицией эти люди сочли более безопасным вообще воздерживаться от торговли книгами. Публичные библиотеки периодически подвергались рейдам, не были защищены от таких проверок и частные коллекции. Нередкое появление старых книг, в которых ценные и интересные отрывки были стерты типографской краской или заклеены полосками непрозрачной бумаги, свидетельствует о частоте этих визитов инквизиции.^[132] Любой случайный знакомый, выходя из дома человека, мог донести на него как на владельца запрещенного тома; и каждый, у кого был книжный шкаф, был обязан предоставить инквизиторам копию его каталога. Книжные киоски были открыты для недоброжелательства доносчиков. У нас есть дерзкое письмо Антонио Поссевино кардиналу Сирлето, в котором он сообщает ему, что заметил запрещенную книгу Филиарчи на прилавке переплетного магазина, и призывает его выполнить свой долг и изъять ее.^[133] Когда библиотека этого кардинала была выставлена на продажу после его смерти, любопытные заметили, что в ней содержалось 1872 рукописи на греческом и латыни, 530 томов печатных греческих книг и 3939 томов на латыни, из которых 39 были указаны в Индексе. Но Чарити предположила, что кардинал приберег эти последние для порицания.

В период Контрреформации римские папы заветной целью ставили восстановление церковного и теологического образования. Они собрали вокруг себя в Ватикане эрудированных людей и основали типографию с целью печатания Отцов Церкви и распространения католической литературы. Но при осуществлении этого проекта они столкнулись с очень серьезными трудностями. Их собственная политика была направлена на подавление знаний и критики. Ученые, которых они выбрали защитниками веры, работали со связанными руками. Баронио не знал греческого; Латини почти ничего не знал; считается, что Беллармино знал очень мало. И все же это были апостолы католического просвещения, защитники непогрешимой Церкви от студентов такого уровня, как Эразмус, Кейсобон, Сарпи! Непреодолимым препятствием для изучения священного писания, приносящего постоянную пользу, был Тридентский декрет, объявивший Вульгату неприкосновенной. Нельзя цитировать ни один старинный или авторитетный кодекс, в котором чтение расходилось бы с богодухновенной латинской версией. Сирлето, хранитель библиотеки Ватикана, отказался от лекций из ее рукописей. ученым людям на том основании, что они, как может показаться, ставят под сомнение Вульгату.^[134] По той же

причине критические работы всех предыдущих студентов, от Валлы до Эразма, над текстом Библии были подавлены, а лучшие рукописи Отцов Церкви были безжалостно искажены, чтобы привести их цитаты в соответствие с переводом Иеронима. В письме Сирлето Галезини ставит себе в заслугу то, что в своем издании Псалмов он умолчал о явно правильном чтении, потому что это объясняло ошибку в Вульгате.^[135] Мы видели, как "Киприан" Латини пострадал от цензуры; и есть прискорбная история ватиканского издания Амвросия, которое было настолько изуродовано, что Указателю пришлось защищать его от сопоставления с оригинальными кодексами.^[136] Эта нечестная сделка не только обескуражила студентов и парализовала энергию критических исследований, но и привела к закрытию публичных библиотек для ученых. Ватикан не мог позволить себе пролить свет науки на свою мастерскую подделок и изощренностей.

Даже самые неподкупные чада Церкви иногда поднимали голос разумного протеста. Таким образом, Беллармино пишет кардиналу Сирлето, высказывая сомнение в том, обязательно ли придерживаться буквы тридентского декрета о Вульгате.^[137] Рационально ли, спрашивает он, утверждать, что каждое предложение в латинском тексте безупречно? Должны ли мы отвергать те чтения на иврите и греческом, которые разъясняют смысл Священных Писаний, в тех случаях, когда Иероним следовал другому и, возможно, коррумпированному авторитету? Не разумнее ли было бы рассматривать Вульгату как единственную авторизованную версию для использования в университетах, на кафедрах и в богослужениях, признавая при этом, что она не является безошибочным переводом богодухновенного оригинала? С подобной ученой щедростью он также касается Септуагинты, указывая, что эта версия не могла быть работой семидесяти человек в единстве, поскольку переводчик Иова, по-видимому, был лучше знаком с греческим, чем с ивритом, в то время как обратное верно для переводчика Соломона. Однако таким увещаниям не суждено было быть услышанными. Вместо того чтобы ослабить свою строгость после понтификата Пия IV, Конгрегация Индекса, как мы видели, стала еще более жесткой, пока в правилах, усвоенных Климентом VIII, она не ввела в действие самую строгую букву закона, касающуюся Вульгаты, и не одобрила все лицемерия и увертки, которые это подразумевало.

В условиях, которые я попытался описать, было невозможно, чтобы Италия заняла свое место среди стран, поощрявших либеральные исследования. У Рима была одна цель — заглушить революционный свободный голос Возрождения, защитить консервативные принципы, установить свое собственное господство и обеспечить триумф Контрреформации. В соответствии с этой политикой ей пришлось выступить против образования и культуры классического возрождения; и ее взгляды были поддержаны не только подавляющей политической силой Испании на полуострове, но и мелкими князьками, которые чувствовали, что их существование находится под угрозой.

Независимость суждений строго запрещалась во всех академиях и центрах эрудиции. Были запрещены новые методы обучения и новые учебники. Профессора столкнулись с трудностями при выборе античных авторов. В аудиториях можно было использовать только ту классику, которая была одобрена Конгрегацией Индекса. С одной стороны, великие республиканские защитники независимости навлекли на себя подозрения. С другой стороны, поэты были запрещены как отдающие язычеством. Смешивать философию с риторикой считалось преступлением. Фома Аквинский воздвиг Геркулесовы столпы, дальше которых разум не мог бы стремиться продвинуться. Римское право следовало рассматривать с ортодоксальной

схоластической точки зрения. Горе дерзкому юристу, который заставил Пандектов заниматься исследованиями прав людей и наций! Ученые, такие как Сигоний, оказались привязанными в своих классах к утомительной рутине Цицерона и Аристотеля. Аонио Палеарио жаловался, что профессор ничем не лучше осла, работающего на мельнице; ему ничего не оставалось, как выдавать общие места, избегая любых точек соприкосновения между авторами, которых он интерпретировал, и жгучими вопросами современной жизни. Мюретус, который привез с собой в Италию из Франции подмоченную моральную репутацию из-за страстного увлечения литературой, который продал свою душу, чтобы восхвалить Варфоломеевскую резню и очистить от налета ереси, витавшего вокруг него, пышными панегириками великим общественным преступлениям.[138] Ему было запрещено читать лекции по Платону, запрещено прикасаться к юриспруденции, запрещено обращаться к экземпляру Евнапия в библиотеке Ватикана. Ему стоило нескольких дней и недель упрашиваний получить разрешение читать Тацита на своих занятиях. К греческому языку, литературе высоких мыслей, благородного энтузиазма и мужественных наук, относились с подозрением. Как средневековые монахи писали на полях своих рукописей: *Greeca sunt, следовательно, без легенды*, так и эти новые мракобесы восклицали: *Graeca sunt, periculosa sunt, следовательно, без легенды*. "Я вынужден, - кричит он в этой крайности, - заняться латынью и полностью воздержаться от греческого". И все же он знал, что "если люди нашего века продвинутся еще на шаг в своем пренебрежении греческим, гибель нависнет над всеми здоровыми искусстваами и науками". "Это мое несчастье, - стонет он, - наблюдать постепенное исчезновение и полный упадок греческой письменности, в череде которых я вижу всю совокупность утонченной учености, находящуюся на грани исчезновения.[139]

Здесь можно привести энергичный отрывок из одного из писем Сарпи, непосредственно касающийся этих вопросов (т. i, стр. 170): "Возрождение светского образования подорвало основы папской монархии. И в этом не было ничего удивительного. Эта монархия зародилась и росла в условиях варварства; прекращение варварства, естественно, сократило ее и угрожало исчезновением. Это мы уже видим в Германии и Франции; но Испания и Италия все еще подвержены варварству. Юридические науки с каждым днем становятся все хуже и хуже. Римская курия выступает против любой отрасли науки, которая смакует вежливую литературу, защищая свое варварство зубами и ногтями. Как она может поступить иначе? Уничтожьте эти книги о верховенстве папы, и где они обнаружат, что папа - это еще один Бог, что он всемогущ, что все права и законы заперты в ящике его груди, что он может заточать людей в ад, одним словом, что у него есть власть очерчивать круг? Уничтожьте эту ложную юриспруденцию, и эта тирания исчезнет; но обе они взаимно поддерживают друг друга, ими не покончим с первой, пока последняя не падет, что произойдет только по благоволению Бога".

Ревность, с которой Церковь относилась к гуманитарным наукам, породила презрение к ним в умах студентов. Бенчи, профессор гуманистической литературы в Риме, говорит, что его ученики расхаживали по классу во время его лекций. С мрачным юмором он добавляет, что не возражает против того, чтобы они спали, при условии, что они воздержатся от храпа.[140] Но, продолжает он, невозможно, чтобы я больше смотрел на место, в котором я выполняю свою повседневную работу, как на академию обучения; Я хожу в нее скорее как на мельницу, на которой я должен перемалывать свою историю о никчемном зерне. Муретус, проработав двадцать лет на кафедре риторики в Риме, попросил об увольнении. Его мемориал властям представляет собой прискорбную картину неповиновения и безразличия, от которых он страдал.[141] "Я перенес неизмеримое унижение из-за непрекращающейся наглости этих

студентов, которые прерывают меня криками, свистом, шипением, оскорблениями и такими оскорбительными замечаниями, что я иногда с трудом понимаю, стою ли я на голове или на пятках". "Они приходят в аудиторию, вооруженные кинжалами, и когда я их упрекаю, я начинаю понимать, что я делаю". за свои непристойности они снова и снова угрожают раскрыть мне лицо, если я не придержу язык.' Стены, добавляет он, исписаны непристойными эмблемами и отвратительными эпиграммами, так что это пристанище ученых представляет собой вид самого низкого борделя; а профессорское кресло стало более невыносимым сиденьем, чем позорный столб, из-за метаемых в него снарядов и грубости, с которой его атакуют. Манеры и разговоры учеников, должно быть, были отвратительны сверх всякой меры, если судить по письму с жалобой от отца, в котором подробно описывалось осквернение, которому подвергся его сын в римских классах, и неприкосновенность, с которой там публично декламировались самые непристойные песни.[142] Но полная деградация образования в эту эпоху в Риме лучше всего описана в одном абзаце Витторио де'Росси, в котором рассказывается о пренебрежении, которому подвергся Альдо Мануцио-младший. Этот отпрыск прославленной семьи унаследовал профессорский пост в Мюретусе в 1588 году. "Тогда, - говорит Росси, - можно было бы восхищаться или, скорее, оплакивать жалкое и попранное состояние свободных искусств. Тогда можно было бы со слезами на глазах увидеть, как те сокровища гуманной литературы, которые наши отцы превозносили до небес, были принижены в глазах молодежи. В старые добрые времена люди пересекали моря, совершали длительные путешествия, пересекали города Греции и Азии, чтобы завоевать пальму первенства в красноречии и приветствовать мастеров языков и учености, у ног которых они сидели, очарованные благородными словами. Но теперь эти люди осыпали презрением непревзойденного учителя греческого и латинского красноречия, чьи услуги предоставлялись им по первому требованию, без утомительных путешествий, без расходов, без напряжения. Хотя он свободно предлагал им свою обширную эрудицию в обеих ученых областях литературы, они закрывали от него уши. В часы, когда его лекционный зал должен был быть заполнен толпами нетерпеливых учеников, вы могли видеть, как он, покинутый толпой, расхаживает по тротуару перед дверью академии с одним, а может быть, и с двумя своими товарищами".[143]

Обвинять Церковь исключительно и безраздельно в этом упадке гуманистического образования в Италии было бы некритично и несправедливо. Мы должны помнить, что после периода лихорадочной энергии наступает время вялости во все эпохи большого интеллектуального возбуждения. Нельзя было также ожидать, что энтузиазм пятнадцатого века по отношению к классическим исследованиям продлится и во второй половине шестнадцатого века. Но мы вправе обвинять церковные и гражданские власти Контрреформации в их решительном противодействии новому направлению, которое теперь проявлял этот старый энтузиазм по отношению к классике. Они стремились заставить поток обучения отсталых в научно-лингвистических каналов, когда уже было пахать для себя новый курс в области философских и научных открытий. Они сделали учебу отвратительной, потому что пытались ограничить ее устаревшей шелухой педантизма и риторики. Они думали, что это безобидно. Но в том, чего тогда жаждал интеллектуальный аппетит, в пустяках, которые ему требовались для удовлетворения своего стремления, ему было жестко отказано. Размышления о природе человека и мира, метафизические исследования в области смутно постигаемых тайн, физика, политические проблемы, религиозные вопросы, затрагивающие великие спорные вопросы по всей Европе, все бури и напряжения современной жизни, брожение современного ума, воли и совести были исключены из школ, потому что они были враждебны Контрреформации. Италию

морили голодом и деморализовали, чтобы предотвратить революцию; а ученость была подавлена заточением в узкой камере, наполненной затхлым воздухом.[144]

Аналогичные выводы можно сделать из жизни Паоло Мануцио в Риме. Он покинул Венецию в 1561 году по приглашению Пия IV., который предложил создать типографию "для публикации книг, напечатанных самым изысканным шрифтом и с предельной точностью, и особенно произведений, имеющих отношение к священной и церковной литературе".[145] Помолвка Паоло была рассчитана на двенадцать лет; ему назначили 300 дукатов на дорожные расходы, 500 дукатов на содержание семьи. ежегодное жалованье, типография, содержащаяся за счет папы, и пенсия, обеспеченная при жизни его сына. План был благородный. Паоло должен был напечатать всех греческих и латинских Отцов Церкви и снабдить католический мир арсеналом ортодоксальных знаний. Однако за время его пребывания в Риме из его типографии не вышло ни одной греческой книги.[146] Из латинских отцов Церкви он дал миру Послания Иеронима, Сальвиана и Киприана. В остальном он опубликовал Декреты Тридентского собора десять раз, Тридентский катехизис восемь раз, *Римский breviарий* четыре раза, а большую часть своего досуга тратил на редактирование второстепенных переводов, комментариев и полемических или образовательных трактатов. Результат был плачевным, и человек был разорен.

Остается обратить внимание на действие Указателя в отношении светских книг на современных языках. Сначала я повторю важный отрывок из его устава, касающийся политической философии и так называемого *статуса отношения*: "Итак, пусть будут вычеркнуты все положения, почерпнутые из сборников, нравов и примеров язычников, которые поощряют тираническое правление и то, что они ложно называют разумом государства, в противоречии закону Христа и Евангелия". Это, говорит Сарпи в своем Рассуждении о книгопечатании, направлено в целом против любой доктрины, которая ставит под сомнение церковную юрисдикцию над гражданской сферой князей и магистратов, а также экономику семьи.[147] Теории, почерпнутые из любых источников для борьбы с папскими и церковными посягательствами и для защиты прав суверена в его монархии или отца в его семье, обозначаются как *Ratio Status*. Тот, кто оспаривает папский абсолютизм в гражданских, а также церковных делах, считается *ipso facto* еретиком.[148] На первый взгляд может показаться, что рассматриваемый пункт был специально сформулирован для осуждения Макиавелли и его школы. Труды Макиавелли были внесены в Индекс в 1559 году, а некий Чезаре Пизанский, имевший их в своей библиотеке, был подвергнут пыткам по этому поводу в 1610 году. Впоследствии было предложено исправить и отредактировать их без указания его имени; но его наследники вполне обоснованно отказались санкционировать эту процедуру, зная, что его заставят произнести прямо противоположное тому, что он имел в виду во всем, что касалось Римской церкви.

Однако этот параграф устава Index преследовал гораздо более амбициозную цель, чем подавление деятельности Макиавелли, Гвиччардини и Сарпи. Взяв на себя обязательство осуждать все политические сочинения, которые она не одобряла, и запретив светским властям запрещать любые произведения, получившие ее санкцию, Церковь получила монополию на обучение населения теориям правления. Она запрещала каждый трактат, разоблачавший ее собственное амбициозное вмешательство в гражданские дела или защищавший права светских правителей.[149] Она защищала и пропагандировала труды своих раболепных министров, которые провозглашали, что церковная власть во всех отношениях превосходит гражданскую власть; что народы обязаны своей верностью в первую очередь папе, который был

божественно назначен править ими, и во вторую очередь только принцу, который был делегатом от их собственного органа; и что само тираноубийство было оправдано, когда применялось против непокорный или еретический государь. Таковы были теории иезуитов — Аллена и Парсонса в Англии, Беллармино в Италии, Суареса и Марианы в Испании, Буше во Франции.

В своей критике этой чудовищной несправедливости Сарпи говорит: "В Италии нет недостатка в людях благочестивых и хорошо образованных, которые придерживаются истины по таким темам; но они не могут ни писать, ни отправлять свои работы в прессу".^[150] Лучшие годы и вся энергия жизни Сарпи были потрачены, как хорошо известно, на борьбу с высокомерием Рима и на установление отношений государства и Церкви на основе здравого смысла и справедливости. Не раз он чудом избегал мученической смерти в награду за свою отвагу; и когда острое наемного убийцы поразило его, легенда гласит, что он произнес знаменитую эпиграмму: *Agnosco stilum Curiae Romanae*.

Сарпи не без оснований возразил, что Рим делает все возможное, чтобы искоренить здоровое образование в Италии. Но как она справлялась с тем значительным ростом распушенной литературы, который возник в период Возрождения? Это вопрос, который должен занять нас в следующий раз. Мы видели, что Тридентский собор в достаточной степени обеспечил искоренение непристойных публикаций. Соответственно, как бы для удовлетворения чувства приличия, некоторые из наиболее вопиюще аморальных книг, включая *Декамерон*, *Приапею*, собрание сочинений Аретино и некоторые средневековые романы, были помещены в Указатель. Берни был объявлен вне закона в 1559 году; но интердикт продлился недолго, вероятно, потому, что было обнаружено, что его стихи, хотя и распушенные, были свободны от ересей, которые Пьер Паоло Верджерио пытался навязать ему. Между тем никто не обратил внимания на *Орландо Фуриозо* и множество романистов, на стихи Беккаделли и Понтано, на Мольцу и Фиренцуолу, короче говоря, на всю массу заурядных писателей, которые так много сделали для разоблачения испорченности итальянских нравов. Казалось, что Церковь меньше заботилась о запрете непристойностей, чем о том, чтобы наказать тех авторов, которые свободно говорили о ее пороках. Когда мы обратимся к удаленным изданиям известных авторов, мы увидим, что так оно и было в буквальном смысле. Кастрированная версия Банделло, переработанная Асканио Центорио дельи Ортензи, была опубликована в 1560 году.^[151] В нем были опущены посвящения и преамбулы, подавлены некоторые рассуждения, которые смягчали порочное поведение, вычеркнуты романы, которые выставляли монахов или священников на посмешище, но нечистоты в остальном остались нетронутыми. Исправленная версия "*Балдуса*" Фоленго появилась в 1561 году. Сатиры на религиозные ордена были удалены. Замбеллусу наставил рога мирянин, а не священник. В остальном грязь оригинала не подверглась очистительной обработке. Когда Козимо де'Медичи потребовал, чтобы было лицензировано исправленное издание "*Декамерона*", Пий V. поручил это дело Томасу Манрике, магистру Священного дворца. Он был опубликован Джунти в 1573 году под покровительством Григория XIII., с одобрения Святой канцелярии и Флорентийской инквизиции, подкрепленный привилегиями испанских и французских королей, герцогов Тосканы, Феррары и так далее. Изменения, которые претерпел шедевр Боккаччо, были таковы: исчезли пассажи, отдающие привкусом сомнительной догмы, сарказмы в адрес монахов и духовенства, имена святых, намеки на дьявола и ад. Церковные грешницы превратились в студентов и профессоров, монахини и настоятельницы - в жен горожан. Короче говоря, безнравственность была секуляризована. Но книга по-прежнему предлагала те же соблазны для похотливых умов. Сикст

V. выразил свое неодобрение этой редакции, и новые издания были лицензированы в 1582 и 1588 годах под редакцией Лионардо Сальвиати и Луиджи Грото. Оба сохранили непристойности *Декамерона*, в то время как они проявили большую строгость в отношении сатиры на церковную коррупцию. Можно добавить, отдавая должное Римской церкви, что "*Декамерон*" по-прежнему стоит в Указателе с пометкой "*очищение*".^[152] Следовательно, мы должны предположить, что работа очищения еще не завершена, хотя иезуиты использовали ее части в качестве учебника в своих школах, а Панигарола цитировал ее в своих лекциях по священному красноречию.

Читателю было бы утомительно распространяться об этом процессе глупого или лицемерного очищения, в результате которого из произведений таких людей, как Дони и Страпарола, были изъяты их размышления о духовенстве, в то время как их непристойности остались нетронутыми; или показывать, как были санкционированы комедии Ариосто, когда его сатиры из-за их свободного высказывания в адрес папского двора получили клеймо.^[153] Но я могу сослаться на гротескные попытки, которые предпринимались в эту эпоху, чтобы набросить мантию духовности на профанную литературу. Так, Иеронимо Малипьеры переписал *Канцоньерку* Петрарки, придав ей благочестивый оттенок, а "*Орlando Фуриозо*" был превращен несколькими руками в религиозную аллегория.^[154]

Действия Рима под влиянием Контрреформации явно руководствовались двумя целями: сохранить католическую догму в ее целостности и сохранить верховенство Церкви. Она стремилась уничтожить образование и парализовать интеллектуальную энергию. Но она не выказывала нежелания мириться с теми приятными пороками, которые ослабляют нацию. По сравнению с необоснованной доктриной и дерзкими спекуляциями безнравственность казалась в ее глазах простительной слабостью. Это правда, что она прилагала серьезные усилия к реформированию манер своих министров и в полной мере осознавала необходимость соблюдения приличий. И все же радикальное очищение общества казалось ей менее важным, чем сохранение католической ортодоксальности и привитие послушания церковной власти. Когда мы проанализируем систему образования иезуитов и их метод попечения о душах, мы увидим, до какой степени глубоко укоренившееся лицемерие контрреформации проникло в самые жизненно важные части католической системы. В конце этой главы будет достаточно коснуться еще одной репрессивной меры, принятой Церковью в панике. Магистраты получили строгие предписания препятствовать поездкам итальянских подданных в зарубежные страны, где, как было известно, широко распространена ересь или где обряды Римской церкви совершались нерегулярно.^[155] В 1595 году Климентом VIII. свел эти предостережения к папскому закону в Булле, которой он запретил итальянцам путешествовать без разрешения Святой канцелярии или проживать за границей без ежегодной передачи свидетельства об исповеди и причастии инквизиторам. Обеспечить соблюдение этого устава было бы невозможно без сотрудничества иезуитов. Однако они были рассеяны по странам Севера, Востока, Юга и Запада. Когда прибыл итальянец, отцы-иезуиты нанесли ему визит, и, если они не получили удовлетворительных ответов относительно его разрешения на передвижение и его готовности принять их духовное руководство, эти римские слуги направили жалобу в центральную Святую Канцелярию, на основании которой инквизиторы его провинции возбудили против него дело в его отсутствие. Торговцы, пренебрегавшие этими правилами, сталкивались с серьезными препятствиями в своих торговых операциях и с опасностью судебного преследования, связанного с конфискацией имущества на родине. Сарпи, который выступил с решительной критикой этого злоупотребления, указывает, какой вред эта система

нанесла коммерции.[156] Мы можем еще больше осудить это как недопустимое вмешательство в свободу личности; как отвратительное осуществление духовной тирании со стороны амбициозной церковной власти, которая стремилась ни к чему иному, как к всеобщему господству.

ГЛАВА IV

ОБЩЕСТВО ИИСУСА

Огромное значение иезуитов в Контрреформации—Игнатий Лойола—Его юность—Убежище в Манресе—Путешествие в Иерусалим—Учеба в Испании и Париже—Первое образование его Ордена в Сент—Барбе—Пребывание в Венеции—Поселение в Риме—Признание Папой Ордена—Его военный характер—Абсолютизм генералов—Преданность Римской церкви—Выбор членов—Практические и позитивные цели Основателя—Исключение аскетов, принятие мирского Духа—Обзор быстрого распространения Ордена по Европе—Позиция Лойолы—Отношения со своими главными помощниками—Пропаганда—Добродетель послушания—*Духовные упражнения*—Материалистическое воображение—Интенсивность и поверхностность религиозного обучения—Статус послушника—Временные помощники—Схоластика—Исповедовал Три обета—Исповедовал Четыре обета—Генерал—Контроль, осуществляемый над ним его Помощниками—Его отношение к Генеральной Конгрегации—Шпионаж как часть иезуитской системы—Выгодное положение довольного собой иезуита—Обет бедности—Дома исповедуемых и колледжи—Духовенство Конституции и декларации—Проблема *Тайного банка*—Взаимоотношения Рима и Компании—Особенности иезуитского образования—Направление совести—Моральная распушенность—Критика Сарпи—Казуистика—Вмешательство в государственные дела—Подстрекательство к цареубийству и политический заговор—Теории превосходства Церкви—Восстание европейских народов против Компании.

В предыдущих главах мы видели, как Испания стала доминирующей в Италии, вытеснив соперничество конфедеративных штатов монотонностью рабства и придав свой вес Папскому Риму. Внутренние изменения, произведенные в Церкви Тридентским собором, и внешняя власть, дарованная ей, были в немалой степени обусловлены влиянием или санкцией Испании. Испанский институт, инквизиция, модифицированная в соответствии с итальянскими требованиями, предоставила возрожденному католицизму оружие репрессий и нападений. Теперь мы должны узнать, какими средствами частичная энергия была передана слабеющей части католических верований, как распространялся тридентский символ веры, контролировалась духовная сфера римского понтифика и укреплялся его светский авторитет. Испанский орден возник в нужный момент, чтобы обеспечить тот интеллектуальный и моральный элемент жизнедеятельности, без которого католическое Возрождение могло бы остаться таким же инертным, как мертворожденный ребенок. Преданность иезуитов папству на самом деле была властным испанским духом той эпохи, маскировавшим свои мировоззренческие амбиции под маской послушания Риму. Это не означает, что основатели и первые организаторы Общества Иисуса сознательно преследовали одну цель, в то время как делали вид, что имеют в виду другую. Импульс, двигавший Лойолой, был спонтанным и романтическим. Мир видел мало примеров бескорыстной самоотдачи, равной Ксавьеру. И все же

факт остается фактом: иезуитизм, зародившийся в испанском характере, сохранившийся как организм внутри Церкви, но отдельный от церковной иерархии, разработал доктрину папского абсолютизма и стал главным проводником той католической политики в Европе, которая считалась папской во время Контрреформации. Неразрывная связь между Римом, Испанией и иезуитами была очевидна всем непредвзятым наблюдателям. Для этой триады реакционных и воинственных сил Сарпи придумал название Диакатоликон, намекая в метафоре наркотика на вирус, который в его дни внедрялся во все государства Европы.[157]

Основатель ордена иезуитов был тринадцатым ребенком в семье испанского дворянина, родившимся в 1491 году в замке своего отца Лойола в баскской провинции Гипускоа.[158] Его полное имя было Иньиго Лопес де Рекальде; но в истории он более известен как святой Игнатий Лойола. Свое детство Игнатий провел пажом на службе у короля Фердинанда Католического, откуда перешел к герцогу Наджарскому, который был наследственным другом и покровителем его семьи. В это время он не думал ни о чем, кроме ратных подвигов, воинской славы и романтических приключений.

Он мог похвастаться весьма скромным образованием, и его любимым чтением было "*Амадис Галльский*". Этот романс появился в раннем детстве мальчика, и теперь Испания с упоением поглощала его высокопарные рапсодии. Особая смесь мистического благочестия, католического энтузиазма и рыцарской страсти, отличающая *Амадуса*, в точности соответствовала духу испанцев в ту эпоху, когда они прекратили свою вековую борьбу с маврами и сочетали пропагандистское рвение с воинственным пылом в завоевании Нового Света. Ее страницы воспламенили воображение Игнатия. Он начал сочинять романс в честь Святого Петра и выбрал для своей Орианы принцессу королевской крови. Таким образом, в первые дни юности, когда его сердце все еще было устремлено к любви и войне, он проявил три главные черты своего характера — неумное честолюбие, набожность преданного и склонность рассматривать религию с точки зрения вымысла.

Игнатию едва исполнилось двадцать, когда произошли события, определившие дальнейшую его жизнь и так сильно повлиявшие на судьбы католического христианского мира. Французы вторглись в Наварру, и он был занят обороной ее столицы Пампелуны. 20 мая 1521 года пуля раздробила его правую ногу, в то время как его левая ступня была ранена осколком камня, оторвавшимся от бреши в бастиионе. Перевезенный в замок своего отца, он долго страдал под присмотром неквалифицированных санитаров. Плохо сросшуюся кость его правой ноги пришлось дважды ломать, и когда она наконец срослась, молодой рыцарь оказался калекой. Эта конечность была короче другой; хирурги пытались удлинить ее с помощью железных машин, что причиняло ему невыносимую боль. После нескольких месяцев пыток он остался хромым на всю жизнь.

Во время болезни Игнатий читал такие книги, как "*Замок Лойолы*". Это были "*Жизнь Христа*" и "*Цветы святых*" на испанском языке. Его ум, подготовленный рыцарской романтикой и сильно склонный к набожности, почувствовал особое очарование в рассказах о Доминике и Франциске. Их героизм подсказал новые пути, по которым стремящийся к славе мог бы пройти с честью. Пришлось отказаться от военной славы и любви женщин, ибо столь амбициозный мужчина не мог довольствоваться успехами калеки в этих сферах деятельности. Но легенды о святых и мучениках указывали на карьеру не менее благородную, не менее полезную и даже более соблазнительную для воображения. Он стал бы духовным Рыцарем Христа и Богоматери.

Святому Петру, своему избранному защитнику, он горячо молился; и когда, наконец, он поднялся с одра болезни, он твердо верил, что его жизнь была спасена заступничеством этого покровителя и что отныне она должна быть посвящена служению вере. Мир должен быть оставлен. Вместо того, чтобы воевать с врагами Христа на земле, он продолжил бы крестовый поход против сил тьмы. Они были первыми, кого он встретил и с кем боролся в его собственном сердце. Впоследствии он сформирует и возглавит ополчение единомышленников-борцов против оплотов зла в человеческой природе.

Не следует думать, что план основания Общества так рано зародился в голове Игнатия. Что мы должны заметить на данном этапе, так это то, что своим принятием религиозной жизни он был обязан романтическим фантазиям и пылким амбициям в сочетании с преданностью Петру, святому православия и Церкви. Воодушевленный этим новым энтузиазмом, он сумел сбежать из дома весной 1522 года. Его друзья воспротивились его призванию, но он ускользнул от них, дал обет целомудрия и воздержания и отправился в паломничество к Богородице Монсерратской близ Барселоны. В дороге он ежедневно бичевал себя. Добравшись до святилища, он поднял руки вверх в качестве жертвоприношения по обету и совершил бдение, которого рыцарский обычай требовал от оруженосца перед тем утром, когда его нарекут рыцарем. Эта церемония соблюдалась пункт за пунктом, в соответствии с ритуалом, который он прочитал в книге *"Амадис Галльский"*. На следующий день он отдал свою одежду нищему и облачился в одеяние нищенствующего паломника. Благодаря самоотверженности он теперь стал Рыцарем Святой Церкви.

Его первым намерением было отплыть в Палестину с целью проповеди неверным. Но чума помешала ему покинуть порт, и он удалился в доминиканский монастырь в Манресе, маленьком городке Каталонии, к северо-западу от Барселоны. Здесь он предался жесточайшей самодисциплине. Питаясь хлебом и водой, семь часов подряд стоя на коленях в молитве, трижды в день бичуя свою плоть и сведя сон к самому минимуму, Игнатий стремился с помощью аскезы присвоить себе тот венец святости, который, по его мнению, ему причитался. Разгневанная природа вскоре предупредила его, что он стоит на пути, ведущем к неудаче. Отчаяние овладело его душой, иногда побуждая покончить с собой, иногда преследуя его отвратительными видениями. В конце концов он опасно заболел. Просветленный ожиданием ранней смерти, он убедился, что его фанатичный аскетизм был безумием. Отчаяние, ужасные призраки, преследовавшие его, были немедленно приписаны дьяволу. В тех более редких посещениях светлых видений, которые иногда приносили утешение, призывая его упокоиться по Божьей милости, он узнавал ангелов, посланных вести его по пути спасения. В этих делах проявилась Божья рука; и он решил посвятить свое тело, так же как и душу, служению Богу, уважая обоих как инструменты божественной воли и проявляя эффективность обоих в выполнении требуемой от них работы.

Опыт Манресы оказался в высшей степени плодотворным для будущего метода Игнатия. Именно здесь он начал рассматривать самодисциплину и самоанализ как необходимую прелюдию к посвященной жизни. Именно здесь он научился осуждать аскетизм отшельников как пагубный или невыгодный для воинствующего христианина. Именно здесь, изучая руководство по преданности, написанное Гарсией де Сиснеросом, он заложил основы для тех знаменитых *упражнений*, которые стали его инструментом для быстрого прохождения неопитами духовного обучения, подобного его собственному. Именно здесь он впервые различил два вида видений: адское и небесное. Здесь также он познакомился с

использованием конкретного воображения и понял, как способность чувственного осознания может стать мощным двигателем для представления прошлого священной истории или догм ортодоксального богословия в воображаемых формах. Наконец, во всех опытах Манресы он испытывал характер своего собственного персонажа, который на самом деле был не поэтом или мистиком, а пронизательным человеком действия, разрабатывающим систему, рассчитанную на подчинение разума и воли миллионов. Испытанный добровольными страданиями и болезненными галлюцинациями, его здравый смысл, чувство того, кому суждено управлять людьми, набрался энергии и окреп в солидной силе: и все же от его фанатизма осталось достаточно, чтобы действовать как движущая сила в схеме, которую он впоследствии разработал; от преодоленной им аскетической фазы уцелело достаточно, чтобы заставить его понять, что такие мучения, какие он перенес, должны стать преддверием к посвященной жизни. Мы можем сравнить муки Игнатия в Манресе с современной борьбой Лютера в Виттенберге и Вартцбурге. Наше воображение остановится на различных проблемах, к которым привели двух героев, отличавшихся практическими способностями, в их борьбе с силами духовного зла. Протагонисты соответственно Реформации и Контрреформации, они пришли к противоположным выводам; один отстаивал дело духовной свободы в современном мире, другой посвятил свой гений поддержанию католической ортодоксии духовным деспотизмом. И все же каждый в равной степени выполнил свою миссию, победив мистицизм в начале своего всемирно-исторического пути.

Игнатий оставался в Манресе в течение десяти месяцев. Затем он нашел средства осуществить свое заветное путешествие в Святую Землю. В Палестине к нему относились холодно как к невежественному энтузиасту, способному ниспровергнуть существующий порядок вещей, но слишком слабому, чтобы рассчитывать на постоянную поддержку. Его мотивирующие идеи все еще были призрачными; он не мог справиться с консерватизмом и фригидностью, укоренившимися в удобных местах заработка. Было необходимо, чтобы он научился мудрости компромисса. Соответственно, он вернулся в Испанию и поступил в школу. Два года, проведенные на подготовительных курсах в Барселоне, еще один период в Алькале и еще один в Саламанке, познакомили его с языками, грамматикой, философией и теологией. Этот человек благородной крови и огромных амбиций, старше тридцати лет, сидел с мальчиками на общих скамьях. Этот самопосвященный святой усвоил общие места схоластической логики. Это был дальнейший этап в эволюции его железного характера от романтики и мистицизма к политической и практической пронизательности. Это было дальнейшим воспитанием его упрямой воли к сговорчивости. Но он не мог отказаться от своей миссии основателя и апостола. Он обучал учеников, проповедовал и сформировал секту преданных. Затем Святая Канцелярия напала на него. Он был заключен в тюрьму, один раз на сорок два дня в Алкале, другой раз на три недели в Саламанке, по обвинению в ереси. Игнатий доказал свою невиновность. Инквизиторы освободили его с оправдательными приговорами; но они приговорили его к четырем годам изучения теологии, прежде чем он осмелится проповедовать. Эти годы он решил провести в Париже. Соответственно, он совершил путешествие пешком и прибыл в столицу Франции 2 февраля 1528 года. Ему было тогда тридцать семь лет, и с тех пор, как он получил ранения в Пампелуне, прошло шестнадцать лет.

В Париже ему пришлось заново ходить в школу. Подаяния доброжелателей, в основном набожных женщин Барселоны, в избытке обеспечили его средствами. Их он использовал не только для продвижения своих собственных исследований, но и для того, чтобы заручиться поддержкой приверженцев своего дела. В то время он посещал города Бельгии и Лондон во

время своих каникул. Но главным результатом его пребывания в Париже стало формирование Общества Иисуса. Те долгие годы его послушничества и странствий не прошли даром и сейчас. Они научили его, упрямо цепляясь за главные проекты своей жизни, осмотнительности в выборе средств, сдержанности в ожиданиях, пронизательности в манипулировании коллегами-работниками, отобранными для все еще романтических целей, которые он имел в виду. Его первыми двумя учениками были савояр Питер Фабер, или Левр, и Франциск Ксаверий из Пампелуны. Фабер был бедным студентом, которому Игнатий помогал деньгами. Ксаверий происходил из благородного рода, прославившегося в военном деле на протяжении поколений, за что он стремился завоевать дополнительные почести науки и Церкви. Игнатий помогал ему, приводя студентов на свои лекции. Под личным влиянием своего друга и благодетеля оба этих человека решили оставить все и следовать за новым светом. Какой бы дальновидной ни была цель, твердая воля, горячая уверенность и святая жизнь Лойолы внушали им абсолютное доверие. То, что христианская вера, как они ее понимали, оставалась подверженной серьезным опасностям извне и формировалась внутри, что миллионы душ погибали из-за невежества, что десятки тысяч отпадали из-за неверия и ереси, было несомненно. Царству Христа на земле нужны были чемпионы, солдаты, преданные крестовому походу против сатаны и его воинства. И вот перед ними был лидер, человек среди людей, человек, чьи слова были подобны огню, а метод духовной дисциплины был спасительным и просветляющим; и этот человек предложил им присоединиться к нему в Священной Войне. Он приобретал их сотнями способов: добротой, наставлениями, терпением, убеждением, вниманием к их физическим и духовным потребностям, теплыми и мудрыми словами, руководством их совести, глубоким и интенсивным сочувствием к душам, борющимся за высшую жизнь. Средства, которые он использовал, чтобы заполучить Фабера и Ксавье, были с таким же успехом использованы в случае с семью другими учениками. Имена этих людей заслуживают того, чтобы их записали, поскольку некоторые из них сыграли важную роль в европейской истории, в то время как все они внесли свой вклад в основание ордена иезуитов. Это были Джеймс Лайнез, Альфонсо Сальмерон и Николас Бобадилья, трое испанцев; португалец Симон Родригес д'Азеведо; два француза, Жан Кодюр и Бруз; и савоярец Клод ле Жей. Все эти неофиты были подвергнуты Игнатием жесткой дисциплине, основанной на его *Exercitia*. Они встретились вместе для молитвы, размышления и обсуждения в его комнате в колледже Сан-Барбе. Здесь он раскрыл им свои собственные планы и излил на них свой дух. Наконец, 15 августа 1534 года, все десять вместе приняли обеты целомудрия и бедности в церкви Святой Марии на Монмартре и обязались провести миссионерский крестовый поход в Палестину или, если это окажется невыполнимым, отдать себя в качестве преданных инструментов, без условий и вознаграждения, в руки Суверенного понтифика.

Таким образом, общество было создано, хотя его цель оставалась неопределенной. Романтическая мечта основателя о крестовом походе в Святую Землю, хотя и не была реализована, вызвала непосредственный интерес у связанных с ним друзей. Между тем были четко обозначены две основные черты его исторического проявления - пропаганда католической веры и безоговорочная преданность делу Римского престола. Ничто так не доказывает превосходство, которое Игнатий теперь приобрел над своим собственным энтузиазмом, или понимание, которое он приобрел в отношении правильного метода общения с людьми, как использование им своего авторитета в этом первом случае. Общество должно было расти и расширяться, и ему было суждено получить неизгладимый отпечаток его гения. Но, словно вдохновленный каким-то пророческим видением его будущего величия, он

воздержался от ограничения все еще нежного эмбриона определенными рамками, которые могли бы оказаться пагубными для его развития.

Партнеры завершили учебу в Париже, и в 1535 году они расстались, договорившись встретиться в Венеции в первые месяцы 1537 года. Тем временем Игнатий отправился в Испанию, где уладил свои дела, раздав все имущество, которым обладал, благотворительным учреждениям. Он также возобновил проповедь с рвением, которое вызвало энтузиазм и расширило его личное влияние. В назначенное время десять человек собрались в Венеции, якобы намереваясь осуществить свой план посещения Палестины. Но теперь была объявлена война между турками и Республикой Сан-Марко. Игнатий обнаружил, что его снова обвинили в ереси, и ему было нелегко оправдаться перед инквизицией. В этих обстоятельствах было решено отказаться от миссии в Святую Землю как неосуществимой в данный момент и остаться в Венеции в ожидании более благоприятных возможностей. Мы можем полагать, что романтика крестового похода среди неверных Сирии уже начала исчезать из воображения основателя, в карьере которого нет ничего более поразительного, чем его постепенный отказ от мечтательности ради осязаемых целей и постепенная замена реальных целей призрачными амбициями.

Первый контакт Лойолы с итальянским обществом во время этой резиденции в Венеции оказал решающее влияние на его планы. Кажется, он острым орлиным нюхом почувствовал, что здесь находится добыча, которую он так долго искал. Италия, источник интеллектуального просвещения Европы, была той областью, которую он должен был завоевать. Только Италия давала точку опоры, необходимую для его твердого и безграничного желания господствовать над душами. Именно у Караффы и театинцев Игнатий обрел дом. Теперь они были основаны в штатах Сан-Марко благодаря благотворительности богатого венецианского дворянина Джироламо Миани, который открыл религиозные дома и предоставил их в их распоряжение. Под руководством своего основателя они выполняли задуманную ими функцию подготовки высшего класса духовенства к обязанностям проповеди и священства, а также к подавлению ереси образовательными средствами. Схема Караффы была слишком ограниченной, чтобы удовлетворить Игнатия, а характеры обоих мужчин были плохо приспособлены для сотрудничества. Одно рвение к вере вдохновляло обоих. Здесь они согласились. Но Игнатиус был испанцем, и второй страстью в груди Караффы была ненависть неаполитанца к этой нации. Более того, Игнатий предполагал создать для своих работников в винограднике веры гораздо более обширный и гибкий механизм, чем мог бы вынести властный нрав будущего папы. Этим двум лидерам Контрреформации, одинаково амбициозным, одинаково нетерпимым к оппозиции, одинаково стремящимся к обширному владычеству, пришлось расстаться. Одному было суждено организовать Инквизицию и Индекс. Другой развил то, что исторически известно как иезуитизм. Тем не менее мы знаем, что Игнатий многому научился у Караффы. Последующая организация его заказа показала, что театинцы предложили много практических моментов в методе, который он в конечном итоге применил для реализации своих замыслов.

Тем временем некоторые из его спутников отправились в Рим. Там они получили от Павла III разрешение посетить Палестину с миссионерской целью, а также особые привилегии для вступления в священнические ордена. Те из десяти друзей, которые еще не были священниками, были рукоположены в Венеции в июне 1537 года. Затем они начали проповедовать публично, бродя по улицам с лицами, изможденными воздержанием, одетые в рваную одежду и используя язык, странно состоящий из итальянского и испанского. Их

очевидный энтузиазм и святая жизнь, которую они, как было известно, вели, быстро завоевали им высокую репутацию святош. Как светское, так и религиозное духовенство Италии могло назвать в ту эпоху лишь немногих людей, равных этим братьям. Осенью было решено, что все они должны вновь посетить Рим, путешествуя разными маршрутами и размышляя о форме, которую должен принять Орден. Палестина теперь была определена, хотя и молчаливо, оставлена. Как и следовало ожидать, именно Лойола крестил свой Орден и запечатлел определенный характер в зарождающемся учреждении. Он решил назвать это общество "Отряд Иисуса", имея в виду те Авантюрные отряды, которые в прошлом придавали нерегулярную организацию неугомонным военным духам. Новая рота должна была стать "когортой, или центурией, объединенной для борьбы с духовными врагами; воинами, преданными телом и душой нашему Господу Иисусу Христу и его истинному и законному Наместнику на земле".^[159] Англичанин наших дней может остановиться, чтобы поразмыслить над гротескной параллелью между зарождающимся Орден иезуитов и Армия спасения, и может сделать из этого такие выводы, которые могут показаться полезными.

Отказ Лойолы от всякого участия в номинальной чести своего учреждения, его зачисление в ополчение, которое он набрал под именем Иисуса, и боевые функции, которые он приписывал ему, были весьма решительными признаками оригинальности. Это с самого начала придавало телу безличность и указывало на воинственную позицию, которую ему было суждено занять. Ни в одном из предыдущих религиозных орденов не было ничего в точности похожего на его доминирующую концепцию. Обычно они получали свой титул от основателя, стремились к жизни в уединении от мира, изучали освящение отдельных своих членов и лишь предполагали косвенное воздействие на общество. Игнатий, напротив, поставил свою общину под защиту Христа и с самого начала определил ее как воинственный и подвижный вспомогательный легион, посвященный не уединению или стремлению к спасению, но открыто заявляемому активному сражению в защиту наместника своего Учителя на земле. Это было так, как если бы он предвидел недостатки католицизма в ту эпоху и решил дополнить их созданием романа и особого оружия нападения. Некоторые институты средневекового рыцарства, рыцари Храма и Святой Иоанн, например, представляют собой наиболее близкую аналогию с его основанием. Их дух он перенес из сферы физической борьбы с видимыми силами, неверными и мусульманами, в сферу интеллектуальной войны против ереси, неверия, неподчинения в Церкви. Он усовершенствовал грубый романтический энтузиазм, который вдохновлял его на Монтсеррате. Не теряя своей интенсивности, он стал движущей силой реальной и политической значимости.

Общество Иисуса было далеко от того, чтобы получить немедленное одобрение Церкви. Павел III действительно осознал его полезность и проявил заметную благосклонность к своим сподвижникам, когда они прибыли в Рим примерно в конце 1537 года. Люди тоже с радостью приветствовали их служение и признавали усердие, которое они проявляли в актах милосердия, и их образцовое поведение. Но Курия и высшее духовенство организовали против них оппозицию. Их обвинили в ереси и попытках совратить простой народ. Игнатий потребовал полного и публичного расследования, в котором ему сначала было отказано. Затем он лично обратился к папе, который назначил судебное разбирательство, из которого братья вышли с полным оправданием. После этого успеха они получили доступ к религиозному обучению во многих школах Рима. Вокруг них столпились приверженцы; и они увидели, что пришло время придать обществу определенную организацию и потребовать его официального признания в качестве Ордена. Было решено добавить обет послушания к их прежним обетам целомудрия и

бедности. Послушание всегда было главной добродетелью в монастырских учреждениях, но Игнатий воспринимал его по-новому, в воинском духе. Послушание иезуитов должно было быть абсолютным, распространяясь даже на обязанность совершать грехи по приказу вышестоящего начальства. Генерал, вместо того чтобы занимать должность в течение нескольких лет, должен был избираться пожизненно с неограниченным командованием над всем Орденом в нескольких его степенях. Его следовало рассматривать как присутствующего и олицетворенного Христа. Могло бы показаться, что это самодержавие Генерала угрожает верховенству Святого Престола, если бы не четвертая клятва, которую Компания решила принять. В нем говорилось следующее: "Члены церкви посвятят свои жизни постоянному служению Христу и папам, будут сражаться под знаменем Креста и будут служить Господу и Римскому понтифику как Божьему наместнику на земле таким образом, что они будут обязаны исполнять немедленно и без колебаний или оправданий все, что правящий папа или его преемники могут им предписать для спасения душ или распространения веры, и будут делать это во всех провинциях, куда бы он их ни послал, среди турок или любых других неверных". , в самые отдаленные районы Индии, а также в регион еретиков, раскольников или верующих любого толка".

Сам Лойола составил эти конституции в пяти главах и представил их Павлу III с ходатайством о том, чтобы они были утверждены. Это было в сентябре 1539 года, и удивительно, что человеком, выбранным для того, чтобы довести их до сведения папы, должен был быть кардинал Контарини. Павлу было нетрудно понять, какую поддержку этот новый Порядок окажет папству в его конфликте с реформаторами и в его дипломатических затруднениях с Карлом V. Сообщается даже, что он сказал: "Здесь перст Божий!", однако он не мог утвердить конституции без предварительного одобрения трех кардиналов, назначенных для представления докладов по ним. Этот комитет осудил план Лойолы; и почти год прошел в переговорах с иностранными князьями и могущественными прелатами, прежде чем вопреки общепризнанному желанию папы было получено неохотное согласие. Наконец, Булла от 27 сентября 1540 г., *Regimini militantis Ecclesiae*, положила начало Обществу Иисуса по всему миру. Игнатий стал первым генералом Ордена; и остаток своей жизни, длившийся шестнадцать лет, он потратил на совершенствование механизма и расширение этого учреждения, которое по сути было порождением его собственного разума.

Возможно, на этом этапе будет неплохо набросать организацию иезуитов и описать прогресс Общества при жизни его основателя, чтобы составить правильное представление о доле Лойолы в его создании. Многие выдающиеся историки, и среди них такой проницательный наблюдатель, как Паоло Сарпи, придерживались мнения, что иезуитизм в его более позднем развитии был отклонением от духа и намерений Игнатия. Утверждается, что Лайнез и Сальмерон, а не Лойола, придали Ордену тот облик, который сделал его символом ненависти и отвращения Европы. Аквавиве, пятому генералу, приписывают его политику вмешательства в дела государств и наций. Тем не менее, я думаю, можно показать, что Общество в том виде, в каком оно появилось в семнадцатом веке, было логичным и необходимым развитием Общества, как его описал Игнатий в шестнадцатом веке.^[160]

Лайнез, сменивший основателя на посту генерального директора, переработал конституции и снабдил их комментариями или Справочниками. Он определил, сформулировал и

стереотипизировал систему; но основные качества иезуитства, его сосредоточенность на политических целях, его беспринципность в выборе средств достижения целей, мирскость, которая скрывалась за знаменитым девизом *Ad Majorem Dei Gloriam*, были скрыты в недвусмысленных словах Лойолы и в его фактическом управлении. Структура Ордена, как он ее определил, была так четко очерчена и так хитроумно разработана для обеспечения практической эффективности, что не допускала никаких изменений, кроме как в направлении более жесткого определения. Лайнез, действительно, мог подчеркнуть тенденцию церкви к превращению в политическую машину и, возможно, ослабить ее религиозный тон своими правилами толкования конституций; но мы видели, что развитие собственных идей Лойолы шло в этом направлении. Реальная сила, равно как и худшие пороки иезуитизма, были присущи этой системе с самого начала; и в ней мы имеем, возможно, самый замечательный из известных примеров эволюции космополитического и всемирно значимого организма из эмбриона, зачатия одного человека.

Булла *Regimini militantis Ecclesiae* ограничила число иезуитов шестьюдесятью. Если Игнатий сам не предлагал это ограничение, то, возможно, оно предполагало его политику сохранения всех привилегий Общества за небольшой группой избранных членов — самой сути общества, извлеченной с помощью процессов, которые будут описаны позже. Во всяком случае, несомненно, что, хотя папские ограничения были сняты в 1543 году, и хотя кандидаты потекли по течению моды в сторону Ордена, все же представительных и ответственных Отцов оставалось немного. Они были распределены по общему усмотрению. Он остался в Риме; ибо Рим был избранной штаб-квартирой Общества, ядром их роста и точкой опоры их энергии. Из Рима, как из центра, Игнатий двинул своих людей по всей Европе. В рамках одной метафоры мы могли бы сравнить его с шахматистом, расставляющим свои фигуры по клеткам политической и церковной шахматной доски; в рамках другой - с пауком, плетущим свою паутину таким образом, чтобы заполучить как можно больше выгодных сторонников. Отцы находились в постоянном движении. Перемещать их с места на место, исключать из родной почвы, сделать космополитичными и податливыми было первой заботой основателя. Он запрещал безумства аскетического благочестия, прививал изучение языков и точные знания и, прежде всего, рекомендовал овладевать теми общественными искусствами, которые пользуются благосклонностью принцев и людей с высоким положением. "Исключительное благоразумие, - сказал он, - в сочетании со средней святостью, более ценно, чем выдающаяся святость и меньшее благоразумие". Также он призвал их держать ухо востро в отношении неофитов, "менее отмеченных чистой добротой, чем твердостью характера и способностями в ведении дел, поскольку люди, не способные к общественным делам, не соответствуют требованиям Общества". Орландино говорит нам, что, хотя Игнатия тянуло к людям, проявившим выдающиеся способности к эрудиции, он предпочитал в трудностях Церкви выбирать таких, которые знали правду. Они были хорошо известны в мире и отличались своим социальным положением. Отцы должны были искать молодых людей "с хорошими природными данными, приспособленных к приобретению знаний и к практическим полезным работам". Их ученики должны были, по возможности, обладать физическими достоинствами и манерами, которые должны были сделать их приятными. Эти моменты имели больше практической ценности, чем простое призвание к благочестию. Имея дело с чувствительной совестью, они должны были действовать как "добрые ловцы душ, обходя многие вещи молчанием, как будто они не были соблюдены, пока не придет время, когда будет обретена воля и характер можно будет направить так, как они сочтут нужным".^[161] Неприязнь Лойолы к обычным формам монашества

проявляется в выборе им обычной сутаны светского священника для своего служения. их одежде, а также в его освобождении членов от религиозных упражнений и посещения хора. Отвращение, которое он испытывал к аскетической дисциплине, проявилось в письме, которое он адресовал Франциску Борджиа в 1548 году. Лучше, пишет он, укрепить свой желудок и другие способности, чем истощать тело и ослаблять интеллект голоданием. Богу нужны как наши физические, так и умственные силы для его служения; и каждая капля крови, пролитая вами при бичевании, - это потеря.

Поставленная цель состояла в том, чтобы служить Церкви, проникая в европейское общество, завладевая его лидерами по рангу и наследственному влиянию, руководя образованием, беря на себя контроль над конфессией и проповедуя веру в формах, приспособленных к слабостям и фантазиям эпохи. Интересы Церкви были превыше всего: "Если она учит, что то, что кажется нам белым, на самом деле черное, мы должны немедленно объявить это черным". Были добавлены и другие заповеди. Вот, например, что, по-видимому, заслуживает упоминания: "Работники виноградника Господня должны стоять только одной ногой на земле, другую следует поднимать, чтобы идти вперед". "Отречение от собственной воли имеет большую ценность, чем если бы кто-то возвращал мертвых к жизни". "Ни одна буря не является столь пагубной, как затишье, и ни один враг не является столь опасным, как отсутствие такового". Будет видно, что то, что известно как иезуитизм, в его мирской силе и в его личной преданности делу, вытекает из наставлений Игнатия. Мы можем задаться вопросом, каким образом романы горной крепости Лойолы, мистицизм Монсеррата и борьба Манресы должны были привести основателя ордена иезуитов к таким результатам. Тем не менее, если мы проанализируем проблему, это даст вероятное решение. То, что сохранилось от того первого периода, - это дух восторженного служения Церкви, огромные амбиции человека, который чувствовал себя предназначенным инструментом для укрепления рушащихся стен католицизма, воинственный инстинкт воина, сражающегося в страшных условиях с народами, стремящимися к неверию.

Он не сомневался, где находится истина. Он был испанцем, слугой Святого Петра; и для него символ веры, провозглашенный Римом, был всем во всем. Но его общение с миром, его проницательная баскская натура и его суждение о ситуации в Европе научили его, что он должен использовать другие средства, отличные от тех, к которым прибегали Франциск и Доминик. Он должен был составить себе Компанию, эта жалкая надежда католицизма, выразитель декадентской и прогнившей веры. Он должен был приспособить его к потребностям распадающегося христианского мира, сформировать его хитрым и проницательным методом. Он должен был сделать это мудрым в мудрости мира сего, чтобы он мог уловить силы этого мира по их интересам и порокам для Церкви. Он был подобен Макиавелли, пытавшемуся спасти коррумпированное государство, используя коррупцию в общепризнанных здравых целях. И, подобно Макиавелли, он ошибался, потому что человеку не принесет пользы вера в хитрость или манипулирование злом. Лютер был сильнее в своей слабости, чем создатель иезуитского механизма, мудрее в своей простоте, чем создатель этого тонкого механизма. Но на стороне Лютера были прогрессивные силы человечества. Игнациус мог задержать их только своей изобретательностью. Поэтому нас можно простить, если мы восхищаемся Игнатием за мужественные усилия, которые он приложил в деле, терпящем неудачу, и за великолепные дары организаторского благоразумия, которые он посвятил неуместной цели.

Под его руководством члены Общества распространились по Европе, и всегда с одинаковыми результатами. Куда бы они ни пошли, к Ордену присоединялись сотни приверженцев. Павел III.

и Юлий III. наделили его привилегиями, видя, какой силой он стал в борьбе с ересью. Игнатий не жалел сил, чтобы упрочить свое положение в Риме, ухаживая за кардиналами и прелатами, посещая послов и принцев, добиваясь их благосклонности и предлагая взамен услуги своих братьев. Были начаты выгодные переговоры с королем Испании и герцогом Баварским, которые под прикрытием реформаторских монастырей привели к разделу церковной собственности между иезуитами и государством. Веские причины, казалось, оправдывали такие акты грабежа; ибо старые ордена погрязли в лени и безнравственности безвозвратно, в то время как Компания поддерживала все, что было разумного в католической дисциплине, проповедях и обучении. В Италии иезуиты с самого начала добились быстрого прогресса. Лайнез оккупировал венецианскую территорию, выступая против протестантских взглядов в самой Венеции, в Брешии и среди гор Вальтеллине. Ле Жей сражался с войсками Кальвина и Рене Французского при Ферраре. Сальмерон овладел Неаполем и Сицилией. Пьяченца, Модена, Фаэнца, Болонья и Монтепульчано приняли отцов церкви с распростертыми объятиями. Фарнези приветствовали их в Парме. Куда бы они ни пошли, они заручались доброй волей благородных женщин и получали некоторое влияние в университетах. В главных городах полуострова были основаны колледжи, где не только преподавали бесплатно, но и использовали методы, превосходящие те, что были в моде ранее. Рим, однако, оставался оплотом Компании. Здесь Игнатиус основал свой первый дом в 1550 году. Это был Римский коллегиум, и в 1555 году из его стен вышло около сотни учеников, прошедших курс изучения греческого, латыни, иврита и теологии. В 1557 году он приобрел дворец Сальвиати, на месте которого сейчас стоит обширное заведение Джезу. В 1552 году он основал отдельное учебное заведение, Collegium Germanicum, для специальной подготовки молодых немцев. Существовало также подчиненное учебное заведение для обучения сыновей дворян. Эти колледжи послужили образцом для аналогичных школ по всей Европе; некоторые из них предназначались для пополнения общества членами, а некоторые - для того, чтобы произвести впечатление на мирян католическими принципами. Единообразие было целью, которую иезуиты всегда держали в поле зрения.

Поначалу они не пользовались таким успехом во всех католических странах. В Испании Карл V относился к ним с подозрением как к людям, присягнувшим папству; а орден доминиканцев, столь могущественный благодаря своему влиянию на инквизицию, справедливо считал их соперниками. Хотя иезуиты и доминиканцы стремились к одной цели, средства, используемые ими, были слишком разнообразны, чтобы эти поборники православия могли гармонично работать вместе. Иезуиты принадлежали к будущему, к партии приспособления и контроля с помощью уловок. Доминиканцы уходили корнями в прошлое; их догматизм не допускал никаких компромиссов; они стремились править силой. Поэтому с самого начала в Испании разгорелась война между питомниками старшего и младшего псов Божьих. И все же иезуитизм набрал силу. Преимущество этого напитка заключалось в том, что он был местным и появился недавно. Он был мощным благодаря своей привлекательности для чувственного воображения и плотских суеверий этого иберийско-латинского народа. Это было соблазнительно благодаря смягчению деспотичной ортодоксальности и негибкому предписывающему закону. Там, где доминиканец был сталью, иезуит был тростью; там, где доминиканец дышал огнем и хворостом, иезуит предлагал казуистические различия; там, где доминиканец поднимал трудности, иезуит разрешал сомнения; там, где Доминиканец излагал теологические абстракции, иезуит предлагал стимулирующие или приятные образы; там, где доминиканец проповедовал догму, иезуит рассказывал романтические истории. Нужен был только один выдающийся новообращенный, чтобы внедрить иезуитов в Испании. Его они нашли в Франциске Борджиа,

герцоге Гандии, вице-короле Каталонии, а впоследствии третьем генерале ордена и святом. Этот человек передал в их руки университет, который он основал, и примерно в то же время они закрепились в университете Саламанки. Тем не менее, они продолжали оказывать сильнейшее влияние на людей, которые считали их спасителями от тирании и уныния установленной доминиканской иерархии.

Португалия была завоевана одним ударом. Ксавье и Родригес основали там Компанию под нежным покровительством короля Иоанна III. Когда Ксавьер отправился в свою миссию в Индию в 1541 году, Родригес взял дела королевства в свои руки, контролировал кабинет министров и сформировал законного наследника по их завещанию.

С Францией у них было больше проблем. И университет, и парламент Парижа выступили против их соглашения. Сорбонна даже объявила их "опасными в вопросах веры, способными нарушить покой Церкви и изменить порядок монашеской жизни; более приспособленными разрушать, чем созидать". Галликанская церковь почуяла опасность в этих рабах папства, и только когда они помогли организовать Лигу, влияние Гизов дало им точку опоры в королевстве. Даже тогда их семинарии в Реймсе, Дуэ и Сан-Омере следует рассматривать скорее как форпосты *воплощения христианства* против Англии и Фландрии, чем как национально-французские учреждения. Во Франции они долгое время оставались мятежной и воинственной группировкой.^[162]

Они добились такого же частичного и тайного успеха в Нидерландах, где их положение поначалу было неоднозначным, хотя они рано приобрели некоторое практическое влияние на Лувенский университет. Возможно, мы правы, приписывая дурную славу Реймса, Дуэ, Сан-Омера и Лувена неполной симпатии, которая существовала между иезуитами и странами, где они основали эти поселения. Чувствуя себя не совсем дома, окруженная недовольством и завистью, на границе ересей, с которыми им предстояло бороться, их система приобрела самые мрачные краски в этих очагах интриг и лихорадочного фанатизма. Однако со временем иезуиты благодаря благосклонности Анны Австрийской прочно вцепились когтями в Нидерланды; и в 1562 году они с комфортом обосновались в Антверпене, Лувене, Брюсселе и Лилле, несмотря на прежнюю антипатию населения. Здесь, как и везде, они продвигались вперед, привлекая к своему делу женщин и знатных людей, а также демонстрируя достойные заслуги в области образования. Фабер добился эфемерного успеха в качестве преподавателя в Лувене.

Прочно закрепиться в Германии было заветным желанием Игнатия; "ибо там, - по его собственным словам, - зараза ереси подвергала людей более серьезным опасностям, чем где бы то ни было". Общество едва было основано, когда Фабер, Ле Жей и Бобадилья были отправлены на север. Фабер добился небольшого прогресса и был отправлен в Испанию. Но Бобадилья завоевал доверие Вильгельма, герцога Баварского; в то время как Ле Жей завоевал доверие Фердинанда Австрийского. В обеих провинциях они открыто заявили о своем намерении работать над реформированием духовенства и улучшением народного образования, что в дезорганизованном состоянии Германии казалось этим князьям чрезвычайно важным. Благодаря влиянию Баварии Бобадилье удалось добиться Временного правления, провозглашенного Карлом V. нугатори; в то время как Ле Жей основал колледж ордена в Вене. На этом важном посту его вскоре сменил Канисий, духовник Фердинанда, благодаря сотрудничеству которого кардинал Мороне впоследствии привел этого императора в

соответствие с папским планом ликвидации Тридентского собора. Следует добавить, что Ингольштадт в Баварии стал второй штаб-квартирой иезуитской пропаганды в Германии.

Методы, принятые Игнатием в обращении со своими тремя помощниками, Бобадильей, Ле Джеем и Канисиусом, настолько характерны для политики иезуитов, что требуют особого внимания. Потерпев поражение от Бобадильи в вопросе о Временном правительстве, Карл V. выразил свое недовольство. Он уже был недоволен Обществом, и его основатель почувствовал необходимость потакать ему. Поэтому Бобадилье демонстративно отказали в высшей степени ордена до тех пор, пока внимание императора не было отвлечено от причины его разочарования. С Ле Жеем и Канисиусом дело обстояло иначе. Фердинанд хотел сделать бывшего епископа Триестского, а последнего архиепископом Вены. Игнатий выступал против обоих проектов, утверждая, что Общество Иисуса не могло позволить себе расстаться со своими лучшими слугами и что их обеты послушания и бедности несовместимы с высоким положением в Церкви. Он осознал необходимость низведения каждого члена Общества до абсолютной зависимости от Общего, что было бы невыполнимо, если бы кто-либо из них достиг положения пре покойного. Поэтому был принят закон, объявляющий смертным грехом для иезуитов принятие епископства или других почетных должностей в Церкви. Вместо того чтобы принять митру, Канисию было разрешено управлять Венским престолом без узурпации его доходов. Миру это представило бескорыстное рвение иезуитов в соблазнительном свете; в то время как целостность Общества как независимого самодостаточного органа, требующего от своих членов рабской абсолютной преданности, была обеспечена. Можно упомянуть еще один пример той же ловкости. Император в 1552 году подарил кардинальскую шапку Франциску Борджиа, который по рождению был самым прославленным из ныне живущих иезуитов. Игнатий воздержался от того, чтобы дать отпор императору и оскорбить герцога Гандийского открытым запретом; но он сказал первому ожидать отказа герцога, в то время как второму он написал, выражая свою искреннюю надежду, что тот откажется от чести, наносящей ущерб Обществу. Эта дипломатия вызвала благодарный, но твердый ответ *Ноло Епископар* со стороны герцога, который, таким образом, взял на себя ответственность за оскорбление Карла V. Между тем миссионерские цели Компании не были оставлены без внимания. Ксавье покинул Португалию в 1541 году, отправившись в знаменитое путешествие по Индии и Китаю, факты которого по своему романтическому интересу можно сравнить с подвигами Кортеса или Писарро. Бразилия, трансатлантическая Португалия, была оставлена иезуитам, и они начали нащупывать свой путь в Мексике. В 1561 году, в год смерти Лойолы, тридцать два члена Общества проживали в Южной Америке; сто - в Индии, Китае и Японии; а в Эфиопии была основана миссия. Даже Ирландию исследовали двое отцов, которые вернулись без успеха, претерпев ужасные трудности. В ту эпоху Общество насчитывало в круглых цифрах тысячу человек. Европа была разделена на тринадцать провинций: семь из них были португальскими и испанскими; три были итальянскими, а именно Рим, Верхняя Италия и Сицилия; одна была французской; две были немецкими. В Кастилии было десять колледжей ордена; в Арагоне - пять; в Андалусии - пять. Португалия была насквозь пропитана иезуитами. В Риме были представлены центрально-римский и тевтонский колледжи. В Верхней Италии было десять колледжей. Франция могла показать только один колледж. В Верхней Германии компания прочно удерживала Вену, Праг, Мюнхен и Ингольштадт. Провинция Нижняя Германия, включая Нидерланды, все еще не была определена. Это расширение Ордена в течение первых шестнадцати лет его существования позволяет нам составить некоторое представление об интеллектуальной силе и властной воле Игнатия. Он жил так, как не жил ни один основатель

ордена, как жили немногие основатели религий, чтобы увидеть, как завершается его работа, и как отпечаток его гения в точности в тех формах, которые он разработал, запечатлелся в самой грозной социальной и политической организации современной Европы.

В своем управлении Орденом Игнатий был абсолютен и автократичен. Мы видели, как он обращался с претендентами на церковные почести и как он перемещал своих подчиненных, по своему усмотрению, с точки на точку на поверхности земного шара. Малейшая попытка к независимости со стороны его самых доверенных помощников была им без промедления пресечена. Симон Родригес, один из первых учеников колледжа Святого Барба в Париже, правил королевством Португалия благодаря господству, которое он приобрел над Иоанном III. Окрыленный масштабом своей победы, Родригес присвоил себе право частного суждения и ввел в домах своей провинции ту аскетическую дисциплину, которую Игнатий запретил как нецелесообразную. Не теряя времени, генерал заменил его в командовании, и после ожесточенной борьбы Родригес был вынужден провести остаток своих дней под строгим наблюдением в Риме. Лайнез, аналогичным образом, действуя в качестве провинциала Верхней Италии, счел уместным пожаловаться на то, что его лучшие преподаватели были переведены из колледжей, находящихся под его контролем, в Рим. Игнатий написал этому старому другу, человеку, который лучше всех понимал дух этого учреждения и которому было суждено сменить его на посту главы, холодное и грозное послание. "Подумайте о своем поведении. Дайте мне знать, признаете ли вы свой грех, и скажите мне в то же время, какое наказание вы готовы понести за это неисполнение долга". Лайнез выразил немедленную покорность в самых унижительных выражениях; он был готов уйти со своего поста, воздержаться от проповеди, ограничиться изучением Требника, пойти нищим в Рим и там учить детей грамматике или выполнять черную работу. Это было все, чего хотел Игнатий. Если бы он был Христом Общества, он хорошо знал, что Лайнез был его Святым Павлом. Он не мог помешать ему стать его преемником, и, вероятно, прекрасно понимал, что Лайнез завершит и дополнит то, что он должен оставить незаконченным в работе своей жизни. Униженных извинений такого выдающегося апостола, продиктованных лицемерием и хитростью, было достаточно, чтобы добиться его прощения, и они остались в архивах иезуитов как образец того духа, в котором они должны проявлять послушание.

Послушание было, по сути, кардинальным и доминирующим качеством ордена иезуитов. Назвать это добродетелью в том смысле, в каком это понимал Игнатий, невозможно. *Exercitia*, Конституции и Письмо португальским иезуитам, все из которых, несомненно, объясняют взгляды Лойолы, раскрывают нам суть исторического иезуитизма, *истоки* того давнего зла, которое поразило современное общество. Давайте рассмотрим некоторые из его наставлений на эту тему. - Я должна была бы желать, чтобы ими управляли вышестоящего начальника, который старается подчинить себе мой взгляд, и обладайте моим пониманием.'—'Когда мне кажется, что я повелел моему начальнику, чтобы делать вещи, против которых моя совесть восстает как греховное, и мой начальник судей в противном случае, это мой долг уступить мои сомнения, если я вынужден по очевидным причинам.'—'Я не должна быть моей, а того, кто создал меня, и его тоже, через которых Бог управляет мной.'—'Мне должно быть как труп, который не имеет ни воли, ни понимания, как распятие, что вокруг него, которая держит его, как посох в руках старика, который использует его по своему усмотрению, за его помощь или на отдыхе.'—'В нашей компании человек, который команды не должны рассматриваться в его собственной способности, но как Иисус Христос в него.'—'Я желаю, чтобы вы стремиться и проявлять себя, чтобы признать Христа, Господа нашего во всех улучшенный'—'. Тот, кто желает

принести себя целиком и полностью зависит от Бога, должны принести жертву не только свою волю, но его интеллект'—'. В целях обеспечения добросовестного и успешного исполнения распоряжений начальства, все частные суда должно быть испустил.'—'Грех ли простительные и смертные, должны быть совершены, если бы он командовал превосходный во имя Господа нашего Иисуса Христа, или в добродетели послушания.' Такой природа была добродетель послушания в ордене.[163] Это превращало каждого члена в орудие в руках его непосредственного Начальника, а все тело - в инструмент в руках генерала. Ответственность генерала за косвенные действия и поправление морального закона, совершенные во имя этой добродетели, была покрыта звучной фразой "К вящей славе Божьей".

У него был также свой собственный долг послушания, который заключался в служении Святой Церкви. "Принося в жертву собственное суждение, разум должен сохранять себя всегда целостным и готовым к послушанию супруге Христа, нашей Святой Матери, Церкви православной, апостольской и иерархической".[164] Не является частью католического вероучения, католических привычек, католических институтов, католических суеверий, но подлежит доблестной защите.— "Наш долг - громко поддерживать реликвии, культ святых, станции, индульгенции при паломничестве, юбилеи, свечи, которые зажигаются перед алтарями". Критиковать духовенство, даже если оно заведомо коррумпировано, - грех. Философия Церкви, выраженная Св. Фомой Аквинским, Св. Бонавентурой и другими, должна быть признана равной по авторитету Священному Писанию. Из этого следует, что точно так же, как подчиненному было предписано грешить, если грешить приказывал его Начальник, так и вся Компания была обязана лгать, и делать то, что они не одобряли, и проповедовать лицедейство, в которое они не верили, в силу послушания Церкви. Они могут даже не доверять своим чувствам; ибо "Если Церковь объявляет вещь, которая кажется нам белой, черной, мы должны немедленно сказать, что это черная".[165]

Иезуиты были зачислены в армию в час серьезной опасности для Церкви, чтобы взять на себя ее защиту. Этим обетом послушания они обязали себя выполнять этот долг с закрытыми глазами. В их миссию входило не реформировать, не очищать и не возрождать католицизм, а сохранить его в неприкосновенности со всеми его интеллектуальными анахронизмами. Насколько хорошо они преуспели, можно судить по вопросу Тридентского собора, в котором Лайнез и Сальмерон сыграли столь заметную роль. Это жесткое соблюдение каждой йоты и титула в католической иерархической организации, в католических ритуалах, в католическом культе святых и изображений, в католической интерпретации таинств, в католической традиции, имеющей равную ценность с Библией, и, наконец, в теории папского превосходства, которая стала поразительным результатом Собора, созванного для изменения и реформирования Церкви, в немалой степени можно отнести на счет настойчивости иезуитов.

Игнатий достиг своей цели. Послушание, слепое, раболепное, беспрекословное, беспринципное, стало отличительной чертой иезуитов. Но он обрек свой Орден на посредственность. Ни один по-настоящему великий человек ни в одной области человеческого знания или деятельности не возник в Обществе Иисуса. Со временем любому человеку с независимым характером и оригинальным интеллектом стало очевидно, что в их рядах ему не место. И если по-настоящему выдающиеся молодые люди вступали в нее до того, как осознавали эту истину, их дух был сокрушен. Машина была достаточно мощной для добра и зла; но она оставалась совокупностью индивидуальных недостатков. Его достоинство и совершенство заключались в том, что столь сложный инструмент мог быть приведен в

движение одним пальцем римского генерала. Он последовательно использовал его тонкую систему колес и шкивов, в первую очередь, для усиления Ордена, во вторую очередь для контроля над Католической церковью, и всегда для порабощения и крестинизации умов Европы.

Обучение иезуита начиналось с изучения *Духовных упражнений*.^[166] Это руководство было составлено самим Лойолой в промежутке между 1522 и 1548 годами, когда оно получило одобрение папы Павла III. Он основал ее на своем собственном опыте в Манресе и хотел, чтобы она служила постоянным введением в тайны религиозной жизни. Она использовалась под руководством отца, который предписывал часть ее текста для ежедневной медитации, используя различные средства для концентрации внимания и усиления эффекта. Весь курс этого духовного упражнения длился более четырех недель, в течение которых ученик оставался в одиночестве. Свет, звуки и все отвлекающие факторы внешнего мира были тщательно исключены из его комнаты. Ему было велено направить свою душу внутрь, к самой себе и Богу, и поэтапно его вели к тому, чтобы наиболее ярко осознать муки проклятых и план спасения человека. Первая неделя была занята испытанием совести; вторая - размышлением о Царстве Христа на земле; третья - размышлением о Страстях Христовых; четвертая - восхождением к славе воскресшего Господа. Материализм самого грубого толка смешивался в этом долгом духовном путешествии с мечтательностью. На каждом шагу неопит использовал свои пять чувств в попытке интеллектуальной реализации. Распростертый на земле, с закрытыми веками смотрящий в полумраке своей камеры в зеркало воображения, он должен был *видеть* безграничное пламя ада и души, заключенные в горящие тела, *слышать* вопли и богохульства, *ощущать* их сернистый и невыносимый смрад, *ощущать* горечь слез и *чувствовать* уколы бесплодного раскаяния.

Он должен был локализовать каждый объект в камере-обскуре мозга. Если бы, например, предметом его размышлений был Гефсиманский сад, он был бы обязан поместить сюда Христа и там спящих апостолов и создать точный образ ангела и чаши. Он смотрел и смотрел, пока не смог взять в руки одежду Спасителя, наблюдать, как капли кровавого пота бисером выступают у него на лбу и стекают по щекам, схватить чашу пальцами души. По мере представления каждой тщательно выбранной и мудро предложенной сцены он должен был отождествлять само свое существо, душу, волю, интеллект и чувства с ментальным видением. Он снова жил, насколько это было возможно благодаря воображению, фактами священной истории. Если директор считал это целесообразным, перед ним в камеру клали символические предметы: в одно время черепа и кости, в другое - свежие, сладко пахнущие цветы. Голодание и бичевание, особые позы тела, стоны и рыдания предписывались в качестве вспомогательных средств в тех случаях, когда душа казалась вялой. Сфера, пройденная в этих упражнениях, была узкой. Тренировка была нацелена на интенсивность дисциплины, на концентрированное и конкретное впечатление, а не на широту образования или интеллектуальное просветление. Спекуляции на фундаментальных принципах религии были исключены. Отношения Бога к человечеству, раскрытые в Ветхом Завете, не нашли места в этой теории спасения. Внимание было приковано к очень немногим моментам из жизни Христа и Марии, с которыми, как можно было бы предположить, знаком каждый ребенок-католик. Но это было устроено таким образом, чтобы вызвать ужас и восторг мистиков, святой Екатерины или С. Тереза, доступная для всех; разместить духовный опыт *на страницах всего мира*. Вульгарность сравнима только с изобретательностью и психологической ловкостью метода. Душа, охваченная плотским страхом перед нависшей над ней судьбой, вступала в почти физический контакт с воплощенным Спасителем. Задуманный эффект состоял в том, чтобы вызвать яркий и

разнообразный гипнотический сон продолжительностью в тридцать дней, от влияния которого человек никогда не должен был полностью освободиться. Концом, к которому он пришел на этом пути самоанализа и материалистической реализации, был вывод о том, что его высшая надежда, его самый настоящий долг заключались в подчинении своего интеллекта и воли духовному руководству и в слепом повиновении Церкви. Тысячи душ в современном мире прошли через эту дисциплину; и те, кто лучше всего ей поддавался, когда это было возможно, всегда избирались послушниками Ордена. У директора было достаточно возможностей наблюдать на каждом этапе процесса, проявляет ли его неофит вероятный настрой.

Когда *Упражнение* было выполнено, аскетизму пришел конец. Игнатий, как мы видели, ничего так не боялся, как вторжения этого темного духа в свою Компанию; он ни к чему так серьезно не стремился, как к тому, чтобы привить ее членам приятные манеры, веселый нрав и способности к мирским делам.

Новичок, впервые принятый в один из иезуитских домов, был, насколько это было возможно, на два года отделен от своей семьи и передан под контроль учителя, который просматривал его корреспонденцию и осуществлял полное наблюдение за его жизнью. Он получил осторожно ограниченную информацию о конституциях Общества, и ему было рекомендовано, вместо того чтобы отказываться от своего мирского имущества, сохранить за собой законные права и пожертвовать ими, когда он примет постриг. Тогда ему не дали понять, что то, что он отдал, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет возвращено, хотя Общество могло бы по своему желанию отправить его бродягой без гроша в кармане в мир иной. И все же это были тяжелые условия существования иезуита. После вступления в орден у него ничего не было, и он не имел права уйти, если покался. Но генерал мог обналичить его одним росчерком пера, обрекая на нищету в каждой стране, где правили иезуиты, и на подозрения в каждой стране, где иезуитов ненавидели. По истечении двух лет послушник обычно подписывал обязательство принять обеты. Затем его призывали на светскую или духовную службу. Некоторые послушники становились так называемыми Временными помощниками; в их обязанности входило управлять имуществом Общества, присматривать за его домами, раздавать милостыню, работать в больницах, готовить, ухаживать за садом, стирать и выполнять функции носильщиков. Они приняли три обета бедности, целомудрия и послушания. С другой стороны, те, кто проявлял определенные способности к обучению, были классифицированы как схоласты и распределены по колледжам ордена. Они изучали языки, естественные науки и теологию в течение пяти лет; после чего они преподавали в школах еще пять или шесть лет; и когда они достигали возраста около тридцати лет, они могли быть рукоположены в священники с титулом Духовных наставников. Из этого органа Общество черпало ректоров и профессоров своих колледжей, своих проповедников, исповедников и учителей в школах для мирян. Они еще не были полноправными членами ордена, хотя и приняли три обета и были безвозвратно преданы служению ордену. Заключительной стадии посвящения достигали к сорока пяти годам, после долгих и разнообразных испытаний. Тогда иезуит получал титул Посвященного. Он был либо исповедовавшим три обета, либо исповедовавшим четыре обета; в последнем случае он посвятил свою жизнь особому служению папству, в миссиях или в любом другом деле. Исповедующие четыре обета составляли настоящую Компанию Иисуса, ядро организации. Их никогда не было много. На момент смерти Лойолы их насчитывалось тридцать пять из тысячи; и было подсчитано, что их среднее соотношение ко всему организму составляет два к ста.^[167] Даже они не имели неоспоримого права занимать свое место в Обществе. Они могут быть уволены генералом без возмещения ущерба.

Генерал избирался пожизненно из числа принявших четыре обета Генеральной конгрегацией, которая состояла из провинциалов и по два члена от каждой провинции. Он держал все Общество в своих руках, поскольку мог по своему усмотрению обращаться с каждой частью его механизма. Конституции, какими бы строгими они ни казались, не налагали никаких препятствий на его волю; ибо ему была предоставлена почти неограниченная власть отказываться от формальностей, освобождать от обязательств, сокращать или удлинять периоды посвящения, задерживать или продвигать члена в его карьере. Идеальная неизменность типа, подкрепленная предельной гибкостью на практике, составляла суть системы. И мы увидим, что этот принцип пронизывал иезуитское отношение к морали. Генерал проживал в Риме, посвятив себя исключительно управлению Обществом, держа в своих руках нити всех его сложных дел, изучая личную историю каждого из его членов по подробным отчетам, которые он постоянно получал из каждой провинции, и действуя точно по своему выбору как с высшими, так и с низшими из своих подчиненных. Вопреки всем прецедентам предыдущих религиозных орденов, Игнатий сформировал Общество Иисуса по образцу сплоченной аристократии с автократической властью, доверенной избранному главе. И все же у генерала иезуитов, как и у венецианского дожа, руки были связаны неуловимо мощными, хотя и почти невидимыми оковами. Каждый час дня и ночи он находился под наблюдением пяти присягнувших шпионов, специально назначенных для того, чтобы помешать ему изменить типаж или пренебречь интересами Ордена. Первый из этих чиновников, по имени Администратор, который часто был также духовником генерала, призывал его к послушанию и напоминал ему, что он должен делать все во славу Божью. Послушание и слава Божья, по иезуитской фразеологии, означали поддержание Компании. Остальные четверо именовались Помощниками. В их ведении находились дела главных провинций: один надзирал за Индией, другой - за Португалией и Испанией, третий - за Францией и Германией, четвертый - за Италией и Сицилией. Вместе с Администратором Помощники назначались Генеральной конгрегацией и не могли быть смещены или заменены без ее санкции. Их обязанностью было регулировать повседневную жизнь генерала, контролировать его личные расходы в тех масштабах, которые они определяли, предписывать, что он должен есть и пить, и назначать часы для сна, религиозных упражнений и ведения общественных дел. Если они видели серьезные причины для его низложения, они были обязаны созвать с этой целью Генеральную конгрегацию. И поскольку Основатель знал, что опекунов нужно охранять, он предусмотрел, что жители Провинции могут созвать это собрание, чтобы поставить под сомнение действия Помощников. Сам генерал не имел права препятствовать его созыву.

Таким образом, Общество Иисуса было основано на системе взаимного и повсеместного шпионажа. У новичка при первом входе регистрировались все его поступки, привычки и личные качества. По мере продвижения по службе его окружали ревнивые собратья, которые считали своим долгом сообщать о малейшей его слабости вышестоящему начальству. За вышестоящими наблюдали друг за другом и подчиненные. Массы секретных сведений хлынули в центральный кабинет генерала; и сам генерал ел, спал, молился, работал и странствовал по миру под пристальным взглядом десяти бдительных глаз. Люди, привыкшие к домашнему хозяйству и свободе, могут удивиться, что жизнь должна была быть сносной на таких условиях. Тем не менее, мы должны помнить, что с того момента, как юноша прошел *Exercitia* и принял обеты, он стал ни много ни мало по факту, как *мертвый* труп в руках своего настоятеля. Компания заменила ему и семью, и государство; и, несмотря на четвертую клятву, совершенно очевидно, что Черный папа, как стали называть генерала, был ему более предан, чем Белый

папа, занявший кафедру Святого Петра. Действительно, он мог в любой момент быть изгнан и разорен. Но если он хорошо служил Ордену, то принадлежал к огромному, неисчислимо мощному организму, которым он, естественно, мог гордиться после такой подготовки, какую получил. Пожертвовав своей личной волей и интеллектом, он стал частью нерушимой корпорации, которая, казалось, была способна сломить любое сопротивление своей непрерывностью воли и осуществить все цели своей концентрированной проницательностью. Он также не был в руках строгих блюстителей дисциплины. Его грешки прощались, если только не ставилась под сомнение репутация ордена. Его природные способности давали свободный простор для их применения, поскольку в интересах Компании максимально использовать особые способности каждого члена. У него не было утомительных обязанностей, связанных с обычной монашеской рутинной. Его поощряли стать светским человеком и свободно вращаться в обществе. И таким образом, хотя он смирился с этим, он жил большой жизнью сложного микрокосма. Не были люди с непреклонными амбициями лишены перспективы в конечном итоге добиться власти, превосходящей ту, которой обладали принцы; ибо любой из претендентов мог подняться до высшей власти в ордене.

Следует кое-что сказать об интерпретации Лойолой обета бедности. При его жизни Компания приобрела значительное состояние; а после его смерти стала крупным владельцем поместий в Европе. Как это согласуется с соблюдением этого обета, столь строго внушенного основателем своим первым ученикам и столь помпезно провозглашенного в их конституциях?

Исповедующие христианство и все их дома, а также их церкви были обязаны питаться подаванием; они проповедовали, совершали церковные таинства и получали образование бесплатно. Они ничего не могли унаследовать, и им не разрешалось получать деньги на свои путешествия. Но здесь проявилась мудрость в том, чтобы ограничить число исповедующих небольшим процентом от всего Общества. Такой же строгий запрет в отношении собственности не был наложен на дома послушников, колледжи и другие учебные заведения иезуитов; в то время как светские помощники были специально назначены для управления богатством, которым исповедующие могли пользоваться, но не могли владеть.^[168] Аналогичным образом, поскольку они жили на милостыню, не было возражений против того, чтобы священник ордена получал ценные подарки наличными или натурой от благодарных получателей его духовной щедрости. Кроме того, отдельная статья конституции оставляла за генералом право принимать любые пожертвования, сделанные в пользу всей Компании, и распределять капитал или доходы по своему усмотрению.

Схоласты, даже после того, как они приняли обет бедности, не были обязаны отказываться от своего частного имущества. Можно было надеяться, что рано или поздно они станут собственностью ордена. Одним словом, принципом этого торжественного обязательства манипулировали таким образом, чтобы облегчить приобретение и накопление богатства иезуитами, как и любой другой корпорацией. Только ни один отдельный иезуит ничем не владел. Он был богат или беден, он носил одежду принцев или лохмотья нищенствующего, он жил роскошно или просил милостыню на улице, он путешествовал в сопровождении слуг или ходил пешком, в зависимости от того, как это казалось нужным его начальству. Обет бедности, истолкованный таким образом на практике, означал полное отстранение каждого члена от мирских реалий, абсолютную зависимость каждого подчиненного от вышестоящего по иерархии.

Рассматривая до сих пор организацию иезуитов как подразумеваемую в концепции и управлении самого Лойолы, я должен добавить, что она получила определенную форму от его преемника Лайнца. Основатель провозгласил Конституции в 1553 году. Но они были тщательно пересмотрены после его смерти в 1558 году, когда они впервые появились в печати. Лайнез, опять же, дополнил эти законы постоянным комментарием, который называется Декларациями. Они содержат основную часть тех послаблений и снисходительных интерпретаций, посредством которых была устранена строгость первоначальных правил и системе была сообщена почти неограниченная гибкость.

Было бы опрометчиво высказывать определенное мнение по столь спорному вопросу, были ли иезуиты в дополнение к своим Конституциям и декларациям снабжены эзотерическим сводом правил, известным как *Monita Secreta*.^[169] Существование такого руководства, которое должно было содержать самую суть иезуитской политики, уверенно утверждалось и не менее уверенно отрицалось. В отсутствие прямых доказательств, возможно, стоит процитировать два отрывка из Писем Сарпи, которые доказывают, что этот проницательный наблюдатель считал, что Общество руководствуется в своей практике законами, недоступными для всех, кроме его самых доверенных членов. "Я всегда восхищался политикой иезуитов, - пишет он в 1608 году, - и их методом сохранения тайны. Их Конституции напечатаны, и все же никто не может увидеть копию. Я имею в виду не их Правила, которые публикуются в Лионе, ибо это просто ребячество, а свод законов, которыми они руководствуются в поведении ордена и которые они держат в секрете. Каждый день многие участники уходят или их исключают из Компании; и все же их уловки не выставляются на всеобщее обозрение."^[170] В другом письме, датированном 1610 годом, Сарпи возвращается к тому же пункту. "Иезуиты до того, как этот Аквавива был избран генералом, были святыми по сравнению с тем, кем они стали впоследствии. Раньше они не вмешивались в государственные дела и не думали управлять городами. С тех пор они тешили себя надеждой контролировать весь мир.

И я уверен, что хотя бы малая часть их Каббалы содержится в Постановлениях и Конституциях 1570 года. Тем не менее, я очень рад обладать даже этим. Свою истинную Каббалу они никогда не сообщают никому, кроме людей, которые были хорошо проверены и доказаны всеми видами испытаний; также те, кто был посвящен в нее, не могут думать об уходе из ордена, поскольку конгрегация, благодаря превосходному управлению своим механизмом, знает, как обеспечить немедленную смерть любого такого посвященного члена, который, возможно, пожелает покинуть их ряды."^[171] Вероятно, ошибка, которую допустили Сарпи и весь мир, заключалась в предположении, что иезуиты нуждались в письменном коде для своих самых жизненно важных действий. Будучи мощным организмом, пронизанным жизнью, секрет их политики был не таков, чтобы его можно было свести к правилу. Это было не так, чтобы, сведенное к правилу, могло быть пластичным в делах общественной важности, которые Компания стремилась контролировать. Лучше, чем правило или статут, это была биологическая функция. Высшие совещательные органы ордена создавали, передавали и постоянно модифицировали его традиционную политику. Эту традицию какой-нибудь член церкви, частично посвященный в их советы, возможно, свел к предписаниям в опубликованном *Секретном документе* от 1612 года. Но квинтэссенция пламени, которое вдохнуло жизнь в структуру иезуитов на протяжении двух столетий органической деятельности, было слишком ярким и слишком духовным, чтобы его можно было выразить в каком-либо уставе. Монах и юрист, такой как Сарпи, ожидал обнаружить какой-то управляющий код. Общественность, крайне невежественная в отношении эволюционных законов формирования социальных организмов, не могла понять, что этого

кодекса не существует. Авантюристы удовлетворяли спрос, исходя из своего знания политики правления. Но, подобно *Liber Trium Impostorum*, мы можем рассматривать *Monita Secreta* иезуитов как *выдумку постфактум*.

Нет необходимости проследивать дальнейшую историю иезуитов. Их роль в контрреформации скорее преувеличивалась, чем признавалась недостаточно. Хотя это было бесспорно значительно, мы не можем сейчас признать, как Маколей в своей произвольной манере признал эту Компанию, *spolia opima* побежденного протестантизма. Без церковной реформы, зародившейся на Тридентском соборе; без золота и меча Испании; без кольев и тюрем инквизиции; без борьбы против мысли, проводимой Конгрегацией Индекса; одни только иезуиты не смогли бы мастерски управлять католическим возрождением. Это возрождение было движением всемирно-исторического значения, в котором они участвовали. Им посчастливилось найти в мире силы, которые они частично понимали; их заслугой было умение манипулировать этими силами; их несчастьем и недостатком было то, что они оказались неспособными направить эти силы на какую-либо полезную цель. В Италии череда мирских пап, Павел III, Юлий III, Пий IV и Григорий XIII, осыпали орден милостями и осыпали богатствами. Иезуиты воплощали политический дух папства в ту эпоху; они придавали ему силу для добра и зла, которую ветхий, но все еще энергичный институт присваивал себе. Они с исключительной ловкостью приспособили его анахронизмы к потребностям современного общества. Они переливали свою пульсирующую кровь в его вялые вены до тех пор, пока не стало сомнительно, было ли папство поглощено иезуитами, или иезуиты переделали папство для современных нужд. Но эта тенденция стремящегося ордена отождествлять себя с Римом, это стремление использовать престиж Рима в качестве рычага для осуществления своих собственных замыслов вызвали негодование надменных и *непримиримых* понтификов. Иезуитов не любили Павел IV, Пий V и Сикст V.

Остается, однако, выяснить, в чем состояли оригинальность, эффективное функционирование и модифицирующее влияние иезуитского общества в рассматриваемый нами период. Их целью было установить контроль над Европой с помощью проповеди, образования, направления душ и управления общественными делами. В каждом из этих отделов их немедленный успех был поразительным, ибо они трудились с усердием и приспособляли свои методы к требованиям эпохи. Тем не менее, в долгосрочной перспективе искусство, наука, литература, религия, мораль и политика - все пострадало от их вмешательства. Предпочитая искусственность реальности, притворство искренности, притворство и увертки простым принципам и прямоте, они смущали совесть и ослабляли интеллект католической Европы. Когда мы говорим об иезуитском стиле в архитектуре, риторике и поэзии, об иезуитской учености, об иезуитской казуистике и иезуитской дипломатии, это делается либо с вялым презрением к безвкусице и безвкусице, либо со жгучим негодованием, которое систематическая ложь и коррупция вызывают в благородных умах.

В области образования иезуиты, если и не были настоящими новаторами, то усовершенствовали методы грамматистов, которые сохранялись со Средних веков до эпохи Возрождения. Они не жалели сил на подготовку большого и компетентного корпуса профессоров, людей обширной культуры, сформированных по единому образцу и упражняющихся в искусстве популяризации знаний. Эти учителя были распределены по иезуитским колледжам, и в каждой стране их система была одинаковой. Новые катехизисы, грамматики, буквари, руководства по истории позволили их ученикам за несколько месяцев с

легкостью усвоить то, что при напыщенных педантах старого *режима* стоило многих лет мучительного труда. Тщательно соблюдались умственные и физические способности молодых людей, преданных своему делу, и занятия были адаптированы к различным возрастам и степени способностей. Часы отдыха чередовались с часами учебы, так что усилия по обучению не должны были быть утомительными или наносить вред здоровью. Не пренебрегали и религиозным образованием. Посещение ежедневной мессы, ежемесячная исповедь и обучение символам веры были неотъемлемой частью этой системы. Если мы вспомним, что эти преимущества предоставлялись обществу безвозмездно, то неудивительно, что люди всех рангов и состояний отправляли своих мальчиков в иезуитские колледжи. Даже протестанты пользовались этим, казалось бы, превосходным методом, а иезуиты снискали репутацию лучших наставников молодежи.^[172] Вскоре посещение иезуитских школ стало признаком доброго католика; и в дальнейшей жизни ученик, достойно учившийся в их колледжах, везде чувствовал себя как дома. И все же общество мало интересовалось начальным или народным образованием. Их целью было завладеть знатью, джентри и верхушкой среднего класса. Пролетариат мог оставаться в неведении; уделом таких людей было быть пассивными инструментами в руках духовных и светских правителей. Они также не всегда были щепетильны в средствах, используемых для того, чтобы завладеть выдающимися молодыми людьми. Будет достаточно одного примера враждебности, которую они вызывали даже в Италии в ранний период своей деятельности. Тоскана была повергнута в смятение открытием их замыслов в отношении мальчиков, которых они взялись учить.

"Они были настолько безумно склонны, - говорит Галлуцци, - пополнять ряды своей Компании людьми состоятельными и знатного происхождения, что в 1584 году в единственном городе Сиене под предлогом набожности соблазнили тридцать юношей из самых благородных и богатых домов, не без большого ущерба для их семей и горя для их родителей. Самым печально известным из этих случаев было дело двух сыновей Пандольфо Петруччи, чье имя указывает на его высокое положение в аристократии Сиены. Этих молодых людей они заполучили в свою власть, склонив их к совершению кражи, а затем заставили присягнуть на верность Обществу. Сбежав ночью в направлении Рима, парни были арестованы городской стражей и признались, что договорились встретиться с двумя иезуитами, которые ждали, чтобы проводить их в путь."^[173]

На самом деле, иезуиты стремились в своей системе образования не к распространению здравых принципов или либерального образования, а к возвышению ордена и соблюдению католических обычаев. Это было заметно по их отношению к литературе и науке. Мишле описал их метод блестящей и точной метафорой, как попытку противодействовать яду свободной мысли и стимулирующим исследованиям посредством вакцинации. Они преподавали классику в изысканных изданиях, историю - в накачанных наркотиками сборниках, науку - в популярных лекциях. Вместо того, чтобы запретить то, что М. Ренан обычно называет *"этюды фортес"*, они взялись выхолостить их и сделать безвредными. В то время как Бруно был сожжен инквизицией за то, что провозгласил значение открытия Коперника для веры и метафизики, отец Костер из Кельна опошил его, превратив во что-то красивое и приятное. В то время как Скалигер и Кейсобон использовали гуманитарные науки как пропедевтику зрелого разума, иезуиты ухитрились стерилизовать и механизировать свое влияние с помощью безвкусной риторики. Повсюду по Европе, рядом с отважными мыслителями, крались благовидные профессора-иезуиты, следуя за светом науки, как его тень, подражая акценту богов, как попугаи, и передразнивая их жесты, как обезьяны. Их искусное смешение лжи с правдой во всех областях

знания, их замена фанеры на твердую древесину, а щепок - на чистый металл были более выгодны для достижения поставленной ими цели, чем камеры пыток инквизиции или карантин Индекса. Посредственности и респектабельность всех мастей — то есть большинство влиятельных классов — были в восторге от их метода. Что может быть лучше, чем видеть, как растут сыновья, добрые католики во всех внешних обрядах, преданные общественному порядку и Матери-Церкви, и в то же время эффектные латинисты, снабженные энциклопедией современных знаний, бойкие в красноречии, изобретательные в построении эпиграммы или комплимента? Если кто-нибудь из более здравомыслящих ворчал, что иезуитская ученость поверхностна, а иезуитская мораль - низкопробный сплав, ответ, подобный ответу итальянского торговца тканями, продающего ощутимую дешевку за сукно, легко и цинично всплывал на поверхность: *Imita bene!* Материал достаточно хорошо сочетается! Чего еще вы хотите? Создавать правдоподобные имитации, сохранять видимость, развлекать ум фокусами было последним средством католицизма в его борьбе с рационализмом. И такова банальность человеческой природы в целом, что иезуиты, эти монополисты бруммагемских мануфактур, добились выдающегося успеха. Их уродливые церкви, обмазанные штукатуркой, раскрашенной под дорогой мрамор, инкрустированные штукатуркой, отполированной так, чтобы обманывать глаз, изобилующие безделушками, мишурой, излишним орнаментом и фресками, превращающие плоские поверхности в купола и аркады, считались шедеврами архитектурной красоты. Тщеславие их ораторского искусства с кафедры, их искусственные интонации и цветистое словоблудие, их театральные апелляции к грубым ощущениям творили чудеса и обращали в свою веру тысячи людей. Их болезненный цicerоновский стиль, их сентиментальные книги о благочестии "тем хуже, что они теплые", отвратительный вкус их поэзии, их надуманная философия и неискренняя история заразили вкус католической Европы подобно медленному соблазнительному яду, лстя и ускоряя болезни умственного упадка. Здравое учение заглохло под тиранией инквизиции, Индекса, Тридентского собора, Испании и папства. На его могиле под принуждающими рамками иезуитизма возникла и расцвела мощная поросль нездоровой культуры. Но если мы внимательно изучим записи литературы и науки за последние три столетия, то увидим, что действительно мало кто из выдающихся людей даже второго порядка может претендовать на Общество Иисуса.

Та же критика применима и к иезуитской морали. Целью Компании было контролировать совесть с помощью руководства и исповеди, и особенно совесть принцев, женщин, молодых людей, занимающих высокое положение. Делать это путем откровенных разговоров и честных сделок было явно опасно. Мир был сыт по горло доминиканским аскетизмом и догматизмом. Делать это с помощью открытой терпимости и откровенного цинизма не соответствовало духу времени. Церковь предприняла реформу монашеских орденов и постоянного духовенства. Сторонники прощения, хироманты, торговцы индульгенциями, веселые францисканские исповедники и им подобные люди устарели. Но иезуиты были готовы к требованиям момента. Мы видели, как Игнатий рекомендовал ловцам душ утешать беспокойную совесть. Его преемники расширили и применили этот намек.—Вы не должны начинать с разговоров о духовных вещах с людьми, погруженными в мирские интересы. Это так же просто, как пытаться ловить рыбу без наживки. Напротив, вы должны втереться к ним в доверие, изучая их привычки и выслеживая их склонности. Сначала вы должны делать вид, что мало что замечаете, и показать себя хорошим собеседником. Когда вы познакомитесь с сокровенными грехами и приятными пороками людей, занимающих высокое положение, вы сможете наставить их на путь добродетели по своему усмотрению. Тогда вы непременно должны сказать им, что потворство

чувственности, лжи, мошенничеству, насилию, алчности и тираническому угнетению безусловно неправильно. Не показывайте компромисса со злом в целом; но очищайте зло с помощью различий, оговорок, гипотетических условий, пока оно не исчезнет. Объясните, как трудно понять, является ли грех прощательным или смертным, и сколько шансов на то, что он вообще не является грехом в каком-либо строгом смысле этого слова. Не оставляйте людей наедине с их собственным тупым чувством добра и неправды, но позвольте им восхищаться более тонким лезвием вашего скальпеля, пока вы кромсаете зло на кусочки, которые они едва видят. Таким образом, может быть открыт готовый путь для удовлетворения любого человеческого желания, не впадая в теологические ошибки. Преимущества очевидны. Вы сможете отпустить грехи с чистой совестью. Ваш кающийся преисполнится благодарности и откроет вам свое сердце. Вы будете выполнять свои функции исповедника и советника. Он будет обеспечен для достижения священных целей нашего Общества и внесет свой вклад в еще большую славу Божью. Так возник иезуитский лабиринт казуистики с его извилинами, поворотами, потайными комнатами, шепчущимися галереями, тупиками, путями уклонения; все это порочное и чудовищное сооружение было увенчано спасительной добродетелью послушания и теорией о том, что цель оправдывает средства. После иронии Паскаля, сгущенной ярости Ла Шалоте и сурового приговора Парижского парламента (1762 г.) нет необходимости сейчас опровергать ошибки или подробно разоблачать мерзость этой казуистики.^[174] Тем не менее, здесь нельзя полностью обойти его молчанием; поскольку его применение существенно способствовало влиянию иезуитов в современной Европе.

Работа Компании, как мы видели, зависела от умелого манипулирования, казалось бы, незыблемыми принципами. Декларации разъясняли Конституции, а бесконечное количество мельчайших исключений и различий превращало клятвы и обязательства в эфир. Переноса тот же метод в сферу этики, они так воздействовали на предписания морального закона, выраженные ли в священном писании, в церковных постановлениях или в гражданской юриспруденции, что лишали их обязательной силы. Тончайшая гибкость была достигнута для механизма ордена путем казуистической интерпретации. Аналогичная гибкость была обеспечена для контроля и правления душами посредством идентичного процесса. Неудивительно, что иезуиты быстро вошли в моду как исповедники. Самые простые запреты были подобны воску в их руках. Десятисловие излагало в качестве правил поведения: "Не кради"; "Не убивай"; "Не прелюбодействуй". Христос придал этим правилам духовный смысл: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"; "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем". Очевидно, что и ветхий, и новый завет, на которых, как предполагается, покоится современное христианство, не допускали сделок в вопросах, столь ясных для человеческого сознания. Сам Иисус уточнил законность кодекса Моисея, определив грех как эгоизм или похоть. Но Компания Иисуса приложила все усилия к тому, чтобы в своей казуистике подробно изложить смягчающие обстоятельства каждого греха. Своими доктринами непобедимого ошибочного сознания, оккультной компенсации, уклончивости, ментальных оговорок, вероятностного подхода и философского греха они предоставляли лазейки для удовлетворения любой страсти и совершения любого преступления. Вместо того чтобы утверждать, что любой вред, причиненный соседу, является неправильным, они умножили случаи, когда сосед может быть ранен. Вместо того чтобы твердо придерживаться вердикта Христа о том, что сексуальный порок подразумевается под распущенным желанием, они проанализировали чувственные формы грубого сладострастия, оценили каждый из них по очереди в произвольных пределах и предоставили правдоподобные

оправдания для потворства своим желаниям. Вместо того чтобы провозгласить в качестве общего принципа, что люди должны держать свое слово, они учили их лгать с духовной безнаказанностью и делать честь своей репутации сынов Церкви. Таким образом, изобретательный гений казуиста, стремящегося препарировать безнравственность и разделить ее на классы; вопросительная изобретательность исповедника, похотливо исследующего личный опыт; извиняющаяся утонченность директора, стремящегося снабдить своего кающегося бальзамами и обезболивающими; все это было одинаково и все вместе применялось к антиобщественному укрощению в вопросах похотливости и к антиобщественной коррупции в вопросах нечестности, мошенничества, лжи, незаконности и насилия. Единая доктрина вероятностности, как убедительно доказал Паскаль, облегчает совершение преступления; ибо нет такого порочного деяния, которое какой-нибудь известный казуист не оправдал бы правдоподобно.

Можно утверждать, что исповедание и руководство, принятые католической церковью, логически дополняют мерзости казуистики. Священники, которые должны отпускать грехи грешникам, должны быть знакомы с грехом во всех его проявлениях. На исповеди их заставят слушать рассказы, точный смысл которых они не смогут понять, если их предварительно не проинструктируют. Поэтому сочинения Санчеса, Дианы, Лигуори, Бурхарда, Биллюара, Руссело, Гордона, Гассона попадают им в руки в раннем возрасте — произведения, раскрывающие больше секретов наглости, чем описал Аретино или мог практиковать Коммод, — произведения, которые рекомендуют больше хитрости, предательства, мошенничества и фальши, чем Макиавелли приписывал своему незаконнорожденному Спасителю общества. В этих трудах мужчины, давшие обет безбрачия, исследуют самые грязные лабиринты сексуальной нечистоты; мужчины, утверждающие, что стоят вне гражданского порядка и государства, впитывают ложные теории о собственности, честности и общественном долге.

Корень проблемы, несомненно, неправильный. То, что класс священнослужителей посредством исповеди и руководства должен быть поставлен в положение, определяющее поведение, противоречит хорошему правительству. Это возмутительно для человеческого достоинства, что тот же самый класс, без национальной преданности и без семейных уз, имеет возможность заражать молодые умы нездоровыми вопросами и бесчестными предложениями. Но это зло, присущее современной католической системе, становится зверством, когда его используют, как это делали иезуиты, в качестве инструмента для формирования общества и контроля над ним в своих собственных интересах.

В то время как иезуиты стали невыносимыми для критики своим обращением с человеком в его личном и общественном качестве, они быстро превратились в тех, кого Халлам осторожно называет "довольно опасными сторонниками Римского престола" в общественных и политических делах. Окончательный провал их дипломатии и интриг во всей области современного управления государством склоняет историков нынешней эпохи недооценивать их механизм создания препятствий и недооценивать множество случаев, когда они успешно тормозили развитие гражданского правительства и интеллектуальной свободы. Было бы разумнее рассматривать их в том же свете, что и фанатиков, закидывающих камнями железную дорогу, или динамитеров, подрывающих императора или угол Вестминстер-холла. Окончательный конец гнусному трафику может и не быть достигнут. Но те, кто принимал в этом участие, могут поставить себе в заслугу крушение экспрессов, волнения в городах и скорбь мирных семей. Так было и с иезуитами. Хотя результаты их политических интриг не

соответствовали их надеждам, они все же причинили ощутимый вред организацией Лиги наций во Франции и Тридцатилетней войной в Германии, а также своими революционными теориями, которые заразили Европу заговорами и убийствами. Их метод не был оригинальным. Макиавелли изложил доктрины, которые они применяли на практике. Он учил, что в отчаянном положении нации люди могут прибегнуть к предательству и насилию. Нация иезуитов представляла собой гибрид их ордена и католицизма. Опасность для Церкви была неминуемой; ее упадок требовал отчаянных мер. Они призывали к цареубийству, бунту и государственной измене, чтобы добиться невозможного излечения.

Политическая теория иезуитов была выведена из их фундаментального принципа послушания Церкви. Они утверждали, что церковная власть *jure divino* превосходит светскую власть. Папа Римский по Божьему поручению и назначению управляет Церковью; Церковь занимает положение выше государства, как душа выше тела. Следовательно, первая присяга христианской нации вместе с ее светскими правителями по праву принадлежит Верховному понтифику. Народ - это настоящий суверен, а короли - это делегаты от народа, обладающие властью, которой они могут справедливо пользоваться только до тех пор, пока они остаются в повиновении Риму. Из этих положений следует, что каждая нация должна отказаться от верности нерелигиозному или непокорному правителю. В крайнем случае, они могут законно устранить его путем убийства; и они находятся *ipso facto* в состоянии смертного греха, если они избирают или признают еретика сувереном. Эта теория возникла из трудов английских иезуитов Аллена и Парсонса. Она была разработана в Риме кардиналом Беллармино, применена в Испании Суаресом и Марианой и открыто проповедована во Франции Жаном Буше. Лучшие силы Паоло Сарпи были направлены на борьбу с главной позицией церковного превосходства. Его труды оказали благотворное воздействие, разграничив отношения Церкви и государства и продемонстрировав даже католикам пагубные последствия признания папского превосходства в мирских делах. В то же время смелый демократический принцип суверенитета народа, который иезуиты выдвинули для утверждения своей доктрины церковного превосходства, вызвал противодействие. Это привело к противоположной гипотезе о Божественном Праве суверенов, которая нашла одобрение в протестантских королевствах, и особенно в Англии при династии Стюартов. Когда французские католики решили положить конец раздорам в своей стране признанием Генриха IV, они прибегли к этому аргументу для оправдания своего послушания еретику. Все здравомыслящие люди и каждый патриот в Европе считали, что папские прерогативы, на которые претендовали иезуиты, были слишком несовместимы с национальными свободами, чтобы их можно было терпеть. Рвение Общества явно превысило его благоразумие, и свободное обсуждение теории правления, которое стимулировали их дерзкие предположения, ослабило дело, которое они стремились укрепить. Их изобретательность превзошла саму себя.

Однако это было ничто по сравнению с враждебностью, вызванной их недобросовестным применением этих принципов на практике. Вряд ли в протестантских странах существовал заговор против установленного правления, с которым они не были бы известны или, как считалось, связаны. Вторжение в Ирландию в 1579 году, убийство регента Мортон в Шотландии и заговор Бабингтона против Елизаветы были результатом их советов. Они были признаны ответственными за покушение на убийство принца Оранского в 1580 году и за его фактическое убийство в 1584 году. Они громко аплодировали Жаку Клеману, убийце Генриха III в

1589 году, как "вечной славе Франции".[175] Многочисленные неудачные покушения на жизнь Генриха IV, кульминацией которых стало покушение на Жана Шастеля в 1594 году, стали причиной их изгнания из Франции. Вернувшись в 1603 году, они снова принялись за работу;[176] и убийца Равайяк, которому удалось устранить несносного поборника независимости Европы в 1610 году, вероятно, был вдохновлен их доктриной.[177] Они приложили руку к Пороховому заговору 1605 года, и некоторые считали, что они спровоцировали Массовое восстание Святого Варфоломея. Они создали Лигу Гизов, целью которой была смена французской династии. Они организовали Тридцатилетнюю войну и добились отмены Нантского эдикта. Если невозможно сразу связать их со всеми и каждым преступным деянием, вменяемым им в вину, тот факт, что иезуит в каждом случае скрывался на заднем плане, в силу совокупности улик сильно свидетельствует против них и объясняет всеобщее подозрение, с которым на них стали смотреть как на мятежных участников беспорядков в интересах наций. Более того, их письменные слова обвиняли их, ибо тираноубийство еретиков недвусмысленно пропагандировалось в их трактатах о государственном управлении. Убежденность в их вине была настолько глубокой, что смерть Сикста V. в 1590 году, предсказанная Беллармино, стала внезапной смертью Урбана VII. в том же году и смерть Климента VIII в 1805 году, также предсказанную Беллармино, — эти три папы плохо относились к ордену — в народе приписывали их деятельности. Но доказательств их практического вмешательства нет. В этих, как и в других случаях, смерть римских понтификов, предположительно отравленных, следует приписать старости и лихорадке.

Однако не стоит удивляться, что рано или поздно иезуиты становились невыносимыми своими интригами во всех странах, где они обосновались.[178] Даже для самого папства они оказались слишком утомительными, чтобы их можно было вынести. Компания ясно показала, что то, что они подразумевали под послушанием Риму, было послушанием Риму, контролируемому и созданному ими самими. Их честолюбивым намерением было установить такое же отношение к папе римскому, как сегун к японскому Микадо. Анализ их мнений также не может не оправдать осуждения, вынесенного им парижским парламентом в 1762 году. "Эти доктрины стремятся разрушить естественный закон, то правило нравов, которое Сам Бог запечатлел в сердцах людей, и, как следствие, разорвать все узы гражданского общества, разрешая воровство, ложь, лжесвидетельство, самую преступную нечистоту и, одним словом, каждую страсть и каждое преступление человеческой слабости; уничтожить все чувства человечности, одобряя человекоубийство и отцеубийство; и уничтожить власть суверенов в государстве".

Большой психологический и патологический интерес придает изучению ордена иезуитов. Было бы невозможно скрыть наше восхищение рвением, энергией, самоотдачей и конструктивными способностями его основателей. Столь же бесполезно было бы изображать безразличие перед зловещим зрелищем такого мирового организма, упорно поддерживаемого в действии для достижения антисоциальной цели. Есть что-то римское в колоссальных пропорциях идеи Лойолы, что-то римское в долговечности структуры, которая ее увековечивает. И все же философ не может не согласиться с чернью в своем окончательном суждении об отвратительности этих священнодействующих деспотов, этих непоколебимых врагов не только героев человеческого интеллекта и поборников правильного поведения, но и самих ангелов христианства. То, что иезуиты утверждают, что были основаны Тем, кто произнес Нагорную проповедь, что они выставляют напоказ свой девиз "А.М.Д.Г." перед Тем, Кто говорил с Синая, является одним из тех практических парадоксов, которыми изобилует история дряхлых религий.

ГЛАВА V

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ: ЧАСТЬ I

Как католическое возрождение повлияло на итальянское общество?—Трудность ответа на этот вопрос—Частота частных насильственных преступлений—Убийства и бандиты—Жестокое уголовное правосудие—Наемные убийцы—Терпимость к преступникам—Благородное убийство—Пример армии Луккезе—Состояние монастырей—История Вирджинии де Лейва—Лукреция Буонвизи—Правдивая история Ченчи—Братья из Дома Массимо—Виттория Аккорамбони—Герцогиня Паллиано—Убийства жен-Семья Медичи.

Мы, естественно, должны задаться вопросом, какое заметное влияние католическое возрождение и Контрреформация оказали на манеры и мораль итальянцев как нации. Много говорилось о контрасте между интеллектуальной утонченностью и почти дикой распущенностью, которым был отмечен Ренессанс. И все же можно справедливо утверждать, что, хотя свирепость и грубая чувственность сохранились со времен средневековья, гуманизм посредством нового идеала, который он представил, имел тенденцию цивилизовывать и просвещать расу. Однако теперь Церковь душила культуру и пыталась восстановить ту церковную концепцию человеческой жизни, которую вытеснил Ренессанс. Удалось ли тогда ее возрожденному католицизму проникнуть в итальянцев духом Христа и Евангелия? Были ли дворяне более спокойными в своем поведении, менее сварливыми и надменными, более законопослушными и менее склонными к актам насилия, чем они были в предыдущий период? Были ли люди более довольны и менее раздражаемы фракциями, счастливее в своих домах, менее подвержены безумию пагубных суеверий?

Очевидно, что трудно ответить на эти вопросы с полнотой или точностью. Во-первых, мы не имеем права ожидать, что религиозное возрождение, ознаменованное Тридентским собором, должно было немедленно проявиться в сфере национального поведения. Во-вторых, это было не обновление христианства в его истоках, подобно немецкой реформации, а возрождение средневековой католицизма в прямом противоречии с интеллектуальными тенденциями того времени. Новое учение северных народов разрушило ту систему идей, на которой покоилось средневековое общество; но оно также ввело религиозные и моральные концепции, более жизненные, чем эти идеи в их упадке. В Италии процесс распада был не менее тщательным, более того, гораздо более тонким и повсеместным. И все же новое учение не побудило нацию попытаться воссоздать первоначальное христианство. Католическое Возрождение не дало ничего жизненно важного или воодушевляющего для сознания расы. Это вернуло старые верования, старый культ, старые суеверия, старые злоупотребления с более строгой дисциплиной и режимом террора. Тем временем она решительно направила свои силы в противовес тому, что было благотворным и животворящим в ментальном движении эпохи Возрождения. Это вынудило людей, наблюдавших за зарождением нового света, закрыть глаза на тот рассвет. Это положило конец исследованиям классического Возрождения; заставило философов вернуться к Фоме Аквинскому; пригрозило темницей или костром мыслителям, которые осмелятся пройти мимо Геркулесовых столпов, когда их любопытству открылась целая Атлантика знаний. При этих обстоятельствах было невозможно, чтобы революция, столь

ретроградная по своей природе, остановившая прилив национальной энергии в полном объеме, оказала здоровое влияние на итальянский темперамент в целом. Мы имеем право ожидать того, что на самом деле мы обнаруживаем, появления лицемерия и церемониальных обрядов, но фактических изменений в манерах практически нет. В-третьих, вопрос еще более осложняется тем, что католическое возрождение произошло одновременно с установлением испанской гегемонии. В конце первой главы этого тома я указал на бедствия, навлекаемые на Италию ее рабством у иностранного и несимпатичного деспота: упадок коммерческой деятельности, умножение ленивых лордов, упадок промышленности, уменьшение богатства и страдания низших классов от пиратов, бандитов и сборщиков налогов. Этих условий было достаточно, чтобы деморализовать народ. И средневековый католицизм, восстановленный эдиктом, насаждаемый инквизицией, пропагандируемый иезуитами, не обладал таким прекрасным энтузиазмом, чтобы противостоять им. Рабской по своей концепции, ее было достаточно, чтобы обуздать и усмирить расу крепостных, но не смягчить или очистить их звериные инстинкты.[179]

В этой главе я не буду пытаться провести общий обзор итальянского общества.[180] Я ограничусь предоставлением материалов для формирования суждения, рассказав о некоторых из самых замечательных семейных трагедий второй половины шестнадцатого века, выбрав только те, которые основаны на тщательно отобранных документальных свидетельствах и которые ярко иллюстрируют социальные условия страны. Прежде чем приступить к этим историческим романам, было бы неплохо предварить их несколькими общими замечаниями о состоянии нравов, которое они будут иллюстрировать.

Первое, что бросается в глаза изучающему Италию в период с 1530 по 1600 год, - это то, что количество насильственных преступлений, совершенных частными лицами в личных целях, неуклонно увеличивалось.[181]

По сравнению с поздним Средневековьем, по сравнению с эпохой Возрождения, этот период отличается необычайной свирепостью нравов и почти беспрецедентной легкостью кровопролития.[182]

Широкие политические и религиозные распри, раздиравшие страну в первые годы шестнадцатого века, были умиротворены. Иностранные армии перестали оспаривать провинции Италии. Победоносные державы Испании, Церковь и защищенные княжества, казалось, были уверены в своих завоеваниях. Но те международные распри, которые держали нацию в состоянии волнения в течение длительного периода муниципальных войн, закончившихся ужасами последовательных вторжений, теперь сменились почти всеобщим разладом между семьями и отдельными людьми. Каждая провинция, каждый город, каждая деревня стали театром частных междоусобиц и убийств. Каждый дом был ареной убийств и ограблений. Италия представляла собой зрелище нации, вооруженной против самой себя, не для того, чтобы решать вопрос об антагонистических политических принципах посредством гражданской войны, а для удовлетворения беззаконных страстей — алчности, мести, негодования — посредством личных своевольных поступков. Среди простых людей страны и городов преступления жестокости и кровопролития были обычным явлением; каждый человек носил оружие для самообороны и для нападения на своего соседа. Аристократия и высшие классы *буржуазии* жили в постоянном состоянии взаимного недоверия, готовые при малейшем поводе к воображаемому оскорблению перейти к убийству. Во многом эта дикость была

вызвана ложными представлениями о чести и аккуратности, которые привнесли испанцы. Возникали ссоры из-за приветствия, титула, вопроса о старшинстве, места в церкви, места в приемной принца, встречи на людных улицах. Знатных людей провожали слуги, которые измеряли расстояние и измеряли высоту помоста или скамьи, прежде чем их господин проявит свое достоинство, продвинувшись на шаг дальше положенного минимума. Любовные похождения и кодекс чести по отношению к женщинам открыли бесконечные источники неумолимой ревности, непримиримой ненависти и оскорблений, которые можно было искупить только кровью. В каждом из этих случаев меч был наготове в правой руке; и там, куда это великодушное оружие не доставало, аркебуза и нож наемных убийц пускались в ход без угрызений совести.^[183] Однако мы не должны приписывать это состояние общества полностью или главным образом испанскому влиянию.

На самом деле это было пережитком средневековых привычек в изменившихся обстоятельствах. Во время муниципальных войн тринадцатого века и впоследствии, во время борьбы деспотов за господство, нация привыкла к междоусобицам, в которых партия шла против партии, семья против семьи, человек против человека. Эти настроения в городах, как привыкли называть их итальянские историки, были частично подавлены конфедерацией пяти великих держав в конце пятнадцатого века, а также преобладающей вежливостью нравов. Более того, в ту эпоху они были систематизированы и контролировались методами *кондотьерской* войны, которые давали законный выход страстям буйных молодых людей. Но когда Италия погрузилась в период умиротворения после поселения Карла V в Болонье в 1530 году, когда больше не было *кондотьеров*, набравших войска в противоборствующие армии, когда в городах прекратились политические партии, старые настроения вспыхнули снова в виде частных распри. Хотя имена гвельфов и Гибеллинов потеряли свое значение, эти группировки появились вновь и разделили Милан, города Романьи, деревни Кампании. На смену *кондотьерам* пришли разбойничьи вожди, которые, подобно Пикколомини и Скъярре, становились во главе полков и совершали мародерские набеги по стране. Вместо изгнанников, вынужденных победившими партиями в государстве искать ненадежной жизни на чужой земле, появилось множество бандитов, осужденных за акты насилия. Таким образом, привычки, выработанные веками политического брожения, сохранялись, когда нация пребывала в покое в рабстве, принимая более низкие и эгоистичные формы жестокости. Конец шестнадцатого века стал свидетелем окончательного вырождения и разложения средневекового военного государства, которому Ренессанс положил конец, но которое бедствия иностранных вторжений возродили, обратив в зверство население, и которое теперь угрожало разложить общество в бесцельную анархию и частное беззаконие.

Не следует воображать, что правительства и магистраты проявляли слабость в преследовании преступников. Репрессивные законы, объявления вне закона и тщательно продуманные судебные преследования сменяли друг друга с неутомимой добросовестностью. Доходы штатов облагались налогом, чтобы добывать кровавые деньги и поддерживать шпионов. За поимку или убийство сбежавших преступников неизменно предлагались крупные суммы; и горе негодяям, которые становились участниками уголовного процесса! Свидетелей пытали с адской жестокостью. Осужденные преступники испытывали ужасные муки перед смертью или были обречены влачить жалкую жизнь в чумных подземельях. Но сама бесчеловечность этого судебного метода, безжалостность к невиновным, у которых можно было вымогать показания, и часто несправедливость наказаний, назначаемых преступникам разной степени вины, научили людей пренебрегать правосудием и поощряли их к жестокости. Они сочли более терпимым

присоединяться к бандам разбойников, которые грабили их поля и деревни, чем помогать правителям, которые правили так неравномерно и жестоко. Мы знаем, например, что главарь разбойников Марианаццо отказался от помилования папы, утверждая, что профессия разбойника была более прибыльной и обеспечивала большую безопасность жизни, чем любое ремесло в стенах Рима. Таким образом, бандиты того поколения занимали видимую позицию оппозиции деспотичным правительствам. Более того, было много благоприятных возможностей для совершения убийства. Церковь ревниво охраняла свои права на убежище. Каким бы ни было ее рвение к православию, она проявила себя снисходительной матерью к преступникам, которые требовали убежища. Феодальная знать гордилась тем, что защищала беженцев в своих поместьях и замках. Осталось бесчисленное множество мелких владений, которые пользовались привилегиями синьориальных судов и местного правосудия. Кардиналы, послы и могущественные принцы заявляли о неприкосновенности от общей юрисдикции в своих дворцах, дворы и подвалы которых вскоре стали прибежищем сбежавших преступников. Между несколькими государствами, на которые тогда была разделена Италия, не существовало договоров об экстрадиции, так что пересечь границу было необходимо только для того, чтобы спастись от закона. Положение преступника в этом случае было относительно безопасным, за исключением личной мести или алчности профессиональных головорезов, которые честно зарабатывали на жизнь, убивая бандитов, за голову которых была назначена хорошая награда. Осужденные по большей части в их отсутствие, эти убийцы вошли в общепризнанный и не бесчестный класс. Их терпели, принимали и даже благоволили соседние князья, которые, как правило, затаили обиду на государство, из которого бежали разбойники. Получив грамоты о безопасности и покровительстве, они записывались в ополчение принятой ими страны, в то время как худшие из них становились шпионами или тайными агентами полиции. Ни одно правительство, по-видимому, не рассматривало насильственные преступления со всей строгостью, при условии, что они были совершены на чужой территории. Убийства ради грабежа или изнасилования действительно считались постыдными. Но человек, убивший заклятого врага, или проливший кровь в пылу ссоры, или отомстивший за свою честь убийством сестры, уличенной в легкомыслии, только создавал репутацию храбреца, которая сослужила ему хорошую службу. Из него, вероятно, получился бы стойкий солдат, и он не сделал ничего социально порочащего. Напротив, если бы он был полезен в избавлении мира от преступника, которого хотел убить какой-нибудь принц, это убийство сделало бы его героем. В дополнение к кровавым деньгам он нередко получал прибыльную должность или пожизненную пенсию.

Эти обычаи привели к очень любопытному положению вещей. Исполнение судебных приговоров государств по делам о непредумышленном убийстве и государственной измене в значительной степени зависело от иностранных убийц и предателей. Города были полны преступников, за голову каждого из которых была назначена награда, взаимно подозрительных, по отдельности жаждущих убить кого-нибудь из своих собратьев-преступников и тем самым обогатить собственную казну. В случае успеха он получал изрядную сумму денег, а также привилегии и иммунитеты от государства, объявившего преступника вне закона; и нередко он получал дополнительное право освободить одного или нескольких бандитов от смертной казни или тюремного заключения. Можно себе представить, какие противоречивые цели преследовали преступники, на их плечах лежали преступления во многих штатах; и какой опасности могло подвергнуться общество, если бы они объединились, как они действительно пытались сделать в заговоре Бедмара против Венеции. Тем временем штаты держали в узде это плавающее скопление преступников с помощью различных политических и социальных

ухищрений, которые выросли из требований и привычек момента. Вместо того чтобы набирать солдат из постоянного населения, когда война была неизбежна, стало обычным делом набирать преступников. Таким образом, когда Лукке пришлось вторгнуться в Гарфаньяну в 1613 году, Республика выпустила прокламацию, обещающую помилование и выплату жалованья тем из своих собственных бандитов, которые встанут под ее знамена. На этот призыв откликнулся 591 человек, и последовавшая за этим небольшая война велась с большей, чем обычно, жесточечностью.[184]

Даже обычная полиция и стражники городов состояли из беглецов из других штатов, причем предпочтение отдавалось тем, кто прибыл сюда запятнанным только благородным кровопролитием. В 1593 году охрана дворца Лукки была усилена добавлением сорока трех человек, среди которых четверо были бандитами за раны, нанесенные врагам в открытом бою; двенадцать - за убийство на дуэли мечом к мечу; пятеро - за убийство более чем одного человека в подобных столкновениях; один - за убийство сестры и ранение ее соблазнителя; двое - за нанесение увечий врагу в лицо; один - за незаконную вербовку; один - за нанесение телесных повреждений; один - за покровительство бандитам; и шестнадцать простых беженцев.[185] Фразы, использованные для описания этих людей в официальном отчете, в достаточной степени иллюстрируют современные моральные стандарты. Таким образом, мы читаем: "Бандиты за омичиди семпличи" *да буоно за буоно*, сангуэ кальдо, что называется, что называется, *о немичи*. "За омичидио юны Сореллы" *за причиненный вред*. "Убийство врага или сестры, которая плохо себя вела, считалось простительным.

Распространение беззакония способствовало возникновению домашнего обычая, который вскоре перерос в систему. Это было содержание так называемых *брави* дворянами и людьми, достаточно богатыми, чтобы позволить себе столь дорогую роскошь. Разбойники находили свое преимущество в сделке, которую они заключали со своими нанимателями, ибо, помимо жилья, питания, одежды и оружия, они получали определенную защиту от шпионов и профессиональных убийц, которые всегда были на чеку, чтобы убить их. Их хозяева использовали их для защиты своей личности во время междоусобицы или направляли их против личных врагов, которым они хотели причинить вред.

В летописях тех времен нередко можно прочесть: "Мессер Такой-то, получив оскорбление от графа V., воспользовался услугами трех *bravi*, отважных парней, готовых на любую пакость, с которыми он удалился в свой загородный дом". Или еще: "Маркиз, заметив, что его сосед затаил на него злобу из-за синьоры Лукреции, счел благоразумным увеличить число своих телохранителей и поэтому добавил Пеппи и Ло Скарабоне, бандитов из Тосканы, обвиняемых в убийстве человека". священник и гражданин, к своим домочадцам". Или еще: "Во время каникул Святого Престола барон Икс, как обычно, нанял латников для защиты своего дворца".

Со временем приютить толпу таких негодяев стало признаком рождения и богатства. Они жили в дружеских отношениях со своим работодателем, делились его секретами, прислуживали ему в его любовных утехх и выполняли любую дьявольскую работу, которую он решал поручить. Им были отведены апартаменты в подвале дворца, так что дом дворянина продолжал напоминать замок средневекового барона. Но *брави*, в отличие от солдат, редко занимались благородным делом. Они составляли постоянный элемент предательства и насилия внутри социального организма. Установившиеся таким образом отношения были не в пример необычные. Преступное сообщество, связанное с общими интересами и общими опасностями, установило

особую связь между аристократом и его *бравой*. Это было осложнено определенным чувством "чести, корнящейся в бесчестии", и слабым отражением со стороны старших слуг. Соглашение, заключенное между землевладельцем и бандитом, пародировало то, что сближало феодала и бродячего сквайра. В этом было что-то неблагородно-благородное, соответствующее смятенной совести и опасным условиям эпохи.

Изучая эту организованную и наполовину терпимую систему социального насилия, мы с удивлением наблюдаем, насколько широко она поощрялась и как часто приводилась в действие Церковью. В предыдущей главе, посвященной иезуитам, я упоминал об их поощрении убийств ради целей, которые они считали священными. В следующей главе, посвященной Сарпи, я покажу, до какой степени римская прелатура была замешана более чем в одной попытке лишить его жизни. Таким образом, главы Церкви, вместо того чтобы протестовать против этого порока испорченной цивилизации в Италии, всячески поощряли то, что кажется нам сейчас не только в высшей степени нехристианским, но и пагубным для здоровых национальных условий существования. Из этих наблюдений мы можем сделать два вывода: во-первых, что религии, за исключением первого периода своего роста и поступательного прогресса, признают моральные устои общества, которые они якобы регулируют; во-вторых, что для людей одного столетия почти невозможно сочувствовать этике прошлой, другой эпохи. Мы не можем понять цареубийственные теории иезуитов или кровожадные интриги двора понтифика Боргезе, не признав, что священники, специально посвятившие себя служению Христу и распространению его Евангелия, чувствовали себя вправе использовать аморальные и нехристианские средства, которые общественный обычай предоставлял в их распоряжение для избавления от неудобных врагов. Это одновременно их защита как человеческих существ в шестнадцатом веке и их обвинение как самозванных и мнимых преемников Основателя, который упрекнул Петра в Гефсиманском саду.

Вряд ли есть необходимость делать общие замечания о состоянии сексуальной морали в эту эпоху. И все же есть некоторые особые обстоятельства, которые заслуживают внимания, чтобы сделать понятными типичные истории, которые я собираюсь рассказать. Мы уже видели, что общество потворствовало убийству сестры братом, если она навлекла бесчестье на свою семью; и та же привилегия распространялась на мужа в случае заведомо неверной жены. Такие убийства не ускользали от судебного приговора, но они разделяли общепринятую терпимость, которая распространялась на убийства по горячим следам или в ходе кровной вражды. Состояние итальянских монастырей в этот период дало повод к преступлениям, в которых женщины играли заметную роль. После Тридентского собора в религиозных домах были проведены реформы. Но они не могли быть осуществлены немедленно; а тем временем экономические изменения, происходившие в торговой аристократии, наполнили женские монастыри девушками, у которых не было призвания к уединенной жизни. С каждым годом в торговле зарабатывалось все меньше денег; купцы становились дворянами, вкладывая свой капитал в землю и закрепляя свои поместья за старшими сыновьями по наследству. Из этого следовало, что они не могли позволить себе выдавать замуж всех своих дочерей с приданым, соответствующим тому положению, которое они стремились занять. Таким образом, большой процент женщин знатного происхождения, привыкших к роскоши и испорченных дурными примерами в своих домах, были обречены на монашескую жизнь. Синьор Бонги считает, что в конце шестнадцатого века более пятисот девушек, ставших ненужными в знатных семьях, переполняли монастыри единственного маленького городка Лукка. В более позднюю эпоху в этом обстоятельстве не было бы особой опасности. Но в то время, которым мы сейчас

занимаемся, предосудительная вольность все еще сохранилась с более ранних эпох. Женские монастыри приобрели дурную славу как дома распущенных удовольствий, к которым предпочитали прибегать солдаты и молодежь с распутными привычками.[186] По-видимому, в этом был особый распутный фанатизм, хорошо выраженное болезненное пристрастие к этим любовным утехам с девственницами-одиночками. Молодые люди, которые преследовали их, получили прозвище, свидетельствующее об их всепоглощающей страсти.[187]

Притягательность тайны и опасности, без сомнения, имела какое-то отношение к этому увлечению; и очарование, которое святотатство имеет для порочных натур, также может быть учтено. Наслаждаться беззаконной любовью было недостаточно; но обладать женщиной, которая чередовала порывы страсти с муками раскаяния, добавляло остроты чувству вины. Для мужчин, которые обычно прибегали к магии и твердо верили в дьявола, это приводило романтику в восторг. Для развратников было обычным делом искать то, что они называли *peripetezie di nuova idea*, или новые и захватывающие приключения, возбуждающие пресыщенный аппетит, в освященных местах. В любом случае, как будет показано в продолжении этой главы, монастырские интриги занимали большое место в криминальных анналах того времени.

Леди Монца

Вирджиния Мария де Лейва была потомком генерала Карла V. Антонио де Лейва, который на протяжении многих лет управлял Миланским герцогством и умер, осыпанный богатством и почестями.[188]

За свою военную службу он был награжден княжеством Асколи, федеральной властью города Монца и пожизненным владением городом Павия. Отца Вирджинии звали Мартино, и после его смерти титулы дома унаследовал ее двоюродный брат. Она по семейным обстоятельствам поступила в монастырь Святой Маргариты в Монце примерно в 1595 году. Здесь она занимала значительное место, будучи дочерью сеньора Монцы, княжеской крови, богатой и связанной с великими домами Милана. Св. Маргарита была монастырем Умилишенных, предназначенным для воспитания благородных девушек, в котором, следовательно, царила значительная распущенность дисциплины.[189]

Сестра Вирджиния непринужденно жила в его стенах, держа что-то вроде небольшого двора и пользуясь неопределенной властью в мелких делах, которая соответствовала ее рангу. Среди ее любимых спутниц во время событий, о которых я собираюсь рассказать, были сестры Оттавия Риччи, Бенедетта Хомата, Кандида Бранколина и Сильвия Казата; ей прислуживала сестра-конверс, Катерина да Меда. Рядом с монастырем стоял дом и сад некоего Джанпаоло Осियो, сыгравшего главную роль в трагедии Вирджинии. Должно быть, это был молодой человек с выдающейся внешностью, потому что, когда Вирджиния впервые увидела его из окна, выходящего на его территорию, она воскликнула: "Возможно ли когда-нибудь видеть что-либо более прекрасное?" Он привлек ее внимание еще в 1599 или 1600 году, при обстоятельствах, не очень благоприятных для задуманного им плана. Его руки были красны от крови судебного пристава Вирджинии Джузеппе Мольтено, которого он убил по какой-то неизвестной нам причине. Во время их первой беседы (Вирджиния высунулась из окна камеры своей подруги Кандиды, а Осियो стоял на своем садовом участке внизу) молодой человек вежливо извинился за этот акт насилия, добавив, что будет служить ей еще более преданно, чем покойный Мольтено, и умолял разрешить ему написать ей письмо. Когда пришло письмо, оно было

составлено в выражениях, выражающих беззаконную страсть. Благородная кровь Вирджинии восстала против оскорбления, и она отправила ответ обратно, отвергнув своего дерзкого поклонника. Посредниками в завязавшейся переписке были две монахини, Оттавия и Бенедетта, а также некий Джузеппе Песен, который служил разносчиком писем. Осियो не позволил обескуражить себя первому отказу, но пошел на рискованный шаг и открыл свои мысли духовнику монастыря Паоло Арригоне, священнику Сан-Маурицио в Милане. Арригоне сразу же поддался интриге и научил Осियो, какие письма он должен писать Вирджинии. Они должны были быть вежливыми, уважительными, сочетая благочестивую риторику с мистическими намеками на романтические страсти. Похоже, что исповедник сам составил эти документы и посоветовал своему честному кающемуся, что в их прочтении нет греха. От переписки Осियो перешел к интервью. С помощью Арригоны он получил доступ в гостиную монастыря, где беседовал с Вирджинией через решетку. Во время их предыдущих встреч влюбленный не отваживался на комплименты и скромные заверения в преданности. Но время шло, и он перешел к поцелуям и ласкам, а однажды заставил Вирджинию взять в рот маленький драгоценный камень. Это был белый магнит, благословленный Арригоне и предназначенный действовать как любовный амулет. Девушка, по сути, начала ощущать влияние своего соблазнителя. В своем последнем признании она рассказывает, как боролась с искушением. "Какая-то дьявольская сила заставила меня подойти к окну, выходящему в его сад; и однажды, когда сестра Оттавия сказала мне, что там стоит Осियो, я упала в обморок от усилий сдержаться. Это повторялось несколько раз. В какой-то момент я пришла в ярость и молила Бога помочь мне; в другой раз я почувствовала, что меня оторвало от земли и заставило пойти и посмотреть на него. Иногда, когда на меня накатывал припадок, я рвал на себе волосы; я даже подумывал о самоубийстве". Вирджинию окружали люди, заинтересованные в помощи Осियो. Не только духовник, который был человеком с дурной репутацией, но и ее друзья среди монахинь, сами привыкшие к интригам подобного рода, вели ее по пути к гибели. Были изготовлены фальшивые ключи, и та или иная из неверных сестер ночью ввела молодого человека в монастырь. Когда Вирджиния воспротивилась и рассказала о святотатстве, заключающемся в том, что она нарушила обитель, Арригоне снабдил ее печатной книгой по казуистике, в которой было написано, что, хотя для монахини может быть греховно покидать свой монастырь, нет греха в том, что мужчина входит в него. Наконец она пала; и в течение семи лет она жила в тесной близости со своим возлюбленным, проводя с ним ночи либо в его собственном доме, либо в одной из келий Святой Маргариты. Однажды, когда ему пришлось скрываться от правосудия, девушки прятали его в своих комнатах в течение пятнадцати дней. Первым плодом этой любви стал мертворожденный ребенок; после рождения которого Вирджиния продала все серебро, которое у нее было, и послала обетную табличку Богородице Лоретской, на которой она изобразила монахиню с младенцем, стоящими на коленях и плачущими. Еще дважды я посылал один и тот же памятник Богородице, умоляя о милости освобождения от этой страсти. Но колдовство, которым я был окружен, одержало верх. В моей постели были найдены кости умерших, железные крюки и много других вещей, о которых монахини были хорошо осведомлены. Более того, я бы охотно пожертвовала жизнью, чтобы спасти свою душу; и так велики были мои страдания, что в отчаянии я хотела броситься в колодец, но меня удержал образ Пресвятой Богородицы в глубине сада, к которому я питала особую привязанность. "Со временем она родила маленькую девочку, по имени Франческа, которая часто посещала монастырь и которую Осियो признал своим ребенком.

Было невозможно, чтобы давняя связь, известная нескольким сообщникам и подтверждаемая присутствием ребенка Франчески, оставалась скрытой от всего мира. Люди начали говорить об этом факте в Монце. Аптекарь по имени Рейнаро Сончини сплетничал слишком открыто. Однажды ночью Осियो приказал слуге, которому он платил, застрелить его.

И вот теперь влюбленные занялись преступной карьерой, которая, наконец, привела их к правосудию. Камеристка Вирджинии Катерина впала в немилость у своей госпожи и по ее приказу была заключена в нечто вроде тюрьмы. Девушка заявила, что доведет всю эту неприятную историю до сведения вышестоящих властей, и сделает это немедленно, поскольку монсеньор Барка, посетитель Святой Маргариты, собирается совершить одну из своих официальных инспекционных поездок.

Эта угроза стоила Катерине жизни. Около полуночи, когда бушевала гроза, Вирджиния в сопровождении своих обычных помощниц, Оттавии, Бенедетты, Сильвии и Кандиды, вошла в комнату, где содержалась девочка. За ними последовал Осियो, держа в руке тяжелый инструмент из дерева и железа, называемый *пьеде ди бикокка*, который он прихватил во флигеле монастыря. Он нашел Катерину лежащей лицом вниз на кровати и одним ударом размозил ей череп. Тело было перенесено им и монахинями в птичник сестер, откуда он перенес его следующей ночью с помощью Бенедетты в свое жилище. По свидетельствам, которые впоследствии выяснились, Осियो обезглавил труп, спрятал тело в чем-то вроде погреба и выбросил голову в пустой колодец в Велате.

Исчезновение Катерины как раз перед визитом монсеньора Барки вызвало подозрения; и, хотя убийство не было раскрыто немедленно, виновные сообщники чувствовали, что вокруг них затягивается веревка судьбы. Осенью 1607 года на их головы обрушилась буря. Вирджинию перевели из Монцы в монастырь Дель Боккетто в Милане; и 27 ноября были взяты показания настоятельницы, настоятельницы и других членов церкви Святой Маргариты относительно интриг Осियो, убийства Сончини и исчезновения Катерины.

Среди монахинь, подстрекавших Осियो, двумя наиболее криминально замешанными были Оттавия и Бенедетта. Их свидетельства, если их внимательно изучить, должны раскрыть каждую тайну прошлого. Поэтому Осियो был очень заинтересован в том, чтобы они не попали в руки правосудия; ему также не составило никакого труда убедить их положиться на его помощь в организации побега в какой-нибудь монастырь на территории Бергамаски. Кстати, мы можем задаться вопросом, какого рода дисциплина поддерживалась тогда в женских монастырях, если две столь провинившиеся сестры рассчитывали на безопасный доступ в приют, при условии только, что они смогут покинуть миланскую епархию и перейти в другую.^[190] В ночь на четверг, 30 ноября 1607 года, Осियो подошел к стене монастырского сада и начал пробивать в ней дыру, через которую пролезли Оттавия и Бенедетта. Затем все трое прошли вдоль городской стены Монцы, пока не нашли пролом, достаточно широкий для выхода. Потом они пошли по тропинке вдоль реки Ламбро и ненадолго остановились у церкви Мадонны делле Грации. Здесь сестры помолились о помощи Богоматери в их путешествии и произнесли *Salve Regina* семь раз. Затем они возобновили свою прогулку вдоль Ламбро, и в какой-то момент Оттавия упала в реку. В своих предсмертных показаниях она обвинила Осियो в том, что он столкнул ее в воду; и, похоже, нет никаких сомнений в том, что это сделал он; ибо, пока она боролась в воде, он выхватил аркебузу из-под плаща и нанес ей несколько ударов по голове и рукам.

Она притворилась мертвой, и ее отнесло вниз по течению к месту, где ей удалось выползти на сушу. Мимо прошли несколько крестьян, которых она умоляла о помощи. Но они, заметив, что по одежде она была монахиней Святой Маргариты, отказались приютить ее на остаток ночи. Они дали ей посох, на который она могла опереться, и после мучительного путешествия она вернулась в церковь Грации на раннем рассвете. Раны Оттавии на голове, лице и правой руке, нанесенные прикладом пистолета Осियो, были настолько серьезными, что после чистосердечного признания перед судьями она скончалась от них 26 декабря 1607 года.

Когда Осियो столкнул Оттавию в Ламбро и попытался разmozжить ей мозги своей аркебузой, он продолжил свое полуночное путешествие с сестрой Бенедеттой. Они добрались до нежилого дома за городом, примерно в пяти или шести милях от Монцы. Здесь Осियो запер Бенедетту в пустой комнате с каменной скамьей вдоль стены. Она оставалась там всю пятницу, и однажды ее навещил ее ужасный компаньон, который принес ей хлеб, сыр и вино. Она воздержалась от прикосновения к какой-либо еде, опасаясь яда. Около девяти вечера он вернулся и велел ей готовиться к выступлению. Они снова двинулись в путь, вместе, в темноте; и, пройдя около трех миль, пришли к колодезю, в который Осियो сбросил ее. Колодец был глубоким, и в нем не было воды. При падении Бенедетта повредила левый бок, а когда она достигла дна, ее предполагаемый убийца швырнул в нее большой камень, который сломал ей правую ногу. Она ухитрилась защитить свою голову, собрав вокруг нее камни, и лежала, не стоная и не двигаясь, в страхе, что Осियो предпримет новую попытку насилия, если только не сочтет ее мертвой. С середины вечера пятницы до утра воскресенья она оставалась в таком положении, исследуя глазами поверхность своей темницы. Там было сухо и усеяно костями. В одном углу лежал круглый черный предмет, напоминавший человеческий череп. Как в конце концов выяснилось, это была голова Катерины, которую сама Бенедетта помогла убить и которую Осियो бросил туда. В воскресенье, во время мессы, мужчины из деревни Велате находились в церкви, когда услышали голос снаружи, взывающий: "Помогите, помогите! Я на дне этого колодца!" Колодец, как оказалось, находился на расстоянии нескольких десятков шагов от церковных дверей, и Бенедетта вовремя обратилась за помощью. Жители деревни подбежали к месту происшествия и вытащили ее с помощью человека, который спустился вниз с веревкой. Затем ее отвезли в дом джентльмена, синьора Альберико дельи Альберичи, который, когда никто другой не был достаточно милосерден, чтобы принять ее, открыл свои двери измученной жертве этого чудовищного надругательства. Следует отметить, что тот же хирург, которого наняли для осмотра ран Оттавии, теперь явился, чтобы осмотреть Бенедетту. Его звали Амброджо Вимеркати. Бенедетту отвезли в монастырь Святой Орсола, где умирала ее подруга Оттавия; и после полного признания она в конце концов поправила свое здоровье и была пожизненно заключена в своем старом монастыре.

Осियो все еще был на свободе. 20 декабря он направил длинное письмо кардиналу Федерико Борromeо, в котором тщетно пытался защитить себя и возложить вину на своих соратников. Это отвратительный документ, в котором высокопарные протесты и льстивые фразы сочетаются с жестокими обличениями его жертв и предательскими инсинуациями. Один отрывок заслуживает внимания. "Кто это был, - говорит он, - кто предложил мне переписываться с Вирджинией? Священник Паоло Арригоне, те развалины монастыря! Каноник Писнато, который сейчас является духовником монахинь Меды; в его доме вы найдете то, чего никогда не найдете в моем: подарки от монахинь, подстрекательства к любовным утехам и тому подобные вещи. Священник Джакомо Бертола, духовник монахинь Святой Маргариты; кто был его приверженцем? Саша!— и он оставался там весь день. Эти люди, будучи священниками, не

подвергаются судебному преследованию; их, конечно, защищает их одежда! Люди говорят только о бедном Осии. Только его преследуют, только он злоумышленник, только он предатель!" Арригоне, собственно говоря, предстал перед судом и был приговорен к двум годам каторги, по истечении которых он не должен был возвращаться ни в Монцу, ни на ее территорию. Это кажется незначительным приговором, поскольку судьи признали его виновным не только в содействии интриге Осии с Вирджинией, ведении переписки и наблюдении за дверью во время их бесед в гостиной, но и в том, что он сам преследовал синьору с позорными предложениями.

В его отсутствие Осии был приговорен к смертной казни на виселице. Его имущество было конфисковано у государства. Его дом в Монце был разрушен, и на его месте был воздвигнут позорный столб, свидетельствующий о его преступлениях. 5 апреля 1608 года была издана прокламация о запрете за печатью донна Пьетро де Асеведо, графа Фуэнтеса и губернатора штата Милан, которая предлагала "любому лицу, которое само не является преступником, или какой-либо коммуне, которая передаст Джанпаоло Осии в руки правосудия, награду в тысячу скудо из королевской герцогской казны вместе с правом освободить четырех бандитов, осужденных за аналогичные или меньшие преступления; и в случае, если он будет доставлен мертвым, даже если он будет убит в чужих краях, то ". половина вышеупомянутой суммы денег и свобода двум бандитам, как указано выше. И если человек, который передаст его живым, сам окажется вне закона за аналогичные или меньшие преступления, он получит, помимо свободы для себя и двух других бандитов, половину вышеупомянутой суммы денег; а в случае его отправки после смерти, свободу для себя и двух других бандитов, как указано выше." Я процитировал это *Бандо*, потому что это хороший пример процедуры, используемой в подобных условиях. Правосудие предпочитало заполучить преступника живым и желало передать его в честные руки. Но ожидалось, что до него доберутся через менее авторитетных агентов. Поэтому они предложили бесплатное помилование бандиту и паре сообщников, которые могли бы сообща взять на себя поимку или убийство объявленного вне закона преступника, а в случае, если его доставят живым, - определенную сумму денег. Осии, по-видимому, провел несколько лет в изгнании, меняя место жительства, имя и одежду, перебиваясь, как мог, с рук на руки, пока за границей не распространился слух, что он мертв. Затем он вернулся в свою страну и попросил убежища у старого друга. Этот друг предал его, ему перерезали горло в подвале, и он выставил свою голову напоказ на рыночной площади.

Вирджиния была приговорена к пожизненному заключению в монастыре Святой Валерии в Милане. Она должна была быть "заключена в небольшую темницу, дверь которой должна быть замурована камнями и известковым раствором, так что упомянутая Вирджиния Мария должна была оставаться там в течение своей естественной жизни, замурованная днем и ночью, чтобы никогда не выходить оттуда, но должна была получать пищу и другие предметы первой необходимости через небольшое отверстие в стене упомянутой камеры, а свет и воздух - через отверстие или иное отверстие". Этот приговор был приведен в исполнение. Но по прошествии многих лет ее поведение оправдывало некоторое смягчение наказания. Ее отпустили на свободу, и ей разрешили занять более благоустроенные апартаменты, где милосердие кардинала Борромео обеспечило ее удобствами, подобающими ее положению, и репутацией, которую она приобрела за святость. Ее собственная семья лелеяла чувство непримиримой обиды на женщину, которая навлекла на них позор. Рипамонте, историк из Милана, говорит, что в его время она была еще жива: "сгорбленная старуха, высокого роста, высохшая и бесплотная, но почтенного вида, в которую никто не поверил бы, что когда-то она была очаровательной и нескромной красавицей." Ее сообщницы по вине, монахини Святой Маргариты, были

приговорены к таким же наказаниям, как и она сама. Сестры Бенедетта, Сильвия и Кандида подверглись такому же строгому заключению.

Lucrezia Buonvisi

История Лукреции Буонвизи имеет некоторое сходство с историей синьоры ди Монца.^[191]

Ее отцом был джентльмен из Луккезе по имени Винченцо Мальпилли, который провел лучшую часть своей жизни в Ферраре в качестве казначея герцога Афонсо II. У него было четверо детей: один сын, Джован Лоренцо, и три дочери, из которых Лукреция, родившаяся в Лукке в 1572 году, вероятно, была младшей. Жена Винченцо происходила из знатного рода Луккезе Буонвизи, в то время благодаря своему богатству и связям являвшегося самым могущественным домом республики. Лукреция провела несколько лет своего девичества в Ферраре, где у нее завязалась романтическая дружба с дворянином из Лукки по имени Массимилиано Арнольфини. Ее родители не одобряли эту раннюю привязанность. Они предназначили ее в жены одному из многочисленных сыновей Паоло Буонвизи, ее родственникам по материнской линии. Вследствие этого решения она была сначала помолвлена с наследником этого дома, который умер; затем с другим, который тоже умер; и в-третьих, с их братом по имени Лелио, за которого она в конце концов вышла замуж в 1591 году. Лелио было тогда двадцать пять лет, а Лукреции - девятнадцать. Ее красота была настолько выдающейся, что в стихах, написанных о дамах Лукки, она получила это прославление в виде мадригала:

Подобно юной девичьей розе,
Которая на заре,
Еще покрытая благодатной небесной росой,
Очаровательно раскрывает Свою красоту и грудь на лужайке
Перед нимфами и влюбленными парнями, любующимися любовью;
Такая нежная, такая прекрасная, Лукреция украшает
новыми жемчужинами, новым пурпуром наши уютные поля,
Пока Купидон играет, а Флора смеется в своих свежих красках.

.

Менее чем через год после женитьбы на Лелии Буонвизи Лукреция возобновила свою прежнюю близость с Массимилиано Арнольфини. Он был едва ли на два года старше ее, а они уже обменялись клятвами верности в Ферраре. Темперамент Массимилиано склонял его к крайностям; он был быстр и пылок во всех спорах своего времени, готов был подкрепить свои ссоры мечом и не терпел промедления в любом деле, за которое брался. Из-за вражды, которая тогда существовала между семьями Арнольфини и Боччелла, он оставил у себя на службе некоего *брави*, на преданность которого он полагался. Этот молодой человек вскоре нашел способ завязать переписку с Лукрецией и назначил ей встречи в доме нескольких бедных ткачей, живших напротив дворца Буонвизи. Между ними не произошло ничего, что выходило бы за рамки уважительного придворного корабля. Но ситуация стала раздражать такого горячего любовника, каким был Массимилиано. Вечером 5 июня 1593 года его люди напали на Лелио Буонвизи, когда он возвращался с Лукрецией с молитвы в соседней церкви. Лелио упал, пронзенный девятнадцатью ударами кинжала, и его бездыханного отнесли в его дом. Лукреция

вернулась домой одна, и когда труп ее мужа принесли во дворец, она попросила, чтобы его положили в подвале. Единственный свидетель этого акта насилия, Винченцо ди Кореглия, показал, что поднял умирающего с земли, засыпал ему в рот землю в качестве Причастия и убеждал его простить своих врагов, прежде чем он испустит последний вздох. Погода в тот день была очень плохой, и с наступлением темноты гремел не переставая.

Немедленно было начато расследование причин смерти Лелио. Согласно рассказу Лукреции, ее муж упрекнул каких-то мужчин на дороге за то, что они распевали непристойные песни, после чего они повернулись и убили его. Труп был выставлен в церкви Серви, где вокруг него собралось множество людей; и там пожилая дама из дома Буонвизи, бросившись на тело своего племянника, поклялась отомстить по старому обычаю *Вокеро* убийцам. Другие члены семьи указывали на Массимилиано как на вероятного убийцу; но он тем временем бежал с тремя своими слугами на виллу своей матери в Сан-Панкратио, откуда ему удалось выбраться на открытую местность и укрыться во временной безопасности. В течение этого времени судебные власти Лукки не бездействовали. Подеста издал прокламацию с требованием дать показания под угрозой обезглавливания и конфискации имущества для любого, кто будет уличен в утаивании информации. На этот призыв весьма неосмотрительно откликнулся некий Орацио Карли. Он признался, что был осведомлен о том, что Массимилиано замыслил убийство кого-то - не Лелио; и сказал, что он сам способствовал бегству убийц, приготовив лестницу, которую передал в руки *браво* по имени Оттавио да Трапани. Это откровение привело его, связанного по рукам и ногам, к судебным властям, которые в то же время заключили под стражу Винченцо да Кореглия, солдата, присутствовавшего при убийстве.

Тем временем Массимилиано и его люди перешли границу и направились в Гарфаньяну. Их бегство и связанные с ними подозрения с достаточной степенью уверенности свидетельствовали о том, что они были виновниками преступления. Но правосудие потребовало более подробной информации, и Подеста решил воздействовать на двух мужчин, которые уже были в его руках. 4 июня Карли подвергли пыткам. Стойка не принесла ему ничего нового, но привела к вывиху рук. Затем его поместили на приспособление под названием "коза", острый деревянный козел, к которому мужчина был привязан с помощью гирь, прикрепленных к его ногам, и где он просидел почти четыре часа. В ходе этого болезненного упражнения он показал, что Массимилиано и Лукреция имели обыкновение встречаться в доме Винченцо дель Дзоппо и его жены Поллонии, где также собирались *бравы* и хранили свое оружие. Серьезное подозрение, таким образом, пало на Лукрецию. Не была ли она, возможно, пособницей убийства своего мужа? Была ли она соучастницей трагедии?

Теперь опасность, грозившая Лукреции, стала неминуемой. Ее брат, Джован Лоренцо Мальпильи, который все это время оставался ее другом, счел за лучшее для нее удалиться как можно тайнее в монастырь. Выбран был дом С. Кьяра в городе Лукка. 5 июня она приняла облик святого Франциска, постриглась, сменила имя с Лукреции на Умилию и пожертвовала этому монастырю две тысячи крон приданого. С момента убийства ее мужа прошло всего четыре дня. Но она, во всяком случае, была в безопасности от немедленной опасности, ибо теперь предстояло разобраться с Церковью, а Церковь не отказывалась от своих просителей и не извергала богатства, которые они вливали в ее казну. Подеста, когда до него дошла весть об этом происшествии, немедленно послал навести справки. Его посыльный, сер Винченцо Петруччи, был проинформирован настоятельницей, что Лукреция только что прибыла и ей стригут волосы. По его просьбе явилась сама послушница — "молодая женщина, высокая и

бледная, одетая в монашеское одеяние, с короной на голове". Она назвалась "Мадонной Лукрециной Мальпили, вдовой Лелио Буонвизи". Священник, который проводил ее прием, подтвердил, что "благородная леди сразу после смерти своего мужа поняла это доброе побуждение духа и повиновалась ему на месте".

На данный момент Лукрецию, которую в будущем мы должны называть сестрой Умилией, пришлось оставить в покое. Судьи вернулись к допросу своих заключенных. Винченцо дель Дзоппо и его жена Поллония, в доме которых любовники часто встречались, были подвергнуты пыткам; но из их показаний не вытекло ничего, что указывало бы на преступную переписку. Затем несчастного Карли снова отправили в страппадо. Он упал в глубокий обморок, и его с трудом вернули к жизни. Следующим его сын, шестнадцатилетний юноша, подвергся испытаниям с аналогичными результатами. 7 июня они решили еще раз попробовать Винченцо да Кореглия. В течение последней недели этого солдата держали в тюрьме на скудном рационе, и поэтому, согласно судебным теориям того времени, он созрел для спасительных мучений. После того как его вздернули за руки, его дергали и трясли обычным способом, пока он не заявил о своей готовности сделать полное признание. По его словам, ему сообщили, что Массимилиано намеревался убить Лелио с помощью трех своих брави: Пьетро да Кастельнуово, Оттавио да Трапани и Никколо да Париана. Он пообещал оставаться рядом и прикрывать отступление этих людей. Это был Карли, а не Массимилиано, который делал ему предложения. Подвергнувшись еще одной пытке, он только подтвердил это признание. Снова позвали Карли и посадили на "козу", привязав к его ногам тяжелые гири. Бедняга два часа просидел на этой адской машине, острые края и шипы которой были устроены так, что медленно и глубоко вдавливались в самые нежные части его тела.^[192] Но он терпел эту агонию, не произнося ни слова, пока судьи не поняли, что он при смерти. На следующий день, 8 июня, Кореглия снова был вызван в судебную палату. Напуганный перспективой будущих мучений и утомленный назойливостью, он, наконец, выложил все, что знал. Нанял его не Карли, а сам Массимилиано; и он помогал в убийстве Лелио, которое было совершено двумя брави, Оттавио и Пьетро. Кореглия не сказал ничего, что могло бы обвинить сестру Умилию. Напротив, он утверждал, что она, казалось, потеряла рассудок, когда увидела, как упал ее муж.

Генеральный совет, которому были сообщены результаты этого разбирательства, опубликовал указ о запрете Массимилиано и трех его *брави*. За голову каждого, где бы он ни был убит, была назначена награда в 500 крон; и 1000 крон было предложено любому, кто убьет Массимилиано в пределах города или штата Лукка. В то же время они отправили посланника в Рим с просьбой разрешить папе арестовать Умилию на том основании, что ее серьезно подозревали в причастности к убийству и в том, что она ушла в монастырь, чтобы скрыться от правосудия. Несколько дней спустя несчастные свидетели, Карли и Кореглия, были обезглавлены в своей тюрьме.

Канцлер Винченцо Петруччи покинул Лукку 12 июня и прибыл в Рим 14-го. 15-го он получил аудиенцию у Климента VIII. Когда папа прочитал послание Республики, он ударил ладонью по своему креслу и воскликнул: "Господи! Это серьезный случай! Кажется маловероятным, что женщину ее происхождения можно было склонить к участию в убийстве ее мужа". После некоторого разговора с посланником он добавил: "Это, безусловно, отвратительное дело. Но что мы можем сделать теперь, когда она приняла постриг? Затем он пообещал обсудить этот вопрос и дать ответ позже. Вскоре Петруччи понял, что Церковь не собиралась отказываться от своих привилегий и что Умилию поддерживали влиятельные друзья при дворе. Кардинал

Каструччи заметил в непринужденной беседе: "Она, несомненно, достаточно наказана за свои грехи жизнью в монастыре". Второе интервью с Климентом 21 июня утвердило его во мнении, что Республика не получит разрешения, о котором они просили. Тем временем синьория Лукки подготовила список подозрений против Умилии, основанный на ее путаных показаниях, ее переписке с Массимилиано, том факте, что она ничего не сделала для спасения Лелио, вызвав его, и ее внезапном обращении в монастырь. Этот документ дошел до папы, который 8 июля выразил свое мнение, что Республике следует довольствоваться тем, что Умилия была замурована в своем монастыре; и снова, 23 июля, он объявил свое окончательное решение о том, что "леди, будучи монахиней, постриженной и подготовленной к совершенной жизни, не подпадает под юрисдикцию вашей синьории. Далее ясно, что, обнаружив, что она подверглась клевете этих двух свидетелей и пострадала в своей репутации, она сняла вуаль, чтобы защитить свою честь". 13 августа Петруччи вернулся в Лукку.

Климент уступил в одном пункте. Он поручил епископу Лукки расследовать поведение Умилии на территории монастыря. Но совет отклонил это вмешательство, поскольку они были в плохих отношениях с епископом и возмущались вмешательством церкви в светские дела. Более того, они рассудили, что такая инквизиция без применения пыток и в безопасном месте оказалась бы хуже, чем бесполезной. Таким образом, дело было прекращено.

Тем временем мы можем рассказать, что случилось с Массимилиано и его *бравы*. Они бежали через Гарфаньяну и Массу на территорию Альфонсо Маласпины, маркиза Виллафранки и Трезаны. Этот дворянин, которому доставляло удовольствие защищать преступников, поместил четверых мужчин в безопасности в своей крепости Трезана. Пьетро да Кастельнуово был объявлен вне закона из Тосканы за убийство монаха-кармелита, которое он совершил в Пьетрасанте за несколько дней до убийства Лелио. Семнадцать лет спустя после этих событий он был все еще жив и разыскивался за тяжкие преступления, совершенные в герцогстве Моденском. История больше ничего не знает о нем, кроме того, что у него были жена и семья. О Никколо да Париане ничего не должно быть связано. Оттавио да Трапани был пойман в Милане, доставлен обратно в Лукку и повешен там 13 июня 1604 года после того, как его разорвали клещами. Говорят, Массимилиано отправился во Фландрию, где Луккезе пользовались многими привилегиями и где у его семьи, вероятно, были наследственные связи.^[193] Как и все преступники, он жил в постоянной опасности покушения. Раскаяние и стыд охватили его, особенно когда пришло известие, что госпожа, ради которой он рисковал всем, ведет распутную жизнь (о чем мы вскоре прочтем) в своем монастыре. Рассудок изменил ему, и после двадцати двух лет скитаний он вернулся в Лукку и был пойман. Вместо приведения в исполнение вынесенного ему смертного приговора синьория отправила его в бессрочную тюрьму в башне Виареджо, которая в то время была нездоровой и охваченной лихорадкой деревушкой на побережье. Здесь, замурованный в маленькой комнате, одинокий, лишенный света, воздуха и физической благопристойности, он оставался забытым в течение десяти лет, с 1615 по 1625 год. Позднее поступило сообщение о том, что он отказывался от пищи в течение трех дней и страдал от опасного кровотечения. Когда власти предложили сломать стену его темницы и прислать священника и хирурга, чтобы освободить его, он заявил, что покончит с собой, если они вмешаются в его страдания. Больше о нем ничего не было слышно до 1629 года, когда снова поступило сообщение, что он находится при смерти. На этот раз он обратился за помощью к священнику; и вполне вероятно, что затем он умер в возрасте шестидесяти девяти лет, пережив других действующих лиц этой трагедии и искупив страсть своей юности пожизненными страданиями.

Когда мы возвращаемся к сестре Умилии и спрашиваем, как прошли для нее годы, открывается новая глава в этой истории. В 1606 году она все еще находилась в заточении в С. Кьяра, которая действительно оставалась ее домом до самой ее смерти. К этому времени ей исполнилось тридцать четыре года. Тем временем подозрение пало на поведение монахинь С. Кьяра; а 9 января того же года была обнаружена веревочная лестница, свисающая со стены сада монастыря. После расследования выяснилось, что некие мужчины имели привычку проникать в дом и вести тайную переписку с сестрами. Среди них наиболее известными были Пьеро Пассари, художник, печально известный вульгарным распутством, и молодой дворянин из Лукки Томмазо Самминиати. Оба они ухитрились ускользнуть от правосудия и, как обычно, были объявлены вне закона. В ходе дальнейшего расследования были обнаружены сильнейшие доказательства, из которых явствовало, что главным организатором этих скандалов был человек высокого положения в государстве, преклонных лет, женатый на второй жене и занимавший доверенную должность Попечителя женского монастыря С. Chiara. Его звали Джованбаттиста Дати, и он представлял древнюю семью Луккезе, упомянутую Данте. В то время как Дати вел свою собственную интригу с сестрой Черубиной Мэй, он делал все возможное, чтобы подтолкнуть художника к беспорядочному разврату и разжечь страсть, которую Самминиати питал к сестре Умилии Мальпильи. Дати был взят в плен и пожизненно сослан на остров Сардиния; но его бумаги попали в руки синьории, которая извлекла из них нижеследующие доказательства, касающиеся Умилии и Самминиати. Этот молодой человек был на десять лет моложе ее, но тихая монастырская жизнь сохранила красоту Умилии, и она все еще была способна вызывать восторженное обожание. Это выясняется из писем, которые Самминиати адресовал ей через Дати из своего убежища в Венеции. По словам синьора Бонги, они раскрывают странную смесь безумия, преступления и любви.^[194]

Их стиль - стиль бредящего риторика. Можно подумать, что они были написаны как упражнения, за исключением некоторых черт, которые отмечают неистовство подлинной экзальтации. Угрозы, проклятия и богохульства чередуются с молитвами, клятвами в верности и воспоминаниями о прошлых любовных наслаждениях. Самминиати склоняется перед "своей госпожой" в позе почтительного почтения, предлагая на коленях служение, исполненное благоговейной преданности. В одно время он называет ее "своим прекраснейшим ангелом", в другое - "своей самой прекрасной и обожаемой чародейкой". Он не скрывает своего твердого убеждения, что она наложила на него какие-то колдовские чары; но умоляет ее сжалиться и освободить его, напоминая ей, как некая флорентийка вернула здоровье Джован Лоренцо Мальпильи после того, как держала его в магическом рабстве, пока его жизнь не оказалась в опасности.^[195] Затем он клянется в неизменной верности; небеса и удача не изменят его любви. Неправда, что во Флоренции или Венеции он бросил хоть один взгляд на какую-либо другую женщину. Пусть молния поразит его, если он бросит Умилию. Но она вызвала у него ревность, опустившись до низменной любви. К этому моменту он возвращается с некоторой настойчивостью. Затем он умоляет ее прислать ему свой портрет, написанный в образе Святой Урсулы. В другой раз он сплетничает о монахинях, пересылает послания, намекает на их несколько любовных походов и выражает им соболезнования в связи с потерей послушного духовника. Это был священник, который, когда неопишуемые развращения С. Кьяре было четко доказано, что нет причин поднимать такой шум — это всего лишь дела благородных людей, *cose di gentilhuomini*. Соперником, к которому Самминиати ревновал, по-видимому, был художник Пьетро, державший в руках ключ ко всем скандалам монастыря. Умилия, Дати и Самминиати наконец согласились "избавить свой район от этого вредителя". Мужчина сбежал в Ровиго, куда

Самминиати направился из Венеции, "в сопровождении двух хороших парней, хорошо знакомых с окрестностями".

Но Пьетро сбежал в Феррару, а его враг последовал за ним и снова упустил его. Самминиати пишет, что он полон решимости выследить "этого негодяя" и покончить с ним. Тем временем Умилии поручают заняться Калидонией Бурламакки, монахиней, которая отдалилась от общества своих провинившихся сестер и знала слишком много их секретов. Самминиати присылает белый порошок и маленький флакончик с жидкостью, которые, как он сообщает Умилии, являются сильнодействующими ядами, с инструкциями по их применению и как заставить Калидонию проглотить ингредиенты. Тогда "если дьявол не поможет ей, она уйдет из этой жизни за полночи и без малейших признаков насилия".

Можно себе представить, какое волнение вызвало в Генеральном совете прочтение этой корреспонденции. Почти все знатные семьи Лукки были связаны узами крови или брака с тем или иным из преступников; и когда родственники обвиняемых были исключены из заседания, только шестьдесят членов остались обсуждать дальнейшие меры. Я вкратце расскажу, что случилось с тремя разбойниками. Венеция отказалась уступить Самминиати по просьбе Луккезе, заявив, что "Республика Сан-Марко не стала бы предпринимать действий, наносящих ущерб гостеприимству, которым там привыкли пользоваться все люди". Но молодого человека сослали в Кандию, куда он послушно удался. Художнику Пьетро в конце концов разрешили вернуться на территорию, но не в город Лукка. Дати окружил себя вооруженными людьми, как это было принято у богатых преступников, за голову которых была назначена награда. Побродив некоторое время, он подчинился и поселился на Сардинии, откуда впоследствии переехал, с разрешения синьории, во Францию. Там он умер. Что касается монахинь, то поначалу казалось, что цели правосудия потерпят поражение из-за зависти, которая разделяла гражданские и церковные власти в Лукке. Епископ отсутствовал, а его викарий отказался возбудить уголовное дело. Умилия оставалась на свободе в монастыре и даже завела новую интригу с неким Симо Менокки. Наконец, в 1609 году викарий подготовил обвинительный акт против виновных монахинь и переслал его в Рим. Их приговор был следующим: сестра Оризия приговорена к пожизненному заключению и лишению всех своих привилегий; сестра Умилия - к тому же наказанию сроком на семь лет; сестры Паола, Черубина и Дионея получили более мягкое наказание. Можно упомянуть, что Оризия написала письмо собственной кровью какому-то любовнику; но ничто не заставляет нас предположить, что она была в равной степени виновна с Умилией, которая участвовала в заговоре с целью отравления сестры Калидонии.

Умилия была должным образом замурована и несла свое наказание до 1616 года, когда срок наказания истек. Но ее не освобождали еще два года, потому что она упорно отказывалась смириться или просить об этом освобождении как о милости, которая была ей причитающейся по справедливости. Она также не смирилась с позором, что ее увидят в монастыре без монашеской рясы. Наконец, в 1618 году она получила свободу и восстановила свои привилегии монахини церкви S. Chiara. В качестве последнего замечания можно добавить, что, когда монастырь приводили в порядок, портрет Умилии в образе святой Урсулы было приказано уничтожить или сделать пригодным для благочестивого использования путем внесения изменений. Любая монахиня, хранившая его в своей келье, подвергалась наказанию в виде отлучения от церкви. В каком году умерла Умилия, остается неизвестным.

Ченчи

Перенося сцену в Рим, мы проливаем свет на группу заметных злодеяний, совершенных во второй половине шестнадцатого века, каждое из которых хорошо рассчитано, чтобы проиллюстрировать состояние общества и нравы той эпохи. Возможно, было бы неплохо начать с трагедии в Ченчи. В мощной драме Шелли, в нудном романе Геррацци и в сборнике Сколари легенда о Беатриче Ченчи уже давно вызывает симпатию современников. Реальные факты, извлеченные из юридических документов и публичных реестров, превращают его поэзию ужаса в сравнительно убогую прозу.^[196] Тем не менее, лишенная романтического очарования, голая история многое говорит изучающему итальянские обычаи. Монсеньор Кристофоро Ченчи, умерший около 1562 года, был посвящен в священный сан, но не был священником. Один из клерков Апостольской камеры, каноник церкви Святого Петра, номинальный глава римского прихода и занимавший второстепенные должности при Папском дворе и курии, он представлял собой эпиценовый вид, не будучи ни церковником, ни мирянином, которого обстоятельства церковного суверенитета делали необходимым. Кристофоро принадлежал к хорошей семье среди той второстепенной римской аристократии, которая стояла ниже княжеских феодалов и папских бастардов. Он накопил большие суммы денег из-за неправильного управления своими официальными фондами, унаследовал поместья двух дядей и завещал колоссальное состояние своему сыну Франческо. Этот юноша был отпрыском незаконной связи, существовавшей между монсеньором Ченчи и Беатрис Эмиас при жизни мужа этой дамы. После смерти мужа монсеньор получил разрешение от своих орденов, женился на Беатриче и узаконил своего сына, наследника такого большого состояния. Франческо родился в 1549 году и, следовательно, достиг тринадцатилетнего возраста, когда умер его отец. Его мать, Беатрис, вскоре заключила третий супружеский союз; но во время своего опекунства над мальчиком она предстала перед судом по обвинению в краже одежды из гардероба его наставника.

Франческо Ченчи выделил сумму в 33 000 крон на различные государственные должности, чтобы иметь возможность беспрепятственно пользоваться доходами своего отца: 3800 крон из этой суммы пошли в капитул Святого Петра.^[197] Он проявил определенную развитость не по годам, поскольку в четырнадцать лет у него родился незаконнорожденный ребенок, и его обвинили в насилии по отношению к домашним. В 1563 году его семья женила его на Эрсилии, дочери благородного дома Санта-Кроче, которая принесла ему изрядное приданое. Франческо прожил двадцать один год с этой женщиной, от которой у него было двенадцать детей. После ее смерти он оставался вдовцом в течение девяти лет, а в 1593 году женился на Лукреции Петрони, вдове римлянина по имени Велли. Поведение Франческо во время его первого брака было небезосновательным. По меньшей мере дважды ему приходилось платить штрафы за акты жестокости по отношению к слугам; и однажды он был привлечен к ответственности за попытку убийства двоюродного брата, также по имени Франческо Ченчи. В другом случае мы находим его вне закона в Государстве Церкви. Однако эти проступки были всего лишь грешками богатого римского барона, и Франческо имел обыкновение хвастаться, что, имея деньги в кошельке, он не боится правосудия. После смерти его жены Эрсилии его поведение стало еще более нерегулярным. Трижды в период с 1591 по 1594 год на него подавали в суд за жестокие нападения на слуг; а в феврале последнего года он провел шесть месяцев в тюрьме по множеству обвинений в противоясном пороке. Даже здесь не было ничего, что выделяло бы Франческо Ченчи среди других дворян его возраста.^[198] В Риме не проходило и недели, чтобы перед судьями не предстало какое-нибудь дело подобного рода, сопряженное с возмущением. Кардиналы, прелаты, принцы, профессионалы и люди самого низкого ранга

были одинаково замешаны. Единственная разница между преступниками заключалась в том, что богатые откупались, в то время как обездоленных сжигали. Одиннадцать бедных испанцев и португальцев были отправлены на костер в 1578 году за преступление, которое Франческо Ченчи усугубил в 1594 году выплатой 100 000 крон. После этого предупреждения и потери такой большой суммы денег он стал более осмотрительным, женился на своей второй жене Лукреции и стал управлять своей семьей. Сыновья доставляли ему немало беспокойства. Джакомо, старший, женился против воли отца и содержал себя, беря на себя обязательства и собирая деньги. Недовольство Франческо проявилось в нескольких судебных процессах, в одном из которых Джакомо обвинялся в заговоре против его жизни. Второй сын, Кристофоро, был убит корсиканцем Паоло Бруно в ходе расследования любовной связи с женой рыбака с Трастеверины. Третий сын, Рокко, проводил время в уличных приключениях и однажды наложил лапу на всю посуду и портативное имущество, которое смог унести из отцовского дома. Этот молодой негодяй, которому не исполнилось и двадцати лет, нашел преданного друга в лице монсеньора Кверро, двоюродного брата семьи, занимавшей высокое положение при дворе, который помог ему в ограблении дворца Ченчи. Рокко был убит Амилькаре Орсини, незаконнорожденным сыном графа Питильяно, в ночной драке. Молодые люди встретились, Ченчи сопровождали трое вооруженных слуг, Орсини - двое. Единственный взмах рапир, в результате которого Рокко был пронзен правым глазом, положил конец этому делу.

В дополнение к мстительному преследованию своего никчемного старшего сына, Франческо Ченчи вел себя с неоправданной строгостью к младшим, давая им меньше денег, чем подобало их положению, и обращаясь с ними с суровостью, которая комично контрастировала с его собственными распушенными привычками. Легенда, представляющая его исключительно злым человеком, жестоким ради жестокости и лишенным естественной привязанности, приобретает некоторую окраску благодаря фактам. Однако одного этого недостаточно, чтобы оправдать его более темные оттенки, в то время как они со всей очевидностью доказывают, что дети Франческо устроили ему серьезную провокацию. Недовольство этой плохо управляемой семьей переросло в восстание, и в 1598 году было решено устранить старого Ченчи путем убийства. Его вторая жена Лукреция, его старший сын Джакомо, его дочь Беатриче и младший сын Бернардо были замешаны в преступлении. Оно было успешно проведено в Рокка-ди-Петрелла в Абруцци в ночь на 9 сентября. Двое нанятых *бравы*, Олимпио Кальветти и Марцио Каталани, вошли в спальню старика, вогнали гвоздь ему в голову и выбросили труп с галереи, откуда, как утверждалось, он упал случайно. Через шесть дней после этого убийства Джакомо и его братья отправили письма как в Рим, так и в Неаполитанское королевство для управления имуществом их отца; и, похоже, в течение некоторого времени на них не падало никаких подозрений. Оно проснулось в ноябре в Петрелле, феодал которой, Марцио Колонна, сообщил правительству Неаполя, что против Ченчи и их головорезов должно быть возбуждено дело. Соответственно, 10 декабря был опубликован запрет на действия Олимпио и Марцио. Олимпио встретил свою смерть на пороге гостиницы в маленькой деревушке под названием Канталиче. Трое отчаянных парней, по наущению Джакомо де'Ченчи и монсеньора Кверро, застали его там врасплох. Но Марцио попал в руки правосудия, и его показания привели к немедленному аресту Ченчи. Похоже, что их пытали и что никто из них не отрицал обвинения; так что их адвокаты могли ссылаться только на смягчающие обстоятельства. Возможно, этим фактом объясняется легенда о Беатриче. Чтобы смягчить вину в отцеубийстве, Просперо Фариначчи, который вел ее защиту, выдвинул теорию об огромной жестокости и невыразимых надругательствах, совершенных над ее личностью ее отцом. Имея в виду ту же цель, он пытался доказать, что Бернардо слабоумный.

Сохранилось вполне достаточно свидетельств, свидетельствующих о том, что Бернардо был молодым человеком среднего интеллекта; а что касается Беатриче, то сейчас не осталось ничего, что подтверждало бы гипотезу Фариначчо об инцесте. Она была не шестнадцатилетней девушкой, как гласит легенда, а двадцатидвухлетней женщиной;^[199] и дополнения к ней делают почти несомненным, что она родила незаконнорожденного сына, на содержание которого она принимала тщательно продуманные и секретные меры. То, что картина, приписываемая Гвидо Рени во дворце Барберини, не является портретом Беатриче в тюрьме, представляется достаточно доказанным. Гвидо приехал в Рим только в 1608 году, через девять лет после ее смерти; а каталоги галереи Барберини, составленные в 1604 и 1623 годах, не содержат упоминаний ни о картине Гвидо, ни о портрете Беатриче. Ченчи были последовательно помещены в тюрьмы Торре-ди-Нона, Савелли и Сан-Анджело. Они занимали вполне приличные квартиры, и им разрешалось присутствие собственной прислуги. То, что их пища не была скудной, как в подземелье, видно из *меню* подаваемых им обедов и ужинов, которые включают рыбу, мясо, фруктовый салат и снег для охлаждения воды. Несмотря на сильное влияние при дворе, Климент VIII. в конце концов решил осуществить строгое правосудие над Ченчи. К такому решению его подтолкнуло хладнокровное матерееубийство, совершенное в Субьяко 5 сентября 1599 года. Паоло ди С. Кроче, родственник Ченчи, убил свою мать Констанцу в ее постели с целью завладения собственностью, над которой она имела контроль. Приговор был вынесен через несколько дней после этого события. Джакомо был приговорен к тому, чтобы его разорвали на куски раскаленными докрасна щипцами, а закончил он *смертельным ударом* молота палача. Лукреция и Беатриче были приговорены к более мягкому наказанию в виде обезглавливания, в то время как Бернардо, учитывая его молодость, отделался тем, что присутствовал при казни своих родственников, после чего его должны были заключить в тюрьму на год, а затем пожизненно отправить на галеры. Их имущество было конфисковано в пользу Апостольской камеры. Эти наказания были приведены в исполнение.^[200] Но Бернардо, проработав в Чивита Веккья до 1606 года, получил освобождение и жил в изгнании до своей смерти в 1627 году. Монсеньор Кверро за свое попустительство во всем этом деле был сослан на остров Мальта, откуда он вернулся незадолго до 1633 года в Рим, искупив свою вину долгим и мучительным изгнанием. В этом кратком изложении трагедии Ченчи я следовал документам, опубликованным синьором Бертолотти. Во многих местах они находятся в поразительном противоречии с легендой, которая основана на рассказах МИСС, составленных вскоре после описываемых событий. Одна из них была переведена Шелли; другая, отличающаяся некоторыми деталями, была переведена Де Стендалем. Оба сходятся в том, что рисуют тот зловещий портрет Франческо Ченчи, который Шелли оживил с силой великого драматурга.^[201] К сожалению, копии юридических инструкций, на основании которых проводилось судебное разбирательство, в настоящее время не сохранилось. В отсутствие этого важнейшего источника информации было бы небезопасно безоговорочно принимать аргумент Бертолотти о том, что легенда клеветает на Франческо, чтобы оправдать Беатриче. Есть основания полагать, что факты, приведенные в качестве доказательств, могли частично оправдать распространенное мнение о печально известном преследовании Беатрис ее отцом.

Массими

Трагедия Ченчи, о которой так много написано из-за предполагаемой роли в ней Беатриче, кажется мне банальной по сравнению с трагедией Массими.[202]

Действительно ли эта семья происходила от римских Фабиев, не имеет большого значения. В шестнадцатом веке они считались, как и по сей день, одними из самых гордых дворян Вечного города. У Лелио, главы дома, было шестеро крепких сыновей от его первой жены, Джироламы Савелли. Они выделялись своим гигантским ростом и геркулесовой силой. После смерти их матери в 1571 году их отец влюбился в женщину, которая по рождению, воспитанию и происхождению уступала человеку его уровня во всех отношениях. Это была некая Эуфрозина, которая была замужем за человеком по имени Корберио. Великий Марк Антонио Колонна убил этого мужа и привез жену в Рим в качестве своей любовницы. Лелио Массимо совершил великую ошибку, настолько полюбив ее после того, как она послужила целям Колонны, что женился на ней. Это было оскорблением чести дома, которого его сыновья не могли или не хотели вынести. В ночь ее свадьбы в 1585 году они отказались засвидетельствовать ей свое почтение, а на следующее утро пятеро из них вошли в ее апартаменты и застрелили ее. Только один из шести сыновей, Помпео Массимо, не принимал участия в этом убийстве. Его, отца, Лелио, благословили; но он торжественно проклял остальных пятерых. По прошествии нескольких недель он проводил свою жену в могилу с разбитым сердцем, оставив это проклятие без внимания. Помпео вырос, чтобы продолжить великую линию Массимо. Но несчастье постигло каждого из его пяти братьев, цвет римской молодежи, ликующей своей кровью, дерзостью и энергией.— Первый из них, Оттавио, был убит пушечным ядром в море в честном бою с турком. Другой, Джироламо, искавший убежища во Франции, был застрелен в засаде, когда занимался любовью с нежной дамой. Третий, Алессандро, погиб с оружием в руках под Парижем в войсках генерала Фарнезе. Четвертый, Лука, был заключен в римскую тюрьму за свою долю участия в убийстве мачехи, но был освобожден под предлогом того, что он отомстил за оскорбленную честь своей расы. Однако он умер, отравленный своим собственным братом Маркантонио, в 1599 году.[203] Маркантонио был арестован по подозрению и заключен в тюрьму в Торре-ди-Нона, где он признал свою вину. Вскоре после этого он был обезглавлен на маленькой площади перед мостом Сан-Анджело.

Vittoria Accoramboni

Следующим по порядку я возьму историю Виттории Аккорамбони. Об этом уже часто говорилось,[204] однако в нем объединено так много интересных моментов, имеющих отношение к социальной жизни итальянцев в мой период, что опустить его означало бы пожертвовать самым важным документом, имеющим отношение к теме этой главы. Как синьора ди Монца и Лукреция Буонвизи помогают нам понять тайную историю семей и монастырей, так и Виттория Аккорамбони знакомит нас с историей дворов.

Можно заметить, что тот же механизм беззаконной знати и распутных *брави*, действующих заодно с отважными женщинами, задействован во всех трагедиях, составляющих суть нашего настоящего исследования.

Виттория родилась в 1557 году в Губбио, среди холмов Умбрии, в знатной, но обедневшей семье. Ее биографы восторженно восхваляют ее красоту, грацию и исключительное обаяние манер. Мало того, что ее внешность была прекрасна, но и ум поначалу сиял всем дружелюбным

блеском скромной, невинной и обаятельной юности. Ее отец, Клаудио Аккорамбони, переехал в Рим, где его многочисленные дети воспитывались под присмотром их матери, Тарквинии, амбициозной женщины, стремившейся восстановить поруганную честь своего дома. Здесь Виттория в раннем девичестве вскоре вошла в моду. Она оказывала непреодолимое влияние на всех, кто ее видел, и многие предложения руки и сердца она отвергала. Наконец появился поклонник, чье состояние и связи с римской духовной знатью делали его приемлемым в глазах Аккорамбони. Франческо Перетти был принят как удачный кандидат на руку Виттории. Его мать, Камилла, была сестрой Феличе, кардинала Монтальто, а ее сын, Франческо Минуччи, сменил оба своих имени на Феличе Перетти в знак уважения к этому знаменитому родственнику.[205]

Таким образом, 28 июня 1573 года Виттория Аккорамбони вышла замуж за племянника будущего Сикста V. Некоторое время молодая пара жила счастливо вместе. Согласно некоторым рассказам об их супружеской жизни, невеста заручилась благосклонностью своего могущественного дяди, который в полной мере потакал ее дорогостоящим фантазиям. Однако более вероятно, что кардинал Монтальто относился к ее безумствам с завистливой скупостью, поскольку вскоре мы обнаруживаем, что семья Перетти безнадежно погрязла в долгах. Между Витторией и ее мужем также возникли разногласия из-за легкомыслия в ее поведении; ходили слухи, что даже за короткое время их союза она показала себя неверной женой. Тем не менее, ей удалось сохранить доверие Франческо, и несомненно, что ее семья извлекла выгоду из их связи с Перетти. Из ее шести братьев Марио, старший, был любимым придворным великого кардинала д'Эсте. Оттавио состоял в ордене и благодаря влиянию Монтальто получил престол Фоссомброне. Тот же выдающийся покровитель передал Сципионе на службу кардиналу Сфорца. Камилло, известный своей красотой и мужеством, последовал примеру Филиберта Савойского и умер во Франции. Фламинио был еще мальчиком, зависящим, как показывает продолжение этой истории, от судьбы своей сестры.

О Марчелло, втором по возрасту и самом важном в действии этой трагедии, необходимо поговорить более подробно. Он был молод и, как и все представители его племени, необычайно красив — настолько красив, что, как говорят, приобрел печально известное влияние на великого герцога Браччано, чьим тайным камергером он стал. Марчелло был объявлен вне закона за убийство Маттео Паллавичино, брата кардинала с таким именем. Это, однако, не помешало главе дома Орсини сделать его своим любимым и доверенным другом. Марчелло, который, кажется, на самом деле осознал худшие пороки тех римских придворных, описанных нам Аретино, очень скоро задумал увеличить свое собственное состояние, воспользовавшись красотой своей сестры. Он так искусно воздействовал на разум герцога Браччано, что довел этого надменного принца до безумной страсти к молодой жене Перетти; а тем временем ему так удалось разжечь честолюбие Виттории и ее матери, Тарквинии, что обе были готовы отважиться на худшее из преступлений в ожидании герцогства. Играть в эту игру было непросто. Первым был убит не только Франческо Перетти, но и неравенство в рождении, богатстве и положении между Витторией и герцогом Браччано сделало брак практически невозможным. Стимулировать, не удовлетворяя страсть герцога, было также делом деликатным. И все же Марчелло не отчаивался. Ставки были достаточно высоки, чтобы оправдать большой риск; и все, что он поставил под угрозу, — это честь своей сестры, славу семьи Аккорамбони и благосклонность Монтальто. Виттория, со своей стороны, верила в свои силы заманить в ловушку и заполучить благородную добычу, которую оба имели в виду.

Паоло Джордано Орсини, родившийся около 1637 года, был правящим герцогом Браччано. Среди итальянских князей он стоял почти в одном ряду с герцогами Урбино, а его семья, благодаря своим союзам, была более прославленной, чем кто-либо в Италии того времени. Это был человек гигантского роста, поразительной полноты и заметной личной отваги; приятный в манерах, но подверженный неконтролируемым приступам страсти и неспособный к самоограничению, когда ему перечили в какой-либо прихоти или фантазии. Необходимо настоять на привычках его тела, чтобы можно было четко определить роль, которую он сыграл в этой трагедии интриг, преступлений и страстей. Ему было трудно раздобыть боевое снаряжение, равное его весу, и он был таким толстым, что специальное разрешение освободило его от обязанности преклонять колени в присутствии папы. Хотя он владел обширной территорией, приносившей княжеские доходы, он был по уши в долгах; ибо ни один знатный человек того периода не жил более роскошно, с меньшим вниманием относясь к своим финансам. В политике того времени и страны Паоло Джордано склонялся к Франции. Тем не менее, он был грандом Испании и сыграл выдающуюся роль в битве при Лепанто. Так вот, герцог Браччано был вдовцом. В 1553 году он был женат на Изабелле де Медичи, дочери великого герцога Козимо, сестре Франческо, любовника Бьянки Капелло, и кардинала Фердинандо. Подозрение в супружеской неверности с Троило Орсини пало на Изабеллу, и ее муж, при полном согласии ее братьев, удалил ее в 1576 году с этого света с помощью яда.^[206] Никто не думал о Браччано хуже из-за этого убийства его жены. В те дни заброшенного порока и изощренного злодейства определенные пункты чести соблюдались со скрупулезной верностью. Измены жены было достаточно, чтобы оправдать самого жестокого и распущенного мужа в акте полусудебной мести; и позор, который она навлекла на его голову, разделили члены ее собственного дома, так что они стояли рядом, соглашаясь на ее смерть. Можно сказать, что Изабелла оставила одного сына, Вирджинио, который в свое время стал герцогом Браччано.

Похоже, что в 1581 году, через четыре года после замужества Виттории, герцог Браччано сообщил Марчелло о своем намерении сделать ее своей женой и о своей готовности одобрить убийство Франческо Перетти. Марчелло, уверенный в своей игре, теперь представил герцога наедине своей сестре и убедил ее преодолеть естественное отвращение, которое она, возможно, испытывала к громоздкому и грубому любовнику. Достигнув этой точки, было необходимо как можно скорее подтолкнуть дело к вступлению в брак.

Но как же заманить в ловушку несчастного Франческо? Они поймали его в ловушку особой жестокости, воздействуя на добрые чувства, которые его любовь к Виттории заставила его распространить на всех Аккорамбони. Марчелло, преступник, был ее любимым братом, и Марчелло в то время скрывался под подозрением в более чем обычном преступлении за стенами Рима. Поздно вечером 18 апреля, когда семья Перетти укладывалась спать, прибыл посыльный от Марчелло, умолявший Франческо немедленно отправиться в Монте-Кавалло. У Марчелло были дела чрезвычайной важности, о которых он должен был сообщить, и он умолял своего шурина не подводить его в трудную минуту. Письмо, содержащее эту просьбу, было доставлено неким Доминико д'Аквавива, псевдоним Иль Манчино, сообщником горничной Виттории. Этот парень, как и Марчелло, был вне закона; но когда он отваживался бывать в Риме, то часто бывал в доме Перетти и познакомился с его хозяином как с надежным bravo. Таким образом, ни в сообщении, ни в посыльном не было ничего такого, что могло бы вызвать подозрения. Время, действительно, было выбрано странно, и Марчелло никогда ранее не обращался с подобным призывом. И все же его потребности, несомненно, могли вынудить его потребовать от брата чего-то большего, чем обычная услуга. Франческо немедленно

приготовился отправиться в путь, вооруженный только своим мечом и сопровождаемый единственным слугой. Напрасно жена и мать напоминали ему об опасностях ночи, об одиночестве Монте Кавалло, его разрушенных дворцов и пещерах, населенных разбойниками. Он был полон решимости предпринять это приключение и отправился дальше, чтобы никогда не возвращаться. Когда он поднимался на холм, он упал на землю, застреленный тремя аркебузами. Впоследствии его тело было найдено на Монте-Кавалло, пронзенное насквозь, без следов, по которым можно было бы опознать убийц. Только в ходе последующего расследования Иль Манчино (24 февраля 1582 г.) сделал следующие заявления: — Что мать Виттории с помощью официантки спланировала ловушку; что Маркионне из Губбио и Паоло Барка из Браччано, двое людей герцога, убили жертву. Похоже, сам Марчелло приехал из Браччано, чтобы руководить всем этим делом. Подозрение немедленно пало на Витторию и ее родню, а также на герцога Браччано; оно не уменьшилось и тогда, когда Аккорамбони, опасаясь преследования правосудия, укрылись на вилле герцога в Маньянаполи через несколько дней после убийства.

Племянник кардинала даже в те смутные времена не был убит без того, чтобы по этому поводу не поднялся некоторый шум. Соответственно, папа Григорий XIII. начали принимать меры для выявления исполнителей преступления. Однако, как ни странно, кардинал Монтальто, несмотря на огромную любовь, которую он, как было известно, питал к своему племяннику, умолял прекратить расследование. Хладнокровие, с которым он впервые воспринял известие о смерти Франческо Перетти, притворство, с которым он встретил выражение сочувствия папой на консистории в полном составе, его сдержанность, когда он приветствовал друзей во время церемониальных визитов с соболезнованиями, и, более всего, сдержанность, которую он проявлял в присутствии герцога Браччано, внушили римскому обществу убеждение, что он обладал исключительно умеренным и терпеливым характером. Считалось, что человек, который мог так покорно смириться с убийством своего племянника и приостановить действие руки правосудия, уже поднятой для мести, должен оказаться мягким и снисходительным правителем. Поэтому, когда на пятый год после этого события Монтальто был избран папой, люди в немалой степени приписали его возвышение его поведению в условиях нынешнего кризиса. Некоторые, действительно, приписывали его необычайную умеренность и самообладание правому делу. *"Прошу прощения у великого брата!"* - так сказал Грегори в конце заседания консистории, когда Монтальто умолял его отложить рассмотрение дела об убийстве Перетти. *-По правде говоря, этот парень законченный лицемер!* Насколько точным было это суждение, выяснилось, когда Сикст V. взял бразды правления в свои руки. Священник, который, будучи монахом и кардиналом, улыбался Браччано, хотя и знал, что тот убийца его племянника, теперь, как понтифик и суверен, приказал главе семьи Орсини очистить свой дворец и владения от негодяев, которых он обычно укрывал, многозначительно добавив, что если кардинал Феличе Перетти простит то, что было сделано против него в частном порядке, тот же самый человек понесет суровое наказание за неповиновение воле Сикста. Герцог Браччано после этого предупреждения счел за лучшее удалиться из Рима.

Франческо Перетти был убит 16 апреля 1581 года. Сикст V. был провозглашен 24 апреля 1585 года. За это время Виттория пережила ряд необычайных опасностей и приключений. Прежде всего, она тайно обвенчалась с герцогом в его садах Маньянаполи в конце апреля 1581 года. Иными словами, Марчелло и она добыли свой приз, насколько это было в их силах, сразу после того, как Франческо был устранен в результате убийства. Но как только об этом браке стало известно, папа, тронутый вызванным им скандалом не меньше, чем настоятельной просьбой

Орсини и Медичи, объявил его недействительным. После некоторого времени, потраченного на тщетное сопротивление, Браччано подчинился и отправил Витторию обратно в дом ее отца. По приказу, изданному собственноручно Григорием, затем ее перевезли в тюрьму Корте-Савелла, оттуда в монастырь Святой Сесилии в Трастевере и, наконец, в замок Сан. Анджело. Здесь в конце декабря 1581 года она предстала перед судом за убийство своего первого мужа. В тюрьме она, кажется, вела себя храбро, облачая свою прекрасную особу в изысканные наряды, принимая посетителей, требуя от своих друзей почестей, подобающих герцогине, и выдерживая частые экзамены, которым ее подвергали, со смелым, гордым видом. В середине июля ее постоянство подверглось серьезному испытанию, когда она получила письмо, написанное собственноручно герцогом, в котором он официально отказывался от своего брака. Только по счастливой случайности в этот раз ей удалось избежать самоубийства. Тем временем папский двор продолжал убеждать ее либо удалиться в монастырь, либо выйти замуж за другого. Она решительно отказалась принять религиозную жизнь и заявила, что уже законно соединена с живым мужем, герцогом Браччано. Иметь с ней дело казалось невозможным, и наконец, 8 ноября она была освобождена из тюрьмы при условии отправки на пенсию в Губбио. Герцог усыпил бдительность своих врагов, притворившись, что уступает их желаниям. Но Марчелло постоянно был рядом с ним в Браччано, где мы читаем о таинственной греческой чародейке, которую он нанял для приготовления любовных снадобий для осуществления своих честолюбивых замыслов. Не нужно слишком придирчиво задаваться вопросом, подтолкнули ли Браччиано аргументы брата или зелья ведьмы. Но в любом случае кажется несомненным, что отсутствие разожгло его страсть, вместо того чтобы охладить ее.

Соответственно, в сентябре 1583 года под предлогом паломничества в Лорето он ухитрился встретиться с Витторией в Треви, откуда с триумфом доставил ее в Браччано. Здесь он открыто признал ее своей женой, поместив со всем великолепием, подобающим суверенной герцогине. 10 октября следующего года он еще раз совершил церемонию бракосочетания в главной церкви своего поместья, а в январе 1584 года открыто привез ее в Рим. Этот акт неповиновения папе, как феодальному настоятелю, так и Верховному понтифику, пробудил всю прежнюю оппозицию его браку. И снова он был признан недействительным. Герцог снова сделал вид, что уступает дорогу. Но в этот момент Григорий умер; и пока конклав заседал для избрания нового папы, он решил взять закон в свои руки и утвердить свой союз с Витторией третьим и публичным браком в Риме. Утром 24 апреля 1585 года их бракосочетание было, соответственно, еще раз отпраздновано во дворце Орсини. Всего через час после церемонии, как следует из записи актов гражданского состояния, пришло известие об избрании кардинала Монтальто на папский престол. Виттория, не теряя времени, засвидетельствовала свое почтение Камилле, сестре нового папы Римского, своей бывшей свекрови. Герцог посетил Сикста V. чтобы поздравить его с возвышением. Но прием, оказанный обоим, доказал, что Рим не был для них безопасным местом проживания. Следовательно, они решились на бегство.

Хроническая болезнь, от которой Браччиано в последнее время страдал, послужила достаточным предлогом. По-видимому, это было что-то вроде раковой язвы, которую нужно было лечить прикладыванием сырого мяса к открытым язвам. Подобные подробности простительны в настоящем повествовании только на том основании, что болезнь Браччано существенно влияет на наше моральное суждение о женщине, которая могла выйти замуж за человека, столь физически запятнанного, и с кровью ее мужа группы на его руках. Во всяком случае, *лула* герцога оправдывала то, что он попробовал, как подействует на него смена воздуха вкупе с сернистыми водами Абано.

Герцог и герцогиня благополучно прибыли в Венецию, где заняли дворец Дандоло на реке Зуэка. Там они пробыли всего несколько дней, переехав в Падую, где сняли дворцы Фоскари на Арене и дом под названием Де'Кавалли. В Сало, также на озере Гарда, они оборудовали себе подходящие жилища для своего княжеского состояния и своей многочисленной свиты, намереваясь делить свое время между удовольствиями, которые давала роскошная столица, и более простыми удовольствиями на самом красивом из итальянских озер. *Butla gioia dei profani è un fumo passaggier*. Паоло Джордано Орсини, герцог Браччано, скоропостижно скончался в Сало 10 ноября 1585 года, оставив молодую и красивую Витторию беспомощной среди врагов. Что стало причиной его смерти? Невозможно дать ясный и определенный ответ. Мы видели, что он страдал от ужасной и свирепой болезни, которая после его отъезда из Рима, похоже, прогрессировала. И все же, хотя эта болезнь вполне могла оборвать его жизнь, подозрение на яд в данных обстоятельствах не было совершенно необоснованным. Великий герцог Тосканский, папа римский и семья Орсини - все были заинтересованы в его смерти. Как бы то ни было, у него было время составить завещание в пользу Виттории, оставив ей большие суммы денег, драгоценности, товары и дома — фактически достаточно, чтобы с блеском поддерживать ее герцогское достоинство. Его наследственные владения и почести перешли по праву к его единственному сыну Вирджинио.

Виттория в сопровождении своего брата Марчелло и всего двора Браччано немедленно отправилась в Падую, где вскоре к ней присоединились Фламинио и принц Лодовико Орсини. Лодовико Орсини взял на себя обязанность уладить дела Виттории в соответствии с завещанием ее покойного мужа. При жизни он был не только родственником, но и союзником герцога. Его семейная гордость была глубоко уязвлена тем, что казалось ему постыдным, поскольку это, безусловно, был неравный брак. Теперь он показал себя непримиримым врагом герцогини. Между ними возникли споры по некоторым деталям, которые, по-видимому, были юридически решены в пользу вдовы. Однако в ночь на 22 декабря сорок человек, переодетых в черное и фантастически выряженных, чтобы не быть обнаруженными, окружили ее дворец. Восемь человек с факелами в руках прошли по длинным галереям и залам, увешанным коврами, в поисках Виттории и ее братьев. Марчелло сбежал, покинув дом по подозрению в убийстве одного из своих последователей. Фламинио, невинный и юный, играл на своей лютне и пел *Miserere* в большом зале дворца. Убийцы застали его врасплох выстрелом из одной из своих аркебуз. Он побежал, раненный в плечо, в комнату своей сестры. Говорят, что она перебирала четки перед отходом ко сну. Когда вошли трое убийц, она опустилась на колени перед распятием, и там они вонзили ей нож в левую часть груди, повернув острие в ране, и с жестокими оскорблениями спросили ее, пронзено ли ее сердце. Ее последними словами были: "Иисус, я прощаю тебя". Затем они повернулись к Фламинио и оставили его пронзенным семьюдесятью четырьмя ударами стилета.

Власти Падуи опознали тела Виттории и Фламинио и немедленно отправили их за дальнейшими инструкциями в Венецию. Между тем, похоже, что оба трупа были положены в один открытый гроб на всеобщее обозрение. Дворец и церковь Эремитани, куда их перевели, весь следующий день были переполнены огромным скоплением падуанцев. Мертвое тело Виттории, бледное, но приятное на вид, золотые волосы, ниспадающие на ее мраморные плечи, открытая красная рана на груди, величественные конечности, облаченные в атлас, когда она умирала, сводили с ума толпу своей непревзойденной красотой. "*Dentibus fremebant*", - говорит хронист, когда они увидели эту милостивую леди, застывшую при смерти. И действительно, если ее труп действительно был выставлен в часовне Эремитани, как мы имеем некоторое право

предполагать, зрелище должно было быть впечатляющим. Эти мрачные, изможденные фрески Мантеньи смотрели сверху вниз на нее, когда она лежала, распростертая на своих носилках, торжественная и спокойная, и, если бы не бледность, красивая, как при жизни. Неудивительно, что народ забыл об убийстве ее первого мужа, о ее менее чем пристойном браке со вторым. Для них было достаточно того, что этот цветок непревзойденной красоты был сорван злодеями во время его цветения. Собравшись кучками вокруг факелов, установленных рядом с трупом, они поклялись отомстить Орсини, ибо подозрение, что вполне естественно, пало на принца Лодовико.

Принц был арестован и допрошен в суде Падуи. Он вошел в их зал в сопровождении сорока вооруженных людей, высокомерно ответил на их вопросы и потребовал свободного проезда для своего курьера к Вирджинию Орсини, находившемуся тогда во Флоренции. Суд удовлетворил это требование, но предосторожность, заключающаяся в подстерегании курьера и его обыске, была предпринята очень мудро. Помимо нескольких официальных депеш, в которых сообщалось об убийстве Виттории, в ботинке этого человека нашли компрометирующее письмо, объявляющее Вирджинию соучастником преступления и утверждающее, что Лодовико собственноручно убил их жертву. Падуя перешла в состояние обороны и приготовилась осадить дворец принца Лодовико, который тоже приготовился к битве. Паровозы, кулеврины и головни были направлены против возведенных им баррикад. Было вызвано ополчение, и Брента была усиленно охраняема. Тем временем сенат Святого Марка направил к месту действия авогадора Алоизио Брагадина со всей полнотой власти. Следует упомянуть, что Лодовико Орсини состоял у них на службе, и если бы не это дело, он через несколько недель приступил бы к исполнению обязанностей губернатора Венеции на Корфу.

Бомбардировка дворца Орсини началась в День Рождества. Трое из людей принца были убиты при первом штурме; и поскольку артиллерия, направленная против него, угрожала быстрому разрушению дома и его обитателей, он решил сдаться. "Принц Луиджи, - пишет один хронист об этих событиях, - был одет в коричневое, с кинжалом на боку и элегантно перекинутым под мышкой плащом. Когда у него отобрали оружие, он облокотился на балюстраду и начал подстригать ногти маленькими ножницами, которые случайно нашел там.

27-го числа он был задушен в тюрьме по приказу Венецианской республики. Его тело было перенесено для захоронения, согласно его собственному желанию, в церкви Святой Марии дель Орто в Венеции. Двое из его последователей были повешены на следующий день. Пятнадцать человек были казнены в следующий понедельник; двое из них были четвертованы заживо; одному из них, графу Паганелло, который признался в убийстве Виттории, проткнули левый бок его собственным жестоким кинжалом. Восьмерых приговорили к галерам, шестерых - к тюремному заключению, а одиннадцать были оправданы.

Так закончилось это ужасное дело, которое, как говорят, принесло почет и славу венецианским лордам во всех странах цивилизованного мира. Остается только добавить, что Марчелло Аккорамбони был предан мести папы римского и обезглавлен в Анконе, где также погибла его таинственная сообщница, греческая колдунья.

Герцогиня Паллиано

В 16-17 веках у итальянцев был обычай сочинять и распространять рассказы о трагических или патетических происшествиях из реальной жизни. Они были предназначены для

удовлетворения любопытства в эпоху, когда не существовало газет и юридических отчетов, а также для удовлетворения вкуса дам и джентльменов, сведущих в Боккаччо и Банделло. Похожие на лондонские письма наших предков, они переходили из рук в руки, редко попадали в типографию, а когда выполняли свою задачу, оставались гнить в пыли книжных шкафов. Частные архивы благородных семей изобилуют томами таких историй, и некоторые из них до сих пор можно найти на полках публичных библиотек. Эти собрания рукописей представляют собой кладезь неисчерпаемых богатств для изучающего хорошие манеры. При проверке с помощью юридических документов они часто выявляют небрежность, неточность или даже умышленное искажение фактов. Гениальность Новеллы, столь важная в популярной итальянской литературе той эпохи, повлияла на их композицию, добавив *интриги* к разрозненным фактам, усилив сочувствие за счет намека на романтические мотивы, превратив героев или героинь их приключений в святых и очернив лица злодеев. Тем не менее, эти истории, претендующие на правдивость и нацеленные не столько на информирование, сколько на развлечение, представляют нам даже более яркую картину обычаев, чем Повесть. Правдивыми штрихами пейзажной живописи, бессознательным раскрытием современных настроений в диалогах и этическим анализом мотивов они позволяют нам придать форму и содержание более сухим деталям судебных процессов. Одно из этих повествований я предлагаю сжать из стенограммы, сделанной Анри Бейлем, ради того, чтобы оно пролило свет на трагедию семьи Караффа.^[207] Начинается с рассказа о восхождении Павла IV к власти и описания его племянников. Дон Джованни, старший сын графа Монторио, был женат на Виоланте де Кардоне, сестре графа Алиффе. Павел наделил его герцогством Паллиано, которое он отвоевал у Марка Антонио Колонны. Дон Карло, второй сын, прошедший свою жизнь солдатом, поступил в Священную коллегию, а дон Антонио, третий, был назначен маркизом Монтебелло. Кардинал, как премьер-министр, принял бразды правления в Риме. Герцог Паллиано расправился с папской армией. Маркиз Монтебелло, командующий дворцовой охраной, по своему усмотрению исключал или допускал посторонних. Окруженный этими племянниками, Павел видел только их глазами, слышал только то, что они шептали ему, и невольно придал своей власти их беззаконие. Они осуществляли неограниченную тиранию в Риме, прибирая к рукам собственность и злоупотребляя своим положением для удовлетворения своих похотей. Ни одна женщина, имевшая несчастье понравиться им, не была в безопасности, а монастырские кельи пользовались таким же уважением, как дворцы знати. Добиться справедливости было невозможно, ибо три брата контролировали все пути, гражданские, церковные и военные, по которым можно было приблизиться к папе.

Виоланта, герцогиня Пальяно, была молодой женщиной, отличавшейся своей красотой не меньше, чем испанской гордостью. Она получила основательное итальянское образование; могла наизусть декламировать сонеты Петрарки и строфы Ариосто и повторяла сказки сэра Джованни и других романистов с оригинальностью, которая придавала новое очарование их стилю.^[208] Ее двор был великолепным, его часто посещали благородные юноши и знатнейшие дамы Неаполя. Двое из них заслуживают особого внимания: Диана Бранкаччо, родственница маркизы Монтебелло, и Марчелло Капечче, молодой человек исключительной красоты. Диана была тридцатилетней женщиной, вспыльчивой, с рыжеватыми волосами, беззаветно влюбленной в Домициано Форнари, оруженосца маркиза ди Монтебелло. Марчелло испытал к герцогине одну из тех причудливых страстей, в которых почти религиозное обожание сочеталось с дерзостью, настойчивостью и готовностью на любое преступление. Характер его любовницы давал ему мало надежды. Хотя она была глубоко уязвлена изменами своего мужа,

оскорблена в своей гордости присутствием его распутных фавориток под ее собственной крышей и подвергалась нападкам со стороны самых блестящих распутников Рима, она держалась надменно, вне подозрений, незапятнанная, Марчелло ничего не оставалось, как вздыхать на расстоянии и выжидать удобного случая.

В этот момент рассказчик, кажется, жертвует исторической точностью ради объединения своих главных героев в одной интриге.[\[209\]](#)

Хотя он говорит тоном романиста, а не хроникера, до сих пор в его описании Кабалы Караффа не было ничего, кроме того, что соответствует фактам. Теперь он объясняет их падение и таким образом открывает тему. В начале 1559 года духовник папы осмелился довести до его сведения скандальное поведение папских племянников. Павел сначала отказался поверить этому сообщению. Но произошел случай, который убедил его в ее правдивости. В праздник Обрезания — обстоятельство, которое усугубляло положение в глазах строго набожного понтифика, — Андреа Ланфранки, секретарь герцога Паллиано, пригласил кардинала Караффу на банкет. Одна из самых красивых и пользующихся самой дурной славой куртизанок Рима, Мартучча, также присутствовала; и так случилось, что Марчелло Капечче в ту эпоху считал, что имеет больше прав на ее благосклонность, чем любой другой мужчина в столице. В тот вечер он разыскал ее в квартире, преследовал взад и вперед и наконец узнал, что она ужинает с Ланфранки и кардиналом. В сопровождении вооруженных людей он направился к дому Ланфранки, вошел в банкетный зал и приказал Мартучче немедленно уйти с ним. Кардинал, одетый по-светски, встал и, обнажив шпагу, выразил протест против такого своевольного поведения. Мартучча, по милости хозяина, была его партнершей в тот вечер. После этого Марчелло позвал своих людей, но когда они узнали племянника кардинала, то отказались прибегать к насилию. В ходе ссоры Мартучча сбежала, за ней последовали Марчелло, Караффа и компания. Между молодым человеком и кардиналом завязалась уличная драка, но крови не пролилось, и инцидент имел бы незначительное значение, если бы герцог Пальяно не счел необходимым арестовать Ланфранки и Марчелло. Вскоре их отпустили, потому что стало очевидно, что главный скандал падет на кардинала, который явно дрался и скрещивал шпаги в споре из-за обычной проститутки. Трое братьев Караффа решили замять это дело. Но было слишком поздно. Папа услышал кое-что, чего было достаточно, чтобы подтвердить предупреждения своего духовника; и 27 января он вынес знаменитый приговор своим племянникам. Кардинал был сослан в Чивита-Лавиния, герцог - в Сориано, маркиз - в Монтебелло. Герцогиня поселилась со своим двором в маленькой деревушке Галлезе. Именно здесь произошел эпизод ее любви и трагического конца.

Виоланта оказалась почти одна в простой горной деревушке, расположенной на полпути между Римом и Орвието, действительно окруженной прекрасными лесными пейзажами, но лишенной всей роскоши и развлечений, к которым она привыкла. Марчелло и Диана были на ее стороне, один горел желанием продолжить свое доселе безнадежное дело, а другая продвигала его ради ее собственной выгоды. Однажды Марчелло совершил явную неосторожность, признавшись в своей страсти. Герцогиня с презрением отвергла его, но сообщила об этом Диане, которая рассчитала, что если ей удастся скомпрометировать свою госпожу, то она сама сможет добиться цели, которую имела в виду, выйдя замуж за Домициано. В одиночестве этих долгих дней изгнания служанка снова и снова возвращалась к теме преданности Марчелло, его красоты, благородной крови и множества хороших качеств. Она устраивала встречи в лесу между герцогиней и ее возлюбленным и так хорошо разыгрывала свои карты, что в течение

погожих летних недель Виоланта уступала Марчелло. Теперь Диана сочла разумным настаивать на своем иске к Домициано. Но этот хладнокровный парень знал, что он не годится в соперники родственнику королевы Монтебелло. Кроме того, он испытывал мало сочувствия к своей пламенной *возлюбленной*. Опасаясь, что пуаньяр из рода Караффас осмелится жениться на ней, он благоразумно ускользнул переодетым из порта Неттуно. Диана, обезумев от разочарования, пришла к выводу, что герцогиня спланировала устранение своего возлюбленного, и решила жестоко отомстить. Герцог Паллиано проживал в Сориано, всего в нескольких милях от Галлезе. Передать ему секретную информацию об интригах его жены не составило труда. Сначала он отказался верить ее сообщению. Разве Виоланта не устояла перед соблазнами всего Рима и не отвергла ухаживания даже герцога де Гиза? В конце концов ей удалось ввести его в спальню герцогини в тот момент, когда Марчелло тоже был там. Обстоятельства точно не указывали на вину. Солнце только что скрылось за холмами; прислуживала горничная; герцогиня лежала в постели и делала карандашом какие-то заметки. Однако их было достаточно, чтобы вызвать гнев герцога. Он обезоружил Марчелло и отправил его в тюрьму Сориано, оставив Виоланту под строгой охраной в Галлезе.

Герцог Паллиано не имел намерения заявлять о своей ревности или предполагать о своем бесчестии, пока не получит полных доказательств. Поэтому он сделал вид, что арестовал Марчелло по подозрению в попытке его отравления. Несколько крупных жаб, купленных молодым человеком по высокой цене двумя или тремя месяцами ранее, придавали окраску этому обвинению. Тем временем расследование проводилось настолько тайно, насколько это было возможно лично герцогом, его шурином графом Алиффе и неким Антонио Торандо с санкции подесты Сориано. Допросив нескольких свидетелей, они убедились в виновности Виоланты. Марчелло подвергли пыткам, и в конце концов он признался. Герцог собственноручно зарезал его, а затем перерезал горло Диане, чтобы получить ее долю в бизнесе. Оба тела были сброшены в тюремную канализацию. Тем временем Павел IV. он сохранил при себе молодого кардинала Альфонсо Караффу, сына маркиза Монтебелло. Этот прелат счел правильным сообщить своему двоюродному дедушке о событиях в Сориано. Папа только ответил: "А герцогиня? Что они с ней сделали?" Павел IV. умер в августе, и Конклав, закончившийся избранием Пия IV, был открыт. Во время важных интриг того момента кардинал Альфонсо нашел время написать герцогу, умоляя его не оставлять столь темного пятна на его чести, а вершить правосудие над виновной женой. 28 августа 1559 года герцог отправил графа Алиффа и дона Леонардо дель Кардине с ротой солдат в Галлезе. Они сказали Виоланте, что прибыли, чтобы убить ее, и предложили ей услуги двух монахов-францисканцев. Перед смертью герцогиня неоднократно настаивала на своей невинности и приняла Причастие из рук монаха Антонио из Павии. Затем граф, ее брат, приступил к ее казни. Она прикрыла глаза носовым платком, который с совершенным *хладнокровием* натянула чуть ниже, чтобы он не видел ее. Затем он прикрепил шнурок к ее шее; но, обнаружив, что он не совсем подходит, он снял его и ушел. Герцогиня сняла повязку со своего лица и сказала: "Хорошо! о чем же мы тогда говорим? Он ответил: "Шнур был не совсем в порядке, и я собираюсь достать другой, чтобы ты не страдала". Вернувшись в комнату, он снова расправил носовой платок, закрепил шнурок, затянул палочку узлом у нее на шее и задушил ее. Весь инцидент со стороны герцогини прошел в тоне обычной беседы. Она умерла как добрая христианка, часто повторяя слова *Кредо, Credo*.

Вопреки обычаям и мнению того времени, это убийство заблудших жены и сестры стало частью обвинений, выдвинутых против герцога Паллиано и графа Алиффа. Следует помнить, что они были казнены в Риме вместе со старшим кардиналом Карафой во время понтификата Пия IV.

Убийства жен

Было бы трудно дать сколько-нибудь адекватное представление о частоте убийств жен в ту эпоху в высших слоях общества. Я, однако, упомяну несколько, замеченных мной в ходе учебы. Донна Пеллегрина, дочь Бьянки Капелло до ее брака с великим герцогом Тосканским, была убита в Болонье в 1598 году четырьмя убийцами в масках по приказу ее мужа, графа Улисса Бентивольо. Она была заподозрена или осуждена за супружескую измену; и флорентийский суд направил графу сообщение: "che essendo vero quanto scriveva, facesse quello che conveniva a cavaliere di honore". При свете дня ее вместе с двумя знатными дамами и кучером изрезали на куски и бросили на дороге.[\[210\]](#) В 1690 году в Неаполе дон Карло Джезуальдо, сын принца Веносты, убил свою жену и двоюродную сестру Донну Марию д'Авалос вместе с ее любовником Фабрицио Карафой, герцогом Андри. Это преступление было совершено мужем в его дворце в сопровождении банды головорезов.[\[211\]](#) В 1577 году в Милане граф Джованни Борromeо, двоюродный брат кардинала Федерико, за столом нанес своей жене, графине Джулии Сансеверина, сестре графини ди Сала, три смертельных ранения. Простая домашняя ссора привела к этой трагедии.[\[212\]](#) В 1598 году на своей вилле Дзензалино в Ферраре граф Эрколе Тротти при содействии bravo по имени Якопо Лаццарини убил свою жену Анну, дочь поэта Гуарини. Ее собственный брат Джироламо потворствовал этому акту и способствовал его исполнению. Ее обвинили — ложно, как впоследствии выяснилось из признания Джироламо, — в неподобающей близости с графом Эрколе Бевилакуа. Я могу добавить, что отец графа Эрколе Тротти, Альфонсо, убил свою жену Микелу Гранцену на той же вилле.[\[213\]](#)

Медичи

История семьи Медичи в шестнадцатом веке олицетворяет основные черты общественной морали, на которых я останавливался в этой главе. Следует помнить, что Алессандро Медичи, первый герцог Флоренции, отравил своего двоюродного брата Ипполито и сам был убит своим двоюродным братом Лоренцино. Второму из этих преступлений Козимо, впоследствии великий герцог Тосканы, был обязан трон Флоренции, на котором, однако, он не был уверен до тех пор, пока не удалил Лоренцино с этого света ударом кулака "bravo". Козимо поддерживал свою власть с помощью системы шпионажа, безжалостных преследований и убийств, которые придавали окраску даже самым невероятным легендам.[\[214\]](#)

Но я должен говорить не столько о нем, сколько о его детях. Франческо, правивший с 1564 по 1587 год, навлек позор на свой род, женившись на печально известной Бьянке Капелло после того, как санкционировал убийство ее предыдущего мужа. Бьянка, хотя и не могла иметь детей, льстила своему одурманенному любовнику до этого брака, притворяясь, что родила сына. На самом деле она заручилась сотрудничеством трех женщин в вопросе рождения ребенка; и когда у одной из них родился мальчик, она подарила этого младенца Франческо, который окрестил его Антонио де Медичи. Из трех матерей, участвовавших в этой гнусной сделке, Бьянка ухитрилась убить двоих, но не раньше, чем одна из жертв, боявшаяся разоблачения, сделала полное признание перед смертью. Третья сбежала. Другая женщина, руководившая этим делом, была застрелена между Флоренцией и Болоньей в долинах Апеннин. Тем не менее, после разоблачения самозванства Бьянки герцог продолжал признавать Антонио

принадлежащим к семье Медичи; и его преемник был вынужден заставить этого молодого человека принять Мальтийский крест, чтобы исключить его потомство из рода принцев.[215]

Легенда о загадочной смерти Франческо и Бьянки хорошо известна. Герцогиня ввязалась в новые интриги, чтобы подсунуть своему мужу фальшивого ребенка. Это вызвало подозрения у его брата кардинала Фердинандо де Медичи, предполагаемого наследника короны. Последовала сердитая переписка, закончившаяся примирением трех принцев. Они встретились осенью 1587 года на вилле Поджо-а-Кахано. Затем мир был потрясен сообщением о том, что великий герцог умер от лихорадки после нескольких дней болезни и что Бьянка почти сразу же последовала за ним в могилу. Фердинанд, вступив на престол, отказал ей в погребении, подобающем ее рангу, изуродовал ее герб на общественных зданиях, а вместо ее имени и титулов в официальных документах заменил слова "la pessima Bianca". Что произошло в Поджо-а-Кахано, неизвестно. В Италии было принято считать, что Бьянка, намеревавшаяся отравить кардинала за ужином, потерпела крах в своих замыслах из-за грубой ошибки, которая сделала ее мужа жертвой этого заговора, и что она покончила с собой в отчаянии или стала жертвой мести кардинала. Эта история отвергается как Боттой, так и Галлуцци; но Литта частично верит ей.[216] Двое сыновей Козимо умерли ранее, в 1562 году, при обстоятельствах, которые породили аналогичные злобные слухи. Дон Гарция и кардинал Джованни вместе охотились в пизанских болотах, когда последний скончался после непродолжительной болезни, а первого через несколько дней постигла та же участь. Ходили слухи, что дон Гарсия ударил ножом своего брата и что Козимо в припадке ярости проткнул его тело его же собственным мечом. В данном случае, хотя Литта придает большое значение легенде, баланс свидетельств убедительно свидетельствует в пользу того, что оба брата были унесены смертельной лихорадкой, подхваченной одновременно во время их охотничьей экспедиции.[217] Однако каждый пример служит для того, чтобы показать, какой атмосферой вины были окружены принцы Медичи. Никто не верил, что они могут умереть иначе, как от рук братьев или отцов. И подлинные преступления семьи, безусловно, оправдывали это распространенное мнение. Я уже упоминал об убийствах Ипполито, Алессандро и Лоренцино. Я уже рассказывал, как флорентийский суд санкционировал убийство дочери Бьянки ее мужем в Болонье.[218] Теперь я должен продолжить рассказывать трагические истории принцесс дома.

Пьетро де'Медичи, пятый из сыновей Козимо, приобрел дурную славу в Испании и Италии, основав тайное общество самых отвратительных развратников.[219] Тем не менее, он женился на благородной леди Элеоноре ди Толедо, кровно связанной с первой женой Козимо. Пренебрегаемая и оскорбленная своим мужем, она оказалась неверной, и Пьетро собственноручно разрубил ее на куски в Каффаджоло. Изабелла де'Медичи, дочь Козимо, была замужем за герцогом Браччано. Воспитанная в изысканной атмосфере Флоренции, она, как и Элеонора ди Толедо, предалась модному распутству и была задушена своим мужем в Черретто.[220]

Оба этих убийства произошли в 1576 году. Смерть Изабеллы, как я уже рассказывал в другом месте, открыла путь для брака герцога Браччано с Витторией Аккорамбони, который был подготовлен убийством ее первого мужа и который привел к ее собственному убийству в Падуе.[221] Другая из дочерей Козимо, Лукреция де Медичи, стала герцогиней Феррары, попала под подозрение в неверности и, возможно, была отравлена в 1561 году.[222] Последний из его сыновей, которого я должен упомянуть, Дон Джованни, женился на распутной женщине низкого происхождения по имени Ливия и опозорил имя Медичи неприципиальными глупостями своей

жизни. Элеонора де'Медичи, третья из его дочерей, вносит комический элемент в эти похоронные записи. Она была помолвлена с Винченцо Гонзагой, наследником герцогства Мантуанского. Но подозрения, возникшие в связи с обстоятельствами его развода с бывшей женой, вынудили его доказать свою супружескую дееспособность до завершения действия контракта. Это он проделал в Венеции, в присутствии свидетеля, на девственнице, выбранной для эксперимента.^[223] Мария де Медичи, единственный ребенок герцога Франческо, стала королевой Франции. История ее амура с Кончини является эпизодом во французских анналах.

Если теперь мы исключим смерти дона Гарсии, кардинала Джованни, герцога Франческо, Бьянки Капелло и Лукреции де Медичи как сомнительные, все равно останутся убийства кардинала Ипполито, герцога Алессандро, Лоренцино де Медичи, Пьетро Бонавентури (мужа Бьянки), Пеллегрини Бентивольо (дочери Бьянки), Элеоноры ди Толедо, Франческо Каззи (любовника Элеоноры), герцогини Браччано, Троило Орсини (любовника эта герцогиня), Феличе Перетти (муж Виттории Аккорамбони) и сама Виттория Аккорамбони — одиннадцать убийств, все они произошли между 1535 и 1585 годами, ровно полвека назад, в одной княжеской семье и ее ближайших родственниках. Большинство из этих преступлений, то есть семь, были совершены в незаконной страсти.^[224]

ГЛАВА VI

СОЦИАЛЬНАЯ И СЕМЕЙНАЯ МОРАЛЬ: ЧАСТЬ II

Рассказы о Брави и бандитах—Чекко Биббони—Амброджо Тремацци—Лодовико Далл'Арми—Разбой—Пиратство—Эпидемии—Эпидемии в Милане, Венеции, Пьемонте—Преследование унтори—Моральное состояние пролетариата—Колдовство—Его итальянские особенности—История Джакомо Чентини.

Истории, рассказанные в предыдущей главе, наглядно демонстрируют тесную связь между аристократией и их сообщниками — головорезами и бандитами. Но все равно остается рассмотреть эту связь с точки зрения профессионального убийцы. И для этой цели я сейчас воспользуюсь двумя документами, ярко иллюстрирующими привычки, чувства и социальный статус людей, которые ради вознаграждения решились спекулировать на кровопролитии. Обе они автобиографичны, и обе повествуют о трагедиях, которые привлекли внимание всей Италии.

Cecco Bibboni

Первым из этих документов является отчет Чекко Биббони о его методе, примененном при убийстве Лоренцино де'Медичи в Венеции в 1546 году. Лоренцино с помощью браво по имени Скоронколо убил своего двоюродного брата Алессандро, герцога Флоренции, в 1537 году. Совершив это деяние, за которое он получил имя Брут, он бежал из города; а дальний родственник убитого и сам убийца, Козимо де Медичи, был избран герцогом вместо Алессандро. Одним из первых актов его правления было объявление Лоренцино вне закона. Его портрет был написан по старому тосканскому обычаю головой вниз и подвешен за одну ногу на стене крепости Алессандро. Его дом был разрезан надвое от крыши до тротуара, и через него

был пробит узкий проход, получивший название Переулка Предателей, *Кьяссо дель Традиторе*. Цена, назначенная за его голову, была огромной — четыре тысячи золотых флоринов с пожизненной пенсией в размере ста флоринов убийце и его наследникам. Человек, который убьет Лоренцино, должен был, кроме того, получить амнистию за все преступления и воспользоваться всеми гражданскими правами; ему было обещано освобождение от налогов, привилегия носить оружие с двумя слугами во всех владениях Флоренции и прерогатива вернуть на родину десять преступников по его выбору. Если бы он поймал Лоренцино и доставил его живым во Флоренцию, награда была бы удвоена за каждый предмет. Здесь было достаточно, чтобы возбудить алчность и дух спекуляции. Чекко Биббони расскажет нам, как бизнес был успешно завершен.^[225]

"Когда я вернулся из Германии, - начинает Биббони, - где я состоял на жалованье у императора, я нашел в Виченце Бебо да Вольтерру, который остановился в доме М. Антонио да Рома, дворянин из этого города. Этот джентльмен нанял его из-за большой вражды, которая у него была; более того, он был очень рад моему приезду и пожелал, чтобы я тоже поселился в его дворце.

Биббони продолжает рассказывать, как другой дворянин из Виченцы, мсье Франческо Маненте, в то время враждовал с некоторыми из Гуацци и Ласки, что длилось несколько лет и стоило жизни многим членам обеих партий и их сторонникам. Мсье Франческо, будучи другом М. Антонио, упросил этого джентльмена одолжить ему Биббони и Бибо на сезон; и оба *брави* отправились вместе со своим новым хозяином в Чельсано, деревню по соседству. "Там у обеих сторон были поместья, и все они держали в своих домах вооруженных людей, так что ни дня не проходило без ратных подвигов, и всегда кто-нибудь был убит или ранен. Однажды, вскоре после этого, лидеры нашей партии решили напасть на врага в их доме, где мы убили двоих, а остальные, числом пять человек, окопались в квартире на первом этаже; после чего мы завладели их аркебузами и другим оружием, что вынудило их покинуть виллу и удалиться в Виченцу; и в течение короткого промежутка времени эта великая вражда была прекращена мирным соглашением". После этого Бибо поступил на службу к ректору университета в Падуе и был переведен своим новым покровителем в Милан. Биббони остался в Виченце с Галеаццо делла Сетой, который очень опасался за его жизнь, несмотря на мир, заключенный между двумя фракциями. По истечении десяти месяцев он вернулся к М. Антонио да Рома и его шестеро братьев, "все из которых были очень привязаны ко мне, предложили, чтобы я прожил свою жизнь с ними, хорошо это или плохо, и чтобы ко мне относились как к члену семьи; при том понимании, что, если начнется война и я захочу принять в ней участие, у меня всегда будут двадцать пять крон, оружие и лошадь, и добро пожаловать домой, пока я жив; а в случае, если я не захочу вступать в войска, столько же средств на мое содержание".

Из этих подробностей мы понимаем, какого рода призыв последовал за "браво вида Биббони". Тем временем Бибо был в "Милане". - Там случилось так, что мсье Франческо Вина из Вольтерры находился в посольстве от герцога Флорентийского. Он увидел Бибо и спросил его, что тот делает в Милане, и Бибо ответил, что он странствующий рыцарь". Эта фраза, заимствованная, без сомнения, из модных тогда романтических эпосов, была прекрасным эвфемизмом для обозначения разбойника такого уровня, как Бибо. Теперь посол начал осторожно прощупывать своего человека, который, по-видимому, был изгнан из тосканского герцогства, сообщив ему, что знает способ, которым он мог бы с благосклонностью вернуться домой, и, наконец, раскрыл дело Лоренцино. Сначала Бибо был озадачен, но когда он понял, в чем дело, он заявил о своей

готовности, взял письма от посланника герцога Флоренции и на частной аудиенции у Козимо сообщил ему, что готов предпринять попытку убийства Лоренцино. Он добавил, что "у него был товарищ, пригодный для такой работы, которого нелегко было найти".

Теперь Бибо отправился в Виченцу и рассказал обо всем Биббони, который все хорошенько взвесил и, наконец, убедившись, что поручение герцога его товарищу было *добросовестным*, решил принять участие в этом предприятии. Эти двое договорились не иметь сообщников. Они отправились в Венецию, и "я, - говорит Биббони, - будучи самым близким знакомым со всем этим городом и обзаведясь там множеством друзей, вскоре незаметно узнал, где живет Лоренцино, снял комнату по соседству и провел несколько дней, прикидывая, как нам лучше всего вести себя". Биббони вскоре обнаружил, что Лоренцино никогда не покидал своего дворца; и поэтому он пребывал в большом замешательстве, пока, по счастливой случайности, Руберто Строцци не прибыл из Франции в Венецию, взяв с собой в свиту слугу-наваррца по прозвищу Спаньолетто. Этот парень был большим другом "браво". Они встретились, и Биббони сказал ему, что хотел бы пойти и поцеловать руки мессеру Руберто, которого он знал в Риме. Строцци жил в том же дворце, что и Лоренцино. "Когда мы прибыли туда, мессер Руберто и Лоренцино выходили из дома, а вокруг них было так много джентльменов и других лиц, что я не смог представиться, и оба сразу же вошли в гондолу. Тогда я, давно не видевший Лоренцино и поскольку он был очень скромно одет, не смог узнать этого человека в точности, а только как бы между уверенностью и сомнением. Поэтому я сказал Спаньолетто: "Мне кажется, я знаю этого джентльмена, но не помню, где я его видел". И мессер Руберто протянул ему правую руку. Тогда Спаньолетто ответил: "Ты достаточно хорошо его знаешь; это мессер Лоренцино. Но смотри, никому об этом не рассказывай. Его зовут мессер Дарио, потому что он живет в большом страхе за свою безопасность, и люди не знают, что он сейчас в Венеции". Я ответил, что очень удивлен и, если бы мог помочь ему, сделал бы это охотно. Потом я спросил, куда они направляются, и он ответил, что обедать с мессером Джованни делла Каза, который был папским легатом. Я не оставил этого человека, пока не вытянул из него все, что мне было нужно.

Так говорил итальянский Иуда. Интересно появление Ла Каса на сцене. Он был знаменитым автором *Капитолия дель Форно*, автором многих возвышенных и меланхолических сонетов, который сейчас находился в Венеции, предъявляя обвинение в ереси пьеру Паоло Верджеро и ухаживая за благородной дамой из семьи Квирини. Похоже, что на территории Сан-Марко он был заодно с изгнанниками из Флоренции, поскольку сам по происхождению был флорентийцем и не возражал против того, чтобы взять Брута-Лоренцино за руку.

После того как дворяне уплыли в своей гондоле обедать к легату, Биббони и его друг вошли во дворец, где он встретил еще одного старого знакомого, домоправителя, или *спендиторе* из Лоренцино. От него он почерпнул много полезной информации. Пьетро Строцци, кажется, выделял тираноубийце тысячу пятьсот крон в год на содержание трех отважных товарищей (*tre compagni bravi e facinorosi*) и на аренду дворца стоимостью пятьдесят крон. Но Лоренцино только что нанял другого на Кампо ди Сан Поло за триста крон в год, за что суэггер (*альтура*) Пьетро Строцци вычел тысячу крон из своего кармана. Биббони также узнал, что он ведет хозяйство у своего дяди, Алессандро Содерини, еще одного флорентийского преступника, и что он страстно влюблен в некую красавицу Бароццу. Эта женщина, по-видимому, была одной из величайших куртизанок Венеции. Далее он уточнил дату, когда тот собирался переехать во дворец в Сан-Поло, и, "короче говоря, знал все, что он делал, и, так сказать, сколько раз в день

он плевался". Таковы были сведения в комнате для прислуги, и так ценны они были для людей профессии Биббони.

На карнавале 1546 года Лоренцино намеревался отправиться в костюме цыганки на площадь Сан-Спирито, где должен был состояться рыцарский турнир. Собирались огромные толпы людей, и Биббони надеялся заняться там своими делами. Покушение, однако, на этот раз провалилось, и Лоренцино поселился во дворце, который он нанял на Кампо-ди-Сан-Поло. Это Кампо - одно из самых больших открытых мест в Венеции, неправильной формы, с тонко изогнутой линией на западной стороне, где до сих пор стоят два самых благородных частных дома в городе. Почти напротив них, в юго-западном углу, отдельно стоит маленькая старая церковь Сан Поло. Один из ее боковых входов выходит на площадь, другой - на переулок, который в конечном итоге ведет к Фрари. В рассказе Биббони нет ничего, что проясняло бы, где Лоренцино снимал свое жилье. Но из некоторых вещей, которые он говорит позже, следует, что для того, чтобы войти в церковь, его жертва должна была пересечь площадь. Тем временем Биббони из предосторожности подружился с сапожником, чья лавка занимала всю Кампо, включая дворец Лоренцино. В этой лавке он начал проводить большую часть своего времени; "и часто я притворялся спящим; но Бог знает, спал ли я, потому что мой разум, во всяком случае, был бодр".

Вскоре, казалось, представился второй удобный случай для убийства Лоренцино. Его пригласили отобедать с монсеньором делла Каза, и Биббони, напустив на себя смелый вид, вошел во дворец легата, оставив Бибо внизу, на лоджии, с твердым намерением заняться делом. "Но мы обнаружили, - говорит он, - что они отправились обедать в Мурано, так что мы остались с нашими закусками в их сумке". Остров Мурано в тот период был любимым курортом венецианской знати, особенно наиболее литературной и артистичной, у которых там были загородные дома, где они наслаждались свежим воздухом лагун и тишиной своих садов.

Третий случай, после стольких недель наблюдения, принес успех планам Биббони. Он заметил, что Лоренцино иногда настолько нарушал свои правила осторожности, что шел пешком мимо церкви Сан-Поло, чтобы посетить прекрасную Бароццу; и он решил, если возможно, поймать его в одном из таких путешествий. Случилось так, что 28 февраля, во второе воскресенье Великого поста, отправившись, по своему обыкновению, разузнать, отдаст ли Лоренцино распоряжения относительно отъезда за границу в этот день, я зашел в лавку сапожника и некоторое время оставался там, пока Лоренцино не подошел к окну с салфеткой на шее — он расчесывал волосы, — и в тот же момент я увидел, как некий Джован Баттиста Мартелли, который сохранил свой меч для защиты личности Лоренцино, вошел и вышел снова. Придя к выводу, что они, вероятно, отправятся за границу, я отправился домой, чтобы подготовиться и раздобыть необходимое оружие, и там я нашел Бибо спящим в постели, и заставил его немедленно встать, и мы пришли на наш обычный наблюдательный пост у церкви Сан Поло, где должны были пройти наши люди. Биббони теперь удалился к своему другу сапожнику, а Бибо занял свой пост у одной из боковых дверей Сан Поло: "и, как назло, Джован Баттиста Мартелли вышел и прошел немного впереди, а затем Пришел Лоренцино, а затем Алессандро Содерини, они шли друг за другом, как аисты, и Лоренцино, войдя в церковь и приподняв занавеску на двери, были замечены Бибо из противоположной двери, который в то же время заметил, как я вышел из лавки, и мы встретились на улице, как и договаривались, и он сказал мне, что Лоренцино был внутри церкви".

Любому, кто знаком с Кампо ди Сан Поло, будет очевидно, что Лоренцино пересек площадь с западной стороны и вошел в церковь через то, что технически называется ее северной дверью. Бибо, стоявший у южной двери, мог видеть его, когда он отодвигал тяжелую *стойю*, или кожаную занавеску, и в то же время мог наблюдать за передвижениями Биббони в сапожной мастерской. Тем временем Лоренцино пересек церковь и подошел к той самой двери, у которой только что стоял Бибо. "Я видел, как он вышел из церкви и направился по главной улице; затем появился Алессандро Содерини, а я шел последним; и когда мы достигли места, которое мы наметили, я выскочил перед Алессандро с кинжалом в руке, крича: "Держись крепче, Алессандро, и держись вместе, во имя Бога, потому что мы здесь не ради тебя!" Затем он обхватил меня за талию, схватил за руки и продолжал звать. Видя, как я был неправ, пытаюсь сохранить ему жизнь, я изо всех сил вырвался из его хватки и, подняв свой кинжал, ударил его, как было угодно Богу, над бровью, и из раны потекло немного крови. Он в ярости нанес мне такой удар, что я упал навзничь, а земля, кроме того, была скользкой из-за небольшого дождя. Тогда Алессандро выхватил свой меч, который носил в ножнах, и замахнулся на меня спереди, ударив по доспеху, который, на мое счастье, был из двойной кольчуги. Прежде чем я успел собраться, я получил три пропуска, которые, будь на мне дублет вместо этого кольчужного корсета, наверняка пронзили бы меня насквозь. При четвертом выпаде я восстановил свои силы и дух, и сошелся с ним, и нанес ему четыре удара в голову, и был так близко, что он не мог воспользоваться своим мечом, но попытался парировать его рукой и рукоятью, и я, по воле Бога, ударил его в запястье под рукавом кольчуги, и начисто отсек ему руку, а затем нанес ему последний удар по голове. После этого он взмолился, ради Бога, пощадить его, и я, в тревоге за Бибо, оставил его на руках венецианского дворянина, который удержал его от прыжка в канал.

Кем был этот венецианский дворянин, неожиданно обнаруженный на месте преступления, не сообщается. И, что еще более любопытно, мы ничего не слышим об этом Мартелли, bravo, "который сохранил свой меч для защиты личности Лоренцино". Похоже, тот появился случайно. Другой, должно быть, был трусом и сбежал из драки.

- Когда я обернулся, - продолжает Биббони, - то увидел Лоренцино на коленях. Он поднялся, и я в гневе нанес ему сильный удар по голове, который расколол ее на две части, и положил его к моим ногам, и он больше никогда не поднимался".

Тем временем Бибо скрылся с места событий. И Биббони, пустившись наутек, догнал его на маленькой площади Сан-Марчелло. Теперь они бежали, спасая свои жизни, пока не достигли трагетто-ди-Сан-Спирито, где бросили свои кинжалы в воду, вспомнив, что никто не имеет права носить их в Венеции под страхом каторги. Белые штаны Биббони были залиты кровью. Поэтому он согласился расстаться с Бибо, назначив место встречи. Оставшись в одиночестве, невезение столкнуло его лицом к лицу с двадцатью констеблями (*сбирри*). "В какой-то момент я понял, что они все знали и пришли схватить меня, и, по правде говоря, я увидел, что со мной все кончено. Так быстро, как только мог, я ускорил шаг и вошел в церковь, рядом с которой находился дом Компаньи, и одна дверь переходила в другую, опустил на колени и помолился, горячо вознося хвалу Богу за мое избавление и безопасность. И все же, пока я молился, я держал глаза широко открытыми и видел, как вся группа прошла мимо церкви, за исключением одного вошедшего мужчины, и я напряг зрение так, что, казалось, видел не только спереди, но и сзади, и тогда я затосковал по моему пуаньяру, потому что я не обратил бы внимания на то, что нахожусь в церкви. ' Но вскоре выяснилось, что констебль искал не Биббони. Поэтому он собрался с духом и побежал к церкви Сан-Спирито, где падре Андреа Вольтеррано

проповедовал перед большим собранием людей. Он надеялся войти через одну дверь, а выйти через другую, но толпа помешала ему, и ему пришлось обернуться лицом к *сбирри*. Один из них последовал за ним, вероятно, заметив кровь на его штанах. Тогда Биббони решил покончить с этим типом, бросился на него, повалил головой на мостовую и помчался как сумасшедший и, наконец, совсем запыхавшийся, добрался до Сан-Марко.

Кажется очевидным, что до того, как Биббони отделился от Бибо, они пересекли реку, поскольку Сестьер-ди-Сан-Поло отделен от Сестьер-ди-Сан-Марко Большим каналом. И это, должно быть, они сделали в трагетто ди Сан-Спирито. Ни церкви, ни трагетто сейчас не существует, и поэтому эта часть истории малоизвестна.^[226]

Добравшись до Сан-Марко, он сел на гондолу у моста Палья, где туристы теперь привыкли стоять и созерцать дворец герцогов и Мост вздохов. Сначала он разыскал дом горожанки, которая была его подругой, затем изменил цель и поплыл ко дворцу графа Саличи да Коллальто. "Он был нашим большим другом и близким человеком, потому что мы с Бибо оказали ему много и очень важных услуг в прошлом. Там я постучал; и Бибо открыл дверь, и когда он увидел меня перепачканным кровью, он удивился, что я не попал в беду и не попал в руки правосудия; и, по правде говоря, очень боялся этого, потому что меня так долго не было. " Таким образом, получается, что Палаццо Коллальто было их местом встречи. "Графа не было дома, но, поскольку меня знали все его люди, я разыграл роль хозяина и пошел на кухню к огню, где с мылом и водой превратил свои чулки, которые были белыми, в серый цвет". Это очень деликатный способ сказать, что он смыл кровь Алессандро и Лоренцино!

Вскоре после этого граф вернулся и "расточал ласки" Бибо и его драгоценному товарищу. Они не рассказали ему, чего достигли в то утро, но отделались от него историей о том, что уладили ссоры с компанией из-за девушки. Затем граф пригласил их на обед; и, поскольку сам был обязан принимать первого врача Венеции, попросил их накрыть его в верхней комнате. Он и его секретарь собственноручно прислуживали им за столом. Когда прибыл врач, граф спустился вниз; и в этот момент прибежал посыльный от матери Лоренцино, умолявшей доктора немедленно отправиться в Сан-Поло, поскольку ее сын был убит, а Содерини смертельно ранен. Теперь уже было невозможно скрывать свои поступки от графа, который посоветовал им набраться мужества и набраться терпения. Ему пришлось самому пообедать и отдохнуть, а затем присутствовать на заседании Совета.

Примерно в час вечерни Биббони решил поискать убежище получше. Сопровождаемый на почтительном расстоянии Бибо, он первым делом зашел к ним домой и заказал ужин. Вошли два священника и завязали с ними разговор. Но что-то в поведении одного из этих добрых людей вызвало у него подозрения. Поэтому они вышли из дома, сели в гондолу и велели мужчине изо всех сил грести к Сан-Мария-Зобениго. По дороге он попросил его высадить их на берег, хорошо заплатил ему и приказал ждать их. Они высадились возле дворца испанского посольства; и здесь Биббони намеревался искать убежища. Ибо следует помнить, что дома послов в не меньшей степени, чем дома князей Церкви, были неприкосновенны. Они предлагали самые удобные убежища негодяям. Более того, Карл V был глубоко заинтересован в том, чтобы отомстить убийце Алессандро де Медичи, поскольку его собственная внебрачная дочь была вдовой Алессандро и герцогиней Флоренции. Во дворце их с большой любезностью приняли около сорока испанцев, которые проявили немалое любопытство и рассказали им, что Лоренцино и Алессандро Содерини были убиты тем утром двумя мужчинами, описание которых

соответствовало их внешности. Биббони отложил их вопросы и попросил о встрече с послом. Его не оказалось дома. - В таком случае, - сказал Биббони, - отведите нас к секретарю. В сопровождении примерно тридцати испанцев, "с большой радостью" их провели в кабинет секретаря. Он отослал остальных людей "и хорошенько запер дверь, а затем обнял и поцеловал нас, прежде чем мы успели произнести хоть слово, а потом велел нам говорить свободно, без всяких опасений". Когда Биббони рассказал всю историю, секретарь снова обнял и поцеловал его, после чего он оставил их и отправился в личные апартаменты посла. Вскоре после этого он вернулся и повел их по винтовой лестнице к своему хозяину. Посол приветствовал их с большим почетом, сказал, что приложит все силы империи, чтобы передать их в целости герцогу Козимо, и что он уже отправил курьера к императору с хорошими новостями.

Поэтому они продолжали скрываться в испанском посольстве, а через десять дней от самого Карла были получены приказы сделать все возможное, чтобы благополучно доставить их во Флоренцию. Трудность заключалась в том, как тайно вывезти их из Венеции, где полиция Республики была на чеку, а флорентийские преступники выставляли охрану на море и берегу, чтобы поймать их. Посол начал с того, что каждое утро распространял по Риальто сообщения о том, что их видели в Падуе, Вероне, Фриули. Затем он снял дворец в Мальгере, недалеко от Местре, и ежедневно выезжал на прогулки с пятьюдесятью испанцами, ездил в экипаже или развлекался верховой ездой и стрельбой. Флорентийцы, стоявшие на страже, смогли узнать только от его людей, что он сделал это для развлечения. Решив, что он достаточно сбил их с толку, посол однажды увез Биббони и Бибо через Канареджо в Мальгеру, спрятавшись в своей собственной гондоле, в сопровождении целой свиты испанцев. И хотя при высадке флорентийцы бросили им вызов, они не осмелились помешать послу или вступить в бой с его людьми. Итак, Бибо и Биббони затолкали в карету, а затем предоставили двух товарищей и четырех лошадей. Они проехали девяносто миль, не останавливаясь на ночлег, и на следующий день после этого долгого путешествия достигли Тренто, вероятно, проехав по горным долинам выше Бассано, поскольку Биббони упоминает об одной деревне, жители которой говорили наполовину по-немецки. Императорский посол в Тренто переправил их на следующий день в Мантую; из Мантуи они прибыли в Пьяченцу; оттуда прошли через долину Таро, пересекли Апеннины у Чизы, спустились к Понтремоли и достигли Пизы ночью, на четырнадцатый день после своего бегства из Венеции.

Когда они прибыли в Пизу, герцог Козимо ужинал. Поэтому они отправились в гостиницу, а на следующее утро предстали перед его светлостью. Козимо любезно приветствовал их, заверил в своей благодарности, подтвердил их право на награды и привилегии и поклялся, что они могут быть уверены в его защите во всех частях его владений. Мы можем себе представить, как мужчины пьянствовали вместе после этого приема. Как добавляет Биббони, "Теперь мы могли на все отпущенное нам время жизни жить великолепно, ни о чем не думая и не заботясь". Последние слова его повествования таковы: "Бибо из Пизы, не знаю, когда именно, отправился домой в Вольтерру, свой родной город, и там закончил свои дни; в то время как я жил во Флоренции, где у меня больше не было желания слышать о войнах, но прожить свою жизнь в святом мире".

Так заканчивается история двух *брави*. У нас есть основания полагать, исходя из некоторых современных документов, которые обнаружил Канту, что Биббони преувеличил свою роль в этом деле. Лука Мартелли в письме Варчи говорит, что именно Бибо размоzzжил череп Лоренцино абордажной саблей. Он добавляет такую любопытную деталь, что оружие обоих

мужчин было отравлено и что рана, нанесенная Биббони на руке Содерини, была незначительной. Тем не менее, поскольку пойняр был отравлен, Содерини умер от этого. В других отношениях краткий отчет Мартелли согласуется с тем, что дал Биббони, который, вероятно, сделал не больше, поскольку его товарищ был мертв, чем присвоил себе, в ущерб правде, львиную долю их героических действий.

Амброджио Тремацци[227]

В качестве иллюстрации этого повествования и в доказательство того, что оно ни в коем случае не стоит особняком в записях того столетия, я приведу несколько отрывков из отчета Амброджио Тремацци из Модильяны, касающегося убийства Тройло Орсини. Следует помнить, что Тройло был любовником герцогини Медичи Браччано. После того, как стало известно об их любовных связях, и пока дама была задушена своим мужем, с разрешения ее брата Тройло сбежала во Францию. Амброджио Тремацци, зная, что его убийство было бы приемлемо для Медичи, предпринял эту авантюру; движимый, как он говорит, "исключительно желанием привлечь к себе благосклонное внимание великого герцога; ибо мой разум возмущался при мысли о денежных выплатах, и я имел в виду скорее завоевание чести и восхваления, поскольку был готов рискнуть своей жизнью ради чести моего принца, и не только своей жизнью, но также навлечь смертельную и вечную вражду с могущественной ветвью семьи Орсини". По возвращении из Франции, успешно выполнив миссию, Амброджио Тремацци заявил: "Я не хочу, чтобы меня убили". Тремацци обнаружил, что друзья, которые ранее поддерживали его надежды, особенно граф Ридольфо Изолами, хотели скомпрометировать его вознаграждение, назначив пенсию ему и его компаньону. Действительно ли он стремился к более почетному признанию своих заслуг или стремился получить лучшие денежные условия, не выясняется. Но он изображает себя серьезно оскорбленным; "видя, что мой образ жизни с детства и выше всегда был благородным, и так будет всегда". После этого излияния в форме письма, адресованного некоему синьору Антонио [Сергиди], он переходит к отчету о своих действиях. Кажется, дон Пьеро де'Медичи дал ему триста крон на дорожные расходы; после чего, оставив своего сына, двенадцатилетнего мальчика, в качестве заложника на службе у Пьеро, он отправился в путь и прибыл в Париж 12 августа 1577 года. Там он снял квартиру в "знаке Красной лошади", недалеко от Кордильеров, и сразу же начал наводить справки о Тройло. Он привез с собой из Италии человека по имени Иеронимо Саворано. Их совместное расследование выявило тот факт, что Тройло недавно был ранен на службе у короля Франции и, как ожидалось, прибудет в Париж вместе с Двором. Суд вернулся только накануне дня всех Святых. Вскоре после этого Амброджио беседовал у дверей дома с несколькими итальянскими комедиантами, когда мимо проехал молодой человек, закутанный в коричнево-коричневую мантию, верхом на гнедой лошади, ведя за собой слугу на крупе. Это был Тройло Орсини, и Амброджио хорошо запомнил его. Тройло, поговорив несколько минут с игроками, поехал вперед, к Лувру. *Браво* последовал за ним и узнал от его слуги, где он остановился. Соответственно, он снял комнаты на улице С. Оноре, чтобы быть ближе к своей жертве.

Однако прошло некоторое время, прежде чем он смог выяснить повседневные привычки Тройло. Наконец Случай свел их вместе. Однажды вечером он играл *примьеро* в доме актрисы по имени Виттория, когда вошел Тройло в сопровождении двух джентльменов из Флоренции. Он сказал, что отсутствовал в Париже десять дней. Амброджио, который оставил свою аркебузу дома, не ожидая встретить его, "следовательно, в тот раз ничего не смог сделать". Дни проходили без лучшей возможности, пока 30 ноября, "в праздник Святого Андрея, который для

меня счастливый день, я не встал и сразу же отправился во дворец, и сразу по прибытии увидел его в тот час, когда король отправляется к мессе". Амброджо пришлось возвращаться, потому что Троило окружало слишком много придворных; но он принял решение тогда и там". чтобы увидеть конец его или меня." Он позвонил своему товарищу Иеронимо, разместил его на мосту через Сену и направился ко Двору, где Троило сейчас играл в ракетки с принцами королевской семьи. Амброджо торчал у ворот до тех пор, пока Троило не покинул жилище монсеньора де Монморанси, все еще преследуемый своим неизвестным врагом, а оттуда вернулся в свой собственный дом верхом в сопровождении нескольких слуг. Дождавшись наступления ночи, Троило снова выехал из дома верхом на лошади в сопровождении своих слуг с факелами. Амброджо последовал за ним во весь опор, дождался благоприятной возможности и остановил лошадь. Поравнявшись с ним, я схватил поводья левой рукой, а правой приставил аркебузу к его боку, толкнув ее с такой силой, что если бы она и не выстрелила, то, во всяком случае, сбросила бы его с седла. Пистолет подействовал, и он упал с криком "Эх! Эх!" В последовавшей за этим суматохе я ушел, и не знаю, что произошло потом. "Затем Амброджо вернулся к себе домой, перезарядил аркебузу, поужинал и лег спать. Он сказал Иеронимо, что той ночью ничего не произошло. На следующий день он встал, как обычно, и вернулся ко Двору, надеясь услышать новости о Троило. Во второй половине дня в итальянском театре ему сообщили, что итальянец был убит по наущению, как предполагалось, великого герцога Флоренции. Иеронимо тронул его за руку и прошептал, что, должно быть, он сам это сделал, но Амброджо отрицал этот факт. По-видимому, его целью было возложить ответственность за убийство на себя, а также исключить возможность предательства Иеронимо в случае, если на него падет подозрение. Впоследствии он узнал, что Троило был опасно ранен аркебузой. Из дальнейших подробностей он узнал, что его самого подозревали в убийстве и что Троило никак не мог прийти в себя. Поэтому он обсудил этот вопрос с Иеронимо в Соборе Парижской Богоматери, и они оба решили тайно покинуть Париж. Они немедленно это сделали, оставив одежду, оружие и багаж в своих квартирах, и благополучно добрались до Италии.

Лодовико далл'Арми

Доверительные отношения, которые *брави* время от времени поддерживали с иностранными дворами, служат любопытной иллюстрацией их положения в итальянском обществе. Один характерный пример можно выбрать из документов венецианских архивов, относящихся к Лодовико далл'Арми.^[228] Этот человек принадлежал к знатной семье Болоньи; и есть основания предполагать, что его мать была сестрой кардинала Кампеджи, известного в анналах английской реформации. Изгнанный из своего родного города за убийство, Лодовико выбрал профессию военного и занялся тайной дипломатией. Сначала он нашел убежище при французском дворе, где в 1541 году снискал такой авторитет, особенно у дофина, что ему была доверена миссия по поднятию восстания в Сиене против испанцев.^[229] Его сделки в этом городе с Джулио Сальви, тогда претендовавшим на его господство, и в Риме с французским послом привели к заговору, который только и ждал появления французских войск на границе Тосканы, чтобы перерасти в открытое восстание. Однако заговор раскрылся еще до того, как он созрел, и Лодовико пустился в бегство через территорию Флоренции. Он был арестован в Монтеварки и заключен во флорентийскую крепость, где сделал такие разоблачения, которые облегчили подавление сиенского восстания. После этого мы ничего о нем не слышали, пока он снова не появился в Венеции в 1545 году. Теперь он был аккредитован при английском после в звании "полковника" Генриха VIII и пользовался уважением, оказанным тайному агенту могущественного монарха.

Его пенсия составляла пятьдесят крон в месяц, в то время как в его подчинении находилось восемь капитанов, каждый из которых получал половину этой суммы в качестве жалованья. Эти подчиненные были людьми определенного социального положения. Мы находим среди них Триссино из Виченцы и Бонифачо из Вероны, один из которых носил титул маркиза, а другой - графа. Какова могла быть цель пребывания Лодовико в Италии, не сообщается. Хотя у него были рекомендательные письма от английского двора, он не претендовал на ранг дипломатического посланника. Но было довольно хорошо известно, что он занимался набором войск.

Предназначались ли они для использования против Франции или в пользу Савойи, или же, как предположил Римский двор, Генрих отдал приказ об убийстве своего кузена, кардинала Поула, в Тренто, оставалось открытым вопросом. Лодовико мог бы жить в мире под терпимым правлением венецианцев, если бы не подвергся столкновению с их полицией. В августе месяце он напал в уличной драке на капитана ночной стражи; против него также было доказано, что он послал двух своих людей нанести позорную рану джентльмену в Тревизо. Эти нарушения, совпавшие с настоятельными протестами Папской курии, дали венецианскому правительству прекрасный предлог для изгнания его из своих владений. Поэтому против него и четырнадцати его последователей был опубликован запрет. Английский посол отказался вступить за него, и этот человек покинул Италию. В конце августа он появился в Брюсселе, где попытался оправдаться в беседе с венецианским послом. Теперь началась дипломатическая переписка между английским двором и Венецианским советом, которая наглядно демонстрирует, какое значение придавалось этому частному агенту. Канцлер лорд Райотсли и секретарь сэр Уильям Пейджет использовали чрезвычайную срочность, чтобы добиться приостановления запрета в отношении Далл'Арми. После четырехмесячных переговоров, в ходе которых папский двор пытался нейтрализовать влияние Генриха, дож подписал охранную грамоту на пять лет в пользу "браво". В начале 1546 года Лодовико вновь появился в Ломбардии. В Мантуе он вручил герцогу Франческо Гонзаге письмо, подписанное самим Генрихом, в котором представлял "нашего благородного и любимого фамильяра Лодовико Далл'Арми" и умолял герцога помочь ему в тех делах, которые он должен решить в Мантуе на службе у короля.^[230] Лодовико представил это письмо в апреле; но герцогиня, которая тогда исполняла обязанности регента при своем сыне Франческо, отказалась его принять. Она утверждала, что герцог запретил набирать войска для иностранной службы и отказался осложнять свои отношения с иностранными державами. Судя по достаточно обширной переписке о делах Лодовико, итальянская принцесса поняла, что ему поручено какое-то специальное поручение по набору солдат против французов.

Мир между Англией и Францией, подписанный в Гвинесе в июне, сделал миссию Лодовико несостоятельной; смерть Генриха VIII. январь 1547 года лишил его единственной мощной поддержки. Тем временем он ухитрился вызвать серьезное неудовольствие Венецианской республики. Осенью 1546 года они объявили вне закона одного из своих собственных дворян, сира Мафио Бернардо, по обвинению в том, что он раскрыл государственные секреты Франции. Примерно в середине ноября Бернардо, в то время скрывавшийся в Равенне, был заманен в сосновый лес двумя мужчинами, снабженными знаками, которые обеспечили ему доверие. Он был там убит, и убийцы оказались наемными орудиями Лодовико. Теперь выяснилось, что Лодовико и Сер Мафио Бернардо в течение некоторого времени состояли в сговоре в политических интригах. Таким образом, если у убийства и был мотив, то он был обнаружен в страхе Лодовико перед разоблачениями в случае поимки сира Марио. Подвергнутый пыткам в тюрьмах Десяти, сэр Мафио мог выдать своего сообщника как Англии, так и Венеции. Было очевидно, почему он был убит людьми Лодовико. Впоследствии Далл'Арми был арестован и

заключен в Венеции. После допроса, за которым последовало временное освобождение, он благоразумно сбежал в Миланское герцогство. Хотя у венецианцев были доказательства его вины в деле об убийстве сэра Мафио, они, по-видимому, не желали прибегать к крайним мерам против человека короля Англии. Однако в начале февраля сэр Уильям Пейджет передал его от имени лорда-протектора Сомерсета на усмотрение С. Марка. Получив заверения в том, что Далл'Арми утратил расположение Англии, синьория написала испанскому губернатору в Милане с требованием его ареста и экстрадиции. На самом деле он был арестован 10 февраля. В письме, извещающем о его поимке, он описывается как человек удивительно красивой фигуры, привыкший носить малиновый бархатный плащ и красную шапочку, отделанную золотом. Именно в этом костюме Лодовико был представлен Бонифацио на картине "Массовое убийство невинных". Браво стоит там, частично повернувшись спиной, бесстрастно взирая на сложную сцену кровопролития. На нем алая бархатная мантия, алая шапочка с белым пером, алые чулки, алые бархатные туфли и розовая шелковая нижняя рубашка. Это галантный мужчина старше тридцати лет, высокого телосложения, с короткой каштановой бородкой, редкими бакенбардами и усами. На него приятно смотреть, за исключением того, что резко очерченный рот наводит на мысль о циничной вульгарности и мелкой опрометчивости. Будучи арестованным в Милане, Лодовико провозгласил себя привилегированным лицом (*persona pubblica*) с верительными грамотами от короля Англии; и в течение первых недель своего заключения он написал императору письмо с просьбой о помощи. Это был праздный шаг. Смерть Генриха оставила его без защитников, и Карл V без колебаний передал своего просителя венецианцам. Когда обычные формальности, касающиеся экстрадиции, были завершены, миланское правительство передало Лодовико в конце апреля в руки настоятеля Брешии, который переправил его под охраной из двухсот человек в Падую. На него надели наручники и дали особые указания относительно его безопасности, даже предписав, что если он откажется от пищи, ее следует запихнуть ему в горло. Что происходило в тюрьмах штата после его прибытия в Венецию, неизвестно. Но 14 мая он был обезглавлен между колоннами на Моло.

Венеция в ту эпоху навлекла на себя упреки своих соседей за то, что давала приют авантюристам типа Лодовико. Один из фрегози Генуи, некий Валерио, и Пьетро Строцци, печально известный французский агент, все из которых обычно посещали лагуны, вызвали достаточное общественное беспокойство, чтобы возникла необходимость в дипломатических сношениях между дворами и обеспокоить раздражительных итальянских принцев. Изгнанные из своих собственных провинций и промышляющие мелким кондотьерским ремеслом, такие люди, когда они собирались вместе на нейтральной территории, вступали во взаимные интриги, которые делали их политически опасными. Они не служили никаким интересам, кроме своего собственного эгоизма, и были печально известны своей беспринципностью в средствах, используемых для достижения сиюминутных целей. В то же время защита, которой они добивались от иностранных властителей, лишала их обычного правосудия государства. Заговор Бедмара в 1617-18 годах показал Венеции всю степень опасности, которую представляло это прибежище негодяев; ибо, хотя в нем участвовали такие знатные вельможи, как герцог Оссунa, главными агентами, от честолюбия и дерзости которых все зависело, были те французские, английские, испанские и итальянские наемники, которые заполонили низкие кварталы города, готовые к любой беде и воспламененные самыми дикими планами самовозвеличивания с помощью политики и кровопролития. Ничто так ясно не свидетельствует о социальной и политической дряхлости Италии того периода, как значение, которое приобрели такие люди,

как Лодовико Далл'Арми, и революционная сила, которой командовал такой человек, как Джеффер.

Разбойники, Пираты, Чума

После сбора этих историй, которые иллюстрируют нравы высших классов общества и доказывают их зависимость от приспешников, которым платят за потворство незаконным страстям, было бы интересно с такой же ясностью рассказать о жизни простых людей. Это, однако, более сложный вопрос. Статистика сомнительной ценности действительно может быть собрана относительно опустошения деревень разбойниками, множества людей, уничтоженных эпидемией и голодом, и набегов средиземноморских пиратов. Поэтому я предлагаю слегка коснуться этих моментов и, в частности, использовать наши записи о чуме в различных районах Италии в качестве тестов для сравнения состояния людей в эту эпоху с состоянием тех же людей в средние века.

Разбой, хотя это, безусловно, было проклятием первой величины для Центральной и Южной Италии, не может быть сопоставлен ни по страданиям, которые он причинял, ни по свирепости, которую он стимулировал, с муниципальными войнами двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого веков. В ходе этих междоусобиц исчезали целые города, а плодородные районы периодически оставались на съедение волкам. Банды Альфонсо Пикколомини или Шарры Колонны грабили деревни, забирали черную почву и удерживали пленников ради выкупа.^[231] Но их варварства были незначительными по сравнению с теми, которые обычно совершались бродячими отрядами искателей приключений до времен Альбериги да Барбиано; разбойники не стоили Италии так дорого, как наемные войска, которые после того, как была разработана система кондотьеров, стали постоянным источником истощения ресурсов страны. Набеги тунисских и алжирских корсаров носили более опасный характер, поскольку все морское побережье от Ниццы до Реджо было открыто для опустошительных действий таких исчадий ада, как Барбаросса и Драгут, в то время как Адриатика была наводнена ускокки, а уроженцы Регно нередко становились пиратами, подражая своим преследователям.^[232]

Однако даже эти повреждения можно считать легкими, если учесть, что Италия понесла между 1494 и 1527 годами от французских, испанских, немецких и швейцарских войск в боях на ее земле. Эпидемии средневековья, особенно Черная смерть 1348 года, о которой Боккаччо оставил бессмертное описание, превосходили по вирулентности те, что опустошали итальянские города в период моей истории. Но эпидемии продолжали быть частыми; и некоторые из них настолько запоминаются, что требуют особого внимания. В Венеции в 1575-77 годах погибло в общей сложности около 50 000 человек; а в 1630-31 годах 46 490 человек были унесены в течение шестнадцати месяцев в городе, в то время как число тех, кто умер на свободе в лагунах, составило 94 235.^[233] В этих двух случаях венецианцы отметили свое освобождение возведением Реденторе и Сан-Мария-делла-Салюте, церквей, которые сейчас являются главными украшениями Джудекки и Большого канала. Милан в те же периоды был опустошен эпидемиями, о которых у нас есть подробные отчеты в депешах венецианских посланников, постоянно проживающих в Венеции.^[234] Смертность во время второго из этих посещений была ужасной. До сентября 1629 года погибло четырнадцать тысяч человек; с мая по август 1630 года к этой истории добавилось сорок пять тысяч жертв.^[235]

В Неаполе в 1656 году в период с мая по июль погибло более пятидесяти тысяч человек; мертвых бросали обнаженными в море, и венецианский посланник описывает город как *"non più città ma*

spelunca di morti".[236] В июле его дневник внезапно прерывается, то ли из-за отъезда из пораженного города, то ли, что более вероятно, из-за смерти, мы не знаем. Савойя была поражена страшной эпидемией в 1598-1600 годах. Об этой чуме мы располагаем устрашающе наглядной картиной в той же точной серии государственных документов.[237] Симеоне Контарини, в то время проживавший в Савильяно, рассказывает, что более двух третей населения этой провинции было сметено до осени 1598 года, и что зло распространялось повсюду по Пьемонту. В Альпиньяно, деревне с населением около четырехсот жителей, остались только двое. В Валь-Мориане сорок тысяч умерли из общего числа в семьдесят тысяч. В деревне Сан-Джованни насчитывалось всего двенадцать выживших из населения численностью более четырех тысяч душ. В мае 1599 года число жителей Турина сократилось в результате бегства и гибели до четырех тысяч; и из них ежедневно умирало число, постепенно увеличивающееся в течение лета с 50 до 180. Улицы были завалены непогребенными трупами, дома кишели грабителями и мародерами. Некоторые сообщения об этой чуме ужасны по своему ужасу. С инфицированными обращались с нечеловеческим варварством и отвечали дикой яростью, избивая нападавших смертоносными телами непогребенных жертв.

К бедствиям эпидемии и сопутствующему ей голоду добавились беззаконие и распущенность, бушующие пожары и, что было хуже всего, мрачное подозрение, что болезнь была занесена злоумышленниками. Это убеждение, по-видимому, овладело массовым сознанием во время чумы 1598 года в Савойе и Милане.[238] Симеоне Контарини сообщает, что двое мужчин из Женевы признались, что приехали сюда с явной целью распространения инфекции. Он также приводит любопытные сведения о двух сожженных и четырех четвертованных в Турине в 1600 году за это преступление.[239] "Эти духи ада", как он их называет, указали на лес, в котором, по их словам, они закопали отравляющую жидкость, предназначенную для обмазывания домов. В лесу был произведен обыск, и были обнаружены несколько банок. Хирург того же времени признался, что намеревался распространить чуму в Мондови. Другие лица, признавшие себя виновными в подобном намерении, описали рог, наполненный ядовитым веществом, собранным из язв на пораженных чумой трупах, который они спрятали за стенами Турина. Это тоже было обнаружено, и эти очевидные доказательства вины настолько приводили людей в ярость, что каждый день некоторые преступники приносились в жертву судебной мести.

Имя, данное несчастным существам, обвиненным в этом дьявольском заговоре, было *Унтори*, или Клеветники. Чума в Милане в 1629-30 годах получила название "Чума дельи Унтори" (как чума 1576 года называлась "Чумой Святого Карла") из-за заметной роли, сыгранной в ней клеветниками.[240] В народе предполагалось, что они ходят по городу, обмазывая стены, двери, мебель, хоры, цветы и продукты питания чумным веществом. Они разбрасывали порошки в воздухе или рассыпали их кругами по тротуару. Наступить на один из этих кругов означало неминуемую гибель. Сотни таких *унтори* были приговорены к самой жестокой смерти правосудием, твердо убежденным в их преступной деятельности. Подвергнутые длительным пыткам, большинство сознались в очевидных нелепостях. Одна женщина в Милане сказала, что она убила четыре тысячи человек. Но, по словам Пьера Антонио Мариони, венецианского посланника, хотя они были измучены до предела, никто из них не смог раскрыть главных зачинщиков заговора. Он был так глубоко убежден вместе со всем миром в их виновности, что никогда не останавливался, чтобы поразмыслить над ошибочностью, содержащейся в этом замечании. Растянутые на дыбе негодяи не могли изобличить своих подстрекателей, потому что таковых не было; а деяния, в которых они обвиняли себя, были бредовым вымыслом их собственных измученных пытками мозгов. У нас есть документы, относящиеся к судебному

процессу над миланцем *унтори*, которые ясно показывают, что преступления такого рода, должно быть, были вымышленными. Как и в случаях с колдовством, первое обвинение было основано на сплетнях и обмане. Судебным разбирательством руководили предрассудки и жестокость. Страх и физическая боль вынудили множество невинных людей сделать признания и выдвинуть сложные обвинения в адрес своих соседей.^[241] Действительно, параллель между этими несчастными клеветниками и не менее несчастными ведьмами очень близка. Я склонен думать, что подобно тому, как некоторые сумасшедшие женщины воображали себя ведьмами, так и некоторые болезненные личности того периода в Италии верили в свою способность распространять чуму и поддавались очарованию злобы. Действительно ли эти морально помешанные люди расширили сферу распространения чумы до какой-либо заметной степени, остается предметом догадок; и совершенно очевидно, что все обвиняемые, за исключением небольшого процента, были жертвами клеветы.

Приняв во внимание разбой, пиратство и эпидемии, упадок Италии следует отнести к другим причинам. Я полагаю, что это было исчезновение коммерческих республик, упадок свободных государств, несправедливые системы налогообложения, безумная демонстрация богатства непродуктивными князьями и перенаправление торговли по иностранным каналам. Флоренция перестала быть центром производства шерсти, Венеция утратила контроль над движением между Востоком и Западом.^[242] Застой опустился на землю, как ночь, и население страдало от общей атрофии.

Пролетариат

В том, что касается общественной морали, было бы почти невозможно определить позицию пролетариата, земледельцев и ремесленников в эту эпоху. Эти классы различаются в своей доброте и порочности, в своих недостатках и преимуществах от века к веку гораздо меньше, чем те, кто формирует характер определенных исторических периодов с помощью культуры. Они действительно обладают большим или меньшим иммунитетом от насущных невзгод. Они в разной степени невиновны или преступны. Но основа человечности в них остается сравнительно неизменной; и их моральные качества, насколько они могут быть исключительными, отражают влияние высшего социального слоя. Из историй, рассказанных в этой главе, ясно, что представители низших классов постоянно смешивались с дворянами и мелкопоместными в диких приключениях того беспокойного столетия. Они, как и те, кто был выше их, претерпевали запоздалую метаморфозу от средневековых условий к современным, сохраняя пороки свирепости и грубости, добродетели лояльности и уверенности в себе, которые принадлежали более ранним периодам. Они тоже теперь были заражены чувственной романтикой пиетизма, суеверным уважением к таинствам и церемониальным обрядам, доведенным католическим Возрождением до экстатического исступления. Они разделяли те соответствующие стремления к святотатственному разврату, испытывали те соблазны магических искусств, потворствовали тому извращенному чувству личной чести, которое составляло психологическую болезнь в век, который мы изучаем. Более того, можно утверждать, что итальянское общество ни в одну эпоху не было так резко разделено на части, как общество феодализированных рас. В этот столетний период, с 1530 по 1630 год, когда образование было привилегией немногих, и когда Церковь и князья объединились, чтобы затормозить интеллектуальный прогресс, различие между дворянином и плебеем, бюргером и пахарем, хотя и было четко очерчено внешне, было духовно и нравственно незначительным. Как в эпоху Возрождения, так и сейчас порок просачивался сверху вниз, заражая массы людей

своим вирусом. Но теперь, даже более решительно, чем тогда, высшие классы проявили черты подлости, низости, неводержанности, трусости и жестокого насилия, которые, как обычно предполагается, характеризуют вилланов.

Я думал пролить некоторый свет на нравы итальянского пролетариата, изучив архивы судебных процессов по обвинению в колдовстве. Но я обнаружил, что они были менее распространены, чем в Германии, Франции, Испании и Англии в соответствующий период. В Италии колдовство, чистое и незамысловатое, было ограничено, по большей части, горными регионами, Апеннинскими Аbruцци и Альпами Бергамо и Тироля.^[243] В других провинциях это приравнивалось к преступлениям, связанным с отравлением, организацией аборт и разжиганием заговоров в частных семьях. Эти факты во многом говорят о высшей цивилизации итальянского народа, рассматриваемого в целом. Мы обнаруживаем общий запас интеллекта, пороков, суеверий, предрассудков, энтузиазма, хитрости, преданности, самоутверждения, которыми обладает раса в целом. Только в районах, удаленных от гражданской жизни, колдовство принимало те антисоциальные и отталкивающие черты, которые знакомы северным народам. В других местах она проникала, как тонкий яд, в общество, оказывая свою предполагаемую помощь страстям, уже достаточно сильным, чтобы добиться своего собственными силами. Она существовала не как эндемическая болезнь, постоянный бред обезумевших крестьян, а как оружие в арсенале злобы наравне с ядами и провокаторами похоти.

Я мог бы проиллюстрировать эту позицию рассказом о фантастическом покушении на жизнь папы Урбана VIII.^[244]

Джакомо Centini, племянник кардинала д'Асколи, способствовала идея фикс, мотив безумия, будучи продвижением своего дяди С. Кафедра Петра. В 1633 году он обратился к отшельнику, который исповедовал глубокую науку в области оккультных искусств и был близко знаком с демонами. Этот человек в ответ на расспросы Джакомо сказал, что Урбану осталось жить еще много лет, что кардинал д'Асколи, несомненно, станет его преемником и что в его власти сократить дни папы. Он добавил, что некий фра Керубино был бы полезен, если бы решался какой-либо важный вопрос; он также не отказывался от помощи других благоразумных людей. Джакомо, со своей стороны, представил фра Доменико, и четверо сообщников принялись за дело, чтобы уничтожить правящего папу с помощью колдовства. Они приказали выковать нож по образцу Ключа Соломона и исписали его каббалистическими символами. Чистая девственница была нанята для прядения конопли в нить. Затем они отправились в дальнюю комнату во дворце Джакомо, где мистической нитью был начертан круг, в центре зажжен огонь, а на нем помещено изображение папы Урбана, сделанное из чистейшего воска. Был призван дьявол, чтобы явиться и ответить, умер ли Урбан в этой жизни после того, как изображение растаяло. Ни один адский посетитель не откликнулся на зов; и отшельник объяснил эту неудачу предположением, что во дворце было совершено какое-то убийство. При том, как обстояли дела в тот период, это оправдание ни в коем случае не было слабым, если только аудитория, склонная к нечестивому обращению к силе зла, приняла бы его как достаточное. Вероятно, там произошло не одно убийство, о котором владелец смутно сознавал. Психологический курьез, который следует отметить, заключается в том, что признанные злоумышленники считали чистоту важным элементом своей гнусной практики. Они попытались еще раз на винограднике,

ночью, под открытым небом. Но ни один демон не вышел из темноты, и отшельник списал это второе несчастье на плохую погоду. Джакомо был неспособен держать язык за зубами. Он рассказал о своем предприятии соседям и пообещал сделать их всех кардиналами, когда станет папским племянником. Тем временем он подталкивал отшельника к безрассудству; и этот человек, доведенный до крайности в поисках уловки, сказал, что они должны найти семерых священников вместе, один из которых должен быть убит, чтобы привести заклинание в исполнение. Вполне естественно, что в то время, как такой болтун, как Джакомо, прочесывал местность в поисках семи подходящих священников, у людей зародились подозрения. Информация достигла Рима, вследствие чего лица, замешанные в этом идиотском заговоре, были доставлены туда и переданы на милость Святой Канцелярии. Итогом их судебного процесса стало то, что Джакомо лишился головы, в то время как отшельник и фра Керубино были сожжены заживо, а фра Доменико пожизненно отправился на галеры. Несколько других мужчин, участвовавших в этом процессе, получили весьма суровые наказания. В заключение следует добавить, что вся история основана на свидетельствах архивов инквизиции, и что истинный метод очевидного безумия Джакомо Чентини еще предстоит исследовать. Те немногие факты, которые мы знаем о нем из его поведения на эшафоте и письма, которое он написал своей жене, настраивают меня в его пользу.

В этой главе собрано достаточно, и, возможно, более чем достаточно, чтобы пролить свет на нравы итальянцев во время Контрреформации. Было бы легко повторить историю графини Селлант и ее убитых любовников или герцогини Амальфи, задушенной своими братьями за брак ниже ее по положению. Массовые убийства, совершенные распанти в Равенне, могли бы послужить целой серией показательных преступлений. Из деяний Альфонсо Пикколомини, Скьярры и Фабрицио Колонны можно почерпнуть подробности, достаточные, чтобы заполнить целый том описаниями чудовищной жестокости. Единственный эпизод с Еленой Кампиреали, которая поклялась в верности бандиту, стала настоятельницей монастыря в Кастро, заинтриговала епископа и покончила с собой от стыда после возвращения своего первого любовника, воплотил бы в одной драме все основные черты этого социального разлада. Можно было бы снова рассказать ужасную историю о бароне Монтебелло, который напал на замок маркиза Пратидаттоло и при попустительстве сестры, на которой он впоследствии женился, убил маркиза вместе с его матерью, детьми и родственниками. Затравленная жизнь Алессандро Антельминелли, преследуемого наемными убийцами по всем государствам Европы, может быть использована в качестве примера страданий изгнанников, объявленных вне закона. Но какой смысл множить примеры, когда каждая родословная в Литте, каждая хроника того времени, каждая история самого незначительного городка изобилуют свидетельствами, направленными к той же цели? Нам не нужно придерживаться мнения, что общество сильно изменилось к худшему. Скорее мы должны решить, что средневековая свирепость сохранялась на протяжении всего того периода, который стал свидетелем католического возрождения, и что отличавшее ее благочестие не оказало влияния на обуздание неистовых страстей.

Выводы, которые следует сделать из представленных нам фактов, в целом таковы. Связь между правительством и управляемыми в Италии оборвалась. Социальные связи были разорваны, и составляющие нацию элементы преследовали разные цели. С одной стороны стояли папы и князья, обосновывая свои претензии на абсолютную власть титулами, которые имели незначительную рациональную или национальную значимость. Эти властители плохо сочетались между собой и взаимно ревновали. С другой стороны, располагались подрывные силы самого разнородного толка — пережитки античной партийной борьбы, осколки

устаревших домашних распрей, новые стремления к более свободной жизни среди умственно подавленного населения, смешивающиеся с преступностью, нищетой, нуждой и расточительством, чтобы составить оппозицию, которая выводила из себя деспотизм. Эти анархические условия были в значительной мере вызваны неприятностями, вызванными иностранными кампаниями вторжения. Они также были обусловлены испанским типом манер, навязанных правящим классом, которые туземный гений принимал с фальшивым умом и к которым он приспособлялся искусственно. Далее мы должны учитывать разделение между культурными и некультурными людьми, которое произвел гуманизм и которое сохранилось после того, как у расы были отняты блага, даруемые гуманизмом. Уход торговой аристократии из торговли и их допущение княжеской праздности в этот период политического застоя были еще одним важным фактором. Но истинную причину итальянского регресса к варварству следует, наконец, разглядеть в резком сдерживании интеллектуальной эволюции репрессивными силами контрреформации.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

СНОСКИ:

[1] Для будущего Италии важно, что обе дамы, составившие это соглашение, были связаны с Савойей. Луиза, герцогиня Ангулемская, была дочерью дома. Маргарет, дочь Максимилиана, была вдовствующей герцогиней Савойской.

[2] В том, что касается Карла V. в Болонье, я в большом долгу перед кропотливо составленной книгой Джордани *"Венута и Димора в Болонье, Соммо Понт"*. Клементе VII и т.д. (Bologna, 1832).

[3] См. статью в Нем., т. v. стр. 357.

[4] См. Ranke, том i, стр. 153, примечание.

[5] См. в нем. т. v. стр. 289.

[6] Смотрите, например, temp. Генрих IV, *Письма Сарпи*, том i, стр. 233.

[7] Здесь я могу заявить, что намерен использовать этот термин Контрреформация для обозначения реформы Католической церкви, которая была стимулирована немецкой реформацией, и которая, когда Тридентский собор установил догмы и дисциплину латинского христианства, позволила папству проводить воинственную политику в Европе, в результате чего оно вернуло себе значительную часть провинций, ранее это было связано с лютеранским и кальвинистским инакомыслием.

[8] Что касается Германии, см. Остросюжетное философское исследование г-на Т. С. Перри, озаглавленное *От Опица до Лессинга* (Бостон).

[9] Эти восемь царствований охватывают промежуток времени с 1534 по 1605 год.

[10] Смотрите Книгу Берти *"Жизнь Дж. Бруно"*, стр. 105-108.

[11] Это изречение приписывается философу-материалисту Кремонини.

[12] Опера К. Кальканьини, стр. 195. Вышеприведенной версией я обязан книге Маккри "Реформация в Италии", стр. 183.

[13] Хотя было опубликовано 40 000 экземпляров, эта книга была настолько успешно уничтожена, что казалось, она безвозвратно утрачена. Библиотека колледжа Святого Иоанна в Кембридже, однако, содержит две копии на итальянском и одну на французском. В библиотеке Лайбаха есть итальянская и хорватская версии. Cantù, *Gli Eretici*, vol. i. p. 360.

[14] Следует, однако, отметить, что Лютер отверг статью об оправдании и что Караффа в Риме использовал свое влияние, чтобы воспрепятствовать ее принятию Павлом III.

[15] Смотрите книгу Бруно "Сина делле Ченери", изд. Вагнер, том i, стр. 133, за юмористическую историю, иллюстрирующую положение вещей, сложившееся среди низших итальянских классов.

[16] Павел IV. поскольку папа был слабаком по сравнению со своими предшественниками, Юлием II и Львом X., Гизы, на которых он полагался в возрождении старой французской партии на Юге, были лишь наполовину успешными авантюристами, всего лишь тенями анжуйских захватчиков, которых они якобы представляли.

[17] Лучший отчет о Соборах можно найти в замечательной *Истории папства во время Реформации* профессора Крейтона, 2 тома. Лонгманы.

[18] Смотрите выше, стр. 2, особый смысл, в котором я применяю слово федерация к Италии до 1530 года и ко всей Европе в современный период.

[19] Первое официальное открытие Собора в Тренте состоялось в ноябре 1542 года кардиналами Поулом и Мороне в качестве легатов. Заседание было отложено в июле 1543 года из-за недостаточной посещаемости. Когда он снова открылся в 1545 году, Поул вновь появился в качестве легата. С ним были связаны два будущих папы, Джованни. Мария дель Монте (Юлий III.) и Марчелло Червини (Марцелл II.) Первое заседание Собора состоялось в декабре 1545 г., на нем присутствовали четыре кардинала, четыре архиепископа, двадцать один епископ и пять генералов орденов. Среди них были только пять испанских и два французских прелата; ни одного немца, если не считать Кристофоро Мадраццо, кардинала-епископа Трента, за одного. Протестанты не появились; за Павла III. успешно противостоял их ультиматуму, который требовал, чтобы окончательная апелляция по всем обсуждаемым вопросам была сделана к единственному авторитету Священного Писания.

[20] На протяжении сессий Собора представители Испании, Франции и Германии, будь то отцы церкви или послы, поддерживали теорию подчинения папы соборной власти. Испанцы и французы были единодушны в стремлении к независимости епископата. Французов и немцев объединяло желание оказать протестантам разумные уступки. Таким образом, папскому престолу пришлось столкнуться с серьезным антагонизмом, который он в конце концов преодолел благодаря численному перевесу итальянских прелатов, энергии иезуитов, дипломатическим интригам и манипулированию разногласиями в оппозиции. Хотя испанские отцы церкви соглашались с французскими и немецкими по вопросам независимости епископата и соборного авторитета, они расходились во мнениях всякий раз, когда речь заходила о компромиссе с протестантами по деталям догмы или ритуала. Папский двор убедил католических монархов Испании и Франции, а также императора, что независимость

епископата была бы опасна для их собственных прерогатив; и при каждом неудобном повороте событий становилось ясно, что католические монархи, которым угрожает протестантская революция, не могут позволить себе отделять свое дело от дела папы.

[21] См. Sarpi, стр. 249.

[22] Чарльзу на этом этапе Павел поставил мат из-за его собственной неспособности отказаться от сотрудничества папы Римского как главы католической церкви. До тех пор, пока он выступал против Реформации, для него было невозможно проявлять яростную враждебность к Риму.

[23] Во время кратких и неважных заседаний в Болонье влияние иезуитов начало отчетливо ощущаться на Соборе, на котором присутствовали Лайнез и Сальмерон как богословы Папского престола. До этого времени доминиканцы разрабатывали декреты. Их средствами обеспечивалась догматическая ортодоксальность. Теперь иезуитам предстояло сражаться и выиграть битву за папское превосходство.

[24] Сарпи, цитируемый фра Фульгенцио в книге "Его жизнь", стр. 83, говорит, что Павел называл своих наемников из Граубюндена "Ангелами, посланными с Небес".

[25] Новые люди — а папы всегда были *новыми homines*— вынуждены следовать этим курсом и страдают, когда они им следуют. Мы могли бы сравнить их трудности с теми, которые мешали Наполеону, когда он стремился к имперской тирании над французскими завоеваниями в Европе.

[26] Pallavicini, in his history of the Council of Trent (Lib. xiv. ix. 5), specially commends Paul's zeal for the Holy Office:—'Fra esse d'eterna lode lo fa degno il tribunal dell'inquisizione, che dal zelo di lui e prima in autorità di consigliere e poscia in podestà di principe riconosce il presente suo vigor nell'Italia, e dal quale riconosce l'Italia la sua conservata integrità della fede: e per quest' opera salutare egli rimane ora tanto più benemerito ed onorabile quantao più allora ne fu mal rimeritato e disonorato.'

[27] См. Луиджи Мочениго в *отношении дельи Амб. Венеция*, том х, стр. 25.

[28] 'Roma a paragone delli tempi degli altri pontefici si poteva riputar come un onesto monasterio di religiosi' (*op. cit.* p. 41).

[29] В своих *набросках и этюдах об Италии* Я рассказал романтическую историю этого флибустьера.

[30] Соранцо: Альбери, том х, стр. 67. Пий IV перенял гербы флорентийских Медичи и потратил 30 000 скуди на их изготовление по всему Риму. См. П. Тьеполо, *ib.* стр. 174.

[31] 'Veramente quasi in ogni parte si può chiamare il rovescio dell' altro' (*op. cit.* p. 50).

[32] Луиджи Мочениго говорит о нем, что Пий "аверло за анджело ди парадизо, и усыновитель за консильо в суде за то, что он важен". Альбери, том х, стр. 40. Дело, возбужденное против Мороне во время понтификата Павла IV. может быть изучен в Канту, указ. соч. том ii. стр. 171-192, вместе с его защитой полностью. В основном это касалось следующих статей: — необоснованные мнения относительно оправдания верой, спасения кровью Христа, добрых дел, обращения к святым, реликвий; распространение знаменитой книги о *пользе смерти*

Христа; практика с еретиками. Он был заключен в тюрьму в замке Сан-Анджело с июня 1557 по август 1559 года. Анджело. Подозрения, без сомнения, пали на него из—за его дружбы с несколькими умеренными реформаторами, а также из-за того факта, что его епархия Модены была гнездом либеральных мыслителей - Грилленцони, Кастельветро, Филиппо Валентини, Фалоппио, Камилло Мольца, Франческо да Порто, Эджидио Фоскарари и других, все из которых описаны Канту, указ. соч. Диск, ххviii. Обвинения, выдвинутые против этих лиц, сразу доказывают преимущественно спекулятивный и безобидный характер итальянской ереси и непримиримую вражду, которую папа типа Караффы проявлял к малейшей тени неортодоксальности.

[33] Soranzo, *op. cit.* p. 75, says: 'Con li principi tiene modo affatto contrario al suo predecessore; perchè mentre quello usava dire, il grado dei pontefici esser per mettersi sotto i piedi gl'imperatori e i re, questo dice che senza l'autorità dei principi non si può conservare quella dei pontefici.'

[34] Соранцо, указ. соч. стр. 74.

[35] Soranzo, *op. cit.* p. 71, says: 'Il marchese suo fratello con la moglie gli diede il cappello, e con la morte il papato.'

[36] Мочениго, указ. соч. стр. 52. Соранцо, указ. соч. стр. 93.

[37] Маргарита Медичи, сестра папы Римского, вышла замуж за Жильберто Борромео.

[38] См. Мочениго, указ. соч. стр. 53. Соранцо, указ. соч. стр. 91.

[39] Gia. Soranzo (*op. cit.* p. 133) says of Carlo Borromeo, 'ch'egli solo faccia più profitto nella Corte di Roma che tutti i decreti del Concilio insieme.'

[40] См. Sarpi, том ii. стр. 43, 44.

[41] Кардинала Путео вскоре сменил папский племянник, кардинал д'Альтемпс (Марк Гогенский).

[42] На первом заседании присутствовали пять кардиналов, сто четыре прелата, включая Патриархов, архиепископов и епископов, четырех аббатов и четырех генералов орденов. Все это были итальянцы, испанцы и португальцы. И все же этот Консилиум называл себя Генеральным советом, вдохновленным Святым Духом на принятие законов для всего латинского и тевтонского христианства.

[43] См. Sarpi, том ii. стр. 87.

[44] 13 ноября 1562 года он достиг Трента с восемнадцатью епископами и тремя аббатами Франции, обвиняемыми Карлом IX. требовать очищения ритуалов, реформирования дисциплины духовенства, использования народного языка в церковных службах и, наконец, по возможности, заключения брака духовенством.

[45] Беспорядки в Тренте весной 1563 года так описывает епископ Алифе: "Мне кажется, пришел Антихрист, настолько сильно смущают здешние святые отцы". Филлипсон, стр. 525.

[46] Когда Мороне отправился в путь, он сказал венецианскому посланнику в Риме, что отправляется с безнадежной надеждой. "Иль мо Мороне, какая часть на консилиуме, мое

недовольство же и как дисперсия и же *нулевой спесерат* католической религии". Соранцо, указ. соч. стр. 82. Иезуит Канисий, благодаря своему влиянию на Фердинанда, обеспечил успех дипломатии Мороне.

[47] Сарпи говорит, что дон Луиджи проживал в доме графа Федерико Борromeо, покойного племянника папы римского.

[48] Тем не менее, испанские епископы боролись до конца под руководством своего главы Герреро за принцип соборной независимости и епископские прерогативы. "Лучше бы нам не приходиться сюда, чем быть вынужденными стоять рядом в качестве свидетелей", - говорит епископ Оренсе. Филлипсон, стр. 577.

[49] Расплывчатая ссылка на все постановления, принятые Тридентским собором, передаваемые Папе для толкования, позволила ему и его преемникам манипулировать ими по своему усмотрению. Таким образом, как говорит Сарпи ("Тратт. delle Mat. Ben.' *Opere*, vol. iv. p. 161), что никакая реформа в отношении срока действия пособий, места жительства, плюрализма и т.д., по решению Совета, не принималась без учета соответствующих мер, нейтрализующих ее дух. Если продолжение бенефиций *in commendam* прекратилось, то вместо них было введено устройство *пенсий* для бенефиций; и под тысячу предложений колоссальные состояния, извлеченные из церковной собственности, теперь, как и прежде, попали в руки папских племянников. Посмотрите на ухищрения, с помощью которых кардинал Сципионе Боргезе обогатился на папстве Павла V. Собор постановил, что епископы должны проживать в своих епархиях; но он оставил за папой право распоряжаться; так что те, кого он решил изгнать из Рима, были обязаны жить там, а те, кого он желал иметь при себе, были освобождены от этой обязанности. Во всех без исключения деликатных вопросах папство было более автократичным после Собора, чем до Него. Одно из писем Сарпи (том i, стр. 371) Жаку Лешассье, датированное 22 декабря 1609 г., должно быть изучено теми, кто желает проникнуть в "*тайные искусства*", в "*ренунции*", "*пенсии*" и "*альтернативные стратегии*", с помощью которых Папской курии в течение полувека после Тридентского собора удавалось обходить его декреты и получить такой контроль над церковью. собственность в Италии, которая "из 500 льгот ни одна не предоставляется законно". Сравните отрывок из "Траттато делле Матери Бенефициарие", стр. 163. Там Сарпи говорит, что пять шестых итальянских бенефиций находятся в распоряжении папы римского и что есть все основания предполагать, что он приобретет оставшуюся шестую часть.

[50] *Письмо*, том ii. стр. 167.

[51] Это не означает, что испанская корона не имела весомого голоса на выборах. Смотрите историю конклавов, избравших Урбана VII., Григория XIV., Иннокентия IX., Климента VIII., в Ranke, том ii. стр. 31-39. Тем не менее, эти внимательные наблюдатели, венецианские посланники, заметили, что Франция и Испания отказались от своей прежней политики субсидирования кардиналов, которые придерживались своих соответствующих фракций.

[52] См. Мочениго, указ. соч. стр. 35; "*Диалоги делла Кортэ ди Рома*" Аретино; и "частная история Фарнези".

[53] Giov. Карраро и Лор. Приули, указ. соч. стр. 275, 306.

[54] Альбери, том x. стр. 35, 83, 277.

- [55] Вычисления Мочениго, указ. соч. стр. 29.
- [56] Там же. стр. 31.
- [57] Подлинная история Ченчи, написанная Бертолотти, проливает свет на эти моменты.
- [58] Мочениго, указ. соч. стр. 38.
- [59] Giac. Соранцо, указ. соч. стр. 131-136
- [60] Соранцо, указ. соч. стр. 136-138.
- [61] Указ. соч. стр. 171.
- [62] Мутинелли, *Тайная история* др., том i. стр. 51-54.
- [63] Предполагая, что население Рима на тот момент составляло около 90 000 человек, это число кажется невероятным. И все же у нас есть лучшее из всех свидетельств - свидетельство венецианского посланника.
- [64] Тьеполо, указ. соч. стр. 172.
- [65] Паоло Тьеполо, указ. соч. стр. 312.
- [66] Там же. стр. 214.
- [67] Венецианцы, когда они вписывали его имя в Libro d'Oro, называли его "близким родственником его Святейшества".
- [68] Эта дама была сестрой графа Санта-Фьора. Подробный отчет о свадьбе см. в Mutinelli, *Stor. arc.* vol. i. p. 112.
- [69] Тьеполо, указ. соч. стр. 213, 219-221, 263, 266.
- [70] Giov. Корраро, указ. соч., стр. 277.
- [71] См. Giov. Гритти, указ. соч. стр. 333.
- [72] Giov. Гритти, указ. соч. стр. 337.
- [73] *История пап*, Книга iv. раздел I.
- [74] Джакомо Буонкомпаньо родился при Григории XIII. все еще был дилетантом и юристом.
- [75] Сарпи пишет: "В мое время Пий V за пять лет накопил 25 000 дукатов для племянника-кардинала; Григорий XIII за тринадцать лет - 30 000 для одного племянника и 20 000 для другого; Сикст V для своего единственного племянника - 9 000; Климент VIII за тринадцать лет для одного племянника - 8 000, а для другого - 3000; а этот папа, Павел V., за четыре года только для одного племянника - 40 000. До каких глубин нам суждено опуститься в будущем?" (*Письмо*, том i, стр. 281). Этот последний вопрос был оправдан событиями, ибо после Боргези пришли Людовизи и Барберини, чьи накопления равнялись, если не превосходили, накоплениям любых предшествующих папских семей.
- [76] Подробности можно изучить в Ranke, том ii. стр. 303-311.

[77] В письмах Сарпи содержатся некоторые подробности, касающиеся кумовства Павла V. Он описывает удовольствие, которое этот папа получал один день в неделю, омывая руки в золоте Хранилища данных и Фотоаппарата (том i, стр. 281), и говорит о нем: "посети в одиночку далекого данари" (том ii, стр. 237). Когда Павел подарил своему племяннику Сципионе аббатство Вангадицца с 12 000 дукатов в год, Сарпи подсчитал, что кардинал получал около 100 000 дукатов церковных пособий (т. i., стр. 219). Когда архиепископство Болоньи, стоившее более 16 000 дукатов в год, освободилось в 1610 году, Павел передал его Сципионе, который некоторое время владел им без постоянного места жительства, а затем передал его Алессандро Людовизи, сохранив все его доходы, за исключением 2000 дукатов, для себя в качестве *пенсии* (т. ii. стр. 158, 300). В 1610 году Сарпи замечает покупку Сульмоны и других феодальных владений Павлом для своей семьи за 160 000 дукатов (т. ii. стр. 70). В другом месте он говорит о другой сумме в 100 000 долларов, потраченной на ту же цель (т. i, стр. 249, примечание). Он вполне мог бы воскликнуть: "Il pontefice e attesa ad arricchir la sua casa" (т. i, стр. 294).

[78] См. Канту, *Gli Eretici d'Italia*, том i. Discorso 5, и примечания, приложенные к нему, об эдиктах Фридриха и письмах Григорию IX по этому вопросу о ереси. Император трактует *Heretica Pravitatis* как преступление против общества, и таковым оно действительно тогда выглядело в соответствии со средневековым идеалом христианского мира, объединенного Церковью и Империей. Однако следует помнить, что сам Фредерик умер под запретом Церкви и был помещен Данте в число ересиархов десятого круга Ада. Сейчас мы справедливо считаем его одним из предшественников эпохи Возрождения. Но в начале своего правления, в своем особом отношении к императору Священной Римской Империи, он был вынужден проявлять строгость в отношении религиозных вольнодумцев. Они были врагами средневекового ордена, светским главой которого он был.

[79] Sarpi, "Discorso dell Origine" и др. *Опера*, том iv. стр. 6.

[80] Смотрите Christie's *Этьен Доле*, глава 21.

[81] Посетителей Милана, должно быть, поражала конная статуя Подеста Олдрадо да Треззено на площади Пьяцца де Мерканти. Под ним находится эпитафия, содержащая среди похвал этому человеку: *Catharos ut debuit uxit*. Архиепископ Милана того же периода (середина XIII века), Энрико ди Сеттала, также удостоен похвалы в своей эпитафии, потому что *югулавит хересес*. See Cantù, *Gli Eretici d'Italia*, vol. i. p. 108.

[82] Sarpi оценивает число жертв в Нидерландах во время правления Карла V. в 50 000 человек; Гроций - в 100 000. В правление Филиппа II, возможно, было принесено в жертву еще 25 000 человек. Мотли (*Восстание Голландской республики*, том ii, стр. 155) рассказывает, как в феврале 1568 года приговор Святой Канцелярии, подтвержденный королевской прокламацией, приговорил всех жителей Нидерландов, около трех миллионов душ, с несколькими особо исключенными лицами, к смертной казни. Было принято сжигать мужчин и хоронить женщин заживо. Рассматривая этот институт в целом, мы должны иметь в виду, что он был распространен на Мексику, Лиму, Карфаген, Индию, Сицилию, Сардинию, Оран, Мальту. О работе Святой Канцелярии в испанских и португальских колониях у нас имеется лишь несколько подлинных свидетельств. Однако можно обратиться к *Истории инквизиций* Жозефа Лавалле (Париж, 1809). В томе ii. стр. 5-9 этой работы есть краткий отчет об инквизиции в Гоа, написанный неким Пирраром; а на стр. 45-157 приводится необычайно подробное повествование о французе Деллоне, заключенном в ее подземелья. Здесь подробно описаны

некоторые любопытные обстоятельства, касающиеся заключения под стражу, тюремной жизни и *аутодафе*.

[83] См. Лавалле, *История инквизиций*, том ii. стр. 341-361, для перевода процесса, возбужденного в 1570 году против сиреневой рабыни. Заподозренная в том, что она переодетая неверная, она подверглась искушению мавританской шпионки и была осуждена главным образом на основании доказательств, предоставленных определенными мусульманскими привычками, которых она придерживалась. Льоренте сообщает о похожем типичном случае, том i, стр. 442. Преступником был 71-летний лудильщик, обвиненный в 1528 году в воздержании от свинины и вина, а также в совершении определенных омовений. Он защищал себя, ссылаясь на то, что, поскольку он обратился в христианство в возрасте 45 лет, ему не по вкусу есть свинину или пить вино и что его профессия обязывает его поддерживать чистоту путем частого мытья. В конце концов его приговорили нести свечу на *аутодафе* в знак покаяния и заплатить четыре дуката - судебные издержки. Его заключение длилось с сентября 1529 года по 18 декабря 1530 года.

[84] Верховный совет запретил повторение пыток; но этот лицемерный закон был обойден на практике, заявив, что пытки были приостановлены. Льоренте, том i, стр. 307.

[85] Льоренте в своем введении к *Истории инквизиции* приводит длинный список выдающихся испанских жертв.

[86] Смотрите Llorente, vol. i. p. 349, об их оскорблениях в отношении женщин.

[87] Историю тирании Лусеро читайте в "Льоренте", т. i, стр. 345-353. Когда, наконец, ему пришлось быть низложенным, этого негодяя отправили не в темницу и не на эшафот, а в его епископство Альмерия.

[88] Льоренте, том i, стр. 229. Объяснена основа для этих и последующих расчетов *ib.* стр. 272-281.

[89] Там же. том i. стр. 263.

[90] Льоренте, стр. 341.

[91] Там же. стр. 360.

[92] Льоренте, стр. 406.

[93] *Ib.* стр. 407.

[94] Я знаю, что расчеты Льоренте были оспорены: как, например, в некоторых незначительных деталях Прескотта (*Ferd. u. Isab.* том iii. стр. 492). Правда в том, что в настоящее время не существует данных для составления правильной переписи жертв испанского Молоха; и Льоренте, хотя он пишет со сдержанностью очевидной искренности и хотя у него был доступ к архивам инквизиции, не претендует на большее, чем просто дает оценку, основанную на определенных фиксированных данных. Однако мало что значит, считаем ли мы тысячами или пятнадцатью сотнями. Это отвратительное чудовище, порожденное нечестивыми объятиями извращенной религии со слепым деспотизмом, нельзя защитить, сбрасывая со счетов пять или

даже десять процентов. Пусть его апологеты напишут за каждую 1000 Льоренте 100, а за каждую 100 Льоренте 10, и наша позиция останется неизменной. Испанский историк-иезуит Мариана сообщает о сожжении 2000 человек только в Андалусии в 1482 году. Бернальдес упоминает о 700 сожженных в одном городе Севилье между 1482 и 1489 годами. Надпись, высеченная над порталами Святой Канцелярии в Севилье, гласила, что между 1492 и 1524 годами было сожжено около 1000 человек.

[95] Том ii. стр. 399.

[96] Неаполь и Милан страстно и успешно выступали против его введения испанскими вице-королями. Но он правил на Сицилии и Сардинии.

[97] МакКри, стр. 186.

[98] Мутинелли, *Тайная история*, том i, стр. 79.

[99] МакКри, стр. 272.

[100] "Тайная история" *Мутинелли* др., том i., является источником, из которого я почерпнул приведенные выше подробности.

[101] Удивительно, что только один современник пишет из Рима о казни Бруно в 1600 году; отсюда, я думаю, мы можем сделать вывод, что подобные события были слишком обычными, чтобы привлекать много внимания.

[102] Основные факты об этих мужчинах можно найти в "*Гли Эретици д'Италия*" Канту, том ii. Эта работа написана без чувства симпатии к реформаторам. Но по образованности и беспристрастности она превосходит работу МакКри.

[103] О репрессивных мерах, использованных в Лукке, см. *Архив истории*, том x. стр. 162-185. Они включают запрет книг, регулирование религиозных обрядов граждан Луккезе за границей, во Франции или Фландрии, и проскрипцию в отношении определенных еретиков, с которыми были запрещены любые сношения.

[104] Очевидец дает душераздирающий отчет об этих преследованиях: шестьдесят человек сброшены с башни Гуардиа, восемьдесят восемь зарезаны, как звери, за один день в Монтальто, семеро сожжены заживо, сто старых женщин замучены, а затем зарезаны. *Свод. Стор.*, т. ix. стр. 193-195.

[105] МакКри, указ. соч. стр. 232-236. Пятью мужчинами были Джулио Герланди из Спрезиана, близ Тревизо (казнен в 1562 году), Антонио Риццетта из Виченцы (в 1566 году), Франческо Сега из Ровиго (приговорен в 1566 году), Франческо Спинола из Милана (в 1567 году) и фра Бальдо Лупатино (1556 год). МакКри основывает свой отчет на "*Истории мучеников*" (Женева, 1597) и "*Истории церковной реформы*" *Де Порта*. Сочтя эти источники несколько подозрительными, я обратился к своему другу мистеру Х.Ф. Брауну, чьи исследования в венецианских архивах становятся известны изучающим итальянскую историю. Он говорит мне, что все вышеупомянутые дела, за исключением дела Спинолы, существуют во Фрари. Лупатино был осужден как лютеранин; остальные - как анабаптисты. Вынося приговор Лупатино, главный инквизитор отметил, что он не может приговорить его к смерти на костре в Венеции, но должен предать его могиле под водой. Это характерно для венецианской государственной политики.

Похоже, что из вышеназванных лиц Сега, хотя и был приговорен к смертной казни через утопление, в последний момент отрекся от своих слов, сказав: "Non voglio esser negato, ma voglio redirmi et morir buon Christiano". Мистер Браун добавляет, что в архивах нет ничего, подтверждающего, что он был казнен; но также нет ничего, указывающего на то, что его приговор был смягчен. Два других фигуранта этого судебного процесса, а именно Ник. Бучелло из Падуи и Алессио из Беллинцона, после отречения были подвергнуты публичному покаянию и исповедям на разные сроки. Таким образом, судьбу Сеги следует считать сомнительной, поскольку тот факт, что в протоколе не зафиксировано смягчения приговора, придает некоторый вес гипотезе о том, что он отозвал свое отречение и принял мученическую смерть. Я завершу эту заметку выражением надежды на то, что мистер Браун, который уже занимается документами Священной Канцелярии Венеции, вскоре сделает их предметом специальной публикации. Учитывая, насколько редки полные и подлинные отчеты любой инквизиции, это имело бы неоценимую ценность для изучающих историю. Серия судебных процессов во Фрари длится с 1541 по 1794 год, охватывая 1562 процесса в шестнадцатом веке, 1469 в семнадцатом, 541 в восемнадцатом и 25 процессов без даты. Задействованы почти все города и районы Венецианского государства.

[106] Смотрите "Рассуждения Сарпи об инквизиции", *Opere*, том iv.

[107] Я обязан мистеру Х.Ф. Брауну подробностями о реестре преступников, осужденных Святой Канцелярией, которые подтверждают мое заявление относительно различных типов дел, находящихся в ее юрисдикции.

[108] Рассматриваемый документ, подготовленный для использования Синьорией, существует в рукописи в библиотеке Марциана, Разное. Еккл. et Civ. Сорт. VII. Трепка. MDCCCLXI.

[109] Этот указ датирован 24 августа 1596 года.

[110] Это станет очевидным, когда я перейду к рассказу о Марино и Тассони.

[111] Льоренте, том i, стр. 281.

[112] Christie's *Этьен Доле*, стр. 220-24.

[113] Льоренте, том i, стр. 463.

[114] В 1548 году. В приведенной выше рукописи (стр. 192) упоминается еще один Указатель Венецианской Священной канцелярии, опубликованный в 1554 году.

[115] Сарпи, *Ист. дель Конц. Tial*, том ii..стр. 90.

[116] В своей *речи pro se ipso ad Senenses*. Напечатано Грифиусом в Лионе в 1552 году.

[117] 1-я. удалить продолжение. Тraid. том ii. стр. 91. Отрывок заслуживает названия "Павел IV". обозначен в его расшифровке. 'Sotto colore di fede e religione sono vietati con la medesima severità e dannati gli autori de'libri da'quali l'autorità del principe e magistrati temporali è difesa dalle usurpazioni ecclesiastiche; dove l'autorità de' Concilj è de'Vescovi è difesa dalle usurpazioni della Corte Romana; dove le ipocrisie o tirannidi con le quali sotto pretesto di religione il popolo è ingannato o violentato sono manifestate. In somma non fu mai trovato più bell'arcano per adoperare la religione a far gli uomini insensati.'

[118] *Discorso Sopra l'Inq.* том iv. стр. 54.

[119] Эти правила являются Предисловием к современным изданиям Указателя. Тот, который я использую, датирован Неаполем 1862 года. Они также напечатаны в томе iv сочинений Сарпи.

[120] Паулюс Мануций Альдус напечатал этот Указатель в Венеции в 1564 году.

[121] Работа, *влияние* и т.д. стр. 60.

[122] *Id. cit. по.* стр. 76.

[123] *Id. cit. по.* стр. 78.

[124] Dejob, указ. соч. стр. 74.

[125] *Id. cit. по.* стр. 54.

[126] Дискорсо о происхождении и т. Д. Инквизиции", Указ. том iv. стр. 34.

[127] Мутинелли, *Тайная история*, том i, стр. 277.

[128] Dejob, указ. соч. стр. 53-57.

[129] *Id. cit. по.* стр. 75.

[130] Письма Сарпи изобилуют полезной информацией по этой теме. В письмах французским корреспондентам он еженедельно жалуется на невозможность достать книги даже в Венеции. См., например, *Письмо*, том i, стр. 286, 287, 360, том ii, стр. 13. В одной отрывке он говорит, что ввоз книг в Италию затруднен в Инсбруке, Тренто и на всей территории Тироля (том i, стр. 74). В другом он предупреждает своих друзей, чтобы они не отправляли их спрятанными в товарах, поскольку они попадут под пристальное внимание таможенников и лаццаретти (т. i, стр. 303).

[131] В ту эпоху было обычным делом присылать протестантские издания из-за Альп в тюках хлопка или других товарах. Это явствует из прокламаций Луккезе против ереси, опубликованных в *Arch. История*. том x.

[132] Могу упомянуть, что, имея возможность ознакомиться с работами Савонаролы в Публичной библиотеке Перуджи, где имеется довольно хорошая коллекция, я счел их бесполезными для изучения из-за этих подчисток и заклеек.

[133] Dejob, указ. соч. стр. 43.

[134] Dejob, указ. соч. стр. 50. Также его *Мюре*, стр. 223-227.

[135] Работа, *Влияние*, стр. 49.

[136] *Id. cit. по.* стр. 96-98.

[137] Это очень интересное и ценное письмо напечатано Dejob в работе, которую я так часто цитировал, стр. 391.

[138] См. "*Жизнь Мюре*" *Де Джоба*, стр. 231, 238, 274, 320.

[139] Указ. соч.. Стр. 262, 481.

[140] Де Джоб, *Марк Антуан Мюре*, стр. 349.

[141] Оригинал напечатан Dejob, *Марк Антуан Мюре*, стр. 487-489.

[142] Оригинал письма, напечатанный Dejob, *указ. соч.* стр. 491, подписан Джустиниано Финетти, который, по-видимому, был профессором медицины в Римском университете. Его сын, шестнадцатилетний юноша, пожаловался, что студенты потребовали и получили разрешение прочитать некую "летионе че эра карнавалеска д'ано и де приапо", добавив, что у них была привычка проводить дебаты по тезису о том, что (ЛАТИНСКОЕ: "res sodcae erant praeferendae veneri naturali, et reprobabant rem veneream cum feminis ac audabant masturbationem.") Диалог, который студенты получили разрешение публично декламировать, вероятно, был похож на тот, который все еще можно было услышать несколько лет назад весной. на набережных Неаполя и который, казалось, сохранился с незапамятных времен.

[143] Латинский текст напечатан в книге Ренуара *Imprimerie des Aldes*, стр. 473.

[144] Как говорит Сарпи: "По правде говоря, необычайная тщательность, с которой выискивают книги для уничтожения, показывает, насколько силен свет того фонаря, который они решили погасить". *Письмо*, том i, стр. 328.

[145] См. Renouard, *op. cit.* стр. 442-459, о жизни Павла Мануция в Риме.

[146] *цит. по.* стр. 184-216.

[147] Работы Сарпи, том iv. стр. 4.

[148] Сарпи, *Discorso*, том iv. стр. 25, о доктрине Беллармино. *Письма* Сарпи, том i. стр. 138, 243. Сарпи говорит, что они с Гилло нарисовали свои портреты с изображением Ада и показывали простым людям как обреченных на вечный огонь, потому что они выступали против доктрин папского всемогущества. *Там же.* стр. 151.

[149] По этому вопросу, опять же, в *письмах* Сарпи содержатся ценные подробности. Он часто отмечает, что Конгрегация Индекса издала общий приказ о запрете всех книг, направленных против сочинений Барониуса, к которому относились как к святому, т. i. стр. 3, 147, ii. стр. 35. Он рассказывает, как иезуиты добились уничтожения книги, написанной в поддержку аристократии в государствах, не затрагивая церковных вопросов, как противоречащей их теориям абсолютизма (том i, стр. 122). Он рассказывает историю исповедника, который отказал в таинствах дворянину, потому что у него был трактат, написанный Квирино в защиту венецианских прерогатив (т. i, стр. 113). Он ссылается на подавление *Апологии и историй* Де Ту (т. i. стр. 286, 287, 383).

[150] В "Трактате об инквизиции", *Опере*, том iv, стр. 53. Сарпи в отрывке из своих *писем* (том ii, стр. 163) указывает, почему светские власти были не в состоянии принять ответные меры в ответ на эти папские проскрипции.

[151] См. Dejob, *De l'Influence u т.д.* Глава III.

[152] *Индекс*, Неаполь, Пелелла, 1862, стр. 87.

[153] Такое обращение с Ариосто типично. Люди не слишком щепетильные могут усомниться в том, что его комедии в целом полезное чтение. Но даже пуританин не мог придаться к его

сатирам с точки зрения их нравственности. И все же Рим санкционировал Комедии и запретил сатиру.

[154] Любопытные подробности по этой теме предоставлены Dejob, указ. соч. стр. 179-181 и стр. 184.

[155] Любая переписка с еретиками считалась достаточной для обвинения итальянца в ереси. Письма Сарпи полны материала по этому вопросу. Он всегда использовал шифр, который часто менял, адресовал свои письма вымышленными именами и, наконец, решил писать своей рукой ни одному еретику. См. *Письмо*, том ii. pp. 2, 151, 242, 248, 437. Смотрите также, что Де Джоб рассказывает о робости Мюретуса, *Мюре*, стр. 229-231.

[156] "Трактат об инквизиции", *Opere*, том iv. стр. 45.

[157] Использование Сарпи этой фразы см. В его *Письме*, том ii. стр. 72, 80, 92. Он ясно осознавал солидарность между иезуитами и Испанией. "Иезуит отделим от испанца не более, чем случайность от сущности". "Испанец без иезуита стоит не больше, чем салат-латук без масла". "Для иезуитов обмануть Испанию было бы равносильно обману самих себя". Там же. т. i. стр. 203, 384, т. ii. стр. 48. Сравните отрывки из т. i. стр. 184, 189. Он лишь заметил разницу в степени их вредности для Европы. Таким образом, "худший испанец лучше наименее плохого из иезуитов" (т. i, стр. 212).

[158] Изучение иезуитов должно быть основано на *Институте общества Иисуса*, 7 томах. Avenione; Orlandino, *Hist. Soc. Иисус*; Кретино-Жоли, *История общества Иисуса*; Рибаданейра, *Жизнеописание Игнатия*; "Жизнь Игнатия" Дженелли на немецком или французском переводе; иезуитский труд *"Имаго первых сакули"*; Отчет Ранке в его *"Истории пап"* и три главы, посвященные этому предмету в *"Религиозной революции"* Филиппсона. В последнем будет найдено наиболее ценное резюме.

[159] Эти фразы встречаются в *первоначальном послании*.

[160] Сарпи, хотя и выражал мнение, что иезуиты его времени отошли от духа своих основателей, так отзывался о мирских целях Лойолы (*Письмо*, т. i. стр. 224): "Даже отец Игнатий, основатель Компании, как свидетельствует его биография, основывался в такой мудрости на человеческих интересах, как хотя не было ни одного божественного, о котором стоило бы думать.

[161] См. Philippson, указ. соч. стр. 61, 62.

[162] Только в эпоху регентства Марии де Медичи иезуиты прочно овладели Францией.

[163] Письмо, адресованное Игнатием португальским иезуитам 22 марта 1553 года о добродетели послушания, Конституциях и пояснениях к ним, называемых Декларациями, и последняя глава *Exercitia*, содержат приведенные выше предложения. См. также, Philippson, указ. соч. стр. 60, 120-124.

[164] Прочитано в *Упражнении (Inst. Иисус*, т. iv. с. 167-173) Правила правильного согласия с православной Церковью. То, что следует выше, взято из этой главы.

[165] *Упражнение*, там же, стр. 171. В этом духе иезуит нынешнего столетия, пишущий по астрономии, развивает гелиоцентрическую теорию, одновременно заявляя о своей приверженности геоцентрической теории, поддерживаемой Церковью.

[166] *Inst. Soc. Jesu*, vol. iv. В том же томе содержится Справочник, или правила использования *Упражнений*.

[167] Филиппсон, указ. соч. стр. 142.

[168] Кине подсчитал, что в конце шестнадцатого века на 293 колледжа (свободных от этой неспособности) приходилось двадцать один дом исповедующих (неспособных владеть собственностью).

[169] Книга с таким названием была опубликована в 1612 году в Кракове. Конгрегация кардиналов объявила его подделкой в Риме.

[170] *Письмо*, том i, стр. 100.

[171] *Письмо*, том ii. стр. 174.

[172] Смотрите *Письма Сарпи*, том i, стр. 352, о протестантских учениках иезуитов. *Мемориал синьории Венеции Сарпи в Коллегио де Греки в Риме* разоблачает ошибочность их репутации лучших учителей молодежи, указывая на то, что их цель - лишить своих учеников преданности нации, правительству и семье самим себе.

[173] *История Великой Тосканы*, том iv. стр. 275.

[174] Упомянув имена этих выдающихся французов, я чувствую себя обязанным указать, насколько точно их критика иезуитов была предвосхищена Паоло Сарпи. Его переписка между 1608 и 1622 годами демонстрирует, что эта группа социальных растлителей была рано распознана им в их истинном свете. Sarpi calls them 'sottilissimi maestri in mal fare,' 'donde esce ogni falsità et bestemmia,' 'il vero morbo Gallico,' 'peste pubblica,' 'peste del mondo' (*Letters*, vol. i. pp. 142, 183, 245, ii. 82, 109). He says that they 'hanno messo l'ultima mano a stabilire una corruzione universale' (*ib.* vol. i. p. 304). Своими двусмысленностями и ментальными оговорками "фанно эсси прова ди габбаре Иддио" (*ib.* том ii. стр. 82). 'La menzogna non iscusano soltanto ma lodano' (*ib.* vol. ii. p. 106). Пока что высказывания, которые я процитировал, могут сойти за риторику простой злобы. Но портрет постепенно становится более определенным в деталях, очерченных с натуры. "У иезуитов так много лазеек для побега, предлогов, красок инсинуации, что они более изменчивы, чем софисты Платона; и когда кто-то думает, что поймал их между большим и указательным пальцами, они вырываются и исчезают" (*ib.* т. i, стр. 230). "У отцов-иезуитов есть методы приобретения в этом мире и побуждения своих неофитов к обретению рая без уменьшения или, скорее, с увеличением индულгенций этой жизни" (*ib.* vol. i. p. 313). "Отцы-иезуиты раньше даровали Рай; теперь они стали распространителями славы в этом мире" (*там же*. стр. 363). "Когда они стремятся проникнуть в какое-либо место, они без колебаний дают любые обещания, какие от них могут потребовать, владея при этом искусством ускользать, прибегая ко лжи с двусмысленностями и мысленными оговорками" (*ib.* том ii. стр. 147). "Иезуит - человек любого цвета кожи; он повторяет чудо хамелеона" (*там же*. стр. 105). "Когда они проигрывают, они все же выходят победителями из-за стола. Ибо это их привычка - втискиваться в любое требуемое условие, обладая достаточным искусством, чтобы стать

хозяевами тех, кто связывает их предписанными правилами. Они рады войти в дом под видом галерных рабов с кандалами на лодыжках; поскольку, войдя внутрь, они без труда освободятся от своих оков и свяжут других" (*там же*. стр. 134). "Они владеют двумя искусствами: первое - избегать уз и обязательств любого обета или обещания, которые они должны были бы дать, посредством уклончивости, молчаливой оговорки и ментального ограничения; второе - проникать, подобно ежу, в самые узкие уголки, прекрасно осознавая, что, распустив свою колючую щетину, они получают жилище в полное владение и исключают его хозяина" (*там же*. стр. 144). "Все в Италии хорошо знают, как они превратили исповедь в искусство. Они никогда не получают конфиденциальных сведений за этой печатью, не раскрыв всех подробностей на конференциях своего Общества; и это с целью использования исповеди в интересах своего ордена и Церкви. В то же время они проповедуют доктрину о том, что печать исповеди запрещает кающемуся разглашать то, что исповедник, возможно, сказал ему, хотя его высказывания не имели никакого отношения к грехам или к безопасности души" (*ib.* т. ii. стр. 108). "Если иезуиты во Франции возьмутся за образование, они будут доминировать в университетах и искоренят здоровую литературу. Но почему я говорю о здоровой литературе? Я должен был бы сказать о хорошей и благотворной доктрине, которая поистине смертна для этой Компании" (*там же*. стр. 162). - Все виды порока находят в них свое покровительство. Алчные доверяют своим принципам в торговле духовными благами; суеверные заменяют поцелуи на изображениях проявлением христианских добродетелей; низкопробная кучка амбициозных выскочек прикрывает каждый подлый поступок верой в святость. Равнодушные находят в них смягчающее средство от своей духовной мертвенности; а тот, кто не боится Бога, имеет наготове видимого Бога, которому он может поклоняться с достоинством для своей души. В конце концов, нет ни лжесвидетельства, ни святотатства, ни отцеубийства, ни кровосмешения, ни грабежа, ни мошенничества, ни государственной измены, которые нельзя было бы замаскировать как достойные под мантией их устройства" (*там же*. стр. 330). "Я понимаю, как трудно нападать на их учение, видя, что они объединяют свои собственные интересы с интересами папства, и это не только в статье о папской власти, но и по всем пунктам. В настоящее время они отстаивают свою позицию на основе двусмысленностей. Но поверьте мне, они исправят и это, и быстро; поскольку они всемогущи при Римском дворе, и сам папа боится их" (*там же*. стр. 333). "Если бы святой Петр знал символ веры иезуитов, он мог бы найти способ отречься от нашего Господа, не согрешая" (*там же*. стр. 353). "Римский суд никогда не осудит доктрину иезуитов; ибо это тайна его империи — тайна высочайшей и важнейшей важности, посредством которой те, кто открыто отказывается поклоняться ей, отлучаются от церкви, а те, кто сделал бы это, если бы осмелился, удерживаются в узде" (*там же*. стр. 105). Цель этой пространной заметки - отстоять для Сарпи видное и раннее место среди тех искренних аналитиков иезуитизма, которые ныне затерялись в великом свете гения Паскаля. Знакомые буквы Сарпи имеют для меня даже больший вес, чем знаменитая *Провинциальная литература* Паскаля. Они были написаны без каких-либо полемических или литературных пристрастий в период, когда иезуитизм был в самом расцвете; и их сила как доказательства усиливается их очевидной спонтанностью. В 1703 году в Зальцбурге (?) была опубликована довольно полезная книга под названием *Artes Jesuiticae* Christianus Aletophilus. Это собрание тех отрывков из казуистических сочинений, на которых Паскаль основывал свои блестящие сатиры. Современная работа Поля Берта, *Мораль евреев* (Париж: Шарпантье, 1881), призвана доказать, что недавние казуистические трактаты школы повторяют эти древние извращения здравой морали.

[175] См. Мариана, *Де Реж*, lib. i. cap. 6. Эта книга, следует помнить, была написана для наставления предполагаемого наследника престола, впоследствии Филиппа III.

[176] Генрих IV. пусть они возвращаются во Францию, просто опасаясь своих козней против него. См. Sully, vol. v., стр. 113.

[177] Сарпи, который жил во время убийства Анри и который видел, что его лучшие надежды на Италию и Церковь Божью были уничтожены этим преступлением, сначала приписал иезуитам преднамеренное подстрекательство Равайяка. Постепенно он пришел к выводу, что, хотя они и не несли прямой ответственности, их доктрина цареубийства воспламенила воображение фанатика. См. последовательно *Письма*, том ii. стр. 78, 79, 81, 83, 86, 91, 105, 121, 170, 181, 192.

[178] Изгнан из Венеции в 1606 году, из Богемии в 1618 году, из Неаполя и Нидерландов в 1622 году, из России в 1676 году, из Португалии в 1759 году, из Испании в 1767 году, из Франции в 1764 году. Подавлен Буллой Климента XIV в 1773 году. Восстановлен в 1814 году как инструмент борьбы с революцией.

[179] Последний раздел *Exercitia* Лойолы является воплощением посттридентского католицизма, хотя и написан до открытия Собора. В своем последнем абзаце он внушает страх Божий: "neque porro - это тимор солум, в качестве сыновнего обращения, потому что он является святым максимумом; verum etiam alter, servilis dictus" (*Inst. Soc. Jesu*, vol. iv. p. 173).

[180] Интересный обзор такого более широкого рода предпринимался У.А. Канелло на протяжении всего шестнадцатого века в его *Истории Лема. It. nel Secolo XVI*. (Milano: Vallardi, 1880). Он пытается продемонстрировать, что в сфере частной жизни итальянское общество постепенно утончало жестокие похоти Средневековья и перешло через блуд к истинному представлению о женщине как спутнице мужчины в семье. Тема смелая, и автор, по-видимому, основал ее на слишком слабом знакомстве с реальными условиями средневековья.

[181] Галлуцци в своей "*Истории Великого Тосканского собора*", т. iv. стр. 34, оценивает количество убийств, совершенных только во Флоренции за восемнадцать месяцев, последовавших за смертью Козимо I., в 186.

[182] Составлением этих абзацев я в большом долгу перед энергичным отрывком синьора Сальваторе Бонги из его *Истории Лукреции Буонвизи*, стр. 7-9, которым я свободно воспользовался, переводя его слова, когда они служили моей цели, и добавляя такие дополнительные детали, которые могли бы сделать картину более полной.

[183] Снисходительность, с которой иезуитские казуисты относились ко всякого рода убийствам, проявляется в выдержках из этих авторов, собранных в *Artes Jesuiticae* (Salisburgi, 1703, стр. 75-83). Тамбурин зашел так далеко, что утверждал, что если человек смешал яд для своего врага, а друг вошел и выпил его у него на глазах, он не был обязан предупреждать своего друга и не был виновен в смерти своего друга (*Ib.* стр. 135, ст. 651).

[184] См. Сальваторе Бонги, указ. соч. стр. 159.

[185] Бонги, указ. соч. стр. 159, примечание.

[186] В подтверждение этого утверждения я перевожу письмо, адресованное (Милан, 15 сентября 1622 г.) кардиналом Федерико Борромео настоятельнице монастыря Святой Маргариты в Монце (Дандоло, *Синьора ди Монца*, стр. 132). "Опыт подобных случаев показал, насколько опасно для вашего святого государства соседство с солдатами из-за переписки, которую молодые и праздные солдаты постоянно пытаются поддерживать с монастырями, иногда даже под честными предложениями.... Поэтому мы с большим неудовольствием услышали, что в тех местах нашей епархии, где есть монастыри монахинь и конгрегации девственников, были созданы обычные жилища для солдат, называемые домами одиночества (*case erme*), где они страдают или вынуждены жить в течение длительного времени. " Епископ приказывает настоятельнице не допускать ни одного солдата, ни под каким предлогом благочестия, набожности или семейных отношений, в свой монастырь; не принимать ни одного слугу или посланника солдата; запретить совершение специальных служб в часовне по просьбе солдата". ; и, наконец, ввести более строгую систему наблюдения и опеки, чем практиковалось ранее.

[187] В Венеции, например, их называли *Моначини*. Но это название менялось в разных провинциях.

[188] Приведенный ниже краткий очерк истории Вирджинии Марии де Лейва основан на книге Дандоло "*Синьора ди Монца*" (Милан, 1855). Читатели книги Манцони "*Я обещаю тебе*" и утомительного романа Розини "*Синьора ди Монца*", вероятно, уже знакомы с ней по романам под именем Гертруда.

[189] Карло Борромео счел необходимым подавить умилиати. Но он оставил женское заведение Святой Маргариты нетронутым.

[190] В церковных делах миланская епархия осуществляла юрисдикцию над епархией Бергамо, хотя в гражданских делах Бергамо подчинялся Венеции. Это делает вопрос еще более загадочным.

[191] *История Лукреции Буонвизи*, Сальваторе Бонги, Лукка, 1864. Это превосходно написанная историческая монография, основанная на точных исследованиях и обширных изысканиях, содержащая массу ценной информации для изучающего те времена.

[192] Кампанелия, которого пытали таким образом в Неаполе, говорит, что однажды полтора фунта его плоти были размягчены и пролилось десять фунтов крови. 'Perduravi horis quadraginta, funiculis arctissimis ossa usque secantibus ligatus, pendens manibus retro contortis de fune super acutissimum lignum qui (?) carnis sextertium (?) in posterioribus mihi devoravit et decem sanguinis libras tellus ebibit.' Preface to *Atheismus Triumphatus*.

[193] Здесь я могу сослаться на портрет некоего Луккезе Арнольфини и его жены, написанный Ван Эйком в нашей Национальной галерее.

[194] И здесь я снова очень внимательно следил за текстом монографии синьора Бонги, стр. 112-115.

[195] Похоже, что в ту эпоху неистовую страсть к человеку обычно приписывали чарам. См. Выше "*Исповедь леди Монца*", стр. 320.

[196] *Франческо Ченчи и его семья*. Per A. Bertolotti, Firenze, 1877.

[197] Впоследствии, в 1590 году, он был вынужден выплатить вторую сумму в 25 000 крон.

[198] Просперо Фариначчо, защитник убийц Ченчи, сам предстал перед судом за это преступление (Бертолотти, указ. соч. стр. 104). Любопытную историю об испанских солдатах, упомянутую выше, можно найти в Mutinelli, *Stor. Arc.* vol. i. p. 121. Смотрите ту же работу Мутинелли, том i, стр. 48, о подобном судебном преследовании в Риме в 1566 году; и том iv, стр. 152, о другом, в котором участвовало несколько сотен состоятельных людей в Милане в 1679 году. Сравните, что Сарпи говорит о флорентийских купцах и римском чинеди в своих *Письмах*, датированных 1609 годом, т. i, стр. 288. О нравах неаполитанцев, *Жизнеописание Д. Пьетро ди Толедо* (арх. *Stor. It.*, том ix. стр. 23). Самый скандальный пример такого порока в высших кругах привел Пьетро де'Медичи, один из сыновей герцога Козимо. *Галлуцци*, т. v., стр. 174, и "Родословная Медичи" Литты. В "*Банди Луккези*", изд. С. Бонги, Болонья, 1863, стр. 377-381, полностью рассматривается этот вопрос; и это обсуждалось Канелло, указ. соч. стр. 20-23. *Иезуитские искусства*, соч. цит. по. Статьи 62, 120 иллюстрируют казуистику по этой теме.

[199] "Мисс авторитет" Де Стендаля говорит, что ей было шестнадцать, у Шелли - что ей было двадцать.

[200] Рукопись Де Стендаля описывает, как Джакомо был разорван клещами; у Шелли говорится, что эта часть предложения была исправлена.

[201] Автор Рукописи Де Стендаля утверждает, что знал старого Ченчи, и дает точное описание его внешности.

[202] Литта приводит факты, связанные с вышеизложенным.

[203] Это братоубийство, совпадающее с матереубийством Сан-Кроче, способствовало суровости, с которой отцеубийца Ченчи был наказан в тот год римских преступлений.

[204] "*Белый дьявол*", трагедия Джона Вебстера, Лондон, 1612; "*Хроники и новые события*" Де Стендаля, Виттория Аккорамбони, Париж, 1855; "*Виттория Аккорамбони*", Д. Гноли, Флоренция, 1870; "*Итальянские закоулки*", Дж. Саймондс, Лондон, 1883 год. Большая часть приведенных выше сведений взята из моих *итальянских закоулков*.

[205] Я нахожу Феличе Перетти, упомянутого в завещании Джакомо Ченчи, осужденного в 1597 году. Но это было после смерти Перетти, которого я по-прежнему буду называть Франческо.

[206] В этом деле баланс вероятностей склоняется в пользу Изабеллы. При распущенном дворе Медичи она жила с непростительной свободой. Сам Троило Орсини был убит в Париже по приказу Браччано несколько лет спустя.

[207] "Герцогиня де Пальяно" в "*Хрониках и новых событиях*" Стендаля (Анри Бейль).

[208] Этот штрих показывает, что тогда считалось достижениями благородной женщины.

[209] Это была уличная драка, в которой кардинал Монте сыграл неприличную роль, что окончательно вызвало гнев Павла IV. Рукопись Де Стендаля перекладывает главную вину на плечи кардинала Караффы, который, похоже, действительно имел привычку водиться в плохой компании.

[210] Мутинелли, *Тайная история*, том ii. стр. 64.

[211] *Ib.* том ii. стр. 162.

[212] *Ib.* том i. стр. 343.

[213] *Я Гуарини, Благородная семья Феррарезе* (Болонья, Романьоли, 1870), стр. 83-87.

[214] Помимо жертв его мести, погибших от пуаньяра, он публично казнил во Флоренции сорок двух политических преступников.

[215] Смотрите Мутинелли, *История тайн*, том ii. стр. 54-56, о приеме Антонио в Орден.

[216] Я имею в виду, конечно, "*Историю Гран-Дукато*" Галлуцци, том iv. стр. 241-244. *История Италии* Ботты, книга xiv, и *Семейство знаменитостей* Литты в "родословной Медичи".

[217] См. Galluzzi, указ. соч. том iii. р. 25, и Botta, указ. соч. Книга xii.

[218] См. выше, стр. 381.

[219] За подробностями можно обратиться к Литте; также Галлуцци, указ. соч. т. v. стр. 174.

[220] Возможно, стоит упомянуть, что Вирджинио Орсини, сын и наследник Браччано, женился на Донне Флавии, внучатой племяннице Сикста V. И, следовательно, состоял в родстве с человеком, которого убил его отец, чтобы завладеть Витторией Аккорамбони. См. Мутинелли, *Тайная история*, том ii. стр. 72.

[221] См. выше, стр. 361-369.

[222] В Galluzzi, vol. iii. р. 5, говорится, что она умерла от гнилостной лихорадки. Литта снова склоняется к вероятности отравления. Но это следует отнести к сомнительным случаям.

[223] См. Galluzzi, *op. cit.* том iv. стр. 195-197, рассказ о сделке, которая проливает любопытный свет на обычаи того времени. Оговаривалось только, что суд не должен проходить в пятницу. В противном случае высшие духовные лица дали ему свое полное одобрение.

[224] Я рассказал истории в этой главе настолько сухо, насколько мог. И все же было бы интересно проанализировать то очарование, которое они испытывали к нашим драматургам елизаветинской эпохи, некоторые из итальянских трагедий которых обрабатывают материал с пронзительным воображением. Об английском способе интерпретации южных страстей читайте в моем "*Итальянских закоулках*", стр. 142 и далее., а также в блестящем эссе Вернона Ли "*Эйфорион*".

[225] Итальянский текст см. *Лоренцино де'Медичи*, Даэлли, Милан, 1862. Все вышесказанное позаимствовано из моих *итальянских закоулков*.

[226] Насколько я могу судить, единственной церковью Сан-Спирито в Венеции было здание на острове Сан-Спирито, возведенное Сансавино, которое принадлежало Сестьере ди Сан-Кроче и которое было закрыто в 1656 году. Его тарелка и прекрасные картины, написанные там Тицианом, были переданы в тот день С. М. делла Салюте. Я не могу удержаться от вывода, что либо память подвела Биббони, либо его слова были неправильно поняты типографом или администратором. Если бы вместо С. Спирито мы заменили С. Стефано, рассказ был бы понятен.

- [227] Текст опубликован из флорентийских архивов в книге Гноли "*Виттория Аккорамбони*", стр. 404-414.
- [228] Смотрите *Календарь государственных документов Родона Брауна*, том iv.
- [229] Смотрите Ботту, книгу IV., историю интриг Лодовико в Сиене.
- [230] Это письмо датировано 16 февраля 1546 года.
- [231] См. МутиNELли, *История тайн*, том ii. стр. 167, о разграблении Лучеры Пачиаротто.
- [232] С *Историей ушкокки Сарпи* можно ознакомиться по этому уникальному эпизоду в "Илиаде человеческой дикости". См. МутиNELли, *op. cit.* том ii. стр. 182, о присоединении к ним сына и наследника герцога Термоли; и *там же*. стр. 180 о существовании пиратов на Капри.
- [233] МутиNELли, *Анналы Урбани ди Венеция*, стр. 470-483, 549-550.
- [234] МутиNELли, *Тайная история*, том i, стр. 310-340 и том xiv, стр. 30-65.
- [235] Стоит упомянуть, что Рипамонте подсчитал смертность от чумы в Милане в 1524 году в 140 000 человек.
- [236] МутиNELли, *указ. соч.* т. на стр. 229-233. Ботта описал эту чуму в двадцать шестой книге своей *Истории*.
- [237] МутиNELли, *указ. соч.* том ii. стр. 287-307.
- [238] См. МутиNELли, *указ. соч.* стр. 241 и стр. 289. Мы слышим о той же вере в Милане в 1576 году, *op. cit.* том i. стр. 311-315.
- [239] *Там же*. стр. 309. Смотрите также том iii. стр. 254 для аналогичного повествования.
- [240] МутиNELли, *указ. соч.* том ii. стр. 51-65.
- [241] История правления Суллы в Ломбарде-дель-Секоло XVII века Канту. Милан, 1832. Судебный процесс также можно прочитать в Mutinelli, *Storm Arcana*, т. iv. стр. 175-201. МутиNELли склонен верить в *Унтору*. То же самое делают многие серьезные историки, включая Нани и Ботту. See Cantù, *Storia degli Italiani*, Milano, 1876, vol. ii. p. 215.
- [242] Мистер Рескин где-то утверждал, что упадок Венеции произошел не по этой причине, а из-за блуда. Ему следует прочитать запись МутиNELли (*Дневники Урбани*, стр. 157) о венецианском блуде в 1340 году, в то время, когда дворец герцогов покрывали скульптурой. Число публичных протитутков тогда составляло 11 654. Супружеские измены, изнасилования, детоубийства были обычным явлением. Однако эпоха Возрождения еще не началась, и экспансия Венеции, вызвавшая завистливую враждебность Европы, еще не произошла.
- [243] Работа Дандоло "*Стреге Тиролези*" и работа Канту о епархии Комо показывают, как много общего у Субальпийской Италии и Северной Европы в этом вопросе.
- [244] См. *Рассенья Сеттиманале*, 18 сентября 1881г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

В двух Частях

Автор:

ДЖОН АДДИНГТОН САЙМОНДС

*'Il mondo invecchia,
E invecchiando intristisce'*

ТАССО, *Аминта*, Акт 2, часть 2

ЧАСТЬ II

НЬЮ-ЙОРК, ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ, 1887 г. АВТОРСКОЕ ИЗДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА

ГЛАВА VII

ГЛАВА VIII

ГЛАВА IX

ГЛАВА X

ГЛАВА XI

ГЛАВА XII

ГЛАВА XIII

ГЛАВА XIV

УКАЗАТЕЛЬ

СНОСОК

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА

ГЛАВА VII

TORQUATO TASSO

Отношение Тассо к своему возрасту—Бальби об этом периоде—Жизнь Бернардо Тассо—Отрочество Торквато—Сорренто, Неаполь, Рим, Урбино—Его первое знакомство с придворными—Студенческая жизнь в Падуе и Болонье—*Ринальдо*—Диалоги об эпической

поэзии—Поступает на службу к кардиналу д'Эсте—Феррарский двор—Альфонсо II. и принцессы—Проблема любви Тассо—Едет во Францию с кардиналом д'Эсте—Поступает на службу к герцогу Альфонсо—*Аминта*—Тассо в Урбино—Возвращение в Феррару—Пересмотр *Иерусалима*—Зависть при дворе—Чувство собственной значимости Тассо—Планирует переезд из Феррары во Флоренцию—Первые симптомы психического расстройства—Преследования придворных Феррарезе—Тассо заключен в тюрьму как полусумасшедший—Отправляется с герцогом Альфонсо в Бельригардо—Летит в Переодевается из Феррары в Сорренто—Возвращается к придворной жизни в Ферраре—Проблема его безумия—Снова улетает—Мантуя, Венеция, Урбино, Турин—Снова возвращается в Феррару—Третий брак Альфонсо—Недовольство Тассо—Заключен на семь лет в Сумасшедший дом в С. Анна—Персонаж Тассо—Персонаж герцога Альфонсо—Природа болезни поэта—Его жизнь в тюрьме—Освобожден по ходатайству Винченцо Гонзаги—Отправляется в Мантую—*Торрисмондо*—Девятилетняя одиссея—Смерть в Сан—Онофрио в Риме—Сонет Константини

ГЛАВА VIII

"ИЕРУСАЛИМ ОСВОБОЖДЕНИЯ"

Проблема создания героической поэзии—Предисловие к "*Ринальдо*—Тема *Ринальдо*—Смещение романтических мотивов с героическим стилем—Подражание Вергилию—Мелодия и сентиментальность—Выбор темы для "*Иерусалима*"—В конце концов, это становится романтической поэмой—Танкреди настоящий Герой—Благородство тона—Подражание Вергилиану—Заимствования у Данте—Сложная дикция—Использование звучных многосложных слов—Качество религиозной эмоции в этом стихотворении—Риторика—Сравнения—Величественный стиль пафоса—Словесная музыка—Любовное пение—Армида—Любимая фраза Тассо, *Un non so che*—Его власть над мелодией и нежным чувством—Критика более поздних стихотворений Тассо—Общий обзор его характера

ГЛАВА IX

GIORDANO BRUNO

Научная предвзятость итальянцев, проверенная католическим возрождением—Отрочество Бруно—Вступает в орден Святого Доминика в Неаполе—Ранние обвинения в ереси—Сбегает в Рим—Преподает Сферу в Ноли—Посещает Венецию—Женеву—Тулузу—Париж—Его общение с Генрихом III.—Посещает Англию—Французский посол в Лондоне—Оксфорд—Литературная работа Бруно в Англии—Возвращается в Париж—Поездки в Германию—Виттенберг, Хельмштедт, Франкфурт—Приглашение в Венецию от Джованни Мочениго—Его жизнь в Венеции—Мочениго обвиняет его в инквизиция—Суд над ним в Венеции—Переезд в Рим—Смерть через сожжение в 1600 году—Отношение Бруно к мысли своего времени и к мысли современной Европы—Очерки его философии

ГЛАВА X

FRA PAOLO SARPI

Положение Сарпи в истории Венеции—Родители и детство—Вступление в Орден сервитов—Его личные качества—Достижения как ученого и человека науки—Его жизнь среди сервитов—В Риме дурно пахнет—Павел V. наложил интердикт на Венецию—Сарпи избран теологом и советником Республики—Его полемические труды—Взгляды на Церковь и государство—

Интердикт снят—Мечь римлян—На Сарпи напал Брави—Его раны, болезнь, выздоровление—Последующая история ассасинов—Дальнейшие покушения на жизнь Сарпи— Политические и исторические работы Сарпи—История Тридентского собора—Отношение Сарпи к протестантизму, Его суждение об иезуитах—Смерть Сарпи—Христианский стоик

ГЛАВА XI

GUARINI, MARINO, CHIABRERA, TASSONI

Нехватка великих людей—Гуарини Связующее звено между Тассо и Семнадцатым веком—Его биография—*Пастор Фидо*—Качества Гуарини как поэта—Марино Диктатор писем—Его Буйная юность в Неаполе—Жизнь в Риме, Турине, Париже—Публикует *Адоне*—Эпос сладострастия—Характер и поступки Адониса—Лицемерие Марино—Сентиментальная сладость—Жестокое насилие—Нарушение художественного вкуса—Великие способности поэта—Структура *Адоне*—Музыкальный Беглость речи—Маринизм—Патриотические стихи Марино—Контраст между Кьябрерой и Марино—Учеником Пиндара—Биография Кьябреры—Его придворная жизнь—Попытки поэтов семнадцатого века достичь новизны—Неудача Кьябреры—Жизнь Тассони—Его жажда инноваций—Происхождение *Secchia Rapita*—Пародийно-Героическая поэзия—Сюжет этого стихотворения—Его Своеобразный юмор—Ирония и сатира—Новизна вида—Лирические переплетения —Устойчивый контраст пародии и пафоса—Поэт Тести

ГЛАВА XII

ПАЛЕСТРИНА И ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Италия эпохи Возрождения не создала Национальной музыкальной школы—Фламандские композиторы в Риме—Певцы и оркестр—Хаотичность, Непристойность этого контрапунктического стиля—Рождение Палестрины и ранняя история—Постановления Тридентского собора о церковной музыке—Месса папы Марчелло—Палестрина удовлетворяет кардиналов своим Новым стилем духовной музыки—Пий IV. и его пристрастие к музыке—Палестрина и Филиппо Нери—Его мотеты—Мелодия Песни Песней Соломона—Палестрина, Спаситель музыки—Основатель современного стиля—Флорентийские эссе в оратории

ГЛАВА XIII

БОЛОНСКАЯ ШКОЛА ХУДОЖНИКОВ

Упадок пластического искусства—Даты мастеров эклектики—Маньеристы—Бароччо—Реакция, начатая Лодовико Караччи—Его двоюродные братья Аннибале и Агостино—Их учеба—Их Академия в Болонье—Их художественные цели—Дионисий Кальварт—Гвидо Рени—Человек и его искусство—Доменикино—Критика Рескина—Отношение Доменикино к благочестию его эпохи—Караваджо и реалисты—Рибера—Испания—Гверчино—Его качества колориста—Его Ужас—Личная жизнь—Отступление от критики—Причины, по которым болонскими художниками сейчас справедливо пренебрегают

ГЛАВА XIV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные события европейской истории—Италия в эпоху Возрождения—Германия и реформация—Католическая реакция—Ее антагонизм Ренессансу и Реформации—Глубокая идентичность Ренессанса и Реформации—Место Италии в европейской цивилизации—

Отсутствие симпатии между латинской и тевтонской расами—Отношение Рима к Италии—Маколей о Римской церкви—О протестантизме—Ранний упадок энтузиазма эпохи Возрождения—Настоящее и будущее Италии

ИНДЕКС

СНОСКИ

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

ГЛАВА VII

TORQUATO TASSO

Отношение Тассо к своему возрасту—Бальби об этом периоде—Жизнь Бернардо Тассо—Отрочество Торквато—Сорренто, Неаполь, Рим, Урбино—Его первое знакомство с придворными—Студенческая жизнь в Падуе и Болонье—*Ринальдо*—Диалоги об эпической поэзии—Поступает на службу к кардиналу д'Эсте—Феррарский двор—Альфонсо II. и принцессы—Проблема любви Тассо—Едет во Францию с кардиналом д'Эсте—Поступает на службу к герцогу Альфонсо—*Аминта*—Тассо в Урбино—Возвращение в Феррару—Пересмотр *Иерусалима*—Зависть при дворе—Чувство собственной значимости Тассо—Планирует переезд из Феррары во Флоренцию—Первые симптомы психического расстройства—Преследования придворных Феррарезе—Тассо заключен в тюрьму как полусумасшедший—Отправляется с герцогом Альфонсо в Бельригардо—Летит в Переодевается из Феррары в Сорренто—Возвращается к придворной жизни в Ферраре—Проблема его безумия—Снова улетает—Мантуя, Венеция, Урбино, Турин—Снова возвращается в Феррару—Третий брак Альфонсо—Недовольство Тассо—Заключен на семь лет в сумасшедший дом в С. Анна—Персонаж Тассо—Персонаж герцога Альфонсо—Природа болезни поэта—Его жизнь в тюрьме—Освобожден по ходатайству Винченцо Гонзаги—Отправляется в Мантую—*Торрисмондо*—Девятилетняя одиссея—Смерть в Сан—Онофрио в Риме—Сонет Константини.

Именно в условиях, изложенных в предыдущих главах, величайший литературный гений Европы тех лет, поэт, входящий в число четырех первых поэтов Италии, получил образование, достиг высокого положения и пострадал. Политические изменения, внесенные в 1530 году, тенденции католического возрождения, терроризм инквизиции и просветительская энергия иезуитов оказали, все без исключения, свое явное влияние на формирование характера Тассо. Он представляет тот период, когда культура Возрождения была вытеснена, когда карьеры придворной службы вьедались в костный мозг итальянской жизни, когда более ранние формы искусства имели тенденцию к упадку или переходили в новую форму музыки. Тассо был одновременно представительным поэтом своего времени и представительным мучеником своего времени. Последним он был, хотя это может показаться парадоксальным, даже в более строгом смысле, чем Бруно. Бруно, вступив в жестокое столкновение с предрассудками века, искупил свой антагонизм жестокой смертью. Тассо, поддавшись этим влияниям, прожил жизнь

в нерешительных страданиях. Его натура была такова, что самих условий, сформировавших ее, было достаточно, чтобы ослабить, отравить и, в конце концов, превратить в жалкие руины.

Несколько запоминающихся слов Чезаре Бальби могут послужить вступлением к очерку жизни Тассо. "Если это можно назвать счастьем, которое дает людям мир без активности; знатному рангу без власти; принцам безмятежную власть в своих государствах без истинной независимости или полного суверенитета; литераторам и художникам множество поводов для написания картин, изготовления статуй и возведения зданий под аплодисменты современников, но насмешки потомков; всему народу непринужденность без достоинства и возможностей для спокойного погружения в коррупцию; то ни один период ее истории не был для Италии таким счастливым, как 140 лет, следовавшие за миром в Като-Камбрези. Вторжения прекратились: ее иностранный правитель спас Италию от вторгшихся соперников. Внутренняя борьба прекратилась: ее иностранный правитель устранил их причины и обуздал национальные амбиции. Народные революции прекратились: ее иностранный повелитель обуздывал население ее провинций. Храбрецов, разбойников с большой дороги, вульгарных актов мести, трагедий среди знати и принцев мы находим действительно в изобилии; но они не затрагивали массы людей в серьезной степени. Итальянцы наслаждались жизнью, предавались сладостям досуга, сладостям порока, сладостям занятий любовью и волочения за женщинами. Из лагеря и зала совета, где они прежде воспитывались, знать перешла в мелкие дворы и разлагалась во множестве маленьких столиц. Люди, носящие исторические имена, нечувствительные к собственной деградации, с радостью склоняли шею, пресмыкались в блаженстве. Лишенные власти, они утешали себя привилегиями, патентованными милостями, дерзостями, вымещаемыми на простых людях. Принцы развлекались тем, что низводили старую аристократию в грязь, обесценивали ее почести созданием новых титулов, множили легкомысленные уступки, добавляя класс за классом праздных и раболепных иждивенцев за счет своей личной щедрости. Одним словом, возник рай для посредственностей".

Тассо родился до начала этой эпохи. Но он жил в последнее десятилетие шестнадцатого века. Каждой черточкой своего характера он ощущал влияние итальянского декаданса, даже когда выступал против него. Его несчастья были в значительной степени результатом того, что он не полностью отказался от традиций Возрождения, хотя его темперамент и приобретенные привычки во многом заставляли его сочувствовать Контрреформации. В то же время он был не посредственностью, а последним из прославленной расы благородно одаренных гениальных людей. Поэтому он никогда терпеливо не подчинялся унижительным условиям, которые логично ставило в тот период его собственное представление о дворе, принце, Церкви и итальянском джентльмене. Он не мог довольствоваться раем посредственностей, описанным Бальби. И все же у него не было сил жить за его пределами. Пафос его положения заключался в том, что он упорно идеализировал этот рай и ожидал найти в нем рай исключительных натур. Этого не могло быть. Никто не превращает свинарник Цирцеи в Парнас. Если бы Тассо обладал достаточной силой характера, чтобы разорвать оковы условностей и жить своей собственной жизнью в самостоятельно сконструированной сфере, он все равно мог бы потерпеть неудачу. Природа обрекла его на страдания. Но от изучения его истории мы тогда оторвались, воодушевленные созерцанием героизма, вместо того чтобы бросить его, как мы делаем сейчас, с жалостью, но с жалостью, смягченной легким презрением.

Бернардо, отец Торквато Тассо, в жилах обоих его родителей текла благородная кровь. Тасси утверждали, что являются ветвью древнего дома гвельфов Делии Торре, владык Милана,

которые были практически истреблены Висконти в четырнадцатом веке. Остатки обосновались в горных крепостях между Бергамо и Комо, а впоследствии заняли место среди наиболее выдающихся семей бывшего города. Мансо утверждает, что мать Бернардо была дочерью тех венецианских корнари, которые подарили Кипру королеву.[1] Он родился в Венеции в 1493 году; и с тех пор, как он умер в 1568 году, его жизнь охватывала весь период национальной славы, унижений и попыток восстановления, который начался с вторжения Карла VIII. и закончился закрытием Тридентского собора. Родившийся во время понтификата Александра VI., он был свидетелем правления Юлия II., Льва X., Климента VII., Павла IV., Пия IV., и умер при правлении Пия V.

Все выдающиеся произведения итальянского искусства и литературы были созданы, когда он вращался в обществе принцев и ученых. Он видел эпоху Возрождения в ее великолепии и упадке. Он наблюдал за ростом, прогрессом и окончательным триумфом католического возрождения. Заявив, что кривая его существования вела вверх от Борджиа и вниз к Гислиери, наместнику Христа, самый простой тирро в истории Италии знает, какие превратности она пережила.

Хотя Тасси были очень знатны, Бернардо не владел богатством. В раннем возрасте он остался сиротой на попечении своего дяди, епископа Реканати. Но в 1520 году удар наемного убийцы оборвал жизнь этого хранителя, и в возрасте семнадцати лет он был брошен на произвол судьбы. После учебы в Падуе, где он пользовался покровительством Бембо и заложил основы своей будущей славы поэта, Бернардо поступил на службу к моденецу Рангони в качестве секретаря. Так началась долгая карьера слуги у князей, на которую он часто жаловался, но которая закончилась только с его смертью.[2] Дела его первых покровителей привели его в Париж в то время, когда был заключен брак между Рене Французской и Эрcoleм д'Эсте. Он получил должность секретаря у этой принцессы и, простившись с Рангони, затем обосновался в Ферраре. Однако только на три года, ибо в 1532 году причины, о которых мы ничего не знаем, но которые, возможно, были связаны с еретическими симпатиями Рене, побудили его уйти со своего поста. Вскоре после этой даты мы находим его привязанным к персоне Ферранте Сансеверино, принца Салерно, одного из главных феодалов и квазинезависимых вассалов Неаполитанской короны. В качестве секретаря он сопровождал этого покровителя во время Тунисской кампании 1535 года и сопровождал его во всех его дипломатических экспедициях.

Принц Салерно относился к нему скорее как к уважаемому другу и доверенному советчику, чем как к оплачиваемому чиновнику. Его доход был хорошим, и ему предоставлялся досуг для занятий литературой. Находясь в таком процветающем состоянии своих дел, Бернардо заключил союз с Порцией де'Росси, дамой из благородного дома, который происходил родом из Пистойи, но уже несколько поколений жил в Неаполе. Она была связана происхождением или браком с домами Гамбакорти, Караччоло и Караффа. Их первый ребенок, Корнелия, родилась примерно в 1537 году. Их второй, Торквато, увидел свет в марте 1544 года в Сорренто, где его отец жил несколько месяцев назад и работал над своей поэмой "*Амадиги*."

На момент рождения Торквато Бернардо находился вдали от дома, в Ломбардии, Франции и Фландрии, выполняя поручения своего принца. Однако в 1545 году он ненадолго вернулся в Сорренто, а затем снова был вынужден покинуть свою семью. Женившись в зрелом возрасте сорока трех лет, Бернардо был нежно привязан к своей молодой жене и гордился своими детьми. Но требования жизни придворного не позволяли ему наслаждаться семейным

счастьем, для которого ему подходила бы его трезвая и мягкая натура. В 1547 году произошли события, которые погубили его на всю жизнь, навсегда разлучили с Порцией, отправили в нищенское изгнание и омрачили перспективы его детей. В том же году испанский вице-король дон Пьетро Толедо попытался ввести инквизицию на ее испанской основе в Неаполе. Население возмущалось этим проявлением власти с яростью отчаяния, справедливо полагая, что последние остатки их свободы будут пожраны мерзким чудовищем Святой Канцелярии. Они умоляли принца Салернского заступиться за них перед своим господином Карлом V, которому он преданно служил до сих пор и который поэтому мог быть склонен уступить его увещаниям. Принц сильно сомневался, будет ли благоразумно принять миссию ходатая. У него было два советника, Бернардо Тассо и Винченцо Мартелли. Последний, который был проницательным флорентийцем, посоветовал ему не предпринимать ничего столь опасного, как вмешательство между вице-королем и народом. Тассо, напротив, призывал его пожертвовать личными интересами, почестями и славой ради долга перед своей страной. Принц выбрал курс, рекомендованный Тассо. Карл V опозорил его, и он бежал из Неаполя во Францию, открыто приняв сторону врагов своего императорского государя. Он был немедленно объявлен мятежником с конфискацией его поместий и имущества. Бернардо и его малолетний сын были включены в приговор. После двадцати двух лет службы Бернардо теперь оказался вынужден выбирать между нелояльностью своему принцу или катастрофическим изгнанием. Он избрал последний путь и последовал за Ферранте Сансеверино в Париж. Но Бернардо Тассо, хотя и проявил себя человеком чести в этом суровом испытании, был не из шекспировского кента; и когда принц Салернский приостановил выплату ему жалованья, он попрощался с этим мастером. Некоторые разногласия, возникшие из-за неудобств и раздражения обоих изгнанников, рано возникли между ними. Тассо был ужасно беден. "Я вынужден оставаться в постели, — пишет он, — чтобы починить свои чулки; и если бы не старый плащ, который я захватил с собой из дома, я бы не знал, как прикрыть свою наготу".^[3] Кроме того, он тяжело страдал из-за разлуки со своей женой, которую задержали в Неаполе ее родственники - "братья, которые, вместо того чтобы быть братья - смертельные враги, жестокие дикие звери, а не мужчины; мать, которая не мать, а заклятый враг, исчадие ада, а не женщина".^[4] Его несчастье достигло апогея, когда Порция скорпостижно скончалась 3 февраля 1556 года. Бернардо подозревал, что ее семья отравила ее; и это вполне могло быть правдой. Его сын Торквато тем временем присоединился к нему в Риме; но братья Порции отказались выдать его дочь Корнелию, которую они выдали замуж за соррентинского джентльмена Марцио Серсале, к большому неудовольствию Бернардо, поскольку Серсале, по-видимому, был низшей крови. Они также удержали приданое Порции и наследство, оставленное ей Бернардо, — имущество значительной ценности, которое ни он, ни Торквато впоследствии не смогли вернуть.

В этом отчаянном положении, без друзей и доверия, но сознающий свое благородное происхождение и верный чести, несчастный поэт вспомнил о Церкви. Если бы он мог получить пособие, он бы выполнял приказы. Но король Франции и Маргарита Валуа, на чье покровительство он полагался, оставили его без внимания; и когда разразилась война между Павлом IV. что касается Испании, то он счел благоразумным покинуть Рим. Именно в эту эпоху Бернардо поступил на службу к Гидубальдо делла Ровере, герцогу Урбино, у которого он оставался до 1563 года, когда принял пост секретаря у Гульельмо, герцога Мантуанского. Он умер в 1569 году в Остилье, такой бедный, что его сын едва смог собрать достаточно денег, чтобы похоронить его после продажи его имущества. Мансо говорит, что пара дверных занавесок, расшитых гербами Тассо и Де'Росси, перешла по этому случаю в гардероб семьи

Гонзаги. Таким образом, создается впечатление, что нуждающийся дворянин сохранил часть своих геральдических трофеев до последнего, хотя ему и пришлось латать свои единственные неприятные бриджи в постели в Риме. К несчастьям Бернардо можно добавить, что даже простой мраморный саркофаг с надписью *Ossa Bernardi Tassi*, который герцог Гульельмо воздвиг в его память в Сан-Эджидио в Мантуе, был убран в соответствии с папским эдиктом, предписывающим разрушать памятники, расположенные на определенной высоте над землей, чтобы сохранить достоинство соседних алтарей!

Таковы были события из жизни Бернардо Тассо. Я остановился на них подробно, поскольку они предвещают и иллюстрируют страдания его более знаменитого сына. В характере и физических качествах Торквато немало унаследовал от своего отца. Бернардо был красив, хорошо воспитан, сознавал свое двойное достоинство дворянина и поэта. От правил чести, как он их понимал, он не отступал ни в одном важном пункте поведения. Однако придворная жизнь сделала его неисправимым охотником за княжескими милостями. "*Амадиги*", на которые он так рассчитывал, сначала были спланированы и посвящены Карлу V. Затем изменены в угоду Генриху II Французскому и, наконец, приспособлены к лести Филиппа II, в зависимости от того, насколько различались интересы его автора в отношениях с принцем Салерно и герцогом Урбино. Однако за ее публикацию он не получил существенного вознаграждения. Его комплименты растратили свою сладость на тупые уши мадридского деспота. К несчастью, Бернардо не опустился ни до преступлений, ни до низости, даже когда у него не было одежды, которую можно было бы надеть на спину. И все же он сделал мир свидетелем своих бед, как будто его личность должна была быть защищена от бедствий обычного человечества. Подобный зависимый дух проявлялся в его действиях как литератора. Перед публикацией *Amadigi* он подверг ее частной критике, что неизбежно привело к наигранным похвалам и недоброжелательным замечаниям. Нерешительность лежала в основе его обращения с Торквато. Стеная под ошейником придворного рабства, он решил, что юноше следует изучать юриспруденцию. Понимая, как мало помогла ему его собственная литературная слава, он решил, что его сын должен выбрать прибыльную профессию. И все же, как только Торквато сочинил своего *Ринальдо*, любящий родитель приказал напечатать его и немедленно добыл для него место в свите кардинала Луиджи д'Эсте. Удивительно, что молодой человек, ставший свидетелем убожества жизни своего отца, не отказался от подобной карьеры, полной позолоченных страданий и знаменитой бедности. Но Торквато был рожден, чтобы воспроизвести качества Бернардо в их слабости и респектабельности, затмить его гениальностью и превзойти в известности его несчастий.

В отсутствие отца маленький Торквато рос с матерью и сестрой в Сорренто под опекой хорошего человека, Джованни Анджелуццо, который дал ему первые зачатки образования. Он был не по годам развитым ребенком, с серьезными манерами, быстрым в обучении, свободным от обычных детских шалостей. Мансо сообщает, что он начал говорить в шесть месяцев и что с самого начала он четко выговаривал слоги. Его мать Порция, по-видимому, была женщиной очень грациозной и милой, но робкой и неспособной вести тяжелую битву в этом мире. Определенный оттенок меланхолии лег на пути мальчика даже в эти ранние годы, потому что Порция, как мы видели, подверглась жестокому обращению со стороны своих родственников, а ее единственная опора, Бернардо, была далеко в изгнании. В 1552 году она переехала со своими детьми в Неаполь, где Торквато сразу же отправили в школу, которую иезуиты открыли там в предыдущем году. Эти проникательные инструкторы вскоре поняли, что им приходится иметь дело не с обычным мальчиком. Они делали все возможное, чтобы стимулировать его

умственные способности и воспитать его религиозные чувства; так что он выучил греческий и латынь в возрасте до десяти лет, а на девятом году жизни имел привычку общаться у алтаря в припадках благочестивого экстаза.[5] Ребенок публично произносил речи и стихи и получил начальную подготовку в искусстве композиции. Фактически, он был вундеркиндом среди этих благовоспитанных Отцов, превосходным образцом их воспитательного метода. Как и следовало ожидать, эта принудительная система перенапрягла его нервы. Каждый день он вставал до рассвета, чтобы приняться за учебники, а когда ночи становились долгими, отправлялся в утреннюю школу в сопровождении слуги с факелами.

Не стремясь чрезмерно настаивать на этих обстоятельствах, мы можем справедливо предположить, что характер Торквато получил неизгладимое впечатление от лихорадочной учебы и преждевременного пиетизма, возбужденного в нем неаполитанскими иезуитами. Его раболепное отношение к спекулятивной мысли, эта тревожная зависимость от церковного авторитета, это скрупулезное недоверие к собственным умственным способностям, это стремление решать проблемы с помощью скопления цитат вместо того, чтобы докопаться до сути вопроса, благодаря чему его философские труды представляются бесполезными, с большой вероятностью могут быть отнесены к механической и заинтересованной системе иезуитов. Он был их учеником в течение трех лет, после чего присоединился к своему отцу в Риме. Там он, кажется, сразу попал в более здоровую атмосферу. Бернардо, хотя и был убежденным католиком, не был фанатиком; и у него хватило здравого смысла выбрать способного учителя для своего сына — "человека глубокой образованности, владеющего обоими древними языками, чей метод преподавания является лучшим и экономящим время из всех, что когда-либо были опробованы; к тому же джентльмен, в котором нет ничего от педанта".[6] Мальчику повезло и в учебе. товарищ по учебе, двоюродный брат Кристофоро Тассо, приехавший из Бергамо, чтобы воспользоваться опекой наставника.

Однако дом юного Тассо не мог быть веселым. Пожилой идальго, сидящий в постели, чтобы заштопать единственную пару чулок, отсутствующая мать, тоскующая по мужу и терзаемая алчностью своего свирепого брата, окружали не по годам развитого десятилетнего ребенка печальными предчувствиями. Тот меланхолический темперамент, который он унаследовал от Бернардо, подпитывался полускрытыми, таинственно преследующими его проблемами родителей. И когда Порция скоротечно скончалась в 1556 году, мы едва ли можем сомневаться, что отец разразился перед своим сыном подобными выражениями неуправляемого горя, которые он открыто выразил в письме Америго Сансе верино.[7] Возможно ли, подумал Торквато, что мать, от нежных поцелуев и струящихся слез которой я был оторван всего год назад,[8] умерла от яда — отравленного моими дядями? Проникнув в сознание ребенка, столь чувствительного по натуре и так рано склонного к печали, это ужасное подозрение о тайной смерти от яда, соединилось с самой сутью его меланхолического юмора и таилось в нем, чтобы проявиться в безумии в будущем периоде жизни. То, что он был хорошо знаком с печальным положением своей семьи, подтверждается его первым дошедшим до нас письмом. Адресованное благородной леди Виттории Колонна от имени Бернардо и его сестры, это замечательное сочинение для двенадцатилетнего мальчика.[9] По его словам, его бедный отец на грани смерти от отчаяния, подавленный жестокостью судьбы и алчностью нечестивых людей. Его дядя намерен выдать Корнелию замуж за какого-нибудь нуждающегося джентльмена, чтобы заполнить состояние ее матери для себя. "Горе, достойная леди, от потери имущества велико, но горе от крови сокрушительно. У этого бедного старика нет ничего, кроме меня и моей сестры; и теперь, когда судьба лишила его богатства и жены, которую он

любил как родную душу, он не может смириться с тем, что алчность этого человека лишила его любимой дочери, с которой он надеялся провести в покое эти последние годы своего угасающего возраста. В Неаполе у нас нет друзей, потому что несчастье моего отца заставляет всех сторониться нас: наши родственники - наши враги. Корнелию держат в доме родственника моего дяди Джанджакопо Косчия, где никому не разрешается разговаривать с ней или передавать ей письма.

Посреди этих невзгод, которые уже настроили речь будущего поэта на нотки жалобного пафоса и искренней мольбы о помощи, учеба Торквато продолжалась по более здравому плану и в более здоровом духе, чем в Неаполе. Вечное утешение в его беспокойной жизни, тот восторг от литературы, который позволил ему предвосхитить строки Гете...

Я знаю, что мне ничто не принадлежит,
Кроме мыслей, которые никогда не перестают течь
Из источников, которые не могут исчезнуть,
И каждой мимолетной формы блаженства,
Которую милостивая судьба позволяет мне целовать,
Или лелеять на своей груди...

теперь он стал источником внутреннего сияния, которое не могли полностью затмить даже "злоба судьбы", "нечестие людей", трагедия смерти его матери, тюремное заключение его сестры и непреходящая скорбь его отца, "бедного джентльмена, попавшего в беду не по своей вине". В Неаполе мальчик привык к аплодисментам своих учителей и друзей. В Риме у него появилось предчувствие собственной гениальности. А видение европейских осенило его разум; и каждый шаг, который он сделал в знаниях, и в освоении языка соблюдается идеальный кон - viction, что я тоже поэт.' Ничего в образе Тассо был более живуч, чем сознание своего призвания и своего рода самостоятельной поддержки он получил от него. Подобно меланхолическому юмору, выродившемуся в безумие, это чувство собственного интеллектуального достоинства приобрело экстравагантные размеры, перешло в тщеславие и побудило его предаваться фантастическим мечтам о величии. И все же это следует рассматривать как облегчение его страданий; и что было в этом убедительным в тот период, о котором я сейчас пишу, так это уверенность в его редких способностях к искусству.

Римская резиденция была разрушена поездкой Бернардо в Урбино в поисках назначения, которого он ожидал от герцога Гидубальдо. Тем временем он отправил Торквато со своим двоюродным братом Кристофоро в Бергамо, где мальчик несколько месяцев наслаждался сочувствием и свободой. По-видимому, это был единственный период его жизни, когда Тассо испытал благотворное влияние домашней жизни. В 1557 году отец послал за ним в Пезаро, и Тассо впервые появился при дворе в возрасте тринадцати лет. Это событие решило дальнейшую судьбу его существования. Урбино уже не был таким, каким был во времена герцога Федерико или когда Кастильоне по его образцу создавал свое "Зеркало придворного". И все же он сохранил старые традиции спокойной жизни, великолепия, смягченное вежливой культурой, аристократическую вежливость, утонченную искусством и литературой. Злые времена испанских нравов и испанского фанатизма, истощенных доходов и безумного налогообложения только начинались; и молодому принцу Франческо Марии, которому было

суждено пережить своего наследника и передать разоренное герцогство в наследство Церкви, сейчас было восемь лет. На самом деле, хотя Урбинский двор уже страдал от той разнообразной болезни расточительства, которая высасывала костный мозг итальянских княжеств, его атрофия не была очевидна глазу. Он все еще мог похвастаться великолепными зрелищами, вереницами благородных юношей и дам, движущихся по его величественным дворцам и тенистым садам вилл, академиями ученых мужей, обсуждающих достоинства Гомера и Ариосто и рассуждающих о принципах поэзии и драматургии. Бернардо Тассо по вечерам читал герцогине своих *Амадиги*. Дни проводились на охоте и спортивных упражнениях, ночи - в маскарадах или танцах. Любовь и честолюбие облачались во внешние одежды церемонной красоты; первая облачалась в сонеты, вторая - в риторические речи. Торквато, которого назначили компаньоном наследника престола в спорте и учебе, разделял все эти придворные удовольствия. После меланхолии Рима его дальновидная натура расширилась под влиянием того, что он идеализировал с фатальной легкостью. Слишком юный, чтобы проникнуть за эту блестящую поверхность, польщенный вниманием, уделяемым его личному обаянию или преждевременному гению, воодушевленный беседами вежливо образованных педантов, поощряемый в занятиях, к которым он чувствовал природную склонность, удовлетворенный товариществом молодого принца, чей темперамент по серьезности соответствовал его собственному, он создал ту лучезарную и романтическую концепцию Двора как единственно подходящего места жительства для людей благородного происхождения и выдающихся способностей, которое не могло омрачить никакое разочарование в загробной жизни. Мы не можем винить его за эту ошибку, хотя она, несомненно, была ошибкой. Это было то, что он разделял со всеми людьми своего положения в тот период, что бедность его состояния, привычки отца и его собственное незнание домашней жизни почти вынудили его проявить темперамент поэта.

В Урбино Тассо изучал математику под руководством настоящего мастера Федерико Командино и с энтузиазмом занимался литературой. Вероятно, именно в это время он приобрел знакомство с Вергилием, которое так сильно повлияло на его стиль, и начал формировать свою теорию эпоса в отличие от романтической поэзии. Прожив там два года, он переехал в Венецию, где его отец занимался полировкой *Амадиджи* для публикации. Здесь перед ним открылась новая интересная сцена, и здесь он впервые вкусил сладость литературной славы. Бернардо был выбран секретарем Академией, в которой такие люди, как Веньеро, Молино, Градениго, Мочениго и Мануцио, самые образованные и благородные венецианцы, собирались вместе для обсуждения. Стройный пятнадцатилетний юноша был допущен на их заседания и удивил старейшин своим красноречием и эрудицией. Примечательно, что в это время он тщательно изучал и комментировал *"Божественную комедию"* Данте, поэму, которой почти пренебрегли итальянцы в *"Чинкве Ченто"*. Теперь его отцу казалось благом, что он должен всерьез заняться учебой, намереваясь выбрать более прибыльную профессию, чем писательство или служба при дворе. Бернардо, заканчивая *"Амадиги"*, которые он посвятил Филиппу II, в 1560 году отправил своего сына в Падую. Ему предстояло стать юристом под руководством Гвидо Панчироли. Но Тассо, как и Овидий, как Петрарка, как сотни других поэтов, не испытывал склонности к изучению юриспруденции. Он свободно и откровенно отдался метафизическим выводам, которые в то время обсуждали Пикколомини и Пендазио, один из которых был аристотелевским дуалистом, другой - материалистом, для которого душа не была бессмертной. Не обладая достаточной силой ума, чтобы проникнуть в глубочайшие проблемы философии, Тассо быстро сориентировался в них. Падуанская школа скептицизма, вошедшая там в моду логомахия,

поколебала его религиозные взгляды. Он начал с критики сомнений других в свете своей веры, привитой иезуитами; затем он нашел удовлетворение для самооценки в том, что тоже сомневался; наконец, он поставил под сомнение тайны Символа веры и обсудил статьи о сотворении мира, воплощении и бессмертии. И все же у него не хватило умственной энергии ни разрубить этот гордиев узел, ни развязать его здравым размышлением. Его смущала эрудиция, и он ошибочно принимал кучу разного чтения за философию. Затем началась реакция. Он вспомнил те детские восторги перед Евхаристией; он вспомнил картины пылающего ада, которые рисовали его учителя-иезуиты; он услышал звуки труб в День Страшного суда и фразу "Идите, нечестивые!" На грани ереси, он задрожал и отшатнулся. Духа грядущей эпохи, духа Бруно, в нем не было. Судя по всему, он не слышал об открытии Коперника. Он хотел оставаться истинным сыном Церкви и на самом деле был таким, как того хотело Католическое Возрождение. И все же память об этих ранних сомнениях цеплялась за него, главным образом, как мы можем полагать, потому, что у него не было сил избавиться от них ни строгой наукой, ни живой верой. Позже, когда его разум поддавался беспорядку, они вернулись в виде мучительных угрызений совести и напрасных страхов, которые его пылкий, но поверхностный пиетизм, его образная, но чувственная религия не смогли изгладить. Между тем, поскольку одна часть его сознания была посвящена этим проблемам, тем больше и живее он был занят поэзией. Закону, *Бродстудии*, на которую указывало его положение в мире, он уделял лишь поверхностное внимание. Следствием этого стало то, что не успел он прожить и двух лет в Падуе, как свет увидела его первая длинная поэма "*Ринальдо*". В другой главе я намереваюсь обсудить развитие литературных теорий и достижений Тассо. Здесь достаточно сказать, что аплодисменты, которыми встретили *Ринальдо*, победили сопротивление его отца. Гордый успехом книги, Бернардо напечатал ее, и Торквато в начале своего девятнадцатилетия считался одним из выдающихся поэтов-романтиков своей страны.

В конце 1563 года Тассо получил приглашение переехать из Падуи в Болонью. Это предложение поступило от монсеньора Чези, который недавно был назначен папой Пием IV. руководить общественными исследованиями в этом городе. Университет перестраивался на новую основу, и присутствие молодого человека, уже известного, казалось желательным. Поэтому в качестве поощрения была предложена выставка, на которую Тассо с готовностью согласился. Он провел около двух лет в Болонье, изучая философию и литературу, планируя свои Диалоги об искусстве поэзии и создавая проекты эпоса об истории Годфреда. И все же, несмотря на общественное восхищение и официальную благосклонность, у Тассо в Болонье не все шло гладко. Начал проявляться один из главных недостатков его характера - недостаток такта. Он показал монсеньору Чези, что невысокого мнения о его литературных способностях, вступил в конфликт с педантами, презиравшими итальянский язык, и, наконец, написал сатирические эпиграммы на различных сотрудников университета. Другие студенты позволяли себе подобные пасквилады с юмором. Но пасквилады Тассо были язвительными, и он не сумел добиться всеобщей популярности. В его комнатах был произведен обыск, в бумагах - обыск; и, обнаружив, что ему грозит судебное преследование за клевету, он сбежал в Модену. Этому незначительному происшествию нельзя придавать никакого значения, за исключением того, что оно иллюстрирует несчастливую склонность наживать врагов из-за отсутствия *жизненной опыта*, которая преследовала Тассо всю жизнь. Его реальное превосходство вызывало зависть; его откровенность ранила самолюбие соперников, к которым он относился с тенью презрения. Поскольку они не могли соперничать с ним в красноречии или победить его в дебатах, они успокаивали свои оскорбленные чувства заговорами и клеветой на него.

В век искусственности и осмотрительности, отдавая теоретическое должное его педантизму и следуя моде на комплименты, Тассо был не чем иным, как спонтанным и беспечным. Это проявляется в стиле его писем и прозаических сочинений, которые кажутся сказанными от чистого сердца. Достоинства и недостатки его поэзии, взлетающей до высоты песни и опускающейся до фригидности или облысения, когда стихает лирический импульс, обнаруживают сходное качество. В поведении эта непосредственность приняла форму необдуманной опрометчивости, которая привела его к столкновению с важными людьми и сделала университеты и суды, сферу его влияния, опасной для спокойствия столь естественно красноречивого и погруженного в себя человека. Его раздражительная чувствительность заставляла его сильно страдать от мелочной местилюдей, которых он раздражал; в то время как своего рода дружелюбный эгоизм закрывал ему глаза на собственные недостатки и заставлял винить судьбу в страданиях, причиной которых была его неосмотрительность.

Покинув Болонью, Тассо на несколько месяцев стал гостем первых покровителей своего отца, моденезе Рангони. С ними он, по-видимому, сочинил свои Диалоги об искусстве поэзии. В течение многих лет ученые мужи Италии оспаривали истинную природу Эпоса. Одна сторона утверждала, что следует следовать древним традициям и что следует соблюдать правила Аристотеля, касающиеся единства сюжета, достоинства стиля и соподчиненности эпизодов. Другая сторона поддерживала романтическую манеру Ариосто, призывая к свободе фантазии, богатству исполнения, разнообразию эпизодов, замысловатости замысла. Торквато с самого раннего детства слышал, как обсуждаются эти вопросы, и наблюдал за эпосом своего отца "*Амадиги*", который, по сути, был романтической поэмой, окаменевшей в соответствии с классическими условностями, в процессе создания. Тем временем он тщательно изучал тексты Гомера и латинские эпосы, изучал Горация и Аристотеля, а также перечитывал многочисленные романсы итальянской школы. Из этого предварительного прочтения были сделаны два вывода: во-первых, в Италии еще не было настоящего эпоса; "*Италия освобождения*" Триссино была слишком утомительной, "*Орландо Фуриозо*" слишком капризным; во-вторых, *сполия* в этой области искусства достигнет того, кто объединит классические и романтические манеры в одном произведении, обогатив единство античного эпоса изяществом современного романа, выбрав благородный и серьезный сюжет, сохранив стиль на возвышенной высоте, но удовлетворив преобладающее стремление к красоте. в разнообразии за счет введения привлекательных эпизодов и украшений живописного описания. Тассо, по сути, объявил себя эклектиком; и глубокая близость, которую он испытывал к Вергилию, указала на те направления, по которым латинский язык на его романтической или итальянской стадии эволюции мог бы дать вторую Энеиду, адаптированную к требованиям современного вкуса. Действительно, он уже поставил перед собой высокую цель осуществить это пожелание. У *Ринальдо* была взята нота прелюдии; была выбрана тема *Иерусалима*. Но эпоха, в которую он жил, была ничем иным, как критикой и аргументацией. Давно прошли те времена, когда массивный собор Данте, купола удовольствий Боккаччо, волшебные дворцы Боярдо и Ариосто возникали словно непрошенные и неразумные в мозгу создателя. Теперь было невозможно сделать ни шагу в поэзии или искусстве без теории; и, что еще хуже, эту теорию приходилось выставлять на обсуждение. Поэтому Тассо, хотя по своей гениальности и был самым непосредственным из людей, начал великую работу своей жизни с критики. Уже привыкший к дворам, кружкам, академиям, сформировавшийся в школе диспутантов и педантов, он продвигал свою *поэтику*, прежде чем привести ее в пример. Несомненно, это было начало не с того конца; он посвятил себя принципам, которые должен был проиллюстрировать на практике. При том состоянии мысли,

которое в то время царило в Италии, как бы он ни был обременен нерешительностью и неуверенностью в себе, Тассо не мог отклониться от провозглашенной им теории. Насколько это мешало ему, станет известно в дальнейшем, когда мы заметим несоответствие между его критическими и творческими способностями. Однако на данный момент Диалоги об эпической поэзии только приумножили его славу.

Сципионе Гонзага, один из самых верных и прославленных друзей Тассо, недавно основал Академию в Падуе под названием Gli Eterei. По его приглашению молодой поэт присоединился к этому клубу осенью 1564 года, принял титул Il Pentito в намек на свое оставление юридических занятий и вскоре стал душой его общества. Его диалоги вызвали глубокий и повсеместный интерес. После стольких споров между классическими и романтическими чемпионами он перенес состязание на новую почву и ввел в дискуссию новый принцип. Этот принцип, по сути, был принципом здравого смысла, хорошего вкуса и инстинкта. Тассо хотел сказать: между классическим и романтическим искусством нет существенного разногласия; у обоих есть достоинства, и в обоих можно найти недостатки; педантичная приверженность античному прецеденту должна закончиться полным провалом в нынешних условиях интеллектуальной культуры; и все же нельзя отрицать, что цикл ренессансной поэзии был завершен Ариосто; поэтому давайте попробуем творить в либеральном духе, воспитанные обоими этими влияниями. Однако, когда он излагал эту теорию сложной прозой, он не мог воздержаться от положений, различий, дедукций и заключений, все из которых были спорными, и каждому из которых его критики и его честь считали его обязанным следовать. Короче говоря, планируя и продюсируя "*Иерусалим*", он был вовлечен в споры о самой сути своего искусства. Эти споры были начаты им самим, и он не мог поступить иначе, как сохранить выбранную им позицию. Таким образом, вдохновение его поэта, спонтанность его певца постоянно сталкивались с его собственными обдуманно высказываниями. Неизбежным результатом был озадаченный самоконтроль, который педагоги, не испытывавшие вдохновения и не умевшие петь, но получавшие удовольствие от минутной дискуссии, позаботились стимулировать. Хуже всего, однако, было то, что он установил в своем собственном сознании критический стандарт, с которым его гений не гармонировал. Ученый и поэт расходились в Тассо, и одним из недостатков его возраста и образования следует считать то, что первый опережал второго в развитии. Нечто подобное можно проследить и в современной живописи, что будет показано, когда я перейду к рассмотрению основателей Болонской академии.

В конце 1565 года Тассо был отстранен от занятий литературой и общества в Падуе. Кардинал Луиджи д'Эсте предложил ему место в своем доме, и поскольку это открывало путь в Феррару и на службу при дворе, предложение было с готовностью принято. Для Тассо в этот переломный момент его судьбы было бы хорошо, если бы строчка из его любимой Энеиды...

Neu, fuge crudeles terras, fuge littus avarum—

эта фраза, предостерегавшая юного Савонаролу от отъезда из Феррары, звучала в его ушах или встречалась ему на глаза в каких-то виргилианских *выражениях*. Было бы хорошо, если бы его отец, разочарованный неудачей *амадиджи* и стонущий под тяжестью рабства принцам, запретил, а не поощрял этот роковой шаг. Он мог бы сам прислушаться к словам старого Сперони, рисующего Двор таким, каким он его узнал, - Сиреной, прекрасной для созерцания и восхитительной певуньей, но прячущей в своих тайных пещерах кости объединенных людей и

"умерших в своих страданиях великих поэтов". Он мог бы даже перевернуть страницы "*Диалогов делле Корти*" Аретино понаблюдать, как негодяй, который лучше всего мог наживаться на пороках Двора, отказался склонить шею перед рабством в их разврате. Но никто не избегает своей судьбы, потому что немногие черпают мудрость из прошлого и никто не предвидит будущего. В Феррару Тассо отправился с беспечным сердцем. Склонности, обычаи его страны, потребности призвания поэта, ради которого он отказался от профессии, бедность и честолюбие, тщеславие и радости жизни - все это вместе привело его к гибели.

Он находил Феррару гораздо более великолепной, чем Урбино. Пышные представления, охотничьи сборища, театральные развлечения приобретали в этой столице фантастические формы великолепия, с которым не мог соперничать ни один другой город Италии, за исключением Флоренции и Венеции в редких случаях. Долгое время Феррара была центром полуфеодальной, полугуманистической культуры, из которой с блестящей оригинальностью возникли маски и драма, музыка и живопись, наука и поэзия, смешавшие средневековые элементы в особый тип современного романа. Кульминацией этого стала постоянная монументальная работа, начатая Боярдо "Утром" и завершенная Ариосто "в разгар Возрождения". В кругу Придворных, казалось, сосредоточилась вся жизнь герцогства. От границы Венеции до Апеннин простиралась обширная плодородная местность, в изобилии дающая все необходимое для жизни: зерно, вино, крупный рогатый скот, дичь, рыбу, - все это вливалось во дворцы и замки герцога. Он, как и другие правители его эпохи, выжимал досуха каждую провинцию, чтобы поддерживать ослепительную демонстрацию искусственного богатства. Люди были подавлены налогами, монополией на зерно и соль и кровожадными правилами игры. Озверевшие из-за того, что их заставляли служить удовольствиям своих хозяев, они вели жизнь свиней. Но зачем перекраивать картину итальянского упадка или снова останавливаться на лихорадке той чахоточной чахотки? Люди, подобные Тассо, не видели ничего привлекающего внимания в прогнившем состоянии Феррары. Они были очарованы лишь буйным цветом и нарумяненной изысканностью ее двора. И даже наименее сочувствующий студент должен признать, что Суд, во всяком случае, был соблазнительным. Более искусно скомбинированная смесь вежливой культуры, политической проницательности, светской образованности, роскошной показухи, дипломатических любовных интриг и гениальной художественной продуктивности никогда прежде и с тех пор не демонстрировалась в столь грандиозном масштабе в столь точно очерченных пределах и не возносилась на столь высокую высоту из столь неадекватного фундамента существенного богатства. Сравните Феррару шестнадцатого века с Веймаром восемнадцатого века и подумайте, как чудесно итальянцы даже при последнем издыхании понимали искусство изысканного существования!

Альфонсо II, который всегда тщетно пытался благословить Феррару наследником, устроил свою вторую бесплодную свадьбу, когда Тассо присоединился ко двору в 1565 году. Таким образом, в момент более чем обычного парада великолепия поэт вышел на сцену своей славы и своего несчастья. Ему был двадцать один год; и двадцать один год должен был пройти, прежде чем он покинул Феррару, подорванный физическим и психическим здоровьем, - *quantum mutatus ab illo* Торквато! Застенчивый и красивый юноша, известный как автор "*Ринальдо*", был лично встречен с особыми почестями кардиналом, его покровителем. Таких милостей, как приз Корта-лакея, у Тассо с самого начала было предостаточно. Он не сидел за общим столом прислуживающих джентльменов, а ел отдельно; и после недолгого пребывания принцессы, сестры герцога, пригласили его разделить с ними трапезу. Следующие пять лет стали самым счастливым и спокойным периодом его существования. Он продолжал работать над поэмой, у

которой тогда не было названия, но которую мы знаем как *"Иерусалим освобождения"*. Зависти и ревности не возникало, чтобы омрачить безмятежность, в которой он купался. Женщины соперничали за его улыбки и сонеты. Он отплатил им за доброту несколько неразборчивым почтением и стихами по случаю, которые так легко выходили из-под его пера. Трудно проследить историю любовей Тассо в лабиринте мадригалов, од и сонетов, относящихся к этой эпохе его жизни. Эти сочинения действительно несут на себе отпечаток выдающегося гения; никто, кроме Тассо, не мог написать их в тот период итальянской литературы. И все же им не хватает индивидуальности эмоций, особой страсти, проникновения в глубину человеческих чувств. Такие оттенки различия, которые мы улавливаем в них, скорее указывают на ритора, стремящегося изложить свои мотивы, чем на влюбленного, изливающего свою душу. Вопреки общепринятой легенде, я обязан высказать свое мнение о том, что любовь сыграла второстепенную роль в судьбе Тассо. Это правда, что мы можем различить силуэты некоторых придворных дам, которые нравились ему больше других. Первой из них была Лаура Пеперара, для которой он, как предполагается, создал около шестидесяти композиций. Второй была принцесса Леонора д'Эсте. Привязанность Тассо к ней была настолько окутана тайной, догадками и резкой критикой, что только очень опрометчивый человек сможет уверенно судить о ее истинной природе. Почти то же самое можно сказать и о его отношениях с ее сестрой Лукрецией. Он вошел в историю литературы как Риццио одной дамы и Шастелар другой. И все же, вероятно, ни в один момент своего существования на Феррарезе он не был в таком положении, чтобы быть кем-то большим, чем близким другом и самым преданным рабом. Когда он поступил ко двору, Лукреции было десять, а Леоноре - на девять лет старше его. Каждая из сестер была очень образованной, грациозной, с королевской осанкой. Ни одна из них не могла похвастаться выдающейся красотой. Из них двоих Лукреция обладала более властным характером. Именно она бросила своего мужа, Франческо Марию делла Ровере, потому что его общество утомляло ее, и помогла Клименту VIII. разрушить ее семью, когда папство решило завоевать Феррару. Здоровье Леоноры было слабым. По этой причине она отказалась от замужества, живя на пенсии, занимаясь учебой, благотворительностью, религией и обществом интеллектуальных мужчин. Что-то в ней одновременно завоевало уважение и тронуло сердце; так что стихи в ее честь, из-под какого бы пера они ни вышли, звучат не просто церемониальным комплиментом. Народ почитал ее как святую; и в трудные времена она проявляла высокое мужество и дары человека, рожденного править. С момента первого въезда Тассо в Феррару сестры взяли его под свое покровительство. Он жил с ними в условиях более чем придворной близости; и к Леоноре, без сомнения, он питал нечто вроде романтической привязанности. Это подтверждается эпизодом Софронии и Олиндо в *"Иерусалиме"*, который указывает на полностью сконструированные намеки кэра на его привязанность. Можно даже допустить, что Тассо, который имел обыкновение тешить себя фантастическими мечтами о недостижимом величии, возможно, возлагал такие большие надежды, что иногда лелеял возможность завоевать ее руку. Но если он действительно тешил себя подобными мечтами, то реальность его положения, должно быть, в трезвые моменты убеждала его в их безрассудстве. Разве герцогиня Амальфи не была убита за то, что вступила в брак с джентльменом из ее окружения? А Леонора была внучкой Франции, и кордон королевской власти в Италии того времени с каждым годом сжимался все туже и туже. Очевидно, что между этой хрупкой и утонченной принцессой и ее чутко одаренным поэтом существовала отнюдь не банальная симпатия. Но можно усомниться в том, что в Тассо было что-то от великой страсти. Подвижный и впечатлительный, он переходил от объекта к объекту, не стремясь к постоянству и не достигая его. Он не был ни Данте, ни Петраркой; и ничто в его *Инее* не выдает основательности эмоций. Наконец, можно сказать, что

если бы Леонора ответила ему настоящей любовью или если бы Тассо почувствовал к ней настоящую любовь, его искреннее желание покинуть Феррару, когда Двор стал ему надоедать, было бы необъяснимым. Если бы их *связь* была скандальной, как полагали некоторые, его жизнь не стоила бы двух часов ни во дворце, ни в тюрьме Альфонсо.

Что бы ни думали о любовных отношениях Тассо к этим сестрам - а проблема остается открытой для любых предположений в отсутствие четких свидетельств, — несомненно, что он многим был обязан их доброте. Заметная благосклонность, которую они оказывали ему, много стоила при дворе, а их более зрелый возраст и более богатый опыт позволили им дать ему много полезных советов по поведению. Таким образом, когда он допустил ошибку, вступив в кажущееся соперничество с Пиньей (секретарем герцога, сесилом этого маленького государства), с неосторожной теплотой восхваляя любовницу Пиньи, Лукрецию Бендидио, именно Леонора предупредила его, чтобы он смягчил гнев великого человека. Этого он добился, написав комментарий к трем свинцовым канцони Пиньи, которые у него хватило наглости поставить в один ряд со знаменитыми тремя сестрами из Канцоньерки Петрарки. Лесть была проглочена, и опасность была предотвращена. И все же в этом первом романе с Пиньей мы уже слышим ропот той бури, которая в конце концов погубила Тассо. Такой выдающийся поэт и такой красивый молодой человек был невыносим среди толпы литературных посредственностей и кавалеров средних лет. Более того, у этого блестящего существа, вызывавшего ревность рифмоплетов и влюбленных, был один фатальный недостаток — недостаток такта. Например, в 1568 году он сделал себя мишенью для всех недоброжелателей, подтвердив пятьдесят выводов из "Науки любви" в академии Феррары. Как он впоследствии признался, он подвергался величайшему риску в этой аванюре; но кто, по его словам, мог поднять оружие против влюбленного? Несомненно, здесь присутствовало много влюбленных, но никто не обладал красноречием и умением спорить Тассо.

В 1569 году Тассо был призван к постели больного отца в Остилье на реке По. Он нашел старика обездоленным и умирающим. Не было денег, чтобы достойно похоронить его; и когда с помощью ростовщиков были совершены погребальные обряды, не осталось ничего, чтобы заплатить за памятник над его могилой. То, что римляне называли *pietas*, было сильной чертой характера Торквато. В критические моменты своей жизни он неизменно обращался к памяти своих родителей за советом и поддержкой. Когда Делия Крусканс атаковала его собственную поэзию, он ответил им защитой *Амадиги*; и он потратил много времени и сил на редактирование *Флориданте*, которое только сыновнее чувство могло заставить его оценить по достоинству.

Весной следующего года Лукреция д'Эсте заключила свой неудачный брак с герцогом Урбино, бывшим товарищем Тассо по играм. Ей было тридцать четыре года, ему - двадцать один. Они не любили друг друга, детей у них не было, и вскоре они расстались с чувством взаимного облегчения. Осенью Тассо сопровождал кардинала Луиджи д'Эсте во Францию, оставив свою рукопись на попечение Эрколе Рондинелли. Интересен документ, составленный по поручению этого друга на случай его смерти за границей. Это доказывает, что "*Иерусалимская песнь*", называемая здесь "*Готтифредо*", была почти закончена, поскольку Тассо хотел, чтобы были опубликованы последние шесть песен и части первых двух. Он также дал указания по сбору и публикации своих любовных сонетов и мадригалов, но попросил Рондинелли похоронить "остальные, будь то о любви или на другие темы, которые были написаны на службе у какого-нибудь друга", в его могиле. Это последнее поручение требует комментариев. То, что Тассо написал стихи, чтобы угодить другу, было не только естественно, но и соответствовало обычаю.

Такой легкий товар, как сонеты, может быть легко создан опытным литератором, и друг может счесть их ценными для того, чтобы привести честного врага к соглашению. Но почему кто-то должен желать, чтобы такие стихи были похоронены в его могиле? Гипотеза, на которой настаивали те, кто верит в серьезность связи Тассо с Леонорой, состоит в том, что он использовал эту фразу для обозначения любовных стихотворений, которые могли скомпрометировать его любовницу. Однако мы можем лишь строить догадки по этому поводу. В представленных нам доказательствах нет ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть догадку.

При дворе Карла IX Тассо, как обычно, повезло. Иными словами, его баловали, он писал стихи и расточал комплименты. Это было всего за два года до Варфоломеевской резни, и Франция предстала перед глазами истовых католиков зрелищем поистине ужасающей анархии. Екатерина Медичи склонялась к компромиссам с гугенотами. Общественная атмосфера пропиталась ересью и цинизмом. В этом итальянском суде общественные дела и религиозные вопросы рассматривались с чисто дипломатической точки зрения. Поведением и мнениями управляли не принципы, а практические условности. Масштаб, в котором макиавеллизм проявил себя в неблагоприятном королевстве Франции, очевидный распад католицизма как национального института, поверг Тассо в ужас. Он открыто провозгласил свои взгляды и обвинил правительство в невыполнении своего долга перед Церковью. Неисправимый идеалист по темпераменту, он не мог понять упрямых реалий политики. Ученик иезуитов, он не признавал, что такие люди, как Колиньи, заслуживают того, чтобы их выслушали. Итальянец эпохи декаданса, он с трудом переносил настроения могущественной нации в состоянии гражданской войны. Но его хозяин, Луиджи д'Эсте, хорошо понимал практические трудности, которые вынудили Валуа пойти на компромисс, и не испытывал личного отвращения к выгодной сделке с еретиком. Хотя он и был князем Церкви, он не подчинялся приказам священника. Он держал в поле зрения две цели. Одним из них было наследование герцогства Феррара на случай, если Альфонсо умрет, не оставив наследников.^[10]

Другим было избрание на папский престол. В последнем случае Франция, естественный союзник Эстенцио, была бы ему полезна, и поэтому монархи Валуа, его двоюродные братья, должны были бы получать поддержку в их политике. Тассо привезли в Париж, чтобы она выглядела грациозно и писала мадригалы. Было неудобно, это было неприлично, что литератор в свите кардинала высказывал порицания короне и исповедовал больше католических взглядов, чем его покровитель. Таким образом, без скандала и публичного увольнения было решено, что Тассо должен вернуться в Италию; и после этого разрыва подозрительный поэт считал Луиджи д'Эсте своим врагом. Во время своего заключения в С. Анна, он даже возложил главную вину за свое задержание на кардинала.^[11]

Проведя короткое время в Риме в компании кардиналов Ипполито д'Эсте и Альбано, Тассо вернулся в Феррару в 1572 году. Альфонсо предложил ему место в своем собственном доме с ежегодной стипендией в размере около 88 фунтов наших денег. К этой должности не было привязано никаких обязанностей, кроме чтения еженедельной лекции в университете. В остальном Тассо должен был продолжать учебу, совершенствовать свою великую поэму и приумножать блеск двора своими достижениями.^[12] Конечно, подразумевалось, что *Иерусалим*, когда он будет завершен, должен быть посвящен герцогу и пролить свое великолепие на Дом Эсте. Кто сейчас был счастливее Торквато? Недавно испытав неудобства неквалифицированной службы, он снова занял свое место на более твердой почве в городе

своей мечты. Придворные приветствовали его улыбками. Он снова был близок к Леоноре, нежась, как Ринальдо в саду Армиды, с блестящими перспективами славы, которой достигнет его эпопея и которая поднимет его еще выше в ближайшие годы.

Неудивительно, что блаженство этого момента вылилось в цветок лирической красоты, превзошедший все, что Тассо до сих пор публиковал. Он произвел на свет *Аминту* зимой 1572-3 годов. Спектакль был разыгран под несравненные аплодисменты, ибо эта пасторальная драма предлагала нечто восхитительно новое, нечто такое, что интерпретировало вкусы и чувства, правившие эпохой, и дало им громкое выражение. Заявляя о превознесении деревенских добродетелей, "*Аминта*" на самом деле была панегириком придворной жизни, а Сильвия отражала Леонору в волшебном зеркале томно-роскошных стихов. Поэзия перетекала в музыку. Эмоции проявлялись в чувственной гармонии. Было обозначено искусство следующих двух столетий, высшее искусство песни, слов, подчиненных музыкальному выражению. Это объясняет внезапный и экстраординарный успех *Aminta*. Это было не что иное, как открытие новой сферы, раскрытие особого таланта, который сделал его автора хозяином сердца Италии. Само отсутствие концентрированной страсти придало ему мощи. Его переливы эмоций в мерцающей атмосфере, окрашенной сладострастной меланхолией, казалось, приглашали лютни и виолы, сочных теноров и натренированное сопрано на заре эры мелодии. Здесь мы можем вспомнить, что Палестрина семью годами ранее в Риме уже отслужил миру мессу папы Марчелло.

Лукреция д'Эсте, ныне герцогиня Урбино, которой не терпелось разделить восторги *Аминты*, пригласила Тассо в Пезаро летом 1573 года и взяла его с собой на горную виллу Кастельдуранте. Она была несчастной женой, как раз собирающейся разорвать свои надоедливые супружеские узы. Тассо, если мы можем доверять выводам, сделанным из отрывков его писем, имел честь утешить разочарованную женщину и скрасить ее утомительные часы. Они вместе бродили по садам виллы и проводили дни в тишине в укромных уголках ее апартаментов. Он читал вслух отрывки из своего неопубликованного стихотворения и сочинял сонеты в ее честь, восхваляя расцветшую красоту розы как более прекрасную, чем ее распускающиеся бутоны. Герцог, ее муж, отнюдь не возмущенный такой близостью, осыпал своего бывшего товарища любезностями и значительными подарками. На самом деле он не испытывал достаточной привязанности к своей жене, чтобы ревновать ее. И все же несомненно, что если бы он заподозрил ее в неверности, итальянский кодекс чести заставил бы его быстро разобраться с Тассо.^[13]

Между тем казалось, что Леонора была забыта своей служанкой. У нас есть одно письмо, написанное ей Кастельдуранте 3 сентября 1573 года, в котором он прилагает сонет, пренебрежительно сравнивая его с теми, которые, по его мнению, она получала от другого поэта (вероятно, Гуарино), и говорит, что, хотя стихи были написаны не для него самого, а "по просьбе бедного любовника, который, некоторое время сердился на свою даму, теперь вынужден уступить и молить о прощении", все же он надеется, что они "достигнут желаемой цели".^[14] Сохранилось несколько писем Тассо к Леоноре. Следовательно, это документ большой важности, и трудно удержаться от вывода, что он косвенно умолял Леонору простить его за какую-то капризность или раздражение. Во всяком случае, его положение между двумя принцессами в этот момент было деликатным, и менее тщеславному и более осторожному человеку, чем Тассо, возможно, было бы трудно сохранять хладнокровие.

До настоящего времени его жизнь, несмотря на бедность и семейные невзгоды, была почти непрерывным триумфальным путем. Но его натура расслабилась в безответственной роскошной атмосфере Двора, а его самооценка была завышена почестями, оказанными ему как первому поэту своего времени в Европе. Более того, с самого детства он постоянно переутомлялся. Теперь, когда он вернулся в Феррару с герцогиней Урбино в возрасте двадцати девяти лет, оставалось выяснить, сможет ли он стабильно держаться на скользком фундаменте королевской милости, выдержит ли его здоровье и сможет ли он успешно опубликовать свое долгожданное стихотворение.

В 1574 году он сопровождал герцога Альфонсо в Венецию и стал свидетелем великолепного приема Генриха III по возвращении из Польши. Лихорадка, подхваченная во время этих недель удовольствий, не позволяла ему работать в "эпике" в течение многих месяцев. Это первый признак серьезного ухудшения здоровья Тассо. Однако в конце августа 1574 года *Иерусалимская* работа была закончена, и в феврале следующего года он начал отправлять рукопись Сципиону Гонзаге в Рим. От его успеха зависело так много, что у автора немедленно возникли сомнения. Оправдает ли он ожидания, возлагаемые на него каждым двором и литературным кругом Италии? Будет ли это подвергнуто исследованию в свете Диалогов об эпической поэзии? Будет ли Церковь удовлетворена своей моралью; Святая Канцелярия - своей доктриной? Ни одна из этих неуверенностей не одолела Тассо, когда он небрежно выбросил *Аминту* вперед и обнаружил, что создал шедевр. Для него было бы лучше, если бы он и в этот раз не прислушался к сомневающемуся голосу. Но с самого начала у него не было независимого характера, и жизнь приучила его чутко относиться к литературному мнению. Поэтому в недобрый час, уступив совету Гонзаги, он решил представить "*Иерусалим*" в рукописи четырем цензорам — Илье Борге, Фламинио де'Нобили, вулпине Сперони с его ядовитым педантизмом, точному Антониано с его инквизиторской ханжой. Они должны были высказать несколько критических замечаний по сюжету, персонажам, дикции и этике *Иерусалима*; Тассо должен был выслушать и взвесить их аргументы, оставляя за собой право следовать их советам или отвергать их, но обещая защищать свои собственные взгляды. Вскоре после этого он добавил к числу членов этого комитета еще трех ученых: Франческо Пикколомини, Доменико Веньеро и Челио Маньо.^[15] То, что эти критики наполовину не свели его с ума, доказало бы, что Тассо более или менее человек. Они нашли пробелы в структуре эпоса, в его эпизодах, в его теологии, в его происшествиях, в его языке, в его названии. Один цензор требовал одного изменения, а другой - противоположного. Этот человек, казалось, был одушевлен едкой злобой; он прикрывал свою злобу лестью искренней дружбы. Антониано был за то, чтобы вырезать любовные пассажи: Армида, Софрония, Эрминия, Клоринда должны были исчезнуть или быть приспособлены к монастырским приличиям. Ему казалось более чем сомнительным, что заколдованный лес не подпадает под запреты тридентских указов. По мере продвижения пересмотра дела становились все серьезнее. Антониано бросил несколько решительных намеков на церковное недовольство; Тассо, читая между строк, уловил стиль Германской коллегии.

Сперони открыто говорил о плагиате — плагиате от самого себя! — и сквозь зубы пробормотал ужасные слова: "Тассо сумасшедший!" На самом деле он был вне себя и сказал своим мучителям, что отложит публикацию эпоса, возможно, на год, а может быть, и на всю свою жизнь, настолько мало он надеялся на его успех.^[16] Наконец он решил сочинить аллегорию, объясняющую стихотворение и морализующую его. Когда он писал "*Иерусалим*", он не думал о скрытых значениях; но это казалось единственным способом уберечь его от расчленения

лицемерами и педантами.[17] Способ оказался частично успешным. Когда Антониано и его друзьям было предложено увидеть символ в зачарованном лесу и других чудесах, символ в любви героинь и героев, символ даже в Армиде, они смягчили свой гнев. *Иерусалим*, возможно, сейчас пройдет проверку перед Собранием Индекса. Переписка Тассо между мартом 1575 и июлем 1576 года показывает, что он выстрадал от рук своих редакторов, и помогает объяснить череду событий, которые сделали осень того последнего года для него катастрофической.[18] В письмах тех месяцев уже есть указания на то, что его нервы, ослабленные квартальной лихорадкой, под воздействием которой он трудился, и раздраженные придирками или завистливой критикой, были на пределе.

Подозрения начали овладевать его разумом. Он жаловался на головную боль. Его настроение колебалось между депрессией и истерической веселостью. Страх, что инквизиция откажет в одобрении его стихотворения, преследовал его. Он стал беспокойным и жаждал перемены обстановки.

События 1575, 1576 и 1577 годов требуют тщательного изучения, поскольку от нашей интерпретации их должна зависеть теория, которой мы придерживаемся относительно последующих несчастий Тассо. Похоже, что в начале 1575 года он стал недоволен Феррарой. Придворная партия, возглавляемая Пинья, делала все возможное, чтобы сделать его жизнь там неприятной. Они завидовали славе поэта, которая засияла с утроенным блеском после постановки "*Аминты*". Собственное поведение Тассо провоцировало, если не совсем оправдывало их враждебность. Он относился к людям, по крайней мере равным ему по положению, с высокомерием, которое его раздражительный характер делал невыносимым. Из его собственных уст мы знаем, что "он не мог жить в городе, где дворяне не уступали ему первого места или, по крайней мере, не признавали его абсолютного равенства"; что "он ожидал, что его будут обожать друзья, ему будут служить слуги, его будут ласкать слуги, его будут чтить хозяева, его будут прославлять поэты и на него будут указывать все".[19]

Он признался, что у него была привычка "строить воздушные замки из почестей, милостей, подарков и милостей, которыми его осыпали императоры, короли и могущественные принцы"; что "малейшая холодность со стороны покровителя казалась ему молчаливым отказом или, скорее, открытым актом насилия".[20] Он утверждал, что его кровь это ставило его в один ряд с аристократией Италии; но его поэзия возвышала его намного над вульгарным стадом дворян. В то же время, заявляя так много, он постоянно объявлял себя непригодным ни к какой работе или должности, кроме изучения литературы, и выражал свое мнение, что принцы должны быть его данниками.[21] Хотя такие претензии, возможно, не были открыто высказаны в этот период его жизни, нельзя сомневаться, что вспыльчивый характер Тассо сделал его неприятным товарищем по Придворной службе. Его чувствительность, а также фактическая непрочность его состояния слишком явно подвергали его злонамеренным уловкам и мелким издевательствам соперников. Каждый знает, что приходится терпеть мальчику такого склада в государственных школах, а Суд, в конце концов, не очень отличается от академии.

Таков был склад его ума, что Тассо в ту эпоху обратил свои мысли на самосовершенствование, как говорят слуги. Его друг Сципионе Гонзага отметил, что и кардинал де Медичи, и великий герцог Тосканский были бы рады приветствовать его в качестве украшения своего дома. Тассо клюнул на приманку все лето, а в ноябре, под предлогом того, что хочет воспользоваться

Юбилеем, отправился в Рим. Это путешествие, как он впоследствии заявил, стало началом его разорения.^[22] Это, безусловно, был один из главных шагов, ведущих в тюрьму С. Анна.

Было много причин, по которым Альфонсо должен был возмущаться переходом Тассо на другую службу в данный момент. Дом Эсте относился к нему с неизменной добротой. Кардинал, герцог и принцессы по отдельности отмечали его особыми знаками уважения. Взамен они ожидали от него почестей за его ныне бессмертную эпопею. То, что он покинул их и передал посвящение *Иерусалима* Медичи, было бы не чем иным, как оскорблением; ибо было общеизвестно, что Эстензи и Медичи были злейшими врагами не только из-за внутренних разногласий и политической зависти, но и из-за спора о приоритете их титулов, который уже некоторое время будоражил итальянское общество. В своем нетерпении поскорее покинуть Феррару Тассо отбросил благоразумие и вступил в переговоры с кардиналом де Медичи в Риме. Когда он отправился на север в начале 1576 года, он направился во Флоренцию. Что произошло между ним и великим герцогом, неясно. Однако он, по-видимому, еще больше осложнил свое положение, сделав политические разоблачения, которые нанесли ущерб герцогу Феррарскому. Он также ничего не добился, предложив свои услуги и свое стихотворение Франческо де Медичи. В письме от 4 февраля 1576 года великий герцог писал, что визит этого человека во Флоренцию, "называть ли его сумасшедшим или забавным и проницательным духом, я едва ли знаю",^[23] был на протяжении всего времени нелепым делом; и что ничто не могло быть менее удобным, чем его выставление *the Gerusalemme* на аукцион среди принцев. Год спустя он прямо заявил, что "не хотел иметь при своем дворе сумасшедшего".^[24] Таким образом, Тассо, как и его отец, обнаружил, что благородная поэма, продукт его лучших усилий, имеет лишь небольшую существенную ценность. Она действительно могла бы чего-то стоить для мецената, который ежегодно оплачивал выставку ее автора; но это была не такая дорогая драгоценность, чтобы за нее спорили герцоги, на плечах которых лежали государственные заботы. Он скомпрометировал себя с эстензи и не смог обеспечить себе отступление во Флоренции.

Тем временем его враги в Ферраре не бездействовали. Пинья умер в ноябре прошлого года. Но Антонио Монтекатино, сменивший его на посту герцогского секретаря, оказался еще более злобным врагом и настроил Альфонсо против несчастного поэта. Обе принцессы по-прежнему оставались его верными друзьями, пока недостаток такта у самого Тассо не оттолкнул симпатии Леоноры. Вернувшись в 1576 году, он застал при Дворе прекрасную Элеонору Санвитале, графиню Скандиано. Неизвестно, действительно ли он влюбился в нее с первого взгляда или притворился, что влюбился, чтобы ревностью возродить привязанность Леоноры д'Эсте.^[25] Во всяком случае, он оказывал графине такое заметное внимание и писал для нее и одной дамы из ее свиты такие великолепные стихи, что вся Феррара звенела от этой любви. Написанный рукой Тассо сонет, адресованный Леоноре д'Эсте и прокомментированный ее собственным пером, который даже Гуасти, не слишком верящий в легенду о любви поэта, принимает за подлинный, может быть воспринят как доказательство того, что принцесса была глубоко уязвлена поведением своей служанки.^[26]

Очевидно, что, хотя в письмах Тассо того периода нет признаков душевной болезни, его поведение начало казаться посторонним безумием. Франческо де Медичи использовал простые слова *матто* и *паццо*. Придворные Феррары, кто с жалостью, кто с насмешкой, пробормотали "Безумец", когда он проходил мимо. И он не жалел усилий, чтобы доказать, что теряет самоконтроль. В январе 1577 года им овладели сомнения в вере, и ему пришла в голову мысль, что он должен открыть свой разум Святой Канцелярии. Соответственно, он предстал

перед инквизитором Болоньи, который, выслушав его признание, пожелал ему приободриться, поскольку его самообвинения были результатом меланхолического юмора. На самом деле Тассо был католиком, воспитанным иезуитами в раннем детстве; и хотя, как и большинство юных студентов, он размышлял об основах теологии и метафизики, в его натуре не было и намека на ересь или неповиновение Церкви. Ужас инквизиции был болезненным кошмаром, впервые запечатлевшимся в его сознании после столкновения его отца со Святой Канцелярией, усиленным критикой Антониано в отношении его стихотворения и в какой-то степени оправданным зловещей деятельностью учреждения, которое сожгло Карнесекки и Палеарио. Как бы то ни было, эта фантазия о том, что его подозревают в еретичестве, прочно овладела его мозгом и впоследствии стала главной чертой его психического заболевания. Она сочеталась с подозрительностью, которая теперь стала привычной. Он думал, что тайные враги имеют обыкновение передавать доносы против него в Рим.

На протяжении всех этих лет (1575-1577) его враги все туже опутывали его. Их вел и направлял Монтекатино, всемогущий преследователь и лицемерный предатель. По своей беспечности Тассо разбросал книги и бумаги по своим комнатам. У него были все основания предполагать, что они были разграблены в его отсутствие. Далее следует меланхоличная история о вероломных друзьях, нечестных слугах, фальшивых ключах, поддельной переписке, обрывках неосторожных сочинений, собранных по кусочкам и обнародованных, чтобы обвинить его за его спиной. Этим искусством он пользовался в течение всего года, последовавшего за его возвращением в Феррару в 1576 году. Но своего апогея они достигли весной 1577 года. Он потерял свой престиж, и каждый слуга мог оскорбить его, а каждая дворняжка наступать ему на пятки. Даже *Иерусалим* стал объектом насмешек. Выяснилось, что редакторы, которым он доверил это, разбирали стихотворение на куски; невежды, которые не могли разобрать ни строчки, повторяли их педантичность и строгость. В начале 1576 года Тассо умолял Альфонсо уступить ему должность историографа, оставленную Пиньей вакантной. Он втайне надеялся, что в этом ему будет отказано и что таким образом он получит хороший предлог для отъезда из Феррары.^[27] Но герцог удовлетворил его просьбу. Осенью того же года один из банды его мучителей, Маддало де Фреччи, выдал некоторые подробности его любовных похождений. Что это было, мы не знаем. Тассо возмущился оскорблением и дал предателю затрещину во дворе замка. После этого Маддало и его братья напали на Тассо на площади, но убежали прежде, чем добрались до него со своими мечами. Они были объявлены вне закона за это безобразие, и герцог Феррарский, все еще благосклонный к своему поэту, отправил ему любезное послание через одного из своих слуг. Этот инцидент врезался в память Тассо. Ужас инквизиции смешался теперь с двумя новыми ужасами. Он понял, что его изгнанные враги замыслили отравить его. Он задавался вопросом, достигли ли откровения Маддало ушей герцога, и если да, то не совершит ли Альфонсо внезапной мести. Однако нет достаточных оснований предполагать, что совесть Тассо действительно была отягощена преступной тайной, касающейся Леоноры д'Эсте. Напротив, все указывает на другой вывод. Его разум просто сдавался. Точно так же, как он представлял себе ужасный призрак инквизиции, он воображал, что герцог убьет его. И инквизиция, и герцог были грозны; но Святая канцелярия мягко посоветовала ему отбросить свои болезненные сомнения, и герцог в последующем холодно написал: "Я знаю, он думает, что я хочу его убить. Но если бы я действительно так поступил, это было бы достаточно просто. На самом деле у герцога не было ни достаточной причины, ни желания наступать на это насекомое.

В июне 1577 года наступил кризис. Вечером семнадцатого числа того же месяца Тассо находился в апартаментах герцогини Урбино. Он как раз разглагольствовал о своих

воображаемых трудностях с инквизицией, когда что-то в поведении проходившего мимо слуги вызвало у него подозрение. Он замахнулся ножом на человекоподобного Гамлета в спальне своей матери. Его немедленно арестовали и заперли в одной из комнат замка. На следующий день Маффео Веньеро написал великому герцогу Тосканскому об этом инциденте следующее письмо. "Вчера Тассо был заключен в тюрьму за то, что напал с ножом на слугу в апартаментах герцогини Урбинской. Намерение состояло в том, чтобы остановить беспорядок и вылечить его, а не в том, чтобы подвергнуть наказанию. Он страдает странными галлюцинациями, считая себя виновным в ереси и страшаяся яда; я склонен думать, что такое душевное состояние возникает из-за того, что меланхолическая кровь приливает к сердцу и испаряется в мозг. Жалкий случай, по правде говоря, учитывая его выдающиеся роли и его доброту!"[28]

Вскоре Тассо был освобожден, и герцог отвел ему виллу Бельригардо. Вероятно, эта экскурсия была задумана для того, чтобы успокоить встревоженный дух поэта. Но, возможно, у этого была и другая цель. Альфонсо, возможно, счел благоразумным проанализировать информацию, предоставленную ему врагами Тассо. Мы не знаем, что произошло между ними. Было ли оказано моральное давление, приведшее к раскрытию секретов, компрометирующих Леонору д'Эсте, сейчас установить невозможно; не стоит также обсуждать гипотезу о том, что герцог, чтобы защитить честь своей семьи, обязал Тассо симулировать сумасшествие.[29] В судьбе Тассо после этого визита в Бельригардо есть нечто не вполне проясненное, осадок тайны, который критики не оставят без внимания, но который до сих пор не объяснил ни проверка, ни проясняющий процесс изучения. Все, на что мы можем положиться наверняка, - это то, что Альфонсо отправил его обратно в Феррару для лечения физического и духовного расстройства; и что Тассо считал, что его жизнь в опасности. Он поселился в монастыре Святого Франциска, подчинился очищению и начал писать красноречивые письма своим друзьям и покровителям.

Те, которые он адресовал герцогу Феррарскому в этот критический момент, естественно, являются самыми тяжелыми по шкале критики.[30] Они ссылаются на его страх перед инквизицией, боязнь яда и его дипломатическую практику с Флоренцией. Признавая "ошибки серьезной важности" и "нерешительность на службе своего принца", он утверждает, что его тайные враги преувеличили эти проступки и преуспели в нанесении ущерба великодушному и милосердному духу Альфонсо. Его особенно беспокоит обвинение в ереси. Ничто не указывает на то, что на его совести лежала какая-либо более серьезная вина.[31] Таким образом, после тщательного изучения всех доступных источников информации мы вынуждены принять прозаическую гипотезу о том, что Тассо был невменяем, и что его придворные соперники воспользовались благоприятной возможностью, чтобы заставить герцога осознать свое безумие.

После середины июля монастырь Святого Франциска стал невыносим для Тассо. Его болезнь приняла форму множественного страха, который впоследствии никогда не ослаблял своей власти над его воображением. Инквизиция, герцог, множество тайных врагов, замышляющих убийство, преследовали его днем и ночью, как фурии. Он сбежал и пробрался, переодевшись в костюм крестьянина, избегая городов, укрываясь в горных деревушках, в Сорренто.

Манос, написавший историю жизни Тассо в духе романиста, нарисовал для нас романтическую картину поэта в пастушьей хижине.[32] Это напоминает Эрмению среди пасторальных людей. Действительно, интерес к этому эпизоду в *Иерусалиме* усиливается тем фактом, что его злополучный автор неоднократно проверял реальность своего творения в ходе этого

трогательного паломничества. Художники Болонской академии изобразили Эрминию на своих полотнах. Но до настоящего времени я не знаю ни одного великого художника, который выбрал бы более поразительный случай, когда Тассо сменил свой придворный костюм на овчину и фустиановую куртку в прокуренном коттедже в Веллетри.

Он благополучно добрался до Сорренто — "этого чарующего края, который во все времена предлагает восхитительное пребывание людям и Музам; но в теплое время года, когда другие места невыносимы, дает особое утешение зеленым своей листвы, тенью своих лесов, легкостью веющего воздуха, свежестью прозрачных вод, стекающих с нависающих холмов, плодородными просторами равнин, безмятежным воздухом, спокойным морем, рыбами, птицами и вкусными фруктами в изумительном разнообразии; все это составляет прелесть сад для интеллекта и чувств, задуманный Природой в ее редчайшем настроении и доведенный до совершенства искусством с величайшим любопытством".^[33] В этот земной рай вошел странствующий паломник.

Это было место его рождения; и здесь до сих пор жила его сестра со своими детьми. Тассо искала дом Корнелии. После драматической сцены, полной напряженного ожидания, он сбросил маску, объявил себя итальянским поэтом и ее братом; и на короткое время он, казалось, забыл о Дворах и школах, педантах и принцах в этой добродушной атмосфере.

Почему он вообще покинул Сорренто? Вот вопрос, который срывается с уст современного свободного человека. Сам вопрос подразумевает несовершенное понимание века и воспитания Тассо. Вне Двора для него не было места. Его с детства готовили к придворной жизни. Дело было не только в том, что у него не было денег; усердный труд мог бы обеспечить его средствами к существованию. Но его друзья, его слава, его привычки, его укоренившееся чувство служения позвали его обратно в Феррару. Он был не просто человеком, а тем особым типом людей, которых итальянцы называют *джентилуомо*- человеком определенно измененным и запутанным в хитросплетениях ассоциаций. Поэтому вскоре он начал переписку с Домом Эсте. Если мы можем доверять Мансо, Леонора сама срочно написала ему, настаивая на его возвращении.^[34] Однако в своих собственных письмах Тассо говорит, что адресовал извинения герцогу и обеим принцессам. Альфонсо и Лукреция не удостоили его ответом. Леонора холодно ответила, что ничем не может ему помочь.^[35]

Как бы то ни было, Феррара отвела его назад. Здесь важно понять собственные чувства Тассо к герцогу, своему хозяину. Несколько месяцев спустя, после того, как он еще раз испытал невзгоды придворной жизни, он писал: "Я верил в него не так, как надеются на людей, а как верят в Бога.... Я воспылал любовью к моему господу больше, чем когда-либо мужчина любовью к женщине, и, сам того не подозревая, наполовину стал идолопоклонником.... Это был тот, кто из мрака моего скромного состояния вывел меня в свет и репутацию Двора; кто избавил меня от неудобств и поставил в почетное положение; он придавал ценность моим сочинениям, слушая их, когда я их читал, и всячески проявляя благосклонность; он удостоил меня места за своим столом и дружеской беседы; он никогда не отказывал мне в одолжении, о котором я просил; наконец, в начале моих невзгод он проявил ко мне привязанность не учителя, а отца и брата".^[36] Эти слова, хотя и предназначены для публикации, в них есть доля правды. Тассо действительно был привязан к дому Эсте и хранил вассальную верность герцогу, несмотря на многочисленные усилия, которые он прилагал, чтобы разорвать оковы Феррары. На расстоянии, в изоляции и скуке деревни, о скованности этих цепей забывалось. Поэт помнил

только, какими сладкими были его более счастливые годы при дворе. Чувство верности возродилось. Его сангвинический и дальновидный темперамент вселял в него надежду, что все еще может быть хорошо.

Не получив прямого поощрения от герцога, Тассо, соответственно, решила вернуться.

Говорят, что его сестра отговорила его; и он, как сообщается, ответил, что собирается добровольно заключить себя в тюрьму.^[37] Сначала он отправился в Рим и начал переговоры с агентами Альфонсо. В ответ на их сообщения герцог написал 22 марта 1578 года следующее: "Мы согласны вернуть Тассо; но сначала он должен признать тот факт, что он полон меланхолического настроения и что его старые представления о вражде и преследованиях вызваны исключительно упомянутыми настроениями. Среди других признаков его расстройства, ему пришла в голову мысль, что мы хотим предотвратить его смерть, в то время как мы всегда принимали его с радостью и проявляли к нему благосклонность. Легко понять, что, если бы мы лелеяли такую фантазию, ее осуществление не составило бы труда. Поэтому пусть он хорошенько обдумает, прежде чем придет, спокойно и безоговорочно подвергнуться медицинскому лечению. В противном случае, если он снова захочет разбрасываться намеками и словами, как делал это раньше, мы не только больше не будем беспокоиться о нем, но если он останется здесь, не желая проходить курс лечения, мы немедленно выгоним его из нашего штата с приказом не возвращаться".^[38] Слова не могут быть яснее этих. И все же, несмотря на все это, так привлекательна была клетка для этой подстриженной певчей птицы, что Тассо послушно вернулась в Феррару. Возможно, он не читал письма, написанного великим поэтом по аналогичному поводу: "Это не тот способ вернуться домой, отец мой! И все же, если вы или другие найдете кого-то, кто не ниже славы Данте и его чести, я буду преследовать его, не замедляя шага. Но если никто из таких не войдет во Флоренцию, я никогда не войду во Флоренцию. Как! Разве я не увижу солнце и звезды из каждой точки земли? Разве я не буду свободен размышлять о сладчайших истинах в любом месте под небом, если только я не сделаю себя недостойным, нет, позорящим народ и государство Флоренция? И хлеб воистину не оскудеет". Эти слова, если бы Тассо вспомнил их, могли бы заставить его покраснеть за собственное раболепие и за рабский век, в который он жил. Но правда в том, что злачные места египетского рабства манили его; и более того, он знал, как всегда знают полубезумные люди, что ему требуется лечение от своих умственных немощей. В глубине души он признавал справедливость условий герцога.

Послание или речь, адресованная Тассо герцогу Урбинскому, рассказывает о том, что произошло после его возвращения в Феррару в 1578 году.^[39]

Он знал, что Альфонсо считает его одновременно злобным и сумасшедшим. Первое из этих мнений, которое, как он знал, было ложным, он решил высказать молча. Но он открыто признал последнее, "не сочтя зазорным сделать Солона и Брута третьими". Поэтому он начал вести себя как безумец даже в Риме, пренебрегая своим здоровьем, подвергая себя лишениям и неводержанно употребляя пищу и вино. Таким образом, как это ни странно, он надеялся вернуть доверие и проявить себя благоразумным слугой Альфонсо. Вскоре после прибытия в Феррару Тассо решил, что набирает обороты. Он намекает, что герцог выказывал признаки возвышения его до такого величия и осыпал его столь обильными милостями, что дремлющая гадюка придворной зависти зашевелилась. Теперь Монтекатино убедил своего хозяина, что благоразумие и его собственное достоинство указывают на совершенно иную линию

поведения. Если Тассо хотел быть великим и почитаемым, он должен был чувствовать, что его репутация проистекает исключительно из благосклонности короля, а не из его учебы и выдающихся работ. Альфонсо, соответственно, притворился, что презирает стихи, представленные Тассо, и выразил свою волю следующим образом: "Я не должен стремиться ни к возвышению интеллекта, ни к литературной славе, но должен вести мягкую, утонченную и праздную жизнь, погруженный в лень и удовольствия, убегая, как беглянка, от чести Парнаса, Лицея и Академии, в жилище Эпикура и должен жить в тех домах в квартале, где никогда не останавливались ни Вергилий, ни Катулл, ни Гораций, ни сам Лукреций". Это вызвало такое возмущение в душе поэта. примите это близко к сердцу: "Я часто говорил открыто и свободно, что предпочел бы быть слугой любого принца, его врага, чем смириться с таким унижением, и, короче говоря, *odia verbis aspera movi*." После чего герцог приказал изъять свои бумаги, чтобы все еще несовершенная эпопея могла быть подготовлена к публикации ненавистным лицемерным Монтекатино. Когда Тассо жаловался, он получал только косвенные ответы; а когда он попытался получить доступ к принцессам, их привратники дали ему отпор. Наконец: "Мое бесконечное терпение лопнуло. Оставив свои книги и сочинения после тринадцатилетней службы, продолжавшейся с невезучим постоянством, я отправился в путь, как новообращенный, и отправился в Мантую, где встретил такое же обращение, как и в Ферраре".

Этот рассказ в достаточной степени отражает болезненное состояние души Тассо. Будучи действительно невменяемым, но все еще обладая всеми своими литературными способностями, он притворялся, что его эксцентричность была притворной. У герцога сложилось твердое мнение о его безумии; и он решил польстить этой прихоти. Однако, прибыв в Феррару, он забыл о строгих условиях, на которых Альфонсо санкционировал его возвращение, начал предаваться мечтам о величии и отказался от беззаботной жизни, которая была частью программы его восстановления здоровья. В этих обстоятельствах он стал посмешищем своих недоброжелателей; и не исключено, что Альфонсо, убежденный в его безумии, обращался с ним как с придворным шутком. Затем он разразился угрозами и гневным бормотанием. Сделав себя совершенно невыносимым, его бумаги были изъаты, весьма вероятно, под впечатлением, что он может уничтожить их или сбежать с ними в какой-нибудь квартал, где они будут использованы против интересов его покровителя. В конце концов он так утомил всех своими подозрениями и взаимными обвинениями, что герцог отказался разговаривать с ним, а принцессы закрыли перед ним свои двери.

С этого момента Тассо был разоренным человеком; он превратился в худшее из общественных бедствий, обиженного придворного, полусумасшедшего, тем более опасного и утомительного, что его умственные способности были не столько ослаблены, сколько извращены. Изучая его тщательно продуманные извинения, мы не знаем, презирать ли нам упорство в его преданности Дому Эсте или уважать чувство преданности, которое пережило все реальные или воображаемые оскорбления. Против герцога он не произносит ни слова упрека. Альфонсо всегда великодушен и милосерден, превосходит умом и телом, добр и обходителен по натуре, заслужив верное служение и горячую любовь своих подчиненных. Монтекатино - настоящий злодей. "Принцы не тираны — они не такие, нет, нет: он тиран".^[40]

Покинув Феррару, Тассо побродил по Мантуе, Падуе, Венеции, где его холодно приняли во всех этих городах; ибо "сердца людей ожесточились из-за того, что они были настроены против

него". В июльском письме из Венеции великому герцогу Маффео Веньеро пишет: "Тассо здесь с помутившимся рассудком; и хотя его интеллект определенно не в порядке, он проявляет больше признаков болезни, чем безумия".[41]

Конфискация его единственного экземпляра "*Иерусалима*", естественно, причинила ему большое огорчение; и Веньеро добавляет, что главной трудностью, с которой он столкнулся, была нехватка денег. Веньеро с трудом разбирался в этом деле. Даже при его компетентности невероятно, чтобы Тассо удовлетворился спокойной работой над литературой на частной должности.[42] Из Венеции он направился на юг, в Урбино, написав по дороге из Пезаро одну из своих самых возвышенных од.[43]

Франческо Мария делла Ровере принял его с обычной добротой; но дух беспокойства снова выгнал его, и через два месяца мы снова находим его, нищего и бездомного пешехода, на берегах Сесии. Он хотел добраться до Верчелли, но река разлилась, и он был обязан приютом на ночь случайной любезности молодого дворянина. Среди множества живописных эпизодов странствий Тассо нет более идиллически прекрасного, чем рассказ о его встрече с этим красивым юношей. Он сам рассказал об этом в отрывке из своего диалога "*Падре Семьи*". Когда его спросили, кто он такой и куда направляется, он ответил: "Я родился в Неаполитанском королевстве, и моя мать была неаполитанкой; но во мне течет кровь моего отца из Бергамо, ломбардского города. Я передаю свое имя и фамилию молча: они настолько неясны, что, произнеси я их, вы бы ни много ни мало поняли о моем состоянии. Я спасаюсь бегством от гнева принца и фортуны. Моя цель - государство Савойя". Для этого паломничества Тассо выбрал прозвище *Омеро Фуггигерра*. Прибыв в Турин, стражи ворот отказали ему во въезде. Лохмотья на его спине заставили их заподозрить, что он бродяга, зараженный чумой. Случайно мимо проходил его друг, Анджело Ингеньери, который знал его и гарантировал его респектабельность. Мансо сравнивает путешествие этого нищего и изможденного беглеца по городам Италии со стремительным прохождением кометы.[44] Где бы он ни появлялся, он сиял сиюминутным великолепием. Турин не замедлил приветствовать сияющее видение. Маркиз Филиппо да Эсте принимал его в своем дворце. Архиепископ Джироламо делла Ровере попросил оказать ему честь составить компанию. Герцог Савойский Карло Эмануэле предложил ему те же должности, которыми он пользовался в Ферраре. Ничто, однако, не могло успокоить его болезненный дух. Польщенный и обласканный в течение октября и ноября, в декабре он снова начал тосковать по своему старому дому. Каким бы невероятным это ни казалось, он начал новые переговоры с герцогом, и Альфонсо, со своей стороны, уже проявил желание вернуть его обратно. В письме к своей сестре из Пезаро в конце сентября Тассо сообщил, что из Феррары специально прислали джентльмена, чтобы отозвать его.[45] Факт, по-видимому, заключается в том, что Тассо был слишком знаменит, чтобы Дом Эсте мог им пренебречь. Лишенный их защиты, он был способен навлечь на их имя пятно плохого обращения и неблагодарности. Также не было бы хорошо публиковать "*Джерусалемме*" с восхвалениями Альфонсо, в то время как поэт оплакивал свою тяжелую судьбу в каждом городе Италии. Итогом этих переговоров стало то, что Тассо решил повторить свой путь. Он снова прибыл в Феррару 21 февраля 1579 года, за два дня до того, как Маргарита Гонзага, новобрачная герцога, совершила свой помпезный въезд в город. Но прием оказался далеко не таким, как он ожидал. Сердце герцога, казалось, ожесточилось. Ему были отведены апартаменты, уступавшие его качеству, и придворный проводил его с плохо скрываемой наглостью. Принцессы отказали ему в доступе в свои покои, а его старые враги открыто высмеивали весельчака и скелета, которые вернулись, чтобы испортить им праздник. Тассо,

каким бы ворчливым он ни был по поводу своей доли в неприятностях существования, оставался совершенно равнодушным к испытаниям своих близких. Поглощенность собой заключила его в волшебную тюрьму недовольства.

Поэтому, когда он увидел Феррару, полную веселящихся гостей, и услышал свадебную музыку, разносящуюся по внутренним дворам замка, он не подумал о том, с каким тяжелым сердцем герцог, возможно, сейчас вступает в свою третью бесплодную свадьбу. Альфонсо был бездетен, без братьев, без законного наследника, который мог бы защитить свое герцогство от Церкви в случае его кончины. Раздраженный поэт забыл, насколько неприятным в такой момент наигранного веселья и пустой парадности может быть его повторное появление со старым жалобным ропотом, старыми подозрениями, старыми беспокойными глазами для учителя, который, несомненно, много и долго терпел рядом с ним. Он только чувствовал себя заброшенным, оскорбленным, возмущенным:

Questa è la data fede?

Son questi i miei bramati alti ritorni?[46]

Затем он разразился гневными словами, которые, как он впоследствии признал, были "лживыми, безумными и опрометчивыми".[47] Терпение герцога достигло предела. Тассо был арестован и помещен в больницу для умалишенных в С. Анна. Это произошло в марте 1579 года. Он содержался там до 19 июля 1586 года, то есть семь лет и четыре месяца.

Никто из читавших предыдущие страницы не задастся вопросом, почему Тассо был заключен в тюрьму. Чудо скорее в том, что этот факт вызвал так много спекуляций. Альфонсо был самодержавным принцем. Его любимый министр Монтекатино в одно мгновение упал с высоты власти до безвозвратного разорения. Знаменитый проповедник Панигарола, для которого он выторговал кардинальскую шапку, потерял свое уважение, добиваясь повышения при другом дворе, и был вынужден бежать из Феррары. Его друг, Эрколе Контрарио, был задушен в замке по подозрению в сокрытии убийства. Тассо неоднократно предупреждали, неоднократно прощали; и теперь, когда он появился снова с теми же жалобами и теми же угрозами, Альфонсо решил покончить с этой неприятностью. Он не убьет его, но уберет с глаз долой. Если он виновен, С. Анна будет достаточным наказанием. Если он сумасшедший, можно надеяться, что С. Анна вылечит его. Винить герцога за такое проявление власти сложно. Каким бы благородным ни было призвание поэта, и какими бы верными ни были раны преданного друга и слуги, терпению принца есть пределы. Легче обвинить Тассо в неизлечимом идеализме, который, когда он был в комфорте в Турине, заставил его жаждать "поцеловать руку его высочества и вернуть часть его благосклонности по случаю его женитьбы".[48]

В трех длинных письмах, написанных Тассо в первые месяцы его заключения, обсуждаются причины его ареста.[49] Два из них адресованы его верному другу Сципионе Гонзаге, третье - Джакомо Буонкомпаньо, племяннику папы Григория XIII. Отчасти из-за упущений, допущенных редакторами перед публикацией, а отчасти, возможно, из-за скрытности автора, они не проливают определенного света даже на его собственное мнение.[50] Но это многое кажется достаточно ясным. Тассо был наполовину сумасшедшим и в целом раздражительным. Он использовал выражения, которые нельзя было не заметить. Герцог продолжал возмущаться его прежней практикой с Медичи и не одобрял его постоянных скитаний. Придворные делали все возможное, чтобы повлиять на его мнение клеветой и сплетнями, выискивая все, что казалось

наносящим ущерб репутации Тассо, в прошлых деяниях его жизни и в более свободных стихах, найденных среди его бумаг. Можно также допустить, что они ухитрились бросить неблагоприятный свет на его нежную переписку с двумя принцессами. Сам Тассо придавал большое значение своему недостатку абсолютной лояльности, некоторым похотливым сочинениям и, наконец, своей предполагаемой ереси. Маловероятно, что герцог придавал значение таким стихам, какие Тассо, возможно, написал в пылу юности; и несомненно, что он рассматривал ересь как часть галлюцинаций поэта. Также гораздо более вероятно, что эпизод с Леонорой прошел в его сознании как еще одно доказательство умственной неполноценности, чем то, что он отнесся к нему серьезно. Вполне достаточно было того, что Тассо сам причинил себе зло, раздражительно оскорбив своего благодетеля и постоянно капризничая. Более того, он был явно не в себе. Одно это оправдывало Альфонсо в его собственных глазах.

И без тени сомнения, Тассо была больна мозгами.[51] Вряд ли нужно перечислять его ужас перед инквизицией, боязнь быть отравленным, неспособность к самоконтролю в словах и поступках и другие признаки зарождающейся болезни. Во время пребывания в С. У Анны эта болезнь прогрессировала. Его мучили призрачные голоса и видения. Он считал, что находится под влиянием магических чар. Его преследовал дух, который украл его книги и разбросал рукописи по комнате. Добрый гений в образе красивого юноши появился и заговорил с ним. Он часами погружался в абстракции, разговаривая вслух, глядя в пустоту и выражая удивление по поводу того, что другие люди не могли видеть призраков, которые его окружали. Он жаловался, что его меланхолия временами переходила в бред (который он называл *безумием*), после чего он страдал от потери памяти и прострации. Его собственный разум стал постоянной причиной самоистязания. Подозревая других, он стал подозревать и самого себя. И когда он покинул С. Анна, эти расстройства, вместо того чтобы ослабевать, продолжали огорчать его, так что его самые восторженные поклонники были вынуждены признать, что "он был подвержен конституциональной меланхолии с приступами бреда, но не настоящему помешательству".[52] Поначалу его немощь не мешала интеллектуальному творчеству высокого уровня, хотя ни одно из его стихотворений после того, как "*Иерусалим*" был завершен в 1574 году, не поднялось до уровня его более ранних работ. Но со временем сам талант художника был подорван, и творения его дальнейшей жизни недостойны его гения.

Можно ненадолго забыть о семи годах и четырех месяцах тюремного заключения Тассо. Что касается его так называемой темницы, то несомненно, что после нескольких месяцев, проведенных в узкой камере, он получил квартиру из нескольких комнат. Ему было разрешено писать и получать столько писем, сколько он пожелает. Друзья нанесли ему визиты, и он уехал за границу под наблюдением в город Феррара. Преуменьшать страдания, которые человек с его характером перенес в этом вынужденном уединении, было бы несправедливо по отношению к Тассо. Нет сомнения, что он был очень несчастен. Но преувеличивать его неудобства было бы несправедливо по отношению к герцогу. Даже Мансо описывает "превосходное и наиболее удобное жилье", выделенное ему в С. Анна намекает на возможность его излечения с помощью лекарств и отмечает противодействие, которое он оказывал медицинскому лечению. Согласно этому биографу, его собственные попытки сбежать требовали строгого наблюдения за его передвижениями.[53] Таким образом, если мы категорически не отрицаем факт его невменяемости, который подтверждается массой свидетельских показаний, можно усомниться в том, что Тассо был более несчастен в С. Анна, чем он оказался бы на свободе. Последующие события его жизни доказывают, что освобождение не принесло облегчения его болезни.

Однако это было унылое время. Он проводил свои дни в написании писем всем князьям Италии, в Неаполь, в Бергамо, в Римскую курию, жалуюсь на свое ничтожество и умоляя об освобождении. Из-под его пера время от времени выходили стихи. Но в этот период он посвящал свои серьезные часы в основном сочинению прозы. Большая часть его диалогов написана С. Анной. 7 августа 1580 года Челио Маласпина опубликовал часть "*Джерусалеммы*" в Венеции под названием "*Готтифредо ди М. Торквато Тассо*". В феврале следующего года его друг Анджело Ингенъери подарил миру всю эпопею целиком. В течение шести месяцев с этой даты поэма была семь раз переиздана. Это произошло без санкции или надзора незадачливого автора; и от продажи книги он не получил никакой прибыли. Леонора д'Эсте умерла 10 февраля 1581 года. По этому случаю появился томик элегий, но Муза Тассо не издала ни звука.^[54] Он написал Панигароле, что "определенное молчаливое отвращение к его гению" вынудило его замолчать.^[55] Его соперник Гуарини предпринял переработанное издание своих текстов в 1582 году. Тассо пришлось молча выслушать этот сомнительный комплимент. Вся Европа поглощала его стихи; переписчики и стихосложенные строили свою репутацию на его славе. И все же он ничего не мог поделать. Озлобленный пиратством издателей, взбешенный дерзостью редакторов, он лежал в этой больнице, как забытый. Его слава росла с каждым днем, но он томился, без гроша в кармане и несчастный, в заточении, которое ненавидел. Самый странный свет на его душевное состояние бросают усилия, которые он теперь предпринял, чтобы пристроить двух детей своей сестры на Придворную службу. Он даже пытался внедрить одного из них в качестве пажа в дом Альфонсо. В конце концов, Алессандро Серсале был отдан Одоардо Фарнезе, а Антонио - герцогу Мантуанскому. В 1585 году появились новые источники раздражения. Двое членов Академии Делии Круска во Флоренции, Леонардо Сальвиати и Бастиано де'Росси, напали на *Иерусалим*. Их недоброжелательность вызвал панегирик, написанный на нем неаполитанцем Каммилло Пеллегрини, и они подвергли его педантично придиричливой критике. Тассо ответил достойными извинениями. Но, похоже, он не слишком утруждал себя этой литературной борьбой, которая тем временем способствовала распространению славы его бессмертной поэмы. В это время вокруг него собрались новые друзья. Среди них превосходный бенедиктинец Анджело Грилло и верный Антонио Костантини требуют увековечения памяти от всех, кто ценит бескорыстную преданность гению, попавшему в беду. Наконец, в июле 1586 года Винченцо Гонзага, наследник герцогства Мантуанского, добился освобождения Тассо. Он уехал с этим новым покровителем в Мантую, оставив свои пожитки в С. Анна, и сожалел только о том, что не дождался герцога Феррарского, чтобы поцеловать ему руку, как того требовал долг.^[56] Таким образом, до конца он оставался неисправимым придворным; или, скорее, мы должны сказать, что после всех своих невзгод он сохранил собачью привязанность к своему хозяину?

Остальная часть жизни Тассо была девятилетней Одиссеей. Поначалу казалось, что он доволен Мантуей, написал диалоги, завершил трагедию *Торрисмондо* и отредактировал "*Флориданте*" своего отца. Но когда Винченцо Гонзага унаследовал герцогство, неугомонный поэт почувствовал, что им пренебрегают. У его юного друга не было времени уделять ему должное внимание. Поэтому он отправился в путешествие в Лорето, которое долгое время было объектом его благочестивых устремлений. Лорето вело в Рим, где Сципионе Гонзага проживал в качестве патриарха Иерусалимского и кардинала. Рим предлагал Южную Италию, и Тассо страстно желал вернуть состояние своей матери. Соответственно, в марте 1588 года он отправился в Неаполь, где остановился частично у монахов Монте-Оливето, а частично у маркиза Мансо. Рим снова увидел его в ноябре, и вскоре после этого агент герцога Урбинского

написал этот жалкий отчет о его состоянии. - Каждый готов принять его у себя в доме, но его характер заставляет его с недоверием относиться ко всему человечеству. Во дворце кардинала Гонзаги для него всегда готовы комнаты и постели, а также люди, специально выделенные для его службы. Однако он убегает и не доверяет даже этому дружелюбному сеньору. Короче говоря, это печальное несчастье, что нынешняя эпоха лишена величайшего гения, появлявшегося на протяжении веков. Какой мудрый человек когда-либо говорил прозой или стихами лучше, чем этот безумец?[57] В августе следующего года слуги Сципиона Гонзаги, не в силах выносить эксцентричность Тассо, выгнали его из дома своего хозяина, и он укрылся в монастыре оливетанских монахов. Вскоре после этого его перевезли в больницу Бергамасков. Теперь его страдания были велики, а здоровье настолько ухудшилось, что друзья ожидали скорого конца.[58] Однако кардинал Гонзага снова открыл ему свои двери весной 1590 года. Тогда болезненный поэт заподозрил неладное и начал тешить себя новыми надеждами на удачу в другом месте. Он снова предложил себя Медичи. В апреле он отправился в Тоскану и остановился в монастыре Монте-Оливето, недалеко от Флоренции. Он никому не был нужен; он бродил по Питти, как призрак, и флорентийцы писали: *actum est de eo*. [59] Несколько прощальных комплиментов и подарков от Великого герцога подсластили его увольнение. Он вернулся в Рим; но каждое новое путешествие сказывалось на его подорванном здоровье, а очередная болезнь заставила его захотеть сменить обстановку. На этот раз Антонио Костантини вызвался ухаживать за ним. Они посетили Сиену, Болонью и Мантую. В Мантуе Тассо сделал небольшой привал и всерьез взялся за новую длинную поэму "*Иерусалимская конкистада*". Но демон беспокойства преследовал его, и в ноябре 1591 года он снова отправился с герцогом Мантуанским в Рим. Из Рима он отправился в Неаполь в начале следующего года, работал в "*Конкистате*" и начал свою поэму о *Сетте Джорнате*. [60] Он всегда был занят тщетной надеждой вернуть часть имущества своей матери. Эйприл увидела его еще раз по пути в Рим. Климент VIII. был избран, и Тассо рассчитывал на покровительство папских племянников. [61]

Он не был разочарован. Они приняли его в своих домах, и некоторое время он жил в Ватикане. 1593 год, судя по всему, был годом относительного мира и процветания. В начале лета 1594 года здоровье вынудило его сменить обстановку. Он в последний раз поехал в Неаполь. Кардинал Сан-Джорджо, один из племянников папы римского, отозвал его в ноябре, чтобы короновать поэтом в Риме. Его въезд в Вечный город был почетным, и Климент удостоил его особой аудиенции; но церемонию коронации пришлось отложить из-за плохого самочувствия кардинала.

Тем временем его перспективы, казалось, улучшались. Климент назначил ему пенсию в сто дукатов, а принц Авеллино, наложивший арест на имущество его матери, выплатил ему пожизненный доход в двести дукатов. Эта удача улыбнулась весной 1595 года. Но она пришла слишком поздно, потому что его настигла смертельная болезнь. Первого апреля он сам был перевезен в монастырь Святого Онофрио, откуда открывается вид на Рим с холма Яникулан. "Лил проливной дождь с яростным ветром, когда карета кардинала Чинцио поднималась по крутому склону. Плохая погода заставила отцовподумать, что для этого прибытия должна быть какая-то серьезная причина. Поэтому приор и другие поспешили к воротам, куда Тассо спустился со значительным трудом, приветствуя монахов такими словами: "Я пришел умереть среди вас". [62] Последнее из писем Тассо, написанное Антонио Костантини от С. Онофрио, исполнено спокойного достоинства человека, который в последний раз борется со слабостью своего тела. смертная природа. [63]

- Что скажет мой добрый господин Антонио, когда узнает о смерти своего Тассо? Новости, как я склонен думать, не заставят себя долго ждать; ибо я чувствую, что подошел к концу жизни, будучи неспособным найти какое-либо средство от этого утомительного недомогания, которое сопровождало многие другие, к которым я привык, — подобно стремительному потоку, неудержимо уносящему меня прочь. Прошло то время, когда я должен был говорить о своей упрямой судьбе, не говоря уже о неблагодарности мира, который, однако, пожелал одержать победу, сведя меня в могилу нищим; в то время как я продолжал думать, что слава, которую, несмотря на недовольство тех, кому это не нравится, этот век унаследует от моих трудов, не оставила бы меня полностью без гердона. Я приказал перевезти себя в этот монастырь Святого Онофрио; не только потому, что врачи хвалят здешний воздух выше, чем в любой другой части Рима, но и потому, что на этом возвышенном месте и благодаря беседе этих благочестивых отцов я начал свою беседу на небесах. Молите Бога за меня; и будьте уверены, что как я всегда любил и почитал вас в этой жизни, так и в той, другой, и более реальной жизни я буду совершать для вас то, что относится не к притворному, а к истинному милосердию. И перед Божественной милостью я рекомендую вас и себя.

25 апреля Тассо скончался в полночь со словами *In manus tuas, Domine*, на устах. Если бы Костантини, его самый искренний друг, был там, он мог бы сказать, как Кент:

О, дайте ему пройти! он ненавидит его так сильно,
Что это позволило бы ему подольше продержаться на дыбе в этом суровом мире

.

Но Костантини был в Мантуе; и этот сонет, написанный им для своего учителя, остается самой правдивой эпитафией Тассо, самым жалким итогом жизни, трогательно трагичной в своей неблагоприятной судьбе —

Друзья, это Тассо, не отец, а сын;
Ибо он, отпрыск человеческий, не обратил внимания,
Породив для себя бессмертное семя
искусства, стиля, гения и наставлений.

Он долго жил в изгнании и испытывал крайнюю нужду;
Во дворце, храме, школе он жил один;
Он бежал и бродил по неизвестным диким лесам;
На земле, на море страдал мыслями и делами.

Он стучался в дверь смерти; и все же он победил его
возвышенной прозой и бессмертной рифмой;
Но не судьба, которая привела его туда, где он лежит.

Гердон за возвышенное воспевание любви и оружия,
И показ истины, свет которой затмевает пороки,
- Это один зеленый венок; но мир отрицает это.

На его гроб был возложен лавровый венок, которого не желал мир; и простой камень, на котором были выгравированы слова *Hic jacet Torquatus Tassus*, отмечал место, где он был похоронен.

Приведенный выше очерк жизни и характера Тассо в некоторых моментах отличается от распространенных представлений поэта. Есть легендарный Тассо, жертва злонамеренных преследований педантов, таинственный любовник, приговоренный к страданиям в тюрьме деспотичным герцогом. Есть также Тассо, созданный учеными людьми на основе искусно сконструированных систем; Тассо Розини, приговоренный к симуляции безумия в наказание за ухаживание за Леонорой д'Эсте с помощью похотливых стихов; Тассо Каппони, наказанный за попытку обменять службу Дома Эсте на службу Дома Медичи; Тассо, который был совершенно безумным; Тассо, который на всю жизнь остался жертвой иезуитского влияния. Короче говоря, Тассо столько же, сколько Гамлетов. И все же эти Тассо из легенды и эрудиции не воспроизводят его самооткровенные черты. Письма Тассо представляют собой документы достаточного объема, чтобы сделать видимым реального человека, хотя, возможно, что-то еще остается не вполне объяснимым в его трагедии.

ГЛАВА VIII

ИЕРУСАЛИМ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Проблема создания героической поэзии—Предисловие к "*Ринальдо*"—Тема *Ринальдо*—Смешение романтических мотивов с героическим стилем—Подражание Вергилию—Мелодия и сентиментальность—Выбор темы для "*Иерусалима*"—В конце концов, это становится романтической поэмой—Танкреди настоящий Герой—Благородство тона—Подражание Вергилиану—Заимствования у Данте—Сложная дикция—Использование звучных многосложных слов—Качество религиозной эмоции в этом стихотворении—Риторика—Сравнения—Величественный стиль пафоса—Словесная музыка—Любовное пение—Армида—Любимая фраза Тассо, *Un non so che*—Его власть над мелодией и нежным чувством—Критика поздних стихотворений Тассо—Общий обзор его характера.

В предыдущей части этой работы я попытался дать определение итальянскому романтическому эпосу и проследил историю Орlando от Пульчи через Боярдо и Ариосто до бурлеска Фоленго. Элемент юмора более или менее преобладает в "*Морганте Маджоре*", "*Орlando Иннаморато*" и "*Орlando Фуриозо*". Этот элемент можно было бы рассматривать почти как неотделимый от вида. Однако два обстоятельства способствовали изменению характера итальянского романа после публикации "*Фуриозо*". Одним из них было недостижимое совершенство этого стихотворения. Никто не мог надеяться превзойти Ариосто в его собственном стиле или придать свежий поворот его юмору, не переходя при этом в бурлеск. Таким образом, поэту-романту пришлось выбирать между погружением в пародию вместе с Фоленго и Аретино или возвышением торжественного искусства. Другим обстоятельством был живой интерес, вызванный в академических кругах неудачной эпопеей Триссино и вызванным ею обсуждением героической поэзии. Итальянская нация становилась критичной, и этот критический дух с готовностью поддавался экспериментам в смешанных стилях композиции, которые были

направлены на сочетание романтического изящества с достоинством Героической поэмы. Наиболее достойным из этих гибридов был "*Амадиджи*" Бернардо Тассо, длинный роман в октавных строфах, выдержанный в серьезном тоне на протяжении всего произведения и отличающийся от более ранних романтических эпосов более очевидным сюжетным единством. Бернардо Тассо обладал такими качествами, как гениальность и темперамент, которые соответствовали поставленной им задаче. Лишенный чувства юмора, он без труда устранил этот элемент из *Amadigi*. Рыцарские чувства заменили иронию; научный метод восполнил недостаток своенравной фантазии.

Как раз в этот момент молодой Торквато Тассо написал свое первое стихотворное эссе. Он унаследовал темперамент своего отца, его отсутствие чувства юмора, его меланхолию, его аристократическую чувствительность. В возрасте семнадцати лет он уже был зрелым ученым, сведущим в важнейших вопросах, которые тогда волновали ученые круги Италии. Необузданная грация и свежесть романтического эпоса, задуманные Боярдо и доведенные до совершенства Ариосто, исчезли навсегда. "Вернуть тот первый прекрасный, беззаботный восторг" было невозможно. Современные условия жизни общества и мышления делали любые попытки сделать это тщетными. Италия перешла на иную ступень культуры, и репрезентативная поэма эпохи Тассо была вынуждена принять иной характер. Этот типаж уже существовал в "*Амадиджи*", хотя Бернардо Тассо не хватило гения четко выделить его или сделать привлекательным. То, как Торквато, будучи еще подростком в Падуе, атаковал проблему повествовательной поэзии, отчетливо видно из его предисловия к "*Ринальдо*". "Я полагаю, - говорит он, - что вы, мои нежные читатели, не сочтете неправильным, если я отклонился от пути современных поэтов и попытался приблизиться к лучшим из древних. Однако вы не обнаружите, что я связан точными правилами Аристотеля, которые часто делают скучными те стихи, которые в противном случае могли бы доставить вам большое удовольствие. Я следовал только таким его заповедям, которые не ограничивают ваше наслаждение: например, в частом использовании эпизодов, заставляя персонажей говорить от своего лица, вводя признания и перипетии по необходимым или правдоподобным мотивам и уводя поэта как можно дальше от повествования. Я также пытался построить свою поэму с единством интереса и действия, на самом деле, не в каком-либо строгом смысле, но так, чтобы второстепенные части рассматривались как имеющие должное отношение к целому". Затем он продолжает объяснять, почему отказался от рассуждений на моральные и общие темы, которыми Ариосто начинал свои песни, и намекает, что взял за образец Вергилия, "Князя поэтов". Таким образом, Романтический эпос, по замыслу Тассо, должен был порвать с традицией Кантастории, который рассказывал эту историю от своего имени и делился размышлениями о ее событиях. Он должен был стремиться к единству сюжета и соблюдать классические правила искусства, не жертвуя, однако, очарованием разнообразия и теми прелестями, которые эпизоды и чудесные приключения доставляют современному зрителю. Юный поэт умоляет, чтобы его *Ринальдо* не подвергался порицанию, с одной стороны, суровыми аристотелевскими критиками, исключаящими удовольствие из своего идеала, или, с другой стороны, любителями, которые считают "*Орландо Фуриозо*" совершенством поэтического искусства. Одним словом, он надеется создать нечто среднее между строгим героическим эпосом, который потерпел неудачу в "*Италии освобождения*" Триссино из-за скучности, и подлинным романтическим эпосом, который в шедевре Ариосто слишком сильно расходился с правилами классического чистого вкуса. Этот новый вид, сочетающий в себе привлекательность романтики с простотой эпической поэзии, был подарком, который Тассо в возрасте восемнадцати лет стремился

преподнести Италии в своем "*Ринальдо*". "*Ринальдо*" довольно хорошо соответствовал условиям, выдвинутым его автором. В нем был единственный герой и единственная тема —

Canto i felici affanni, e i primi ardori,
Che giovinetto ancor soffrì Rinaldo,
E come il trasse in perigliosi errori
Desir di gloria ed amoroso caldo.

Опасные достижения и страсть Ринальдо в юности составляют тему стихотворения, которое систематически развивается от первой встречи сына Амона с Кларисой до их брака под покровительством Малагиджи. Есть интересные эпизоды, подобные тем, что произошли с юными Флориндо и Олиндой, несчастной Клизией и брошенной Флорианой. Битва Ринальдо с Орландо в христианском лагере представляет собой анагноризис, в то время как сюжет доводится до своего завершения перипетиями ревности Клариче и несчастными случаями, которые возвращают ее в объятия возлюбленного. И все же, соблюдая свои собственные классические правила, Тассо во всех существенных моментах оставался под влиянием романтического эпоса. Изменения, которые он внес, были очевидны только профессиональным критикам. В "основе и гав" *Ринальдо* похож на "Сказку о рыцарстве" Боярдо и Ариосто; только ткацкий станок более узкий, а рисунок полотна менее сложный. Атмосфера безыскусственности, которая придавала очарование Романтике в Италии, исчезла, уступив место постоянной разработке латинизирующего стиля. В остальном ткань остается практически неизменной — как в готическом жилище, обставленном палладианскими оконными рамами. Мы возвращаемся в старой знакомой сфере паладинов и пейнимов, странствующих рыцарей и восточных девиц, волшебников и огорченных дев. Действие происходит из той же серии чудесных приключений и счастливых неудач. Те же столкновения на войне и соперничество в любви между христианскими и языческими чемпионами; путешествия по неоткрытым землям и неисследованным океанам; фантастические гиперболы желания, честолюбия, ревности и ярости, используемые в качестве мотивов страстей. Зачарованные леса; сказочные корабли, скользящие по волнам без руля и лоцмана; копья, наделенные сверхъестественными способностями; зачарованные сады вечной весны; мрачные подземелья и сверкающие дворцы - все это составляет убранство этого романа не меньше, чем его предшественников. Ринальдо, как и любой другой герой эпохи Возрождения, движим жгучей жаждой славы и слепой преданностью женской красоте. Мы впервые видим, как он предается бесславному отдыху[64]:—

Poi, ch'oprar non poss'io che di me s'oda
Con mia gloria ed onor novella alcuna,
O cosa, ond' io pregio n'acquisti e loda,
E mia fama rischiari oscura e bruna.

Видение Клариссы, похожей на Камиллу Вирджила, выводит его из летаргии. Он влюбляется с первого взгляда, как это всегда бывает у героев Тассо, и клянется доказать ей, что он достойный рыцарь, совершив беспримерно смелые поступки. Таким образом, сюжет приводится в движение; и мы читаем в четко выстроенном порядке, как герой приобрел своего коня Байардо, волшебное копье Тристрама, свой меч Фусберту из Атланте, свои доспехи из Орландо,

убранство своего боевого коня из Дома вежливости, эмблему льва на щите из Чиарелло и руку своей дамы после некоторых задержек из Маладжиджи.

В роман не привносится никакого нового принципа. Как и в более ранних стихотворениях этого рода, религиозный мотив христианского мира, находящегося в состоянии войны с исламом, становится простой машиной; рыцарское окружение предоставляет средство для фантастических приключений. Юмор, действительно, бросается в глаза своим отсутствием. Карл Великий принимает на себя сдержанность империи; и его лагерь в своей упорядоченной серьезности является прообразом лагеря Гоффредо в *Иерусалиме*.^[65] Таким образом, оригинальность Тассо следует искать не в материале его творчества, который в точности соответствует итальянской романтической школе в целом, и не в его форме, которая отходит от романтической традиции в деталях, столь незначительных, что они несущественны. Мы находим это скорее в его прикосновении к старому материалу, в его обращении со знакомой формой. Такие качества, как стиль, симпатия, сентиментальность, выбор фраз и образов, которые определили его индивидуальность как поэта, сделали *Ринальдо* новинкой в литературе. Поэтому будет полезно на некоторое время сосредоточить внимание на тех субъективных особенностях, по праву которых *Ринальдо* причисляется к предшественникам *иерусалимлян*.

Первым и наиболее заметным из них является явная попытка улучшить стиль за счет подражания латинским поэтам. Главный гений произведения - Вергилий. Пикантная флорентийская идиома Пульчи; откровенная и естественная ломбардская манера Боярдо; прозрачная и раскованная современная фраза Ариосто были вытеснены помпезной запутанностью конструкции.

Попытка навязать итальянскому латинские правила синтаксиса очевидна в таких строках, как следующие:^[66]

Torre ei l'immagin volle, che sospesa
Era presso l'altar gemmato e sacro,
Ove in chiaro cristal lampade accesa
Fea lume di Ciprigna al simulacro:

или в этих:

Umida i gigli e le vermiglie rose
Del volto, e gli occhi bei conversa al piano,
Gli occhi, onde in perle accolto il pianto uscia,
La giovinetta il cavalier seguia.

Вергилию прямо подражают там, где он меньше всего достоин подражания, в деталях его боевых произведений. Таким образом:^[67]

Si riversa Isolier tremando al piano,
Privo di senso e di vigore ignudo,
Ed a lui gli occhi oscura notte involve,

Ed ogni membro ancor se gli dissolve.

Quel col braccio sospeso in aria stando,
Nè lo movendo a questa o a quella parte,
Chè dalla spada ciò gli era conteso,
Voto sembrava in sacro tempio appeso.

Mentre ignaro di ciò che 'l ciel destine,
Così diceva ancor, la lancia ultrice
Rinaldo per la bocca entro gli mise,
E la lingua e 'l parlar per mezzo incise.

Это подражание Вергилиану дает несколько ярких цветов поэзии в более длинных отрывках описания. Среди них можно назвать завоевание Байардо во второй песни, кораблекрушение в десятой, колесницу Плутона в четвертой и ужин с королевой Флорианой в девятой.

Эпизод с Флорианой, хотя и внимательно изученный по "Энеиде", также является первым наброском к эпизоду с Армидой. Действительно, следует мимоходом сказать, что Тассо предвосхищает *Иерусалим* во всем *Ринальдо*. Убийство Ансельмо Ринальдо (Песнь XI) предсказывает убийство Джернандо его тезкой и приводит к тому же результату - изгнанию героя. Кораблекрушение, сад вежливости, заколдованная лодка и заколдованный лес - вот мотивы, которые вновь появляются в улучшенном виде в шедевре Тассо.[\[68\]](#)

В то время как Тассо, таким образом, стремился улучшить дикцию с помощью латинизмов, он раскрыл еще одно специфическое качество своей манеры в *Ринальдо*. Это неспособность поддерживать героический стиль на его амбициозном уровне. В конце октавной строфы он часто переходит к прозаическому двустистию, которое производит впечатление пафоса. Примеры искать недалеко:[\[69\]](#)

Già tal insegna acquistò l'avo, e poi
La portar molti de'nipoti suoi.

E a questi segni ed al crin raro e bianco
Monstrava esser dagli anni oppresses e stanco.

Fu qui vicin dal saggio Alchiso il Mago,
Di far qualch'opra memorabil vago.

Io son Rinaldo,

Solo di servir voi bramoso e caldo.

Удвоение эпитетов и случайное использование длинных звучных латинских слов, которые характеризуют более позднюю манеру Тассо, также заметны в этих двустушиях. Рядом с такими слабыми окончаниями следует поместить несколько не менее характерных образцов энергичных и благородных линий:[70]

Nel cor consiston l'armi,
Onde il forte non e chi mai disarmi.

Si sta placido e cheto,
Ma serba dell'altiero nel mansueto.

Если *Ринальдо* олицетворяет более зрелые черты стиля Тассо, это не менее заметно из-за того, что проливает свет на его выдающиеся поэтические способности. Ничто так решительно не отличало его от ранних поэтов-романтиков, как власть над патетическими чувствами, выраженная в мелодичных интонациях ораторского искусства. Это проявляется в монологе Кларисы о любви и чести, той битве душ, которая составляет главную особенность текстов в "*Аминте*" и эпизода с Эрминией в "*Иерусалиме*".[71] Это погружает всю историю Клизии в восхитительную меланхолию, предвещающую сцену смерти Клоринды.[72] Это звучит в плаче отца над своим убитым Угоне, в музыке трезвучия, которое теперь напоминает Еврипида, а теперь напоминает нам о средневековых литаниях.[73] Порицание может быть вынесено риторическому тщеславию и холодной аффектации в этих характерных излияниях патетических чувств. И все же никто не может игнорировать их плавную мелодию, их передачу эмоций через звук в модулированный стих.

Этот лирический возглас, находящий ритмическое выражение нежным чувствам, который можно признать главным дополнением Тассо к романтической поэзии, пронизывает, как песня, многие отрывки простого повествования. Ринальдо, унося Кларису на Байардо, без всяких целомудренных намерений в сердце, просит ее таким образом осушить слезы:[74]

Egli dice: Signora, onde vi viene
Sì spietato martir, sì grave affanno?
Perchè le luci angeliche e serene
Ricopre della doglia oscuro panno?
Forse fia l'util vostro e 'l vostro bene
Quel ch'or vi sembra insupportabil danno,
Deh! per Dio, rasciugate il caldo pianto.
E l'atroce dolor temprate alquanto.

Дело не в том, что мы не находим подобных лирических вставок в повествовании Ариосто. Но Тассо превратил лиризм октавной строфы в нечто особенное, убаюкивая душу нежными волнами нарастающего и спадающего ритма, предвещающая грядущую эпоху музыки в каденциях, которые невозможно перевести иначе, как с помощью вокальной мелодии. Подобным же

образом идиллия, сыгравшая заметную роль в романе Боярдо и в романе Ариосто, с особой нежностью отделяется от хода повествования Тассо. Это проявляется в истории Флориндо, которая содержит в себе зародыш *Аминты*, *пастора Фидо* и *Адоне*.^[75] Вместе с безвкусицей искусственной пасторали, ее нелепым костюмом (строфа 13), роскошью слез (строфа 23) мы обнаруживаем тиранию поцелуев (строфы 28, 52), тоску по Золотому веку (строфа 29) и всем прочим аппаратом этого оперного вида. Тассо был первым поэтом, окутавшим Аркадию золотым послеполуденным светом чувственно-сентиментального пафоса. В его идиллических, как и в его лирических перемежениях, мелодия, кажется, абсолютно необходима для интерпретации и завершения пронзительного ритма его нежных номеров. Эмоции до такой степени преобладают над разумом, так стремятся выразить себя в звуке и пренебрегают законами языка, что мы уже находим в *знакомом* Ринальдо Тассо "Не так че", которое постоянно используется для обозначения чувств, для которых простых слов недостаточно неопределенно.....

"Ринальдо" был очень примечательной постановкой для восемнадцатилетнего молодого человека. Это показало, что поэт владеет своим стилем и продемонстрировал особые способности своего воображения. Теперь Тассо ничего не оставалось, как совершенствовать и развивать тот тип искусства, который он там создал. Вскоре после своего первого поселения в Ферраре он начал обдумывать более амбициозное начинание. Его целью было создать героическую поэму, которой так долго ждала Италия, и таким образом соперничать или превзойти славу Ариосто. Трессино выбрал национальную тему для своего эпоса; но "*Италия освобождения*" была признанным провалом, и ни прошлое, ни нынешние условия итальянского народа не давали хорошего материала для серьезной поэмы. Героический энтузиазм той эпохи был религиозным. Возрожденный католицизм занял позицию неповиновения. Общество Иисуса объявляло свой крестовый поход против ереси и неверия по всему миру. Не прошло и четверти века с тех пор, как Карл V напал на мусульман в Тунисе; и не прошло еще нескольких лет, как итальянскому и испанскому флотам предстояло одержать победу при Лепанто. Таким образом, Тассо повиновался мудрому инстинкту, когда выбрал темой своего рассказа первый крестовый поход, а героем - Готфрида Булонского. Имея дело с историческими фактами, он изучал лучшие источники из хроник, рылся в таких доступных тогда книгах по географии и путешествиям, уделял внимание топографии и стремился придать деталям своей поэмы то, что мы сейчас называем местным колоритом. Не жертвуя правдой ни в одном важном пункте, он ухитрился придать единство ходу своего повествования, переплетая ряд вымышленных персонажей и чудесных обстоятельств с историческими персонажами и реальными событиями крестового похода. Жизненный интерес "*Иерусалимского освобождения*" проистекает из этого вставленного материала, из любви Ринальдо и Танкреды, из приключений языческих девиц Эрминии, Армиды и Клоринды. "*Джерусалемме*" на самом деле является вергилианским эпосом, на основе которого была написана романтическая поэма. Гоффридо, идеализированный до статной холодности, повторяет добродетели Энея; но эпизод с Дидоной, оживляющий героя Вергилия, перенесен на роль Ринальдо в рассказе Тассо. Битвы крестоносцев и сарацин - скучные копии битвы из десятой "Энеиды"; но дуэли Танкреды с Клориндой и Арганте дышат духом и огнем рыцарства. Небесный и inferнальный советы, принятые как механизм, напоминают соперничающие группировки на Олимпе; но сила, с помощью которой развивается сюжет, - это любовь. Плутон и ангел Гавриил бездействуют по сравнению с Армидой, Эрминией и Клориндой. Тассо действительно думал, что пишет

религиозную и героическую поэму. То, что он написал, было поэмой чувства и страсти - романтикой. Подобно Анакреону, он мог бы воскликнуть:

θέλω λέγειν Ἀτρεΐδας
θέλω δὲ Κάδμον ἄδειν,
ἃ βάρβιτος δὲ χορδαῖς
Ἔρωτα μούνον ἤχει.

(тело легейн Атрейдас, тело де Кадмон адейн, ха барбитос де хордэ Эрота мунон эчей.)

Он действительно проявил изумительную изобретательность и искусство, так соединив два направления своей темы - величественную виргилианскую историю и яркий современный роман, что они должны были внести свой вклад в создание единого сюжета. Однако ему не удалось оживить первое, тогда как второе будет жить до тех пор, пока сохраняется человеческий интерес к поэзии. Никто из тех, кто изучал *Иерусалим*, не возвращается с удовольствием к Гоффредо и не чувствует, что его вдохновляет благочестие христианских героев. Он пропускает песню за песней, посвященной крестовому походу, чтобы остановиться на тех лирических излияниях любви, горя, тоски, напрасного раскаяния и оскорбленной привязанности, которые высший поэт чувств изобрел для своих героинь; он признает подлинное вдохновение в пасторальной идиллии Эрминии, в чувственном очаровании Армиды, в предсмертных словах Клоринды, в песне сирены и музыке волшебной птицы: во всем, собственно, что не является благочестивым в поэме.

Танкреди, между Эрминией и Клориндой, одна женщина, обожающая его, другая, любимая им, — меланхоличная грациозная современная Танкреди, воплощение души самого Тассо, — настоящий герой "*Иерусалимлянина*"; и по странному непреднамеренному правилу приличия он исчезает из действия до конца, не сказав ни слова. Сила стихотворения одухотворена и сконцентрирована в смерти Клоринды, которую можно привести как пример возвышенности в пафосе. Это идиллическое воплощение в эпизоде "Эрминия среди пастухов" и чувственное воплощение в непревзойденной красоте сада Армиды. Ринальдо занимает второе место по значимости после Танкреди; а Гоффредо, которому Тассо дарит рев своей виргилианской трубы от первой до последней строки, поэтически вообще не имеет значения. Арганте, Солимано, Тисаферно вызывают наш интерес и вызывают симпатию, которую мы не можем пощадить к святому герою; и в "Смерти Солимано" стиль Тассо на этот раз граничит с трагическим величием.

К чему стремился Тассо в *Иерусалиме*, так это к благородству. Это качество не было заметным в творчестве Ариосто. Если бы он смог достичь этого, его амбиции соперничать с *Орландо Фуриозо* были бы удовлетворены. Одно из главных условий успеха, которое Тассо привнес в достижение. Сам его ум был в высшей степени благороден, неспособен к низости, сосредоточен на справедливых и достойных объектах созерцания. Однако личное

благородство, отличавшее его как мыслителя и человека, не относилось к героическому типу. В его вдохновении не было ничего гомеровского, в его натуре не было ничего от воина или патриота. Его гений, следуя своим пристрастиям, находил инстинктивное выражение в элегиях и идиллиях, в медитативной риторике и пасторальной мелодии. Чтобы принять на себя героический характер, Тассо прибегнул к учености и слепо отдался руководству латинских поэтов. Это соответствовало тенденции классического Возрождения; но поскольку тема, достойная эпического стиля, была христианской и средневековой, возник диссонанс между содержанием и манерой, доходящий почти до неискренности. Некоторые примеры сделают смысл этой критики более очевидным. Когда Гоффредо отвергает посольство Атлете и Арганте, он заявляет о своем твердом намерении освободить Иерусалим, несмотря на непреодолимые опасности. Крестоносцам остается только погибнуть:

Noi morirem, ma non morremo inulti. (i. 86.)

Это, конечно, воспоминание о последних словах Дидоны, и разница между двумя ситуациями создает неприятное несоответствие. Кивок Юпитера на Олимпе переводится как выражение воли Всемогущего (xiii. 74); Гавриил украшен перьями и цветами Меркурия (i. 13-15); сами ангелы, грешащие вокруг трона, становятся "ныряющими сиренами" (xiv. 9); небесный арсенал описывается в терминах, которые сводят копье Михаила и стрелы мора к обычному оружию (vii. 81); Ад наполнен гарпиями, кентаврами, гидрами, питонами, обычным деревом классического Тартара (iv. 5); ангел, посланный вылечить рану Гоффредо, отбирает диттани на Иде (xi. 72); герольды, стоящие между Танкредо и Арганте, держат мирные скипетры и не имеют ничего от рыцарства (vi. 51). Можно сказать, что и Данте до Тассо, и Мильтон после него использовали схожий классический язык, имея дело с христианскими и средневековыми мотивами. Но это вряд ли послужит оправданием; ибо Данте и Мильтон выражают столь глубокую убежденность в религиозной серьезности, что их латинизмы, даже при всей их неуместности, признаются простой оболочкой глубоко прочувствованных идей. Возвышенность, серьезность, духовное достоинство заключены в их мысли, а не в ее выражении; тогда как Тассо слишком часто оставляет нас с уверенностью, что он стремился с помощью церемониального языка осознать больше, чем мог бы охватить воображением. В своем совете сил ада, например, он создает чудовищ огромных размеров и статной отчетливости; но они не гротескно ужасны, как у Данте, и не являются духами с неисчислимой способностью творить зло, как у Мильтона.

Stampano alcuni il suol di ferine orme,
E in fronte umana ban chiome d'angui attorte;
E lor s'aggira dietro immensa coda,
Che quasi sferza si ripiega e snoda.

Против этого мы должны противопоставить ужасную сцену сатаны с его ангелами, превратившимися в змей (*Пар. Утрачено*, х. 508-584), и дантовский ужас "вермо рео че мондо форум" (*Inf.* xxxiv. 108). Снова, когда Данте плачет —

O Sommo Giove,
Che fosti in terra per noi crocifisso!

мы чувствуем, что латинская фраза случайна. Дух поэта остается глубоко христианским. Иегова-Юпитер Тассо - это всегда "il Re del Ciel"; и двор благословенных духов, который окружает его "гран сегио", хотя и описан с торжественной помпезностью фраз, не может сравниться с Мистической Райской розой (ix. 55-60). Чего не хватает Тассо, так это подлинности видения; и его утонченный стиль только делает более очевидной эту бедность воображения, этот недостаток духовной убежденности.

Его частые заимствования из Вергилия менее неудачны, когда иллюстрируемый предмет не относится к этому возвышенному разряду. Множество сравнений (vii. 55, vii. 76, viii. 74) были пересажены с соблюдением всех приличий. Многие описания, такие как "приближение ночи" (ii-96), "соловей, оплакивающий своих детенышей" (xii. 90), "Летающий сон" (xiv. 6), переведены с изысканным вкусом. Страстное обращение Дидоны к Энею вновь уместно звучит в устах Армиды (xvi. 56). Мы приветствуем такие отборные фразы, как следующие:

l'ortice dispensa

Cibi non compri alia mia parca mensa (vii. 10).

Premier gli alteri, e sollevar gl'imbelli (x. 76).

E Tisaferno, il folgore di Marte (xvii. 31).

Va, vedi, e vinci (xvii. 38).

Ma mentre dolce parla e dolce ride (iv. 92).

Chè vinta la materia è dal lavoro (xvi. 2).

Non temo io te, nè tuoi gran vanti, o fero:

Ma il Cielo e il mio nemico amor pavento (xix. 73).

Можно, однако, заметить, что в последнем из этих отрывков Тассо не проявляет просто способности к различению. Турн сказал:

Non me tua fervida terrent

Dicta, ferox: Di me terrent et Jupiter hostis.

"От Юпитера к любви" - это нисхождение от возвышенности к пафосу. Точно так же, когда призрак Гектора вновь появляется в призраке матери Армиды,

Quanto diversa, oimè, da quel che pria
Visto altrove (iv. 49),

воспоминание наводит на мысли, неблагоприятные для современной версии.

В своих описаниях сражений, сбора армий и военных операций Тассо не опирается ни на средневековые источники, ни на собственный опыт, но подражает батальным образам Вергилия и Лукана, иногда с прекрасным риторическим эффектом, а иногда с утомительной холодностью. Смерть Латино и его пятерых сыновей трогательна сама по себе и является хорошим примером этого виргилианского маньеризма (ix. 35). Смерть Дудоне справедливо отмечена как образец успешного подражания (iii. 45):

Cade; e gli occhi, ch'appena aprir si ponno,
Dura quiete preme e ferreo sonno.

"Рана Жерниеро", напротив, иллюстрирует опасность погони за тщеславием в низшей манере мастера (ix. 69):

La destra di Gerniero, onde ferita
Ella fu pria, manda recisa al piano;
Tratto anco il ferro, e con tremanti dita
Semiviva nel suol guizza la mano.

То же самое можно сказать о ранении Альхазеля (ix. 78) и смерти Ардонио (xx. 39). В описании вырубki леса (iii. 75, 76) и сбора египетской армии (xvii. 1-36) виргилианский стиль Тассо достигает подлинного величия и поэтической красоты.

Тассо был никем иным, как образованным поэтом. Было бы легко проиллюстрировать то, что он позаимствовал у Лукреция, или указать, что пафос явления Клоринды Танкреды после смерти - это долг перед Петраркой. Однако здесь может быть достаточно указать шесть фраз, взятых непосредственно из Данте; поскольку "Божественная комедия" была мало изучена во времена Тассо, и выбор им этих строк свидетельствует о его вкусе. Это:

Onorate l'altissimo campione! (iii. 73: *Инф.* iv.)

Goffredo intorno gli occhi gravi e tardi (vii. 58: *Инф.* iv.).

a riveder le stelle (iv. 18: *Инф.* xxxiv.). в

Ond' è ch'or tanto ardire in voi s'alletti? (ix. 76: *Инф.* ix.)

A guisa di leon quando si posa (x. 56: *Пург.* vi.)

e guardi e passi (xx. 43: *Inf.* in.)

Как в "*Ринальдо*", так и в "*Иерусалиме*" классические наклонности Тассо привели его к искажению чистого итальянского языка. Боясь того, что естественно и обыденно, он создал то, что искусственно и тщеславно. Отсюда и возникли вовлеченные октавы, подобные следующим (vi. 109):

Siccome cerva, ch'assetata il passo
Mova a cercar d'acque lucenti e vive,
Ove un bel fonte distillar da un sasso
O vide un fiume tra frondose rive,
Se incontra i cani allor che il corpo lasso
Ristorar crede all'onde, all'ombre estive,
Volge indietro fuggendo, e la paura
La stanchezza obbliar face e l'arsura.

Образ прекрасен, но дикция тщательно продумана, риторически расплывчата. Мы находим ту же стилистическую инволюцию в этих строках (xii. 6):

Ma s'egli avverrà pur che mia ventura
Nel mio ritorno mi rinchiuda il passo,
D'uom che in amor m'è padre a te la cura
E delle fide mie donzelle io lasso.

Прозрачный источник родной речи в этих, как и во многих других отрывках шедевра Тассо, нарушен схоластическими уловками. Он также еще не освободился от слабости *Ринальдо*. Пытаясь воспарить на заимствованных перьях псевдоклассической возвышенности, он часто отступал, утомленный этим неумелым стремлением к прозе. Неуклюжие окончания строф, внезапные переходы от высокопарной дикции к заурядной - не редкость в *Иерусалиме*. Поэт, неуверенный в собственном вдохновении, искал вдохновения в книгах. И снова великолепием отдельных линий *Иерусалим* напоминает нам о *Ринальдо*. Тассо обрел чувство ритма, выбрав латинские прилагательные и наречия с напыщенными интонациями. Ни один стихосложитель до своего времени сознательно не использовал звучную музыку таких строк, как следующие: —

Foro, tentando inaccessibil via (ii. 29).

О любви к Арко, неизбежной в будущем (iii. 24).

Questa muraglia impenetrabil fosse (iii. 51).

Furon vedute fiammeggiare insieme (v. 28).

Квалифицированный капитан, защищающий землю (ст. 64).

Sotto l'inevitabile tua spada (xvi. 33).

Необъятная уединенная арена (XVII. I).

Последняя из этих строк представляет впечатляющий пейзаж в трех мелодичных словах.

Эти словесные и стилистические критические замечания не направлены на то, чтобы бросить упрек Тассо как поэту. Если они и имеют какую-то ценность, то это тот свет, который они проливают на условия, в которых поэту приходилось работать. Гуманизм и католическое Возрождение довели этого величайшего гения своего времени до необходимости облекать религиозные чувства в схоластическую фразеологию с целью достижения эпического величия. Но католическое возрождение не было возрождением христианства из живых источников; и гуманизм исчерпал себя в Италии и заканчивал свой путь в песках критического самосознания. Таким образом, благочестие у Тассо кажется поверхностным и условным, а не глубоко прочувствованным или изначально энергичным; в то время как ученость, которая обеспечила его эпический стиль, скрупулезна и робка.

Еще предстоит указать на непреходящие качества Тассо как современного поэта; и к этой более благодарной части моих рассуждений я сейчас обращаюсь. В первую очередь многое можно было бы сказать о его риторическом мастерстве — гибкости языка в его руках и обильности мысли, благодаря чему он был способен украшать различные ситуации и изображать разнообразие страстей с соответствующей дикцией. Приводит ли Алете искусные доводы в пользу соблазнения, или Гоффредо отвечает на его софизмы хорошо взвешенными аргументами; обращается ли Плутон к властителям ада, или Эрминия колеблется между любовью и честью; изливает ли Танкреди крайность своего отчаяния, или Армида осыпает упреками Ринальдо в его бегстве; музыкальные и блестяще отточенные строфы без изменения стиля соответствуют каждой градации настроения говорящего. В этом искусстве риторики Тассо, по-видимому, взял за образец Ливия; и многие из его речей, украшающих более серьезные части его поэмы, отличаются лаконичной сентенциальной мудростью.

В "Фантазии" Тассо не был так богат и изобретателен от природы, как автор "*Орlando Фуриозо*". И все же из его сравнений и метафор можно было бы составить галерею законченных картин. Какая гордость и стремительность характерны для этого видения молнии:

Grande ma breve fulmine il diresti,
Che inaspettato sopraggiunga e passi;
Ma del suo corso momentaneo resti
Vestigio eterno in dirupati sassi (xx. 93).

Как нежно тронута это восхождение утренней звезды из океана:

Qual mattutina Stella esce dell'onde
Rugiadosa e stillante; o come fuore

Spuntò nascendo già dalle feconde
Spume dell'oceano la Dea d'amore (xv. 60).

Вот изображение, выполненное в стиле Ариосто. Клоринда получила рану на непокрытой голове:

Fu levissima piaga, e i biondi crini
Rosseggieron così d'alquante stille,
Come rosseggia l'or che di rubini
Per man d'illustre artefice sfaville (iii. 30).

Цветы дарят поэту изысканные оттенки:

D'un bel pallor ha il bianco volto asperso,
Come a gigli sarian miste viole (xii. 69).

Quale a pioggia d'argento e mattutina
Si rabbellisce scolorita rosa (xx. 129).

Иногда картина досконально проработана, как миниатюра:

Così piuma talor, che di gentile
Amorosa colomba il collo cinge,
Mai non si scorge a sè stessa simile,
Ma in diversi colori al sol si tinge:
Or d'accesi rubin sembra un monile,
Or di verdi smeraldi il lume finge,
Or insieme li mesce, e varia e vaga
In cento modi i riguardanti appaga (xv. 5).

Иногда стиль широк, штрихи энергичны:

Qual feroce destrier, ch'al faticoso
Onor dell'arme vincitor sia tolto,
E lascivo marito in vil riposo
Fra gli armenti e ne' paschi erri disciolto,

Se il desta o suon di tromba, o luminoso
Acciar, cola tosto annitrendo è volto;
Già già brama l'arringo, el'uom sul dorso
Portando, urtato riurtar nel corso (xvi. 28).

Я ограничусь ссылкой на превосходно продуманное сравнение громоздкого галеона в море, атакованного более быстрым и маневренным судном (xix. 13), которое, возможно, навело Фуллера на мысль о его знаменитом сравнении Шекспира и Бена Джонсона в "Их остроумных встречах".

Но Тассо действительно был самим собой, несравненным и неприступным, когда писал в том настроении, которое музыканты называли бы *largo e maestoso*.

Giace l'alta Cartago; appena i segni
Dell'alte sue ruine il lido serba.
Muoino le città, muoino i regni;
Copre i fasti e le pompe arena ed erba;
E l'uomo d'esser mortal par che si sdegni!
Oh nostra mente cupida e superba! (xv. 20).

Он совершенен в своей размеренной меланхолии, текучем течении своей величественной простоты. Та же музыкальная широта, та же благородная сладость пронизывают пассаж о вечной красоте небес по сравнению с кратковременным блеском женских глаз:

oh quante belle
Luci il tempio celeste in sè raguna!
Ha il suo gran carro il di; le aurate stelle
Spiega la notte e l'argentata luna;
Ma non è chi vagheggi o questa o quelle;
E miriam noi torbida luce e bruna,
Che un girar d'occhi, un balenar di riso
Scopre in breve confin di fragil viso (xviii. 15).

Кульминацией этой словесной музыки являются две песни земной радости, *песнопения любви*, или гимны мольбам уре, исполняемые министрами Армиды (xiv. 60-65, xvi. 12, 13). Боярдо и Ариосто изобразили соблазны зачарованных садов, где доблесть была покорена красотой, а добродетель притуплена сладострастными наслаждениями. Тассо оставалось передать эту магию чувств вокальным путем. Из миртовых рощ Оронта, из очарованного лета среди снегов на горах Счастливого острова эти стихи с их проникающей сладостью, их затяжным сожалением переходят в тишину души. В высшей степени характерно для настроения и возраста Тассо, что мелодия обеих этих сладких песен должна трепетать от грусти. Природа воюет с честью; молодость увядает, как цветок; поэтому давайте любить и отдавать наши сердца удовольствиям, пока мы можем. *Sehnsucht*, душа современного чувства, внутреннее ядро современной музыки, вступает в сферу искусства с этими двумя гимнами. Разделение ума, колеблющегося между естественным импульсом и приобретенной моралью, придает тон меланхолии единому песнопению. В другом призыв к самоотречению смешивается с предсказанием старости и смерти. Из древних только Катулл в своей "песне Лесбии" затронул эту ноту; возможно, только Вийон в своей "Балладе о мертвых дамах" затронул ее среди современников до Тассо. Но с тех пор она продолжает звучать на протяжении веков, которые наслаждались роскошью скорби в музыке.

Если Танкреди - настоящий герой *Иерусалима*, то Армида - героиня. Действие эпоса следует за ее движениями. Она сочетает роли Анжелики и Альцины в одном оригинальном произведении. Колдунья, посланная силами ада победить крестоносцев, Армида влюбляется в христианского защитника. Любовь превращает ее из прекрасной белой ведьмы в женщину.[76] Когда она встречает Ринальдо в битве, она тщетно выпускает все свои стрелы в человека, который бросил ее. Один за другим они взлетают и падают; и когда они совершают свой полет, Любовь ранит ее собственное сердце своими стрелами:

Scocca l' arco più volte, e non fa piaga
E, mentre ella saetta, amor lei piaga (xx. 65).

Затем она поворачивается, чтобы умереть в одиночестве. Ринальдо следует за ней и останавливает ее в суицидальном акте. Презираемая и отвергнутая, она не может ненавидеть его. Мужчина, которого она опутала своими уловками, покорил ее природу. Раскаявшемуся слугителю ада он предлагает крещение; и Армида соглашается:

Sì parla, e prega; e i preghi bagna e scalda
Or di lagrime rare, or di sospiri:
Onde, siccome suol nevosa falda
Dov'arde il sole, o tepid' aura spiri,
Così l'ira che in lei pareva sì salda,
Solvesi, e restan sol gli altri desiri.
Ecco l'ancilla tua; d'essa a tuo senno
Dispon, gli disse, e le fia legge il cenno (xx. 136).

Это превращение чародейки в женщину из "Армиды" является кульминацией *"Иерусалима"*. Это также кульминация и завершение итальянской романтической поэзии, превращение ее магии и чудес в истины человеческой привязанности. Обратите также внимание, с какой дерзостью Тассо вложил слова Марии в уста своей обращенной колдуньи! Намеренно планируя религиозно-героическую поэму, он приписывает добычу из побежденного ада любви, торжествующей в женской груди. Красота, которая сама по себе дьявольская, служанка владык Ада, достигает апофеоза через привязанность. В "Армиде" мы уже догадываемся о *дас эвиг Вайблхе* из "Фауста" Гете, где Гретхен спасает душу своего возлюбленного перед тронем Мадонны во славе.

Что же тогда Тассо, это "дитя более поздней и холодной эпохи", как назвал его Шелли, придал непреходящую ценность европейской литературе? Мы видели, что *Иерусалим* не выполнил обещания героической поэзии для того в высшей степени негероического периода. Мы знаем, что ни виргилианский герой, ни тщательно разработанная тема не вызывают интереса у потомков. Мы чувствуем, что религиозные эмоции здесь слабы и что классический энтузиазм эпохи Возрождения вот-вот иссякнет в этих латинских уловках. И все же в этом переплетенном романе есть нечто трудноанализируемое, неуловимое и мимолетное — *un non so che*, если воспользоваться любимым выражением поэта, — что приковывало внимание в шестнадцатом веке и что гармонирует с нашей собственной чувствительностью к красоте. Одним словом, Тассо был поэтом не страсти, не юмора, не благочестия, не возвышенных поступков, а той новой и неопределенной эмоции, которую мы называем Чувством. Незвестное древним, неявное в

позднесредневековом искусстве, но не развившееся четко из романтики, чуждое симпатиям Ренессанса, определяемым классическим Возрождением, чувство, *отличающееся* от современных чувств, ждало своего первого апокалипсиса в творчестве Тассо. Фраза, которую я процитировал и которая так часто встречается в стихах этого поэта, указывает на вторжение нового элемента в сферу европейских чувств. Расплывчатая, нечеткая, избегающая очертаний фраза *un non so che* оставляет определение инстинкту тех, кто чувствует, но не станет рисковать ограничением своих чувств, облекая их в слова. Ничто в античной психологии не требовало термина такого рода. Классическая литература, в тесной связи со скульптурой, имела дело с конкретными образами и сознательными мыслями. Средневековое искусство Данте, точно, математически измеренное, не испытывало в этом необходимости. Четкие инталии Боккаччо с натуры, стройные мелодии Петрарки, отточенные арабески Полициано, яркие и многоцветные карандаши Ариосто - все они, во всех их разнообразных фазах ренессансной экспрессии, отличались решительностью и твердостью рисунка. Таким образом, расплывчатости до сих пор не было места ни в европейской поэзии, ни в пластическом искусстве. Но музыка, высший символ духовной бесконечности в искусстве, теперь была близка к развитию; и особый штрих Тассо, музыканта-поэта, к портретной живописи и чувству, вызвал это качество расплывчатости, расплывчатости, которая требовала от мелодии передать то, что язык отказывался принять. Мендельсон, когда кто-то спросил его, что подразумевается под музыкой, ответил, что для его сознания она имеет значения, более безошибочные, чем те, которые передают слова; но в чем заключались эти значения, он не знал или не мог прояснить. Эта определенность чувства, кажущаяся расплывчатой только потому, что она выходит за рамки языка в областях тона, цвета и эмоций, - это то, что *non so che* предлагает Тассо тем, кто понимает. И Тассо, своим частым обращением к ней, своим переходом от пластики к мелодической сфере поэтического искусства, проявил себя первым по-настоящему сентиментальным художником нового времени. Именно это дало ему более широкую и прочную власть над сердцем на протяжении следующих двух столетий, чем та, на которую претендовал Ариосто.

Возможно, будет полезно подробно изучить использование Тассо фразы, которой было придано такое большое значение в предыдущем абзаце. Впервые мы встречаемся с ним в эпизоде "Олиндо и Софрония". Софрония, из всех героинь *Иерусалимской* книги, наименее интересна, несмотря на ее великодушную лживость и иезуитское принятие мученичества. Олиндо затрагивает слабые струны нашей симпатии своей женской преданностью женщине, стоящей выше него по моральной шкале, любовь которой он завоевывает великолепной ложью, равной ее собственной. Эпизод, совершенно не связанный с действием поэмы, мало что говорит о ней, если исключить традиционно принятую отсылку к любви Тассо к Леоноре д'Эсте. Но когда Олиндо и Софрония стоят спина к спине у столба, Аладино, который приговорил их к сожжению, чувствует, как его грубую грудь охватывает внезапная жалость:

Un non so che d'inusitato e molle
Par che nel duro petto al re trapasse:
Ei presentillo, e si sdegnò; nè voile
Piegar si, e gli occhi torse, e si ritrasse (ii. 37).

Вторжение лирического чувства, ранее неведомого в груди тирана, с которым он борется с гневом и перед силой которого склоняется, подготавливает нас к счастливой *развязке*,

вызванной Клориндой. Это смутное душевное волнение, это *не совсем то, что нужно*, это чувство является реальным фактором освобождения Софронии и беатификации Олиндо.

Клоринда вот-вот отправится навстречу своей гибели. Она горит честолюбивым намерением уничтожить машины христианского воинства ночным огнем; и она призывает Арганте к своим советам:

Buona pezza è, signor, che in sè raggira
Un non so che d'insolito e d'audace
La mia mente inquieta; o Dio l'inspira,
O l'uom del suo voler suo Dio si face (xii. 5).

Таким образом, в этот торжественный момент, когда смерть определенно стоит перед глазами, когда она не знает, вдохновил ли ее Бог или она по собственному желанию создала божество, Клоринда произносит мистическое слово, выражающее смутное непреодолимое чувство.

Эрминию, взятую в плен Танкредом после осады Антиохии, приводят в палатку ее господина. Он обращается с ней с рыцарской вежливостью и предлагает ей рыцарскую защиту:

Allora un non so che soave e piano
Sentii, ch'al cor mi scese, e vi s'affisse,
Che, serpendomi poi per l'alma vaga,
Non so come, divenne incendio e piaga (xix. 94).

В этот момент, благодаря проникновению этого смутного чувства в вены и костный мозг, Эрминия становится рабыней Танкредом, и ее будущее определено.

Этих примеров, пожалуй, достаточно, чтобы показать, как Тассо в поворотные моменты судьбы своих самых дорогих персонажей вызывал неопределенные эмоции, чтобы обозначить силы, с которыми уилл тщетно борется. Но главная фраза звучит еще более тиранически в отрывке "Смерть Клоринды", который суммирует все чувства, присущие роману. Танкред давно любил Клоринду. Встретившись с ней в бою, он беззащитно выдержал ее удары, ибо Клоринда была амазонкой, низведенной мягким гением Тассо до женственности с пропорций Марфизы. Наконец, с сердцем, переполненным любовью к ней, он должен скрестить свой меч в смертельном поединке с этой леди. Злые звезды правят часом: он не знает, кто она такая: несчастье делает ее, а не его, жертвой их встречи. Своим последним вздохом она требует крещения — добрый Тассо, по-видимому, не мог отправить столь прекрасное создание своей фантазии, как Клоринда, во мрак без виатикума; и его поэзия поднимается до возвышенного пафоса в этой строфе:

Amico, hai vinto: io ti perdon: perdona
Tu ancora: al corpo no, che nulla pave;
All'alma sì: deh! per lei prega; e dona
Battesmo a me ch'ogni mia colpa lave.
In queste voci languide risuona
Un non so che di flebile e soave
Ch'al cor gli serpe, ed ogni sdegno ammorza,

E gli occhi a lagrimar gl'invoglia e sforza (xii. 66).

Здесь смутная эмоция, *не очень-то радостная*, проникает через голос Клоринды в существо Танкреды. Впоследствии она трепещет там, как стонущие ветры в эолийской лире, повергая его в отчаяние на одре болезни и вновь подтверждая свое лирическое очарование в видении Клоринды среди деревьев зачарованного леса. Он стоит перед кипарисом, где, как представляется его заблудшему воображению, заключена душа его умершей возлюбленной, и ветви шепчут ему в уши:

Fremere intanto udia continuo il vento
Tra le frondi del bosco e tra i virgulti,
E trarne un suon che flebile concento
Par d'umani sospiri e di singulti;
E un non so che confuso instilla al core
Di pietà, di spavento e di dolore (xiii. 40).

Главное слово, волшебное слово чувства Тассо, произнесено в этот момент иллюзии. У поэта нет ключа к тайнам, запертым в человеческой груди, более могущественного, чем это неопределенное *un non so che*.

Сказано достаточно, чтобы показать, как Тассо использовал могущественные чары неопределенности, когда оказывался перед сложнейшими ситуациями. В этом, по правде говоря, секрет его власти над чувствами, чары, с помощью которых он приводит природу и ночь, необъятное безлюдье пустынь, темноту лесов, завывания ветров и протяжные литании морских волн в соответствие с перенапряженной человечностью. Это было великое открытие; благодаря ему Тассо проявил себя поэтом грядущей эпохи.

Когда *Иерусалим* был завершен, Тассо сделал свою лучшую поэтическую работу. Несчастья, которые начали собираться вокруг него на тридцать первом году жизни, сделали его почти безразличным к судьбе поэмы, которая высосала из него жизненные силы и от которой он ожидал столько славы. Она была опубликована без его разрешения или надзора. Тем временем он, находясь в тюрьме С. Анна, обратил свое внимание на сочинение прозы. Длинная серия диалогов, которыми он заполнял утомительный досуг в течение семи лет, какими бы интересными они ни были по содержанию и добродушными по стилю, указывают на то, что поэт теперь бездействовал. Оставалось посмотреть, возродится ли вдохновение со свободой. Как только были отодвинуты засовы, его гений предпринял новый полет. Он долго обдумывал композицию трагедии и уже написал несколько сцен. В Мантуе в 1586-157 годах эта работа приняла форму *Торрисмондо*. Ее нельзя назвать великой драмой, поскольку она принадлежит к жесткой декламационной разновидности итальянской трагедии; а гений Тассо был романтическим, идиллическим, элегическим, каким угодно, только не подлинно трагичным. Тем не менее, стиль отличается лаконичностью и чистотой. Точно так же, как *Аминта* показала, насколько незатронутым может быть Тассо, когда пишет без предвзятых теорий об обостренной дикции, так *Торрисмондо* демонстрирует непринужденное достоинство простого диалога. Это свидетельствует о пластичности языка в руках мастера, который сознательно выбирал и поддерживал различные стили в разных видах поэзии, и заставляет нас сожалеть о том, что он сформировал свою эпическую манеру на основе столь искусственного образца. Последний

припев *Торрисмондо* заслуживает упоминания как прекрасный пример меланхолично-элегического пафоса Тассо.

Тем временем он начал испытывать недовольство *Иерусалимом*, и в 1588 году он решил переделать свой шедевр. Подлинная жизненность этого стихотворения заключалась, как мы видели, в его романтичности. Но Тассо думал иначе. В течение четырнадцати лет, прошедших с момента его завершения, юношеский пыл поэта постепенно угасал. Вдохновение уступило место критике; благочестие сменилось чувством и энтузиазмом к искусству. Поэтому на этой более поздней стадии своей зрелости, с подорванными длительными страданиями силами и пошатнувшимся здоровьем, терзаемый религиозными угрызениями совести и смутным постоянным страхом, он решил исключить роман из эпоса, сделать его тематическое единство более строгим и сосредоточить внимание на серьезных аспектах предмета. Результатом этого плана, реализованного в течение пяти лет скитаний, стала *"Иерусалимская конкистада"*, поэма, которой мир охотно позволил умереть, в которой стиль *"Иерусалимской свободы"* ухудшен, и которая теперь служит главным образом для подтверждения путем сравнения того факта, что бессмертным в творчестве Тассо был роман, который он безжалостно выкорчевал. Дальнейший шаг в этом переходе от искусства к благочестию отмечен стихотворением "О сотворении мира", которое называется *"Мертвый сад"*. Написанная чистым стихом, она религиозно, но сдержанно повествует о действиях Божественного Мастера, следуя первой главе книги Бытия и расширяя мотив каждого из семи дней с помощью простой риторики. Действия и человеческого интереса в стихотворении нет никакого; художественной красоты в нем мало. Выдержанный описательный стиль утомляет; и если бы это не было последней работой Тассо, о ней не упоминали бы потомки.

Тассо уже занимал нас на протяжении двух глав. Однако, прежде чем двигаться дальше, я должен предложить читателю ненадолго остановиться и пересмотреть, даже с риском ретроспективы и повторения, некоторые характерные черты его характера. И теперь я вспоминаю, что о его внешности до сих пор ничего не говорилось. "Тассо был высоким, хорошо сложенным человеком с очень светлым цветом лица. Его густые волосы и борода были светло-каштанового цвета. У него была большая голова, лоб широкий и квадратный, брови темные, глаза большие, живые и голубые, нос крупный и загнутый ко рту, губы тонкие и бледные". Так пишет Мансо, друг и биограф поэта, добавляя: "Голос у него был чистый и звучный; но он плохо читал свои стихи из-за небольшого затруднения в речи и из-за близорукости." Я не знаю, вправе ли я делать из этого описания вывод о том, что физически Тассо был человеком со смешанным лимфатическим и меланхоличным темпераментом, более чем обычной чувствительностью. На несовершенство, во всяком случае, указывают тонкие бледные губы, бессвязная речь и неуверенный взгляд, о котором свидетельствует его верный друг. Существует множество нарисованных портретов, изображающих Тассо в более поздний период жизни; но большинство из них, по-видимому, основаны на маске, снятой с его лица после смерти, которая все еще существует у С. Онофрио. Двадцать один год назад я смотрел на эту маску, еще до того, как узнал о жизни и творчестве Тассо больше, чем знает каждый школьник. Вот что я написал об этом в своем римском дневнике: "Лицо мягкое и вялое, особенно тонкий короткий подбородок и безвольный рот.^[77] Лоб круглый и объемный пропорционально остальным чертам лица. Глаза маленькие, но это может быть связано с предсмертным сокращением. Рот почти вульгарный, верхняя губа очень плоская; но, возможно, это также следует отнести за счет расслабления тканей в результате смерти.

От природы Тассо был склонен к задумчивым настроениям. Его взгляд на жизнь был меланхолическим.[78]

Тон его литературных произведений, будь то в прозе или стихах, элегически—музыкальный, часто ворчливо-жалобный. Тень уныния лежит на всем, что он писал, думал и действовал. И все же он был тонко чувствителен к удовольствию, трепетно восприимчив к сентиментальной красоте.[79] Хотя человек жил чисто, не запятанный распущенностью эпохи, его гений достиг наивысшей точки, когда он спел какую-нибудь мягкую роскошную мелодию любви. Ему совершенно не хватало чувства юмора. Воспринимая себя и мир людей и вещей слишком серьезно, он одинаково сильно влиял и на искусство, и на жизнь. Самые незначительные мелочи, если они его касались, казались ему важными.[80] Перед воображаемыми ужасами он дрожал, как осина. Малейшая провокация вызывала у него мгновенное негодование. Самый незначительный признак пренебрежения или холодности ранил его самолюбие. Жалобный, чувствительный к красоте, сентиментальный, нежный, обидчивый, погруженный в себя, лишенный юмора - каким разумным инструментом был этот инструмент для произведения эолийских мелодий и извлечения диссонансов из зазвеневших от бури струн!

От иезуитов в детстве он получил религиозные впечатления, которые по своему воздействию на его нервы можно было бы назвать почти месмерическими или гипнотическими. Они оставались с ним на протяжении всей зрелости; и в дальнейшей жизни болезненные угрызения совести и суеверные опасения за свою душу овладели его воображением. И все же религия не проникла в природу Тассо. В том виде, в каком он ее представлял, в ее субстанции не было ничего твердого и поддерживающего. Благодетель не было ни глубоко укоренившимся, ни врожденным, ни страстным, ни логически обоснованным во взрослом мужчине.[81] То, чем это могло бы быть, если бы не те дурацкие восторги перед Ведущим в детстве, сейчас представить невозможно. Если в нем и были черты святого или простого христианина, то они были стерилизованы и низкорослы умными отцами в их школе в Неаполе.

В годы своей лихорадочно активной юности Тассо некоторое время мучился философскими сомнениями. Но хотя он много читал и рассеянно размышлял о проблемах вселенной, ему не удалось проникнуть глубже поверхности вопросов, которыми он занимался. Его собственные убеждения не подвергались испытанию в раскаленном тигле, прежде чем он с ужасом отшатнулся от их анализа. Этот человек, проще говоря, был неспособен на честный бунт против пиетистской моды своего времени, неспособен к исследовательским усилиям и в то же время слишком умен, чтобы довольствоваться грубым догматизмом или самодовольным лицемерием. Ни как мыслитель, ни как христианин, ни опять же как эцицентрическое религиозное существо, католик контрреформации, эта благородная и простодушная, но слабая натура не достигла основательности.

Ум Тассо был живым и отзывчивым; не проницательным, не приспособленным для формирования оригинальных или всеобъемлющих взглядов. Он не жил ради какой-либо великой цели, будь то политической, моральной, религиозной или научной. Он не предавался пороку. Он не подчинялся всепоглощающей страсти любви или ненависти. В своих несчастьях он демонстрировал беспомощность, которая вызывает простую жалость к поверженному человеческому существу. Поэт, который так ворчливо жаловался, который так обильно плакал, который так беспечно забывал обиды, не может вызывать восхищения.

В страданиях Тассо нет ничего возвышенно-трагического. Чувство, навеянное ими, в лучшем случае граничит с пафосом. Почти детская поглощенность собой ограничивала его мысли, его цели и устремления узкой сферой, в пределах которой он блуждал неизлечимым идеалистом, преследуя прозаические или утилитарные цели — благосклонность принцев, место при Дворе, возвращение своего наследства - в романтическом и непрактичном духе.[82] Колеблющийся, нерешительный, сварливый, он скитался по всем городам Италии, требуя большего, чем могло дать сочувствие, истощая дружбу, переходя с места на место, от лорда к лорду. И все же какой трогательной была судьба этого увенчанного лаврами изгнанника, этого блестящего путника по большим дорогам мира, которого он никогда не понимал! Фраза Шелли "отвергнутый гость в мире", похоже, ему в точности подходит.

И все же он позволил себе стать избалованным ребенком своих несчастий. Без них, в значительной степени созданных самим собой, Тассо не смог бы сейчас понравиться нашим сердцам. Он также не привлекает нас, как Данте, вкушающий соленые лепешки со столов посетителей; как Мильтон, ослепший и павший в злые дни; как Чаттертон, погибающий в гордости и молчании; как Джонсон, отворачивающийся от лестницы Честерфилда; как Бруно, отводящий суровые глаза от распятия; как Леопарди, вливающий вирус своего страдания в вены человечества; как Гейне, неподвижный на своем матрасе могилы. Эти наиболее могущественные личности, оставившие в наследство миру примеры стойкости, заслужили венок из несмываемых гнедых, который не будет возложен на лоб Тассо. Мы увенчиваем его более хрупкими листьями, орошенными слезами, нежными, как его собственные чувства, и окруженными ореолом света, который исходит от чистых и нежных творений его фантазии.

Хотя героизм Тассо не вызывает восхищения, он вызывает сострадание как красивая и тонко одаренная натура, неспособная справиться с условиями своего века. Для поэта быть независимым в тот век интеллектуального рабства было почти невозможно. Быть беззаботными иронически равнодушным было не в характере Тассо. Человеку с его умственным образованием было не менее трудно поддерживать баланс между ортодоксией и спекуляцией, верой и разумом, классической культурой и католицизмом, Возрождением и контрреформацией. В одном смысле он принадлежал своей эпохе слишком сильно, а в другом слишком мало. Один выдающийся критик называет его единственным христианином итальянского Возрождения, другой с равной справедливостью относится к нему как к поэту-гуманисту католического Возрождения.[83]

Собственно говоря, он был гением того перехода от Возрождения к Контрреформации, на котором я подробно остановился во второй главе этой работы. По природной склонности он принадлежал к линии художников, которая началась с Боккаччо и завершилась Ариосто. Но его образование и пристрастия времени, в которое он жил, заставили его порвать с традицией Боккаччо. Он пытался быть поэтом Тридентского собора, не усвоив лицемерия и не приобретя ложного вкуса, не понимая по существу прозаической и мирской природы этой религиозной революции. Поэтому он жил и работал в постоянном раздоре. Этого может быть недостаточно, чтобы объяснить расстройство его рассудка. Я предпочитаю объяснять это усталостью от интеллектуального труда и беспокойства, воздействующими на мозг, предрасположенный к меланхолии и перегруженный задачами с младенчества. Но это объясняет моральное мученичество, которому он подвергся, и внутреннюю растерянность, которой он обычно подвергался.

Когда Тассо впервые увидел свет, итальянцы отвергли Реформацию и согласились подавить свободомыслие. Культура Возрождения была осуждена; испанская гегемония была принята. Внешними признаками этого нового отношения были конкордат между Карлом и Климентом, Тридентский собор, инквизиция и Общество Иисуса. Но эти могущественные агентства не завершили свою работу при жизни Тассо. Он был разорван надвое, потому что не мог противостоять им, как это делал Бруно, и не мог отождествлять себя с ними, как это делал Лойола. Как художник, он принадлежал к старому порядку, который уходил в прошлое, как христианин - к новому порядку, который зарождался. Его положение придворного, когда августейшая вежливость прежних Медичи была вытеснена династическим абсолютизмом, усугубляло его трудности. Принимая службу в современном духе подчинения, он мечтал о хозяевах, которые должны были бы быть меценатами, и наивно воображал, что поэты все еще могли бы жить, подобно Петрарке, на равных с принцами.

Таким образом, мы видим в Тассо человека, который подчинялся влияниям, которым его истинное "я" никогда полностью или сознательно не подчинялось. Он был не столько не в ладах со своей эпохой, сколько воплощением ее все еще негармонизированных противоречий. Пиетизм, привитый ему в Неаполе; теории искусства, усвоенные в Падуе и Венеции; классическая литература, усвоенная им во время не по годам развитого курса академических исследований; лицемерное использование аллегории для придания чувственной поэзии благопристойности; уважение к мнению критиков и диктату литературных законодателей; почтение к священникам и князьям, вставшим между душой и Богом: это были принципы, которые Тассо принял, не усвоив должным образом и не включив их содержание в свое духовное существо. Кем на самом деле был в нем поэт, мы понимаем, когда он писал, используя слова Данте, "как велит любовь"; или как говорил Платон, когда он поддавался мании Музы; или как советовал Гораций, когда он потворствовал своему гению. Именно в *Аминте*, в эпизодах "*Иерусалима*", в небольшом проценте *Инея*, мы находим настоящего Тассо. В остальном у него не было преимуществ, которыми пользовались Боярдо и Ариосто в менее застенчивую эпоху, когда он поддавался естественному порыву после полного и благожелательного изучения классических и средневековых источников. Аналитические труды предыдущего столетия препятствовали его творчеству. Он привнес в свою задачу различные и противоречивые педантизмы — педантизм католицизма, педантизм схоластики, педантизм гуманизма в его исчерпанной фазе, педантизм критики, утонченной в рамках узкого круга проблем. Более того, над его врожденным гением тяготели страхи, которые, подобно лихорадочным испарениям, вынашивались в те злые дни, в которые он жил, — страхи церковного порицания, страхи перед деспотическими князьями, страхи перед инквизицией, страхи перед адом, страхи перед судом академий, страхи перед социальными обычаями и придворными условностями. Ни как поэт, ни как человек он не обладал смелостью оригинальности. Чего ему не хватало, так это характера. Он повиновался духу своего времени в той мере, в какой не стал, подобно молодому Давиду, сбрасывать доспехи Саула и вступать в бой с филистимлянами, орудуя только своей пращей и камнем природной силы. И все же эта врожденная сила была настолько мощной, что, несмотря на все доспехи предрассудков, которые он носил, несмотря на громоздкие доспехи, предоставленные ему властью, временами он двигался с поразительной свободой. В те редкие периоды личного вдохновения он диктовал любовные истории Эрминии и Армиды, сцену смерти Клоринды, пастораль Аминты и Сильвии — эпизоды, которые создали музыку и живопись двух столетий и которые до сих пор живут на устах людей. Но поскольку его гений трудился под тяжестью прецедентов и почтения, натура поэта была напряжена до предела, а его

нервная эластичность перенапряжена. Не успел он свободно излить то, что свободно лилось из его души, как вернулся к этому со скрупулезным анализом. Продукт его духа стоял перед ним как предмет, подлежащий обсуждению, как субстанция, подлежащая испытанию всеми этими педантизмами и страхами. Мы не можем удивляться, что последующий конфликт привел в замешательство его разум и стерилизовал его творческие способности до такой степени, что он потратил вторую половину своей жизни на попытки свести на нет великую работу своего расцвета. *"Иерусалимская конкистада"* и *"Сетте Джорнале"*, таким образом, являются великолепным триумфом, достигнутым слабым над сильными сторонами его натуры, золотой данью, отданной его гением злему гению эпохи, контролирующему его. Он был поэтом, который, живи он во времена Ариосто, творил бы во всех смыслах спонтанно, создавая произведения виргилианской красоты и божественной меланхолии, соответствующие гомеровской красоте и божественной иронии своего великого сверстника. Но этому не суждено было сбыться. Дух времени, который определял его образование, с которым он был недостаточно революционен, чтобы порвать, который он стремился усвоить как критик и которому должен был подчиняться как социальное существо, разрушил его независимость, затруднил его суждения и ослабил его нервную энергию. Следовательно, его лучшая работа имела неодинаковую ценность; в ее составе смешались чистый и неблагородный металл. Его худшим результатом был бесплодный и безжизненный провал.

ГЛАВА IX

GIORDANO BRUNO

Научная предвзятость итальянцев, проверенная католическим возрождением—Отрочество Бруно—Вступает в орден Святого Доминика в Неаполе—Ранние обвинения в ереси—Сбегает в Рим—Преподает Сферу в Ноли—Посещает Венецию—Женеву—Тулузу—Париж—Его общение с Генрихом III.—Посещает Англию—Французский посол в Лондоне—Оксфорд—Литературная работа Бруно в Англии—Возвращается в Париж—Поездки в Германию—Виттенберг, Хельмштедт, Франкфурт—Приглашение Джованни Мочениго в Венецию—Его жизнь в Венеции—Мочениго осуждает передача его инквизиции —Суд над ним в Венеции—Высылка в Рим—Сожжение на костре в 1600 году—Отношение Бруно к мысли своего времени и к мысли современной Европы —Очерки его философии.

Гуманистические и художественные импульсы эпохи Возрождения в Италии были на грани истощения. Ученость пришла в упадок; страсть к античности угасла. Все те формы литературы, которые положил начало Боккаччо, — комедия, романтика, идиллия, лирика и новелла — были разработаны целой чередой великих писателей. Стало ясно, что нации не суждено создавать трагические или героические типы поэзии. Архитектура, скульптура и живопись выполнили свою задачу по развитию средневековых мотивов в свете классических моделей и теперь вступали в стадию академического маразма. И все же умственная энергия итальянцев ни в коей мере не была исчерпана. В начале шестнадцатого века Макиавелли в предвещал новый метод политической философии; Помпанаццо в Падуе и Телезио в Козенце открыли новые горизонты

для психологии и науки о природе. Казалось, что Ренессанс в Италии вот-вот приобретет свежий и более серьезный характер, не теряя при этом своего основного вдохновения. Та эволюция интеллектуальной энергии, которая началась с усвоения классики, с первых попыток критики, с выработки стиля и совершенствования художественной формы, теперь обещала вторгнуться в области метафизических и научных спекуляций. Верно, как мы видели, что теологические проблемы немецкой реформации оказали лишь незначительное влияние на итальянцев. Их мыслители уже слишком далеко продвинулись по путям современного рационализма, чтобы почувствовать актуальность вопросов, которые разделяли Лютера и Цвингли, Кальвина и Сервета, Нокса и Кранмера. Но они обещали осуществить шедевры неисчислимого масштаба в более широких областях исследований. И если бы этот прогресс не был остановлен, Италия увенчала бы и завершила процесс, начатый гуманизмом. В дополнение к интеллектуальной культуре, уже данной Европе, она, возможно, открыла правильные методы ментального анализа и физических исследований. Для этого дальнейшего шага в открытии человека и мира нация была готова направить в эту область армию новых первопроходцев — философов юга и физиков ломбардских университетов.

Гуманизм осуществил эмансипацию интеллекта культурой. Она привлекла внимание к красоте и восхитительности природы, вернула человеку чувство своего достоинства и освободила его от теологического авторитета. Но в Италии, во всяком случае, это не затронуло его совесть, его религию, его социологические идеи, более глубокие проблемы, касающиеся его отношения ко вселенной, более тонкие тайны мира, в котором он живет.

Эти *новые люди* позднего Возрождения, как называл их бэкон, эти *новатор*, как их презрительно называли в Италии, подготовили дальнейшее освобождение интеллекта наукой. Они отстаивали свободу мысли и слова, провозглашали верховную власть того внутреннего света, или внутреннего божества, которым человек владеет в своем мозгу и груди, и реабилитировали природу от клейма, наложенного на нее христианством. Чем Библия была для Лютера, тем великой Книгой Природы она была для Телезио, Бруно, Кампанеллы. Немецкий реформатор апеллировал к разуму личности как к совести; школа южной Италии аналогичным образом апеллировала к интеллекту. Разными путями Лютер и эти спекулятивные мыслители поддерживали прямое озарение человеческой души Богом, непосредственную зависимость человека от своего Создателя, отвергая церковное вмешательство и отказываясь полагаться на какие-либо принципы, кроме искренней любви к истине.

Если бы этой новой фазе итальянского Возрождения было позволено развиваться беспрепятственно, невозможно сказать, насколько раньше Европа могла бы вступить во владение тем царством непредвзятых исследований, которое теперь обеспечено для нас. Но как раз в тот момент, когда Италия осознала стоящую перед ней трудную задачу, католическая реакция проявилась со всей своей строгостью. Все еще творческий дух ее детей пал жертвой инквизиции, Конгрегации Индекса, декретов Трента, интеллектуальной покорности иезуитов, физической силы испанской тирании и римского абсолютизма. Карнесекки был сожжен заживо; Палеарио был сожжен заживо; Бруно был сожжен заживо: эти трое в Риме. Ванини был сожжен в Тулузе. Валентино Джентиле был казнен кальвинистами в Берне. Кампанелла был жестоко замучен и на двадцать семь лет заключен в тюрьму в Неаполе. Галилей был вынужден смириться перед невежественными и высокомерными монахами и спрятать голову на загородной вилле. Сарпи почувствовал на себе нож наемного убийцы и, несомненно, погиб бы по наущению своих римских врагов, если бы не защита, гарантированная ему венецианской

синьорией. Таким образом, Италия — или, скорее, скажем, Церковь, господствовавшая в Италии, — поглотила своих сынов света. Моя цель в этой главе - рассказать о жизни Бруно и дать некоторый отчет о его философии, рассматривая его как самый выдающийся пример школы, уничтоженной реакционным Римом.

Джордано Бруно родился в 1548 году в Ноле, древнегреческом городе недалеко от Неаполя. При крещении он получил имя Филиппо, которое сменил на Джордано, приняв доминиканское одеяние. Его родители, хотя и были людьми с некоторым состоянием, были бедны; и это обстоятельство, возможно, можно считать главной причиной, по которой Бруно поступил в монастырь Святого Доминика в Неаполе, не дожив до пятнадцати лет. Следует помнить, что Сарпи присоединился к сервитам в возрасте тринадцати лет, а Кампанелла - к доминиканцам в четырнадцать. В каждом из этих запоминающихся случаев, вероятно, бедность имела какое-то отношение к столь преждевременному выбору профессии. Но были и другие стимулы, которые не делали монашескую жизнь непривлекательной для молодого человека, стремящегося к знаниям в то время и в том районе, где обучение было дорогостоящим и труднодоступным. Сам Кампанелла сообщает нам, что его привлекла в орден Святого Доминика его репутация ученого и великие имена Святого Фомы Аквинского и Альберта Великого. Бруно, возможно, испытывал подобное влечение, поскольку в его душевном состоянии нет ничего, что заставило бы нас поверить, что он серьезно относился к религиозной жизни монастыря.

Во время своего послушничества он впервые вступил в конфликт с настоятелями своего монастыря. Против него было доказано, что он раздал некоторые изображения святых, оставив себе только распятие; также, что он сказал товарищу отложить рифмованную версию "Семи радостей Марии" и вместо этого почитать жития Отцов Церкви. На основании этих двух свидетельств недостаточного благочестия против него было подготовлено обвинение, которое могло привести к серьезным результатам. Но наставник послушников предпочел уничтожить документ, сохранив только памятку об этом факте для дальнейшего использования в случае необходимости.^[84] Бруно после этого события тихо соблюдал монастырскую дисциплину и получил приказ священника в 1572 году.

В этот период своей жизни, когда ему исполнилось двадцать четыре года, он посетил несколько доминиканских монастырей неаполитанской провинции и с присущим ему недостатком благоразумия вступил в богословские диспуты. Некоторые замечания, которые он позволил себе по поводу пресуществления и Божественности Христа, навели на него подозрения в арианстве, ереси, в то время широко распространенной в южной Италии. Впоследствии Бруно признался, что с раннего возраста его мучили спекулятивные сомнения относительно метафизики Троицы, хотя он всегда был готов принять эту догму на веру как добрый католик. Инквизиция взялась за это дело всерьез и начала возбуждать дела столь серьезного характера, что молодой священник почувствовал себя в опасности. Он сбежал, переодевшись в монашеское платье, и отправился в Рим, где получил допуск на короткое время в монастырь Минервы.

Мы очень мало знаем, чем он занимался до настоящего времени. Достоверно только, что он уже сочинил комедию "*Канделябр*", что служит достаточным доказательством его знакомства с мирскими нравами. Это, по сути, одно из самых свободных и откровенно сатирических сочинений для сцены, созданных в ту эпоху, и оно раскрывает предыдущее исследование Аретино. Нола, родина Бруно, славилась распущенностью своего сельского населения. Со дня

своего основания халкидийскими колонистами ее жители сохраняли свои эллинские традиции в неприкосновенности. Например, сбор винограда отмечался экстравагантными непристойными шутками, которые шокировали вице-короля Филиппа II в шестнадцатом веке.^[85] В период послушничества Бруно постановления Тридентского собора о дисциплине в монастырях еще не действовали; и вполне вероятно, что на протяжении тринадцати лет своей монастырской жизни он свободно общался с людьми и разделял юношеские радости в этом сладострастном климате. Он никогда не был щепетилен в выборе фраз и не скрывал восхищения, которое вызывала в его натуре женская красота. Обвинения, выдвинутые против него в Венеции, содержали одну статью обвинительного заключения, подразумевающую, что он придерживался явно распутных взглядов; и хотя нет ничего, что доказывало бы, что его частная жизнь была порочной, суть его философии благоприятствует большей свободе нравов, чем Церковь теоретически допускала своим служителям.^[86]

Несколько важно остановиться на этой теме, поскольку характер и темперамент Бруно, столь заметно отличающиеся, например, от характера Сарпи, в немалой степени повлияли на форму и качество его философии. Он был поэтом, одаренным острой и живой чувствительностью, открытым всеми порами для восприятия прелести природы, не испытывающим отвращения ни к чему человеческому. Ни в один период своей жизни он не был просто одиноким мыслителем или изучающим книги. Когда он пришел к философствованию, когда духовная наставница София поглотила все другие страсти в его груди, его метод изложения сохранил оттенок той более ранней фазы его опыта.

Однако не следует думать, что Бруно в этот период не занимался серьезными исследованиями. Напротив, он, по-видимому, накопил значительную эрудицию в различных областях образования: факт, который должен заставить нас остерегаться осуждения монастырского образования как неизбежно узкого и педантичного. Когда он покинул Неаполь, он приобрел достаточные знания об Аристотеле и схоластах, среди которых особое внимание уделял С. Томасу и Раймонду Люлли. Платон, изложенный Плотинем, прочно завладел его воображением. Он был сведущ в диалектике предыдущей эпохи, овладел средневековой космографией и математикой и, вероятно, уже был знаком с Коперником. Были усвоены фрагменты греческих философов, особенно Пифагора и Парменида, чья метафизика оказала сильное влияние на его сознание. Возможно, в тот же период в его руках находились и труды кардинала Кузы, теолога, применившего математику к философии. Помимо итальянского, он владел испанским языком, мог бегло писать и говорить на латыни и немного знал греческий. Очевидно, что он занимался поэзией на местном наречии под непосредственным влиянием Тансильо. Богословские исследования не были полностью забыты, поскольку он оставил после себя в Неаполе издания Иеронима и Златоуста с комментариями Эразма. Это были книги, которые подвергали своих владельцев запрету в Указателе.

Кажется странным, что доминиканец, сбежавший из своего монастыря, чтобы избежать суда за ересь, искал убежища в церкви Святой Марии Сопра Минерва, которая в то время была штаб-квартирой римской инквизиции. Мы должны, однако, помнить, что монахам была предоставлена большая свобода передвижения, которые находили временное пристанище в любом монастыре своего ордена. Без денег у Бруно не было крыши над головой, кроме дома священнослужителя, и он, вероятно, рассчитывал ускользнуть от преследования до тех пор, пока не забудутся тяготы его путешествия из Неаполя. Во всяком случае, он недолго пробыл в Риме. Вскоре до него дошла весть, что судебное преследование, начатое в Неаполе,

переносится в метрополию. Это предполагало столь серьезную опасность, что он решил тайно покинуть Рим. Бросив свое платье в крапиву, он отправился — как, мы не знаем — в Геную, а оттуда в Ноли на Ривьере. В следующий раз, когда Бруно поступил в доминиканский монастырь Святой Марии сопры Минервы, это было как преступник, приговоренный инквизицией к смертной казни.

В Ноли Бруно около пяти месяцев зарабатывал на жизнь преподаванием грамматики мальчикам и частными лекциями некоторым знатным людям о Сфере. Учение о Сфере сформировало несколько иную отрасль средневековой науки. Она включала в себя изложение астрономии Птолемея вместе с рассуждениями о местонахождении небес, движущем принципе мира и действии ангельских разумных существ. Бруно, который исповедовал эту тему в разное время на протяжении своих странствий, теперь начал использовать ее как средство распространения мнений Коперника. Несомненно, что космография легла в основу его философии, и это можно отнести к его раннему занятию этой сферой. Но его беспокойный дух не позволил ему задерживаться в тех краях, где оливковые, апельсиновые и пальмовые деревья растут едва ли не пышнее, чем в его родной Ноле. Им овладел порыв путешествия. Новая философия занимала его мозг, головокружительно большой от бессвязных рождений современной мысли. То, что Карлайл называл "огнем в животе", жгло и раздражало его молодую кровь. Выбитый из колеи, выброшенный на берег с монастырских причалов, уличенный в ереси из сочувствия возрождающемуся католицизму, он стал *Vagus Quidam* — странствующим студентом, подобным средневековому Голиарди. Из Ноли он отправился в Савону; из Савоны в Турин; из Турина в Венецию. Там, возможно, его ноги нашли бы покой; ибо Венеция в ту эпоху была пристанищем всех бродячих духов. Но город был опустошен чумой. Бруно написал небольшую, ныне утраченную книгу "Знамения времени" и около двух месяцев жил на ее продажу. Затем он переехал в Падую. Здесь друзья убедили его снова надеть рясу. За границей, в Италии, за пределами их монастыря, проживало более 40 000 монахов. Почему бы ему не воспользоваться крышей над головой в своих путешествиях - привилегией, которая всегда была доступна монахам? Из Падуи он снова быстро проехал через Брешию, Бергамо и Милан в Турин, пересек гору Сени, задержался в Шамбери и, наконец, направился в Женеву.

Женева не была подходящим местом отдыха для Бруно. Он испытывал даже более сильную антипатию к инакомыслию, чем к ортодоксальному фанатизму. Деспотизм воинствующего и преследующего сектанта казался ему более невыносимым, поскольку менее прощительным, чем католический деспотизм, от которого он спасался. Галеаццо Караччоло, маркиз Вико, который тогда руководил делами итальянских беженцев в Женеве, приехал навестить его. По предложению этого человека Бруно снова снял свое доминиканское одеяние и начал зарабатывать себе на хлеб, работая читателем в прессе — обычное дело для нуждающихся образованных людей в те времена. Но вскоре он понял, что кальвинистская твердыня не предлагала ни свободы, ни даже безопасности жизни тому, чей ум был устремлен к новому развитию мысли. После двухмесячного пребывания на берегах озера Леман он отбыл в Тулузу, куда прибыл в начале 1577 года.

Мы не можем не задаться вопросом, почему Бруно выбрал этот город для своего убежища. Можно было бы подумать, что новатор, спасающийся от обвинения в ереси, должен был бы избежать Тулузы, единственного города во Франции, где инквизиция пустила прочные корни и процветала, столь опасной для Мюре, столь смертельной для Доле и Ванини.^[87] Тем не менее, следует помнить, что Тулуза была французской. Итальянское влияние не простиралось

так далеко. Бруно и в мыслях не допускал открытого разрыва с католицизмом. Он придерживался мнения, столь распространенного в ту эпоху, столь необъяснимого для нас сейчас, что один и тот же человек мог опровергнуть догматическое богословие как философ, в то время как сам придерживался его как христианин. Это был парадокс, на котором Помпонаццо основывал свою апологию, который удерживал Кампанеллу в рамках Церкви и к которому Бруно апеллировал в поисках своего оправдания, когда впоследствии предстал перед инквизиторами в Венеции.

Из его собственных автобиографических признаний следует, что Бруно провел около шести месяцев в Тулузе, читая частные лекции по перипатетической психологии; по истечении этого времени он получил степень доктора философии и был принят в университетскую аудиторию. Этот пост он занимал два года. В какой-то момент для него стало вопросом, что профессора в Тулузе не обязаны посещать мессу. В его сомнительном положении беглого монаха и переодетого священника принимать Причастие было бы опасно. Однако теперь он, по-видимому, рассматривал возможность примирения с Церковью и возобновления своих обетов в ордене доминиканцев. Он зашел так далеко, что поделился своим мнением по этому вопросу с иезуитом; и впоследствии, в Париже, он снова прибегнул к совету иезуита. Но эти совещания ни к чему не привели. Можно предположить, что судебный процесс, начатый в Неаполе и перенесенный в Рим, в сочетании с обстоятельствами его бегства и самоотводом сделали дело слишком серьезным для компромисса. Никто, кроме папы римского, не мог этого решить.

Нет никакой очевидной причины, по которой Бруно покинул Тулузу, кроме беспокойства, которое стало заметной чертой его характера. Мы находим его в Париже в 1579 году, где он сразу же начал читать лекции в Сорбонне. Похоже, что теперь в каждом городе, который он посещал, у него была практика сочетать частное обучение с публичными диспутами. Его манеры были приятными, беседа - красноречивой и остроумной. Он без труда получил доступ в хорошее общество, особенно в таком городе, как Париж, который в то время был переполнен итальянскими изгнанниками и придворными. Между тем его публичные лекции имели меньший успех, чем его частное преподавание. В беседах с людьми знатного происхождения и либеральной культуры он умел излагать взгляды, завораживающие своей новизной и смелостью. Перед академической аудиторией ему надлежало быть осмотрительным; он также не мог преступать формальные методы схоластической аргументации.

Два основных предмета, по-видимому, легли в основу его учения в этот период. Первым было учение о тридцати божественных атрибутах, основанное на С. Фоме Аквинском. Вторым был труд Люлли "Искусство запоминания и классификация наук". Этот двоякий материал он объединил в единый трактат под названием "*Об умбрисе идей*", который он опубликовал в 1582 году в Париже и который содержит зародыш всех его ведущих размышлений. Метафизика Бруно привлекала меньше внимания, чем провозглашаемое им Искусство Запоминания. В век, доверчивый к оккультным наукам, когда люди верили, что власть над природой достигается с помощью алхимии и магии, не составляло труда убедить людей в том, что знание может быть передано в его сущности и что способности разума могут быть неограниченно расширены без утомительного курса обучения. Нельзя утверждать, намеренно ли Бруно прибегал к какому-либо обману в своем изложении мнемоники. Но несомненно, что публика была вынуждена ожидать от его метода большего, чем он мог дать.

Слава о его искусстве запоминания достигла ушей короля, и Генрих III. послал за ним. "Король, - рассказывает Бруно, - однажды вызвал меня, желая узнать, была ли память, которой я обладал и о которой заявлял, естественной или результатом магического искусства. Я доставил ему удовлетворение своими объяснениями и демонстрациями на основе его собственного опыта, убедив его, что это дело не магии, а науки". Анри, который мог бы быть разочарован таким результатом, был очарован своим учителем и назначил его экстраординарным чтецом — должность, которая не обязывала Бруно посещать мессу. Обычные читатели в Париже должны были соответствовать обычаям католической церкви. Со своей стороны, Бруно, похоже, глубоко восхищался способностями короля. В *"Cena della Ceneri"* и *"Spaccio della Bestia Trionfante"*, сочиненных и опубликованных после того, как он покинул Францию, он сделал ему комплименты в виде гиперболических восхвалений. Было бы тщетно комментировать эти факты. Никто, знакомый с французским обществом той эпохи, не мог не знать о характере и порочной жизни Анри. Никто не мог бы утверждать, что использование им богатств королевства для обогащения недостойных фаворитов было чем угодно, кроме бесчестия, или утверждать, что его вопиющая изнеженность была полезна обществу. Фантастическое суеверие, которому король предавался попеременно с чувственными излишествами, должно было быть ненавистно тому, чьей духовной возлюбленной была божественная София, а религией было преклонение перед интеллектом ради Одной Цели. Но у Анри было одно качество, которое казалось Бруно высшим. Он ценил спекуляцию и поощрял ученых людей. Такой восторженный человек, как наш философ, возможно, думал, что его собственное учение сможет изгнать это Чудовище, Торжествующее над пороками, из королевского сердца, запятнанного плохим воспитанием при коррумпированном дворе. Более того, следует помнить, что Бруно оставался на удивление равнодушным к революции, произведенной в человечестве христианской моралью. Многое, что нам кажется отталкивающим в нравах Валуа, могло быть ему безразлично.

Бруно только что исполнилось тридцать. Это был мужчина среднего роста, худощавой фигуры, с оливковым цветом лица и короткой каштановой бородкой. Он говорил с живостью и обильной риторикой, стремясь скорее к силе, чем к чистоте дикции, прибегая к хлестким метафорам для выражения сокровенных мыслей, переходя от гротескных образов к страстным речам, смешивая острые аргументы и едкую сатиру с серьезными мистическими рассуждениями. Впечатление оригинальности, производимое его фамильярной беседой, делало его приятным для принцев. В его натуре не было ничего от педанта, в нем не было ничего от врача, кроме его титула.

Прожив в Париже менее четырех лет, он решился на путешествие в Англию. Анри снабдил его рекомендательными письмами к послу Франции в Лондоне Мишелю де Кастельно де ла Мовисьер. Этот превосходный человек, который в то время пытался договориться о браке Елизаветы с герцогом Анжуйским, принял Бруно в свою семью как одного из джентльменов своей свиты. Под своей крышей странствующий ученый наслаждался тишиной в течение двух лет, которые он провел в Англии, — лет, которые, несомненно, были самыми счастливыми, поскольку они были самыми трудолюбивыми в его пестрой жизни. Несколько странно, что Бруно не оставил никаких следов своего визита в Англию в современной литературе. Семь его самых важных работ были напечатаны в Лондоне, хотя на них лежал отпечаток Парижа и Венеции — по той очень характерной причине, что англичан интересовали только иностранные издания. Четыре из них, на чисто метафизические темы, были посвящены Мишелю де Кастельно; две, посвященные моральным и психологическим вопросам, знаменитые *"Спаччо делла Бестия"* и *"Гли эроичи Фурори"*, были посвящены Сидни. В *"Cena delle Ceneri"*

описывается званый ужин в доме Фулка Гревилла; и из многочисленных аллюзий, разбросанных по этим произведениям, становится ясно, что их автор был принят в лучшем английском обществе на правах знакомого. И все же никто не упоминает о нем. Фулк Гревилл в своей книге "Жизнь Сиднея" обходит его молчанием; я также не знаю, чтобы кто-нибудь из панегиристов Сиднею, имя которым легион, упоминал о почтении, оказанном ему итальянским философом.

Со своей стороны, Бруно завещал нам анимированные фотографии своей жизни в Лондоне, изображающие англичан того периода такими, какими они произвели впечатление на чувствительного итальянца.[88] Его описания ценны, поскольку они останавливаются на незначительных деталях, не замеченных послами в их депешах. Он был сильно поражен грязью и неухоженным запустением улиц, прилегающих к Темзе, грубостью лодочников, которые бороздили реку на своих судах, и непреклонной жестокостью подмастерьев и носильщиков, поедавших говядину. Население Лондона выказывало свою антипатию к иностранцам громкими замечаниями, толкало их в узких переулках и играло с ними в драку на манер медвежьего сада. Но нет никакого намека на то, что эти здоровяки, пробиравшиеся сквозь толпу, были вероломны или держали наготове свои ножи. Слуги знатных домов казались Бруно невежливыми и жестокими; однако он ничего не говорит о такой утонченности и пороке, которые делали слуг итальянской знати опасными для порядка. Он рисует общий портрет мускулистого и нагло замкнутого народа, не запятнанного пороками коррумпированной цивилизации. Поднимаясь все выше по социальной лестнице, Бруно отдает заслуженную дань уважения изящным и непринужденным манерам молодых английских дворян, среди которых он выделяет Сиднея как звезду утонченного рыцарства.[89]

То, что он говорит о знатной молодежи Англии, показывает, что цвет нашего дворянства восхищал южных наблюдателей сочетанием простоты и миловидности с хорошим воспитанием и здравым смыслом. Для английских леди он не может найти достаточно подходящих слов, чтобы превознести красоту их личностей и чистоту их чувств. Саму Елизавету он называет богиней, *дивой*, используя фразы, которые были произнесены после уордсом в условиях его обвинительного заключения перед инквизицией. Что ему больше всего нравилось в Англии, так это свобода слова и мысли, которой он там пользовался.[90] Общество было настолько вежливым, правительство - настолько доверчивым, что человек мог рискнуть называть вещи своими именами и без утайки высказывать свое сердце. То, что панегирик Бруно не был вызван желанием польстить национальному тщеславию, доказывается суровыми истинами, которые он говорил о грубости людей, и его сарказмами в адрес оксфордских педантов. Он также осмелился в недвусмысленных выражениях осудить некоторые обычаи, которые удивили его в домашнем общении. Он нарисовал, например, действительно ужасную картину любовной чаши, когда она проходит по столу, отведенная разношерстным собранием.[91]

Визит Бруно в Оксфорд является любопытным эпизодом в его английских впечатлениях. Он обнаружил, что в этом университете правят педанты и невежественные профессора старого образования. "Избранные мужчины, - называет он их, - в длинных бархатных одеждах, у этого на шее две яркие золотые цепочки, а у того, боже милостивый! с такой ценной рукой — двенадцать колец на двух пальцах, что придает ему вид какого-нибудь богатого ювелира.[92] Эти превосходные преподаватели, благословленные обладанием солидными стипендиями, не испытывали никакой симпатии к эксцентричному нарушителю порядка Бруно. Они позволили ему прочитать лекцию о Душе и Сфере.

Они даже снизошли до спора с ним. И все же они сделали Оксфорд настолько неприятным местом жительства, что через три месяца он вернулся в Лондон. Обращение, которому он подвергся, врезалось ему в память. "Ищите, где хотите, в настоящий момент вы найдете здесь только докторов грамматики; ибо в этом счастливом царстве царит созвездие педантичного упрямого невежества и самонадеянности, смешанных с деревенской неучтивостью, которая могла бы вывести из себя терпение Иова. Если вы этому не верите, отправляйтесь в Оксфорд и попросите рассказать, что случилось с Ноланцем, когда он публично спорил с этими докторами теологии в присутствии польского принца Аласко.[93] Заставьте их рассказать вам, как они отвечали на его силлогизмы; как жалкий профессор, которого они представили перед ними в том серьезном случае как Корифея своего университета, пятнадцать раз ошибся в пятнадцати силлогизмах, как курица в стерне. Заставьте их рассказать вам, с какой грубостью и невежливостью вела себя эта свинья; какое терпение и человечность он встретил от своего оппонента, который, по правде говоря, провозгласил себя неаполитанцем, родившимся и воспитанным под более добрыми небесами. Тогда узнайте, каким образом они положили конец его публичным лекциям о Бессмертии Души и о Пятикратной Сфере".[94] Душа и Сфера были любимыми темами Бруно. В этот период жизни он обращался и к тому, и к другому с поразительной смелостью.

Они стали для него средством распространения спекуляций о движении земли, о множественности обитаемых миров, о принципе вселенной и о бесконечных способах психических метаморфоз. Подобные темы не были рассчитаны на то, чтобы расположить к нему влиятельных людей на берегах ИГИЛ. То, что он не потакал их предрассудкам, явствует из латинского послания, которое он отправил вице-канцлеру в качестве предисловия.[95] В нем содержатся такие высокопарные фразы: "Филофей Иорданус Брунус Ноланус доктор магических наук, профессор чистоты и невинности разумных. In praecipuis Europae academiis notus, probatus et honorifice exceptus philosophus. Nullibi praeterquam apud barbaros et ignobiles peregrinus. Dormitantium animarum excubitor. Praesuntuosae et recalcitrantis ignorantiae domitor. Qui in actibus universis generalem philanthropiam protestatur. Qui non magis Italum quam Britannum, marem quam foeminam, mitratum quam coronatum, togatum quam armatum, cucullatum hominem quam sineus cucullo virum: sed ilium cujus pacatior, civilior, fidelior и utilior est conversatio diligit." Что, таким образом, может быть переведено по-английски: "Джордано Бруно из Нолы, боголюбивый, более выдающегося доктора богословия, более чистого и безвредного профессора мудрости". В ведущих университетах Европы известен, одобрен и с почетом принят как философ. Нигде, кроме как среди варваров и неблагородных, чужестранец. Пробуждатель спящих душ. Попирающий самонадеянное и непокорное невежество. Который всеми своими действиями провозглашает всеобщую благожелательность к человеку. Который не любит итальянца больше, чем британца, мужчину больше, чем женщину, главу в митре, чем коронованную особу, одетую, чем вооруженную, в сюртуке, чем без него; но ищет того, чья беседа более мирная, более вежливая, более лояльная и более прибыльная". Этот манифест, написанный в стиле шарлатана, должно быть, прозвучал как трубный глас, заставивший скучных английских врачей с сонными мозгами и заплесневелой наукой насторожиться против человека, которого они, естественно, считали итальянским шарлатаном. Что же, в самом деле, представляло собой это более совершенное богословие, эта более чистая мудрость? Какой призыв имел этот самопоклонник пробуждать души от уютного сна? Какое право имел он выставить знание невежеством своих братьев? Вероятно, он был всего лишь каким-нибудь чумным типом, проповедующим нездоровую доктрину о Троице, вроде Питера Мученика

Вермилли, которого четверть века назад вышибли из Оксфорда. Когда Бруно прибыл и прочитал лекцию, их худшие прогнозы оправдались. Разве он не придерживался теории вселенной, которую даже этот опасный спекулянт и политический интриган Фрэнсис Бэкон презрительно назвал несостоятельной?

Несмотря на противодействие академических кругов, Бруно наслаждался хорошей погодой и безмятежными месяцами в Англии. Его описание ужина в пепельную среду у Фулка Гревилла показывает, что для него была вырезана ниша в Лондоне, где он занимал довольно важный пьедестал. Эти джентльмены при дворе Елизаветы, безусловно, не преувеличивали ценность своего итальянского гостя. В Италии большинство из них встречались с духами типа Бруно, которых у них не было ни времени, ни возможности доказать. Он был одним из сотни интересных иностранцев, и его мученическая смерть еще не возложила венец славы или позора на его чело. Вероятно, они приняли его так, как современное лондонское общество принимает теософа из Симлы или Тибета. Но его настоящим домом в ту эпоху, единственным домом, насколько я могу судить, который когда-либо был у Бруно после того, как он в возрасте тринадцати лет ушел от матери в монастырь, был дом Кастельно. Самые искренние аккорды в голосе итальянца вибрируют, когда он говорит об этом здоровом французе. К мадам де Кастельно он обращается с почтительной искренностью, оказывая ей умеренное и взвешенное почтение, которое для благородной женщины является высшей похвалой. В словах, которые он использует, чтобы выразить свое чувство долга перед ее добротой, нет никакой риторики. Они деликатны, проникнуты тактом, который заставляет нас доверять чувству пригодности писателя.^[96] Но Бруно прибегает к более мягким фразам, идущим от сердца и в высшей степени характерным для его преобладающего восторженного настроения, когда речь заходит о маленькой девочке Мари, которая украсила дом Кастельно. - Что мне сказать об их благородной дочери? Она смотрела на солнце всего один блеск и один год; но что касается языка, я не знаю, как судить, родом ли она из Италии, Франции или Англии! По ее руке, прикасающейся к музыкальным инструментам, ни один мужчина не мог определить, является ли она материальной или бестелесной субстанцией. Ее совершенная доброта заставляет задуматься, спустилась ли она с небес или была обычным земным созданием. По крайней мере, каждому мужчине очевидно, что в формирование столь прекрасного тела внесла свой вклад кровь обоих ее родителей, в то время как для формирования ткани ее редкого духа были объединены добродетели их героических душ".^[97]

Пришло время покинуть этих замечательных и гостеприимных друзей. "Вперед, от безмятежного к дрожащему воздуху", - гнал его беспокойный порыв Бруно. Он вернулся в Париж в конце 1585 года, выступил в Сорбонне с некоторым скандальным успехом, а затем, встревоженный беспорядками в королевстве, отправился в Германию. На следующий год мы находим его в Марбурге, плохо принятого университетом, но радушно встреченного принцем. Оттуда мы следуем за ним в Майнц, а затем в Виттенберг, где он провел два года. Здесь он был высокого мнения о немцах. Он предвидел, что, когда они переключат свое внимание с теологии на науку и чистое умозрение, от их солидных интеллектуальных способностей можно будет ожидать больших результатов. Похоже, на самом деле он довольно точно оценил гонку, как она впоследствии показала себя. Виттенберг он назвал немецкими Афинами. Лютера он считал героем человечества, который, как и он сам, бросил вызов авторитетам в защиту истины. И все же он не испытывал симпатии к немецким реформаторам. Когда венецианские инквизиторы спросили его, что он думает об этих людях, он ответил: "Я считаю их более невежественными, чем я. Я презираю их и их доктрины. Они заслуживают названия не богословов, а педантов". То,

что этот ответ был искренним, убедительно доказывается отрывками из наименее ортодоксальных сочинений Бруно. Слабость позиции философа в тот момент заключалась в том, что он не получал поддержки ни от одного из лагерей, на которые тогда был разделен христианский мир. Католики и протестанты всех оттенков относились к нему с недоверием.

Изменение в религиозной политике Саксонии, введенное после смерти курфюрста Августа, заставило Бруно уехать из Виттенберга в Прагу в 1588 году. Из Праги он отправился в Хельмштедт, где герцог Генрих Юлиус Брауншвейг-Вольфенбюттельский принял его с почестями и подарил кошелек с восьмьюдесятью долларами.^[98] Здесь он задумал два своих самых важных произведения, "*О монаде*" и "*О минимуме триплиса*", оба написанные латинскими гекзаметрами.^[99] Почему он принял эту новую форму изложения, неясно. Возможно, он устал от диалогов, посредством которых он так свободно выражал свои мысли в Англии. Возможно, немецкая публика была бы равнодушна к итальянскому языку. Возможно, он подражал своим старым учителям, Пармениду и Лукрецию.

В Хельмштедте он вступил в столкновение с Боэцием, настоятелем евангелической церкви, который вынес против него приговор об отлучении от церкви. Подобно новому Одиссею, он снова отправился в свое путешествие и весной 1590 года бросил якорь во Франкфурте на Майне. Монастырь кармелиток приютил его в этом городе, где он жил в близких отношениях с печатниками Вечелем и Фишером и другими учеными людьми. Из доказательств, представленных венецианским инквизиторам, следует, что приор монастыря считал его гениальным человеком с доктриной, лишенным определенной религии, склонным к фантастическим исследованиям и стремящимся к разработке философии, которая должна заменить существующие вероучения.^[100] Это был не совсем точный портрет Бруно, каким он тогда казался консерваторам с заурядными способностями. Однако не произошло ничего, что могло бы вызвать у него раздражение в форме преследования или беспорядков. Бруно тихо работал во Франкфурте, сочиняя тысячи метафизических стихов, по крайней мере, некоторые из которых были переданы в печать в трех томах, изданных the Wechels.

Между Франкфуртом и Италией поддерживались литературные связи благодаря большой ярмарке, которая ежегодно проводилась на Михайловской мас.^[101] Книги были одним из основных товаров, и итальянские библиополи путешествовали через Альпы, чтобы вести дела по этим важным поводам. Так получилось, что работа Бруно, возможно, "*Де Монуд*", попала в Венецию.^[102] Выставленный на прилавке Джамбаттисты Чотто, в то время занимавшегося книготорговлей в этом городе, этот трактат попался на глаза венецианскому джентльмену по имени Джованни Мочениго. Он принадлежал к одному из самых прославленных дворянских семейств Венеции, сохранившихся до сих пор. Длинный ряд их дворцов на Большом канале произвел впечатление на каждого туриста. Следует отметить, что один из этих домов занимал лорд Байрон, который, зная он о связи Бруно с Мочениги, несомненно, подарил бы миру поэму или драму о судьбе нашего философа. Джованни Мочениго был человеком средних лет, суеверным, признававшим власть своего священника, но втайне склонным к опасным идеям. С моральной точки зрения он предстает перед нами как двойной предатель: предатель своей Церкви, поскольку надеялся получить незаконную власть с помощью магических искусств; предатель своего гостя, как только он обнаружил, что риск его душой не принес ему никакой выгоды.^[103] Похоже, он вообразил, что Бруно мог бы научить его оккультным наукам или направить его по царственному пути к знаниям без напряженной учебы. Последующие события доказали, что, хотя у него не было солидной культуры, он был очарован ожиданием открытия

какой-то великой тайны. Пороком того времени было смешивать науку с колдовством, и Бруно поддался этому заблуждению своим причудливым стилем. Возможно, книготорговцы, которые тогда играли едва ли менее заметную роль в распространении сплетен, чем цирюльники, разжигали любопытство Мочениго, рисуя автора загадочного тома в соблазнительных красках. Как бы то ни было, этот человек отправил два письма, одно через Чотто, а другое непосредственно Бруно, умоляя его посетить Венецию, заявляя о своем желании поучиться и предлагая ему почетное место жительства.

В недобрый час Бруно принял это приглашение. Без сомнения, он страстно желал снова увидеть Италию после стольких лет изгнания. Конечно, он имел право верить, что найдет гостеприимство и безопасное убежище в Венеции. Разве венецианский дворянин не дал слово в пользу первого? Разве последнее не было привилегией, которую Святой Марк предоставлял всем просителям? Республика заявляла, что защищает даже преступников инквизиции, если они претендуют на ее юрисдикцию. Следовательно, в шаге, который предпринял Бруно, не было явной неосторожности. И все же он принял его при обстоятельствах, которые сделали бы осторожного человека недоверчивым. О Мочениго он не знал практически ничего. Но он знал, что судебные приказы Святой Канцелярии были направлены против него в Италии в течение многих лет, в течение которых он проводил время в беседах с еретиками и печатал произведения более чем сомнительной ортодоксальности.^[104] Ничто так не доказывает силу импульса бродяги, овладевшего Бруно, как его легкое и готовое согласие на предложение Джованни Мочениго.

Он немедленно уехал из Франкфурта, оставив рукопись одной из своих метафизических поэм в руках Вечеля для печати, и в конце 1591 года оказался гостем своего неизвестного покровителя. Я уже описывал, чего Мочениго надеялся добиться от Бруно — искусства запоминания и изобретательства, а также проблесков оккультной науки.^[105] Мы знаем, как мало Бруно был способен удовлетворить неутолимое любопытство в подобных вопросах. Одной из его главных слабостей была привычка хвастаться и преувеличивать собственные силы, что сначала производило впечатление на вульгарную аудиторию, а затем оставляло у нее впечатление шарлатана. Книготорговец Чотто узнал от студентов, беседовавших с ним во Франкфурте, что "он владел искусством запоминания и другими научными секретами, но что все люди, которые имели с ним дело в подобных вопросах, оставили его в покое".^[106]

Еще одной слабостью его характера было чрезвычайное отсутствие осторожности. Прожив так долго по всему миру, переезжая из города в город, поддерживая себя как мог, он приобрел привычку привлекать к себе внимание поразительными парадоксами. Похоже, его также не заботило, кому он доверял свои опасные эзотерические верования. Его публичные сочинения, предположительно написанные с определенной осмотрительностью — поскольку всем известна пословица о *литературных сценариях мане* — содержат такие опасные материалы, что — когда мы рассматриваем то, что их автор, возможно, проговорился в неосторожной беседе — мы готовы поверить обвинениям, выдвинутым против него Мочениго. Ибо теперь следует сказать, что этот человек, "побуждаемый долгом своей совести и приказом своего духовника", донес на Бруно инквизиции 23 мая 1592 года.

Когда эти два человека, столь совершенно противоположные по своей натуре, впервые встретились, Бруно начал обучать своего покровителя знаменитому искусству запоминания и математики. В то же время он свободно и обильно, по своему обыкновению, рассуждал о своей

собственной философии. Мочениго не интересовался метафизикой и был в ужасе от смелости рассуждений Бруно. Он пришел в ярость, обнаружив, насколько скудным был хваленый метод Бруно для получения и сохранения знаний без особых усилий. В глубине души он верил, что учитель, которого он содержал за значительную плату, скрывал оккультные знания, которых он так жаждал. Бруно, тем временем, посещал приемы Андреа Морозини во дворце Сан-Лука, и часто посещал приемы Бернардо Секкини в "Знаке Золотого корабля" в Мерсерии. Он подружился с учеными и светскими людьми; неделями отсутствовал в Падуе; показал, что устал от Мочениго; и закончил тем, что возбудил подозрительную ревность этого человека. Мочениго чувствовал, что был обманут самозванцем, который, вместо того чтобы предоставить товары, о которых он договаривался, отделался от него разглагольствованиями о природе вселенной. Что было еще ужаснее, он убедился, что этот шарлатан - упрямый еретик.

Почувствовал ли Бруно над своей головой надвигающуюся бурю, был ли он просто утомлен назойливостью своего хозяина или, как он сказал инквизиторам, хотел присмотреть за изданием некоторых книг во Франкфурте, особого значения не имеет. Во всяком случае, он умолял Мочениго освободить его от дальнейшего присутствия, поскольку намеревался покинуть Венецию. Это произошло в четверг, 21 мая. На следующий день Мочениго послал своего телохранителя вместе с пятью или шестью гондольерами в апартаменты Бруно, схватил его и запер в комнате на первом этаже дворца. В то же время он наложил руки на все имущество Бруно, включая рукопись одного важного трактата *О семи свободных искусствах*, который собирался быть посвящен папе Клименту VIII. Эта книга, вместе с другими неопубликованными работами, вероятно, хранится в архивах Ватикана и была отправлена вместе с документами, относящимися к суду над Бруно, из Венеции, когда его перевезли в Рим. На следующий день, это была суббота, Мочениго приказал отнести Бруно в один из тех подвалов (*magazzini terreni*), которые используются в Венеции для хранения древесины, товаров или инвентаря, принадлежащих гондолам. Вечером капитан Совета Десяти отвел его в застенки инквизиции. В тот же день, 23 мая, Мочениго подал свой донос в Святую канцелярию.

Основные положения этого обвинения, извлеченные из первого отчета и из двух последующих дополнений, сделанных делателем, сводятся к следующему. Хотя Бруно вообще был настроен враждебно к религиям, он предпочитал католическую любой другой; но он считал, что она нуждается в основательной реформе. Доктрины о Троице, чудесном рождении Христа и пресуществлении были оскорблением Божественного Существа. Христос соблазнил людей, творя очевидные чудеса. То же самое сделали и апостолы. Разработать новую философию, которая должна была прийти на смену религиям, и доказать свое превосходство в знаниях над Святым Фомой и всеми теологами - таков был заветный план Бруно. Он не верил в наказание за грехи; но придерживался учения о переселении душ и о зарождении человеческой души из отбросов. Мир, который он считал вечным. Он утверждал, что существует бесконечное количество миров, и все они созданы Богом, который желает делать то, что он может сделать, и поэтому создает бесконечность. Религиозные ордена католицизма оскверняют землю порочной жизнью, лицемерием и алчностью. Все монахи - всего лишь ослы. Потворство плотским удовольствиям не следует считать греховным. Мужчина признался, что свободно удовлетворял свои страсти, насколько это было возможно.

На допросе у инквизиторов Мочениго поддержал эти обвинения. Он добавил, что когда он пригрозил Бруно лишением свободы, Бруно ответил, во-первых, что он не верит, что тот предаст его доверие, сделав частную беседу основой для уголовного обвинения; во-вторых, что

максимум, что инквизиция могла бы сделать, это наложить на него некоторую епитимью и заставить его снова надеть капюшон. Эти важные утверждения, несущие на себе отпечаток истины, проливают свет на отсутствие у него осторожности в общении с Мочениго и объясняют позицию, которую он впоследствии занял перед Святой Канцелярией.

Обвинения Мочениго в основном свидетельствуют об искренности. Это именно то, чего мы должны ожидать от искажения доктрин Бруно умом, неспособным их постичь. Короче говоря, они столь же достоверны, как изображение лица, отраженное на ложке. Некоторые грубые детали (обвинения, например, в том, что он назвал Христатристано, который был заслуженно повешен, и в том, что он глумился над девственностью Марии), возможно, возникли из собственного воображения рассказчика.^[107]

Бруно решительно отверг их, хотя некоторые отрывки из его философских стихотворений, опубликованных во Франкфурте, содержат суть их богохульства. Человек такого склада, как Мочениго, вероятно, думал, что он верно представляет взгляды еретика, в то время как на самом деле он делал свои собственные грубые выводы из скептических высказываний о происхождении христианства, которые он смутно понимал. Однако не кажется невероятным, что Бруно, который никогда не отличался вежливостью в выборе выражений и который, безусловно, презирал историческое христианство, отпускал грубые остроты по этим и другим вопросам в присутствии Мочениго.

Бруно предстал перед венецианской инквизицией 29 мая. Его допрос продолжался с перерывами с этой даты по 30 июля. Его показания состоят по большей части из автобиографического заявления, которое он сделал добровольно, и из откровенного разъяснения своих философских доктрин в их связи с ортодоксальной верой. Читая длинные страницы его судебного процесса, мы, кажется, подслушиваем доверительный разговор человека с судьями, от которых он ожидал либерального сочувствия. Снова и снова он опирается в свою защиту на старое различие между философией и верой, утверждая, что отстаивал взгляды как мыслитель, которых он не придерживается как христианин. "Во всех своих книгах я использовал философские методы определения в соответствии с принципами и светом природы, не уделяя особого внимания тому, чего следует придерживаться в вере; и я полагаю, что они не содержат ничего, что могло бы поддержать обвинение в том, что я открыто оспаривал религию, а не в том, что я стремился возвысить философию; хотя я, возможно, излагал многие нечестия, основываясь на моем естественном свете".^[108] В другом месте он использует антитезис "говорить как христианин и в соответствии с теологией" — "говорить на манер философии".^[109] Тот же антитезис используется для обоснования его учения о метемпсихозе: "Говоря как католик, души не переходят из одного тела в другое, а попадают в рай, или чистилище, или ад; однако, следуя философским рассуждениям, я утверждал, что, поскольку душа не существует без тела и не существует в теле, она может безразлично находиться в том или ином теле и может переходить из одного в другое, что, если это и неправда, кажется во всяком случае вероятным согласно мнению Пифагора".^[110]

То, что он не ожидал сурового наказания, следует из условий его так называемого отречения. - Я сказал, что хотел бы представиться, прежде чем ноги Его Святейшеству кое-какие книги, которые я одобряю, хотя я опубликовал другие, которые я сейчас не одобряю, то, что я хотел сказать, что некоторые произведения, написанные и опубликованные мной не встречаться с моей апробации, понеже в них я общался и обсуждал слишком по-философски, в Гоже мудрый,

не совсем как добрый христианин должен; в частности, я знаю, что в некоторых из этих работ меня учили и философски провел вещи, которые следует отнести к силе, мудрости и благодати Бога, Согласно христианской вере, основания доктрины в таких вопросах на чувство и разум, а не на вере.' [111] в самом конце экзамена, он поставил себя в руках судей, 'исповедуя свои ошибки, с готовностью разума, признавая, что он допустил ошибку и отошел от Церкви, с мольбами за такое наказание, как не принести публичное унижение на священную ризу, которую он носил, и, обещая показать отметить реформа, и чтобы возместить скандалом, который он устроил по назидание, как минимум, равны по величине.' [112] эти профессии он сделал на колени, демонстрируя наглядно, как мне кажется, что в эту эпоху он был готов вернуться к доминиканскому ордену, и что, как он утверждал, что Мочениго, он ожидал худшего наказания, чем это.

Пытаясь оценить отречение Бруно, мы должны помнить, что он вообще не испытывал симпатии к еретикам. Когда его спросили о них, он смог процитировать отрывки из своих собственных работ, в которых назвал Реформацию деформацией религии. [113] Лютеранские и кальвинистские богословы были в его глазах одинаковыми педантами. [114] Нет сомнений, что Бруно имел в виду то, что сказал; и если бы его вынудили выбрать одну из существующих религий, он предпочел бы католицизм. На самом деле у него был тот период жизни, когда он хотел посвятить свое время в тишине метафизическим исследованиям. Он развил свою философию и довел ее до такой степени, что, по его мнению, ее можно было преподнести как мирное подношение Верховному понтифику. Подчинение церковным обрядам больше не казалось утомительным для искушенного в мире, широко мыслящего человека. Похоже, он также не ожидал, что его формальное подчинение не будет с готовностью принято. Странно, но в этом вопросе он не считался с кровожадным хозяином, в лапы которого попал.

На тщательные допросы, затрагивающие другие темы в свидетельствах против него, такие как богохульные высказывания в адрес святых личностей, общение с еретиками, злоупотребление религиозными орденами, занятия магическими искусствами, распущенные принципы поведения, Бруно отвечал откровенными заверениями, что доказывает его чистую совесть в главном и его твердое ожидание благоприятного исхода дела. Мочениго назвал его *индемониа́то*; и, учитывая явную опасность, в которой он сейчас находился, в уверенности, которую он выказывал, есть что-то едва ли разумное. Для самого Мочениго он приберег слова самого горького презрения и негодования. Когда его спросили в обычных выражениях, были ли у него враги в Венеции, он ответил: "Я не знаю никого, кроме сира Джованни Мочениго и свиты его слуг. Из-за него я был тяжело ранен, больше, чем из-за живого человека, видя, что он убил мою жизнь, мою честь и мою собственность, заточив меня в своем собственном доме и украв все мои сочинения, книги и другие пожитки. И это он сделал потому, что не только хотел, чтобы я научил его всему, что знаю сам, но и хотел помешать мне учить этому кого-либо, кроме него. Он продолжал угрожать мне жизнью и честью, если я не научу его всему, что знал сам". [115]

Завершается сцена над Бруно в Венецианской инквизиции 30 июля 1592 года. Мы не видим его снова до тех пор, пока он не входит в "Минерву" в Риме, чтобы получить смертный приговор 9 февраля 1600 года. То, что произошло в промежутке, почти не сохранилось в памяти. Между Римом и Венецией состоялся обмен письмами по поводу его экстрадиции, и Республика продемонстрировала некоторое нежелание расставаться с беженцем, находящимся под ее юрисдикцией. Но это дипломатическое дело было улажено к удовлетворению обеих сторон, и Бруно исчез в застенках римской инквизиции в январе 1593 года.

Семь лет тюремного заключения - это большой срок.[116]

Нам трудно понять, почему преследование Бруно занимало Святую Канцелярию все это время. Но предположения на этот счет сейчас бесполезны. Столь же бесполезно размышлять, предлагал ли Бруно соответствовать в жизни и доктрине Церкви в Риме, как он это сделал в Венеции. Искушение поступить так, должно быть, было велико. Скорее всего, он молил о милости, но милость не была дарована на его собственных условиях; и он предпочел смерть бесчестию и лжи в качестве последнего средства, или скорее пожизненному заключению. Примечательно также, что лишь немногие современники упоминают факт его осуждения и казни. В юбилейный 1600 год Рим был переполнен. Бруно был сожжен при свете дня на Кампо ди Фьора. И все же единственным очевидцем, который зафиксировал это событие, является Гаспар Шоппе, или Сципиус, который написал письмо по этому поводу своему другу Риттерсхаузену. Восемь лет спустя Кеплер сообщил своему корреспонденту Брейггеру, что Бруно действительно был сожжен: "он стойко перенес свою мучительную смерть, придерживаясь утверждения, что все религии тщетны и что Бог отождествляет себя с миром, окружностью и центром". Можно заметить, что Кеплер был высокого мнения о рассуждениях Бруно и указал на него Галилею как на человека, который разгадал бесконечность солнечных систем в их соотношении с одним бесконечным порядком вселенной.[117]

Сципиус был немецким гуманистом старшего италянизированного типа, элегантным латиноамериканским стилистом, который равнодушно отзывался о *Приапее* и философии стоиков. Он отрекся от протестантизма и, подобно Мюретусу, продал свое перо Риму. Иезуитов в его напыщенном панегирике сначала приветствовали как "преторианскую когорту стана Божьего". Впоследствии, когда он поссорился с их Орденом, он осыпал их бранью на манер Поджио или Филельфо. Литературная дурная слава пятнадцатого века вновь проявилась в его полемических нападениях на протестантов и в его сатирах на Скалигера. Тем не менее, он был человеком разносторонних талантов и значительной эрудиции. В его честь следует упомянуть, что он посетил Кампанеллу в его тюрьме и приложил все усилия для его освобождения. Кампанелла посвятил Сципиусу свой "*Триумф атеизма*", назвав его "звездой зари нашего века". Шоппе также был первым заслуживающим доверия авторитетом, предупредившим Сарпи о неминуемой опасности, которой он бежал от нанятых римлянами убийц, о чем я надеюсь рассказать в главе, посвященной жизни Сарпи. Письмо этого человека своему другу - единственный достоверный документ, которым мы располагаем относительно последних часов жизни Бруно. Содержащиеся в нем неточности в незначительных моментах могут служить подтверждением его показаний.

Скиоппий ссылается на ранние ереси Бруно о Пресуществлении и девственности Марии. Он ссылается на *Spaccio della Bestia Trionfante*, как будто это была клевета на папу римского.[118]

Затем он перечисляет неортодоксальные взгляды Бруно, которые были изложены в публичном осуждении ересиарха. 'Ужасно и наиболее полной бессмыслицей являются мнение он развлекал, как, например, что существует бесчисленное множество миров; что душа переселяется из тела в тело, да в другой мир, и что одна душа может сообщить двух телам; что магия-это хорошо и законно; что Святой Дух есть ничто иное, как душа мира, что Моисей имел в виду, когда написал, что он размышлял о водах; что мир существует от вечности; что Моисей кованные свои чудеса посредством магии, больше разбиралась в ней, чем египтяне, и что он сочинил свои собственные законы, что Священное Писание есть мечта, и что черти спасутся,

что только евреи происходят от Адама и Евы, остальных мужчин из этой пары которого Бог создал раньше; что Христос не является Богом, но что он был выдающимся магом, который заблуждений человечества, и потому справедливо повешен, а не распят; что пророки и апостолы были мужчинами сходит на нет, магов, и по большей части повесили: короче, без детализации всех чудовищ, в которых его книг предостаточно, и которые он утверждал в разговоре, это можно суммировать в одном слове, что он защищал каждую ошибку, которая была выдвинута философов-язычников или еретиков более ранних и нынешних времен.'

Принять этот список как сносно верен условия Бруно приговор, услышанный Sciorpius в зале Минервы, мы видим, как Мочениго это обвинение было подтверждено со ссылкой на его опубликованных работ. *De Monade* и *De Triplici* содержат достаточно неортодоксальности, чтобы обосновать каждый пункт.

9 февраля Бруно предстал перед Священной канцелярией в церкви Святой Марии sopra Минерва. В присутствии собравшихся кардиналов, теологов и гражданских судей сначала были зачитаны его ереси. Затем он был отлучен от церкви и лишен своих священнических и монашеских должностей. Наконец, он был передан светским властям, "чтобы понести наказание со всем милосердием и без пролития крови". Простым языком это означало быть сожженным заживо. Вслед за этим Бруно произнес запоминающиеся и монументальные слова: "Возможно, вы произносите этот приговор в мой адрес с большим страхом, чем я его принимаю". Это были последние слова, которые он произнес публично. Его перевели в государственные тюрьмы, где он пробыл восемь дней, чтобы у него было время покаяться. Но он продолжал упорствовать. Будучи священником-отступником и закоренелым еретиком, он не мог надеяться на смягчение приговора. Поэтому 17 февраля он отправился на верную и ужасную смерть. Столб был установлен на Кампо ди Фьора. Как раз перед тем, как дрова были подожжены, они предложили ему распятие.^[119] Он отвернулся от нее с суровым презрением. Не Христос, а его собственная душа, в которой, как он верил, обитало Божество, поддержала Бруно в решающий момент.

Ни крика, ни стоны не сорвалось с его губ. Таким образом, как жеманно заметил Скиоппий, "он с треском погиб в огне и отправился сообщать в те другие миры своего воображения о том, как богохульно и нечестиво обращаются римляне с людьми".

Что бы мы ни думали о хорошем вкусе сарказмов Бруно по поводу веры, в которой он был воспитан, — и несомненно, что он никогда правильно не воспринимал христианство в его сущности, — нет сомнений, что он умер доблестным мучеником за истину, какой он ее себе представлял. "Его смерть, как и смерть Палеарио, Карнесекки и многих других, не менее бесчисленных изгнанников, пострадавших по религиозным причинам, являются доказательством того, что в Италии люди начали осознавать свой долг перед верой, долг повиновения мысли: огромный прогресс, недостаточно оцененный даже современными историками".^[120] Бруно был героем в битве за свободу народа. совесть, за право человека свободно думать и говорить.^[121]

Всего за пять лет до этого памятного 17 февраля Тассо тихо скончался в Сан-Онофрио. "Как несхожи были эти люди по гению и судьбе, - восклицает Берти, - хотя и родились под одним небом, хотя в детстве дышали одним воздухом! Тассо - христианин и поэт креста; Бруно враждебен всем религиозным символам. Один, уставший и разочаровавшийся в мире, заканчивает свои дни в монастырском покое; другой покидает монастырь, чтобы умереть на

эшафоте, отводя глаза от распятия".[122] И все же, насколько похожи были эти двое в некоторых важных обстоятельствах своей жизни! Оба странники, одержимые духом бродяжничества, который является внешним выражением внутреннего беспокойства. У лишнего сана монаха, уволенного со службы придворного не было дома в Италии. Обоих преследовал приступ, соответствующий интеллектуальным потрясениям, завершившим шестнадцатый век, столь отличный от идиллического спокойствия, царившего у Ариосто и художников первых лет его существования. История еще не воздала достаточной справедливости итальянским скитальцам и изгнанникам того периода, людям, которые пронесли дух Возрождения за границу, после того как Ренессанс закончился в Италии, до самых окраин цивилизованного мира. Перечисление их имен, анализ их заслуг перед современной мыслью показали бы, насколько мощным было интеллектуальное влияние Италии в тот период ее политического упадка.[123]

К Бруно следует относиться с двух различных, но взаимозависимых точек зрения — в его отношении к современной мысли и эпохе Возрождения; и в его отношении к эволюции современной философии — как к критику средневековых спекуляций и поборнику энтузиазма шестнадцатого века; а также как к предшественнику Декарта, Спинозы, Лейбница, Шеллинга, Гегеля, Дарвина.

С первой из этих двух точек зрения Бруно предстает перед нами как человек, наиболее живо и всесторонне постигший ведущие тенденции своего времени в их интеллектуальной сущности. Он оставил после себя средневековую концепцию вездесущего Бога, создавшего конечный мир, центром которого является этот земной шар, и главным эпизодом в истории которого является череда событий от Грехопадения, через Воплощение и Распятие, до Страшного Суда.[124] Он заменил концепцию вечно живого, вечно действующего, вечно самореализующегося Бога, имманентного бесконечной вселенной, к созерцанию атрибутов которого разум человека восходит путем изучения Природы и опроса своей совести. Восстановление физического мира и человечества как части его порядка, которое Ренессанс уже косвенно осуществил посредством искусства, литературы и образа жизни, нашло в Бруно страстного метафизического сторонника. Он обожествил Природу, не низводя Божество до уровня материи, но возвышая материю до участия в божественном существовании. Эпоха Возрождения провозгласила достоинство человека, рассматриваемого как земное существо, а не в его отношении к гипотетическому потустороннему миру. Она в изобилии демонстрировала красоту и радость, которые дает существование на этой планете, и со смехом отвергала прошлые теологические определения, противоречащие ее новому Евангелию. Бруно предпринял систематизацию интуиций эпохи Возрождения; провозгласил божественную реальность Природы и человека; продемонстрировал, что мы не можем размышлять о Боге, не можем мыслить сами, не можем представить вселенную иначе, как в виде единой живой, бесконечной, вечной, поддерживаемой богом и пронизанной душой совокупности. Он отвергал всякого рода авторитеты, отказываясь признавать постановления Церкви, свободно критикуя философов прошлого, пользуясь всем, что казалось ему существенным в их рассуждениях, но вызывая в последнем средстве к тому внутреннему свидетельству, к тому свету разума, который соответствует в ментальном порядке совести в моральном. Как он обожествлял Природу, так и эмансипировал человека, как составляющего вместе с Природой неотъемлемую часть высшего Существа. Он вступил на этот путь, чтобы сразиться с Аристотелем и высмеять христианские верования с помощью тонкой схоластической аргументации и острой риторики, которые сейчас считаются устаревшими. Многие из того, что устарело в его трудах, должно быть отнесено к

полемическим потребностям эпохи, увлеченной перипатетическими концепциями и пропитанной церковной божественностью схоластов.

Эти силы философии, которые он стремился вытеснить, должны были быть атакованы их собственным оружием и методами, адаптированными к духу его эпохи. Аналогичное суждение можно вынести и о его приверженности системе Коперника. Эта система была стержнем его метафизики, откровением, которому он был обязан своей собственной концепцией вселенной. Его напряженные и изобретательные попытки доказать ее правдивость, его тщательно продуманные и часто повторяющиеся опровержения теории Птолемея кажутся современным умам излишними. Но мы должны помнить, какую глубоко проникающую и широко действующую революцию произвел Коперник в космологии, как он перевернул всю ткань, на которой покоилась католическая теология, насколько новой и непонятной тогда казалась его доктрина и какие обширные горизонты он открыл для размышлений о судьбах человека. Бруно был первым, кто полностью осознал важность гипотезы Коперника, осознал ее проблематичность и адаптировал ее к формированию новой онтологии. Коперник, хотя и провозгласил центральное положение солнца в нашей системе, не осмелился утверждать бесконечность Вселенной. Для него, как и для старших физиков, оставалась сфера неподвижных звезд, заключающая мир, воспринимаемый нашими органами чувств, в хрустальные стены. Бруно разрушил эти стены и смело заявил о ныне признанном существовании бесчисленных миров в безграничном пространстве. Его оригинальность заключается в ясном и всеобъемлющем представлении, которое он сформировал об открытии Коперника, и в его применении его следствий к ренессансному апокалипсису обожествленной природы и эмансипированного человека. Выводы, которые он сделал, были настолько многообразны и точны, что позволили ему предсказать направление, которому следовала человеческая мысль во всех областях умозрения.

Это подводит нас к рассмотрению того, как Бруно связан с современной наукой и философией. Главный момент, по-видимому, заключается в том, что он получил яркую ментальную картину (*Vorstellung*) физической вселенной, лишь немногим отличающуюся по существу от той, которая сейчас стала общепринятой. Исходя из этой концепции в качестве отправной точки, он сформировал мнения по проблемам теологии, онтологии, биологии и психологии, которые вывели его из гармонии со средневековой мыслью и в согласии с мыслью нашего времени. Почему это было так, можно легко объяснить. Бруно, прежде всех философов, приспособил науку в современном смысле этого термина к метафизике. Он был первым, кто понял, что революция в нашей концепции материальной вселенной, столь важная, как та, что была произведена Коперником, потребовала новой теологии и нового философского метода. Человек перестал быть центром всего сущего; этот земной шар больше не был "центром вселенной", а маленькой точкой, парящей в бесконечности. Христианская схема Грехопадения и Искупления, если и не была абсолютно несовместима с новой космологией, то из-за этого стала менее мыслимой в каком-либо буквальном смысле. Некоторые из основных положений, на которых ранние христиане основывали свою веру и которые с течением веков превратились в догмы — такие, например, как Вознесение и Второе Пришествие, — утратили свое прежнее значение. В мире, где не было ни верха, ни низа, перенесение телесного Божества в какое-то место над облаками, откуда оно должно было спуститься, чтобы судить людей в последний день, имело лишь гротескное или символическое значение; тогда как для первых учеников, проникнутых

теориями о неподвижной небесной сфере, это представляло собой торжественное и, по-видимому, вполне обоснованное ожидание. Фундаментальное учение о Воплощении подобным же образом утратило понятность и ценность, когда Бога пришлось рассматривать уже не как Творца конечного космоса, а как Существо, соизмеримое с бесконечностью. Такому проницательному уму, как Бруно, было ясно, что догматы Церкви соотносятся с воззрением на мир, которое было вытеснено; и он сделал логический вывод, что в основе своей они были всего лишь поэтическими и популярными восхвалениями Божества в терминах, согласующихся с ошибочными физическими представлениями. Аристотель и Птолемей, мастера философии и космографии, основанные на теории о вселенной как конечной и ограниченной определенными рамками, оказали замечательную помощь теологическим построениям средневековья. Церковь, переняв их науку, придала метафизическую и логическую последовательность этим более ранним поэтическим и популярным представлениям о религиозном смысле. *Наивные* надежды и романтические мифологии первых христиан превратились в силлогизмы и окостенели в огромной ткани *Суммы*. Но Аристотель и Птолемей теперь были свергнуты с престола. Бруно, в гораздо более прямом смысле, чем Демокрит до него,

extra

Processit longe flammantia moenia mundi.

Даже более смелый, чем Коперник, и более близкий в своей интуиции к истине, он отрицал, что во вселенной есть "пылающие стены" или какие-либо стены вообще. Эта "immaginata circonferenza", "quella margine immaginata del cielo", на которой в равной степени покоились античная наука и христианское богословие, была объектом его непрестанной сатиры, его часто повторяющейся полемики. Что, таким образом, сделало Бруно предшественником современной мысли в ее различных проявлениях, так это то, что он постиг фундаментальную истину, на которой покоится современная наука, и предвидел выводы, которые должны быть сделаны из нее. Он рассуждал смело, бессвязно, неистово; но он рассуждал с ясной концепцией вселенной, какой мы ее до сих пор представляем. В течение трех столетий мы были заняты проверкой догадок, углублением, расширением и укреплением гипотез, которые расширение Бруно теории Коперника и его применение ее к чистой мысли подсказали его проницательному и смелому интеллекту. Бруно был убежден, что религия в ее высшей сущности не пострадает от новой философии. Перед человеческим интеллектом простирались более широкие горизонты. Душа расширялась в более волнующих областях, чем предлагали старые теологии. Ощущение Божественного в Природе, вместо того чтобы скатиться к атеизму, получило новый стимул от неизмеримой перспективы бесконечной и живой вселенной. Бруно, даже в большей степени, чем Спиноза, был опьяненным Богом человеком. Опьянение эпохи Возрождения, вдохновленное золотыми видениями истины и знания, близкими к пределу досягаемости человека, воспламененное радостью от выхода из заезженной утомительной формулы в то, что казалось простой интуицией вечной истины, пульсирует во всех его высказываниях. В нем чувствуется та же херувимская уверенность в эпоху возрождения, которая очаровывает нас в творчестве Рабле. Медленное, болезненное, часто срываемое, все более сомнительное развитие современной метафизики в *взаимопонимании* с современной наукой — этот процесс, который, завершив цикл всех знаний и постигнув бездонную глубину всякого невежества, оставил нас в глубоком разочаровании и непоколебимом терпении, — проплыл перед Бруно в восторженном видении. Инквизиция и костер резко положили конец его мечте.

Но мечта была такой золотой, такой божественной, что стоила мук мученичества. Можем ли мы сказать то же самое о системе Гегеля, или о Шопенгауэре, или об энциклопедической изобретательности Герберта Спенсера?

Бруно представлял себе вселенную как бесконечное пространство, заполненное эфиром, в котором свободно перемещается бесконечное число миров или солнечных систем, похожих на нашу собственную, состоящих из аналогичных материалов и населенных бесчисленными живыми существами. Весь этот бесконечный и сложный космос, по его представлениям, был одушевлен единым принципом мысли и жизни. Эту внутреннюю силу, или Бога, он описывал в платоновской фразеологии иногда как *Anima Mundi*, иногда как Ремесленника, который, работая изнутри, формирует бесконечную субстанцию в бесконечность конечных модусов. Хотя мы вынуждены мыслить о мире в рамках двух категорий духа и материи, эти явно противоречивые составляющие навсегда примирены и гармонизированы в божественном существовании, для которого безграничная активность, безграничная воля и безграничный потенциал являются взаимосвязанными и взаимно необходимыми терминами. Выражаясь языком аристотеля, Бруно предполагал бесконечную форму и бесконечную материю как движения вечного процесса, посредством которого бесконечное единство проявляется в конкретной реальности. Из этого следует, что не существует ничего, что не имело бы жизни и не было бы частью Бога. Сама вселенная - это одно неизмеримое животное, или одушевленное Существо. Солнечные системы - это огромные животные; земные шары - меньшие животные; и так далее, вплоть до монады молекулярной сплоченности. Поскольку вселенная бесконечна и вечна, движение, место и время не определяют ее; эти термины применимы только к конечным частям, из которых она состоит. По той же причине ничто во вселенной не может погибнуть. То, что мы называем рождением и смертью, генерации и распада, является только прохождением бесконечного и однородного юридического лица путем последовательных этапов, конечного и дифференцированного существования; этот непрерывный процесс обмена и трансформации стимулируется и поддерживается притяжения и отталкивания, *properties* пребывающего в Божественной души, направленные на самореализацию.

Сформировав эту концепцию, Бруно подкрепил ее метафизическими доказательствами и сделал выводы, имеющие отношение к психологии, религии, этике. Большая часть его полемики была направлена против глубоко укоренившегося представления о конечном мире, заимствованного у Аристотеля. Значительная часть была посвящена доказательству открытия Коперника. С ортодоксальным богословием косвенно боролись или его правдоподобно ласкали. Следовательно, в его диалогах есть много страниц, которые не интересуют современного читателя, поскольку мы пережили условия мышления, которые придавали им важность. В процессе своей аргументации он основал теорию философской веры, религии религий, или "*religione della mente*", как он это сформулировал, предшествующей всем историческим верованиям и всеобъемлющей для них. Он рассматривал в качестве вероятностей переселение душ и взаимозаменяемость типов живых существ. Далее он постулировал соответствие между порядком мышления и порядком существования во вселенной и склонялся к доктрине необходимости в морали. Таким образом, Бруно получил *per saltum* перспективу для всей области знания, впоследствии пройденной рационализмом в метафизике, теологии и этике. В ходе этих демонстраций и дедукций он предвосхитил позицию Декарта о тождестве разума и бытия. Он снабдил Спинозу содержанием своего аргументированного пантеизма; Лейбница - его теорией монадизма и предустановленной гармонии. Он изложил учение Гегеля о противоположностях и понял, что мышление - это

диалектический процесс. Современная теория эволюции была изложена им в довольно простых выражениях. Он постиг физический закон сохранения энергии. Он решил проблему зла, определив его как относительное условие несовершенного развития. Он отрицал, что Рай или Золотой век возможны для человека или что, если это возможно, их можно считать более высокими по моральной шкале, чем органическая борьба за завершение путем примирения противоположностей через боль и труд. Он в общих чертах обрисовал сравнительное изучение религий, которое в настоящее время начинает признаваться надлежащей основой теологии. Наконец, он твердо и жизненно придерживался этой высшей гипотезы о вселенной, рассматриваемой больше не как поле битвы двойственных принципов или как конечная структура всемогущего конструктора, но как самореализующееся бесконечное единство, представляющее нашему разуму как дух и материя - той гипотезы, которая в той или иной форме управляет ходом современной мысли.^[125]

Не следует предполагать, что Бруно воспринял эти моменты с отчетливостью или что он выразил их именно в тех формах, с которыми мы знакомы. Избитая метафора о виде Фасги на землю обетованную применима к нему с исключительной уместностью. Более того, как заметил один проницательный критик, в его трудах старое и новое так странно смешаны, что то, что на первый взгляд кажется современным, при размышлении часто оказывается античным, а то, что изложено в устаревшей схоластической терминологии, при анализе оказывается содержащим зачатки передовых теорий.^[126] Своеобразные формы, адаптированные для изложения его мыслей, усугубляют трудность получения методического представления о философии Бруно. Поэтому оспаривалось, был ли он пантеистом или атеистом, материалистом или спиритуалистом, мистиком или агностиком. Никто не утверждал бы более серьезно, чем сам Бруно, что мудрец может объединить все эти кажущиеся противоречия вместе, за исключением атеизма; последнее просто невозможно. Фрагментарное и страстное изложение, которое Бруно дал своим взглядам в серии итальянских диалогов и латинских стихотворений, не обескуражит тех его поклонников, которые оценивают очевидную неудачу, допущенную всеми разработчиками сложных систем, от Аристотеля до Гегеля. Постичь тайну мира и выразить эту тайну в терминах логики явно за пределами способностей человека. Филosophies, направленных на вселенской, Бог, поясняя, природа-разъяснение, человек излучает сияние, полнота, справедливо, следовательно, становятся объектом подозрений. Максимум, что может сделать человек, находящийся в очевидных невыгодных условиях для получения полного обзора целого, — это обострить свой интеллект над заведомо неразрешимыми проблемами, расширить сферу своего практического опыта, улучшить свое господство над материей, изучить возвышение своей моральной природы и поощрять себя к положительным достижениям, потворствуя тем славным мечтам, из которых возникли возрождающие верования и вдохновляющие философии -

Все еще стремящийся к бесконечному знанию,
И вечно движущийся, как беспокойные сферы.

Вера и поэзия - высшие сферы, в которых его дух может с пользой двигаться. Изучение правительства, права и социальной этики, анализ физических условий, которым он подвержен и над которыми он имеет неопределенный, хотя и ограниченный, контроль, составляют практическую сферу его интеллекта. Бруно пересек эти регионы; и, поскольку результатом его исследования стала не система, а скопление поэтических видений, проницательных догадок,

глубокой интуиции и страстного энтузиазма, связанных воедино и поддерживаемых жгучим чувством Божественного единства в природе и в человеке, нам может быть позволено считать его более удачливым, чем тех строителей облачных замков, чьи классификации абсолютного существования последовательно подтверждаются развитием относительного знания, что они представляют собой всего лишь каталоги нескольких объектов, постигаемых зрением каждой частично просвещенной эпохи. У нас действительно есть основания удивляться тому, как много интуиций Бруно легли в основу более поздних, более разработанных систем и до сих пор остаются лучшими из того, что в них содержится. У нас есть основания задаться вопросом, сколько из его предсказаний вошли в общий фонд современных верований и стали философскими прописными истинами.

Вполне вероятно, что, если бы карьера Бруно не была прервана темницей и костром в раннем возрасте тридцати четырех лет, он мог бы написать какую-нибудь заключительную работу, в которой его теории приняли бы официальную форму. Вполне возможно, что в Ватикане даже сейчас хранится первый набросок для такого изученного изложения в трактате о семи искусствах, который Джованни Мочениго передал инквизиции и который философ намеревался посвятить Клименту VIII. Но вряд ли стоит сожалеть об утрате этой разработанной системы, если не считать того, что она пролила более ясный свет на деятельность самого просвещенного интеллекта шестнадцатого века. Мы знаем, что это не могло бы раскрыть нам тайну вещей.

Бруно облакал свои мысли в две формы: диалог и латинские гекзаметры. Последний привлек его ранним изучением Парменида и Лукреция. Первое, по-видимому, было естественным для этого человека. Мы не должны забывать, что он был неаполитанцем, с детства привыкшим к фарсам своей родины, живо воспринимавшим комические аспекты существования и радостно воспринимавшим реальность. Его первым известным произведением была комедия *"Канделахо"*; и что-то от драмы прослеживается во всех тех итальянских композициях, которые отличают период его писательской деятельности в Лондоне. Форму своего диалога определил Лукиан, а не Платон или Цицерон. Элемент бурлеска отличает его подход к религиозным и моральным проблемам в *"Спаччо делла Бестия"* и *"Кавалло Пегасео"*. И хотя он обменялся способ его модели к более серьезным экспозиции в трио метафизических диалогов, по имени *Ла Скала Делле-Сенери, Делла Кайуса, и Дель Инфинито Universo, который*, тем не менее непреодолимая склонность к драматической сатире возникает даже там в описании Англии и в символы необходимого педант шут. Его диалог *оЭротическом фуре* выдержан на высоком уровне устремленного пыла. Мистический в своей попытке выразить жажду души к истине и красоте, он использует метод беглого комментария к стихотворениям в манере дискурсивной и фантастической *новой жизни*. В своем итальянском стиле Бруно многим был обязан моде, установленной Аретино. Изучение комедий Аретино очевидно в *"Канделахо"*. Связывание слов и идей в тройки, уравниваемое вторым набором слов и идей в противоположных тройках — этот риторический прием, который утомляет современного читателя его прозы, кажется, скопирован прямо у Аретино. Тому же влиянию следует приписать создание фантастических названий, *"Спаччо делла Бестия Трионфанте"* в какой-то заметной степени способствовало мученической смерти Бруно. Источник этих литературных излишеств был плохим. Аретино, Дони и им подобные люди не были подходящими мастерами для Джордано Бруно даже в таком незначительном вопросе, как художественная форма. Тем не менее, в этом отношении он разделял порочный вкус, характерный для его поколения, и доказал, насколько полно он представлял эпоху, в которую жил. Не исключено, что немногие современные читатели его произведений, особенно в эвфуистической Англии, восхищались безделушками, которые он

так щедро разбрасывал и придавал им такой блеск благодаря блеску своего остроумия. Однако, когда на него нисходит настоящий божественный эструм, он отбрасывает эти глупости. Тогда его язык, как и его мысль, полностью принадлежит ему: возвышенный, страстный, жгучий, мутный; инстинкт с глубоким вулканическим огнем неподдельного энтузиазма. Мысль проста; дикция прямая; склад ума и способ выражения необычайно живые, удивительно современные. Мы слышим, как этот человек говорит, как он говорил на званом ужине у Фалка Гревилла, как он говорил в Оксфорде, как он говорил перед Сорбонной, как он мог бы говорить сейчас. В этих мужских высказываниях нет ни намека на литературные усилия, ни налета устаревшего стиля.

ГЛАВА X

FRA PAOLO SARPI

Положение Сарпи в истории Венеции—Родители и детство—Вступление в Орден сервитов—Его личные качества—Достижения как ученого и человека науки—Его жизнь среди сервитов—В Риме дурно пахнет—Павел V. наложил интердикт на Венецию—Сарпи избран теологом и советником Республики—Его полемические труды—Взгляды на Церковь и государство—Интердикт снят—Мечь римлян—На Сарпи напал Брави—Его раны, болезнь, выздоровление—Последующая история ассасинов—Дальнейшие покушения на жизнь Сарпи—Политические и исторические работы Сарпи—История Тридентского собора—Отношение Сарпи к протестантизму—Его суждение об иезуитах—Смерть Сарпи—Христианский стоик.

Фра Паоло был сыном Франческо Сарпи и Изабеллы Морелли, венецианцев из скромного среднего класса. Он родился в 1552 году, был крещен Пьетро и прозван Пьерино из-за своего миниатюрного роста. Вступив в орден сервитов, он принял религиозное имя Паоло, которое впоследствии прославил на всю Европу. С тех пор как Сарпи умер в 1623 году, его жизнь совпала с периодом наивысшего интереса и многочисленных перипетий в период упадка Венеции. После битвы при Лепанто в 1571 году он видел, как дворяне Сан-Марко приветствовали своего победоносного адмирала Себастьяно Веньеро и воздали ему почести Собачьего флота. В 1606 году он помог Республике противостоять громам Ватикана и бросить вызов отлучению папы от церкви. Восемь лет спустя он присутствовал на тех государственных советах, которые разоблачили заговор, известный как заговор Бедмара, направленный на уничтожение Венеции. В молодости Кипр был вырван из рук Святого Марка; и поскольку только венецианцы поддерживали дело христианской цивилизации против турок и пиратов в восточных морях, он смог перед смертью предвидеть разорение, которое впоследствии принесла его стране война при Кандии. В течение последних восемнадцати лет своего существования Сарпи был интеллектом Республики; человеком воли и разума, который придавал голос и энергию ее политике независимости; государственным деятелем, который наиболее ясно понимал условия ее силы и слабости. Этот монах воплощал венецианский дух в тот момент, когда, находясь на грани упадка, он достиг самосознания; и венецианцы настолько инстинктивно преданы своему Государству, что при жизни он был признан ими героем, а после смерти почитался как святой.

Как только спор с Павлом V был исчерпан, Сарпи заметил, что венецианская аристократия поддалась лени и политическому безразличию. Религиозное подобострашие Риму и "миролюбие или, скорее, трусость рабов", которые постепенно погружали Италию в умственное оцепенение и роскошную праздность, вторглись в этот последний оплот свободы. Хотя христианский стоицизм Сарпи и практическая проницательность спасли его от бесполезной в то время роли общественного агитатора, его частная переписка показывает, как низко пали его надежды на Италию. Ничто, кроме всеобщей войны, не могло освободить ее от ига надменного Рима и иностранного деспотизма. Тем временем Папский двор, Испания и Австрийский дом, которым было что терять в результате соперничества, любой ценой сохраняли мир в Италии. Князья, чьи ничтожные троны зависели от доброй воли Испании и папы, боялись нарушить равновесие рабства; население, оупевшее от суеверий, выхолащенное иезуитской коррупцией и запуганное церковной тиранией, дремало в грязно-медовой жиже рабских удовольствий. Из своей кельи в монастыре сервитов Сарпи обозревал весь политический горизонт, с нетерпением ожидая появления какой-нибудь утренней звезды освобождения. Одно время его взор останавливался на герцоге Савойском, но этот беспокойный дух не смог четко направить его курс между испанскими и французскими интересами, римской завистью и плохо скрываемой враждебностью итальянских властителей. В другое время, как и все любители свободы по всей Европе, он с доверием относился к Генриху IV. Но кинжал фанатика, заточенный иезуитами, оборвал жизнь монарха и передал Францию правительству проницательных флорентийских авантюристов. Германия была слишком отвлечена внутренними разногласиями, Голландия была слишком далека и поглощена собственной борьбой за существование, чтобы предложить немедленную помощь. Напрасно Сарпи говорил своим иностранным корреспондентам, что война за свободу в Европе должна быть перенесена в цитадель абсолютизма. Чтобы одержать победу над тройственными силами Испании, папского двора и иезуитов, Рим должен был подвергнуться нападению в Италии. Его рассуждения были правильными. Но народы, борющиеся за свободу на своей родной земле, не могли рисковать авантюрой, которую только какая-нибудь центральная держава первой величины, такая как Франция, могла бы провести с хорошей перспективой успеха. Тем временем то, что Сарпи называл Диакаатоликоном, этот абсолютистский союз Рима, Испании и Австрии, поддерживаемый инквизицией и иезуитами, принятый государствами Италии и прочно укоренившийся в некоторых частях Германии, вторгся даже в те провинции, где еще сохранились традиции независимости. После 1610 года иезуиты овладели Францией; и хотя они не добились своего возвращения в Венецию, правящие классы Республики позволили одурманить себя распространенным наркотиком. Венеция тоже боролась за свою жизнь на Адриатике и в Леванте, в то время как ее знать с каждым днем становилась все более расслабленной в аристократическом досуге, все более папизирующей в своих личных симпатиях. Таким образом, последние годы жизни Сарпи были омрачены глубоким унынием, которое, на самом деле, не погасило его веру в божественное Провидение или его твердую веру в то, что право в конечном итоге восторжествует, но которое придает трагический интерес старости этого поборника политической и моральной свободы, пришедшейся на тяжелые дни.

Я счел за благо предварить то, что я должен сказать о Сарпи, этим прогнозом его окончательного отношения. Как итальянец, наиболее ясно осознавший все последствия католического возрождения и практически сопротивлявшийся тому, что было злом для его нации в этом реакционном движении, он требует занять видное место в этой книге. О его

притязаниях на научные открытия и об особых заслугах, оказанных Венецианской республике, достаточно будет коснуться лишь слегка.

Отец Сарпи был невысокого роста, смуглый, холеричный и беспокойный. Его мать была высокой, бледной, лимфатичной, преданной религиозным упражнениям и аскезе. Сын от их неудачного брака унаследовал что-то от обоих темпераментов. Лицом и глазами он походил на свою мать и унаследовал от нее то благочестие, которым был отмечен его жизненный путь. Его невысокая, худощавая фигура, его живой, вечно активный интеллект свидетельствовали об отцовском наследии. Это смешение двух различных линий породило в нем необычайную твердость характера. Человеческое жилище из глины редко давало приют духу столь бесстрастному, столь прекрасному, столь почти бестелесному. Обладая чрезвычайной физической слабостью, но одаренный неиссякаемой умственной энергией, неутомимый в учебе, безграничный в способности приобретать и удерживать знания, он подчеркивал тот тип, который дала ему природа, постоянными привычками на всю жизнь. В диете он воздерживался от мяса и питал отвращение к вину. Его обычными слабостями были слабости человека, который подчиняет тело управлению разума. Столь же ценная, как у Скалигера,^[127] Сарпи страдал от гепатотоксического кровотечения, задержки мочи, выпадения прямой кишки и геморроя. Перемежающиеся приступы лихорадки снижали его силы, но редко мешали его деятельности. Он отказывался относиться к себе как к инвалиду, никогда не менял свой образ жизни из-за какой-либо болезни и занимался своими повседневными делами, когда люди с более слабым телосложением уже легли бы в постель. Его безразличие к опасности было безразличием стоика или мусульманина. В течение пятнадцати лет он знал, что неугомонные враги постоянно подстерегают его, чтобы прикончить ядом или кинжалом. И все же его едва ли можно было убедить прибегнуть к самым обычным мерам предосторожности. "Я решил, - писал он в 1609 году, - вообще не думать об этих несчастьях. Тот, кто слишком много думает о жизни, не знает, как жить хорошо. Однажды человек обязательно умрет; интересоваться днем, местом или способом смерти бесполезно. На все воля Божья, все хорошо".^[128] Поскольку страх не владел его природой, он был полностью свободен от власти чувств. Женское имя, если не считать имени королевы Франции, по-моему, ни разу не упоминается в его переписке. Даже естественные привязанности, кажется, были стерты, поскольку он ничего не пишет о своей матери, отце или сестре, которые пережили их смерть. Ему было достаточно одного костюма, а в его камере стояли три песочных стакана, изображение Христа в Саду и распятие, водруженное над человеческим черепом.

Его физическая чувствительность, развитая суровым образом жизни, была высочайшей остроты. Зрение, осязание и вкус у него приобрели самую изысканную утонченность. Он обычно говорил, что не боится яда в своей пище, поскольку может различить малейшую фальсификацию натурального вкуса. Его умственная проницательность была столь же утонченной. Мальчиком он мог процитировать тридцать строк Вергилия, прослушав их один раз. Книги он не столько просматривал, сколько проникал в них с первого взгляда; и то, что он лишь мимоходом заметил, впоследствии никогда не ускользало от его памяти. В обширных венецианских архивах он мог дотронуться до любого документа, не обращаясь к реестрам или каталогам. Мельчайшие подробности посещенных домов или мест, через которые он проезжал, оставались неизгладимыми в его памяти. Характеры людей были открыты для его понимания по их физиономии и жестам. Когда его любопытству были представлены новые научные инструменты, он без труда угадывал их назначение и постигал их механизм. Таким образом, наделенный редким сочетанием физических и интеллектуальных способностей, неудивительно,

что Сарпи стал одним из самых образованных людей своего времени или любого другого возраста. Он был превосходным знатоком греческого, латыни и иврита; в совершенстве владел французским и испанским языками; глубоко разбирался в каноническом и гражданском праве; обладал обширной эрудицией в области классической и схоластической философии; досконально был знаком со светской и церковной историей. Каждая область математики и естественных наук была исследована им с энтузиазмом первопроходца. Он проводил эксперименты в области химии, механики, минералогии, металлургии, физиологии растений и животных. Его практические занятия анатомией проводились с помощью вивисекции. Следуя независимым путям, он разработал некоторые открытия Гилберта в области магнетизма и Да Порта в области оптики, продемонстрировал клапаны вен и функцию сосудистой оболочки в зрении, предсказал использование телескопа и термометра. Когда он обратил свое внимание на астрономию, он сразу же заявил о бесполезности судебной астрологии; и, признавая справедливость системы Галилея, предсказал, что эта истина вызовет у ее распространителя серьезные трудности с римской инквизицией. В своих трактатах по психологии и метафизике он выдвинул теорию сенсуализма, сходную с теорией Локка. На самом деле не было области знаний, которую он не исследовал бы с энергией первооткрывателя. Только поэзии и художественной литературе он уделял мало внимания, презирая ребячество риторики, вошедшее тогда в моду, и используя язык как простейшее средство выражения мысли. В разговоре он был сдержан, говорил мало, но всегда по делу и предпочитал скорее стимулировать своих собеседников, чем демонстрировать красноречие или эрудицию. Тем не менее, его общества жаждали, и он получал удовольствие от общества не только ученых людей и студентов, но и путешественников, политиков, торговцев и граждан всего мира. Его любимыми местами отдыха были салуны Андреа Морозини и лавка Секкини под вывеской Неф д'Оро. Здесь, после дней, проведенных в религиозных упражнениях, священнических обязанностях и длительной учебе, он расслабился, беседуя с разношерстной толпой выдающихся людей, которые посещали Венецию по делам или ради удовольствия. Определенный слабокислый юмор, сочетающий в себе иронию без горечи и вошедшую в поговорку остроту без сентенции, придавал пикантности его речи. К сожалению, у нас нет записей о остроумных встречах, которые, возможно, происходили под крышей Морозини или Секкини между этим монахом, таким пунктуальным в соблюдении религиозных обрядов, таким безупречно чистым в поведении, таким холодным по темпераменту, таким острым по интеллекту, таким скромным в самооценке, таким осторожным, таким непроницаемым, и его современником Бруно, лишенным сана гениальным монахом, более смелым, но менее уверенным, который во всем, кроме их общей любви к истине и свободе, был умственной противоположностью Сарпи.

Сарпи вступил в орден Серви, или Слуг Пресвятой Девы, в четырнадцать лет, обновил свои обеты в двадцать и был рукоположен в священники в двадцать два.^[129] Его большие заслуги рано привлекли к нему внимание, и он занимал значительные должности в своем Ордене. Несколько лет его взросления прошли в Риме, где он занимался бизнесом и вел юридические дела Отцов. В Мантуе он завоевал уважение Гульельмо Гонзаги. В Милане он был близко знаком со святым Карло Борромео, который консультировался с ним по вопросам реформы епархии и настаивал на том, чтобы он выслушал исповедь. Эта обязанность была неприятна Сарпи; и хотя после смерти он обычно служил мессу и проповедовал, он воздерживался от тех функций священства, которые привели бы его к тесным отношениям с отдельными людьми. Склад его ума вызывал у него отвращение ко всем формам суеверий и священнических посягательств на свободу совести. Ведя битву за политическую независимость против церковной агрессии, он

сохранял prerogative личной свободы. Искусство, с помощью которого иезуиты овладевали семьями и отдельными людьми, внушало ему не меньшее отвращение, чем незаконный деспотизм папства. Это сочетание искреннего благочестия и моральной прямооты со страстью к светской свободе и ненавистью к ремеслу священников имеет в себе что-то очень родственное английскому темпераменту. Сарпи был убежденным католиком в религии, а в политике тем, кого мы могли бы назвать убежденным вигом. Насколько теперь возможно проникнуть в суть его несколько сбивающей с толку личности, мы могли бы сравнить его с более утонченным Маколеем, с Дином Стэнли более энергичного телосложения. Он был менее банален, чем первый, более содержателен, чем второй. Но мы должны быть осторожны, предлагая какую-либо интерпретацию его реальных взглядов. Не зря он посвятил себя монашеской жизни в отрочестве и упорствовал в ней до конца своей долгой карьеры. Монастырская дисциплина делает каждого монаха непостижимым, и сам Сарпи уверял своих друзей, что он, как и все итальянцы его времени, обязан носить маску.[130]

Как бы то ни было, Сарпи был не из тех людей, которые с помощью монашеских интриг или придворного служения добивались высокого положения ни в своем Ордене, ни в Церкви. Задолго до того, как он обнажил меч в защиту венецианских свобод, он стал объектом подозрений Рима и своего начальства. Несколько откровенных слов, вырвавшихся у него в переписке относительно коррупции в Папской курии, закрыли все пути к власти. Пурпур получали люди менее заметные. Сарпи было отказано в самых низменных и беднейших епископствах. На него трижды доносили инквизиции по надуманным обвинениям; но каждый раз обвинительный акт отклонялся без проведения слушаний. Генерал сервитов обвинил его в том, что он надел кепку и тапочки неканонического покроя и не произнес *Salve Regina*. После торжественного судебного разбирательства Сарпи был оправдан; и вошло в поговорку, что "даже туфли неподкупного фра Паоло были канонизированы". Будучи искренним католиком в душе, а также человеком глубокой образованности и осмотнительной речи, его враги-паписты не смогли его схватить. И все же они инстинктивно ненавидели и боялись того, кто, как они чувствовали, противостоял их непомерным притязаниям и тайным посягательствам на общественные свободы в силу своей силы, бесстрашия и свободы души. Его общение с еретиками, как в переписке с учеными французами, так и в беседах с выдающимися иностранцами в Венеции, стало основанием для обвинения и Климента VIII. заявил, что одного этого достаточно, чтобы лишить его всякого сана в Церкви.

Не похоже, чтобы Сарпи забивал себе голову подобными вещами. Если бы он стремился к власти, не было бы такого отличия, к которому он не стремился бы, опускаясь до обычных искусств и поступаясь свободой совести. Но он был равнодушен к рангу и богатству. Общественные дела он при случае выполнял из чувства долга перед своим Орденом. В остальном, пока ему оставалось спокойно заниматься своими исследованиями, Сарпи был достаточно счастлив; и его скромность была настолько велика, что он даже не стремился публиковать результаты своих научных открытий. По этой причине они теперь утеряны для мира; память о них сохранилась только в записях Фоскарини и Гризеллини, которые изучали его рукописи, прежде чем они были случайно уничтожены пожаром в 1769 году.

Хотя Сарпи и был известен по всей Европе как *земной оцеллус*, человек, которого каждый посетитель Венеции разыскивает как редчайшего гражданина Республики, он мог бы покинуть эту земную сцену лишь со слабой славой мыслителя, чьи выдающиеся дарования расцвели в неизвестности, если бы не публичная возможность, которая вынудила его оставить учебу и свою

келью ради места в Совете директоров и должности автора полемики. Та твердая мужественность ума, которая заставляет англичанина восхвалять английские добродетели в Сарпи, привела его к утверждению, что "каждый выдающийся человек обязан уделять внимание политике".^[131] Однако политика не была его особой сферой. До пятидесяти четырех лет он совершенствовался в усердных занятиях, о которых я уже упоминал, в исполнении своих официальных обязанностей монаха и религиозных обязанностей священника. В практических делах жизни он отличился судебной проницательностью, непоколебимым правосудием, непогрешимой проницательностью и неисчерпаемыми запасами эрудиции, с легкостью разбиравшейся в каждой детали любого спорного вопроса. Но природа и склонность, казалось, с самого раннего взросления выделяли его скорее для экспериментальной и умозрительной науки, чем для действия. Теперь потребовался его глубокий источник энергии, который развил скрытые силы уникального по многогранности характера. Он посвятил себя религии и стремлению к знаниям. Но он был венецианцем из венецианцев, самой душой Венеции. После Бога его Князь и Республика потребовали повиновения; и когда Святой Марк призвал, Сарпи оставил науку ради служения своей стране. "Исключительно активной и созерцательной энергией была жизнь нашего Отца; он отдавал Богу то, на что был способен, своему Принцу то, что диктовал долг, и владениям Венеции больше, чем требовал какой-либо закон, кроме закона любви".^[132]

Павел V. надел тиару с твердой решимостью подтвердить притязания папы на верховенство. Многочисленные спорные вопросы юрисдикции между Венецией и Святым Престолом, касающиеся полуцерковного феода Сенедра, вступления в должность патриарха, судоходства по реке По и права Республики выносить решения по уголовным делам, затрагивающим священников, предоставляли этому папе возможности для вмешательства. Венецианцы сохранили свои обычные прерогативы; и в апреле 1606 года Павел наложил на них интердикт и отлучил от церкви. Республика отрицала законность этого разбирательства. Дож Леонардо Донато издал воззвание к духовенству всех степеней в пределах домена, взывая к их лояльности и предписывая им выполнять свои священнические обязанности, несмотря на папский интердикт. Только иезуиты поначалу не подчинились указу герцога. Когда они отказались служить мессу в отлученном от церкви городе, их формально изгнали как непокорных подданных; и отцы отплыли под проклятия населения: "*Andate in malora*". Их примеру впоследствии последовали реформированные капуцины и театинцы. В остальном венецианское духовенство, как и народ, оставалось твердым в своей верности государству. "В первую очередь мы венецианцы, а потом христиане" - пословица, восходящая к этому инциденту. Венеция, сознавая справедливость своего дела, была готова, если потребуется, с оружием в руках противостоять высокомерным требованиям папы римского и совершать религиозные обряды в своих городах, несмотря на отлучение Камилло Боргезе. Сенат незадолго до этих событий осознал преимущество, которое получит Республика от службы опытному канонисту и юристу в церковных делах. Сарпи привлек их внимание на ранней стадии спора памяткой, которую он составил и представил дожу о наилучших средствах отражения папской агрессии. Ознакомившись с его отчетом, в январе 1606 года они назначили его теологом и канонистом республики с годовым жалованьем в 200 дукатов. Этот пост он занимал до своей смерти, а позже был повышен до еще более важной должности государственного советника, которую в конце концов он занимал один, без единого помощника.

Начиная с января 1606 года и в течение оставшихся семнадцати лет своей жизни Сарпи был интеллектуально самым выдающимся деятелем Венеции, человеком, который для всего мира

олицетворял ее политику умеренного, но решительного сопротивления церковной тирании. Скромному и уходящему на покой студенту было навязано величие, и имя отца Поля стало лозунгом политической независимости по всей Европе.

Иезуиты, действовавшие заодно с Испанией, как уверены хорошо информированные историки, впервые вдохновили Камилло Боргезе на его необдуманное покушение на свободы Венеции.^[133] Теперь, после своего изгнания из Республики, иезуиты открыли литературную войну против венецианского правительства. Они писали и публиковали манифесты на территории Бергамаски, провинция которой признавала епископальную юрисдикцию Милана, хотя и относилась к венецианским владениям. В этих трудах утверждалось, что до тех пор, пока папский интердикт остается в силе, все таинства будут недействительными, браки недействительными, а потомство незаконнорожденным. Население, уже обученное доктринам папского превосходства, было предупреждено, что, если они останутся верными непокорному государству, их собственные души погибнут из-за отсутствия священнического служения, а их потомки будут скитаться по миру как незаконнорожденные и проклятые. Опровергнуть этот аргумент о саркастической тирании, непомерной в любую эпоху латинской Церкви, но нелепой после просвещения шестнадцатого века в Европе, было простым долгом гражданина. Поэтому Сарпи предоставил элегантному итальянскому стилисту Джамбаттисте Леони материал для изложения противоречия между Венецией и Римом. Было бы хорошо, если бы он взялся за перо собственноручно. Но в этот ранний период своей карьеры публициста он, похоже, был неуверен в своих литературных способностях. В результате основная защита Леони Республики потерпела крах, и некоторое время война велась по второстепенным вопросам. Сарпи извлек из пыли библиотек трактат Жерсона, ученого французского поборника независимости католицизма, перевел его на итальянский и передал в печать, сопроводив вступительным письмом, которое он подписал.^[134] Кардинал Беллармино ответил из Рима нападка на ортодоксальность Сарпи и авторитет Жерсона. Сарпи ответил, извинившись за Жерсона. Затем, обнаружив, что рассказ Леони не попал в цель, он изливал брошюру за брошюрой, излагая свои собственные *соображения по поводу порицаний*, вдохновил фра Фульдженцио Миканци работой под названием "*Подтверждения*" и, наконец, свел весь предмет спора к книге под названием "*Трактат о интердикте*", которую он подписал вместе с шестью братьями-богословами венецианской партии. В данном месте нет необходимости проводить тщательное расследование достоинств этой памфлетной войны. В деталях, независимо от того, рассматриваем ли мы высокомерные претензии Рима на делегированное всемогущество или тщательно изученные исторические и канонистические аргументы, выдвинутые Сарпи, спор утратил актуальность. Здравый смысл и свобода настолько победили в Европе, что мнения Сарпи, тогда осуждавшиеся как ереси, звучат теперь как прописные истины; и его откровенное хвастовство тем, что он первым сломал шею папским посягательствам на светские прерогативы, может сойти за незначительное в эпоху, когда церковного насилия бояться нечего.

Однако мы не должны забывать, что в первые годы XVII века конфликт Венеции с папским абсолютизмом, рассматривавшийся всего лишь как тестовый пример в международной юриспруденции, представлял жизненно важный интерес. Когда мы вспоминаем, как Католический альянс тогда был занят сдерживанием волны Реформации, как силы Рима были объединены Тридентским собором и как был создан организм иезуитов для распространения новых догм о папском всемогуществе в Церкви и государстве, это сопротивление Венеции, стойкой католички по вероисповеданию, доблестной в своей защите христианского мира от

мусульман, поддерживаемой ее верным церковником и опытным канонистом, было немаловажным фактором в европейской борьбе за свет и свободу. Событие было чрезвычайно серьезным. Восстановленный Рим еще не был приведен к резкому столкновению с каким-либо государством, входившим в его сообщество. Если бы Венеция уступила в этом вопросе, папство могло бы предвещать себе всеобщую победу. Тот факт, что Венеция в конце концов подчинилась римскому влиянию, сохранив при этом видимость независимости, действительно умаляет важность этого дела о наложении интердикта, рассматриваемого как эпизод в борьбе за духовную свободу. Более того, теперь мы знаем, что самонадеянным претензиям папства в целом было суждено, прежде чем прошло много лет, быть урезанными, умаленными и уничтоженными простым продвижением интеллектуального просвещения. Тем не менее, ни одно из этих соображений не умаляет притязаний Сарпи на звание героя в авангарде битвы, которая в его время велась со все еще неопределенными перспективами.^[135] В своих сравнительно узких сферах Венеция и Сарпи, не меньше, чем Голландия, Англия, Швеция и протестанты Германии, позднее выступившие на более широкой платформе, боролись за принцип, от которого зависела свобода государств. И они были первыми, кто сражался за это на земле, наиболее опасной для общего противника. Во всех своих трудах Сарпи стремился доказать, что люди могут оставаться здравомыслящими католиками и все же противостоять римской агрессии; что римский двор и его современные защитники ввели новую доктрину, отклоняющуюся от первоизданного государственного устройства христианского мира; что посттридентская теория папского абсолютизма была деформацией того порядка, который основал Христос, которому наставляли Апостолы и который Соборы более чистой эпохи возвели в живой храм Божьей Церкви на земле.

Можно процитировать отрывок из переписки Сарпи, который является лейтмотивом всех его работ по этому знаменитому спору. "Я полагаю, - пишет он Жаку Жилло в 1609 году, - что государство и Церковь - это два царства, состоящие, однако, из одних и тех же людей. Одно полностью небесное, другое земное. У каждого есть свой суверенитет, защищаемый его собственным оружием и укреплениями. У них нет ничего общего, и у одного не должно быть повода объявлять войну другому. Христос сказал, что он и его ученики были не от мира сего. Святой Павел утверждает, что наш город находится на небесах. Я использую слово "Церковь" для обозначения собрания верующих, а не только священников; ибо, когда мы рассматриваем его как ограниченное ими, оно перестает быть царством Христа и становится частью содружества в этом мире, подчиняющейся высшей государственной власти, как и миряне.^[136] Это решительное различие между Церковью и государством, которые удовлетворяют потребности человечества, но находятся в различных отношениях, лежало в основе доктрины Сарпи. Он рассматривал притязания Церкви на вмешательство в управление государством не только как нарушение прерогатив князя, но и как явный бунт против закона Божьего, который возлагал временное управление народами на священное доверие светских правителей. Как государство не имеет права вмешиваться в создание и распространение догм или навязывать свои постановления религиозному сознанию своих подданных, так и Церковь не имеет права вмешиваться в дела правительства, накапливать богатство и присваивать себе светскую власть, или выводить своих министров из-под юрисдикции князя в вопросах, которые касаются функционирования уголовного и гражданского законодательства. Ультрамонтанизм иезуитов казался ему разрушительным для социального порядка; но, более того, он считал его нечестивым, отклонением от формы христианской экономики, коварным заманиванием Церкви в трясину самоуничтожающей алчности и вожделения.

Взгляды Сарпи казались смелыми в его эпоху. Но они стали общим местом для потомков. Поэтому мы вряд ли можем отдать должное оригинальности и дерзости, которые они проявили в эпоху, когда только протестанты, враждовавшие с Римом, проявляли подобную смертельную ненависть, когда католические кафедры Европы гремели новоявленными доктринами о верховенстве Папы над князьями и народами, о национальных правах низлагать или убивать отлученных от церкви монархов и о слепом неразумном повиновении Риму как единственному надежному методу спасения. На пути этого папского триумфа к Столице мирового владычества Сарпи, тщедушный монах из своей кельи в Венеции, возник подобно призраку, возвещающему неминуемую гибель неопровержимыми доводами разума. Произнесенные им наставительные слова были тем более значимыми, что ни он, ни государство, которое он представлял, не стремились порвать с католическими традициями. Его голос был ужасен и могуч, поскольку он осудил Рим обвинительным актом, который провозгласил его возмутительной силой в христианском мире, возмутительницей спокойствия Израиля, блудницей, которая вылила свою чашу блуда, чтобы ужинать с принцами.

Спустя шестнадцать месяцев спор о интердикте был разрешен. Венеция, сражавшаяся с исламом, вряд ли могла позволить себе порвать с Римом, даже если бы ее восьмивековые национальные традиции, переплетенные с обрядами латинского благочестия, не запрещали открытого разрыва. Папский двор, погруженный в возмущенное молчание из-за антагонизма, который угрожал интеллектуальным бунтом по всей Европе, отказался от части своих притязаний. Трое французов, перешедших из гугенотских взглядов в католицизм, Генрих IV, кардинал дю Перрон и месье де Канайе, уладили дело. Интердикт в Венеции был скорее отменен, чем отменен — в надменном молчании, без звона колоколов в Сан-Пьетро ди Кастелло и Сан-Марко, без проявления радости в городе, который считал папские интердикты незаконными, без парада публичного отпущения грехов папой. Таким образом, Республика сохранила свое достоинство и самоуважение. Но Камилло Боргезе, провозглашая всеобщую амнистию, сохранил *in petto* непримиримую враждебность к теологам венецианской партии. Двое из них, Марсилио. и Рубетти, внезапно скончались по подозрению на отравление.[137] Третьего, Фульдженцио Манфреди, заманили в Рим, проявили благосклонность и, наконец, повесили на Кампо ди Фьора по приказу Святой Канцелярии.[138] Четвертый, Капелло, отрекся от своей так называемой ереси, и ему назначили жалкие гроши на последние дни его никчемной жизни в Риме.[139] Оставалось, если возможно, наложить руки на фра Паоло и его преданного секретаря фра Фульдженцио Миканци из сервитов.

Ни угрозы, ни обещания не помогли этим друзьям покинуть Венецию. Во время интердикта и после него Фульдженцио Миканци проповедовал там Евангелие. Он сказал людям, что в Новом Завете он нашел истину; но он попросил их обратить внимание на то, что для мирян эта книга даже по воле Рима стала мертвой буквой.[140] Павел V. выразил недовольство в таких словах: Доктрина фра Фульдженцио, действительно, не содержит явной ереси, но она настолько явно опирается на Библию, что наносит ущерб католической вере.[141] Сарпи сообщил своим французским корреспондентам, что этот человек открыто проповедовал Христа и истину в Венеции.[142] Фульгенцио пережил трудности тех времен, неизменно преданный своему хозяину, которого он завещал потомкам, верный портрет в этой биографии, сочетающий голубиную простоту четырнадцатого века с чем-то от пронизательности и юмора Роджера Норта.[143] На Фульдженцио мы больше не обращаем внимания, отдав ему наш долг благодарности за гениальную услугу, оказанную в сочувственном описании такого выдающегося персонажа, как Сарпи. Можно выразить некоторое сожаление по поводу того, что

некоторые столь простые и нежные свидетельства о Бруно как человеке все еще подводят нас и, увы, должны когда-нибудь подвести. Фульгенцио своей любовью заставляет нас любить Сарпи, который в противном случае мог бы хладнокровно завоевать наше восхищение. Но для Бруно, этого козла отпущения духа в дикой местности мира, нет никого, кто мог бы сказать слова поклонения и привязанности.

Первое четкое предупреждение о том, что его жизнь в опасности, поступило Сарпи от Каспара Шоппе, публициста. Сципиус (так называли его современники) был человеком с сомнительным характером и непоколебимыми принципами, который, в зависимости от разнообразия своих интересов, свободно владел пером и четким латинским стилем за иезуитскую фракцию или против нее. История вряд ли снизошла бы до того, чтобы обратить на него внимание, если бы ему не посчастливилось в критические моменты соприкоснуться с тремя главными итальянскими мыслителями своего времени. Мы уже знаем, что письмо этого человека - единственное свидетельство очевидца осуждения Бруно, которым мы располагаем. Он также заслуживает упоминания за то, что посетил Кампанеллу в тюрьме и помог добиться его освобождения. Теперь, в 1607 году, проезжая через Венецию, Шоппе добился частной беседы с Сарпи, указал на ненависть, которую фра Паоло приобрел в Риме своими писаниями, и в заключение заявил, что папа намеревался оставить его в живых или организовать его убийство. Если Сарпи хотел помириться с Павлом V., Шоппе был готов провести примирение на почетных условиях, поскольку на его попечении уже было несколько дел подобного значения. На это предложение Сарпи ответил, что дело, которое он защищал, было справедливым, что он не сделал ничего, что могло бы оскорбить его Святейшество, и что все заговоры против его свободы или жизни он оставил в руках Бога. К этим словам он многозначительно добавил, что даже в руках папы человек всегда был "хозяином своей собственной жизни" — фраза, которая, по-видимому, указывает на самоубийство как на последнее средство самозащиты. В сентябре того же года венецианский посол в Риме получил частную информацию о некоем таинственном замысле против неизвестного лица или лиц в Венеции, в котором был замешан папский двор и который должен был вскоре привести в действие.^[144] 5 октября Сарпи возвращался около 5 часов пополудни в свой монастырь в С. Фоска, когда на мосту на него напали пятеро хулиганов. Случилось так, что на этот раз с ним не было никого, кроме его слуги фра Марино, фра Фульдженцио и отважного человека, который обычно сопровождал его, возвращаясь домой другим путем. Убийцы были вооружены аркебузами, пистолетами и кинжалами. Один из них направился прямо на Сарпи, в то время как другие стояли на страже и удерживали фра Марино. Всего Сарпи было нанесено пятнадцать ударов, три из которых пришлось в шею и лицо. Стilet прочно застрял в его скуле между правым ухом и носом. Он упал на землю без чувств; и под крик нескольких женщин, которые были свидетелями этого безобразия из окна, убийцы скрылись, оставив свою жертву умирать. Было замечено, что они нашли убежище во дворце папского нунция, откуда в тот же вечер сбежали на Лидо *по пути* в Штаты Церкви. Старый венецианский дворянин высочайшего происхождения Алессандро Малипьеро, питавший особую привязанность к поборнику свободы своей страны, шел недалеко от Сарпи за мостом, на котором было совершено нападение. Он бросился на помощь своему другу, выдернул кинжал из его лица и отнес его в монастырь. Там Сарпи пролежал много недель в опасности, страдая, по-видимому, не только от ран, но и от своих врачей. Не удовлетворенные присутствием его собственного хирурга Альвизе Рагозы, венецианцы настояли на том, чтобы направить к его постели всех выдающихся врачей города и Падуи. Прославленный Аквапенденте был одним из этого разношерстного *кортежа*; и когда лечение было завершено, он получил за свою службу

богатую золотую цепь и рыцарское звание. Каждый медик предлагал какое-нибудь новое средство. Некоторые из них, подозревая яд, обрабатывали раны териакон и противоядиями. Другие разрезали плоть и прощупывали. Тем временем потеря крови так истощила тщедушное тело Сарпи, что более двадцати дней у него не было сил ни пошевелиться, ни поднять руки. Ни слова нетерпения не сорвалось с его губ; и когда Эквапенденте начал обрабатывать самую серьезную рану на его лице, он рассмешил дюжину врачей, остроумно заметив: "И все же мир считает, что это было сделано *Stilo Romanae Curiae*." [145] Его старый друг Малипьеро охотно сохранил бы этот кинжал как реликвию. Но Сарпи повесил его у подножия распятия в церкви Серви с соответствующей надписью: *Dei Filio Liberatori*. Когда он оправился от своих долгих страданий, Республика увеличила своему советнику пенсию, чтобы он мог содержать отряд вооруженной охраны, и выделила ему дом в Сан-Марко для большей безопасности его личности. Но Сарпи умолял позволить ему остаться среди монахов, с которыми он провел свою жизнь и куда его связывало призвание. В дальнейшем он предпринял несколько очевидных мер предосторожности, добравшись на гондоле до Риальто, а оттуда пешком через многолюдную Мерчерию до дворца герцогов, и, кроме того, заручился добрыми услугами своих слуг в монастыре, щедро одарив их деньгами. В остальном он отказался менять привычный уклад своего поведения.

Государство Венеция возмутилось этим нападением на их слугу, как если бы оно было направлено против величия Республики. Немедленно было выпущено воззвание, предлагавшее огромное вознаграждение за поимку или убийство преступников, особенно сформулированное так, чтобы внушить уверенность в том, что в этом замешаны люди высокого положения в Риме. Имена главных заговорщиков были следующими: Ридольфо Пома, разорившийся венецианский купец; Алессандро Парразио из Анконы, объявленный вне закона за убийство своего дяди; священник Микеле Вити из Бергамо; и два искателя приключений, Джованни ди Фьоренца и Паскуале ди Битонто. Сбежав на Лидо, они сели на корабль, отплывающий в Равенну, и в назначенное время прибыли в Анкону, где получили 1000 крон из папской камеры и продолжили триумфальное шествие по Романье. Их радость была омрачена известием о том, что фра Паоло не был убит. Венецианский *бандо* вселил в них страх и взаимные подозрения, теперь рука каждого была поднята против его товарища, и каждый негодяй на дороге был заинтересован в их поимке. Однако через некоторое время они продолжили свое путешествие в Рим и искали убежища во дворце кардинала Колонны. Здесь их приняли совсем не так, как они ожидали. Потерпев неудачу в достижении главной цели и навлекши скандал на Церковь, они несколько месяцев оставались в неизвестности, а затем им холодно приказали удалиться с мизерным вознаграждением. Все это время их жизни оставались под венецианским запретом. При таких обстоятельствах неудивительно, что мужчины были наполовину безумны. Пома бушевал, как дикий зверь, поклоняясь дьяволу в своих личных покоях, планируя пиратские замыслы и новые нападения на Сарпи, даже замышляя последний заговор против личности папы римского. Он был схвачен в Риме *сбирриями* правительства, и один из его сыновей погиб в потасовке. Другой вернулся в Венецию и закончил там свои дни бродячим сумасшедшим. Сам Пома умер сумасшедшим в тюрьме Чивита Веккья. Вити также умер сумасшедшим в той же тюрьме. Парразио умер в тюрьме в Риме. Один из солдат был обезглавлен в Перудже, а другой пал жертвой головорезов на большой дороге. Таков был конец пяти заговорщиков, покушавшихся на жизнь фра Паоло Сарпи. [146] Священник Франчески, который помогал и подстрекал их к заговору, исчез вскоре

после взрыва; и мы можем быть сносно уверены, что его переход в другой мир не был естественным.

Остается только добавить, что факт подстрекательства к этому кровавому заговору никогда не был доведен прямыми показаниями до сведения кого-либо из членов Папского двора. Но то, что убийцы сначала обратились к убежищу нунция в Венеции, их триумфальное продвижение по городам Церкви, деньги, которые они несколько раз получали, интерес, проявленный к ним кардиналом Боргезе, когда они наконец достигли Рима, и их смерть в папских застенках - обстоятельства, свидетельствующие против Курии, являются неопровержимыми. В последующие годы на жизнь Сарпи часто покушались. Однажды кардинал Беллармино, больше заботящийся о личной дружбе, чем о публичной вражде, послал ему предупреждение, что он должен быть готов к новым нападкам со стороны Рима.

Действительно, можно сказать, что теперь он проводил свои дни в постоянном ожидании яда или кинжала. Это ясно видно из биографии Фульгенцио и на страницах его частной переписки. В наиболее значительном из этих более поздних заговоров, полный отчет о котором дает фра Фульдженцио, были замешаны кардинал Боргезе и генерал ордена сервитов.^[147] История, по-видимому, вкратце такова. Некий фра Бернардо из Перуджи, служивший кардиналу в студенческие годы, поселился в Риме, как только Сципионе Боргезе стал прибыльным меценатом. В течение 1609 года этот фра Бернардо отправил своего согражданина по имени фра Джованни Франческо в Падую, откуда он часто навещался в Венецию и вмешивался в дела секретаря Сарпи, фра Антонио из Витербо. Все эти три монаха были сервитами, и, по-видимому, генерал с одобрением отнесся к их начинанию. Результатом этой сделки стало то, что фра Антонио, имея свободный доступ к апартаментам Сарпи и лично к нему, согласился либо убить его бритвой, либо подсыпать яд в его еду, либо, что было окончательно решено, ввести ночью в его спальню пару наемных убийц. Несчастный случай раскрыл заговор и передал объемистую зашифрованную переписку в руки венецианского государственного инквизитора. Фра Фульдженцио многозначительно добавляет, что из всех лиц, обвиняемых в этих письмах, ни один, за исключением генерала сер вит, не имел ранга кардинала. Формулировка его предложения намеренно неясна, но одно выражение, кажется, даже указывает на Папу Римского.^[148]

По окончании этого дела, столь позорного для Церкви и его Ордена, фра Паоло на коленях умолял венецианскую синьорию в благодарность за услуги, оказанные им государству, не подвергать виновных публичному наказанию. По его словам, он не мог вынести, что стал причиной того, что пятно позора легло на его религию или погубило карьеру какого-либо человека. Впоследствии фра Джованни Франческо искупил свою жизнь, представив веские доказательства против своих могущественных сообщников. Но то, что он раскрыл, предано забвению, с которым Совет Десяти в Венеции предпочел освещать судебные акты государственной важности.

Стоит учитывать, что во всех покушениях на жизнь Сарпи главными исполнителями были священники, монахи и прелаты высокого положения.^[149] Такие бедняги, как Пома и Парразио, лежали наготове в их руках как кровавые инструменты, которые после выполненной работы при удобном случае можно было сломать. Что же тогда представляла собой религиозная реформация, которую Римский двор демонстративно демонстрировал, когда добился своего неожиданного триумфа на Тридентском соборе?

Мы должны ответить, что в существенных аспектах морального поведения эта реформация не принесла почти ничего, а в некоторых пунктах - значительно меньше, чем ничего. Церковь Божья, как утверждал Сарпи, скорее претерпела деформацию, чем реформацию. Иными словами, эта Церковь, вместо того чтобы вернуться к первобытной простоте и очиститься от мирских злоупотреблений, теперь оказалась во власти амбициозных лицемеров, которые с санкции Верховного понтифика преследовали свои цели путем предательства и насилия. Его враждебность к еретикам и новомодная доктрина папского всемогущества способствовали распространению пагубной казуистики, поощрявшей убийства. Короли, враждующие с Католическим союзом, честные христиане, защищающие prerogatives своего содружества, эрудированные историки и юристы, не одобряющие замену Бога на небесах папой в Риме, могут быть убиты или похищены негодьями, обгабренными кровью их ближайших родственников и несущими на челе осуждение своих родных государств. Согласно посттридентской морали Рима, той морали, которую иезуиты открыто проповедовали и публиковали, которая распространялась в приемной каждого прелата и шепотом повторялась в исповедальне каждого приходского священника, огромные грехи могли быть искуплены и вечная благодать обретена безжалостным и предательским убийством любого знатного человека, отдающего ересь. Если Святая канцелярия возбудила уголовное дело против жертвы и осудила его в его отсутствие, путь был прост. Приговор об отлучении от церкви и смерти, публично вынесенный такому человеку, низводил его до положения дикого зверя, голова которого стоила солидной монеты, а перерезавшему горло давалось полное отпущение грехов. Личная минута, записанная в книгах инквизиторов, имела почти такую же ценность; и у Сарпи сложилось впечатление, что в результате какого-то такого тайного процесса против него самого было выпущено несколько десятков ножей. Но за исключением этих официальных или полусудебных предварительных слушаний, на основе наилучшего казуистического авторитета утверждалось, что лишение жизни любого подозреваемого еретика, любого человека, пользующегося репутацией неортодоксального в римских кругах, должно рассматриваться как заслуга негодяя, совершившего это деяние, и, несомненно, даже если он умрет за это, доставит ему в другом мире райские радости. Эти радости иезуиты описывали языком, достойным Корана. Окропленный кровью Сарпи или Дюплесси Морнея, четвертованный и замученный, как Равайяк, отчаянный преступник, совершивший столь благочестивое преступление, будет вечно плавать в океанах экстатического наслаждения. Священник, честолюбивый в отношении своей иерархии, фанатичный в своей преданности Церкви, полагающийся на привилегии, если его случайно обнаружат, был явно заинтересован в продвижении подобных заговоров и руководстве ими. Люди крови и бандиты, по уши увязшие в жестоких преступлениях, ставшие безрассудными из-за неизбирательной жестокости правосудия тех дней, привлеченные двойной надеждой на вознаграждение и духовную выгоду, без задней мысли бросались в подобные авантюры. Готовые рисковать своими жизнями ради нечестивого дела, такие негодяи были вдвойне рады сделать это, когда приманка небесного блаженства была предложена их более грубому пониманию. Эти соображения объясняют, но на самом деле далеки от оправдания, соучастие духовенства и головорезов в каждом насильственном преступлении, предпринятом против врагов Папского Рима.

Злейшие враги Сарпи едва ли могли обвинить его в ереси. Он был убежденным католиком; настолько глубоко разбирался как в догматическом богословии, так и в церковных процедурах, что оставаться в самых строгих рамках ортодоксии, выступая при этом против презумпции

папского двора, не составляло ему труда. Однако в то время, в которое он жил, простой акт сопротивления любой воле или прихоти Рима считался у тех врачей, которые создавали новые системы папского превосходства, еретическим. В этом произвольном и неканоническом смысле фразы Сарпи, несомненно, был еретиком. Он заслужил ненависть курии, инквизиции, иезуитов и их мирмидонов. Неуклонно, с осторожностью и трезвым духом он использовал свою энергию и обширные накопленные знания для возведения волнорезов против их пагубных нововведений. Во всех своих противоречивых трудах во время интердикта Сарпи не использовал ничего, кроме веских аргументов, почерпнутых из Священного Писания, канонического права и Соборов ранней Церкви, чтобы вывести один-единственный принцип, а именно, что как светские, так и церковные организации, государство и Церковь, назначены Богом, но с несколькими юрисдикциями и для разных целей. Он нажал такому принципу живут с молотка-мазки из самых кон vincing доказательства с точки зрения здравого смысла и разума. Он сделал это даже излишне для нашего современного интеллекта, который утомлен прослеживанием столь сложной цепочки прецедентов вплоть до predetermined вывода. Но он не обронил ни единого слова, кроме мимолетной иронии, которая могла вызвать презрение к существующим церковным властителям; и он сохранял бесстрастный характер, затрагивая темы, которые в ту эпоху разжигали самую ожесточенную партийную борьбу. Его противники, не имея на своей стороне здравого смысла и Священного Писания, были вынуждены прибегнуть к риторике личных оскорблений и стилету. В конце концов, порочность их дела была доказана тем, что они прибегли к заговорам сутенеров, монахов, убийц и фанатиков, чтобы заглушить тот голос истины, который говорил им об их отклонении от законов Божьих.

Сарпи снискал славу еретика в ультрапапских кругах не только своими полемическими сочинениями во время интердикта. В качестве теолога Республики он должен был отчитываться по всем вопросам, касающимся отношений государства к Церкви; и трактаты, которые он готовил для таких случаев, во многих случаях приобретали масштабы важных литературных произведений. Среди них наиболее значимым является документ под названием *"Делле Матери бенефициарие"*. Претендующий на звание рассуждения о церковных бенефициях, он сочетает в себе краткую, но достаточную историю светской власти папства, исследование искусств, с помощью которых было накоплено церковное имущество, и критику различных приемов, используемых Римской курией для отвлечения этого богатства от его первоначальных объектов. В "этом золотом томе", используя слова Гиббона, "папская система глубоко изучена и свободно описана". Говоря о его цели, Хэллем замечает: "Эта цель заключалась ни много ни мало в том, чтобы представить богатство и власть Церкви как добытые нечестным путем и чрезмерные". Следующим по важности является *Трактат об инквизиции*, который дает краткий очерк происхождения и развития Святой Канцелярии, расширяя особые модификации этого института в том виде, в каком он существовал в Венеции. Здесь Сарпи также поставил перед собой задачу противостоять церковным посягательствам на сферу светской юрисдикции. Он указал на то, как право расследовать случаи, связанные с еретическими взглядами, постепенно было вырвано из рук епископа и государства и передано специально избранному органу, который считал себя ответственным только перед Римом. Он показал, как этот могущественный трибунал использовался во вред государствам, распространяя его действие на сферу политики, исключая светскую магистратуру из участия в своих решениях и присваивая себе ответственность за гражданские преступления. В третьем *выступлении против прессы* та же система нападок была применена к Индексу запрещенных книг. Сарпи здесь смог продемонстрировать, что первоначально делегированная епископам власть запрещать

действия, пагубные для морали и религии, теперь использовалась для подавления здорового обучения и просвещения Конгрегацией, поклявшейся поддерживать папство. Выйдя из своей надлежащей сферы богословия и этики, эти церковники осудили как еретические все писания, отрицавшие верховенство Рима над нациями и содружествами, препятствовали публикации и продаже книг, защищавших права князей и республик, и наводнили Европу доктринами цареубийства, папского всемогущества и иерархического преобладания в светских делах. Это самые важные из второстепенных работ Сарпи. Но тот же дух либерального сопротивления церковной агрессии, подкрепленный той же эрудицией и критической проницательностью, замечен в коротком трактате, объясняющем, как Правом убежища злоупотребляли в ущерб общественному правосудию; в *Рассуждении о вкладе духовенства*, отличающем их реальный иммунитет от предполагаемого; и в кратком меморандуме о греческом колледже в Риме, разоблачающем вред, причиняемый государству и семьям иезуитской системой образования.

Во всех этих трудах Сарпи твердо придерживался своего главного принципа, что государство, не в меньшей степени, чем Церковь, существует *jure divino*. Папская узурпация светских прерогатив была в его глазах не просто нарушением установленного богом порядка правления, но и деформацией церковного идеала. Это, утверждал он, настоящие еретики, которые развращают древний организм Церкви, делая папу абсолютным, которые проповедуют божественность римского понтифика, как если бы он был вторым Богом, равным по всемогуществу Богу на небесах. "Нет, - восклицает он в отрывке, отличающемся большей, чем обычно, горячностью, - если бы кто-то стащил Бога с небес, они бы и пальцем не пошевелили, при условии, что папа сохранил свою вице-божественность или, скорее, сверхбожество. Беллармино ясно заявляет, что ограничить папскую власть духовными делами - то же самое, что уничтожить ее; показывая, что они ценят духовное буквально на нуле." [150] Сарпи видел, что ультрапапалисты его времени, подчиняя государство, семью и отдельного человека мирским интересам Рима, подавляя знания и свободу совести, проповедуя аморальные и антисоциальные доктрины, поощряя суеверия и выхолащивая образование ради поддержания тех же самых мирских интересов, они неуклонно продвигались по пути саморазрушения. В этой жестокой борьбе за превосходство была забыта сущность христианства; в то время как истина, добродетель и религия, эти священные опоры человечества, для сохранения которых была учреждена Церковь, несомненно, подвергались риску погибнуть из-за неестественного извращения ее целей.

Работа, которая заняла для Сарпи постоянное место в истории литературы и которая при его жизни сделала больше, чем любое другое его произведение для разоблачения папской системы, - это история Тридентского собора. Она не была опубликована под его именем или с его санкции. Рукописный экземпляр, одолженный им Маркантонио де Доминису, архиепископу Спалатро, был доставлен этим колеблющимся между католицизмом и протестантизмом в Англию и опубликован в Лондоне под псевдонимом Пьетро Соаве Полано — анаграммой Паоло Сарпи Венето - в 1619 году. То, что Сарпи был настоящим автором, не вызывает сомнений. Книга несет на себе все признаки подлинности. Она написана ясным, нервным, прямолинейным стилем человека, который всегда стремился к математической точности, а не к риторической элегантности в использовании языка. Сарпи приложил особые усилия к сбору материалов для Истории Совета; и при этом он пользовался исключительными преимуществами. Рано повзрослев, он завязал в Мантуе тесную дружбу с Камилло Оливо, который был секретарем папского легата кардинала Гонзаги Мантуанского в Тренте. Во время своего пребывания в Риме с 1585 по 1587 год он близко познакомился с кардиналом Кастаньей, президентом комитета,

назначенного для составления постановлений Собора. В дополнение к информации, предоставленной этими лицами, официально связанными с деятельностью Совета, Сарпи располагал архивами Венеции, включая депеши послов, и обширным хранилищем опубликованных документов, не говоря уже о многочисленных деталях, которые в ходе своего длительного общения с обществом он узнал из уст заслуживающих доверия свидетелей. Все эти источники, схваченные в их разнообразии его мощной памятью и оживленные его ярким интеллектом, объединены в ровное, простое, бесстрастное повествование, которое, несмотря на сухость темы, образует поистине захватывающее целое. Вряд ли можно утверждать, что Сарпи был строго справедлив в своей концепции Собора, поскольку он писал в духе явного антагонизма к целям, которых он достигал. И все же, чем больше мы изучаем серию событий, описанных им, тем больше убеждаемся, что в своих основных чертах это произведение справедливо. Когда сэр Роджер Твисден заявил, что она "написана с такой большой умеренностью, ученостью и мудростью, что может заслужить место среди самых точных произведений церковной истории, созданных какой-либо эпохой", он не переборщил с меткостью. Откровенно враждебное расследование, которому кардинал Паллавичини поручил это дело, также не сделало ничего большего, чем подтвердило его достоверность, показав, что смертельный враг, располагающий всем арсеналом римских документов, мог обнаружить неточности только в незначительных деталях и выразить ярость по поводу враждебного отношения к работе.

Целью Сарпи было продемонстрировать, что Тридентский собор, вместо того чтобы быть свободным и открытым Синодом христиан, собравшихся для обсуждения спорных вопросов между католической и протестантской церквями, на самом деле был тесным совещательным залом, из которого протестанты были исключены, а над католиками доминировали итальянские агенты Римского двора. Он ясно дал понять, и это подтверждается множеством дополнительных доказательств, что руководящим духом Собора была человеческая дипломатия, а не божественное вдохновение, и что римские интриги привели свои сделки к результату, благоприятному для папского превосходства, тщательно манипулируя интересами князей и страстями отдельных лиц. "Я расскажу о причинах, - замечает он в своем "Изгнании", - и о переговорах церковного собрания в течение двадцати двух лет с различными целями и различными средствами; кто продвигал и домогался, кто препятствовал и откладывал; еще восемнадцать лет, то собираясь вместе, то распадаясь; всегда проводимые с различными целями; и которые получили форму и завершение, совершенно противоположные намерениям тех, кто это запустил, а также страхам тех, кто приложил все усилия, чтобы помешать этому. Четкое указание на то, что человек должен безропотно верить свои мысли Богу и не полагаться на человеческое благоразумие. Поскольку этот Собор, желанный и инициированный благочестивыми людьми для воссоединения Церкви, которая начала распадаться на части, настолько укрепил раскол и ожесточил фракции, что сделал эти разногласия непримиримыми; проведенный князьями для реформы церковной системы, вызвал величайшую деформацию, которая когда-либо была с тех пор, как появилось имя христиан; епископами, с надеждой ожидавшими того, что восстановит епископальную власть, которая сейчас в значительной степени поглощена единственным римским понтификом, был причиной их потери. последний след этого и их низведения до еще большего рабства. С другой стороны, Римский двор, которого боялись и которого избегали, как эффективного инструмента для обуздания этой непомерной власти, которая от малого начала путем различных достижений достигла безграничного избытка, он настолько установил и утвердил ее на той части, которая все еще

оставалась подвластной ему, что она никогда не была такой обширной и столь прочно укоренившейся. Трактую то, что он емко называет "Илиадой нашего времени", Сарпи обещает соблюдать истину и заявляет, что им не руководят страсти. Это обещание историк сдержал в точности. Его враждебности никогда не позволено проявляться в прямых тирадах; его ирония проявляется скорее в репортажных эпиграммах на других, чем в личных сарказмах или намеках; его собственные предубеждения и мнения тщательно завуалированы. После прочтения всей объемистой истории мы чувствуем, что было бы столь же неточно утверждать, что Сарпи принадлежал к протестантизму, как и утверждать, что он был другом ультрапапского католицизма. Что у него действительно было на сердце, так это восстановление единства Церкви Божьей, более чистой дисциплины и искренней духовности. Это переустройство христианского мира на прочной основе, как он понимал, стало невозможным из-за Тридентских декретов. И все же, хотя самая дорогая надежда его сердца была таким образом разбита, он не затаил злобы и не выместил свое разочарование в причитаниях, которые могли бы показаться бунтарскими против Божественной воли. Личность Сарпи наиболее ясно проявляется в ярких речах, с помощью которых он время от времени проясняет неясные вопросы церковной истории. Особенно ценны те, которые касаются епископальной резиденции, плюрализма, епископальной юрисдикции, порицания книг и незаконного присвоения пожертвований.^[151] Если бы не существовало других доказательств, эти отступления сделали бы авторство Сарпи в Истории несомненным. Они идентичны по стилю и замыслу его признанным трактатам, твердо, но спокойно выражая неодобрение здравомыслящего ученого злоупотреблениями, которые, подобно болезненным наростам, разрастались в Церкви. Взятые в связи с интерполированным обобщением общественного мнения относительно процедуры Собора и его последовательных постановлений, эти рассуждения выдают дух враждебности к Риму, который нигде открыто не выражается. Сарпи проиллюстрировал циничную фразу Аретино: "Как ты можешь злословить о своем соседе? Говоря правду, говоря правду!" — без злобы и без страсти. На самом деле, ничто не могло нанести Риму большего ущерба, чем его точный анализ ее искусства на Соборе.

Я уже говорил, что История Тридентского собора, хотя и подтвердила еретическую репутацию Сарпи, не дает нам права считать его в душе протестантом.^[152]

Очень многое зависит от того, как мы определяем слово "протестант". Если известные мнения Сарпи относительно мирской жизни Рима, церковных злоупотреблений и папского превосходства свидетельствуют о протестантстве, то он, безусловно, был им. Но если антагонизм к католической догме, отрицание католических таинств и отвращение к монашеским институтам также необходимы для определения, то Сарпи, безусловно, не был протестантом. Он, по-видимому, предвидел позицию тех христиан, которые сейчас известны как старокатолики. Это видно из его живой симпатии к галликанской церкви и из его ревностной защиты тех прерогатив и привилегий, в которых Венецианская церковь походила на французскую. Мы должны обратиться к его собранию писем, чтобы проникнуть в его реальный образ мыслей по поводу реформы. Наиболее важные из них адресованы французам — Ph. Дюплесси Морней, Де л'Иль Гросло, Лешассье, некто Ру, Жилло и Кейсобон. Если бы мы могли быть совершенно уверены, что текст этих знакомых писем не был подделан перед публикацией, их показания были бы вдвойне ценны. Как бы то ни было, никто, хоть сколько-нибудь знакомый со стилем Сарпи, не усомнится в том, что в целом им можно доверять. Кое-где может случиться так, что фраза была вставлена или изменена, чтобы придать ей более сильную протестантскую окраску. Частое упоминание Римского двора под названием *La Meretrice*, особенно в письмах к Дюплесси Морне, выглядит подозрительно.^[153] Однако Данте, Петрарка и Савонарола

использовали подобные метафоры при описании светских амбиций папства. Указав на слабое место в этой важной серии документов, я переведу несколько явно подлинных отрывков, которые иллюстрируют отношение Сарпи к реформе.

В письме Лешассье о литературной войне Якова I он говорит, что жаль, что король не воздержался от богословия и не ограничился защитой своих королевских прерогатив от притязаний Рима. Он подвергся обвинению в желании подорвать основы веры. "Что касается наших собственных дел [*то есть* в Венеции], мы не стремимся смешивать небо и землю, человеческое и божественное. Наше желание состоит в том, чтобы оставить таинства и все, что относится к религии, такими, какие они есть, полагая, что мы можем поддерживать светское правительство в тех правах, которые подтверждают Священное Писание и учение Отцов Церкви".[154] В другом месте он говорит: "Я хорошо рассмотрел причины, которые побудили Германию и Англию изменить религиозные обряды; но на нас не повлияют ни эти, ни другие, имеющие больший вес. оказывать любое влияние.

Лучше терпеть определенные правила и обычаи, которые не во всех отношениях заслуживают похвалы, чем приобрести вкус к революции и поддаться искушению погрузить все вещи в хаос."[155] Его собственное недовольство папами, добавляет он, заключается в том, что они вводят новшества и разрушают примитивный строй Церкви. Что касается возможности объединения христианского мира, он пишет, что многие различия между католиками и протестантами кажутся ему словесными; многие из них можно было бы терпеть в рамках одного сообщества; и многие можно приспособить. Но нужно дожидаться подходящего случая.[156] В Италии ничего нельзя сделать без всеобщей войны, которая поколеблет могущество Испании и Рима.[157] И Испания, и Рим настолько хорошо осознают грозящую им опасность, что используют все средства для сохранения мира в Италии.[158] Если протестанты Европы настроены на победу, они должны подражать политике Сципиона и атаковать иезуитов и Рим в их штаб-квартире.[159] "Нет предприятия более важного значения, чем уничтожение репутации иезуитов. Когда они завоеваны, взят Рим; а без Рима религия реформируется сама по себе спонтанно".[160] "Изменения в государстве неразрывно связаны с изменениями религии";[161] и Италия никогда не будет свободной, пока действует Диакатоликон.

Между тем, "если бы не государственная политика, нашлись бы сотни людей, готовых прыгнуть из этого рва Рима на вершину Реформ".[162] Надежда на некоторое улучшение положения в Венеции зависит главным образом от присутствия там посольств протестантских держав — Англии, Голландии и Граубюндонгов.[163] Это дает возможность для свободной религиозной дискуссии и распространения Евангельской истины. Сарпи сильно хвалит фра Фульдженцио за бесстрашие, проповедующее Христа и истину, и повторяет жалобу папы Римского на то, что Библия наносит ущерб католической вере.[164] Он заставил Уильяма Беделла, капеллана сэра Х. Уоттона, а впоследствии епископа Килморского, поверить, что фра Фульгенцио и он сам созрели для Реформы. "Я знаю этих двоих, - пишет Беделл принцу Генри, - поскольку практиковал с ними, что ничего так сильно не желаю, как реформирования Церкви, и, одним словом, в том, что касается сути религии, они всецело наши".[165] Во время интердикта Диодати приехал из Женевы в Венецию, и Сарпи сообщил ему, что около 12 000 человек в городе хотели разрыва с Римом; но правительство и аристократия были против этого, и ничего нельзя было поделать.[166]

Приведено достаточно, чтобы пролить некоторый свет на отношение Сарпи к протестантизму. Очевидно, что он самым искренним образом желал свержения ультрапапского католицизма. Так же как и его симпатии к тем реформированным нациям, которые пользовались свободой совести и независимостью от церковного контроля. И все же его первым долгом было служить Венеции; и поскольку государство оставалось католическим, он лично не собирался покидать общину, в которой родился и в которой был рукоположен в сан священника. Все Церкви, писал он в одном памятном письме Кейсобону, имеют свои несовершенства. Церковь Коринфа во времена Апостолов была испорчена.^[167] "Структура Церкви Божьей", находясь на земле, не может рассчитывать на иммунитет от земных слабостей.^[168] Такие несовершенства и такие слабости, которые католическая церковь разделяла со всем сущим в этом мире, Сарпи был готов терпеть. Деформацию этой Церкви Римом и иезуитизмом он мужественно выдержал; но он не видел веской причины, по которой он должен был бы оставить ее ради протестантизма. В своей собственной совести он оставался свободным служить Богу в духе и истине. Ум этого человека на самом деле был слишком дальновидным и слишком философским, чтобы менять старые лампы на новые без лучшей перспективы достижения абсолютной истины, чем предоставляли раскольники от католицизма. Его интерес к протестантизму, как отдельному от католической реформы, был скорее гражданским и политическим, чем религиозным или богословским. Если бы эти парящие крылья Рима были сломаны, тогда и не раньше, итальянцы могли бы наслаждаться свободой совести, свободой дискуссий и исследований, более чистым благочестием и более здоровой деятельностью как граждане.

Можно пролить дополнительный свет на суждения Сарпи о ситуации в Европе, подробно рассмотрев то, что он сказал об иезуитах. Эта компания, как мы видели, оказывала поддержку папскому абсолютизму; и в последние годы жизни Сарпи казалось, что ей суждено покорить мир благодаря контролю над образованием, преданности Риму, искусному манипулированию религиозным сознанием в антисоциальных целях и церковному возвеличиванию.

Верный признак того, что ты прав, сказал Сарпи, - это когда человек оказывается в противоречии с иезуитами. Это самые искусные мастера злодеяний, люди, которые, если того требуют их нужды, готовы совершить преступления похуже тех, в которых они сейчас виновны. Вся ложь и все богохульство исходят от них. Они приложили последние усилия к установлению всеобщей коррупции. Они - общественная чума, чума всего мира, хамелеоны, которые черпают свой цвет из почвы, на которой сидят, лъстецы принцам, извращенцы молодежи. Они не только оправдывают, но и восхваляют ложь; их притворство - это голая и безоговорочная ложь; их злоба неоценима. Они владеют искусством так сочетать свои интересы с интересами Рима, стремясь к тому, чтобы для себя и папства была создана мировая империя, что Курия вынуждена поддерживать их, в то время как она пресмыкается перед их непостижимым авторитетом. Они губят хорошую литературу и полезную доктрину своей жалкой претензией на ученость и своим механизмом ложного учения. На невежестве зиждется их сила, и истина смертна для них. Каждый порок, на который способно человечество, каждая слабость, которой оно подвержено, находит у них поддержку и утешение. Если бы Святым Петром руководил исповедник-иезуит, он мог бы прийти к отречению от Христа без греха. Используют исповедальню как инструмент политического и внутреннего влияния, обмениваясь ее откровениями друг с другом в своих собственных дебатах, но угрожая кающимся наказаниями, если хоть слово из их совета станет известно миру. Изгнанные из Венеции, они своими интригами причиняют там больше вреда, чем когда их терпели.^[169] Они планируют захватить Константинополь и Палестину, чтобы основать семинарии фанатиков и убийц. Они

ответственны за убийство Генриха IV, ибо, если они не подстрекали Равайяка, то их доктрина цареубийства вдохновила его. Они могут проникнуть в любое королевство, любое учреждение, любой дом, потому что они с готовностью принимают любые условия и подписываются под любыми условиями в уверенности, что, ловко используя лесть, обман, лживость и подкуп, они вскоре станут хозяевами положения. Во Франции они настоящие галльские морбы. В Италии они - душа диакаатоликона.

Поток негодования Сарпи против иезуитов, как извращенцев здравого учения в Церкви, возмутителей спокойствия королевств, подрывателей морали и распространителей порочных обычаев в обществе, так бурно разливается, что мы рады остановить его, признавая его справедливость. Только один отрывок из многих отрывков, касающихся этой темы в его переписке, требует специального цитирования, поскольку он непосредственно касается всего материала настоящей работы. В письме своему другу Лешассье он говорит следующее: "Ничто не может принести вам большего вреда во Франции, чем нечестность плохих исповедников и их решимость возвеличить Рим любыми средствами, наряду с ошибочным рвением добрых людей. Мы подошли к тому моменту, когда приходится даже отчаиваться в излечении от этой болезни. Пятьдесят лет назад дела в Италии шли хорошо. Не существовало государственной системы образования для подготовки молодых людей в интересах духовенства. Они воспитывались своими родителями в частном порядке, больше в интересах своих семей, чем в интересах иерархии. В религиозных домах, где процветала учеба, внимание уделялось схоластической логике. Юрисдикция и авторитет папы почти не затрагивались; и хотя богословием занимались на досуге, большинство проводило свои годы в созерцании Божества и ангелов. Недавно, согласно постановлениям Тридентского собора, в каждом штате были открыты школы, называемые семинариями, где образование сосредоточено на единственной цели - укреплении церковного превосходства. Более того, прелаты каждого округа, отчасти с целью спасти свои собственные карманы, а отчасти для того, чтобы продемонстрировать модное рвение, передали управление этими учреждениями иезуитам. Это вызвало важнейшее изменение в аспекте ведения дел".^[170] Было бы трудно изложить изменения, произведенные Тридентским советом и комиссией по образованию в отношении иезуитов, точнее и справедливее, чем в этом параграфе. Насколько глубоко Сарпи проник в иезуитское искусство воспитания, можно далее продемонстрировать из другого отрывка в его второстепенных работах.^[171] В мемуарах, подготовленных для венецианской синьории, он говорит, что иезуиты вульгарно считаются непревзойденными наставниками молодежи. Но под этой фразой "непревзойденный" скрывается явная двусмысленность. Образование должно рассматриваться с точки зрения полезности государства. Итак, воспитание иезуитов состоит в том, чтобы лишить ученика всяких обязательств перед своим отцом, своей страной и своим законным правителем; в том, чтобы направить всю его любовь и страх на духовного начальника, от кивка, мановения и слова которого он зависит. Эта система обучения полезна для верховенства церковников и для тех светских правительств, которым они готовы подчиниться; и никто не может отрицать, что иезуитам нет равных в ее применении. Однако в той мере, в какой это выгодно в таких случаях, это также наносит ущерб государствам, целью которых являются свобода и подлинная добродетель, и с которыми церковная фракция остается в плохом согласии. Из иезуитских колледжей никогда не выпускали сына, послушного своему отцу, преданного своей стране, верного своему принцу. Причина этого в том, что иезуиты прилагают все свои усилия, чтобы уничтожить естественную привязанность, уважение к родителям, почтение к принцам. Поэтому

они заслуживают восхищения только тех, в чьих интересах подчинить семью, страну и правительство церковным интересам".

Провинциальных писем Паскаля, которые Сарпи предвосхитил во многих моментах, достаточно, чтобы доказать, что его враждебность к ультрамонтанству, подкреплённая иезуитскими уловками, была оправдана. Следует помнить, что он писал в самый разгар папского владычества, когда Генрих IV. был убит, и когда подавляющие силы светских интересов в сочетании с интеллектуальным прогрессом ещё не установили пределов церковному вторжению. Страх перед тем, что Европа уступит Риму, который, как теперь доказали последующие события, был несбыточным кошмаром, был достаточно реален для этого венецианского монаха, который ежедневно подвергался риску покушения в подавленной раболепствующей Италии, когда испанские заговоры угрожали арсеналу, Франция оказалась в руках флорентийцев и казуистов, Англия во власти Стюартов, а Германия запуталась в интригах. Он не мог предвидеть, что в течение столетия иезуиты будут дискредитированы своим собственным искусством и что папство уступит место миролюбивому суверенитету, стремящемуся обеспечить свое собственное брэнное существование путем приспособления.

Конец жизни Сарпи освятил принципы долга перед Богом и верности своей стране, которые вдохновляли весь его курс. Состояние его здоровья ухудшилось, но ничто не могло отвлечь его от должного выполнения общественных обязанностей. Были видны все признаки быстрого ухода души из этого ослабленного возрастом тела; но его неутомимый дух поддерживал его настолько, что он в точности нес все свои обычные тяготы. Когда его друзья и хозяева просили его успокоиться, он обычно отвечал: "Мой долг - служить, а не жить; в его кабинете каждый день кто-то умирает".[172] Когда, наконец, сами источники существования иссякли, и твердый мозг на мгновение забрел в забытие, однажды было слышно, как он сказал: "Давайте отправимся к С. Марку, ибо уже поздно".[173] Самыми последними словами, которые он произнес, часто повторяемыми, но едва разборчивыми, были: "Esto Perpetua".[174] *Пусть Венеция длится вечно!* Это была предсмертная молитва человека, посвятившего свои лучшие способности служению своей стране. Но прежде чем он погрузился в тот полудремоту, которая предшествует смерти, он исповедался своему обычному духовному отцу, принял Евхаристию и Елеосвящение и попрощался с настоятелем сервитов следующей фразой: "Идите отдыхать, а я вернусь к Богу, от которого я пришел". С этими словами он молча сомкнул губы, скрестив руки на груди и устремив взгляд на распятие, стоявшее перед ним.[175]

Я вернусь к Богу, от которого я пришел.

Эти слова — не последние, ибо последними были *слова перпетуи*; но последние, сказанные в присутствии его братства, — имеют глубокое значение для тех, кто хотел бы понять душу Сарпи. Когда при жизни он говорил о Церкви, это всегда было "Церковью Божьей". Когда он возлагал свои собственные заботы о благополучии общества на высшую силу, это относилось не к Марии, как советовали иезуиты, и даже не к Христу, но неизменно к Провидению Божьему. Сарпи, мы имеем право предположить, жил и умер искренне верующим в Бога, который управляет Вселенной; и этому Богу, идентичному фактически, хотя и не по форме, Богу Бруно, он поклонялся с помощью таких символов церемонии и религии, которые были приняты им в юности. Такой пронизательный интеллект, как этот, знал, что "Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться ему в духе и истине". Он знал, что "ни на этой горе, ни в Иерусалиме",

ни в протестантских общинах, ни в Риме подлинный Бог не стал осязаемым; но что верное человеческое существо, созданное по образу Божьему, могло служить ему и обожать его с жизнепоклонством в любой из духовных форм, которые брэнность смертных создала для своих нужд.

Проникнуть в бездну любой человеческой личности невозможно. Ни один человек по-настоящему не заглядывает в душу своего живого соседа, брата, жены, ни даже в свою собственную душу. Насколько тщетны поэтому усилия, которые мы предпринимаем, чтобы ухватить и зарисовать жизненные черты людей, давно умерших, отделенных от нас не только могилой, которая поглотила их телесную форму и лишила нас тона их голоса, но также и теми различиями в мыслях и чувствах, которые разделяют столетия культуры! И все же эта невыполнимая задача всегда стоит перед историком. Мало найдется персонажей, более явно трудных для понимания, чем Сарпи. В конечном счете, насколько это возможно сформулировать, я думаю, его можно определить как христианского стоика, одержимого двумя главными руководящими идеями: долгом перед Богом и долгом перед Венецией. Его последние слова были обращены к Венеции; предпоследние посвящали его душу Богу. Для такого ума, как у него, столь философски настроенного, столь сведущего во всей мировой истории, материалы спора между католиками и протестантами, должно быть, казались нам пустяками. Он остался там, где рано пустил корни, в своем монастыре сервитов в Сан-Фоска, потому что там он мог посвятить свою жизнь Богу и Венеции лучше, чем в какой-либо протестантской общине. Если бы Венеция была склонна к разрыву с Римом, если бы Республика обладала властью успешно осуществить этот разрыв, Сарпи с радостью приветствовал бы это событие, поскольку оно открывало для Италии перспективу духовной свободы, более чистого благочестия и свержения папско-испанского деспотизма. Но Венеция предпочла придерживаться старых обычаев, и ее государственный советник лучше, чем кто-либо другой, знал, что у нее не хватит сил справиться с Испанией, Римом, иезуитизмом и исламом в одиночку. Поэтому он хранил свою душу в терпении, поклоняясь Богу в формах и символах, к которым привык с юности, веря при этом, что рано или поздно Бог сломает эти могучие крылья папского господства.

ГЛАВА XI

ГУАРИНО, МАРИНО, КЪЯБРЕРА, ТАССОНИ

Нехватка великих людей—Гуарини Связующее звено между Тассо и Семнадцатым веком—Его биография—*Пастор Фидо*—Качества Гуарини как поэта—Марино Диктатор писем—Его Буйная юность в Неаполе—Жизнь в Риме, Турине, Париже—Публикует *Адоне*—Эпос сладострастия—Характер и поступки Адониса—Лицемерие Марино—Сентиментальная сладость—Жестокое насилие—Нарушение художественного вкуса—Великие способности поэта—Структура *Адоне*—Музыкальный Беглость речи—Маринизм—Патриотические стихи Марино—Контраст между Кьябрерой и Марино—Учеником Пиндара—Биография Кьябреры—Его придворная жизнь—Попытки поэтов семнадцатого века достичь новизны—Неудача Кьябреры—Жизнь Тассони—Его жажда инноваций—Происхождение *Secchia Rapita*—Пародийно-героическая поэзия—Сюжет этого стихотворения—Его Своеобразный юмор—Ирония и сатира—Новизна вида—Лирические переплетения—Устойчивый контраст пародии и пафоса—Поэт Тести.

Вскоре после 1600 года стало очевидно, что по прошествии лет и церковная нетерпимость сделали Италию почти лишенной великих людей. Все ее знаменитые сыновья были либо мертвы, либо убиты, либо сосланы; их заставила замолчать коса времени или римские "доводы меча и уздечки". Бруно сожжен, Ванини сожжен, Карнесекки сожжен, Палеарио сожжен, Бонфаджо сожжен; Кампанелла изгнан после четверти века заключения с пытками; лидеры свободной религиозной мысли в изгнании, разбросанные по северной Европе. Тассо, измученный страданиями и безумием, в конце концов упокоился в своей могиле на Яникулане; Сарпи со спокойной непроницаемостью пережил стило римской курии в Сан-Фоска; Галилей медитировал, сомкнув губы, на своей сторожевой башне позади Белло Сгардо. С Микеланджело в 1564 году, Палладио в 1580-м, Тинторетто в 1594-м закончилась богоподобная родословная художников эпохи Возрождения; и какие дети шестнадцатого века все еще выжили, чтобы поддержать престиж нации, продолжить ее славные традиции? Список весьма скуден. Марино, Тассони, младший Буонарроти, Боккалини и Кьябрера в литературе. Болонская академия живописи. После того, как эти люди расширили засушливые дебри *Sei Cento*— архитектура барокко, ложный вкус, легкомыслие, гримаса, жеманство - иезуитизм воплотился в культуру. На одном ярком моменте, действительно, взгляд останавливается с надеждой и утешением. Палестрина, умерев в 1594 году, не закрыл, а открыл эпоху для музыки. Его потомки, те композиторы, лютисты, альтисты и певцы, из которых современное искусство черпало свое бытие, вплоть до сладостного братства Перголезе, Марчелло и Джомелли, Гварнери, Амати и Страдивари, Фаринелли, Каффариелли и Ла Романины, еще только поднимались, смутно озаренные светом зари на своих челах.

При переходе от *"Иерусалима"* к *"Адоне"*, от последней великой поэмы *"Чинкве Ченто"* к эпосу *"Сеи Ченто"*, необходимо обратить внимание на *"Пастора Фидо"* и его автора. Джамбаттиста Гуарини образует связующее звено между Вассо и поэтами семнадцатого века. Он принадлежал не столько к эпохе Возрождения, сколько к культуре эпохи, созданной Тридентским собором, чем Тассо. Его жизнь, во многих деталях сходная, а в других совершенно непохожая на жизнь Тассо, иллюстрирует и помогает нам в какой-то мере объяснить последнее. Поэтому он должен стать предметом несколько детального изучения.

Гуарини по отцовской линии унаследовал кровь от знаменитого гуманиста Гуарино из Вероны, который поселился в Ферраре в пятнадцатом веке в качестве наставника Леонелло д'Эсте.^[176] По матери он утверждал, что происходит из флорентийского дома Макиавелли. Родившийся в 1537 году, он был на семь лет старше Торквато Тассо, которого пережил на восемнадцать лет, не завершив свою долгую жизнь до 1612 года. Он получил солидное образование как в Пизе, так и в Падуе, и в возрасте восемнадцати лет был призван преподавать моральную философию в Университете Феррары. Будучи благородного происхождения и унаследовав значительное наследство, Гуарини мог бы наслаждаться жизнью, полной непрерывного литературного досуга, если бы предпочел отказаться от пустых почестей и избегать праздных развлечений при Дворе. Но такова была судьба выдающихся людей того века - погружаться в эти зыбучие пески. Гуарини обладал характером и интеллектом, подходящими для ведения государственных дел, и он разделял распространенное среди его современников заблуждение, что мелкие итальянские княжества могут предложить поле для проявления этих талантов. "Если наша страна будет подчинена единоличному правительству принца, - пишет он, - человек, который служит своему принцу, будет служить своей стране, что является естественным и обязательным долгом для всех".^[177] Соответственно, вскоре после женитьбы на Таддее из благородной семьи Бендедей он поступил на службу к Альфонсо II. Это было в 1567 году. Тассо, в качестве

джентльмена кардинала д'Эсте, уже пролил свет на Феррару за последние два года. Гуарини впервые подружился с Тассо в Падуе, где оба были этереями и гостями Сципиона Гонзаги. Теперь два поэта вступили в соперничество, которое было не совсем дружеским. Гений Тассо в расцвете юности и благосклонности двора вызывал ревность Гуарини. И все же их положение было настолько разным, что Гуарини мог бы быть вполне доволен, если бы шел своим путем, не испытывая зависти. Будучи женатым и пожилым человеком, он не имел права соревноваться в галантности с блестящим молодым холостяком. Предназначенный для дипломатии и государственных дел, он не имел причин завидовать лаврам придворного поэта. В письме 1595 года Гуарини утверждает, что "поэзия была моим времяпрепровождением, а не профессией"; и все же в Ферраре он сделал своим делом соперничать с Тассо и как лирик, и как слуга дам. Как и Тассо, он страдал от назойливости секретарей Альфонсо, Пиньи и Монтекатино, которые, похоже, воплотили недоброжелательность придворных в ее самой низменной форме. До сих пор между карьерами этих двух людей в Ферраре прослеживалась тесная параллель.

Но богатство Гуарини и общепризнанные цели в жизни заставили герцога с самого начала нанять его на службу другого рода. Альфонсо отправил его послом в Венецию, Рим и Турин, присвоив ему звание кавалера, чтобы он мог выполнять свои миссии с большим достоинством. В Турине, где он прожил некоторое время, Гуарини составил справедливое мнение о растущем значении Савойского дома. Как и все лучшие умы своего времени, Тассони, Сарпи, Кьябрера, Марино, Тести, он был убежден, что если Италия и восстановит свою независимость, то только путем противостояния герцогов Савойских Испании. Насколько Карло Эммануэле был близок к осуществлению надежд этих людей и как эти надежды были разрушены римскими интригами и ревностью итальянских деспотов, остается вопросом истории. И все же изучающий может с интересом заметить, что самые проницательные умы шестнадцатого века уже распознали силу, с помощью которой по прошествии почти трехсот лет была достигнута эмансипация Италии.

В 1574 году Гуарини был отправлен в Польшу, чтобы поздравить Генриха III с избранием на престол этой монархии. В следующем году он отправился во второй раз, чтобы провести более деликатные переговоры. Корона Польши теперь была открыта для кандидатов; и не один из итальянских принцев всерьез подумывал о том, чтобы побороться за эту честь. Великий герцог Тосканский обдумал эту идею и отказался от нее. Но Альфонсо II Феррарский, который в юности с честью сражался в Венгрии, сделал это серьезным объектом своих амбиций. Манолессо, венецианский посланник в 1575 году в Ферраре, рассказывает, как герцог потратил много часов на изучение немецкого языка, "который никто не изучает ради удовольствия, поскольку он самый варварский, и не быстрый, но требующий усердия и больших затрат времени". Он также пишет: "Герцог стремится к величию и не удовлетворен своим нынешним состоянием; и поэтому он ввязался в польское дело, поощряемый к этому своим братом кардиналом и своим послом в Польше".[178]

Эти посольства серьезно истощили ресурсы Гуарини, поскольку представляется несомненным, что если он и получал какие-либо назначения, то их было недостаточно для покрытия расходов на длительные поездки и содержание становящегося государства. Поэтому он вернулся в Феррару, изрядно обремененный долгами; и это было как раз то время, когда психическое расстройство Тассо начало проявляться. Между 1575 и 1579 годами, когда Тассо был заключен в тюрьму Сант-Анна, двое мужчин жили вместе при Дворе. Соперничество Гуарини побудило его в этот период заниматься поэзией с таким успехом, что, когда автор "*Иерусалиммы*" потерпел неудачу, Альфонсо приказал ему занять вакантное место придворного поэта.

Сохранилось интересное письмо Гуарини своему другу Корнелио Бентивольо, в котором он описывает усилия, которые он приложил, чтобы удовлетворить желание герцога. "Я стремился перевоплотиться в другого человека и, подобно актеру пьесы, воссоздать характер, манеры и эмоции прошлого периода. Возмужав, я заставил себя казаться молодым; сменил меланхолию на веселье: изобразил любовь, которой не испытывал; превратил свою мудрость в безумие и, одним словом, превратился из философа в поэта".^[179] Насколько плохо он был приспособлен к этому маскарадному существованию, можно понять из другого предложения в том же письме. "Мне уже сорок четвертый год, я обременен долгами, отец восьмерых детей, двое из моих сыновей достаточно взрослые, чтобы быть моими судьями, и у меня есть дочери, на которых можно жениться".

Наконец, отказавшись от этого несвойственного ему напряжения сил, Гуарини в 1582 году удалился на виллу, которую он построил в своем родовом поместье в Полезине, этом восхитительном деревенском регионе между Адидже и По. Здесь он полностью посвятил себя заботам о своей семье, уходу за своим обветшалым состоянием и сочинению "*Пастора Фидо*". Еще не время говорить об этом произведении, на котором зиждется слава Гуарини как поэта; ибо драма, хотя и была предложена Аминтой Тассо, была окончательно доведена до совершенства только в 1602 году.^[180] Однако мы можем сделать паузу, чтобы отметить обстоятельства, при которых он это написал. Разочарованный придворный, переживший расцвет зрелости, чувствующий, что его истинное призвание - заниматься серьезной учебой и практическими делами, он все же посвятил годы досуга неспешной разработке драматического шедевра, который достоин быть поставленным в один ряд с классикой итальянской литературы. В этот период его семейная судьба не была счастливой. Он потерял жену, поссорился со старшими сыновьями и был вовлечен в серию судебных процессов.^[181] Судебные разбирательства, похоже, были закоренелым пороком его зрелости, и он завещал своим потомкам множество юридических проблем. Выдав замуж одну из своих дочерей, Анну, за графа Эрколе Тротти, он имел несчастье услышать в 1596 году, что она стала невинной жертвой ревности своего мужа и что его третий сын Джироламо потворствовал ее убийству. Посреди этих неприятностей и горестей он сохранял серьезную и решительную позу, не произнося ни одного из тех жалобных причитаний, которые так легко выходили из-под пера Тассо.

Тассо использовал пасторальную драму для идеализации дворов. Гуарини выместил на них всю горечь своей души в своем "*Пасторе Фидо*". Выйдя на пенсию, он также написал: "Я спокойно наслаждаюсь свободой, учебой, веду домашнее хозяйство".^[182] Однако в 1585 году, находясь с визитом в Турине, он снова принял предложения Альфонсо. Он отправился туда для того, чтобы руководить первым представлением своей Пасторали, которая была посвящена герцогу Савойскому. Крайне не желая, чтобы его старые слуги занимали должности при других принцах, герцог Феррары, по-видимому, опасался, что Гуарини перейдет ко двору Карло Эммануэле. Поэтому он назначил его государственным секретарем; и Гуарини вступил в должность в том же году, когда Тассо вышел из тюрьмы. Это примирение длилось недолго. Альфонсо принял сторону Алессандро Гуарини в судебном процессе со своим отцом, и раздражительный поэт в негодование удалился во Флоренцию. Герцог Феррарский, однако, был полон решимости не служить другому хозяину. Во Флоренции, Турине, Мантуе и Риме его попытки прочно закрепиться в доверенных учреждениях неизменно терпели неудачу; и Коккапани, посланник герцога, намекал, что, если Гуарини не будет осмотнительным, "его может постигнуть та же участь, что и Тассо". Запереть Гуарини в сумасшедший дом было бы непросто. И все же его

легко можно было прикончить кинжалом; и эти слова проливают немалый свет на ужас Тассо перед убийством.

Герцог Альфонсо умер в 1597 году, и Феррара вернулась к Святому Престолу. В этом случае Гуарини был волен следовать своим собственным пристрастиям. Поэтому он утвердился при дворе великого герцога, в доверие к которому втерся на условиях лестной фамильярности. Фердинандо де Медичи "влюбился в него, как мужчина может влюбиться в прекрасную женщину", - говорит его сын Алессандро в одном из своих апологетических сочинений. Это, однако, мало что значило; ибо комплименты свободно передавались между принцами и их придворными; которые, когда на карту ставились денежные дела или честь, вскоре оборачивались недовольством и ненавистью. Так было и с Гуарини во Флоренции. Его сын Гуарино заключил брак, который он не одобрял, но который великий герцог одобрил. Столь незначительное разногласие разорвало узы дружбы, и неугомонный поэт удалился ко двору Урбино. Там последний герцог из дома Ровере, Франческо Мария II, школьный товарищ и покровитель Тассо, проводил свои годы вдовства в мрачной испанской гордыне. Гибель Церкви вскоре должна была обрушиться на Урбино, как она уже обрушилась на Феррару. Гуарини писал: "Прежний двор в Италии мертв. В наши дни можно увидеть тень, но не ее суть. Наш век внешности, и люди круглый год ходят в маскарадах". Печальная, но искренняя эпитафия, написанная человеком, объехавшим все дворы Италии и пережившим великую свободную жизнь эпохи Возрождения.

Этими словами завершается карьера Гуарини как придворного. Он вернулся в Феррару в 1604 году, а в 1605 году передал поздравления этого ныне папского города Павлу V. в Риме по случаю его избрания на папский престол. По этому поводу кардинал Беллармино сказал ему, что своим *пастором Фидо* он причинил христианскому миру столько же вреда, сколько Лютер и Кальвин своими ересями. Он ответил с сарказмом, который до нас не дошел, но который, вероятно, отразился на осквернении христианской морали иезуитами. В 1612 году Гуарини умер в Венеции, куда его вызвал один из его бесчисленных и нескончаемых судебных процессов.

Критика Беллармино в адрес *пастора Фидо* поражает современного читателя необъяснимой суровостью. И все же несомненно, что распутный семнадцатый век признал эту драму одним из самых мощных агентов коррупции. Нередкие упоминания в литературе того времени о разрушении семей и репутаций с его помощью призывают нас помнить, как трудно оценить этические чувства общества в периоды, далекие от нашего времени.^[183] В ходе анализа, который я сейчас предлагаю провести по этой пьесе, я попытаюсь показать, как, находясь на полпути между "Аминтой" Тассо и "Адоне" Марино и апеллируя к господствующим музыкальным увлечениям эпохи, "*Пастор Фидо*" Гуарини, возможно, заслужил осуждение дальновидных моралистов..... "*Пастор Фидо*" Не заслуживающий порицания сам по себе, он был настолько связан с сентиментальной чувственностью своего периода, что стал звеном в цепи обессиливания, тяготевшей над Италией.

"*Пастор Фидо*" - трагикомедия, как указывает ее автор с некоторыми уточнениями в критическом эссе, написанном им об этом виде драмы. Действие происходит в Аркадии, где, согласно Гуарини, было принято ежегодно приносить в жертву Диане деву во искупление древнего проклятия, навлеченного на страну женской неверностью. Оракул провозгласил, что когда два отпрыска божественного рода соединятся в браке и верный пастырь искупит неверность женщины, этот бесчеловечный обряд прекратится. Единственными юношей и

девушкой, которые соответствуют этим условиям божественного происхождения, являются дочь Титиро по имени Амарилли и Сильвио, сын верховного жреца Монтано. Соответственно, они были обручены. Но Сильвио равнодушен к женщинам вообще, а Амарилли любит красивого незнакомца Миртильо, предположительно сына Карино. Сюжет разворачивается вокруг неожиданного исполнения пророчества, несмотря на человеческие средства, которые были слепо использованы для обеспечения его исполнения. Амарилли приговорена к смертной казни по подозрению в неправомерном поведении с любовником; а Миртильо, который заменил ее жертвой, оказывается потерянным сыном Монтано. Это разрешение интриги, осуществленное путем анагноризиса, подобного тому, что было в "*Эдипе Тиране*", создает серию драматических сцен и захватывающих ситуаций в последнем акте. Между тем страсть Доринды к Сильвио и случайность, в результате которой ему приходится отвечать на ее чувства в тот момент, когда его дротик ранил ее, образуют живописный сюжет, представляющий значительный интерес. И сюжет, и подтекст настолько связаны в главном действии и настолько переплетены звеньями взаимной зависимости, что образуют единую богато разнообразную ткань. Рассматриваемая как часть хитроумного механизма, сложная структура *Pastor Fido* не оставляет желать лучшего. В своем роде эта пасторальная драма представляет собой монументальное произведение искусства, сверкающее и безупречное, как полированный барельеф из твердой коринфской бронзы. Каждый мотив был тщательно подготовлен, каждая ситуация обильно и логично развита. Персонажи четко прорисованы и выдержаны последовательно. Холодный и нетерпеливый охотник Сильвио контрастирует с нежным и романтичным Миртильо. Утонченное искусство Кориски и систематизированное распутство усиливают чистую привязанность Амарилли. Доринда представляет другой тип любви, настолько импульсивный, что побеждает девичью скромность. Сатир - существо грубой похоти, жестокий аппетит которого подавлен коварством куртизанки Кориски. Карино сравнивает развращенность городов с невинностью страны.

В "Карино" поэт описал свой собственный опыт; и здесь его сатира на феррарский двор не менее язвительна, потому что она принимает форму хорошо взвешенного порицания, а не яростной брани. Следующие строки могут служить образцом стиля Гуарини в этом виде:—

I' mi pensai che ne' reali alberghi
Fossero tanto più le genti umane,
Quant'esse ban più di tutto quel dovizia,
Ond' è l'umanità sì nobil fregio.
Ma mi trovai tutto 'l contrario, Uranio.
Gente di nome e di parlar cortese,
Ma d'opre scarsa, e di pietà nemica:
Gente placida in vista e mansueta,
Ma più del cupo mar tumida e fera:
Gente sol d'apparenza, in cui se miri
Viso di carità, mente d'invidia
Poi trovi, e 'n dritto sguardo animo bieco,
E minor fede allor che pin lusinga.
Quel ch'altrove è virtù, quivi è difetto:
Dir vero, oprar non torto, amar non finto,

Pietà sincera, inviolabil fede,
E di core e di man vita innocente,
Stiman d'animo vil, di basso ingegno,
Sciochezza e vanità degna di riso.
L'ingannare, il mentir, la frode, il furto,
E la rapina di pietà vestita,
Crescer col danno e precipizio altrui,
E far a sè dell'altrui biasimo onore,
Son le virtù di quella gente infida.
Non merto, non valor, non riverenza
Nè d'età nè di grado nè di legge;
Non freno di vergogna, non rispetto
Nè d'amor nè di sangue, non memoria
Di ricevuto ben; nè, finalmente,
Cosa sì venerabile o sì santa
O sì giusta esser può, ch'a quella vasta
Cupidigia d'onori, a quella ingorda
Fama d'avere, inviolabil sia.

"Пастор Фидо" был написан в открытом подражании "Аминте" Тассо, и многие из его самых блестящих отрывков заимствованы из этой пьесы. Таков, например, припев "Золотого века", которым завершается четвертый акт. Таково же длинное описание Миртильо поцелуя, который он украл у Амарилли (акт ii. сцена 1). Мотив здесь взят из *Ринальдо* (песнь V), а дух - из *Аминты* (акт i. sc. 2). Сатира Гуарини - это проработанная картина по эскизу к пасторали Тассо. Диалог между Сильвио и Линко (акт i. sc. 1) с лирическим припевом:

Lascia, lascia le selve,
Folle garzon, lascia le fere, ed ama:

воспроизводит диалог между Сильвией и Дафной (акт i. sc. 1) с аналогичным припевом:

Cangia, cangia consiglio,
Pazzarella che sei.

Во всех этих случаях Гуарини облекает мотивы Тассо в более сложные формы. Он расширяет простые предложения своей модели и использует приемы риторики там, где Тассо поддавался вдохновению. Одного примера будет достаточно, чтобы противопоставить методы спонтанного и рефлексивного поэта. Тассо в божественном порыве воскликнул:

Odi quell'usignuolo,
Che va di ramo in ramo
Cantando: lo amo, io amo!

Это в руках Гуарини становится:

Quell'augellin, che canta
Si dolcemente, e lascivetto vola
Or dall'abete al faggio,
Ed or dal faggio al mirto,
S'avesse umano spirto,
Direbbe: Ardo d'amore, ardo d'amore.

Здесь кропотливое усилие конструктивной фантазии заменено единственной вспышкой сочувственного воображения. Тассо не сомневается, что соловей изливает свою любовь в песне. Гуарини говорит, что если бы у птицы была человеческая душа, она бы воскликнула: *Ardo d'amore*. Тассо видит, как он перелетает с ветки на ветку. Гуарини дразнит наше чувство ментального видения, выделяя сосну, бук и мирт. То же самое можно сказать и о речи Линко в целом, если сравнить ее с речью Дафни о господствующей силе любви на земле и небесах.

Воображения в истинном смысле этого слова у Гуарини не было. Фантазии, изящно, изобретательно, наводящей на размышления, у него было в избытке. Тщательность, с которой он прорабатывал каждую жилу мысли и плел каждую нить чувства, была скорее тщательностью риторика, чем поэта. Тассо заставила Аминту сказать:

La semplicetta Silvia
Pietosa del mio male,
S'offri di dar aita
Alla finta ferita, ah! lassole fece
Più cupa, e più mortale
La mia piaga verace,
Quando le labbra sue
Giunse alle labbra mie.
Nè l'api d'alcun fiore
Colgan sì dolce il sugo,
Come fa dolce il mel, ch'allora io colsi
Da quelle fresche rose.

Теперь послушайте "Миртильо" Гуарини:

Amor si stava, Ergasto,
Com'ape suol, nelle due fresche rose
Di quelle labbra ascoso;
E mentre ella si stette
Con la baciata bocca
Al baciare della mia
Immobile e ristretta,
La dolcezza del mel sola gustai;
Ma poichè mi s'offerse anch'ella, e porse
L'una e l'altra dolcissima sua rosa....

Этого достаточно, чтобы проиллюстрировать трудоемкий метод Гуарини по добавлению штриха к штриху без увеличения силы изображения.^[184] Уже здесь мы обнаруживаем переход от размеренного искусства Тассо к фантастической пространности Марино. И хотя Гуарини в целом был целомудрен в использовании языка, его риторическая любовь к многозначительности и причудливой утонченности нередко приводила его к маринистическому тщеславию. Доринда, например, так обращается к Сильвио (акт iv. статья 9):

O bellissimo scoglio
Già dall'onda e dal vento
Delle lagrime mie, de'miei sospiri
Si spesso invan percosso!

Говорят, что вздохи (акт i. sc. 2):

impetuosi venti
Che spiran nell'incendio, e 'l fan maggiore
Con turbini d'Amore,
Ch' apportan sempre ai miserelli amanti
Foschi nemi di duol, piogge di pianti.

От этого до стиля *Adone* оставалось сделать всего один шаг.

Хотя действие "*пастора Фидо*" происходило в Аркадии, пьеса действительно представляла вежливое итальянское общество. Мягкостью своих чувств, сладострастной словесной мелодичностью и неоднократным упоминанием женственных любовных утех он в точности соответствовал духу своего времени.^[185] В этом был секрет его успеха, и это объясняет его соблазнительность. Не бессмысленные уговоры Кориски и откровенный цинизм, а восторженные дифирамбы Миртильо по поводу поцелуев, тающие от нежности чувства Доринды и деликатные сожаления Амарилли о том, что любовь должна быть отложена до чести, оправдали порицание Беллармино. *Пастор Фидо*, нигде не выходя за рамки приличий, пропитан чувственностью. Чувство любви, идеализированное в Миртильо и Амарилли, чисто и самоотверженно. *Ama l'onesta mia, ты мой друг*, говорит эта девушка своему возлюбленному; и он повинует ей. И все же, хотя драма посвящена добродетели, никто не может читать ее, не почувствовав лживости ее роскошной риторики. Чувственная утонченность, присущая эпохе социального декаданса, нашла в нем точное выражение, и это стало кодексом галантности на следующие два столетия.

Между тем литературным диктатором семнадцатого века, несомненно, был Марино. К нему перешел скипетр, который Петрарка завещал Политиану, Политиан - Бембо, а Бембо - Торквато Тассо. В области природных дарований он не был недостойным преемником этих поэтов, хотя дары, которыми он делился с ними, явно использовались им для целей, выходящих за рамки возможностей любого из его предшественников. В художественных достижениях он сосредоточил все наименее достойные восхищения качества и довел итальянскую поэзию Возрождения до конца, преувеличив ее прежние недостатки. И все же как мужчина Марино интересен, более интересен во многих отношениях, чем меланхолический недовольный Тассо. Он принимал условия своего времени с добродушным и беспечным сочувствием, сделавшись

одновременно его кумиром, его толкователем и шутом. Наконец, он иллюстрирует закон перемен, который в эту эпоху передал неаполитанцам скипетр, которым раньше управляли тосканцы и лангобарды.[186]

Джованни Баттиста Марино родился в Неаполе в 1569 году. Его отец, выдающийся юрист, воспитал его для занятий юриспруденцией. Но притягательность поэзии и удовольствий была непреодолима для этого подвижного сына теплого Юга —

La lusinga del Genio in me prevalse,
E la toga deposta, altrui lascisi
Parolette smaltir mendaci e false.
Nè dubbi testi interpretar curai,
Nè discordi accordar chiose mi calse,
Quella stimando sol perfetta legge
Che de'sensi sfrenati il fren corregge.
Legge omai più non v' ha la qual per dritto
Punisca il fallo o ricompensi il merto.
Sembra quando è fin quì deciso e scritto
D'opinion confuse abisso incerto.
Dalle calumnie il litigante afflitto
Somiglia in vasto mar legno inesperto,
Reggono il tutto con affetto ingordo,
Passion cieca ed interesse sordo.

Таково было его суждение о праве в зрелом возрасте поэта; и, вероятно, он с откровенностью высказывал то же мнение в юности. Видя такие наклонности в своем сыне, суровый родитель выставил его за дверь, и юный Марино мог свободно потакать своим бродячим инстинктам, наслаждаясь лаццарони и распутными компаньонами на набережных Неаполя. В этом роскошном климате здоровому туземцу, полному молодости и энергии, почти ничего не нужно для поддержания существования. Марино пустил в ход свой ум и пожинал слишком легкие лавры на полях Венеры и Муз. Его стихи быстро привлекли внимание знатных покровителей, среди которых следует отметить герцога Бовино, принца Конка и друга Тассо, маркиза Мансо. Они позаботились о том, чтобы такой искренний и гениальный поэт не умер с голоду. Именно в одном из дворцов Мансо Марино имел возможность на расстоянии поклониться певцу Армиды и Эрминии. Он уже приобрел сомнительную известность как малолетний Донжуан и автор дерзко распущенных текстов, когда его постигла беда. Он помогал одному из своих распутных друзей в похищении девушки. За это нарушение закона оба были вместе брошены в тюрьму, и Марино избежал правосудия только благодаря внезапной смерти своего сообщника. Теперь его покровители сочли желательным, чтобы он на время покинул Неаполь. Соответственно, они отправили его с рекомендательными письмами в Рим, где он был хорошо принят членами семей Кресценцио и Альдобрандино. Кардинал Пьетро Альдобрандино назначил его личным секретарем и взял с собой в путешествие в Равенну и Турин. С начала и до конца своей литературной карьеры Марино шествовал по жизни триумфальным шагом. В Турине, как ранее в Неаполе и Риме, он добился заметного успеха. Герцог Савойский Карло Эммануэле предложил ему место при дворе, назначил секретарем и окрестил рыцарем Святого Мориса.

Vidi la corte, e nella corte io vidi
Promesse lunghe e guiderdoni avari,
Favori ingiusti e patrocini infidi,
Speranze dolci e pentimenti amari,
Sorrisi traditor, vezzi omicidi,
Ed acquisti dubbiosi e danni chiari,
E voti vani ed idoli bugiardi,
Onde il male è sicuro e il ben vien tardi.

В ту эпоху у всех поэтов было в обычае жить при Дворах и оскорблять их, преклоняться перед принцами и поносить этих покровителей. У Марино, однако, были реальные причины жаловаться на вероломство придворных. Судя по всему, он был человеком легкого нрава, популярным среди знакомых и полезным обществу, в котором часто бывал. Этот товарищеский настрой, однако, не спас его от зависти и ненависти, ибо, кроме того, у него была склонность неаполитанца к сатире. Был генуэзский поэт по имени Гаспаро Муртола, состоявший при дворе в Турине, который недавно сочинил неуклюжую поэму "*Il Mondo Creato*". Марино высмеял это в сонете; Муртола возразил; и началась война оскорблений, которая по своей непристойности сравнивалась с дуэлями Поджо и Валлы. Муртола, видя, что более живой противник, скорее всего, одолеет его, однажды поджидал его за углом с пистолетом в руке. Пистолет был разряжен и ранил не Марино, а любимого слугу герцога. За это преступление убийца был приговорен к смертной казни; и, по-видимому, был бы казнен, если бы не великодушие Марино. Он добился прощения у своего врага и был отплачен чернейшей неблагодарностью. Выйдя из тюрьмы, Муртола получил в руки сатиру "*La Cussagna*", написанную некоторое время назад его соперником. Это он изложил герцогу как мятежный выпад против правительства Савойи. Марино, в свою очередь, был заключен в тюрьму; но благодаря вмешательству Мансо он доказал, что *Кукканья* была опубликована задолго до его прибытия в Турин. Испытывая отвращение к этим инцидентам, он затем принял приглашение французского двора и в 1615 году отправился в Париж, где итальянское общество этого города приняло его как живого Феба. Мария Медичи в качестве регента, с Кончини в качестве своего советника и любовника, была тогда во всей своей вульгарной красе. Звезда Ришелье возшла не для того, чтобы затмить итальянские интриги и сформировать французский вкус у Академии. Д'Юрфе и Дю Бартас, более маринистичные, чем Марино, более эвфуистичные, чем Эвфуэс, задали законы литературе; а парадные картины Рубенса, которые до сих пор украшают галерею Лувра, отметили пышное и чувственное великолепие экипировки Марии. Гений Марино прекрасно соответствовал среде, в которой он сейчас находился; итальянцы при французском дворе разглядели в нем поэта, который мог наилучшим образом выразить их идеал существования. Его боготворили, он был завален золотом, ему потакали и льстили до предела. Ежегодные встречи, оценивавшиеся в 10 000 крон, дополнялись подарками в обмен на бесплатные стихи или экземпляры стихотворения, которое он тогда сочинял. Это стихотворение было "*Адоне*", тема которого была предложена Карло Эммануэле и которую он теперь ловко использовал как средство польстить французскому трону. Впервые напечатанная в Париже в 1623 году, она была принята как там, так и в Италии и стала апофеозом жизни поэта.^[187] Один незначительный момент в этом великолепном первом фолиантном издании *Adone* заслуживает внимания, как нехарактерный для эпохи. Только две песни из двадцати отличаются чем-либо необычным в своих гравированных украшениях. Из этих двух, одиннадцатая красуется герб Франции;

тринадцатая, в которой описаны Falsirena все заклинания и чары, Орна дополнена символ иезуитов, из IHS. Вероятно, ответственность за это несли одни издатели. И все же это может служить притчей о всепроникающем иезуитизме. Даже среди роз и восторгов самой сладострастной поэмы века их присутствие дает о себе знать, как бы намекая на то, что *Адон* может быть использован в соответствии с иезуитскими правилами казуистики А.М.Д.Г. Один предостерегающий голос прозвучал еще до публикации этого эпоса. Кардинал Бентивольо написал из Италии, умоляя Марино "очистить его от похоти таким образом, чтобы ему, возможно, не пришлось бояться плетей нашего итальянского порицания". Последовал ли он этому совету, другими словами, была ли оригинальная РУКОПИСЬ "*Адоне*" более откровенно распушенной, чем опубликованное стихотворение, я не знаю. Как бы то ни было, она была внесена в Указатель в 1627 году. Однако это, по-видимому, не повлияло на ее популярность или репутацию автора. Вскоре после появления *Адоне* Марино, которому тогда перевалило за пятьдесят, вернулся в Неаполь. Он желал почивать на лаврах, богатый, почитаемый и обожаемый, среди сцен, от которых он бежал в опасности и с позором тридцать лет назад. Его въезд в Неаполь вызвал овации. Яццарони вышли встречать его карету, танцуя и разбрасывая розы; дворяне сопровождали его верхом на лошадях; дамы глазели на него с балконов. Развевающееся на ветру знамя возвещало о пришествии "этого океана несравненной учености, души лир, предмета для перьев, материала для чернил, самого красноречивого, самого плодородного, феникса счастья, украшения лавра, лебедей в их божественном праздности, главного и неоспоримого лидера". В Неаполе он умер в 1625 году — счастливый тем, что не пережил славы, которая сопровождала его всю жизнь и достигла своего апогея незадолго до его смерти.

"*Адон*" с первого взгляда поражает нас как высшая поэма эпического сладострастия. Его герой с гладким подбородком, красивый, как девушка, мягкий, как девушка, сентиментальный, как девушка, в котором нет ничего от мужчины — за исключением того, что "Природа, сотворив его, полюбила", — плывет по лабиринту наводящих на размышления приключений, в каждом из которых он скорее терпеливый, чем исполнитель желания. Меркурий представляет его нашему вниманию в серии тех басен ("Сказки о Нарциссе", "Ганимеди", "Кипарисе", "Гиласе", "Атисе"), с помощью которых античность изображала соблазнительность юности. Венера добивается его расположения, а Фальзерина пытается заставить его. Схваченный разбойниками в женском наряде, он содержится в пещере в качестве любовницы их вождя, и женоподобная спутница по его тюрьме души в нем не чаёт. Наконец, он борется за трон Кипра с группой роскошных юношей —

Bardassonacci, paggi da taverna.

Корона достается самой красивой в физическом плане. Конкурирующие прелести соперниц тщательно подмечаются советом, состоящим из пресыщенных удовольствиями мирян, проницательно выявляются их личные недостатки. Умирая, Адонис становится жертвой нападения кабана, смертельно распаленного похотью, который ранит молодого мужчину в пах, нанося разрушения там, где зверь имел в виду только любовные ласки. Боги и богини утешают Венеру в ее скорби о его потере, каждый из которых рассказывает истории о подобных катастрофах. Среди этих легенд особое место занимают любовь Аполлона к Гиацинте и любовь Феба к Пампинусу. Таким образом, "*Адонис*" Марино возбуждает нездоровый интерес

зрелищем детства, подверженного капризам и соблазнам обоих полов, обожающих незамужнюю мужественность.

Что способствует этому эффекту в центральном мотиве стихотворения, так это то, что сама Венера - не бесхитростная девственница, не невинная Хлоя, соответствующая деревенскому Дафнису. Она уже была женой, матерью, прелюбодейкой, *femme entree* до того, как встретила парня. Ее метод обращения с ним подобен методу распущенной королевы, которая, соблазнив пажа или жениха, держит оружие своих удовольствий в уединении, чтобы время от времени побаловать себя в перерывах между общественными делами. Вулкан и Марс, ее муж и *chicis* бей оспаривают право женщины на этот каприз; и когда бог войны принуждает, она отдает ему дрянной плод своих чар на глазах у своего безутешного мальчика-любownika. Ее чрезмерная занятость придворными делами в Цитере - балами, театрализованными представлениями, жертвоприношениями и народным почитанием — приводит к катастрофе. Из-за ее временного пренебрежения Адонис становится жертвой заговора богов. Таким образом, роль, которую женщина играет в этом любовном эпосе, - это роль опытной куртизанки, занимающей высокое положение в обществе. Весь пафос, вся привлекательность красоты и сентиментальности зарезервированы для юноши-мужчины.

Этот факт, хотя и неприятный, должен быть отмечен. Он слишком характерен для волны чувств, охватившей Европу в то время, чтобы его игнорировать. Нельзя пренебрегать болезненным напряжением, которое коснулось дворов Валуа, Медичи и Стюартов; которое заразило поэзию Марло и Шекспира; которое бросило болезненный бледный оттенок даже на святость и живопись Болонской школы. В "Адоне Марино" это достигает своего художественного апогея.^[188]

Однако это не главное в стихотворении. *Адоне* скорее следует классифицировать как эпос сладострастия во всех его формах и разновидностях. Если любовная поэзия итальянского Возрождения начиналась с чувственности "*Аморозо визионе*" Боккаччо, то, пройдя через идиллию, роман, пастораль, элегию и любовный роман, она завершилась более сложной чувственностью "*Адоне*" Марино; ибо это, как и "*Аморозо визионе*", но гораздо более выразительно, провозглашает блаженство человека сексуальным наслаждением:

Tramortiscon di gioia ebbre e languenti
L'anime stanche, al ciel d'Amor rapite.
Gl'iterati sospiri, i rotti accenti,
Le dolciissime guerre e le ferite,
Narrar non so—fresche aure, onde correnti,
Voi che il miraste, e ben l'udiste, il dite!
Voi secretari de'felici amori,
Verdi mirti, alti pini, ombrosi allori! (Песнь viii.)

Таким образом, сладострастие обладает своим трансцендентализмом; и Марино считает, что даже его богатый словарный запас недостаточен для выражения тайн этого рая чувственных наслаждений.^[189]

Не следует думать, что *Адон* - непристойное стихотворение. Марино был слишком искусным мастером в искусстве доставлять удовольствие, чтобы бунтовать или потчевать своих читателей

грубостью. В нем было слишком много откровенного самоотречения неаполитанца природе и широкой непристойности в искусстве, чтобы доставлять ему особое удовлетворение; а вкус его эпохи требовал недомолвок. Лауреат дворов и городов, пропитанных распущенностью, хорошо знал, что одеяния Коана более провокационны, чем нагота. Его целью было льстить чувствам и соблазнять разумных, а не возбуждать грубый аппетит. Утонченность была афродизиаком пресыщенного общества, а модное шитье составляло главный ингредиент его любовных снадобий.[190] Таким образом, Марино принимал плотские инстинкты как должное и играл на них, как лютнист играет на струнах какого-нибудь слабого, волнующего инструмента. От морального суждения, от антипатии к той или иной форме похоти, от предубеждения или предпочтения в материале наслаждения не остается и следа. Он проявляет равное снисхождение к страсти Мирры к ее отцу, Юпитера к Ганимеду, Вакха к Пампину, Венеры к Адонису, Аполлона к Гиацинте. Он рассказывает отвратительную историю Киниски с той же непринужденностью, что и прелестную повесть о Психее; с той же легкостью касается Фальзерины у постели Адониса и Феронии в своей темнице; использует ту же палитру для изображения Венеры, ласкающей Марса, и борьбы нимфы и сатира. Все, чего он требовал, - это основы мягкой чувственности, из которой, как из гнилой почвы, мог бы прорасти бледный и благоухающий цветок искусной роскоши.

В гармонии с духом эпохи, реформированной или деформированной католическим Возрождением, Марино демонстрирует циничное лицемерие. Восьмая песнь *Адоне* - это тщательно продуманное посвящение в тайны плотского удовольствия. Это гимн чувству осязания:[191]

Ogni altro senso può ben di leggiero
Deluso esser talor da falsi oggetti:
Questo sol no, lo qual sempre è del vero
Fido ministro e padre dei diletti.
Gli altri non possedendo il corpo intero,
Ma qualche parte sol, non son perfetti.
Questo con atto universal distende
Lesue forze per tutto, e tutto il prende.

Тонкие ступени, запутанные задержки ведут нас к окончательному причислению Адониса к лику блаженных. Картинка переплетается с картинкой, каждая из которых, в свою очередь, вносит свой вклад в панораму чувственного Рая. И все же, с глубокой симпатией напрягая все ресурсы своего искусства, чтобы соблазнить своего читателя, поэт бросает такие целенаправленные фразы, как следующие:

Flora non so, non so se Frine o Taide
Trovar mai seppe oscenita si laide.

Здесь обезьяна в маске человека оборачивается и ухмыляется, бормоча вульгарные слова, указывающие на смысл его слов, и поливая грязью его притворную порядочность. Используя ресурсы аллюзионной дикции, чтобы скрыть и намекнуть на нескромное движение своего героя (Адониса выводят за рамки мальчишеской деликатности похотливые взгляды), он внезапно с плутоватым хихиканьем переходит на прозу:

Così il fanciullo all'inonesto gioco.

Но конец всей этой практики таков, что невинный Адонис был проведен медленными и искусно продуманными подходами к объятиям распутницы, и что зрители его соблазнения стали, так сказать, участниками его падения. Чтобы сделать цинизм лицемерия Марино более вопиющим, он предваряет каждую песню аллегорией, заявляя, что Адонис и Венера символизируют человеческую душу, преданную пороку, и соблазны чувственности, которые ее губят. Между тем в самом стихотворении герой и героиня неизменно рассматриваются как пара завидных, преданных и, в конце концов, несчастных влюбленных.^[192]

Характерно для настроения, выраженного в *Адоне*, что сладострастие должно быть не страстным, а сентиментальным. Вместо огня поэт дает нам пить медовые слезы и укачивает душу в вечно волнуемом приливе лидийской мелодии. Вершина наслаждения, по его замыслу, - поцелуи. Двадцать три самых вдохновенных строфы восьмой песни посвящены панегирику поцелую, в восторге от которого тонут все остальные любовные наслаждения.^[193] Меланхолическое стремление Тассо к запретному плоду теперь сменилось пресыщением, с мурлыкающим удовлетворением созерцающим образы прошлых радостей. Это качество самодовольства отчасти объясняет, почему обожаемый тип красоты не является ни женственным, ни мужественным, а подростковым. Оно должно быть нежным, хрупким, заботливым, незрелым; вызывающим к чувствительности, а не к страсти, женским очарованием в беззаботном и бездушном детстве. Самой отличительной чертой Адониса является то, что у него нет ни характера, ни воли, ни интеллекта. Он сам по себе сентиментален, вздыхает, плачет, уступчив и мил.

Эта выхолощенная натура проявляется с непревзойденным эффектом в рыдающем прощании, за которым следуют милые мелочности семнадцатой песни.

В противовес своему чрезмерно сладкому и приторному идеалу похотливой грации Марино противопоставляет экстравагантные формы уродства. Он любит описывать отвратительные заклинания ведьм. Он показывает Фальзерину, бродящую среди трупов на поле боя и впрыскивающую в застывшие вены своей ожившей жертвы отвратительные соки. Он наполняет Пещеру Ревности чудовищами, ужасными на вид и на ощупь; изображает жестокость разбойников; рисует отвратительные портреты евнухов, уродливых ведьм, безымянных аборт. Он злорадствует по поводу жестокости и упивается насилием.^[194] Когда на сцене появляется Марс, оркестр лютен и цимбал, которыми мы были убаюканы, сменяется корибантическим грохотом диссонансов. Оргонт, эмблема гордости, превосходит гиперболы Родомонта и луны Тамерлана. Нигде, ни в его сладострастии, ни в его двойнике отвращения, нет умеренности. Греческая заповедь "Ничего лишнего", благородная греческая добродетель умеренной сдержанности, которая для искусства то же, что тренировка для атлетов, дисциплина для солдат и обрезка садовых деревьев, была нарушена в каждой песне, в каждой фразе, в малейшем мотиве этого стихотворения. Чувственность может перенести такое насилие лучше, чем возвышенность; поэтому аромат сладострастия в *Адоне*, хотя и чрезмерный, одновременно проникающий и глубокий; в то время как те пассажи, которые направлены на то, чтобы внушить ужас или расширить воображение, полностью не достигают своего эффекта. Ужасные, гротескные, отталкивающие образы настолько перегружены, что перестают даже оскорблять. Мы находимся в регионе, где такт, чувство меры, моральные суждения и правильное

соответствие средств целям были бессмысленно отброшены. Марино признался, что его единственной целью было удивить своих читателей:

È del poeta il fin la meraviglia.

Но 45 000 строк неослабевающего изумления, усердных и неустомимых призывов к удивлению с помощью языковых приемов, приемов инцидента, приемов родомонтады, приемов намеков, приемов *каприччи* и *кончетти*, порождают флегматичность бессердечия. Мы перестаем удивляться и отдаем то, что осталось от нашей чувствительности, очарованию неисчерпаемой живописности. Ибо, при всех своих недостатках, Марино был мастером живописности и действительно владел искусством очаровывать. Живописность, столь трудноопределимая, столь отличная от изобразительности и поэтичности, была качеством семнадцатого века, соответствующим его недостаткам дурного вкуса. И ни один поэт не обладал этим даром в большей степени, чем Марино.

Учитывая его собственные условия, учитывая пустоту моральной и интеллектуальной субстанции в этом человеке и в его эпоху, мы вынуждены признать, что его литературные способности были богаты и разнообразны. В то же время немногие писатели иллюстрируют пороки декаданса более ярко, чем этот многогранный поэт пустоты. Немногие более ясно демонстрируют "расточительство духа в расточительстве стыда". Никто не учит зависимости искусства от морализированных и гуманных мотивов более значительно, чем этот пьяный гениальный Илот. Его безразличие к правде, его пренебрежение трезвостью, его убежденность в том, что единственная цель искусства - это удивление, обрекли его на забвение, которого он не вполне заслужил. Критик, чей долг заставляет его прочесть *Adone*, будет сбит с толку зрелищем столь беспричинно растрченного богатства.^[195] Несмотря на усталость, несмотря на отвращение, он, вероятно, будет вынужден высказать свое мнение о том, что, в то время как Тассо представлял собой последнее усилие благородной поэзии, борющейся за современное выражение в изношенных формах классического Возрождения, Марино с его легкомыслием и вольностью воссоздал настоящую и новаторскую форму в *стилерококо*, которая прекрасно соответствовала духу его времени и определила ближайшее будущее искусства. По этой причине он нуждается во внимании, которое здесь ему было оказано.

Но как, спрашивается, можно было превратить историю Венеры и Адониса в эпос из 45 000 строк? Ответ на этот вопрос лучше всего можно было бы дать, проанализировав двадцать песен: и поскольку лишь немногие из ныне живущих студентов внимательно их изучали, такое проявление эрудиции было бы простительно. Марини, однако, не заслуживает такого количества страниц в работе, посвященной завершению итальянского Возрождения. Достаточно будет сказать, что стройное повествование о любви Венеры и ее юношеского кумира, его коронации королем Кипра и его смерти от кабаньих клыков искусно переплетено с большим разнообразием эпизодов. Поэт находит возможность изложить основные мифы об эллинской страсти, трактуя их в стиле, который часто напоминает нам "Метаморфозы" Овидия; он заимствует рассказы у Апулея, Лукиана и писателей-пасторов; он развивает тему ревности в "Марсе" и "Вулкане", представляет свою собственную автобиографию, углубляется в романтические приключения на море и суше, создает соперницу Венере в "волшебнице Фальзерине", в одной песне описывает развитие поэзии, а в другой посвящает панегирик итальянским принцам, превозносит Французский дом и преклоняется перед Марией Медичи,

исследует науку века, описывает фантастические дворцы и волшебные сады, с любопытством вникает в прелести пяти чувств, рассказывает о дворах, честолюбии, алчности и чести, путешествует по Средиземноморью, проводит партию в шахматы в пятидесяти блестящих строфах; короче говоря, не упуская из виду свою главную тему, он старается возбудить и удержать внимание своих читателей чередой разнообразных и остроумно предложенных новинок. Пространность, неумолимая погоня за сенсационным эффектом, бесконечные описания - вот недостатки *Адона*; но это недостатки, связанные с замечательными качествами, которыми обладает автор, с неисчерпаемыми ресурсами, любопытными знаниями, легкостью импровизатора, ловкостью опытного ритора в использовании языка, горячим восторгом художника от применения своего мастерства.

Учитывая своеобразный метод Марино, его *Творение* обладает тем превосходством единства, которое так высоко ценили поэты его эпохи и нации. Критики утверждают, что вся эпопея является лишь развитием эпизода с Ринальдо в саду Армиды. Но это нечто большее. В нем присутствуют все основные составляющие итальянской романтики, за исключением рыцарства и войны. Есть пасторальный эпизод, соответствующий эпизоду с Эрминией среди пастухов, великолепной чародейкой в образе Альцины, заточение героя, напоминающее нам Руджеро в "волшебном замке Атланте", путешествие, подобное путешествию Астольфо на Луну, конфликт добрых и злых сверхъестественных сил, более или менее очевидная аллегорическая нить, взгляд со стороны на современную историю; и эти элементы сочетаются так, что делают "*Адоне*" одной из многих поэм в давней романтической традиции. Он отличается главным образом от своих предшественников строгим сюжетным единством, которое подчиняет каждый эпизод и каждое отступление личным приключениям героини и главного героя; в то время как смерть и погребение Адониса придают трагическую завершенность, которой не хватает предыдущим стихотворениям, оторванным от каролингского цикла. Современные писатели восхваляли его как поэму мира. Но это поэма о постыдном мире, о том мире, которым Италия наслаждалась в рабстве, когда нации *чичисбеев* нечем было занять свою энергию, кроме чувственных удовольствий. Каким бы изобретательным ни был Марино, проводивший свой роман по столь обширной схеме через все ее витки к одному результату, мы чувствуем, что стройная история о страсти мальчика к королеве куртизанок и его превращении в алый лесной ветроцвет не послужила достойным мотивом для создания этого сложного механизма. Метафора корзинки для квасцов, кристаллизованной на мелком проволочном каркасе, приходит нам в голову, когда мы созерцаем ее сверкающие украшения и размышляем о бедности основной темы. На самом деле это могло бы символизировать интеллектуальную пустоту эпохи, которая приветствовала это с восторгом, и общества, которое в течение столетия формировало вкусы по этому образцу.

В другом, более высоком литературном качестве "*Адоне*" представляет этот момент развития Италии. Иностранец вряд ли может вынести авторитетное суждение о его произношении. И все же я осмеливаюсь заметить, что Марино лишь в редкие моменты достигает чистоты поэтического стиля; даже его лучшие пассажи искажены не только тщеславием, которому было дано название *маринизма*, но и грубой вульгарностью и впадениями в тривиальную прозу. Однако, несмотря на это отсутствие отличия, у него есть мелодия, которая никогда не подводит. Волнообразная, равномерно струящаяся *кантилена* его словесной музыки поддерживает читателя на волне песни. Этот элемент поэзии, который, как я заметил, с замечательным успехом был развит Тассо в некоторых частях *Иерусалима*, является главной силой *Адоне*. У Марино *Chant d'Amour* никогда не поднимается так высоко, не трепещет так тонко, не трогает

душу так сладко и так печально, как в стихах Тассо. Но во всех этих пяти тысячах октавных строф она редко полностью отсутствует. Этому поэту сладострастия были даны певческие способности неаполитанца; и если песня не является ни глубокой, ни волнующей, ни величественной, ни возвышенной, то это потому, что в своей необъятной пустоте его душа не содержала ничего, кроме чувственной радости.^[196] Музыкальный Казанова, бесстрастный Аретино, он пел так, как подсказывала вульгарная натура; но он всегда продолжал петь. Его пристрастие к взрывающимся диссонансам, хлопущим пиротехнической риторики, ревающим трубам и взрывающимся воздушным пушкам, которые оглушают и отвлекают наш слух, настроенный на учтивую интонацию *кантилены*, не менее характерно для неаполитанца. Марино обладал впечатляющим внешним изобилием, дерзостью, поверхностной страстью, роскошным наслаждением жизнью и шумностью места, где он родился. Он также разделял ее любовь к гротеску как дополнению и контрасту к всепроникающей красоте.

Серьезным недостатком стиля Марино является его чрезмерное использование в описаниях. Кто, например, может стерпеть эту фотографию ноги молодого человека, обутой в синюю кокетку?

L'animato del piè molle alabastro
Che oscura il latte del sentier celeste
Stretto alla gamba con purpureo nastro
Di cuoio azzurro un borsacchin gli veste.

Он снова доводит до безумия ту казуистическую риторику, введенную Ариосто и усовершенствованную Тассо, с помощью которой несчастные героини или герои объявляют миру о своих сомнениях и трудностях в длинных монологах. Десять строф, в которых излагаются чувства Фальзерины после того, как она испытала муки любви к Адонису, могли бы сойти за пародию:

Ardo, lassa, o non ardo! ahì qual io sento
Stranio nel cor non conosciuto affetto!
E forse ardore? ardor non è, chè spento
L'avrei col pianto; è ben d'ardor sospetto!
Sospetto no, piuttosto egli è tormento.
Come tormento fia, se da diletto?

И так далее по восьмидесяти строчкам, в которых все мыслимые изменения касаются *Любви или не любви?* *...lo vivo e moro pur...lo non ho core e lo mio cor n'ha dui*. Несмотря на все эти усилия, никто не уверен в эмоциях Фальзерины, и ее многословная речь читается как упражнение школьника по какой-нибудь строке четвертой "Энеиды". И все же, если мы позволим чувству ритмичной мелодии вмешаться между нашим интеллектуальным восприятием и языком Марино, мы все равно сможем перевести эти излияния в нечто такое, что на оперной сцене сохранило бы свою ценность. Фальшивая риторика и неспособность остановиться, когда сказано достаточно, и более чем достаточно, по любой теме, подлежащей развитию, - вот неизлечимые пороки Марино. Его обильная *фиоритура* по сравнению с более простым пением Ариосто или Тассо напоминает нам витиеватые рулады Россини рядом с изяществом Перголезе или величием песни Марчелло.

Особое качество безвкусицы, известное в Италии как *маринизм*, заключалось в постоянном нагнетании эффекта антитезами, тщеславием, продумыванием слов, вырождающихся в двусмысленность, и тому подобными риторическими гримасами. *Ars poetica* Марино был обобщен в этом предложении: "Chi non sa far stupir, vada alia striglia". Поэтому он находит перифразы для самых простых выражений. Он называет "соловья" *сиреной де'боски*, "порох" *ирепарабилем фульмине террено*, "Колумба" *лигурой Аргонавты*, "Галилея" *"Эндимиона новелла"*. В этих случаях то, что могло бы быть расширено до сравнения, заменяется соответствующим словом, чтобы удивить читателя. Когда он ссылается на Данте, он ставит головоломку с фамилией этого поэта: *Бен суллали лигье тре монди канта*. Младшую Пальму хвалят за то, что она вырвала *пальму первенства* у Тициана и Веронезе. Гвидо Рени переводится как: *Reni onde il maggior Reno all'altro cede*^[197] Читая его страницы, мы никогда не бываем в безопасности от шума и свиста таких словесных фейерверков. И все же следует признать, что стиль Марино в целом более свободен от литературного наигранности, чем стиль наших собственных эвфуистов. Только время от времени искушение заявить о себе с помощью хитроумного обмана кажется непреодолимым. Когда он серьезно занимается темой, которая будоражит его натуру до глубины души, как в восьмой песни, описание течет строфа за строфой с прозрачной быстротой. Другой вид уловки, к которому он прибегает, - это повторение доминирующего слова:

Con tai lusinghe il lusinghiero amante
La lusinghiera Dea lusinga e prega.

Годиамчи, амиамей. Amor d'amor mercede,
Degno cambio d'amore è solo amore.

Эта игра словами иногда переходит в явный каламбур, как в следующей красивой фразе:

O mia dorata ed adorata Dea.

И все же мы чувствуем, что Шекспир был виновен в точно таких же словесных дерзостях. Только интенсивность чувства мешает таким строкам, как:

Возьми все, что я люблю, любовь моя, да, возьми их все;
Что же у тебя тогда больше, чем было раньше?
Нет любви, любовь моя, которую ты могла бы назвать настоящей любовью:
Все мое было твоим, прежде чем у тебя появилось это большее:

от маринистичности. Но следует добавить, что эта интенсивность чувств делает применяемую уловку возвышенно естественной. Здесь мы указываем пальцем на решающий момент, о котором идет речь в любой оценке литературного маньеризма. Какова сила мысли, пыл эмоций, острое восприятие истины в природе и в человеке, которые скрываются за этой манерной ширмой? Если, как в случае с Шекспиром, достаточность или переизбыток этих существенных элементов ощутимы, мы прощаем эвфуизм и игнорируем его. Но если качество субстанции ухудшается, тогда мы отвергаем ее и презираем. Поэтому Марино, который, конечно, не более эвфуистичен, чем Шекспир, но в котором неизмеримо меньше силы, носит пестрый стиль барокко в подвешенном состоянии, граничащем с забвением, в то время как Лебедь Эйвона щеголяет в одной и той же литературной ливрее на обеих вершинах Парнаса. Настолько верно, что поэзию нельзя оценивать отдельно от интеллектуального и морального содержания. Написал ли Марино:

Уколи любовь за укол, и ты победишь любовь:

или:

это разозлило бы его,
Если бы он поселил в кругу своей любовницы дух
какой-нибудь странной природы, оставив его там стоять,
пока она не положит его и не заколдует:

или:

Похабная стрелка циферблата теперь на
пробило полдень:

он снабдил бы своих обвинителей гораздо более сильными обличительными речами против слов с двойным смыслом и распущенного тщеславия, чем предлагают его собственные страницы. Но поскольку именно из полноты житейской мудрости Шекспир сочинил эти фразы для Меркуцио и поместил их как подвеску к страстным речам о любви и смерти, которые он изливал из уст Ромео, они остаются незамеченными.

Только бедность материи и неискренность фантазии проклинаят в Марино те литературные наигрыши, которые были у него общими с целым рядом писателей — с Горгием, Эсхилом, Херемоном, Филостратом у греков; с Петраркой, Боккаччо, Бембо, Аретино, Тассо, Гуарини у итальянцев; с Кальдероном и Сервантесом, не говоря уже о Гонгоре, у испанцев; с передовыми французскими и английскими писателями эпохи Возрождения; со всеми художниками-словесниками любого века, которые чрезмерно стремились усовершенствовать их материал из языка. Одним словом, Марино не осуждается за его так называемый маринизм. Его истинное клеймо - неспособность постичь человеческую природу иначе, как под двойной маской чувственного сладострастия и чувственной свирепости. Именно этот узкий и неблагородный диапазон воображения составляет его реальную неполноценность в гораздо большей степени, чем любая поэтическая экстравагантность в дикции. Та же подлая концепция человечности клеймит позором четыре поколения, над которыми он господствовал, — выводок евнухов и придворных, церковников и *кавальеры сервенци*, архитекторов барокко и разбойников,

казуистов и брави, кривляк, лицемеров, исповедников, самозванцев, ублюдков духа, которые контролировали итальянскую культуру в течение ста лет.

При первом взгляде мы будем поражены, обнаружив, что этот поэт, которого по праву можно считать корифеем цирцейских оргий семнадцатого века, оставил в рукописи серьезный плач о бедствиях Италии. В "*Pianto d'Italia*" от маринизма не осталось и следа. Он выдержан в сдержанном простом стиле и говорит правду без утайки. Италия связывает свое несчастье с одной-единственной причиной - подчинением испанскому правлению.

Lascio ch'un re che di real non tiene
Altro che il nome effeminato e vile
A sua voglia mi reggi, e di catene
Barbare mi circondi il piè servile.

Этот тиран разжигает зависть и сеет семена раздора между итальянскими государствами. Его наместники избираются из самых жестоких, самых несправедливых, самых жадных и самых роскошных придворных, ползающих вокруг его трона. Коллегия кардиналов покупается и продается. Ни один принц не смеет пошевелить пальцем в своей семье или государстве, не посоветовавшись с иберийским сенатом; еще меньше он может набрать войска для самообороны. Однако по всей Европе победы в Испании одерживали итальянские генералы; самые храбрые солдаты иностранных армий - итальянские изгнанники. Возможно, можно возразить, что пустые титулы, которыми изобилует каждый мелкий город, многообещающие обещания, на которые возлагали свои надежды эти несчастные вассалы, являются довеском к таким страданиям. Назовите их скорее цепями, сковывающими нацию, приманками и птичьей известью, какими пользуются ловчие. Есть только одна четверть, к которой овдовевшая и свергнутая Королева наций может обратиться за помощью. Она поворачивается к Карло Эммануэле, герцогу Савойскому, к холмам, откуда приходит помощь. Однако только через два столетия после того, как Марино написал эти патриотические строфы, ее молитва была услышана. И размышление, которое приходит к нам, когда мы читаем "*Пьян д'Италия*", заключается в том, что Марино сочинил его, чтобы польстить покровителю, который в тот момент вынашивал дальновидные планы нападения на испанскую гегемонию.

Совершить какой-либо переход из Марино в Кьябреру, кроме резкого, было бы невозможно. Это все равно что перейти из какой-нибудь роскошной апельсиновой и розовой рощи на бесплодную вершину холма без перспективы на море или шампанское. Нам повезло, что у нас есть несколько страниц автобиографии, из которых можно извлечь все, что необходимо для запоминания личной истории Габриэлло Кьябреры. Он родился в 1552 году в Савоне, через пятнадцать дней после смерти своего отца. Его мать вышла замуж во второй раз и оставила его на попечение дяди, с которым в возрасте девяти лет он переехал жить в Рим. В доме этого дяди-холостяка бедный маленький сирота чах. Лихорадка следовала за лихорадкой, пока его опекун не почувствовал, что общение с мальчиками в играх и учебе - единственный шанс спасти такую хрупкую жизнь, как у Габриэлло. Соответственно, он передал инвалида на попечение иезуитов в их романо-коллегию. Здесь здоровье ребенка восстановилось, и его образование до двадцатилетнего возраста шло быстрыми темпами. Иезуиты, по-видимому, были либеральны в своем обучении, поскольку молодой Кьябрера извлек пользу из частных бесед с Паоло Мануцио и Спероне Сперони, когда посещал лекции Мюретуса в университете.

Как отличалась эта юность от юности Марино! Оба юноши повзрослели без влияния семьи; и оба были заметны в дальнейшей жизни из-за отсутствия той привязанности, которой изобилует Тассо. Но на этом параллель между ними заканчивается. Марино, разгуливающий по улицам Неаполя, пресыщенный удовольствиями и приключениями, собирающий наугад неперевавленную информацию и формирующий свой поэтический стиль так, как подсказывала природа; Кьябрера, воспитанный в благочестии и морали директорами-иезуитами, наделенный эрудицией засушливого ученого, формальный педант и опытный ритор, три главных представителя декадентствующего итальянского гуманизма: невозможно представить большего контраста, чем тот, который указал этим двум парням разные пути в литературе. Тот, кто был создан, чтобы быть поэтом капризов и распушенности, открыто ставящим себя в один ряд с теми, кто

Che la ragion sommettono al talento,

и заставляющий *страдать вшей* своим правилом поведения и искусства. Другой получил жесткую склонность к приличиям в религиозных обрядах, к этической строгости и к литературе строго схоластического типа.

И все же Кьябрера не был лишен горячей крови итальянской молодежи. Его дядя умер, и он оказался один в целом мире. Проведя несколько лет на службе у кардинала Корнаро, он поссорился с римским дворянином, отстоял свою честь каким-то актом насилия и был изгнан из города. После этого он удалился в Савону; и здесь он снова столкнулся с подобными приключениями. Раненный в драке, он взял правосудие в свои руки и отомстил нападавшему. Эта пунктуальность доказала, что он был истинным дитя своего времени; и если мы можем поверить его собственному рассказу об обоих инцидентах, он вел себя так, как подобает джентльмену того времени. Однако это привело его к серьезным неприятностям как в Риме, так и в Савоне, из которых он выпутался лишь с трудом и которые подорвали его состояние. До пятидесяти лет он оставался холостяком, а затем взял жену, от которой у него не было детей. Он дожил до зрелого возраста восьмидесяти четырех лет, постоянно находясь в Савоне, за исключением случайных визитов к друзьям в итальянские города, и умер невредимым от серьезной болезни после своего первого поступления в Римский колледж. О том, как он проводил досуг в этом долгом одиночестве, можно узнать из его опубликованных произведений — двух или трех толстых томов лирики; четырех объемистых поэм героического содержания; двенадцати драм, включая две трагедии; тридцати сатир или посланий; и около сорока разных стихотворений разного формата. Одним словом, он посвятил всю свою жизнь искусству поэзии, к которому от природы не был одарен и которым занимался с серьезной методичностью. Можно сразу сказать, что основная часть его работы, за исключением нескольких простых эпизодов и нескольких целомудренно написанных посланий, такова, что никто не может читать без усталости.

Прежде чем исследовать притязания Кьябреры на место среди итальянских поэтов, возможно, было бы неплохо изучить его автобиографию в тех моментах, которые затрагивают настроения общества. Каким бы коротким он ни был, этот документ ценен тем светом, который он проливает на современные обычаи. Как писатель, Кьябрера отличался трезвостью суждений, прямоотой, благочестием, чистотой чувств, справедливостью по отношению к своим коллегам по литературе и искренним желанием возродить древние добродетели среди своих

соотечественников. Нет никаких оснований предполагать, что эти достойные уважения качества не отличали его в личной жизни. Однако восемь из восемнадцати страниц его биографии посвящены комически торжественным подробностям о почестях, оказанных ему итальянскими князьями. Великий герцог Флоренции Фердинанд I. заметил его стоящим с непокрытой головой на театральном представлении во дворце Питти. Он предложил поэту надеть шляпу и сесть. Козимо, наследник престола, проявил такую же снисходительную вежливость. Когда он был в Турине, Карло Эммануэле, герцог Савойский, предоставил в его распоряжение карету и пару лошадей и выделил ему 300 лир на дорожные расходы в Савону и обратно. Но этот принц не указал ему места во дворце и не пригласил его укрыться в своем присутствии. Возможно, это одна из причин, по которой Кьябрера отказался от предложения герцога занять должность секретаря при дворе. Винченцо Гонзага, герцог Мантуанский, напротив, выделил ему комнаты и всегда позволял не снимать шляпу. Папа, который был старым другом Чиабреры по колледжу, сделал ему красивые подарки и по одному восхитительному случаю позволил ему послушать проповедь на папской скамье. Дождь Генуи, официально соблюдавший правила этикета, всегда заботился о том, чтобы его прикрывали, хотя он был подданным Республики.

Какими бы ничтожными ни были эти детали, они показывают, какую ценность тогда придавали пустяковым княжеским милостям даже по-настоящему респектабельные люди. Пристрастие, с которым Кьябрера рассказывает о них, придавая своему холодному стилю оттенок удовлетворения, является практической сатирой на его попытки возродить добродетели древних республик в той Италии. Сделать это было его главной целью как моралиста; возродить величественный стиль Пиндара было его целью как художника. Каждая попытка была невозможна и свидетельствовала о дальновидных амбициях, смутно сознававших свой размах. Без свободы, без живой мифологии Эллады, без победоносного национального дела, на пороге смерти независимости, в конце долгого века великолепной, но искусственной культуры, как мог Кьябрера осмелиться выдавать себя за Пиндара? Вместо молодежи Греции, поднимающейся в свободный полет, и всего будущего мира перед ней, одряхлевшая Италия, Италия, столь верно нарисованная Марино в его *Пьян*, лежала, пресмыкаясь, в пыли ветшающих тронов. Ее автору текстов пришлось воспевать состязания в паллоне вместо всеэллинских игр; прославлять героическое завоевание тосканским флотом двух турецких галер вместо Марафона и Саламина; восхвалять Святую Люси и Святого Павла со сдержанным пылом, вместо того чтобы рассказывать, как Родос выплыл по велению ее бога из волн.

Один пример, как и многие другие, послужит иллюстрацией ложного отношения Кьябреры, когда он выдавал себя за нового Пиндара среди итальянцев семнадцатого века. Я выберу Оду дону Чезаре д'Эсте. Есть что-то трогательно смешное в том, что этот потенциальный лебедь из Диркийского источника, этот апостол языческих добродетелей, увещевает наследника Альфонсо II проявить себя послушным сыном Церкви, передав свое герцогство Феррара Святому Престолу. Поэт спрашивает его в прекрасных классических выражениях, смог бы он вынести зрелище оскверненных алтарей, исповедальен без священников, отпускающих грехи, часовен без певчих, людей, запертых на засов в Раю. Как ничтожны земные короны по сравнению с небесными! Как вульгарна любовь к власти и золоту! Увещевание, достаточно изысканное в сдержанном стиле, завершается лицемерным обращением к аристократическим предрассудкам Чезаре:

Parli la plebe a suo volere, e pensi—
Non con la plebe hanno da gir gli Estensi.

Иными словами, благородство требует, чтобы Дом Эсте покинул своих подданных, пожертвовал своим тронem, приползал к ногам понтифика и голодал среди толпы свергнутых с престола принцев, окутывая себя рваным пурпуром своего несчастья, пока он тоже не смешается с людьми, которых презирает.

Каким бы безнадежным ни было это предприятие, в этих неблагоприятных обстоятельствах Кьябрера сделал единственной заботой своей жизни переделку итальянской поэзии по греческому образцу. Заслугой Sei Cento, знаком благодати было то, что итальянцы наконец-то отбросили ортодоксальные эстетические принципы на ветер и признали свою неспособность продолжать петраркистскую традицию дальше. Лучшие из них, Кампанелла и Бруно, выковали вульгарный язык, как металл, в горниле неистового воображения, превратив его в носитель фантастической страсти и восторженной философии. Из их горнила вышли Сонет и Ода, не имеющие ни малейшего сходства с академическими стандартами. Гротескные, угловатые, корявые, искаженные, даже готические, эти устаревшие формы под их своенравным налетом были едва узнаваемы. Они стали вместилищем жгучей, обжигающей, пронзительной реальности. Сальватор Роза, следующий после лучшего, заставил негодование окрылить себя и взобрался на Парнас с окованными медью ногами и яростью. Марино, склонный приковывать внимание сюрпризами, пылкий собственной реальностью похоти, использовал октавную строфу, как турецкий бей мог бы использовать одалиску. "Единственное правило, о котором стоит подумать, - сказал он, - это знать, как, когда и где нарушать все правила, приспособляясь к текущему вкусу и моде эпохи". Его эпопея представляет собой успешную, потому что яркую реакцию против условностей. Жизнь, которая пульсирует в нем, неоспорима, даже если эта жизнь может быть не более чем эфемерной. С такой же жестокостью инстинкта, здоровой, потому что естественной, архитекторы багоссо восприняли уродство, диссонанс, уродство, спазм как бегство от гармонии и регулярности, которыми были пресыщены времена. Прозаики разрывали узы Бембо, попирали Боккаччо, упивались стилистическим развратом Бартоло. Художники, напрасно превратившиеся в академистов благодаря тем Фабиям Болонским, которые стремились восстановить содружество искусств путем выжидания, бросились в море резни и убийств, крови и внутренностей, ужасов темных лесов и вакханалии пухлых купидонов. Популярная муза Италии тем временем проявила скрытую грацию и неиссякаемую живость в диалектичных стихах, танцах, Пульчинелло, панталонах-бергамасках, а также в пародиях и сатире, арлекинадах и карнавальных развлечениях, которые могла бы полюбить любая местная почва.^[198] Давайте вспомним, что все это восстание против прецедента, это воскрешение первобытного инстинкта, грубого и ухмыляющегося, происходило на глазах у иезуитов, в тени инквизиции, в эпоху реформ, санкционированную Тридентским собором. Искусство следовало за Аретино, негодяем и бунтарем. Он первым среди истомы золотого века — и в этом заслуга Аретино — понял, что единственным спасением от его неизбежного истощения был переход к самому грубому натурализму.

Но что оставалось делать Чиабрере, прекрасному джентльмену, пользующемуся покровительством принцев, щепетильному в вопросах чести, ученику иезуитов, набожному, отвергнутому своими римскими наставниками гуманизму? Он должен повиноваться гению своего времени. Он должен внедрять инновации. Он выбрал наименее неприличную сферу из

всех, что были под рукой, для инноваций; и чувствовал себя при этом самым невинно счастливым. Сам того не сознавая, он обнаружил способ придерживаться освященного временем прецедента, следуя общему импульсу отбросить прецедент. Он выбросил Петрарку за борт, но взял своим лоцманом Пиндара. "Когда я вижу что-нибудь в высшей степени красивое, или слышу что-нибудь, или пробую что-то превосходное, я говорю: это греческая поэзия". В этой самораскрывающейся фразе заложен руководящий инстинкт человека как ученого. Самая высокая похвала, которой он может удостоить итальянские произведения, - это назвать их греческой поэзией. "Когда мне приходится выражать свои цели в стихах, я сравниваю себя с Колумбом, который сказал, что откроет новый мир или утонет". Опять же, в этой самораскрывающейся фразе Кьябрера выдает инстинкт, которому, как и в его эпоху, он подчинялся. Он был обречен поразить общество открытием или утонуть. Ибо, следует помнить, это было время, когда Паллавичино, как и Марино, заявил, что поэзия должна заставлять людей удивленно поднимать брови. Для Кьябреры, каким бы образованным он ни был, тем новым миром, к которому он стремился, был новый эллинский стиль итальянской поэзии; и "Фиванец" должен был привести его к его берегам. Но во время путешествия Чиабрера утонул: навеки утонул в гиператлантических водоворотах забвения. Некоторые критики, сочувствуя столь возвышенным, столь респектабельным амбициям, шептались, что он нашел маленький островок Блаженства и посадил там скромные мирты посредственного бессмертия. Однако это неправда. В таком поиске были только неудачи или успехи. Он не преуспел. Его холодный мясной фарш со столов диоцезов, прохладные исторические параллели, искусственно состряпанные легенды не смогли возродить греческую поэзию под ребрами смерти. Музыка было суждено спасти эпоху. Вседозволенность была его единственной свободой, как учил *Адон*. Немзыкальная Кьябрера, опутанная старыми мифологиями и безупречными заповедями, оставила свою жизнь нетронутой. Его античные добродетели стояли, подобно лепным богам и богиням, на пьедесталах в садовых рощах и покрывались плесенью. Его пиндарические полеты были подобны полетам воробья, который, глядя вверх на ястреба, мог бы отважиться на них. Эти резкие переходы, с помощью которых он стремился имитировать величественную *разбегчатку* фиванского орла, "парящего с верховной властью в лазурных глубинах воздуха", напоминают нам главным образом прыжки лягушки. Кьябрера потерпел неудачу: потерпел тем более прискорбную неудачу, что он был таким ученым, таким достойным уважения. Сейчас он интересен главным образом как пример человека, преданного Церкви, ученика иезуитов, моралиста и гуманиста, в некотором смысле также патриота, который чувствовал дух своего времени и стремился к новшествам в литературе. Лишенный искреннего сочувствия к своим академически выбранным моделям, думая, что нашел безопасный путь для инноваций, он упал ничком в грязь и погиб.

Марино помогали человеческая жизнь и вульгарная натура, чувственность и легкомыслие века. Кьябрера не претендовал ни на одно из этих преимуществ. Что придумал Тассони для своего наряда? Здравый смысл, критическая проницательность, ирония юмора, ненависть к тиранам и надувательству, резкий нрав, смягчаемый искренней любовью к литературе, мужественный дух независимости. И последнее, но не менее важное: он унаследовал что-то от старой элизияльной улыбки, которая играла на губах Ариосто, от которой отступала меланхолия смущенного Тассо, которую Марино душил поцелуями своих куртизанок, а Кьябрера запретил как слишком неблагородную для дирчеанских бардов. Именно эта улыбка скрашивала досуг Тассони, когда, пережив тяжелые дни, он писал "*Socchia Rapita*".

Алессандро Тассони родился в 1565 году в знатной моденской семье. До окончания девятнадцатилетнего возраста он получил степень доктора юридических наук, а затем провел двенадцать лет, обучаясь в ведущих университетах Ломбардии. С 1599 по 1603 год он служил секретарем кардиналу Асканио Колонне как в Испании, так и в Риме. Понимание, которое он затем получил о работе испанского деспотизма, сделало его непримиримым врагом этой уже пришедшей в упадок монархии. Когда Карло Эммануэле, герцог Савойский, в 1613 году вернул свой Ошейник с Золотым руном и обнажил меч сопротивления Филиппу III, Тассони написал две филиппики против испанцев, которые являются самым твердым и озлобленным выражением патриотизма в том виде, в каком он тогда существовал. У него хватило проницательности понять, что испанское государство больше не находится в расцвете сил, и благородной простодушности помечтать о том, что итальянские принцы могли бы побудить их совместными усилиями заглушить свою злобу после обретения независимости. Фактически, Эстенси, Медичи, Фарнези, Гонзаги, все правящие дома, еще не поглощенные Церковью или Испанией, предпочли господство власти, которая санкционировала их местную тиранию, какой бы утомительной и унижительной ни была эта власть, гегемонии пьемонтской Македонии. И, как все итальянские патриоты, сильные умом, слабые мускулами, он не смог считаться с фактическим военным превосходством испанцев. В ту эпоху Италия могла предоставить своим хозяевам генералов, но она не могла рассчитывать на набор рядовых для собственной защиты. Карло Эммануэле вознаграждал щедрый пыл Тассони назначением пенсий, которые так и не были выплачены, и должностями при дворе, которые вовлекли поэта-студента в опасную интригу. "Моя служба у принцев Савойского дома, - так писал он позднее, - происходила не из полученных или ожидаемых льгот. Это произошло из чистого спонтанного движения души, которое внушило мне любовь к благородному характеру герцога Чарльза ". Когда он наконец ушел со службы, был написан его портрет. В руках он держал фигу, а под рисунком было написано двустилишие, заканчивающееся словами: "Это подарил мне Суд". На протяжении всей своей жизни Тассони проявлял независимость, редкую в том столетии. Его основные работы были опубликованы без посвящений меценатам. В предисловии к своим *Замечаниям о Петрарке* он выразил свое мнение так: "Я оставляю тем, кому они нравятся, бесплодные посвящения, чтобы не сказать лести, которые обычны в наши дни. Я не ищу защиты, ибо ложь ее не заслуживает, а истина к ней безразлична. Пусть те, кто считает, что тень великих личностей может скрыть некомпетентность авторов, максимально воспользуются этим преимуществом ". Твердо веря в астрологию, он рассудил, что его собственный гороскоп обрекает его на неудачу. Похоже, что он родился под влиянием Сатурна, когда солнце и луна были в соединении; и он считал, что это сочетание небесных тел предвещало "события, заслуживающие внимания, но не счастливые". Однако человеку такого положения, как Тассони, при том состоянии общества было трудно перевести дух вне круга Придворных. Соответственно, в 1626 году он поступил на службу к племяннику папы римского, кардиналу Лодовизио. Ему это не очень понравилось : "Я могу сравнить себя с П. Эмилием Метеллом, когда он был обут в эти элегантные сапоги, которые жали ему ноги. Все говорили: "О, какие прекрасные сапоги, как хорошо они сидят!" Но негодяй не мог в них ходить." После смерти кардинала в 1632 году Тассони переехал ко двору Франческо I Моденского и умер там в 1635 году.

Как писатель, Тассони, как и лучшие умы своего времени, стремился к инновациям. Итальянцам стало ясно, что эпоха Возрождения закончилась и что они должны порвать с традициями прошлого. Это, как я уже указывал, было спасительной добродетелью начала семнадцатого

века; но какие добрые плоды она могла бы принести, если бы политические и церковные условия той эпохи не были неблагоприятными, остается предметом догадок. "Моя воля и цель - высказывать новые мнения", - писал он другу; и, действуя в соответствии с этим принципом, он атаковал главные предрассудки своего времени в философии и литературе. Одной из его самых ранних публикаций был разнообразный сборник *различных мыслей*, в котором он высмеивал физику Аристотеля и выдвигал предположения, аналогичные тем, которые были развиты Гассенди. Он осмелился с презрением отозваться о Гомере как о грубом и варварском писателе, бедном способностями к изобретательству, обремененном по меньшей мере пятью сотнями вопиющих недостатков. Насколько мало Тассони на самом деле понимал Гомера, можно судить по его самодовольному утверждению, что эпизод с Луной и Эндимионом (*Secchia Rapita*, песнь viii) был написан в гомеровской манере. По правде говоря, он мог оценить "Илиаду" и "Одиссею" не лучше, чем Чиабрера мог оценить пифийцев и олимпийцев Пиндара. Справедливое чувство критики подвело ученых той эпохи, которая была слишком далека по своим обычаям, слишком несовершенна в своей исторической науке, чтобы понять суть греческого искусства. С не менее забавной откровенностью Тассони вынес суждения о Данте и подумал, что в своем описании Рассвета он соперничал с Чистилищем (*Secchia Rapita*, viii. 15, примечание автора). Однако мы должны быть осмотрительны и относиться к этой критике со всей серьезностью, поскольку никогда не знаешь, насколько далеко может зайти смех Тассони в рукаве. Однако нет никаких сомнений в искренности его критики словаря Делла Круска 1612 года или более известного исследования стиля Петрарки. *Рассмотренная сопра "Иней Петрарки"* была написана в 1602-3 годах во время морского путешествия из Генуи в Испанию. Они рассказали то, что сейчас должно считаться простой истиной здравого смысла, о том, до какой степени рабское изучение *Канцоньерки* довело поколения итальянских рифмоплетов. Тассони имел в виду педантичных подражателей Петрарки, а не их мастера; и когда вокруг него бушевала буря литературной ярости, вызванная его работой, он таким образом обосновал свою позицию: "Конечно, допустимо порицать стихи Петрарки, если человек делает это не из злобной зависти, а из желания искоренить суеверия и злоупотребления, которые порождают такие пагубные последствия, и посрамить секты раввинов, закоренелых в своем вероломстве устаревшим мнениям, и в особенности таких, которые думают, что не могут писать прямо без ". *фальсарига* об их модели." Могу мимоходом заметить, что пункты этого абзаца заимствованы из сочувственного письма, которое Марино адресовал автору своего эссе. В другом месте Тассони заявил: "У меня никогда не было намерения говорить плохо об этом поэте [Петрарке], которым я всегда восхищался больше, чем любым лириком древних или современных времен".

Таким независимым в своем поведении и таким смелым в своих суждениях был автор *Secchia Rapita*. Композиция этого стихотворения выросла из споров, последовавших за *замечаниями Тассони о Петрарке*. На него обрушились две непристойные клеветы, которые были направлены на графа Алессандро Брузантини, феодала Куланьи и Бисмоццы. Правосудие не могло свершиться над человеком столь выдающегося дворянина. Тассони, с истинно итальянской утонченностью, решил доставить себе уникальное удовольствие искусной местью. Название поместья графа снабдило его изрядной порцией сарказма. Он напишет сатирическое стихотворение, героем которого должен стать граф Куланья. После десятимесячного труда, вероятно, в 1615 году, *Secchia Rapita* уже отправилась за границу в MS. [199] Тассони стремился выдать ее за продукт своей юности; но и стиль, и личности, которые в ней содержались, сделали это невозможным. Изданное частным образом стихотворение имело большой успех. "Менее чем за год, - пишет автор, - было выпущено в обращение больше копий рукописи, чем

обычно выходит из печати за десять лет самых известных произведений". Один профессиональный переписчик заработал 200 дукатов в течение нескольких месяцев на ее воспроизведении; и цена, заплаченная за каждый экземпляр, составила восемь крон. Возникла необходимость опубликовать *Secchia Rapita*. Но теперь возникли неисчислимые трудности. Типографии Модены и Падуи отказались; Джулиано Кассиани был отправлен в тюрьму в 1617 году за публикацию нескольких стихов Тести, направленных против Испании. Инквизиция отказала в *своемодобрении*. Предпринимались попытки тайком напечатать его в Падуе, но мастер, взявшийся выполнить эту работу, был заключен в тюрьму. Наконец, в 1622 году Тассони удалось опубликовать стихотворение в Париже. Вскоре издание дошло до Италии. В Риме оно было запрещено, но свободно продавалось; и, наконец, Григорий XV. разрешил перепечатать его с некоторыми отмененными отрывками. По правде говоря, в *Secchia Rapita* нет ничего предосудительного ни для католического вероучения, ни для общей морали. Между тем, мы с интересом отмечаем, что впервые он увидел свет в Париже, разделив, таким образом, судьбу *Adone*, которому он предшествовал на год. Если величайшие из ныне живущих итальянцев того времени были изгнанниками, то, по-видимому, две самые выдающиеся поэмы их литературы впервые увидели свет на чужих берегах.

The *Секкья Рапита* - первый пример героико-комической поэзии. Тассони заявляет в печати о чести изобретения этого нового вида и говорит своим друзьям, что "хотя он и не гордится тем, что он поэт, все же он придает большое значение тому, что открыл новый вид стихотворения и занял свободное место". Место — и это не было опасной осадой — действительно пустовало и могло быть занято любым свободным письмом. Фоленго ставил романы в жанре пародии. Но еще никому не удавалось создать пародию на то, что все еще существовало в основном как несостоявшаяся надежда литературы. Триссино с его "*Italia Liberata*", Тассо с его "*Gerusalemme Liberata*" пытались убедить себя и мир в том, что им удалось превратить Италию в эпопею. Но их майевтическая изобретательность была тщетной. Нация не носила в своем чреве эпоса. *Италия* Триссино была слабым подменным эрудитом, а *Иерусалим* Тассо - цветистым ублюдком романтики. Тассони, заметив наложение этих двух выдающихся и достойных писателей, решил придать своему веку эпос или героическую поэму в единственно возможной тогда форме. Короче говоря, он создал карикатуру, созданную по образцу несуществующего произведения современного искусства, но соответствующую чертам того, чего желала Нация, что предсказывали педанты. Единство действия, небесные механизмы, конфликтующие расы, противоположные герои, колеблющийся шанс войны, эпизоды, барды, героини и любовь, подчиненные воинственному мотиву, — все эти черты эпоса он рассматривал через искажающую среду своего комического искусства.

Во времена второй Ломбардской лиги, при Фридрихе II. проигрывая битву с церковью, гвельф Болоньи вступил в жестокий конфликт со своим гибеллинским соседом Моденой. Территория этих двух городов стала полем дуэли, в которой участвовали вооруженные силы Германии и почти всей Италии; и в одном из боев при Фоссальте был взят в плен наследник императора, король Сардинии Энцо. Как он провел остаток своих дней в плену у болонцев и как произвел на свет полу-королевский выводок Бентивольи, является предметом истории и легенд. Во время этого конфликта, памятного среди многих муниципальных войн Италии в средние века, случилось так, что несколько моденских солдат, пробившихся в пригород Болоньи, унесли ведро и подвесили его в качестве трофея на колокольне собора, где его можно увидеть до сих пор. Одной из особенностей той средневековой борьбы, которая вызвала соперничество городов, отделенных друг от друга несколькими милями плодородной местности, и которая

бушевала на протяжении поколений, пока реальные интересы, о которых шла речь, не смешались со слепой враждой соседа против соседа, было чувство юмора и сарказм, которые они поощряли. Швырнуть мертвого осла о городскую стену врага считалось хорошей шуткой и порочило его честь больше, чем потеря сотни бойцов в жестоком сражении. Пограничные крепости получали оскорбительные названия, такие как перуджийская *Бекка-ди-квесто* или болонская *Гревалькор*. На самом деле, в этих итальянских войнах было много такого, что напоминает вражду между соперничающими факультетами в государственной школе.

Поскольку такой элемент юмора всегда можно найти в анналах его страны, Тассони выбрал эпизод с болонским ведром в качестве темы для пародийно-героического эпоса. Он превратил то, что было незначительным инцидентом, в реальный повод к войне и сгруппировал вокруг него исторические факты, искусно искажая правду. Ведро - это Елена из его "Илиады":[\[200\]](#)

Vedrai s'al cantar mio porgi l'orecchia,
Elena trasformarsi in una secchia.

Таким образом, сущий пустяк становится предметом спора, способного привести к конфликту богов, пап, императоров, королей, принцев, города и целые нации. В то же время сатирик выдает свою злобу, как можно меньше отклоняясь от основного течения реальных событий. История придает правдоподобия абсурдному предположению, что небо и земля были втянуты в ссору из-за ведра: и если из *Secchia Rapita* можно извлечь какую-то мораль, то она у нас здесь. В конце состязания, когда обе стороны исчерпаны, выясняется, что личность короля весит на весах наций не больше, чем пустое ведро:[\[201\]](#)

Riserbando ne' patti a i Modanesi
La secchia, e 'l re de'Sardi ai Bolognesi.

Такова главная тема *Secchia Rapita*; и такова ирония Тассони, ирония, достойная Аристофана в ее далеко идущем снисходительном презрении к человеческим обстоятельствам. Но у стихотворения другая цель. Оно было написано, чтобы наказать графа Алессандро Брузантини. Главный эпизод, занимающий примерно три песни из двенадцати, представляет собой тщательно продуманное очернение этого личного врага, пародированного как презренный граф ди Куланья.

Художественный метод Тассони соответствует иронии его вдохновения. Мы находим его оригинальность в своеобразном смешении серьезного и пародийного стилей, в резких, но всегда хорошо продуманных переходах от героической высокопарности к плебейскому фарсу и от грубости к поэтическому возвышению, наконец, в частом использовании фигуры, которую греки называли [греч. *para prosdokian*]. Его стихотворение - пародия на аристофанический тип. "Подобно фантастически ироничному волшебному дереву, разрушающая мир идея, лежащая в его корнях, вырастает цветущим орнаментом мыслей, с поющими соловьями и взбирающимися болтливыми обезьянами".[\[202\]](#) Искать центральный мотив или трезвый смысл в этом капризе сатирического воображения было бы напрасно. Тассони не имел намерения, как утверждали некоторые критики, демонстрировать безумие тех партийных войн, которые раздирали сердце Италии за три столетия до его эпохи, учить людей своего времени страданиям иностранного вмешательства или наносить смертельный удар классической мифологии. Урок, который можно

извлечь из его песен, о том, что человек на войне напрасно беспокоится о себе, что ведро - такой же повод для войны, как и Елена, мораль, на которую указал Саути в своей балладе о битве при Бленхейме, вытекает не из замысла поэта, а из неизбежной логики его юмора. Обида вдохновила *Секкья Рапита*, и презренный характер графа Куланьи позволил ему сполна отомстить за нанесенное ему оскорбление. Мечь, конечно, жестокая, ибо граф остается "бессмертно погруженным" в затянувшийся эпизод, который показал позор его семейной жизни. И все же, хотя Тассони проливал кровь, он не переставал улыбаться; и граф Куланья остается для нас персонажем комедии, а не сатиры.

Далее, Тассони хотел высмеять поэтов своего времени. Он называет *Secchia Rapita* "абсурдным капризом, написанным с целью высмеять современных поэтов". Его гений был ничем иным, как критикой, и литература давала ему много материала для веселья. Писатели-романтики с их рыцарскими поединками и вооруженными героинями, потенциальные эпические поэты с их внеземными механизмами и помпезностью фраз, Марино с его гиперболическим тщеславием, тосканские пуристы, склонные использовать только слова *Tre Cento*, Петраркисти, плетущий паутину старых метафор и устаревших перифразов, - все по очереди ощутили прикосновение его легкого хлыста. Дань уважения, оказанная чучелу кота Петрарки в Аркуа, вызвала у него поистине аристофаническую насмешку.^[203] Следующим под его перчаткой оказывается Общество. Нет ни одного города в Италии, которому Тассони не свернул бы холку своим самомнением. Диалекты Феррары, Болоньи, Бергамо, Флоренции, Рима придают сатирику вульгарные обороты, когда он отказывается от высокопарного стиля и, отняв золотую трубу Вергилия от губ, соскальзывает в канализацию или в Биллингсгейтский шлюз. Модену изображают пародией на ее председательствующую Потту, ее сажают на виселицу за грязные улицы. Сиенцы обнаруживают, что мир считает их сумасшедшими. Флорентийцев и перуджийцев клеймят за печально известный порок. Римское щегольство, фантастическое в своей женской претенциозности, служит прикрытием для того, чтобы затащить Куланью в канаву позора. Кое-где сатира Тассони одновременно ядовита и едка, например, когда он рисует упадок Империи, уязвляет испанскую гордость за суверенитет и угрожает папству восстанием. Но по большей части, подобно Горацию во фразе Персия, он играет на жизненно важных органах жертв, которые посвящают его в свои тайны — *admissus circum praecordia ludit*.

Мы можем лишь сожалеть, что у столь проницательного, столь вежливого и столь истинно аристократического сатирика не было более широкого поля для работы. Италия семнадцатого века была слишком тесна для его гения; и если *Secchia Rapita* утратила свой вкус, то в этом виноват не столько поэт, сколько недостаток его материала. Он был достаточно силен, чтобы поместить Афины Клеона, Францию Генриха III или Англию Якова I. в поле зрения своего искажающего зеркала, раскрывающего правду. Тем не менее, несмотря на то, что это было так, Тассони открыл несколько путей для современных юмористов. Рабле, возможно, принадлежала бы эта карикатура на Марса и Бахуса, бесчинствующих в постели таверны, с Венерой, изображенной мальчиком, а утром, после божественного завтрака из двухсот укрепляющих яичницу яиц, убегающих в страхе перед возмущенным хозяином и полицейским судом у них на глазах. И все же Рабле вряд ли привел бы эту циничную картину грубого разврата к столь резкому контрасту с небесным окружением богов и богинь. Верный своему принципу чередования эффектов, Тассони иногда рисует божества, которых он высмеивает, в стиле гравюр Вольпато вслед за Гвидо. Они движутся по его холсту с неземной грацией. Что может быть очаровательнее, чем Диана, навещающая Эндимиона и признающаяся в Любви, что вся ее прошлая карьера охотницы и целомудренной женщины была ошибкой? Венера тоже, когда

она совершает это чувственно-мечтательное, полностью поэтическое путешествие по голубому Средиземноморью, чтобы навестить золотоволосого короля Энцо во сне, заставляет нас забыть о ее появлении в Модене под видом юноши, обученного играть женские роли на сцене. Такое сочетание истинной элегантности с откровенным фарсом - новинка в современной литературе. Это напоминает нам песни Мистов на лугах Элизиума в "*Лягушках*". Скаррон и Вольтер через французских подражателей Тассони извлекли уроки из его карикатуры на Сатурна, старого больного сенатора, путешествующего в паланкине в небесный парламент, с клизменной трубкой перед собой и сидящего на тесном табурете. Мольер и Свифт, приверженцы Клоацины, были предвосхищены кульминацией попытки графа Куланья отравить свою жену и изобретением заколдованного осла, столь грозного благодаря парфянским разрядам в своего противника. Этими рожденьями гения Тассони руководила маккаронская муза Фоленго и его болонских предшественников. В юморе есть что-то ломбардское, привкус сосиски. Но моденскому поэту оставалось ввести эту Мафелину в сообщество наций. На самом деле мы не обязаны отдавать ей дань уважения. И все же, когда мы обнаруживаем, что она вдохновляет таких писателей, как Свифт, Вольтер, Стерн и Гейне, хорошо бы вспомнить, что Тассони впервые вызвал ее из мантуанских трущоб и мясных лавок Болоньи.

"Фантастически ироничное волшебное дерево" *Secchia Rapita* раскинуло свои зеленые ветви не только для болтающих павианов. Там пели соловьи. Обезьяноподобный Куланья с его трюками и ужимками исчезает. Добродетельная Реноппия, эта здоровая деревенская девушка, *буржуазный* двойник Брадаманте, снимает свою туфельку с головы поэта, когда он поет грустные или прекрасные песни о человеческой судьбе. Наши глаза, ставшие чувствительными к вульгарным зрелищам, с непривычным удовольствием останавливаются на рыцарской красоте короля Энцо. Смерть Эрнесто трогает наше сочувствие с пафосом, несмотря на инсинуации, брошенные в адрес его товарища Джаконьи. Паоло Малатеста мчится с тенями рока, дантовским облаком любви и предназначения вокруг своего чела сквозь эту пеструю пародийно-героическую банду бюргеров. Манфреды, охваченный нечестивой страстью к своей сестре, на мгновение вспыхивает, как лицо, освещенное молнией, в нашем поле зрения, и исчезает. Наконец, когда им овладевает настроение (ибо Тассони убеждает нас думать, что он всего лишь порождение каприза), он настраивает мягкую идиллическую арфу и поет любовную сказку Эндимиона в мелодиях, мягких, как у Марино, сладких, как у Тассо, превосходя Марино в деликатности, а Тассо в сдержанности. Этот эпизод привел ригида Альфиери в восхищение. Он остается неотъемлемой частью бурлескной поэмы, одного из наиболее четко очерченных триумфов утонченного итальянского романтического искусства. И все же рука мастера была так сильна, так верен он был своему принципу контраста, что он прерывает мелодичную идиллию звоном гитарных струн и заводит трагичную балладу о Лукреции. Ирония, правившая его искусством, требовала такого нарушения приличий. Синтия, ухаживающая за Эндимионом, показывает нам женщину в ее хрупкости; Лукреция, поруганная Тарквинием, - женщина в ее достоинстве. Ироничный поэт должен был украсить первый рассказ своими отборными цветами стиля и чувства, а второй - пародировать своим грубейшим реализмом.

Эта антитеза между выдержанной поэзией и мелодичным сленгом, между сияющими формами красоты и гротескным уродством пронизывает *Secchia Rapita* в каждой песне и в каждой детали. Мы переходим от батальных сцен, достойных Ариосто и Тассо в их лучших проявлениях, к канавам с жидким навозом. Послов представляют с нотками, которые понижают их в звании до *коммис вояжеров*. Перед сенатом те же самые люди произносят речи в стиле Ливия. Демонстрируется великолепие войны, приводится в движение механизм катапульт, чтобы

сбросить мертвого осла в осажденный город; и когда осажденный гарнизон видит его летящим по воздуху, они принимают осла не за насмешку, а за небесное предзнаменование. Проводится турнир, и все бойцы очень храбры в своих нарядах. Но по его правилам почетный венец достается самому большому лентяю. Даже в сравнениях, которые составляли столь важный элемент эпического декора, соблюдается тот же принцип контраста. Изящные виньетки с натуры встиле, освященном Ариосто и Тассо, представляют нелепые происшествия. Вульгарные детали, подобранные на улицах, готовят нас к прикосновениям пафоса или поэзии.

Тассони занимает высокое положение как художник-литератор за твердость, с которой он придерживался своего принципа иронии, и за легкость энергичности, которая скрывает все следы усилий при выполнении столь трудной задачи. Может показаться, что я слишком высоко оценил его похвалу. Но да простят меня те, кто наслаждается игрой чистой остроумной фантазии или кто размышляет о печальной теме, занимающей мое перо в этих двух томах.

Из четырех поэтов, которым посвящена эта глава, Гуарини, Марино и Тассони добились успеха, Кьябрера потерпел респектабельный провал. Причина этого различия очевидна. В тогдашних условиях итальянского общества, на закате великого и славного периода разнообразной культуры, под сенью десятков испанизирующих принцев, со шпионами инквизиции на каждом углу и муштрой Тридентского собора, которую предстояло пройти под руководством иезуитов, не было места второму Пиндару. Но здесь был простор для декоративного искусства, для чувственных удовольствий и для добродушной иронии. Счастлив человек, который бродит по своим виноградникам, музыкально мечтая об Аркадии! Счастлив человек, который катался в свинарнике Цирцеи! Счастлив человек, который сидел в своем кабинете и смеялся! Поэтому самые достойные постановки того времени, *"Раггуаль ди Парнасо"* Боккалини, *"Шерно дельи Деи"* Браччолини, несут в себе нотку юмора Тассони; в то время как Ахиллини и Прети слегка прихрамывают после развязности Альчибида Марино, а бесконечные пасторали напоминают трагикомедию Гуарини. Нам нет необходимости занимать наши умы этими второстепенными авторами и ограничиваться указанием на научную аккуратность, с которой Филикайя во второй половине семнадцатого века продолжил традицию Чиабреры. Но одно слово следует сказать в честь Фульвио Тести, моденского поэта и государственного деятеля, который заплатил головой за славу Канцоны. Он представляет для нас двойной интерес: во-первых, потому, что Леопарди считал его благороднейшим из итальянских лириков после Петрарки; во-вторых, потому, что его судьба доказала, что страх Тассо перед убийством не был полностью иллюзией. Читая оду, адресованную графу Раймондо Монтекукколи, *Ручеллетто оргольозо*, оду, из-за которой Тести был приговорен к плахе в подземелье Эстенси, мы понимаем, что имел в виду Леопарди, произнося свой высокий панегирик. Это поэтическое произведение, возвышенное по стилю, серьезное по движению, наполненное весомой мыслью, суровое и изрезанное, пропитанное величием мрака и стоицизма, которые напоминают нам об авторе *"Джинестры"*. Столетие произвело мало такого, что носило бы столь очевидный отпечаток достоинства и величия.

ГЛАВА XII

Италия эпохи Возрождения не создала Национальной музыкальной школы—Фламандские композиторы в Риме—Певцы и оркестр—Хаотичная непристойность этого контрапунктического стиля—Рождение Палестрины и ранняя история—Постановления Тридентского собора о церковной музыке—Месса папы Марчелло—Палестрина удовлетворяет кардиналов своим Новым стилем духовной музыки—Пий IV. и его пристрастие к музыке—Палестрина и Филиппо Нери—Его мотеты— "Песнь Песней Соломона", положенная на мелодию—Палестрина, Спаситель музыки—Основатель современного стиля—Флорентийские эссе в оратории.

Примечательно, что, хотя Италия лидировала среди всех европейских стран в науке и литературе, в искусстве скульптуры и живописи, в торговле и науках о жизни, в середине шестнадцатого века у нее не было национальной музыкальной школы. Местные мелодии действительно в изобилии можно было услышать на ее берегах и склонах холмов, на городских улицах и площадях, где мужчины и девушки танцевали вместе по вечерам. Но такая мелодия была популярной; ее нельзя было назвать художественной или научной. Музыка, которая звучала в Сикстинской капелле под звуки Пророков Микеланджело в торжественные дни и на фестивалях, не была итальянской. Композиторы этого произведения были по большей части выходцами из фламандских или французских провинций, носившими имена Жоскена Дебре, Эндрю Виллерта, Элеазара Жене, Джеймса Аркадельта, Клода Гондимеля; и исполнители также были в основном ультрамонтанами. Юлий II в 1513 году основал часовню в Ватиканской базилике под названием Cappella Giulia для содержания двенадцати певцов мужского пола, двенадцати мальчиков и двух мастеров хористов. При этом его целью было поддержать римскую музыкальную школу и освободить капитул Святого Петра от неудобств, связанных с необходимостью привлекать иностранных хористов. Его план, однако, удался лишь частично. Еще в 1540 году мы обнаруживаем, что главными композиторами и музыкантами Рима все еще были иностранцы. На трех известных итальянцев приходилось пять фламандцев, три француза, три испанца, один немец и один португалец.^[204]

Фламандский стиль контрапунктической или фигурной гармонии, который очаровал Европу своей новизной и изяществом, когда Жоскен Дебре в последней четверти XV века ввел его во всеобщую моду, все еще доминировал в Италии. Но этот стиль уже демонстрировал явные признаки упадка и распада. Он стал непригоден для церковного использования и из-за преувеличения своих качеств склонялся к анархии. Главный недостаток фламандской музыки, рассматриваемой как искусство самовыражения, заключался в том, что она игнорировала приличия и пренебрегала либретто. Вместо того, чтобы проявлять оригинальную изобретательность, вместо того, чтобы подбирать мелодии к словам с помощью соответствующих сочетаний звука и смысла, композиторы выбирали любые музыкальные темы, которые попадались под руку, и превращали их в сложные контрапунктические конструкции, не обращая внимания на свою книгу. Например, первые слова отрывка из Символа веры были кратко указаны в начале номера; то, что следовало дальше, было всего лишь повторением тех же самых слогов, разделенных самым произвольным образом в соответствии со сложным произношением, которому они должны были служить. Певчие не могли приспособить свои мелодические фразы к богослужебному тексту, поскольку иногда отрывки значительной длины состояли из пары слогов, в то время как, напротив, длинное предложение могло содержать не

более такта или даже меньше. Следовательно, у них была привычка растягивать или невнятно произносить слова, невзирая как на смысл, так и на сентиментальность. И это было не все. Композиторы фламандской школы гордились тем, что перегружали свое произведение всевозможными замысловатыми орнаментами, демонстрируя свое мастерство с помощью канонов многих типов, инверсий, имитаций, контрапунктических приемов самых разных изобретательных и отвлекающих видов. Словесная тема стала простой основой для произнесения научных изобретений и демонстрации вокальной гимнастики. Певцам, со своей стороны, были предоставлены бесчисленные лицензии. В то время как бас поддерживал мелодию, другие голоса предавались импровизированному пению (*composizione alla mente*) и экстравагантному техническому исполнению (*рифурименты*), независимо от стиля основной композиции, нарушая ритм и даже бросая вызов фундаментальному тону.

Композиторы, чтобы продвинуться еще на шаг в анализе этого странного попури, получили особое удовольствие от объединения различных наборов слов, мелодий самого разного характера, антагонистических ритмов и расходящихся систем акцентирования в одном произведении. Они распределили эти несколько ингредиентов по нескольким частям; и для дальнейшей демонстрации своего извращенного мастерства дошли даже до соединения тем мажорной и минорной.

Наиболее очевидным результатом такой практики было то, что стало невозможно понять, какие слова поются, и что вместо согласия и порядка в хоре воцарились беспорядочный диссонанс и анархия звуков ужина. Что еще более усугубляло ситуацию с церковной точки зрения, так это то, что эти схоластически искусственные композиции часто основывались на тривиальных и вульгарных мелодиях, наводя на мысль о таверне, танцевальном зале или еще худших местах для верующих, собравшихся для совершения Таинства. Мессы носили названия, заимствованные из популярных мелодий, на которых они были основаны: таких, например, как "Прощай, моя любовь", "Омбре из бюиссоне", "Безмозглый", "Мадам Бодишон", "Вилен жалу". Даже слова любовных песенок и непристойных баллад на французском, фламандском и итальянском выкрикивал тенор, в то время как бас произносил *Агнус* или *Бенедиктус*, а сопрано исполняло куплеты латинского гимна. Байни, изучивший сотни этих месс и мотетов в рукописи MS., говорит, что слова, заимствованные в них из вульгарных источников, "заставляют мурашки бегать по коже и волосы вставать дыбом". Он не решается сделать больше, чем указать на несколько наиболее приличных из этих переплетающихся куплетов; но упоминает один *Kyrie*, в котором тенор пел *Je ne visonques la pareille*; *Sanctus*, в котором он должен был произнести *gracieuse gente mounyere*; и *Benedictus*, где тот же преступник нанял *мадам, совершила мой поступок*. В качестве усиления этой непристойности номера из мессы или мотета, которые начинались с мрачного григорианского ритма, были доведены до танцевального такта популярной *баллады*, так что *Incarnatus est* или *Kyrie Элейсон* принялись подыгрывать Мазетто и Церлине на деревенском балу.

Описывать все дерзости, к которым привели вокальные приемы, бывшие тогда в моде, посредством росчерков, импровизаций, ускорения времени и множества ухищрений, порожденных *неограниченными* злоупотреблениями фугальной техникой, было бы бессмысленно. Но нелишне отметить, что озорство не ограничивалось вокальными партиями. Органу и оркестру различных инструментов была предоставлена такая же свобода импровизировать на заданную тему, дополняя ее причудливыми *каприччи* потакая собственному вкусу в симфониях, связанных с основной структурой незначительными и

искусственными звеньями. Инструментальная музыка еще не заняла самостоятельного места в искусстве. Лютня, труба или струны органа следовали за голосом и имитировали его; и, таким образом, в этой неразберихе хору струнных и духовых инструментов пришлось соревноваться с поющим хором.[205] Похоже, что композитор часто давал лишь набросок своего плана, не утруждая себя раздачей написанных партий исполнителям. Расцветки, экскурсы и эпизоды, на которые я ссылался, были предоставлены артистами, которым длительное обучение этому виду музыки позволило исполнять свои отдельные вылазки и несколько ужимок в определенных пределах признанной лицензии. Но поскольку каждый соперничал с другим в создании поразительных эффектов, хор соперничал с оркестром, тенор соперничал с басом, орган с виолой, из этого следовало, что шум от их совокупных усилий не был несправедливо сравнен с шумом, производимым "хрюкающими свиньями", строителями Вавилонской башни или "воплями кошек в январе".[206] "Все их счастье, - пишет современный критик, - состояло в том, что бас-гитарист исполнял фугу, в то время как одновременно один голос выкрикивал "Санктус", другой "Саваоф", третий "глория туа", с воем, мычанием и визгом, которые невозможно описать".

Не следует думать, что это почти невообразимое положение вещей указывало на недостаток либо интеллектуальных способностей, либо художественного мастерства. Это было вызвано скорее злоупотреблением наукой и виртуозностью, которые достигли высокой степени развития. Это проявило упадок музыки в ее незрелости, через чрезмерно уверенное использование избытка ресурсов для достижения цели, недостаточной для самореализации искусства. Следует помнить, что музыка, в отличие от литературы и пластического искусства, не имела античных традиций для усвоения, не имела шедевров совершенной формы для изучения. В современном мире это было искусство без связующих звеньев, связывающих его с прошлым. И это обстоятельство сделало его объектом небрежного отношения со стороны общества, которое гордилось восстановлением классики. Культурные классы на практике уступили его популярным создателям мелодий, с одной стороны, и гротескным педантам-схоластам - с другой. И из смешения этих плохо сочетающихся элементов возник хаос, который я попытался описать.

Образованным композиторам в стиле, разработанном фламандскими мастерами, надоело писать простую музыку для четырех голосов и одного хора. Они наслаждались возможностью объединить восемь вокальных партий и задействовать одновременно три хора с аккомпанирующими оркестрами. Они гордились тем, что доказали, как с помощью контрапункта самые непохожие и противоречащие друг другу факторы могут быть объединены в единое целое, понятное музыканту-ученому, хотя и неинтересное для публики. Пренебрегая своим искусством, рассматриваемым как искусство интерпретации и самовыражения, они предались решению запутанных проблем и представлению несообразных сложностей.

Певцы были искусны в передаче сложных пассажей, в разработке бесперспективных мотивов и в украшении аррасской работы композитора причудливыми излишествами вокального исполнения. Инструменталисты обучались искусству копирования эффектов фуги или мадригала с помощью лютен и виол в согласованных произведениях. Люди привыкли вместе танцевать, петь и прикасаться к мандолине; в каждом доме были любители, которые могли с помощью голоса и струнных исполнять изученные композиции мастеров.

Чего действительно не хватало среди этого изобилия музыкальных ресурсов, в этих густых джунглях технических средств, так это контролирующего элемента правильного вкуса, правильного ощущения надлежащей функции музыки как искусства интерпретации. На самом пороге своего современного развития музыка рано пришла в упадок из-за неправильного применения средств, столь щедро предоставленных природой и физическими упражнениями. В этот момент требовался гениальный человек, обладающий глубокой интуицией относительно истинных целей вокальной музыки, который должен был направить искусство в предназначенное ему русло. И для того, чтобы выявить такого творца новых импульсов, такого Номофета неупорядоченного состояния, требовалось, чтобы на искусство было оказано внешнее давление. В Палестрине был найден инициатор нужного калибра. Давление извне оказывал Тридентский собор.

Здесь можно в скобках отметить, что музыка на протяжении всей современной истории нуждалась в таких законодателях и инициаторах новых методов. Рассматриваемая как искусство самовыражения, она всегда была склонна ускользать от контроля, создавать для себя область, постороннюю для ее надлежащей функции, и превращать свои ресурсы из простого звука в самодостаточные. То, что Палестрина совершил в шестнадцатом веке, впоследствии было совершено на более широкой платформе Глюком в восемнадцатом, и в наши дни то же самое было предпринято Вагнером. Усилия всех этих музыкантов, создавших эпоху, были направлены на то, чтобы обуздать стремление музыки к утверждению независимости, которая для нее самой становится источником слабости, сводя ее к сотрудничеству с незначительными словами, и которая делает ее зависимой от простой технической ловкости.

Джованни Пьер Луиджи, которого звали Палестрина по месту его рождения в одном из поместий Колонна близ Рима, древнем Пренесте, родился в семье бедных родителей, в 1524 году, он уехал в Рим около 1540 года и начал свою музыкальную карьеру, вероятно, мальчиком из хора в одной из базилик. Клод Гудимель, безансонский композитор, впоследствии трагически погибший в Лионе во время резни гугенотов, открыл школу гармонии в Риме, где Палестрина постиг первые азы этой науки. Чем Палестрина был обязан Гудимелю, неясно. Но мы имеем право предположить, что протестантские частушки французского народа, которые Гудимель перенес в сборники гимнов гугенотов, оказали мощное влияние на формирование его стиля. Возможно, они были для него тем же, чем были хоралы Германии для школы Баха.^[207] Внешне жизнь Палестрины была очень безоблачной, и записи, собранные с неутомимым усердием его биографом, выявили лишь переходы с одного поста на другой в нескольких базиликах и непрестанное усердие в композиции. Огромное количество произведений, опубликованных Палестриной при его жизни, или оставленных в рукописи после его смерти, или, как известно, написанных, но ныне утраченных, было бы поистине поразительным, если бы не тот факт, что выдающийся творческий гений всегда изобилует, и ни в одной области искусства он не является более плодородным, чем в области музыки. Палестрина жил и умер бедняком. В своих посвящениях он иногда с трезвым пафосом замечает, как трудно заниматься научными исследованиями в условиях домашнего беспокойства. Его жалованье было очень небольшим, а расходы на публикацию его произведений, которые, по-видимому, не покрывались меценатами, были в то время очень велики. И все же он пользовался неоспоримой репутацией первого из ныне живущих композиторов, спасителя церковной музыки, создателя нового стиля; и на его могиле в 1594 году был начертан титул: *Princeps Musicae*.

Состояние неразберихи, в которое впала церковная музыка, сделало неизбежным, что Отцы Тридентского собора обратили внимание на столь серьезный скандал в своих обсуждениях реформы ритуала. Таким образом, представляется, что на своей двадцать второй сессии (17 сентября 1562 г.) они предписали ординариям "исключить из церквей всю подобную музыку, которая, будь то через орган или пение, привносит что-либо нечистое или похотливое, чтобы дом Божий действительно можно было увидеть и назвать домом молитвы".^[208] Для того, чтобы дать вступает в силу настоящий декрет Тридентского собора, Пий IV. назначил конгрегацию из восьми кардиналов 2 августа 1564 года, среди которых особого упоминания заслуживают трое — Микеле Гислиери, инквизитор, впоследствии ставший папой Пием V.; Карло Борромео, святой архиепископ Милана; и Вителлоццо Вителлоцци. Их обязанностью, помимо других вопросов реформы, было следить за тем, чтобы церковная музыка Рима была немедленно приведена в надлежащий порядок в соответствии с постановлением Собора. Карло Борромео был племянником и главным министром правящего папы римского. Вителлоццо Вителлоцци был молодым человеком тридцати трех лет, который обладал особой страстью к музыке.

На этих двух членов конгрегации, как на подкомитет, была возложена особая задача - решить вопрос о церковной музыке, при этом было оговорено, что они должны во что бы то ни стало следить за тем, чтобы певчие вносили достаточную ясность в произнесение литургических слов.

Здесь я прерву нить повествования, чтобы коснуться легендарной истории, которая неверно связывает Палестрину с тем, что произошло впоследствии. Было хорошо известно, что от решений подкомитета конгрегации зависела судьба церковной музыки. Некоторое время казалось, что музыка может быть полностью исключена из обрядов католической еkkлeсии. И вскоре вошло в историю, что Палестрина победил дело своего искусства, сохранил его выдающееся положение в римском ритуале и в то же время открыл новый период в развитии современной музыки, поставив свою мессу под названием *Месса папы Марцелла* в этот критический момент. Все это было правдой; и когда опасность была преодолена, а действительные обстоятельства спасения и революции церковной музыки были забыты, память о кризисе и название победоносной мессы остались, чтобы сформировать миф. История гласила, что добрый папа Марцелл, занимавший Святой Престол всего двадцать два дня в 1555 году, постановил отменить в Церкви всю музыку, кроме простого пения; услышав об этом решении, Палестрина умолял его приостановить действие своего указа до тех пор, пока он сам не подготовит и не представит мессу, соответствующую церковным приличиям. Марчелло удовлетворил просьбу капеллы, и в день Пасхи месса, которая спасла церковную музыку от уничтожения, была исполнена с одобрения папы и под аплодисменты Рима. Нет необходимости указывать на множество невозможностей и противоречий, связанных с этой легендой, поскольку реальная история Мессы, которая принесла спасение церковной музыке, лежит перед нами, ясно изложенная на многословных страницах "Байни". И все же мне было бы досадно пройти молчанием мимо столь интересного и поучительного примера того, каким образом истина истории скрывается в легенде.

Правда всегда интереснее вымысла, и факты этого важного эпизода в истории музыки не лишены элемента романтики. Нет никаких сомнений в том, что в католической церкви существовала могущественная партия, проникнутая суровым аскетическим или пуританским духом, которая с радостью исключила бы из своих служб все, кроме простого Пения. Если бы Микеле Гислиери вместо несколько светского Анджело де'Медичи был на папском престоле или

если бы решение музыкальной проблемы было возложено на него конгрегацией восьми кардиналов в 1564 году, Палестрина, возможно, не получил бы той возможности, которой он так триумфально воспользовался. Но случилось так, что правящий папа был любителем этого искусства и имел особую причину быть почти снисходительным к его профессорам. Когда Анджело де'Медичи был еще кардиналом, в беззаботные дни правления Юлия III, его вместе с другими князьями Церкви пригласили послушать изумительную игру на лютне и несравненные импровизации мальчика по имени Сильвио Антониано. Встреча состоялась на банкете во дворце венецианского кардинала Пизани. Когда гости были в сборе, кардинал Раннуччо Фарнезе собрал букет цветов и, преподнеся их музыканту, велел ему передать их тому из кардиналов, который однажды будет избран папой. Сильвио без колебаний вручил цветы Анджело де'Медичи и, взяв в руки свою лютню, начал петь ему дифирамбы в страстных импровизированных стихах. После его избрания на папский престол с титулом Пия IV Анджело де'Медичи взял Сильвио к себе на службу и занимал с ним такие почетные должности, что удачливый юноша был, наконец, возведен в сан кардинала при правлении Климента VIII в 1598 году.[209]

Поэтому конгрегации музыкальной реформы было необходимо принять во внимание пристрастие папы к этому искусству; и они проявили свою добрую волю, выбрав его собственного племянника вместе с известным любителем музыки в свой подкомитет. Два кардинала обратились за советом в Коллегию папских певчих, и те назначили восьмерых из своего числа — трех испанцев, одного фламандца и четырех итальянцев — в качестве помощников в предстоящих обсуждениях. Вскоре было решено, что мессы и мотеты, в которых смешиваются различные словесные темы, должны быть запрещены; что следует отказаться от музыкальных мотивов, взятых из нечестивых песен; и что не следует одобрять композиции или слова, придуманные современными поэтами. Эти три условия, вероятно, были сформулированы кардиналами, находящимися у власти, как обязательные, прежде чем перейти к более сложному вопросу обеспечения ясного и разборчивого изложения священного текста. Когда кардиналы потребовали этого как важнейшего пункта предлагаемой реформы, певчие ответили, что на практике это невозможно. Они настолько привыкли к сложной структуре фигурной музыки с ее канонами, хитросплетениями фуг, имитациями и инверсиями, что даже не могли представить музыку, которая должна быть простой и понятной, сохраняющей существенные черты вокальной гармонии и в то же время позволяющей отчетливо слышать слова, на которых она написана. Кардиналы опровергли эти возражения, указав на "Te Deum" Костанцо Феста (пьесу, которая с того дня и до наших дней всегда исполнялась в честь избрания нового папы) и на Импровизацию Палестрины, которая также присутствует на службе Сикстинской капеллы. Но певцы ответили, что это исключительные произведения, которые, хотя и могут соответствовать требованиям Конгрегации реформ, не могут быть взяты в качестве единственных образцов для композиций, предполагающих такое разнообразие и продолжительность исполнения, как Месса. Их ответ убедительно доказал, до какой степени контрапунктический стиль отделил себя от истинной цели всей вокальной музыки - интерпретации, усиления и трансформации слов, с которыми он имеет дело, и как он стал простым искусством научной разработки неуместных и часто дерзких мелодических тем.

Чтобы избежать абсолютного тупика, который мог бы привести к принесению в жертву церковной гармонии и нанести смертельный удар современной музыке, комитет согласился передать свои трудности Палестрине. Руководствуясь принципом *solvitur ambulando*, его пригласили изучить проблему и создать пробное произведение, которое должно было

удовлетворять условиям, предъявляемым Конгрегацией, а также требованиям художников. Буквально, он получил задание написать мессу в трезвом церковном стиле, свободном от всех нечистых и легковесных намеков в темах, мелодиях и ритмах, которые должны позволять отчетливо слышать священные слова в их полном смысле, не жертвуя гармонией вокала и обычным переплетением фугованных пассажей. В случае успеха кардиналы пообещали больше не вводить никаких нововведений; но в случае неудачи Карло Борromeо предупредил его, что Конгрегация реформ распустит хоровые учреждения Папской капеллы и римских церквей и запретит фигурный стиль, вошедший в моду, в соответствии с четким решением Тридентского собора.

Это была задача, которую Геракл возложил на Палестрину. Искусство, которому он посвятил свою жизнь, слава, которую он приобрел как композитор, профессия, с помощью которой он и все его коллеги добывали хлеб насущный, зависели от его решения этой проблемы. Ему практически приказали открыть новый вид церковной музыки или увидеть гибель самого себя и своих товарищей, исчезновение искусства и науки, которые он так страстно любил. Поистине, его биограф может заметить: "Я сознательно придерживаюсь мнения, что ни один художник ни до, ни после никогда не оказывался в параллельном проливе".

У нас нет точных сведений о том, в каком духе он подошел к этому труду.^[210] Но он был человеком искреннего благочестия, великим и увлеченным служителем искусства. Приказ, который он получил, исходил из той сферы, которая в то время и в Риме обладала почти божественной властью. Он знал, что музыка висит на волоске от его неудачи или успеха.

И эти два мотива, мотив религиозного рвения и мотив преданности искусству, вдохновили его на создание нового музыкального мира. Анализ его работ и сравнение их со стилем, который он был призван заменить, довольно ясно показывают, какими принципами он руководствовался. Стремясь достичь главной цели - сделать текст понятным для верующих, ему пришлось отказаться от сложной фламандской системы комбинированных мелодий в контрапункте и экономно использовать свои научные ресурсы фуги и канона, чтобы в будущем они служили сохранению, а не тирании над выражением. Он решил писать для шести голосов, два из которых должны быть басовыми, чтобы основные темы были выдержаны достойно и непрерывно. Но то, что он имел в виду главным образом, то, что на самом деле он был призван инициировать, было новой адаптацией мелодии и науки к словесной фразе и смыслу, посредством чего музыка должна была стать искусством, интерпретирующим религиозные чувства, способным придать каждому оттенку смысла в тексте соответствующее и красивое звучание, вместо того чтобы оставаться просто искусственной и механической структурой звуков, оторванных от слов, используемых для придания им вокального звучания.

Палестрина приступил к работе и сочинил три мессы, которые были отслужены 28 апреля 1565 года перед восемью кардиналами конгрегации во дворце кардинала Вителлоцци. Все три были одобрены, но первые два все еще оставляли желать лучшего. Байни сообщает, что в них сохранилось несколько слишком много громоздкой фламандской манеры; и что, хотя слова были более разборчивыми, фугальные уловки накладывались на их четкое произношение. Однако в третьем случае было единогласно решено, что Палестрина решил проблему удовлетворительно. "Его стиль всегда ровный, всегда благородный, всегда живой, всегда полный мысли и искреннего чувства, восходящий и восходящий к кульминации; не понять слов было бы невозможно; мелодии сочетаются, чтобы стимулировать преданность; гармонии

трогают сердце; это восхищает, не отвлекая; удовлетворяет желание, не щекоча чувства; это прекрасно во всех красотах святилища". Так пишет восторженный биограф Палестрины; так, очевидно, думали кардиналы конгрегации; и когда эта месса (называемая *Мессой папы Марцелла*, из благодарности понтифику, чья безвременная кончина перечеркнула многие оптимистичные ожидания) был подарен миру, вся Италия приветствовала его взрывом страстных аплодисментов. Церковная музыка была спасена. Была создана современная музыка. Новая и прекрасная форма искусства возникла подобно звезде.

Было недостаточно того, что месса папы Марцелла удовлетворила прихожан. Следующим шагом должно было стать одобрение папы Римского, который заслушал его 19 июня. По этому поводу, если верить Придворной хронике, Пий произнес красивую речь, заявив, что "такого рода гармонии, должно быть, были в новой песне, услышанной апостолом Иоанном в небесном Иерусалиме, и что другой Иоанн дал нам попробовать их в Иерусалиме Церкви Воинствующей". Он, похоже, действительно был убежден, что основная проблема сохранения четкости произношения в произносимых словах решена, и что теперь нет причин лишать верующих художественной и религиозной ценности мелодичной музыки. В результате он назначил Палестрину композитором Папской капеллы и установил монополию на исполнение его произведений. Эта мера, вызвавшая в тот момент немалую зависть среди музыкантов, имела благотворный эффект, сделав новый стиль постоянным в употреблении.

Здесь не место говорить об объемных композициях Палестрины. Достаточно указать на решающую роль, которую он сыграл в реформировании церковной музыки в момент, когда само ее существование было под угрозой, и описать принципы, на основе которых он установил новые законы для этого искусства. Однако я не должен упускать из виду его последующую связь с С. Филиппо Нери, поскольку музыка, которую он сочинил для Оратории этого святого, внесла большой вклад в создание полулирического и полудраматического стиля, к которому мы можем отнести истоки современной оратории. Филиппо Нери был духовным наставником Палестрины и назначил его композитором своего набожного братства. Для удобства этого общества мастер написал серию *произведений Ари Дивоте*, посвященных итальянским словам. Они должны были исполняться самими участниками и заменить старые обычаи хвалебной музыки, которые в основном заключались в адаптации популярных уличных мелодий к священным словам.^[211]

Той же связи с ораторским искусством мы обязаны одной из самых замечательных серий сочинений Палестрины. Они были написаны на слова итальянской канцоны в тридцати октавных строфах, обращенных как молитва к Пресвятой Деве. Палестрина положил каждую строфу, на манер мадригала, на разные мелодии; и все произведение оказалось пособием по религиозной музыке, исполненным с чистейшим художественным вкусом и в самом утонченно сентиментальном ключе чувств. Вместе с этим собранием духовных песен следует упомянуть переработанные Палестриной отрывки из Песни Песней Соломона в серию мотетов, которые были посвящены Григорию XIII в 1584 году. Они имели огромный успех. Десять изданий между этой датой и 1650 годом вышли из типографий Рима и Венеции, чтобы удовлетворить нетерпение тысяч, желавших вкусить "нектар их сладости". Палестрина выбрал в качестве мотивов своих сочинений такие сладострастные фразы Вульгаты, как следующие: *Fasciculus myrrhae dilectus meus mihi. Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo. Vulnerasti cor meum, soror, sponsa mea*. Это был период, когда Италия звенела светской сладостью Аминты Тассо и пастора фидо Гуарини; когда монастырская набожность становилась томной и мягкой; когда культ Пресвятой Девы принимал экстравагантные размеры, высмеянные Паскалем;

наконец, когда манеры приобретали оттенок упоительного благочестия, смешанного с чувственной роскошью. Постановка Палестриной "Песнопения" и "Гимна Марии" подарила публике музыку, которая, согласно вкусу той эпохи, переносила земные эмоции в области райского блаженства и оправдывала определение музыки как *"Плач любви о прегиере альи деи"*. Великий создатель нового церковного стиля, "имитатор природы", как называл его Винченцо Галилей, "принц музыки", как гласила его эпитафия, вложил свой гений в искусство, колеблющееся между мирской чувственностью и небесным восторгом, которое, каким бы невинным ни было развитое им в сфере музыки, было симптомом самых нездоровых тенденций его расы и эпохи. Правда, во время исполнения этих мадригалов и мотетов молодежь обоего пола больше не вспоминала кабацкие частушки или танцевальные номера. Но эмоции роскошного восторга или страстного экстаза, глубоко заложенные в их собственной природе, были извлечены наружу и освящены применением языка женственной преданности.

Я остановился на этих двух сериях сочинений, а не на массе строгой церковной музыки, которую Палестрина создавал с неистощимым усердием, отчасти потому, что они, по-видимому, были необычайно популярны, а отчасти потому, что они иллюстрируют те тенденции в искусстве и манерах, которые пыталась воплотить сентиментальная школа болонских художников. Они принадлежат к той религиозной сфере, которую орден иезуитов занимал, которой управлял в соответствии с предписанной им дисциплиной. Эти соображения не просто неуместны. Специфические качества итальянской музыки на следующие два столетия, несомненно, определялись атмосферой чувственного пиетизма, в которой она процветала, в то самое время, когда немецкая музыка уходила корнями далеко в другие хоралы эпохи Реформации. Чего добился Палестрина, так это замены в церковной музыке ясной и мелодичной манеры светского мадригала на тяжеловесную и схоластическую науку фламандской школы и создания шедевров религиозного искусства в своих мотетах на кантикулы, которые смешивали демаркационные линии между благочестивым и нечестивым выражением. Он учил музыку выражать чувства сердца; но эти эмоции в его стране и расе уже в религии склонялись к сентиментальности и сладострастию.

Нет никаких сомнений в том, что опасность, которой подверглась музыка во время Тридентского собора, была серьезной и реальной. Когда мы вспомним, насколько тесной была связь между высшими видами музыки и церковным ритуалом, это станет очевидным. Не будет преувеличением утверждать, что искусство в тот кризис, если бы не благосклонность, проявленная к нему Пием IV. и вмешательство Палестрины, могло бы быть практически уничтожено в Италии. Насколько фатальными были бы тогда результаты для развития современной музыки, можно оценить, учитывая решающую роль, которую итальянцы сыграли в формировании музыкального стиля с конца шестнадцатого века и далее, до эпохи Глюка, Генделя, Гайдна и Моцарта. Если бы церковная музыка в Италии в ту эпоху ограничивалась простым пением, как угрожала Конгрегация реформ, великая итальянская школа вокализации не была бы основана, консерватории Неаполя и Венецианский колледж замолчали бы, а стиль, в соответствии с которым, начиная с изобретений Палестрины, развивались все виды искусства, канул бы в лету.

Того, что это предположение не является экстравагантным, достаточно, чтобы доказать историю музыки в Англии. До победы пуританских принципов в Церкви и государстве англичане были далеко впереди других рас в этом искусстве. В шестнадцатом веке Таллис, Берд, Морланд, Уилбай, Доуленд и Орландо Гиббонс могли выстоять против итальянских мастеров.

Музыкальные заведения при соборах, королевских и коллегиальных часовнях, а также благородные дома были питомниками артистов. Каждый английский дом в ту эпоху, как и каждый немецкий дом в восемнадцатом веке, изобиловал любителями, которые были способны правильно исполнять партии песен и слаженные пьесы на лютне и виоле. При *режиме Содружества* этот национальный музыкальный рост был остановлен, от которого он впоследствии так и не оправился. Хотя семнадцатый век был свидетелем возвышения одного выдающегося композитора Перселла; хотя восемнадцатый был украшен такими выдающимися авторами, как Блоу и Бойс; все же очевидно, что искусство оставалось у нас непрогрессивным, в то время как в Италии и Германии оно делало гигантские успехи. Всегда опасно приписывать упадок искусства в стране какой-либо одной причине. И все же я думаю, вряд ли можно оспаривать тот факт, что изменение манер и темперамента, вызванное в Англии преобладанием пуританских взглядов, во многом объясняло этот преждевременный упадок музыки. Поэтому мы можем справедливо утверждать, что если бы мрачная страсть нетерпимого фанатизма, которая горела в таких людях, как Караффа и Гислиери, возобладала в Италии — страсть, аналогичная по своей исключительности пуританству, — или если бы ни один композитор, на месте Палестрины, не удовлетворил требованиям Совета и конгрегации, история музыки в Италии и Европе для нас была бы совсем иной.

Эти соображения приводятся для оправдания того значения, которое я придаю эпизоду, героем которого был Палестрина. Однако не следует забывать, что в то же самое время в Италии действовали и другие влияния, которые в значительной степени стимулировали развитие музыки. Если позволит место, было бы интересно подробнее остановиться на работе Луки Маренцио, главы авторов мадригалов, и на услугах, оказанных Винченцо Галилео, отцом величайшего ученого своего времени, в постановке игры на струнных инструментах на прочную основу. Следует также помнить, что в обществе Филиппо Нери в Риме оратория обретала форму и складывалась из простых элементов Духовной хвалы и *Дивной арии*. Эта форма, однако, несомненно, погибла бы, если бы строгая партия в Церкви возобладала над снисходительностью к исключению фигурной музыки из религиозных упражнений.

Кроме того, во Флоренции существовало интересное современное движение, заслуживающее подробного упоминания. Частная академия любителей и художников образовалась с общепризнанной целью возродить музыкальное декламирование греков. Как новый церковный стиль, созданный Палестриной, вырос из Контрреформации, воплощенной в постановлениях Тридентского собора, так и это движение, которое в конечном итоге привело к появлению Оперы, присоединилось к более раннему энтузиазму классического Возрождения. Гуманисты восстановили латинскую поэзию; архитекторы довели до совершенства неолатинскую манеру; скульпторы и художники извлекли пользу из изучения античных фрагментов и воспроизвели барельефы и арабески римских дворцов. Теперь, гораздо позже, настала очередь музыкантов предпринять подобную попытку. Их поиски были смутными и дальновидными. От греческой или римской музыки ничего не осталось. Этими исследователями руководило лишь смутное предчувствие, что древние декламировали драматические стихи с музыкальной интонацией. Но, как алхимики искали философский камень и основали современную химию; как, согласно древней пословице, те, кто ищет серебро, находят золото; так случилось, что из педантичных и плохо направленных попыток этой академии вытекла система, на которой основаны современные оратория и опера. Что примечательно в этих экспериментах, так это то, что новая форма музыкального выражения, декламационная и непрерывная, следовательно, драматическая, в противоположность лирическим и фугальным методам контрапунктистов,

находилась в процессе разработки. Клаудио Монтеверде, которого можно назвать пионером *речитатива* в его опере "Орфей"; Джакомо Кариссими, в "Джеффе" которого уже обрисована форма оратории, были самыми выдающимися мастерами школы, зародившейся во флорентийской академии Палаццо Вернио.

Продолжать обсуждение этой темы дальше означало бы выйти за хронологические рамки моей темы. В этой главе достаточно попытаться показать, как были обеспечены судьбы итальянской музыки и определены ее виды в последней четверти шестнадцатого века. О том, как это искусство в период своего расцвета в восемнадцатом веке повлияло на нравы, проникло во всю жизнь и повлияло на литературу итальянцев, можно прочесть в одном английском произведении исключительного мастерства и оригинальности.[\[212\]](#)

ГЛАВА XIII

БОЛОНСКАЯ ШКОЛА ХУДОЖНИКОВ

Упадок пластического искусства—Даты мастеров эклектики—Маньеристы—Бароччо—Реакция, начатая Лодовико Караччи—Его двоюродные братья Аннибале и Агостино—Их учеба—Их Академия в Болонье—Их художественные цели—Дионисий Кальварт—Гвидо Рени—Человек и его искусство—Доменикино—Критика Раскина—Отношение Доменикино к благочестию Его эпохи—Караваджо и реалисты—Рибера—Испания—Гверчино—Его качества колориста—Его Ужас—Частная жизнь—Отступление от критики—Причины, по которым болонскими художниками сейчас справедливо пренебрегают.

После того как мы проследили происхождение современной музыки у ее истоков в Палестрине, требуется определенная смелость, чтобы приблизиться к пластическим искусствам той же эпохи.

Музыка была последним реальным проявлением творческого гения в Италии. Разреженный до мимолетных токов эмоциональных и чувственных выдохов, дух расы изливался в песне из человеческих глоток, в мелодии на лютне и виоле, пока вся Европа не затрепетала от чуда и тайны этого нового языка души. Музыка была наиболее подходящим средством выражения для итальянцев периода Контрреформации. Отстраненные от политической деятельности, лишённые свободы мысли и слова, эти одаренные люди нашли невнятное средство выражения в тоне; тоне, который передает все значения нервам, которые чувствуют, ничего не сообщает разуму, который рассуждает, говорит все, не формулируя предложения.

Только чувство долга перед моим предметом, требующим завершения, заставляет меня относиться к живописи последних лет шестнадцатого века. Великий итальянский цикл, завершённый Лионардо, Рафаэлло, Микеланджело, Корреджо и Тициано, завершился в Венеции Тинторетто. После него изобретательство прекратилось. Но в Болонье возникла школа, стремившаяся возродить традиции искусства, которое уже сделало все возможное, чтобы интерпретировать сознание каждого с помощью прекрасных форм и цветов. Основатели Болонской академии, подобно Медее, оперировавшей дряхлым Эзоном, разрубили на части живопись, переставшую пульсировать органической жизнью, объединили их усилием

интеллекта и воли и, соединив по кусочкам, привели составную машину в движение по пути изученного метода. Их цель была аналогична цели Церкви в ее восстановлении католицизма; и они преуспели, поскольку достигли частичного успеха, благодаря вдохновению, которое дало им католическое возрождение. Эти художники известны как эклектики, и это название в достаточной степени указывает на их стремление возродить искусство, воссоздавая то, что лежало перед ними, по разрозненным фрагментам. Они не исследовали новые территории и не изобретали новые средства выражения. Они стремились отобрать лучшие черты греко-римского и итальянского стиля, не сознавая, что физический тип Ниобидов, сладострастное очарование Корреджо, яркий колорит Тициана, ужасность Микеланджело и безмятежность Рафаэля, будучи высшими проявлениями различных художественных качеств, были несовместимы. Еще более глубокая истина ускользнула от их внимания, а именно, что искусство не имеет ценности, если художник не может сказать что-то глубоко прочувствованное, и что там, где существует эта интенсивность чувства, оно находит для себя свою собственную специфическую и неизбежную форму.

"Стихи, извлеченные из других стихотворений, уходят,
Проходят рои отражателей и вежливые люди, оставляя пепел;
Поклонники, импортеры, послушные люди
составляют лишь почву литературы".

Эти глубокие фразы являются эпитафией не только подражательной поэзии, но и такому эклектичному искусству, какое учредил Караччи. Сейчас мало что из этого заслуживает изучения. Мы относимся к этому с вялостью или отвращением. Мы отворачиваемся от этого без сожаления. Мы не можем или не хотим сохранить это в своей памяти.

Тем не менее, ни один изучающий итальянскую живопись не откажет Караччи в той дани уважения, которая обусловлена мужественными усилиями. Они были в полном согласии с критическим и аналитическим духом своего века — века, скорбно сознающего, что его скипетр покинул власть, — который

"Ничто не может вернуть час
великолепия травы, славы цветка";

эпоха, неспособная пока смириться с этим мраком, напряженно стремящаяся с помощью учебы и труда вернуть себе царство, принадлежащее только вдохновению. Наука и промышленность позволили им гальванизировать труп искусства; в него они вдохнули дыхание религии *à la mode*, модной чувственности и преобладающей сентиментальности.

Микеланджело умер в 1564 году, Паоло Веронезе - в 1588-м, Тинторетто - в 1594-м. Это были трое последних выживших представителей великого поколения, и каждый из них наслаждался активной жизнью, продлившейся до глубокой старости. Их интеллектуальные сверстники давно ушли: Лионардо в 1520 году, Рафаэль в 1522-м, Корреджо в 1534-м.

- До потопа они были расой великанов.

Следует помнить об этих датах, поскольку все художники болонской школы родились после 1550 года, по большей части в решающую эпоху Тридентского собора, которую можно сравнить с водоразделом между эпохой Возрождения и Контрреформацией - Лодовико Караччи в 1555 году, Агостино в 1558 году, Аннибале в 1560 году, Гвидо Рени в 1574 году, Лионелло Спада в 1576 году, Франческо Альбани в 1578 году, Доменикино в 1581 году, Гверчино в 1590 году.^[213] С последним из этих людей эклектический импульс иссяк; и второе поколение, частично произошедшее от них, связало художников Возрождения с художниками нового времени. Достаточно упомянуть Николя и Гаспара Пуссенов, Клода Лоррена, Сальватора Розу, Луку Джордано и Каналетто как главных представителей этой второстепенной группы.^[214]

При рассмотрении приведенных мною дат можно заметить, что болонская эклектика, занимавшая промежуточное положение между эпохой Микеланджело и эпохой Николя Пуссена, работала в период первого всплеска католического возрождения. Таким образом, их искусство можно рассматривать как вполне репрезентативное для религиозного настроения и светской культуры итальянцев в период, находившийся под влиянием Тридентского собора. Он представляет тот характер и ту культуру, которые были до упадка того же влияния, когда Контрреформация была в активном развитии и притязания папы на абсолютное владычество не подвергались никакому сдерживанию.

Однако мы были бы неправы, если бы относились к эклектикам так, как будто они без помех следовали той "расе гигантов до потопа". Их движение было подчеркнуто движением возрождения; а возрождение подразумевает упадок. После 1541 года, когда Микеланджело закончил "Страшный суд", и до 1584 года, когда Караччи работали над своими фресками в Палаццо Фава в Болонье, то есть между последней подлинной картиной эпохи Возрождения и первой картиной эпохи Возрождения, прошло почти полвека, в течение которых искусство погружалось в трясину неряшливого и бездушного разложения.^[215] Каждый город Италии кишел художниками, достаточно образованными в технических методах и способными копировать величественный стиль своих мастеров. Но во всей их работе нет ничего прочувствованного, ничего продуманного, ничего выраженного, ничего воображаемого. Это огромная пустота бессмысленной и никчемной игры кистью, пустыня пустых уловок и тщетной возни с общепринятыми формами. Маньеристы, как их называли, покрыли акры дворцовых и церковных стен аллегориями, историями и легендами, небрежно оформленными, быстро выполненными, но радующими глаз множеством фигур и безвкусными красками. Их цвета теперь поблекли. Их фигуры теперь воспринимаются как воспоминания о рисовании Рафаэля, Корреджо, Буонарроти. Тем не менее, они удовлетворяли тогдашних покровителей, которые требовали спешной работы и не имели много денег, чтобы вознаградить зрелые труды добросовестного ученика. Более того, по отношению к бездуховной и неискренней архитектуре, входившей тогда в моду, это искусство маньеристов вряд ли можно считать неуместным. Когда я назову имена Джорджо Вазари, Джузеппе Чезари (кавал. д'Арпино), Темпесты, Фонтаны, Тибальди, Цуккари, Прокаччини, Кампи из Кремоны, ученых из Перино дель Вага, я, вероятно, вызову перед глазами многих моих читателей картины тоскливых блужданий по убогим салонам и безутешного разглядывания лепных куполов в Риме и Генуе, Флоренции и Неаполе и во всех городах Ломбардии.^[216]

В более ранней книге я кратко обрисовал развитие этого пагубного маньеризма, который сейчас захлестнул искусство Италии. Только один художник, за пределами Венеции, по-видимому, продолжил довольно хорошую традицию. Это был Федерико Бароччо (1528-1612),

который слабо продолжил стиль Корреджо, с определенной лихорадочной оригинальностью привнес сентиментальный пиетизм в языческую чувственность этого великого мастера. Смесь неприятна; и когда кто-то вынужден упоминать Бароччо как лучшего в плохой период, это подчеркивает дурность его современников. Однако он имеет историческую ценность с другой точки зрения, поскольку ничто так сильно не характеризует эклектичность Караччи, как их пристрастие к Корреджо.[217] Хотя у меня нет оснований предполагать, что Бароччо, живший в основном в Урбино, напрямую повлиял на их стиль, сходство между его идеалом и их, безусловно, поразительно. Кажется, это указывает на нечто неизбежное в направлении, выбранном эклектиками.

Таково было состояние техники в Италии, когда Лодовико Караччи, сын болонского мясника, задумал заменить ее более надежной системой.[218] Инстинкт привел его в Венецию, где живопись все еще была жива. Ветеран Тинторетто предупредил его, что у него нет призвания. Но Лодовико упрямо решил добиться усердием того, в чем, казалось, ему отказала природа. Он прилежно учился во Флоренции, Парме, Мантуе и Венеции, основывая свой стиль на творчестве Андреа дель Сарто, Корреджо, Тициана, Пармиджано, Джулио Романо и Приматиччо. Когда он снова поселился в Болонье, он убедил двух своих двоюродных братьев, Агостино и Аннибале, сыновей портного, присоединиться к нему в серьезном занятии искусством. Агостино был ювелиром по профессии и уже умел обращаться с резцом, которым впоследствии пользовался чаще, чем кистью.[219] Из трех Караччи он был самым разносторонним и, возможно, самым одаренным. В его работе есть нотка отличия и достижений. Аннибале, самый младший, был грубым, необузданным, поспешным и вспыльчивым парнем, крепкого телосложения и энергичного интеллекта, но с грубыми манерами, любившим низшее общество и сжигаемым завистью. Они называли его *рагаццаччо*, или "неотесанный мальчишка", когда он начал производить впечатление в Болонье. Агостино представлял собой разительную противоположность своему брату, будучи опытным музыкантом, превосходным танцором, прекрасным поэтом, способным общаться с аристократами и обладавшим очень высокой культурой. Лодовико, старший из кузенов, выступал в роли наставника для остальных. Он улаживал их ссоры, когда вспыхивала ревность Аннибале; наставлял их в правильных методах изучения и выносил суждения об их картинах.

Как и Лодовико, братья прошли свое первое обучение искусству в Парме и Венеции. Письма Аннибале с прежнего места показывают, как Корреджо подчинил его себе, а большие копии, которые он там сделал, до сих пор хранят для нас некоторые тени разрушенных временем фресок Корреджо. В Венеции он выполнил копию картины Тициана "Петр мученик". Этой картине, самой драматичной из работ Тициана и наиболее проработанной по пейзажу, было суждено оказать решающее влияние на школу эклектики. От Караччи до Доменикино мы можем проследить доминирующий тон и композицию этого шедевра. Не менее решающим, как я уже отмечал, было влияние своеобразного стиля Корреджо на выбор типа, светотени и ракурсов болонскими художниками. В какой-то степени можно различить и манеру Паоло Веронезе. Караччи избегали Тинторетто, и в начале своей карьеры они мало что почерпнули из Рафаэля или Микеланджело. Поначалу это была в основном венециано-ломбардская эклектика с примесью чего-то заимствованного у Джулио Романо и чего-то от более поздних флорентийцев. Однако не следует предполагать, что они ограничивали свое внимание итальянскими художниками. Им удалось собрать слепки со старинного мрамора, монеты, гравюры лучшей немецкой и итальянской работы, книги по архитектуре и перспективе, оригинальные рисунки и тому подобные учебные пособия. Они также не пренебрегали рисованием обнаженной натуры или

анатомией. Действительно, их дни и ночи были посвящены непрерывному изучению, главной целью которого было сравнение мертвой и живой природы с лучшими образцами искусства всех эпох. Может показаться странным, что такое усердие и тщательность метода не привели к созданию работ более высокого качества. Однако мы должны помнить, что даже восторженная преданность искусству не даст вдохновения, и что самая тщательная наука не может передать очарование. Хотя Карадчи изобрели новые позы и продемонстрировали полное владение человеческим обликом, их типы оставались обычными. Хотя их светотень была точно основана на светотени Корреджо, ей не хватало его воздушной игры полутонов. Хотя за цветом они обратились прямиком к Тициану, они никогда не приближались к венецианской ясности и сиянию. Было что-то вульгарное в их воображении, прозаичное в их чувствах, свинцовое в их холодном прикосновении к легенде. Кто хочет, чтобы эти бесчисленные боги и богини Галереи Фарнезе, эти нарумяненные святые и колоссальные Сивиллы Болонской пинакотеки, эти пухлые херувимы и пышногрудые нимфы, эти сатиры и Сан-Себастьяны спустились со стен и жили с нами? Грация "Галатеи" Рафаэля, вдохновение "Гениев Сикстинской капеллы" Микеланджело, тайна "Фавна" Леонардо - С. Джон, необузданная грация Дианы Корреджо, сладострастное очарование Венеры Тициана, приземленная соблазнительность Европы Веронезе, золотое великолепие Вакха Тинторетто — все исчезло, и на их месте появились жесткие механические фигуры, превосходно нарисованные, в правильной позе, но без налета поэзии. Где, в самом деле, мы найдем "свет, которого никогда не было ни на море, ни на суше" во всей Болонье?[220]

Частично эту неудачу следует отнести к радикально ложному представлению о том, как сочетать изучение природы с изучением искусства. Эклектики в целом исходили из теории, что художник должен формировать ментальные идеалы красоты, силы, достоинства, свирепости и так далее, наблюдая за характерными личностями и работами признанных мастеров. Эти идеальные типы он должен сохранить в своей памяти и использовать живых людей только как внешние средства для воплощения их в жизнь. Таким образом, ему было безразлично, кто был для него моделью. Он верил, что может придать самому уродливому куску живой плоти самую изысканную фантазию. Лодовико снабдил Аннибале Карадчи мясистую спину обнаженной Венеры. Гвидо Рени рисовал головы своих Мадонн с любого безбородого ученика, который попадался под руку, и превратил своего деформированного колориста - человека "с мордой отступника" — в кающуюся Магдалину.[221] Было неизбежно, что формы и лица, возникшие таким образом, должны были нести на себе печать посредственности, монотонности и серости. Немногие, очень немногие художники — возможно, только Микеланджело — смогли придать чисто воображаемым формам ценность и индивидуальность людей; и лучше всего он преуспел в этой опасной попытке, когда создал страстных гениев сикстинских фресок. Такие полеты были далеко за пределами понимания эклектиков. Стремясь к "великому стилю", они впали, как я покажу в продолжении этой главы, в банальную пустоту, которая делает их сейчас безвкусными.[222]

В то время в Антверпене жил уроженец по имени Дионисий Кальварт, грубый парень с жестокими манерами, который держал открытую школу в Болонье. Лучшие ученики Карадчи — Гвидо Рени, Доменикино и Альбани - эмигрировали в их академию из мастерской этого человека. Что-то, как мне кажется, особенное в методе обращения с масляной краской, который объединяет всех троих, возможно, объясняется ранним обучением у их фламандского мастера. Его жестокость выгнала их за дверь; и, обратившись за защитой к Лодовико Карадчи, они последовательно добились такого прогресса в методах живописи, что стали самыми выдающимися представителями болонского возрождения. Все трое были людьми с

безукоризненными манерами. Гвидо Рени, в молодости красивый, как Сивилла, со светлыми волосами, голубыми глазами и светлой кожей, до конца своей блистательной карьеры слыл девственником. Альбани, который тонко изобразил маслом чувственность *Адоны*, изучал формы нимф и Венер у своей очаровательной жены, а конечности Аморины - у детей, которых она регулярно рожала ему каждый год. Доменикино, человек застенчивый, замкнутый, озабоченный психологическими проблемами, которые он стремился воплотить в драматических картинах, души не чаял в одной женщине, на которой женился и которая дожила до того, чтобы оплакивать его смерть (как она считала) от яда. Гвидо отличался особой преданностью Мадонне. Он был необычным ребенком. В каждый сочельник в течение семи лет подряд в дверь его комнаты раздавались призрачные стуки; и каждую ночь, когда он просыпался, темнота над его кроватью озарялась таинственным светящимся шаром яйцевидной формы.^[223] Его эксцентричность в дальнейшей жизни переросла в безумие, и в конце концов он полностью отдался демону игорного стола. Доменикино подчинялся только одной страсти, если не считать его страсти к жене, которую он так нежно любил, и это была музыка. Он проявлял некоторую странность темперамента в болезненной неприязни к шуму и помехам. В остальном ничто не нарушало ровного течения его существования, посвященного решению вопросов искусства. Альбани более свободно вращался в мире, чем Доменикино, наслаждался удовольствиями от застолья и роскошной жизни, но с итальянской сдержанностью, и распространялся в тех областях литературы, которые давали ему мотивы для его холодно-чувственных картин. И все же он пользовался репутацией полностью домашнего, добродушного и энергично развивающегося человека.

Я счел уместным таким образом предварить то, что я должен сказать об этих мастерах, отчасти потому, что современные критики, доверяющие больше своим субъективным впечатлениям, чем авторитетным записям, нарисовали моральные облики Гвидо и Доменикино в зловещих красках, а также потому, что в их творчестве определенно есть что-то такое, что оставляет в душе болезненные воспоминания о нездоровой сентиментальности, бесстрастии к боли и утонченном плотизме. Можно случайно отметить, что Лодовико Караччи, Гвидо Рени и Франческо Альбани - все они, по очень достоверным сведениям, были даже ханжески скромны в использовании женских моделей. Они никогда не позволяли женщине полностью раздеваться, и Гвидо довел свою сдержанность до такой степени, что предпочитал оставлять дверь своей студии открытой, когда рисовал с женщины.^[224] Недоброжелательность могла бы предположить, что это было лишь неотъемлемой частью посттридентийского лицемерия; и, вероятно, в этом предположении есть доля истины. Я, конечно, не считаю такое трепетное отношение к одежде полностью их заслугой. Но это помогает нам понять эксцентричную смесь чувств, чувственности, благочестия и непростой морали, которая отличала ту эпоху и которая постоянно ставит в тупик изучающих ее искусство.

Из этих троих людей Гвидо был наиболее гениально одаренным. Он единственный черпал истинную искру вдохновения из предыдущей эпохи. Он действительно утомляет нас своей изнеженностью и повторением физического типа, сентиментально воплощенного в голове и бюсте Ниобы. Но мысли о подлинной оригинальности и изяществе нередко посещали его размышления; и он единственный заслуживал названия колориста среди художников, которых я пока что причислил к болонской школе.^[225] Гвидо использовал холодную гармонию синего, белого и тусклого золота, которая в лучших картинах его второй манеры — "*Фортуна*", "*Вакх и Ариадна*" Святого Луки в Риме, "*Распятие в Модене*" — обладает очарованием, сродни серебристой лирике Метастазиио. "*Самсон в Болонье*" возвышается над этими работами как по

силе замысла, так и по накалу красок. Аврора казино Rospigliosi использует более широкую гамму оттенков и, безусловно, представляет собой, за исключением некоторого отсутствия изысканности в сопутствующих Часах, очень благородную композицию. Капуччини S. Michael соблазнителен своим богатым бравурным стилем, а большая Пьета в галерее Болоньезе поражает монументальной грустью и трезвостью тона. "Резня невинных", хотя и является одной из самых амбициозных работ Гвидо и демонстрирует гениальную адаптацию "Ниобы" к маньеризму Рафаэля, терпит неудачу, поскольку колеблется между двумя целями — добиться драматического эффекта и гармонично отнестись к ужасному сюжету.

Об Альбани нет необходимости говорить подробно. Большинство людей знали его картины "Четыре стихии", столь аккуратно выполненные в стиле, сочетающем фламандскую гладкость поверхности с итальянской плавностью линий. Этот вид искусства восхищал кардиналов и монсеньоров семнадцатого века. Но ему нечего сказать человеческой душе.

На двух самых известных картинах Доменикино, выставленных в Болонье, мистер Раскин написал одну из своих чрезвычайно ядовитых инвектив.^[226] Об этом стоит рассказать здесь подробнее. Вряд ли можно подобрать более страстные слова, чтобы выразить отвращение, вызванное в умах, настроенных на раннее итальянское искусство, этими некогда почитаемыми картинами. Очевидная несправедливость, невоздержанность и показной акцент мистера Рескина послужат указанием на изменение мнения, которое изменилось в Англии с тех пор, как сэр Джошуа Рейнольдс написал. Его осуждение порочности искусства Доменикино, хотя и выраженное с такой долей преувеличения, вполне отражает чувства современных студентов. "Человек, - говорит он, - написавший "Мадонну дель Росарио" и "Мученичество Святой Агнессы" в галерее Болоньи, явно неспособен сделать что-либо хорошее, великое или праведное в какой бы то ни было области, способом или видом деятельности.... Это не опрометчивый метод суждения, каким бы размашистым и поспешным он ни казался. Исходя из слабостей художника или неудач, какими бы многочисленными они ни были, мы не имеем права предполагать о его полной неспособности; может наступить время, когда он внезапно обретет силу, или наступит случай, когда его усилия увенчаются успехом. Но есть некоторые картины, которые относятся не к категории неудач, а к совершенствам или поручениям; есть вещи, которые человек не может сделать или сказать, не запечатав навсегда свой характер и способности. Ангел, держащий крест, приставив палец к глазу, ревущие дети с красными лицами вокруг тернового венца, богохульная (я говорю намеренно и решительно) голова Христа на носовом платке и манера, в которой изображена мученическая смерть святого (я предпочитаю не использовать выражения, которые одни могли бы охарактеризовать это), являются совершенными, достаточными, неопровержимыми доказательствами того, что все, что кажется хорошим в любом из творений такого художника, должно быть обманчивым, и что мы можем быть уверены, что наш вкус испорчен и что мы можем быть уверены, что у нас испорченный вкус. фальшиво всякий раз, когда мы чувствуем склонность восхищаться им. Я готов поддержать эту позицию, какой бы жестокой она ни казалась; человек может быть соблазнен страстью на тяжкий грех и прощен; и все же есть некоторые виды грехов, в которые могут быть соблазнены только люди определенного типа и которые не могут быть прощены. Следует, однако, добавить, что художественные качества этих картин во всех отношениях соответствуют тем концепциям, которые они реализуют. Я не припомню ни одного случая столь грубого цвета или исполнения".

Достаточно вспомнить "Святую Агнессу" Тинторетто или "Святую Екатерину" Луини, чтобы хорошо понять, насколько Доменикино как художник отклонился от правильного пути искусства.[\[227\]](#)

И все же мы обязаны оправдать его как человека в той моральной порочности, которую, по-видимому, приписывает мистер Раскин. Действительно, мы знаем, что Доменикино был неподдельно хорошим парнем. Его ввели в заблуждение его драматические пристрастия, а также преобладающий религиозный настрой его возраста. Иезуитизм пропитал итальянское сознание; и в предыдущей главе я подробно останавливался на конкретном материализме, который составлял основу иезуитского воображения. Изображая мученичество Святой Агнессы так, как он это сделал, Доменикино всего лишь следовал правилам *Exercitia* Лойолы. Того, что он принадлежал к школе, которая была по сути вульгарной в выборе типа, к городу, никогда не отличавшемуся утонченностью вкуса, и к поколению, которое быстро теряло чувство художественной сдержанности, достаточно, чтобы объяснить грубую жестокость представлений, которые он сформировал о трагических эпизодах.[\[228\]](#) То же самое можно сказать обо всех тех ужасных картинах пыток, мученичества и актов насилия, которые дюжинами создавались в Италии в ту эпоху. Мы отворачиваемся от них с отвращением. Они не внушают ни ужаса, ни жалости, только тошноту от руин. И все же было бы несправедливо приписывать их лишенную воображения отвратительность какой-либо особой любви к жестокости. Этот злой элемент может быть рационально выведен из ложного драматического инстинкта и извращенной привычки чувственно размышлять о Страстях нашего Господа в умах, лишенных правильного чувства художественной красоты.

Вероятно, Доменикино думал, что превосходит "Петра Мученика" Тициана, когда писал свою жесткую и отвратительную пародию на эту великую картину. Однако Тициан уже подошел к крайней грани допустимого воплощения, и его творчество принадлежало к сфере высшего живописного искусства главным образом по праву благородного обращения. Доменикино лишил этого благородного обращения и гармоничного колорита, который придавал болезненной сцене освящающее величие, замысел своего мастера. То, что он добавил, было гримасой, спазмом и выражением унижительного физического ужаса.

О том, что Доменикино мог быть по-своему величественным, свидетельствует "Причастие Святого Иеронима", в котором он переосмыслил прекрасную концепцию Агостино Караччи. Лишенная очарования, эта по праву прославленная картина остается памятником успеха, который может быть достигнут энергичным применением сильных интеллектуальных сил для создания хорошо продуманной и полностью проработанной композиции. Гигантские святые и сивиллы Доменикино с их мясистыми конечностями, красными щеками и закатанными глазами, хотя и были достаточно известны в прошлом веке, сейчас не требуют ни слова комментария.[\[229\]](#) Вкус изменился настолько странным образом, что на наш взгляд они едва ли выглядят декоративными.

В то время как Караччи возрождали искусство в Болонье способом, который я описал, Караваджо в Риме выступал против маньеристов по-своему и совсем по-другому.[\[230\]](#) Безвкусица таких людей, как Чезари, привела его к грубому реализму. Он решил описывать священные и исторические события так, как если бы они происходили в гетто мясниками и торговками рыбой. Эта реакция на непрочную пустоту была полезной; и многие интересные этюды из итальянских таверн, портреты игроков, шулеров, *брави* и тому подобное, сохранились,

чтобы доказать мастерство Караваджо в изображении сцен обычной жизни.^[231] Но когда он применил свои принципы к высшим предметам, их вульгарность стала очевидной. Только в одной картине "Погребение в Ватикане" ему удалось сильно воздействовать на воображение очевидным воплощением трагической сцены. Его мученичество невыразимо отвратительно, не вызывая ни к какому чувству, кроме дикой жажды крови. Кажется, реализму, будь то в литературе или искусстве, трудно не заикливаться на уродстве, пороке, боли и болезнях, как будто эти несовершенства нашей природы более реальны, чем красота, доброта, удовольствие и здоровье. Поэтому Караваджо, лидера школы, которую итальянцы окрестили натуралистами, можно сравнить с Золя.

Испанец, поселившийся в Неаполе, Джузеппе Рибера по прозвищу Ло Спаньолетто, продолжил традицию Караваджо. Спаньолетто превзошел своего мастера в жестоко реалистичном выражении физических страданий. Его Прометей, корчащийся под клювом грифа, его выпотрошенные мученики и С. Бартоломьюс без кожи - одни из самых отвратительных проявлений мужской натуры, наделенной крепким здоровьем. Будь они в бреду или истерике, они были бы менее отвратительны. Но нет; это просто энергичные и достоверные изображения того, чему любой мог быть свидетелем, когда такого предателя, как Равайяк или *непокоренный* ломбардец, предавали мучительной смерти. Его твердая ментальная установка на жестокость и мрачный мрак, с которым он вложил эти ужасные записи из камеры пыток, доказывают верность Риберы своему испанскому происхождению. Караваджо восхищался цветом и действительно был колористом высокого ранга, учитывая времена, в которые он жил. Спаньолетто радовался "мрачным теням", как бы иллюстрируя поразительный сонет, который я процитировал в другом месте из Кампанеллы.^[232]

Это отступление от натуралистов было необходимо отчасти для того, чтобы проиллюстрировать природу попыток возрождения искусства живописи в ту эпоху, а отчасти для того, чтобы познакомить с двумя выдающимися мастерами болонской школы. Лионелло Спада, уличный араб из Болоньи, попал в студию Caracci, где снискал себе славу благодаря плутовству и находчивости. Впоследствии он присоединился к Караваджо, и, когда тот снова появился в Ломбардии, у него сформировалась собственная манера, более яркая по цвету и более натуралистичная, чем у Карааччи, но с меньшим реализмом, чем у его римского учителя. Если бы я мог позволить себе место для анекдотических подробностей, романтика из жизни Спады дала бы много занимательного материала. Но я должен перейти к Гверчино, который представляет в лице более известной личности это смешение болонского и натуралистического стилей. Джованни Франческо Барбьери получил свое прозвище Il Guercino, или "Косоглазый", из-за несчастного случая, в результате которого его правый глаз был искривлен в младенчестве. Рожденный в бедной семье, он в раннем возрасте был отдан в ученики к небезразличным художникам в Болонье, и его отец согласился оплачивать образование мальчика грузом зерна и бочонком винограда, доставляемыми ежегодно. Таким образом, Гверчино был обязан гораздо меньше академическим занятиям, чем своему собственному гению. Будучи младше Лодовико Карааччи на тридцать пять лет, а Аннибале на тридцать, он имел широкие возможности для изучения продукции их школы в Болонье, не поступая в Академию. Целое поколение отделяло его от первых эклектиков. Почти такой же промежуток времени отделял Гверчино от основателя натуралистов, и при его жизни было общепризнано, что он обязан Караваджо в колорите не меньше, чем Карааччи в трезвости и достоинстве замысла. Эти качества различных школ Гверчино объединил в манере, отмеченной ярко выраженной индивидуальностью. Как колорист, он обратился к Тенебрози — любителям насыщенных теней и затемненных оттенков,

чья мрачность достигла кульминации в Рибере. Но мы отмечаем у Гверчино жирное и маслянистое *бесстрастие*, которое отличает его работы от более сухой и скудной манеры римско-неаполитанских художников. В нем есть что-то характерное для Болоньи, сочность, которую мы могли бы легкомысленно сравнить с колбасой, или фламандская мягкость, указывающая на влияние Кальварта. Более того, Гверчино обладал присущей только ему гармонией тонов и сильно контрастировал с серебристо-серыми оттенками Гвидо. Окраска Guido в лучшем случае часто напоминает оливковые ветви на фоне синего моря и бледного горизонта в слабом янтарном утреннем свете. Пурпурный оттенок индиго, смягченный тлеющим венецианским красным, который любил Гверчино, наводит на мысль о грозowych тучах, рассеявшихся, уходящих прочь в тусклом отблеске заката, отражающегося с запада. И эта цветовая гамма, яркая, но тяжелая, светящаяся, но угрюмая, соответствовала тому, что современники называли *Terribilita* концепции Гверчино. Ужасность - это слово вошло в моду для описания величественной манеры Микеланджело. Это предполагало смелость воображения, лихое рисование, колоссальный масштаб, что-то демоническое и решительное в исполнении.^[233] "Ужасный" занимает в творчестве Гверчино гораздо более низкие ступени, чем в Сикстинской капелле. У Микеланджело он парил, как орел; у Гверчино он порхал, как летучая мышь. Его мускулистые святые тяжеловесны, не внушают благоговейный трепет.

И все же мы чувствуем, что этот человек любил простор, массивность и объемность; что он был озабочен интеллектуальными проблемами; глубоко планировал и решительно строил в условиях, неблагоприятных для духовной свободы.

Гверчино жил жизнью отшельника, поглощенного учебой, непривычного, трезвого, набожного, правдивого, искреннего в общении с миром, непритворно добродетельного, преданного своему искусству и Богу. Некоторые из его картин убедительно демонстрируют нам религиозную *среду*, созданную католическим Возрождением. Я возьму единственный экземпляр большой картины маслом в галерее Болоньезе. На ней изображен прием герцога Аквитанского в монашеский орден кисти Святого Бернара. Рыцарские качества героя переданы адекватно; его благочестие мужественное. Но аксессуар к основному предмету композиции привлекает внимание. Монах, искренне умоляющий, выразительно жестикулирующий, берется за обращение молодого оруженосца. Перуджино или даже Рафаэль представили бы перед нами сцену совершенно иначе. Посвящение герцога, конечно, заняло бы главенствующее место в картине. Но эпизоды были бы составлены из миловидных групп или оживленных портретов. Гверчино, послушный религиозному духу контрреформации, внушает сочувствие церковной пропаганде.

Гвидо оказывал мощное влияние на своих ближайших преемников. Гверчино почувствовал это, когда написал ту бездушную картину Авраама и Агари в "Брере" — картину, которая вызвала восхищение Байрона, которую хвалили за точное изображение слезинки и в которой, если учесть все обстоятельства, нет ничего эмоционального, кроме холодной бесчеловечности. Он соревновался с Гвидо во фреске "Аврора Лодовизи", безусловно, существенной работе, но которой не хватает спасительных качеств потолка Роспильози — изящества и гениальности фантазии.

В истории критики мало что вызывает большее недоумение, чем превратности вкуса и известности, когда кумиры прошлых поколений внезапно рассыпаются в прах, в то время как презируемые и отверженные возносятся на вершины славы. Последовательные волны эстетических предпочтений, следующие одна за другой с удивительной быстротой, сметают

древние крепости славы с их почтенных подвалов и поднимают на гребни многословной пены какую-нибудь изящную морскую раковину, которая прежде лежала, погруженная в забытый песок. За последние полвека вкус был более капризным, революционным и явно анархичным, чем в любую предыдущую эпоху. Единство ортодоксальных взглядов распалось. Критики стремились проявить оригинальность, принижая имена, известные в прежние эпохи, и возводя второстепенных звезд в ранг светил первой величины. Человек, еще не достигший зрелого возраста, может вспомнить, с каким почтением относились к гравюрам Рафаэля, Караччи и Пуссена в его детстве; как фра Анджелико и Перуджино правили в несколько более поздний период; как одна группа красноречивых писателей открыла Блейка, другая Боттичелли, а третья Карпаччо; как Синьорелли, Беллини и Мантенья получили запоздалое признание; и теперь, в последние годы, как Тьеполо честно предложил приобрести европейское *гридо*. Он также будет иметь в виду, что условия его собственного развития — занятия в Elgin marbles, применение фотографии к произведениям искусства, публикации Общества Арундела и тот витающий в воздухе гений новой культуры, который могущественнее любого учения, — сделали для него каждое изречение пророка интересным, но сравнительно неважным - так сказать, всего лишь разговором об истинах, очевидных для зрения.

Между тем, среди этой болтовни о "сектах и расколах", этого спора, который заставляет простой ум искать убежища в приписываемой Свифту эпиграмме на Генделя и Бонончини,^[234] критика и общественное мнение единодушны по двум пунктам: во-первых, в проявлении общей неприязни к итальянскому искусству после появления третьей манеры Рафаэля, и в особая неприязнь к болонским художникам; во-вторых, в серьезном стремлении различать и демонстрировать то, что искренне и красиво в работах, к которым наши предки относились необъяснимо безответственно. Одним словом, произошла благотворная реакция против академического догматизма, и изучение искусства было основано на значительно лучших исторических и эстетических принципах.

Кажущаяся неразбериха последних полувека не должна, следовательно, поколебать нашу уверенность в возможности выработки устойчивых законов вкуса. Радикальные революции, какими бы благотворными они ни были, не могут быть осуществлены без некоторой несправедливости по отношению к идеалам прошлого и без некоторого необоснованного энтузиазма по отношению к идеалам текущего момента. Столь обширную область, как область современного европейского искусства, могут исследовать только первопроходцы-дайверы, каждый из которых руководствуется личными пристрастиями и особой чувствительностью, каждый склонен менять мнение под впечатлением от открытия, за каждым следует группа, поклявшаяся поддерживать *ipse dixit*.

Главное - получить четкое представление об ментальной атмосфере, в которой должна жить, двигаться и существовать здравая критика. "Форма этого мира преходяща, и я хотел бы заняться только тем, что составляет постоянные отношения". Так сказал Гете; и эти слова производят почти такой же эффект, как его наставление "жить с твердой целью в Целом, в Добре, в Красоте". Истинный критик должен отвлечь свой ум от преходящего и эфемерного, должен сосредоточиться на постоянных отношениях, *bleibende Verhältnisse*. Он отмечает, что одна эпоха классическая, другая романтическая; что *эма* клянется Джотто, *та* - Караччи. Между тем он решает утверждать, что классики и романтики, Караччи и Джотто, похожи друг на друга лишь постольку, поскольку они являются примером качеств, которые переводят искусство в сферу постоянных отношений. Один писатель красноречиво отзывается о фра Анджелико, другой - о

Рубенсе; один испытывает личную симпатию к монаху Фьезолану, другой - к фламандскому придворному. Наш истинный критик отказывается от своеобразных причуд и пристрастий, стремясь с твердой целью проникнуть в понимание вселенского добра и красоты. В той мере, в какой он находит истину в Анджелико и Рубенсе, он будет ценить обоих.

Аристотель провозгласил аксиомой, что окончательный вердикт в вопросах вкуса - это "то, что решил бы человек просвещенного разума". Критик становится человеком просвещенного разума, френимосом, следуя заветам Гете. В развитии самокультуры он, кстати, получит помощь от ведущей философской концепции нашего века. Все, с чем мы знакомы, находится в процессе эволюции. Все, что принадлежит человеческой природе, находится в состоянии органического перехода — прохождения необходимых фаз рождения, роста, упадка и смерти. Искусство в любом из его специфических проявлений — например, итальянская живопись — избегает этого закона органической эволюции, останавливает развитие в самый благоприятный период роста, предотвращает упадок, который заканчивается смертью, не больше, чем дуб. Дуб, начинающийся с желудя, питаемый землей, воздухом, светом и водой, действительно представляет собой более простую задачу, чем такой сложный организм, как итальянская живопись, развитый в условиях многообразия. Однако господствующий закон контролирует и то, и другое в равной степени.

Однако не в эволюции мы должны искать неизменные отношения, о которых говорил Гете. Эволюционная концепция не дает их изучающим искусство, хотя она раскрывает закон, который постоянен и имеет универсальное применение во всем мире. Она заставляет нас заикаться на необходимых условиях изменчивости и трансформации. Это подводит критика к пониманию целого и развивает привычку к научной терпимости. Это спасает нас от бесполезного беспокойства из-за безбожного и неизбежного; от скорби по поводу упадка готической архитектуры в перпендикулярную сухость и кричащую немощь, по поводу перехода скипетра от Софокла к Еврипиду или от Тассо к Марино, по поводу хаоса маньеризма, эклектики и натурализма, в который погрузилась итальянская живопись с высоты своей зрелости. Такая терпимость и принятие неизбежных изменений не обязательно подразумевает отсутствие разборчивого восприятия. Мы можем применять эволюционный канон со всей строгостью, не игнорируя того, что взрослая мужественность предпочтительнее старческой дряхлости, что Фидий превосходит скульпторов Антиноя, что одна Мадонна Джана Беллини стоит всех картин младшего Пальмы и что портрет феррарезского шута Доси стоит больше, чем вся галерея Фарнезина Аннибале Караччи.^[235] Это даже приведет нас к выбору в качестве образцов тех работ, которые несут на себе отпечаток юности или решительной зрелости, как более плодотворных источников для нашего собственного художественного образования.

Тем не менее, не в эволюции, а в душе человека, в его интеллектуальной и нравственной природе следует искать те устойчивые отношения, которые составляют звуковое искусство и являются критерием правильного эстетического суждения. Это такие качества, как истина, простота, трезвость, любовь, изящество, терпение, скромность, вдумчивость, покой, здоровье, энергичность, сообразительность, достоинство воображения, ясность видения, чистота и глубина чувств. Где бы критик ни находил их — будь то в "Джотто на заре" или в "Гвидо на закате итальянской живописи", у Гомера или Феокрита в двух крайностях греческой поэзии, — он признает, что произведение стоит в одном ряду с теми вещами, из которых душа черпает пищу. В то же время он не может пренебрегать требованиями мастерства. Каждое искусство имеет свой собственный инструмент выражения и требует от художника некоторой врожденной

способности использовать этот инструмент. Следовательно, критик также должен быть достаточно сведущ в технических деталях, чтобы оценить их должным образом. Однако можно констатировать, как общую истину, что, хотя незрелая или неуклюжая работа совместима с эстетическим совершенством, техническая ловкость, какой бы искусной она ни была, никогда ничего не делала для бездушного художника.

Критика, кроме того, подразумевает суждение; и это суждение должно быть приспособлено к особой природе критикуемого объекта. Искусство отличается от этики, от физического мира, от чувственности, какой бы утонченной она ни была. Следовательно, в долгосрочной перспективе критику искусства не следует применять те же правила, что моралисту, натуралисту или гедонисту. Ему не годится довольствоваться назиданием, или дифференциацией видов, или демонстративной восхитительностью в качестве пробного камня художественного совершенства. Любое искусство - это представление внутреннего мира человека, его мыслей и чувств с помощью прекрасных символов в форме, цвете и звуке. Следовательно, наш вердикт должен определяться количеством мыслей, количеством чувств, присущих благородному человечеству, которые, как мы находим, адекватно выражены в прекрасных эстетических символах. И человек, который вынесет этот вердикт, сейчас, как и во времена Аристотеля, является человеком просвещенного ума, здравомыслящим по своей природе и открытым для идей. Даже его вердикт не будет окончательным, ибо никто полностью не свободен от пристрастий, обусловленных возрастом, в котором он живет, и его особым темпераментом. Тем не менее, консенсус таких вердиктов в конечном итоге формирует тот голос народа, который, согласно старой поговорке, является голосом Бога. Медленно, и после многих последовательных просеиваний, совокупные голоса *фронимоев* принимают решение. Бунтари против их суждения, в случае с признанными мастерами, такими как Фидий, Микеланджело, Шекспир, обречены на окончательное поражение, потому что это суждение действительно основано на прочных отношениях между искусством и человеческой природой.

Наша надежда в отношении единства вкуса в будущем, таким образом, состоит в том, что все сентиментальные или академические поиски идеала будут отброшены, сиюминутные теории, основанные на идиосинкразических или временных пристрастиях, потерпят крах, и не будет приниматься ничего, кроме твердого и позитивного, научный дух сделает людей постепенно все более и более осознающими это *bleibende Verhältnisse*, все более и более способными жить в целом; также, по мере того, как мы укрепимся в своем собственном месте в мире, мы придем к пониманию с большей ясностью. более инстинктивная уверенность в том, что все просто, естественно и честно, с радостью приветствующая все художественные произведения, демонстрирующие эти качества. Восприятие просветленного человека тогда будет вкусом здорового человека, который познакомился с законами эволюции в искусстве и обществе и способен проверить совершенство работы на любой стадии, от незрелости до упадка, различая, что в ней есть от истины, искренности и естественной энергии.

Это отступление было вынуждено сделать из-за того, что сейчас мне трудно должным образом оценить болонскую эклектику. Каково было бы веселое изумление сэра Джошуа Рейнольдса, если бы он вернулся в Лондон в настоящий момент и увидел, что Дагон его уважаемого Караччи разбит вдребезги ковчегом Боттичелли—Карпаччо на троне — Рафаэлло, заклеянного как камень преткновения и источник зла? И все же Рейнольдс имел такое же право на свое мнение, как и любой ныне живущий мастер кисти или любой ныне живущий мастер языка. Нет сомнений, что болонских художников было достаточно для восемнадцатого века, вкус которого

они действительно создали.[236] Столь же несомненно, что для девятнадцатого века их недостаточно.[237] Главное дело критика — попытаться ответить на два вопроса: во-первых, почему эпоха создала такое искусство и почему она радовалась ему? -во-вторых, имеет ли это искусство какую-либо реальную ценность помимо документальной для изучающих определенный исторический период; обладает ли оно непреходящими качествами оригинальности, силы, красоты и вдохновения? На первый из этих вопросов я уже дал некоторый ответ, показав, при каких условиях Караッチи выступал против маньеризма. При должном рассмотрении второго нам мешает культура нашего периода, которая сильно предубеждает все умы против результатов этой реакции.

Живопись эклектиков не была спонтанным искусством. Это было искусство, механически возрожденное в период критических колебаний и спада энтузиазма. Его производили в Болонье, "ла дотта" или "ла грасса", болонскими мастерами. Это стоит помнить, ибо, за исключением Гвидо Гуиничелли и Франческо Райболини, никто из уроженцев Болоньи не был в высшей степени одарен в искусстве. А Болонья была городом, известным своей тяжелой ученостью, известным также хорошим настроением за своим столом, поскольку ни эрудиция, ни вкусное мясо не были необходимы для темперамента художницы. Картина, появившаяся там в конце шестнадцатого века, олицетворяла религию и культуру, состоящие из простого сплава. Христианство того времени не было наивным, простым, искренним и популярным, как христианство XIII века; оно было истеричным, догматичным, лицемерным и жреческим. На самом деле это было не христианство, а католицизм, побужденный террором к реакционному движению. Культура того времени была на исходе. Люди давно утратили свое первое чистое восприятие классической литературы, и мотивы средневекового прошлого были исчерпаны. Поэтому, хотя эклектики продолжали рисовать старые сюжеты, они рисовали все одинаково, с холодной поверхностностью. Если мы изучим списки картин, составленные Караッチи и Гверчино, мы найдем примерно равное количество святых и Сюзанн, Юдифей и Клеопатр, Давидов и Вакхов, Иегов и Юпитеров, отшельников и Бассаридов, Вер и Фортун, херувимов и Амуров. В художественном плане все находятся на одном и том же мертвом уровне вдохновения. В античную мифологию не было вдохнуто ничего нового или жизненно важного, причудливого или образцового. То, что было добавлено к религиозному самовыражению, отталкивает. Экстравагантно идеальный в экстатических Магдалинах и Мариях, экстравагантно реалистичный в мученичестве и муках, экстравагантно суровый в догматических мистериях и церковном параде власти, экстравагантно мягкий в сентиментальной нежности и слезливом благочестии, этот новый религиозный элемент, элемент инквизиции, Тридентского собора и иезуитов, противоречит истинному Евангелию Христа. Картина, которая воплощает это, принадлежит духу, борющемуся с тем, что было жизненно важным и прогрессивным в современном мире. Поэтому, естественно, сейчас это вызывает у нас отвращение; и оценить это могут только те, кто жаждет торжества ультрамонтанских принципов.

Если мы обратимся от интеллектуального содержания этого искусства к его внешнему проявлению, мы обнаружим аналогичные причины, по которым оно не вызывает восторга или удовлетворения. Честолюбивой целью Караッチи было объединить в одном лице выдающиеся качества более ранних мастеров. Это честолюбие обрекло их стиль на стерильность гибридов. Более того, при выборе они опустили только те черты, которые придавали изящество и характер их моделям. Замена портретной живописи общими типами, избегание индивидуальности, презрение к тому, что просто и естественно в деталях, лишили их работы привлекательности и внушительности. Заметно, что они никогда не рисовали цветы. Изучая пейзажи Тициана, они

опустили ирис, цветок каперса и водосбор, украшающий траву под ногами Ариадны. Уроки, преподанные скалами и каштанами в его Уединении Святого Джерома, остались для них незамеченными. Они положили начало ложной системе изображения идеальной листвы и идеальных пропастей, то есть деревьев, которые на самом деле деревьями не являются, и утесов, которые невозможно отличить от пробки или штукатурки. Точно так же одежды, в которые они облачали своих персонажей, были не из парчи, атласа или сукна, а из той пустой лжи, которая называется драпировкой. Пурпурные шелка "Сиреновой дамы" Тициана в "Питти", вышитые подолы "Боккаччини да Кремона", малиновый бархат "Джоанны Арагонской" Рафаэля, серебряная ткань Веронезе с тафтяной крошкой заменяются одной монотонной невзрачной тканью, по-разному окрашенной в тусклые или яркие цвета, но всегда некачественной. Исчезли характерные костюмы. Ни в одном из массовых убийств невинных мы не найдем солдата, подобного Далл'Арми Бонифацио. Вместо драгоценных камней со сверкающими гранями или причудливых драгоценностей из Орефицирии они украшают своих королей и принцесс не чем иным, как полированным золотом и нитками жемчуга. Точно так же идеализируются мебель, утварь, дома, животные, птицы, оружие, то есть лишается того, что в этих вещах является специфическим и жизненно важным.

Было бы неверно говорить, что в эклектической живописи нет исключений из этой порочной системы. И все же неоспоримая правда остается в том, что Караччи вернулись не к тому, что было лучшим в их предшественниках, а к тому, что было опасным и вводящим в заблуждение.

"Великий стиль" в понимании сэра Джошуа этой фразы, обозначающий стиль, который устраняет специфические и характерные качества объектов, заменяя их так называемыми "идеальными" обобщениями, уже проявился у Рафаэля, Корреджо и Буонарроти, мы даже находим его в "Тайной вечере" Да Винчи. И все же у Рафаэля это сопровождается божественной грацией; у Корреджо - сиянием радости, подобным блеску фавна; у Буонарроти - синайским величием; у Да Винчи - проникающей силой психологической характеристики. Караччи и их последователи, за несколькими исключениями — Гвидо в свои лучшие годы был самым известным — не привнесли ничего из этих спасительных достоинств в псевдогромный стиль.

Именно это заблуждение относительно благородства и возвышенности стиля заставило такого гениального художника, как Рейнольдс, по достоинству оценить болонских мастеров. Он восхищался ими; но еще больше он восхищался Тицианом, Рафаэлем, Корреджо и Буонарроти. И он восхищался эклектикой, потому что она развивала опасную часть великой итальянской традиции. Точно так же, как Кольридж рекомендовал молодым изучающим драматический стих сначала основывать свой стиль на Мэссинджере, а не на Шекспире, так и Рейнольдс считал, что Караччи были надежными образцами для начинающих в науке идеализации. Шекспир и Микеланджело неподражаемы; Массинджер и Караччи демонстрируют единственное, чему необходимо научиться, в масштабах, не совсем недостижимых для трудолюбия и таланта. Такова была линия аргументации; и, учитывая, что псевдомагистральный стиль является *непрерывным* условием живописи, позиция Рейнольдса была логичной.^[238]

Критика и художественная практика этого столетия объединились, чтобы поколебать нашу веру в великий стиль. Дух романтического движения, сначала проникший в поэзию, затем проявившийся в рефлексивных произведениях Рио и лорда Линдси, Раскина и Готье, создавший английских пейзажистов и прерафаэлитов, французских реалистов и импрессионистов, сместил центр тяжести во вкусе. Наука тоже вносит свой вклад. Истории

живописи, подобные Куглеру, Кроу и Кавалькасселле, написанные в духе беспристрастного и вдумчивого исследования, ставят студентов на точку зрения, свободную от предрассудков и академических канонов совершенства. Лишь кое-где, под особым реакционным влиянием, как, например, в дюссельдорфской и мюнхенской школах религиозных пуристов, вновь появилось что-то, напоминающее манию "большого стиля" XVIII века.

Поэтому теперь достаточно очевидно, почему эклектики в настоящее время чахнут в тени забвения. Нам не нравятся их религиозные чувства. Мы отвергаем их ложную и лишенную воображения идеальность. Мы признаем их прикосновение к античной мифологии холодным и безжизненным. Поверхностные имитации Ниобы и бельведерского Аполлона не привлекают поколение, воспитанное на мраморе Парфенона. Скучное воспроизведение манер Рафаэля в его худшем проявлении не может радовать людей, пресыщенных манерами Рафаэля в его лучшем проявлении. Приведет ли водоворот времени к реваншу эклектиков, еще предстоит выяснить. Вкус настолько капризен, или, скорее, условия, создающие вкус, настолько сложны и непостижимы, что даже то, что сейчас кажется невозможным, может произойти в будущем. Но можно рискнуть сделать скромный прогноз, что ничто иное, как замена науки католицизмом, а истины - иезуитизмом в европейском сознании, не произведет общей революции в их пользу.

ГЛАВА XIV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные события европейской истории—Италия в эпоху Возрождения—Германия и реформация—Католическая реакция—Ее антагонизм Ренессансу и Реформации—Глубокая идентичность Ренессанса и Реформации—Место Италии в европейской цивилизации—Отсутствие симпатии между латинской и тевтонской расами—Отношение Рима к Италии—Маколей о Римской церкви—О протестантизме—Ранний упадок энтузиазма эпохи Возрождения—Настоящее и будущее Италии.

Я.

Четыре главных события европейской истории после смерти Христа - это закат греко-римской цивилизации, триумф христианства как нового гуманизирующего средства, вторжение тевтонских и славянских племен в сообщество наций и построение современного мира мысли Ренессансом и Реформацией.

Как кажется неизбежным в прогрессе нашего вида, каждое из этих изменений влекло за собой потери, компенсируемые конечными приобретениями; ибо человечество движется подобно леднику, пластично, но с чередующимися фазами наступления и отступления, подчиняясь законам разрушения и регуляции.

Таким образом, было бы легко выразить сожаление по поводу крушения того могущественного и благодетельного организма, который мы называем Римской империей. И все же, не будь этого краха, как могла бы католическая церковь вдохновлять людей, одаренных свежими

способностями, наделенных проницательностью, отличной от проницательности греков и римлян?

Возникает соблазн посетовать на исчезновение художественной литературы и выработанных привычек вежливости, которые последовали за вторжениями варваров. Однако без такого исчезновения как мы можем представить себе рост тех новых видов искусства, оригинальной литературы и разнообразных форм социальной культуры, которым мы даем названия средневековых, рыцарских или феодальных?

Очевидно, что мы можем поссориться с эпохой Возрождения за то, что она положила конец чисто христианскому искусству и литературе, навязав своего рода языческий маньеризм спонтанным произведениям позднесредневекового гения. Но без этого возврата к оставшимся образцам античной культуры, как могли европейские расы осознать историческую преемственность; как могла порочная система папского господства быть разрушена Реформой; как, наконец, могла развиваться наука, жизненно важный принцип нашей нынешней цивилизации?

Во всех этих примерах кажется, что старый порядок должен уступить место новому не только потому, что новому суждено инкорпорировать и вытеснить его, но и потому, что старый стал бесплодным. Таким образом, Римская империя, выполнив свою организующую функцию, пришла в упадок, а классическая цивилизация, продемонстрировав свою силу в свое время, находилась в упадке, когда латинское духовенство и бар барианцы вторглись в этот закрытый сад древности и растоптали его своими ногами. Средневековая религия и способы мышления аналогичным образом находились на грани закатности, когда вмешался гуманизм, чтобы сплести нити прошлого и настоящего в нити, которые должны быть прочными, как тросы, для продвижения энергии будущего.

Неоспоримо, что Реформация и Контрреформация, каждая из которых по разным причинам была враждебна Ренессансу, по-видимому, затормозили ту эмансипацию разума, начатую гуманизмом, которая продолжается до сих пор. Тем не менее, борьба протестантизма и католицизма была необходима для сохранения моральных и религиозных элементов, которые, возможно, были слишком легко отброшены, и для превращения их в основу современного сознания. Процесс последних трех столетий, сопровождавшийся серьезными недостатками для испанского и итальянского народов и прискорбной тратой сил для тевтонских народов, все же привел к тому, что современный компост пропитался закваской христианства. Если бы это не было остановлено, вполне вероятно, что эпоха Возрождения смела бы многое из того, что было ценным и заслуживало того, чтобы оставаться постоянным. Также, без притока и опровержения конкурирующих принципов, которыми была взбудоражена Европа в период Контрреформации, не могло бы быть столь эффективно установлено равновесие взаимно притягивающих и отталкивающих государств, которое составляет современную основу политического существования в отличие от античной или средневековой.

II.

Постоянство и однородность не должны быть присущи "всему, что принадлежит только нам и смертным". Мы упустили все учение истории, если будем громко стенать из-за того, что греческая и римская культура уступила варварству, из которого вышло средневековое христианство; потому что возрождение образования отвлекло искусство и литературу в каждой

западной нации от их привычных русленей; потому что протестантские теологи и испанские иезуиты препятствовали той самоэволюции разума, которую заложили итальянские гуманисты. Не менее бесполезно было бы расточать декламационные слезы по поводу борьбы абсолютизма с новоиспеченной демократией или предвещать царство социалистического террора в ближайшем будущем. Мы должны признать, что человек не может быть иным, чем то, чем он делает себя сам; и он делает себя, повинаясь неизменным, хотя и неписаным законам, о которых он смутно осознал лишь в последние годы. Поэтому, размышляя над уроками какой-нибудь глубоко изученной эпохи во всемирной истории, хорошо бы рассматривать события, которыми мы были особенно заняты, не в меньшей степени, чем эфемерную деятельность каждого конкретного индивидуума, как факторы универсального процесса, исхода которого никто не видит, но которому, вольно или невольно, каждый человек способствует в дальнейшем. Тогда мы признаем, что борьба между консерватизмом и либерализмом, между установленным порядком и порядком, которому суждено прийти ему на смену, между обычаями и инновациями составляет сущность жизнеспособности в человеческих делах. Нации по очереди являются главными действующими лицами в драме прогресса; по очереди они обречены играть роль препятствующих агентов. Вовлеченные в конфликт, который является активной жизнью, они своими фазами упадка и сопротивления способствуют росту организма, который, вероятно, в далеком будущем будет сосуществовать со всей человеческой расой, не меньше, чем своими движениями вперед.

III.

Эти соображения подсказаны нам темой, которую я затронул в этой работе. Первые пять томов были посвящены тому, чтобы показать, как Италия в эпоху Возрождения выработала новый взгляд на человека и мир, новую систему образования, новые социальные манеры и новый тип культуры для себя и Европы. Это была ее новаторская работа в переходный период от средневековья; и пока она занималась ею, все классы, от пап и принцев до поэтов и педантов, казалось, на какое-то время потеряли из виду католическое христианство. Они были одинаково равнодушны к тому соответствующему современному движению через Альпы, которое известно как Реформация. Они не могли разглядеть тесную связь, которая связывает Ренессанс с Реформацией. Хотя в основе своей эти порывы современного духа были идентичны по стремлению к свободе, внешне они принимали такие разнообразные формы, что делали их взаимно отталкивающими. Только одна европейская нация восприняла оба импульса одновременно. Это была Англия, которая приняла протестантизм и в ту же эпоху создала литературу Спенсера, Бэкона и Шекспира. Франция раньше, чем Англия, ощутила влияние эпохи Возрождения и некоторое время, казалось, была близка к тому, чтобы присоединиться к Реформации. Но пока французы колебались, Испания провозгласила себя непримиримым врагом протестантизма, и Рим, поддержанный этим могущественным союзником, втянул Италию в католическую реакцию. Эти усилия были направлены на то, чтобы придать ветхой Церкви подобие жизненной энергии, и, провозглашая реформирование ее коррумпированной системы, стереотипизировали все, что было антагонистичным в ее вероучении и обычаях духу современного мира. Католическое возрождение потребовало энергичной реакции не только против протестантизма, но и против либерализма эпохи Возрождения и политических свобод народов. Она восторжествовала по всей Южной Европе главным образом потому, что Франция в конце концов встала на сторону католиков. Но триумф был лишь частичным, на какое-то время обрекая Испанию и Италию на интеллектуальное бесплодие, но недостаточным для доминирования и подавления развития рационализма. Работа первопроходца в Италии была

закончена. Она пополнила ряды мракобесов и обструктивистов. Германия, не сумев вовремя осуществить Реформацию, была отвлечена католической реакцией, которая ввергла ее в серию катастрофических войн. Англии и Голландии, не обошедшимся, однако, без аналогичных потрясений в обеих странах, оставалось возглавлять авангард прогресса на протяжении двух столетий; после чего этот передовой пост был отведен Франции и Соединенным Штатам.

IV.

Я думаю, что взгляды, которых я придерживался на протяжении всей своей работы о Ренессансе, будут признаны последовательными. Они получили столь разнообразные иллюстрации, что трудно резюмировать принципы, на которых они основаны, без повторений. Однако основная схема аргументации заключается в следующем. В средние века Западный христианский мир признавал, по крайней мере теоретически, идеал европейского единства под двойным главенством папства и Империи. Существовали единый гражданский порядок и одна Церковь. Предполагалось, что император и папа, хотя и часто враждовали, поддерживали друг друга ради общего блага христианского мира. Эта средневековая концепция теперь, в столетия, которые мы называем современными, канула в лету; и период, в который она утратила реальную ценность, мы обозначаем как период Возрождения и Реформации. До тех пор, пока сохранялся идеал, папство могло искоренять ереси и подавлять прежние проявления антагонистической культуры. Таким образом, предшествующие движения, на которые я ссылался в первой главе моей "Эпохи деспотов", казались безуспешными; и не менее очевидно безуспешными были реформаторские усилия Виклифа и Гуса. Тем не менее, Европа медленно претерпевала ментальные и моральные изменения, которые возвестили о наступлении новой эры. Эти изменения были более очевидны в Италии, чем где-либо еще, благодаря возрождению искусства и литературы в начале четырнадцатого века. Чимабуэ, Джотто и Пизани, Данте, Петрарка и Боккаччо направили культуру вперед новыми путями, расходящимися с предыдущими средневековыми традициями. Постепенное ослабление Империи и рассеяние Церкви во время Великого Раскола подготовили средства, с помощью которых в конечном итоге были реализованы как Возрождение, так и Реформация. Констанцкий собор установил с западными нациями активные дипломатические отношения и посеял семена мысли, которые впоследствии дали всходы у Лютера.

Тем временем на Юге был создан специальный центр. Итальянские коммуны освободились от всего, кроме номинального подчинения империи, и были практически независимы от папства во время его ссылки в Авиньон. Они пали жертвой деспотов, и из итальянского деспотизма возникла макиавеллистская концепция государства. Эта концепция, модифицированная различными способами теорией Церкви и государства Сарпи, иезуитской теорией папского превосходства, контр-теорией Божественного права королей, теориями Общественного договора и Божественного права наций, вытеснила древний идеал Универсальной монархии. Первоначально она выросла в специфических условиях Италии XV века и приобрела силу благодаря тому складу ума, который был воспитан классическим Возрождением, которое мы называем гуманизмом. Гуманизм процветал в Италии со времен Петрарки, и итальянские учителя распространили его по всей Европе. Как на Юге это породило новое образование и новую культуру, которые я описал в первых пяти томах своего труда, и подействовало как растворитель на средневековую идею Империи, так и на Севере это породило новый религиозный энтузиазм и подействовало как растворитель на средневековую идею Церкви. На протяжении всего средневековья европейскому сознанию ничто не казалось более грозным,

чем ересь. Добровольно приносились любые жертвы, чтобы обеспечить единство католической общины. Но теперь, благодаря протестантскому восстанию, эти чары были разрушены, и право народов выбирать свою веру в отличие от Церкви, объявленной коррумпированной, было громко провозглашено.

Пока мы придерживаемся этой линии рассуждений, мы поймем, почему не только некритично, но и невозможно разделять два движения, по отдельности называемые Ренессансом и Реформацией. Оба имели общие корни в гуманизме, и гуманизм был обязан своим существованием, с одной стороны, возрождению античной литературы, с другой - тому факту, что папство, вместо того чтобы стремиться искоренить ее, как оно искореняло провансальскую цивилизацию, поначалу относилось к ней с одобрением. Новое учение, как его привыкли называть наши предшественники, включало, по многозначительной формуле Мишле, открытие мира и человека и развивало дух восстания против средневековья во всех его проявлениях. Его плоды быстро проявились в смелых исследовательских исследованиях, здоровых методах критики, дерзких спекуляциях и свободной игре интеллекта во всех областях знания. У этого нового учения было время и возможность для полного развития в Италии и для адекватного распространения среди северных народов, прежде чем были заподозрены его реальные тенденции. Когда это произошло, переход от средневековья к современности был обеспечен. Империя устарела. Церковь была вынуждена отреагировать. Европа стала полем битвы прогрессивных и регрессивных сил, ареной борьбы между двумя партиями, которые лучше всего можно назвать либерализмом и консерватизмом.

Отбрасывая те художественные и литературные ассоциации, которые мы привыкли связывать со словом "Ренессанс", вот, на мой взгляд, наиболее важные моменты, которые следует иметь ввиду относительно этого движения. Затем, когда мы изучим различные предшествующие обстоятельства немецкой и итальянской рас, когда мы примем во внимание их национальные качества и оценим различные цели и расходящийся энтузиазм, вызванный в каждой из них гуманистическим пылом, мы поймем, как случилось, что Ренессанс и Реформация столкнулись друг с другом в противоречивом противостоянии католическому Возрождению.

V.

Италия через Римскую республику, Римскую империю и Римскую церковь дала западному миру дисциплину, культуру и религию. Но в ходе этого цивилизационного процесса в Северной Европе возникла сила, которой было суждено перенести центр тяжести из Средиземноморского бассейна на север. Тевтонские племена стерли с лица земли Западную империю, приняли христианство и глубоко изменили то, что еще сохранилось от латинской цивилизованности среди западных рас. Таким образом, в европейское сообщество был введен новый фактор, который должен был быть ассимилирован со старым; и гений итальянского народа никогда не проявлялся так ярко, как в умении, с которым римские епископы воспользовались этим случаем. Они отделили Латинскую Церковь от греческой и, благодаря созданию Священной Римской империи, объединили Южную и Северную Европу в, по-видимому, единое целое. После 800 года нашей эры Европа, от Балтики до Средиземноморья, признала двойное главенство; папство и Империя считались идеалами, при которых единство христианского мира существовало во множестве отдельных и саморазвивающихся наций.

Конкордат между Латинской церковью и Германской империей, одна из которых представляла традиции античного разума и южные обычаи государственного устройства, а другая

представляла молодую энергию малокультурных народов и рыцарство Севера, никогда не был совершенным. Тем не менее, каким бы неполным на самом деле ни было слияние римлян и тевтонов, оно имело общую религиозную основу и позволяло объединенным народам поддерживать признанные международные отношения. То, что мы сейчас называем Возрождением и Реформацией, выявило все еще непримиримый антагонизм между южным и северным, латинским и немецким факторами в этой средневековой Европе. Италия, освободившаяся на некоторое время как от папства, так и от Империи, выразила свою интеллектуальную энергию в Возрождении Образования, развив тот смелый исследовательский дух, которому можно дать названия гуманизма или рационализма. Новая ученость, новый энтузиазм к исследованиям, новое изучение мира и человека как предметов, представляющих жизненный интерес, независимо от того, о какой загробной жизни мы мечтаем, стимулировали в Италии то, что мы знаем как Ренессанс; в то время как в Германии это привело к тому, что мы знаем как Реформацию. Реформацию следует рассматривать как тевтонский аналог итальянского Возрождения. Это было то, что возникло из сердцевины того огромного варварского фактора, который подорвал Римскую империю и принял католицизм; который придал свою силу средневековой империи и который теперь участвовал в культуре классического Возрождения. Как Италия восстановила свободу человеческого разума и чувств с помощью искусства, литературы и удобств утонченного существования, так и Германия восстановила свободу души и совести напряженными усилиями в поисках религиозной искренности и политической независимости. Один народ стремится к восстановлению языческой цивилизованности под сенью католицизма, другой стремится к более чистому христианству в противовес папской иерархии, инициировав с противоположных точек зрения то полное освобождение современного разума, которое еще не было полностью реализовано.

Если мы зададимся вопросом, почему конечная цель, к которой стремились и Ренессанс, и Реформация, а именно освобождение духа от средневековых предрассудков и препятствий, не была достигнута более совершенным образом, мы обнаружим причину этой частичной неудачи в противоречивых концепциях, сформированных Югом и Севером относительно проблемы, которая была коренной. И Ренессанс, и Реформация берут свое начало в возрождении образования, или, скорее, в том гуманистическом энтузиазме, который был его жизненной сутью. Но расовые различия, связанные с этими двумя движениями, были настолько непримиримы, преследуемые цели были настолько разными, что Ренессанс и Реформация вступили в конфликт химического сочетания, породив фермент, из которого интеллектуальное единство Европы еще четко не сформировалось. Латинская раса, создавшая новое образование и новую культуру, оказалась в состоянии борьбы с тевтонской расой, которая в тот же период выработала новые религиозные концепции и новую политическую энергию.

Церковь предоставила поле битвы для этих военных действий. Эпоха Возрождения отнюдь не благоприятствовала принципам католической ортодоксии, и в пятнадцатом веке итальянцы показали себя христианами скорее по условностям и традиции, чем по убеждениям. И все же Италия была вполне довольна существованием коррумпированной иерархии папского Рима при условии, что Рим сохранял позицию, которую Лев X занял по отношению к либеральному духу классического Возрождения. Реформация, с другой стороны, была открыто враждебна католической церкви. Протестантизм отвергал веротерпимость, исповедуемую философами-скептиками и снисходительными вольнодумцами Юга, в то время как он отталкивал этих утонченных людей богословским пылом и моральным негодованием, которых они не могли понять. Таким образом, итальянские и немецкие дети гуманизма не смогли объединить усилия

против католицизма, к которому первые не испытывали симпатии и который вторые яростно атаковали. Тем временем Церковь осознала грозящую ей опасность. Папство по-прежнему было силой первой величины; и требовались лишь энергичные усилия, чтобы снова поставить его на позицию господства и сопротивления. Это усилие было предпринято путем реформирования церковной иерархии, определения католической догмы и ведения войны на уничтожение против двойного либерализма эпохи Возрождения и Реформации.

Это реакционное движение против прогресса свободной мысли, которое погасило итальянский Ренессанс и отразило Реформацию, составило тему двух предыдущих томов моего труда. Оно не могло быть проведено римским двором без помощи Испании. Испанская нация, в ту эпоху имевшая первостепенное значение в Европе, фанатично и единодушно заявила о себе как о стороннике католического возрождения. В Италии это придало Церкви вес оружия и верховную власть для подавления народных свобод. Это обеспечило папство духовным ополчением, специально дисциплинированным, чтобы соответствовать требованиям момента. И все же центром реакции по-прежнему оставался Рим; и испанская гегемония позволила римской иерархии консолидировать организм, который надолго пережил ее собственное влияние в европейских делах.

VI.

После завершения Великого раскола Рим начал подчиняться национальным импульсам итальянцев, вступил в их конфедерацию в качестве одной из пяти ведущих держав и внешне перенял гуманистическую культуру, бывшую тогда в моде. Но Церковь была космополитическим учреждением. Ее интересы простирались за пределы Альп, Пиренеев, океанов, которые пересекали португальские и испанские мореплаватели. Эпоха Возрождения настолько изменила свою структуру, что папство продолжало политически считаться итальянской державой. Его штаб-квартира не могла быть удалена от Тибра, и с молчаливого согласия латинского католицизма Верховный понтифик был избран из итальянских прелатов. Однако теперь, в 1530 году, он начал играть новую роль, более соответствующую его средневековым функциям и претензиям. Рим действительно перестал быть имперской столицей Европы, где светский глава христианского мира принял корону империи от своего равного духовного вождя. Вечный город на этом новом этапе современной истории, который продолжался до вступления Витторио Эммануэле на Квиринал в 1870 году, обеспечил Папе место среди католических монархов. Со своего трона на семи холмах он руководил с их одобрения и помощи кампанией Контрреформации. Вместо того чтобы поощрять и развивать то, что еще оставалось от Ренессанса в Италии, вместо того, чтобы направлять это движение самоосвобождающегося разума от стадии искусства и гуманизма к стадии рационализма и науки, Церковь использовала свой авторитет, чтобы вернуть средневековые и подавить национальные порывы. Она объединилась с Испанией ради общей цели — поддержания Италии в состоянии политического и интеллектуального рабства и подчинения тех провинций Европы, которые не были безвозвратно потеряны для католического дела. Итальянцы, как нация, оставались пассивными, но не совсем невольными или неодобрительными зрителями драмы, которая разыгрывалась под руководством папы за их пределами. И снова их деятельность слилась с деятельностью Рима — с деятельностью этого государства, которое сначала обеспечило им Империю на обитаемом земном шаре, а затем духовную гегемонию западных рас и от господства которого они частично освободились в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Именно осознание папством собственной опасности как космополитического института в

сочетании с сокрушительным превосходством Испании на полуострове определило этот этап итальянской истории.

Католическое возрождение, как и Ренессанс, в определенном смысле можно рассматривать как продукт итальянского гения. Это в достаточной степени доказывается дипломатической историей Тридентского собора и преданностью иезуитов папскому служению. Следует, однако, помнить, что в то время как Возрождение исходило от расы в целом, от ее конфедерации независимых республик и тираний, католическое Возрождение исходило от той части расы, которая называется Римом, от церковной иерархии, проникнутой мировыми амбициями, в которых утонули национальные интересы. Для биографа итальянцев нет ничего более интересного, чем сложная взаимосвязь, в которой они всегда находились с космополитическим организмом Рима, самого по себе итальянского. В древние дни их величия Рим подчинил их себе и с помощью их родных легионов завоевал господство над миром. После падения Империи Церковь продолжила римские традиции в измененной форме, но оказалась не в состоянии обойтись без иностранной помощи франков и германцев. Ценой, которую теперь платит Италия за духовное главенство в Европе, было подчинение тевтонским сюзеренам и постоянное интригующее вмешательство в ее дела. Во время авиньонского пленения и Великого раскола Италия развила интеллектуальное и конфедеративное единство, навязав свои законы культуры и государственного устройства даже папству, когда оно вернулось в Рим. Но опять же в конце эпохи Возрождения, когда независимость Италии пала, Церковь стремилась к духовному господству; и в эту эпоху она отплатила своему испанскому союзнику пособничеством в порабощении полуострова. Тем не менее римский понтифик, который действовал как генералиссимус католических армий по всей Европе, теперь был более чем когда-либо признан итальянской державой.

VII.

В своем обзоре *Истории пап* Ранке лорд Маколей с блестящим красноречием настаивает на поразительной жизнеспособности и долголетию Римско-католической церкви. Он описывает восстание интеллекта против ее правления в Провансе и ее триумф в Крестовом походе, который принес нацию в жертву концепции средневекового религиозного единства. Он подробно рассказывает о ее унижении в изгнании в Авиньоне, о ее ослаблении во время Великого раскола и о ее восстановлении блеска и могущества по окончании Соборов. Затем он посвящает свои обширные знания и силу риторики объяснению Реформации, католического возрождения и Контрреформации. Он убедительно доказывает, что было в организме католической церкви и в характере Папского Рима, что делало эти ныне реакционные державы более чем достойными противниками протестантизма. "Через пятьдесят лет с того дня, когда Лютер публично отрекся от общения с папством и сжег буллу Льва перед воротами Виттенберга, протестантизм достиг своего наивысшего могущества, могущества, которое он вскоре утратил и которое так и не вернул". Эта фраза является темой для обзора католического возрождения лорда Маколея. Каким бы ослепительным и увлекательным ни было это исследование, оно проваливается из-за неправильного понимания одного чрезвычайно важного момента. Лорд Маколей считает само собой разумеющимся, что конфликт в Европе с момента публикации манифеста Лютера против Рима возник между католицизмом и протестантизмом. Даже после описания катаклизма Французской революции он завершает свою аргументацию следующими словами: "Мы считаем в высшей степени замечательным фактом то, что ни одна христианская нация, которая не приняла принципы Реформации до конца шестнадцатого века, никогда не

должна была их принимать. С тех пор католические общины снова стали неверующими и католиками; но ни одна из них не стала протестантской". Это равносильно тому, чтобы рассматривать протестантизм как нечто неизменное и окончательное само по себе, как постоянную и необходимую форму христианства. Здесь кроется логическая ошибка, которая делает его рассуждения, несмотря на все их красноречие, лишь поверхностными.

Протестантизм, по правде говоря, никогда не был чем-то большим, чем промежуточным звеном между католицизмом и тем, что по-разному можно назвать свободомыслием, наукой или рационализмом. Будучи по своему происхождению критическим — будучи, как следует из его названия, протестом и оппозицией, — протестантизм был обречен на бесплодие всякий раз, когда он застыл в той или иной своей догматической форме. Как критики и повстанцы, Лютер и Кальвин входят в число освободителей современного интеллекта. Как основатели нетерпимых и взаимно враждебных христианских сект, Лютер и Кальвин входят в число отсталых представителей современной цивилизации. В последующих мыслителях, которых обе секты не одобряли, мы можем распознать истинных продолжателей их работы в ее лучшем аспекте. Лютеранская и кальвинистская церкви - всего лишь заводи и застойные бассейны, оставшиеся после оседания рек во время паводка, оторванные от приливного напряжения космических сил.

Неправильное представление Маколея об истинном характере протестантизма, который для католицизма является тем же, чем несколько несогласных организаций являются для английского истеблишмента, отвлекло его внимание от более глубоких проблем, связанных с контрреформацией. Он почти не касается преследований Римом свободной мысли, ее упрямого противодействия науке. Следовательно, он недостаточно осведомлен о том, что Коперник и Бруно даже в шестнадцатом веке были гораздо более опасными врагами католицизма, чем лидеры Реформатских церквей. Коперник и Бруно, прямые предки Гельмгольца и Дарвина, возглавляли ту оппозицию католицизму, которая была непрерывной и мощной по сей день, которая никогда не отступала в глухие заводи и не застаивалась в дремотных заводях. От этого противостояния сущности христианства, духу, который Христос завещал своим ученикам, нечего бояться. Но как католицизму, так и протестантизму, поскольку оба они догматичны и реакционны, цепляющимся за верования, которые не выдерживают проверки научными исследованиями, за мифы, потерявшие свое значение в свете прогрессирующего знания, и за методы толкования Священных Писаний, расходящиеся с канонами исторической критики, очень следует опасаться этого противостояния. Лорд Маколей считает самым замечательным фактом тот факт, что ни одна христианская нация не приняла принципы Реформации с конца шестнадцатого века. Он не понимает, что в каждой европейской расе все просвещенные мыслители, назовем ли мы Бэкона или Декарта, Спинозу или Лейбница, Гете или Мадзини, приняли и развили эти принципы в их сущности. То, что они не провозгласили себя протестантами, если только им не посчастливилось родиться протестантами, должно вызывать у него удивление не больше, чем то, что Вашингтон и Гейне не провозгласили себя вигами. Ибо протестантизм, когда он стал догматичным и превратился в сектантский стереотип, перестал иметь какое-либо жизненно важное отношение к поступательному движению современной мысли. Реформация по своему происхождению была, как я пытался показать, северным и тевтонским проявлением той борьбы за интеллектуальную свободу, которая в Италии и Франции приняла форму Возрождения. Но кальвинизм, лютеранство, цвинглианство и англиканство отказались от этой борьбы лишь менее решительно, чем католицизм; и на некоторых своих специфических этапах, в пуританстве, например, они проявили себя даже более враждебными либеральной культуре и прогрессивной мысли, чем Римская церковь.

Что бы ни думали о будущем католицизма (а ни один благоразумный человек не станет пророчествовать по таким вопросам), не может быть сомнений в том, что универсальный разум христианских рас, будь то католиков или протестантов, был глубоко проникнут рационализмом, который, возникнув одновременно в Реформацию и Возрождение из гуманизма, обеспечил духовную жизнь последних четырех столетий. Это создало науку во всех ее отраслях. Это стимулировало критическое и историческое любопытство. Это заменило ложные методы исследования здравым смыслом, любовь к истине - привязанностью к почтенному заблуждению. Это поддерживало непобедимую душу человека в ее настойчивом стремлении к свободе и бунте против тирании священников и князей. В настоящее время цивилизации, похоже, угрожают более могущественные враги, чем Римская церковь, и маловероятно, что эти враги будут стремиться к коалиции с католицизмом.

В качестве последнего замечания по этой теме следует отметить, что протестантизм, несмотря на указанные мной недостатки, в целом был более благоприятен для интеллектуального прогресса, чем католицизм. Ибо протестантизм никогда полностью не забывал о своем происхождении из восстания против несправедливого духовного господства, в то время как католицизм неуклонно сохранял свою консервативную позицию самозащиты путем репрессий. Этого достаточно, чтобы объяснить еще один момент, на котором настаивал лорд Маколей, а именно, что те нации, в которых пустил корни протестантизм, неуклонно развивались, в то время как упадок Южной Европы можно в основном приписать католическому возрождению. Единственная группа наций добилась прогресса на самом деле не потому, что они были протестантами, а потому, что они были более послушны Божественному Разуму, больше сочувствовали жизненному принципу движения, были более открыты рационализму. Другая группа наций пришла в упадок, потому что католицизм после 1530 года умышленно отделил себя от истины, свободы и живой силы и упрямо продолжал служить ложным божествам устаревшей религии.

VIII.

Немногие периоды в истории иллюстрируют закон реакции и регресса, которому подвержены все процессы гражданского прогресса, более ясно и печально, чем тот, с которым я имею дело в этих томах. Эпоха Возрождения в Италии началась с очарования золотой мечты; и подобно музыке мечты, она поплыла над Европой. Но сила, которая побудила человечество к этому восхитительному пробуждению чувств и интеллекта, пробудила также дремлющую религиозную совесть и стремление к личному освобождению. Протестантизм возник как суровая реальность, ввергнув народы в запутанный и смертельный конфликт, разжигая антагонизм в установленных порядках, высвобождая алчность и страсти, которые таились в груди многочисленных авантюристов. Пятнадцатый век завершился торжественной симфонией. После середины шестнадцатого диссонанс звучал со всех концов Западного мира. Италия лежала растоптанная и умирающая. Испания подняла свой драконий гребень угрожающих амбиций и безжалостного фанатизма. Франция была раздираема фракциями и поглощена злобными фаворитами коррумпированных королей. Германия вздымалась, как огромный океан во власти бушующего циклона. Англия прошла через сложную революцию, исход которой под властью трех монархов эпохи Тюдоров казался нерешенным, пока четвертый по счастливой судьбе не обеспечил будущее ее народа. Неудивительно, что в этих обстоятельствах на эпоху снизошло печальное уныние; что люди стали более сомневающимися; что искусство и литература, казалось, зачахли на неплодородной почве.

Пища, в которой они нуждались, поглощалась растениями более свирепого роста, религиозной ненавистью, политической алчностью, безжалостными страстями, пылающими в сердцах правителей и населения.

IX.

Италия уже дала Европе так много умственной и социальной цивилизации, что ее затишье в эту эпоху едва ли может послужить существенной темой для риторических сетований. Марино и Гвидо Рени доказывают, что были выработаны более богатые жилы искусства и поэзии эпохи Возрождения. Жизни Альда младшего и Мюретуса показывают, что гуманизм был почти исчерпан на своей родной почве. Это, однако, не помешает нам выразить сожаление по поводу несвоевременного замораживания, вызванного преследованиями на расцветающих побегах итальянских знаний. Радуюсь Галилею, мы должны проливать слезы пламенного гнева по поводу страстей Кампанеллы и костра Бруно. Между тем древо гения всегда было зеленым и жизненным в этой сатурнианской стране культуры. Поэзия, живопись, скульптура и архитектура, принеся свои цветы и плоды, удалились на покой. Ученость угасла; наука была подавлена в период своего расцвета недобрыми влияниями. Но музыка пустила пышные побеги и расцвела, породив новый рай безобидной радости, на которую даже священники не могли пожаловаться миру и которая убаюкивала тиранию серебристыми цифрами.

Благодарение Богу за то, что я, пишущий эти страницы, и вы, читающие их, имеете перед нами в этот благодатный год зрелище возрожденной Италии! В последней четверти девятнадцатого века творчество ее героев - Витторио Эммануэле, Мадзини, Гарибальди и Кавура - прочно обосновалось. Создание объединенной Италии, это последнее рождение итальянского гения, этот самый невозможный из триумфов, о которых она мечтала на протяжении долгих веков своей славы и величия, компенсирует все, что она вынесла за эти триста лет. Теперь, когда Рим больше не является резиденцией космополитической теократии, а столицей возрожденного народа; теперь, когда Венеция берется за руки с Генуей, забыв о Курцолле и Кьодже; теперь, когда Флоренция, Пиза и Сиена стоят, как сестры, на священной тосканской земле, в то время как Милан не враждует с Неаполем, а Альпы и морские волны окружают единую гармонию городов, утопивших в дружбе свои древние плевелы, - изучающий великолепное и горькое прошлое может остановиться и склонить голову в знак благодарности Небесам и поклясться, что, в конце концов, все хорошо. что ж.

X.

В истории человечества нет конца. Глупо полагать, что какие-либо религии, какие-либо социальные порядки, какие-либо научные гипотезы более чем условны и частично обладают истиной. Давайте предположим, что вся кривая человеческого существования на этой планете описывает параболу продолжительностью около двадцати миллионов лет.^[239] Из этого мы уже исчерпали неучтенные столетия эволюции доисторического человека и, возможно, пять тысяч лет в исторических записях. Сколько времени остается впереди? На протяжении этого прошедшего пятитысячелетнего периода, сохраненного для слепого оглядывания в записях, какие изменения мнений, какие перипетии империи мы не можем наблюдать и обдумывать! Сколько теологий, космологических концепций, политий, моральных устоев, владений, способов жить и взглядов на жизнь сменяли друг друга! Само пространство коротко; по сравнению с неисчислимым долголетием земного шара, это всего лишь голый "пейзаж в забвении". И каким бы эфемерным ни было постоянство человечества в этом его земном

обиталище, сознательное прошлое становится незначительным перед теми зонами сознательного будущего, теми надвигающимися и уходящими волнами дальнейшей эволюции, которые несут потомство вперед. Было ли для нас потеряно какое-либо существенное достижение человечества в потоке времени? Мы сомневаемся в этом. Достигнуто ли что-нибудь окончательное? В этом мы также сомневаемся. Река расширяется, увлекая нас вперед. Но ручейки, из которых она собралась, и океан, к которому она стремится, сейчас, как и всегда в прошлом, непостижимы. Поэтому бесполезно предполагать, что на этом коротком этапе нашего путешествия, пока незрелые источники знаний все еще доносятся до наших ушей, что какая-либо форма веры или науки стала постоянной; что какие-либо Геркулесовы столпы были воздвигнуты на фоне Атлантического океана опыта и исследований. Подумайте об этой кривой, возможно, в двадцать миллионов лет, и о пяти тысячах лет, которые помнит человечество! Насколько, насколько неизмеримо длиннее пространство, которое предстоит преодолеть, чем то, которое мы оставили позади! Поэтому нам кажется, что самая истинная, поскольку и самая скромная, мудрость - жить верой и любовью. "И ныне пребывают вера, надежда, милосердие, эти три; но величайшее из них - милосердие". Любовь - величайшее; и против любви человек согрешил больше всего за короткую, но запятнанную кровью летопись своего прошлого. Надежда - это добродетель, от которой верующий человек лучше всего может позволить себе воздержаться, если только надежда не будет ждать, как терпеливая служанка, опираясь на веру. Вера - это уравнивающая и поддерживающая сила, благодаря которой каждый из нас осмеливается бросить вызов переменам и с любопытством взирать на течение, которое принесло нас, несет и будет нести туда, куда мы не видим. "Я не знаю, как я пришел от тебя, и я не знаю, куда я пойду с тобой; но я знаю, что я пришел хорошо и уйду хорошо". Человек не может сделать ничего лучше, чем жить на восходе Вечности, как выразился Блейк. Жить в вечном восходе Божьего присутствия, вечно восходящем, еще не взошедшем, который никогда не достигнет своего зенита на этом земном шаре, по-видимому, является судьбой человечества, и это также должно быть благословением.

СНОСКИ

[1] Это сомнительно. Серрасси считал, что мать Бернардо тоже была Тассо.

[2] В своих письмах он говорит о трудностях, с которыми сталкивается любой, даже самый сложный, человек, занимающийся обслуживанием Принципов". *Письмо отредактировано.* Bologna, Romagnoli, p. 34.

[3] *Письмо. Ined.* стр. 100

[4] *Письмо Торквато Тассо*, 15 февраля 1556 г., том II. стр. 157.

[5] "Сентенция во мне не столь качественна, как скрытое содержание", "не столь качественна сегрета разделения". *Письмо*, том ii, стр. 90.

[6] *Письмо Бернардо Каву. Джанджакопо Тассо*, 6 декабря 1554 года.

[7] Датирована 13 февраля 1556 года.

[8] См. *Opere*, т. iv. стр. 100, описание Тассо прощания с матерью, которое он глубоко запомнил даже в более поздней жизни.

[9] *Письмо*, том i, стр. 6.

[10] Кардинал Фердинандо де Медичи занял аналогичное положение в Великом герцогстве Тосканском. Но Луиджи д'Эсте не пережил своего брата.

[11] См. *Письмо*, том ii. стр. 80: Джакомо Буонкомпаньо.

[12] 'Egli mi disse, allor che suo mi fece: Tu canta, or che se' 'n ozio.'

[13] Вот как он писал в своем Дневнике о Лукреции. "В конце концов герцог решился на брак с донной Лукрецией д'Эсте, который состоялся, хотя и не пришелся ему по вкусу, поскольку по возрасту она годилась ему в матери". "Герцогиня пожелала вернуться в Феррару, где впоследствии предпочла остаться, и это решение не вызвало раздражения ее мужа; поскольку она вряд ли могла завести ему семью, ее отсутствие мало что значило". "15 февраля 1598 года. Слышал, что мадам Лукреция д'Эсте, герцогиня Урбино, моя жена, умерла в Ферраре ночью 11-го". ("Герцоги Урбино" Деннистоуна, том iii. стр. 127, 146, 156.) Франческо Мария был привязан в Испании к даме неподходящего положения, и его брак с Лукрецией был устроен так, чтобы уберечь его от мезальянса.

[14] *Письмо*, том i, стр. 47. Сонет начинается словами "Sdegno, debil guerrier".

[15] Тассо консультировался почти со всеми учеными, которых мог привлечь к себе на службу. Но официальный исправительный трибунал был ограничен вышеназванной четверкой, действовавшей совместно со Сципионе Гонзагой.

[16] *Письмо*, том i, стр. 114.

[17] *Ib.* том i. стр. 192.

[18] Том i. стр. 55-215.

[19] *Письмо*, том iii. стр. 41, iv. стр. 332.

[20] *Письмо*, том iii. стр. 164, v. р. 6.

[21] *Ib.* том iii. стр. 85, 86, 88, 163, iv. стр. 8, 166, v. стр. 87.

[22] Письмо Фабио Гонзаге в 1590 году (т. iv. стр. 296).

[23] *Письмо*, том iii. стр. viii.

[24] *Письмо*, том iii. стр. xxx. примечание 34.

[25] Гуарино в сонете намекнул на второе предположение. See Rosini's *Saggio sugli Amori*, &c. vol. xxxiii. из его издания "Тассо", стр. 51.

[26] *Письмо*, том iii. стр. xxxi.

[27] *Письмо*, том i, стр. 139.

[28] *Письмо*, том i, стр. 228.

[29] Это гипотеза Розини из процитированного выше эссе. Вся его тщательно продуманная и остроумная теория основывается на предположении, что Альфонсо в Бельригардо вымогал у Тассо признание в его *связи* с Леонорой и сохранил ему жизнь при условии, что он сыграет дурацкую роль перед всем миром. Но у нас нет никаких достаточных доказательств в поддержку этого предположения.

[30] *Письмо*, том i. 257-262.

[31] Те, кто придерживается мнения, что все неприятности Тассо обрушились на него из-за его *связи* с Леонорой, здесь, конечно, правы, утверждая, что по *этому* вопросу он не мог открыто написать герцогу. Или они могут усомниться в целостности документа.

[32] Издание Тассо Розини, том xxx. стр. 144.

[33] Мансо, *ib.* стр. 46.

[34] Мансо, *ib.* стр. 147.

[35] *Письмо*, том i, стр. 275.

[36] *Письмо*, том i. стр. 278, ii. стр. 26.

[37] Мансо, стр. 147. Здесь снова верующих в Леонора *связи* могут возразить, что по тюрьме он имел в виду любовь-рабство, безнадежный служение даме, у которого он мог ожидать ничего, теперь, когда ее брат был знаком с истиной.

[38] *Письмо*, том i, стр. 233.

[39] *Письмо*, i. стр. 271-290.

[40] *Письмо*, там же. стр. 289.

[41] *Письмо*, там же. стр. 233.

[42] Тассо заявляет о своей неспособности жить вне Суда. 'Se fra i mali de l'animo, uno de'più gravi è l'ambizione, egli ammalò di questo male già molti anni sono, nè mai è risanato in modo ch'io abbia potuto sprezzare affatto i favori e gli onori del mondo, e chi può dargli' (*Lettere*, vol. iii. p. 56). 'Io non posso acquetarmi in altra fortuna di quella ne la quale già nacqui' (*Ibid.* p. 243).

[43] Оно адресовано метаурису и начинается так: "О, дель гран, Апеннино".

[44] *Указ. соч.* стр. 143.

[45] *Письмо*, том i, стр. 268.

[46] Из сонета, *Sposa regal* (*Опера*, том iii, стр. 218).

[47] *Письмо*, том ii. стр. 67.

[48] *Письмо*, том ii. 34.

[49] *Там же.* стр. 7-62, 80-93.

[50] Здесь, как и везде, мы сталкиваемся с запутанной проблемой несчастий Тассо, связанных с трудностями работы с искаженными документами. Тем не менее, сам факт, что Тассо разрешалось свободно переписываться с друзьями и покровителями, показывает, что Альфонсо не боялся разоблачений, и подтверждает теорию о том, что он держал Тассо взаперти только от греха подальше.

[51] Письмо, написанное Гуарини, старым другом, соперником и постоянным спутником Тассо при дворе в Ферраре, после известия о его смерти в 1595 году, показывает, как человек холодного интеллекта рассудил его дело. "Смерть, которой Тассо теперь заплатил свой долг природе, кажется мне окончанием той его смерти в этом мире, которая носила лишь внешнее подобие жизни". См. "Пастор Фидо" Казеллы, стр. xxxii. Гуарини имеет в виду, что, когда разум Тассо уступил, он действительно умер в своем собственном высшем "я", и что его настоящая смерть была освобождением.

[52] Письма самого Тассо, написанные после начала 1579 года, и Жизнь Мансо (*op. cit.* стр. 156-176) являются источниками симптомов, описанных выше. Тассо так часто ссылается на свои немощи, что нет необходимости приводить многочисленные цитаты. Я, однако, приведу два поразительных примера. 'Sono infermo come soleva, e stanco della infermita, la quale è *non sol malattia del corpo ma de la mente*' (*Lettere*, vol. iii. p. 160). 'Io sono poco sano e tanto maninconico che sono *riputato matto da gli altri e da me stesso*' (*Ib.* p. 262).

[53] Указ. соч. стр. 155.

[54] "Слезы разных поэтов волгари" и др. (Виченца, 1585).

[55] Письмо, том ii. стр. 103. Значение этого послания Панигароле сомнительно. Имел ли в виду Тассо, что контраст между прошлым и настоящим был слишком резким? "Большая часть дружбы - притворство, большая часть любви - просто безумие".

[56] Все письма, написанные из Мантуи, изобилуют ссылками на это пренебрежение долгом.

[57] Письмо, том iv. стр. 147.

[58] Там же. стр. 229.

[59] Письмо, том iv. стр. 315.

[60] Однако теперь он чувствовал, что его гениальность иссякла. 'Non posso più fare un verso: la vena è secca, e l'ingegno è stanco' (*Lettere*, vol. v. p. 90).

[61] В течение всего периода своего пребывания в Риме Тассо, как и его отец в аналогичных обстоятельствах, жаждал церковных почестей. В его письмах часто упоминается об этом честолюбии. Он почувствовал параллель между собой и Бернардо Тассо: "Миа депрессии в состоянии, и миа несовершенства, квази-эредитария" (т. iv. стр. 288).

[62] Мансо указ. соч. стр. 215.

[63] Это письмо убедительно доказывает, что, какова бы ни была природа болезни Тассо и как бы она ни ослабляла его способности как поэта, он не был сумасшедшим в вульгарном смысле.

[64] Песнь i. 17.

[65] Песнь vi. 64-9.

[66] Песнь iii. 40, 45.

[67] Песнь ii. 22, iv. 28, 33.

[68] *Ринальдо*, песни x. vii.

[69] Песнь i. 25, 31, 41, 64.

[70] *Ринальдо*, Песнь ii. 28, 44.

[71] Песнь ii. 3-11.

[72] Песнь vii. 16-51.

[73] Песнь vii. 3-11.

[74] Песнь iv. 47.

[75] Песнь v. 12-57.

[76] Между прочим, я могу указать, как часто этот мотив служил сюжетом для современных балетов.

[77] Giov. Imperiale in the *Museum Historicum* describes him thus: 'Perpetuo moerentis et altius cogitantis gessit aspectum, *gracili mento*, facie decolori, conniventibus cavisque oculis.'

[78] "La mia fiera malinconia" - фраза, которая часто повторяется в его письмах.

[79] 'Questo segno mi ho proposto: piacere ed onore' (*Lettere*, vol. v. p. 87).

[80] Следует сказать, что как литератор он с радостью терпел дураков и проявлял благородное терпение. Прекрасный пример тому - его полемика с Делла Крускансом. Он не был так терпелив с издателями и пиратами своих произведений. Неудивительно, что они его так ограбили!

[81] Размытый пересказ Тассо *Stabat Mater* может быть выбран для иллюстрации скорее сентиментальной нежности, чем силы его религиозного чувства.

[82] Многочисленные жалобные просьбы о серебряном кубке, кольце, шелковом плаще и тому подобных мелочах в его более поздних письмах указывают на нечто совершенно детское в его прежних занятиях.

[83] Кардуччи в своем эссе "*История национальной литературы*", и Кине в своих *Революциях Италии*.

[84] Последнее дело, возбужденное против Бруно как ересиарха, наводит на мысль, что в его послужном списке были даже эти мальчишеские ошибки. Смотрите письмо Гаспара Шоппа в "Берти".

[85] Смотрите "Жизнь дона Пьетро ди Толедо" (*Арх. Стон.* том ix. стр. 23)

[86] Смотрите отрывок о полигамии в *Spaccio della Bestia*. Здесь я могу отметить, что Кампанелла, хотя и более ортодоксальный, чем Бруно, опубликовал мнения об отношениях

полов, аналогичные взглядам Платона на "Республику" в своей "*Книге о единстве*". Он даже рекомендовал создавать публичные дома в качестве пристроек к школам для мальчиков, чтобы избежать худшего зла - противоестественного порока в юности.

[87] О городе, университете и инквизиции Тулузы в шестнадцатом веке смотрите на Christie's *Этьенне Доле*— произведение безупречных достоинств и основательной научной работы.

[88] "Cena delle Ceneri", Соч. т. i. стр. 137-151

[89] Синьор Берти предполагает, что Бруно, возможно, впервые встретил Сидни в Милане. Но Бруно сообщает нам, что он не познакомился с ним, пока тот не приехал в Лондон: "Ты достоин познания, за лучшую жизнь в истории в Милане и во Франции, и за опыт, и за сиамо, и за нашу родину" (Указ. соч. т. i, стр. 145).

[90] Предисловие к "Ло Спаччо делла Бестия" (Соч. т. ii. стр. 108).

[91] Указ. соч. т. i. стр. 150.

[92] Указ. соч. т. i. стр. 123.

[93] См. Вуд, *Ath. Оксон.* стр. 300.

[94] Указ. соч. т. i. стр. 179.

[95] Напечатано в *Объяснении тригинты Знака*.

[96] Указ. соч. т. i. стр. 267.

[97] *Цит. по.* стр. 267.

[98] Любопытно, что единственный экземпляр стихотворений Кампанеллы, на котором Орелли основал свое издание 1834 года, был получен из Вольфенбюттеля.

[99] Они были опубликованы во Франкфурте и посвящены дружественному принцу Вольфенбюттельскому.

[100] Показания Британно, *Биография Г.Б. Берти* стр. 337.

[101] Сарпи упоминает возвращение Чотто с ярмарки (*Письмо*, том i, стр. 527).

[102] Чотто до инквизиции называл книгу "*О минимуме силы и менструации*". Следовательно, это могло быть *De Triplici Minimo et Mensura*, а не *De Monade* (Жумье Г.Б. стр. 334).

[103] Мочениго сказал Чотто: "Сначала я хочу посмотреть, что я могу получить от него из того, что он мне обещал, чтобы не потерять полностью то, что я ему дал, а после я намерен предать его порицанию Святой Канцелярии" (Берти, стр. 335).

[104] Простая переписка с еретиками разоблачала итальянца перед инквизицией. Проживание в еретических землях, кроме как с разрешения епископа, было запрещено. Правилами Указателя запрещались книги, в которых имя еретика упоминалось с одобрением.

[105] Бруно сам говорит об "искусстве памяти и изобретательности" (указ. соч. стр. 339). Ciotto mentions 'la memoria et altre scientie' (*ib.* p. 334).

[106] Указ. соч. стр. 335.

[107] Они напоминают нам о богохульствах, вменяемых Кристоферу Марло.

[108] Указ. соч. стр. 352.

[109] Там же. стр. 355.

[110] Там же. стр. 362.

[111] *Op. cit.* p. 349

[112] Там же. стр. 384

[113] Там же. стр. 364

[114] Там же. стр. 363

[115] Указ. соч. стр. 378.

[116] Не все эти годы он провел в Риме. Из записей инквизиции следует, что он прибыл в Рим 27 февраля 1598 года, а формальный суд над ним начался в феврале 1599 года. Папа утвердил свой смертный приговор 20 января 1600 года; он был публично обнародован 8 февраля и приведен в исполнение 17-го числа следующего года. Где Бруно находился в заключении с января 1593 по февраль 1598 года, неизвестно.

[117] Недавно были высказаны сомнения относительно того, действительно ли Бруно был сожжен. Но в конце концов от них избавляется краткое и убедительное изложение доказательств мистером Р. К. Кристи в журнале *Macmillan's Magazine*, октябрь 1885 года. В дополнение к Шоппе и Кеплеру, у нас есть ссылка на сожжение Бруно, опубликованная Мерсенном в 1624 году; но что гораздо важнее, в "*Римском видении*" за 19 февраля 1600 года записано, что это событие произошло в предыдущий четверг. К двум работам синьора Берти, *Documenti intorno a G. Bruno* (Roma, 1880), and *Copernico e le vicende*, etc. (Roma, 1876), мы обязаны большей частью материала, который был четко проанализирован мистером Р. К. Кристи.

[118] "Лондинам перфектус", клеветническая правка триумфатора Бестии, h.e. де Папы. quem vestri honoris causa bestiam appellare solent.'

[119] Мы можем помнить, что, будучи послушником в Неаполе, он впервые попал в беду, сохранив распятие как единственный религиозный символ, который он уважал, когда расставался с изображениями святых.

[120] Эти многозначительные слова есть в "*Жизни Г.Б.*" Берти, стр. 299.

[121] Он вполне заслуживает этого имени, несмотря на свое отречение в Венеции; ибо кажется невероятным, что он не мог путем уступок выкупить свою жизнь. Как Брейггер с жестокой грубостью написал Кеплеру: "Какую выгоду он получил, претерпевая такие муки? Если бы не было Бога, карающего преступления, как он верил, разве он не мог бы придумать что-нибудь, чтобы спасти свою жизнь?" Мы можем добавить, что альтернативой смерти для отступника-рецидивиста было вечное заключение; и семь лет тюрьмы вполне могли заставить Бруно предпочесть смерть с честью.

[122] указ. соч. стр. 70.

[123] И Берти, и Кине высказывали схожие замечания, которые, действительно, бросаются в глаза исследователю шестнадцатого века.

[124] Эта теологическая концепция истории вдохновила священную драму средневековья, известную нам как Циклические пьесы чудес.

[125] Моим намерением было подкрепить утверждения, содержащиеся в этом параграфе, переводом отрывков, которые, как мне кажется, их оправдывают; и я зашел так далеко, что подготовил английские версии объемом около двадцати страниц, когда обнаружил, что этот материал перевесит мою книгу. Изучение Бруно как великого предшественника современной мысли в ее более поэтических и широко синтетических рассуждениях следует оставить для отдельного эссе. Здесь я могу отметить, что наиболее точное и содержательно сжатое изложение философии Бруно содержится в стихотворении Гете "*Проблема познания и мира*". И все же это стихотворение выражает мысль Гете, и сомнительно, изучал ли Гете Бруно иначе, как в работах своего ученика Спинозы.

[126] Спавента в своих *критических заметках*.

[127] Мы можем напомнить нашим читателям прощальные слова Генриха IV Джозефу Скалигеру: "Неужели ты хочешь, чтобы Париж-Дижон остался без света в деревне?"

[128] *Письмо*, том i, стр. 239.

[129] Первые зачатки образования Сарпи получил под присмотром сервитов. Жажда знаний может объяснить его раннее вступление в их братство. Подобно Вергилию и Мильтону, он получил среди товарищей по учебе в юности почетное прозвище "Дева". Непристойные разговоры, какие ведут парни даже в монастырях, прекратились при его приближении. И все же он, кажется, не утратил влияния среди своих товарищей благодаря чистоте, которая выделяла его как исключительного человека.

[130] *Письмо*, том i, стр. 237.

[131] *Письмо*, том. ii, стр. 80.

[132] "*Жизнь Фра Фульгенцио*" Сарпи, стр. 64.

[133] "*Жизнь Ф. Паоло*" Фра Фульдженцио, стр. 42. Венецианские депеши в "*Тайной истории*" Мутинелли, том iii, стр. 67.

[134] Трактатом, который перевел Сарпи, были *Рассуждения Герсона о папских отлучениях*. Роль Герсона в Констанцском соборе запомнится надолго. См. "*Историю папства*" Крейтона, том i, стр. 211.

[135] Переписка Сарпи убедительно доказывает, насколько серьезной была опасность папского абсолютизма в его дни. Волна еще не начала с силой поворачиваться против иезуитских доктрин папского превосходства. Смотрите Ranke, том ii, стр. 4-12, об этих доктринах и контртеориях, которые они породили. Мы должны помнить, что папская власть сейчас

находилась на пике своего расцвета; и Сарпи можно простить за то, что он не учел неизбежного упадка, которому она подверглась в течение следующего столетия.

[136] *Письмо*, том i, стр. 312.

[137] *Sarpi's Letters*, том ii. стр. 179, 284.

[138] *Там же*. стр. 100-102.

[139] Бьянки Джовини, *Жизнеописание Фра П. Сарпи*, том ii. стр. 49.

[140] "*Жизнь Сарпи*" А.Г. Кэмпбелла, стр. 174.

[141] *Sarpi's Letters*, том i. стр. 231, 239.

[142] *Там же*. стр. 220, 222, 225.

[143] *Vita-dель-Падре Ф. Паоло Сарпи*, Helmstat, за Якопо Mulleri, MDCCXXXXX.

[144] Отправка на фр. Контарини под датой 25 сентября 1607 г., цитируется в "*Жизни Сарпи*" Кэмпбелла, стр. 145.

[145] *Fulgenzio's Life*, стр. 61. А.Г. Кэмпбелл утверждает, что этого знаменитого *текста* Сарпи нет в рукописи Фульгенцио. Однако в опубликованной работе это встречается вполне естественно. Первое издание *Жизнеописания* появилось в 1646 году, за восемь лет до смерти Фульдженцио. Следовательно, расхождения между ним и рукописью, возможно, были намеренными автором.

[146] Полный отчет о них дан Бьянки Джовини в его *Биографии*, глава. xvii.

[147] *Жизнь Ф. Паоло*, стр. 67-70.

[148] *Vita di F. Paolo*, p. 68: 'Le cose che vennero a pubblica notizia e certe sono: che molte persone nominate in quella cifra, di *Padre*, fratelli, e cugini, per le contracifre constò, dal Generale de' Servi in fuori, niuna esser di dignità inferiore alia Cardinalizia.'

[149] Сарпи говорит, что ни одно преступление в Венеции не совершалось без участия монаха или священника (*Письмо*, том i. 351).

[150] *Письмо*, том ii. стр. 169.

[151] *Опера Паоло Сарпи*, Хельмштедт, 1761, том i, стр. 200, 233, 311; том ii, стр. 89, 187.

[152] Это противоречит мнению Халлама и Маколея, оба из которых были убеждены, что Сарпи в душе был протестантом. Маколей жалеет, что не сбросил монашеское одеяние. В определенном смысле Сарпи можно отнести к числу наиболее выдающихся мыслителей среди реформатских церквей его эпохи. Но называть его протестантом, который скрывал свою истинную веру, свидетельствует о грубости восприятия, неспособности понять какую-либо позицию, выходящую за рамки воинствующего католицизма и протестантизма, или о сочувствии к глубоко религиозным чувствам того, кто, просчитав все шансы и рассмотрев все догматические различия, подумал, что он мог бы лучше служить Богу и своей стране в том общении, которое принадлежало ему по праву рождения. У просвещенного интеллекта в

семнадцатом веке не было особых причин предпочесть одну из реформатских церквей католицизму, разве что ради политической свободы. Поскольку в Венеции невозможно было сменить государственную религию, у Сарпи не было никаких побуждений покинуть свою страну и проводить свою жизнь в изгнании среди предубежденных сектантов.

[153] *Письмо*, том ii. стр. 3, 18, 96, 109 и другие.

[154] *Ib.* том ii. стр. 6.

[155] *Письмо*, том i, стр. 237.

[156] *Ib.* стр. 268.

[157] *Ib.* том ii. pp. 29, 48, 59, 60, 125.

[158] *Ib.* стр. 120, 124.

[159] *Ib.* стр. 226.

[160] *Ib.* стр. 217.

[161] *Ib.* стр. 427.

[162] *Письмо*, том ii. стр. 283.

[163] *Ib.* стр. 110, 311.

[164] *Ib.* том i. pp. 220, 222, 225, 231, 239.

[165] *Campbell's Life*, стр. 132.

[166] *Ib.* стр. 133, 135.

[167] *Письмо*, том ii. стр. 86.

[168] *Ib.* том i. стр. 283.

[169] В качестве суровой венецианской шутки стоит отметить, что, когда иезуиты в конце концов вернулись на Риадельто, им было приказано проходить процессиями по церемониальным случаям между Братствами Святого Марко и Святого Теодоро — святых, среди колонн которых на Моло казнили преступников.

[170] *Письмо*, том i, стр. 126; *Опера*, том vi, стр. 40.

[171] *Опера*, том vi. стр. 145.

[172] *Жизнь* Фульгенцио, стр. 98.,

[173] *Там же*. стр. 105.

[174] *Там же*.

[175] Письмо Настоятеля Венецианскому сенату, напечатано в *Lettere*, том ii. стр. 450-453. Стоит поразмыслить над контрастом между смертями Сарпи и Бруно. Сарпи умер с религиозным утешением на своей кровати в монастыре, который был его домом на протяжении всей жизни.

Бруно был сожжен заживо, с горьким презрением отводя глаза от распятия, после семи с половиной лет, проведенных в тюрьмах инквизиции. Сарпи испустил свой последний вздох среди сочувствующих друзей, на службе благодарной стране. Бруно, тяжело дыша, изнывал от предсмертных мук удушья и горения, окруженный грозными доминиканцами, посреди враждебного Рима, празднующего свой триумфальный юбилей. Последние мысли Сарпи были обращены к Богу Христианского мира и Республики. У Бруно не было родины; Бог, в которого он верил в тот мрачный час, был Богом в его душе, нереализованным, оторванным по собственному разумению от каждой Церкви и каждого вероучения.

[176] См. *Ренессанс в Италии*, том ii. стр. 299, 300.

[177] *Письмо дель Гуарини*, Венеция, 1596, стр. 2.

[178] Альбери, *Relazioni*, серия 2, том ii. стр. 423-425.

[179] *Письмо*, стр. 195.

[180] В этом году она была опубликована с авторской редакцией Чотто в Венеции. Она была представлена в Турине в 1585 году и впервые напечатана в Венеции в 1590 году.

[181] Гуарини можно сравнить с Триссино в этих моментах его личной жизни. См. *Возрождение в Италии*, том v. 303-305.

[182] *Письмо*, стр. 196.

[183] *Il Pastor Fido*, per cura di G. Casella (Firenze, Barbéra, 1866), p. liv.

[184] Я мог бы дополнительно проиллюстрировать этот момент, процитировав тридцать пять строк, в которых Титиро сравнивает девушку с розой, которая увядает на ветру после того, как пыл полудня лишил ее свежести (акт i, часть 4). Оспорить красоту этого сравнения было бы невозможно. И все же, когда мы обратимся к двум отрывкам из Ариосто (*Orl. Fur.* i. 42, 43 и xxiv. 80), по образцу которых оно было составлено, мы увидим, как много Гуарини потерял в силе, написав не с оглядкой на объект или с подлинностью внутреннего видения, а с сознательным усилием улучшить с помощью ухищрений и уточнений то, что он прочитал. Смотрите мое эссе "Пафос розы во времени", апрель 1886 г.

[185] Даже Сильвио, самый мужественный из молодых людей, чье сердце закрыто для любви, предстает перед нами таким:

О Сильвио, Сильвио! a che ti die Natura
Ne' più begli anni tuoi
Fior di beltà sì delicato e vago,
Se tu se' tanto a calpestarlo intento?
Che s'avess'io cotesta tua sì bella
E sì fiorita guancia,
Addio selve, direi:
E seguendo altre fere,
E la vita passando in festa e'n gioco,
Farei la state all'ombra, e 'l verno al foco.

[186] Телезио, Бруно, Кампанелла, Сальватор Роза, Вико были, как и Марино, уроженцами Регно.

[187] Стоит отметить, что *"Венера и Адонис"* Шекспира была впервые напечатана в 1593 году, тридцатью годами ранее.

[188] Феррари в своем *"Риволнциони д'Италия"*, том iii, стр. 563, отмечает: "Венера sospetta наоборот лагриме форсе маскили суль беллиссимус Адонид" и т.д. Аналогично, *"Венера и Адонис"* Шекспира написана так, чтобы заставить читателя ощутить вместе с Венерой соблазнение Адониса.

[189] Процитированной выше строфой Марино завершает цикл, который Боккаччо открыл в *"Любовном видении"* (песнь xlix.).

[190] По этому поводу я могу привлечь внимание к тщательно выполненным портретам, нарисованным Марино (песнь xvi), семи молодых людей, которые борются с Адонисом за приз красоты и корону Кипра. Их костюмам, украшениям и прическам посвящено не меньше слов, чем их личному обаянию.

[191] Я с удовольствием приглашаю своих читателей изучить истинное учение о месте осязания среди органов чувств, изложенное Рескином в книге *"Современные художники"*, часть iii. раздел 1, глава ii.

[192] Лицемерие аллегии чрезвычайно важно для этого этапа итальянской культуры. Мы видели, как даже Тассо снизошел до того, чтобы применить ее к своему благородному эпосу, который не нуждался в таком жалком притворстве. Изысканно гротескной была попытка Центорио дельи Ортензи освятить *новеллы* Банделло, снабдив каждую из них моральной интерпретацией (изд. Milano: Gio. Antonio degli Antoni, 1560, See Passano's *Novellieri in Prosa*, p. 28).

[193] То, что я в другом месте назвал "тиранией поцелуя" в итальянской поэзии, начинается в *"Ринальдо* Тассо, приобретает огромные масштабы в *"Пасторе Фидо"* Гуарино и становится невыносимым в *"Адоне"*.

[194] Смотрите кульминацию эпизода "Филауро и Филора".

[195] В подтверждение этого мнения о достоинствах Марино как поэта я процитирую эпизод с Клицио (песнь i, стр. 17); сказку о Психее (iv, 65); сказку о соловье и мальчике, которая, кстати, встречается и в Форде, и в Крэшоу (vii, 112); гимн удовольствию (vii, 116); прохождение Венеры и Адониса в купальню (viii, 133); изображение нимфы и сатира (viii, 112). 135); олицетворение Двора (x. 167); пещера ревности (xii. 204-206); сад драгоценностей Фальзерины (xii. 218); Фальзерина наблюдает за спящим Адонисом (xii. 225); Заклинания Фальзерины (xiii. 233); Марс на коленях Венеры, окруженный возлюбленными (xiii. 245); Венера, переодетая цыганкой (xv. 290); игра в шахматы (xv. 297); прощание Венеры и Адонис (xvii. 332); призрак мертвого Адониса (xviii. 357); "горе Венеры" (xviii. 358-362); "сказки о Гиацинте и Пампине" (xix. 372-378). Ссылки даны на изд. Неаполь, Бутто, 1861 год.

[196] В этом стихотворении есть отрывки чистой *кантилены*, где смысл полностью поглощен звуком, а слова становятся простым проводником ритмичной мелодии. Прекрасными примерами такой словесной музыки являются "Панихида нимф по Адонису" и "тренос Венеры" (xix. стр. 358-361). Обратите особое внимание на начало строфы:

Adone, Adone, o bell'Adon, tu giaci,
Nè senti i miei sospir, nè miri il pianto!
O bell'Adone, o caro Adon, tu taci,
Nè rispondi a colei che amasti tanto!

В литературе нет ничего более похожего на это, чем "Бред мистической любви" фра Якопоне:

Amor amor Jesu, son giunto a porto;
Amor amor Jesu, tu m'hai menato;
Amor amor Jesu, dammi conforto;
Amor amor Jesu, si m'hai enfimato.

Только одно написано в миксо-лидийском стиле, другое - в гиперфригийском.

[197] Недалеко от Болоньи есть ручей под названием Рино.

[198] Смотрите две книги Скерильо о *Комедии дельАрте* и *Опере-буффа*.

[199] Дату 1615 года смотрите в научном эссе Кардуччи, предваряющем его издание "*Секкья Рапита*" (Барбера, 1861).

[200] Песнь i. 2.

[201] Песнь xii. 77.

[202] Так писал Гейне об Аристофане. Смотрите мое эссе в "*Исследованиях греческих поэтов*".

[203] Песнь viii. 33, 34.

[204] См. Байни, *Жизнь Палестрины*, том ii. стр. 20.

[205] Пока пел хор, оркестр играл согласованные произведения под названием *ричеркари*, в которых были воспроизведены вокальные партии.

[206] Смотрите оригинальные отрывки из произведений современных авторов, цитируемые Байни, том i, стр. 102-104. Савонарола зашел так далеко, что утверждал: "Che questo canto

figurato l'ha trovato Satanasso", фраза вполне в стиле пуританина, оскорбляющего хоры и органы.

[207] См. Мишле, *История Франции*, т. xi. стр. 76, 101, т. xii. стр. 383 (Париж: Лакруа, 1877).

[208] Baini, i. p. 196.

[209] Следует помнить, что этот Сильвио Антониано был одним из редакторов поэмы Тассо и доставлял ему больше всего хлопот.

[210] В посвящении мессы папы Марчелло Филиппу II. в 1567 году Палестрина говорит только, что орден людей высочайшей серьезности и наиболее одобренного благочестия заставил его применить себя *ad sanctissimum Missae sacrificium novo modorum genere decorandum*, и что он выполнил свою задачу с честью. неутомимые усилия и трудолюбие (Baini, указ. соч. том i, стр. 280). Но примечательно, что из трех месс, представленных на одобрение конгрегации, первая была озаглавлена "*Иллюминия окулос меос*", и что анекдот, относящийся к этому названию, повествует о искренних молитвах Палестрины о благодати и вдохновении во время исполнения работы (там же. стр. 223, примечание.)

[211] См. *Ренессанс в Италии*, том iv. стр. 263, 305.

[212] *Исследования Восемнадцатого века в Италии*, Вернон Ли.

[213] Таким образом, трое основателей школы родились именно в самые критические годы правления Совета. Они меньше всего почувствовали реакцию католиков. Наиболее заметно это проявилось в Доменикино, родившемся через семнадцать лет после его закрытия.

[214] Nich. Пуссен, р. 1594; Клод, 1600; Гаспар Пуссен, 1613; Сальватор Роза, 1615; Лука Джордано, 1632; Каналетто, 1697.

[215] Я, конечно, исключаю Венецию по причинам, которые я достаточно изложил в "*Возрождении в Италии*", т. iii. стр. 347. Намного позже других школ Италии венецианец был еще подростком.

[216] Я не счел нужным перечислять больше, чем несколько имен маньеристов. Обратите внимание, как часто они работали целыми семьями и неразличимыми кружками.

[217] Каждый, кто знаком с европейскими картинными галереями, наверняка помнит кабинетные работы Караччи, особенно "Ессе Homos", "Пьеты", "Агонии в саду", которые выглядят как копии из Корреджо с добавлением сентиментальности.

[218] Для изучения эклектики я в основном пользовался энциклопедическим трудом, озаглавленным "*Фельсина Питтриче*" (Болонья, 1841, 2 тома). Это основано на объемистых трудах графа К.К. Мальвазии, который, родившись в 1616 году и лично общаясь с оставшимися в живых членами Болонской академии, смог завещать потомкам огромное количество анекдотических и других материалов. Коллекция содержит критические замечания и дополнения, сделанные рукой Занотти и более поздних студентов-искусствоведов, а также множество иллюстративных документов высочайшей ценности. Читая этот разнообразный репертуар, мы вынуждены сожалеть о том, что такого же количества характерной и достоверной

информации не сохранилось ни об одной из величайших школ Италии — например, о венецианской.

[219] Он приобрел несколько печально известную известность благодаря своим непристойным гравюрам в стиле Джулио Романо.

[220] Мальвазия сохранил в своей "*Жизни Приматиччо*" сонет, написанный Агостино Караччи, в котором четко обозначены цели эклектики. Хороший художник должен обладать римским или классическим рисунком, венецианским движением и тенью, ломбардским колоритом, возвышенностью Микеланджело, правдивостью натуры Тициана, чистым и суверенным стилем Корреджо, симметрией Рафаэля, приспособленностью и основательностью Тибальди, эрудированной изобретательностью Приматиччо с примесью изящества Пармиджанино (*Fels. Pitttr.* том i, стр. 129). Занотти добавляет: "Несомненно, этот сонет каждый художник должен выучить наизусть и соблюдать на практике".

[221] См. Malvasia, указ. соч., т. i, стр. 277; т. ii, стр. 57. Странно то, что Мальвазия рассказывает эти истории Лодовико-Афродиты и шлифовальщицы красок-Магдалины под аплодисменты, как будто они доказывают мастерство Аннибале Караччи и Гвидо.

[222] Более поздние эклектики — Спада, Доменикино, Гверчино — были в некоторой степени спасены влиянием Караваджо и натуралистов. Но у них не хватило такта понять, в чем заключается тонкость натуралистического искусства для тонко мыслящего художника. Они добавили жестокость, использованную Караваджо, к безвкусице Караччи и создали такие ужасы, как мученичество Святой Агнессы Доменикино.

[223] Эту традицию детства Гвидо я привожу такой, какая она есть, из "Мальвазии", соч. цит. по т. ii, стр. 53. В загробной жизни, помимо благочестивого пристрастия к поклонению Мадонне, он испытывал большой страх перед женщинами вообще и ведьмами в частности. То, что одни назовут духовным, другие - женоподобным в его зрелых работах, может быть связано с указанным таким образом темпераментом.

[224] Мальвазия, указ. соч. стр. 53, стр. 178. Последнему отрывку предшествует обсуждение обнаженной натуры в искусстве, которое показывает, как Мальвазия впитала тридентскую мораль в центре Италии, блистающей шедеврами Возрождения.

[225] Ло Спада и Гверчино, о которых впоследствии будет упомянуто, безусловно, были колористами.

[226] *Современные художники*, том i, стр. 87.

[227] Я имею в виду Тинторетто в церкви Святой Марии дель Орто в Венеции и Луини в монастыре Маджоре в Милане. Тем не менее, моделью Святой Екатерины Луини была печально известная графиня ди Челлант, которая убила своего мужа и нескольких любовников и была обезглавлена за свои преступления в Милане. Этот факт демонстрирует ценность модели в руках художника, способного ее использовать.

[228] Когда я утверждаю, что эпоха теряла чувство художественной сдержанности, я хочу вернуться к тому, что я написал о Марино, диктаторе эпохи в вопросах вкуса. См. выше, стр. 273, 274.

[229] Перейти на S. Андреа нелла Валле в Риме, чтобы изучить лучшие из них.

[230] Микеланджело Америго да Караваджо (1569-1609).

[231] Для историка нравов Италии XVII века эти картины имеют поистине бесценную ценность, поскольку выполнены с такой страстью, что возвышают их над более тщательными, но более выразительными изображениями пивных погребов в голландской живописи.

[232] См. Выше, часть I. стр. 47.

[233] Но люди, использовавшие это слово, не смогли понять, что то, что оправдывало эти качества в творчестве Микеланджело, было пронзительной, острой духовной страстью, которой не было в их возрасте.

[234]

Странно, что такая разница должна быть между твидл-дамом и твидл-ди.

[235] Великолепная картина Доссо Досси, на которую я ссылался, находится в галерее Модене.

[236] Переход от Лодовико Караччи через Пуссена к Рейнольдсу прямой и непрерывный. "Пуссен, - говорит Ланци, - ставил Доменикино непосредственно рядом с Рафаэлем". *История живописи в Италии*, английский сборник, том iii, стр. 84.

[237] Возможно, еще возникнет поколение, которое примет Караччи и их учеников с благосклонностью, подобно тому, как утонченные люди в наши дни находят очарование в пластырях, пудре, перуаках, портшезах, пачули и прочем хламе эпохи, презираемой Китсом. Я помню, как навещал знатную английскую леди в ее загородном поместье. Мы пили чай в ее комнате, украшенной модным художником времен королевы Анны. Она рассказала нам, что причудливо красивую мебель прошлого века, украшавшую ее, недавно перенесли с чердака, куда ее передние медведи отнесли ее как безвкусную — Джиллоу в их представлении вытеснил Чиппендейла.

[238] Только потому, что я англичанин, пишущий популярную книгу для англичан, я трачу время на изучение мнений Джошуа Рейнольдса. Обращаясь к европейской аудитории в этом году благодати, мне и в голову не пришло бы разглагольствовать о его устаревшей доктрине.

[239] Двадцать миллионов лет - это, конечно, простой символ, х или у.